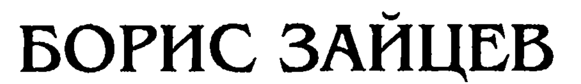
БОРИС ЗАЙЦЕВ

ДНИ

БОРИС ЗАЙЦЕВ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ДНИ

МЕМУАРНЫЕ ОЧЕРКИ

СТАТЬИ

ЗАМЕТКИ

РЕЦЕНЗИИ

Москва

<< РУССКАЯ КНИГА >>

2000

УДК 82
ББК 84Р
З-17

Составитель, автор предисловия и примечаний
Т. Ф. Прокопов

Издание осуществляется при участии дочери писателя
Н. Б. Зайцевой-Соллогуб

Разработка оформления
Ю. Ф. Алексеевой

Шрифтовое оформление
В. К. Серебрякова

Зайцев Б. К.
З-17 Собрание сочинений: Т. 9 (доп.). Дни. Мемуарные очерки. Статьи. Заметки. Рецензии. – М.: Русская книга, 2000. – 560 с., 1 л. портр.

В девятый (дополнительный) том собрания сочинений классика Серебряного века Бориса Константиновича Зайцева (1881 – 1972) включена его газетно-журнальная публицистика. Это воспоминания и документальная хроника, яркие портреты современников и философские размышления, литературная критика и письма. Главным свойством этих произведений является автобиографичность, проявляющаяся в заинтересованном активном присутствии автора, его «я», его эмоционально выраженном отношении к описываемому

ISBN5-268-00480-8 УДК 82
ISBN5-268-00402-6 ББК 84Р

ПУБЛИЦИСТИКА БОРИСА ЗАЙЦЕВА

Газетно-журнальная публицистика Зайцева – явление самобытное и даже уникальное Хотя бы тем, что автобиографична, что она из рода его неравнодушной писательской мемуаристики. Для нас, для нашего времени она привлекательна именно этим· как живая летопись, в которой личностно отразился почти весь только что ушедший век. Как и поэтичная проза писателя, его очерки, статьи, заметки, рецензии окрашены лиризмом, в основе которого субъективно-эмоциональное восприятие событий. При этом и выбор поводов для печатных выступлений определялся Зайцевым не столько их общественной или литературной значимостью (писатель всегда избегал конъюнктурности, особенно политической), сколько тем, что он сам считал важным, что для него самого было значимо, что и в его жизнь врывалось властно, заставляя вмешиваться и высказываться.

Зайцев-прозаик начинался с эссеистских этюдов, с годами перераставшими в бессюжетные рассказы импрессиониста, родственные стихотворениям и поэмам в прозе. Параллельно формировался точно такой же сугубо личностный стилистический облик и его журнально-газетных публикаций. Их главным качеством-свойством стал, повторимся, автобиографизм, проявляющийся в заинтересованном, активном присутствии автора, его «я», его эмоционально выраженного отношения к описываемому. Эту характерную особенность своих выступлений в прессе автор подчеркивал также выбором рубрик. Заметьте – все они дневниковые: «Судьбы», «Странник», «Дневник писателя», «Из воспоминаний», «Давнее», «Былое», «Венок», «Памяти ушедших», «Далекое», «Дни», «Дни. Записи». . Большинство очерков, статей, заметок, открытых писем, рецензий, некрологов писатель опубликовал именно в этих разделах, безусловно, с надеждой, никогда в нем не остывавшей (как у всякого писателя), что они станут книгами. Однако Зайцеву из своей газетно-журнальной мемуаристики удалось составить и издать только две книги: «Москва» (1939) и «Далекое» (1965, обе в т. 6 нашего собр)

Сравнительный анализ «Москвы», «Далекого» и той газетно-журнальной публицистики Зайцева, которая осталась за пределами книг, показывает, что их жанрово-тематические особенности идентичны. Это – отклики «на злобу дня» (литературно-общественные события, годовщины, некрологи), мемуарные очерки о тех, с кем писатель дружил, встречался, спорил, рецензии о книгах, его чем-то заинтересовавших, дневниковые поденные записи и т. п. – то есть автор широко использовал жанровую палитру журналистики и мастерски ею распорядился. Здесь он не претендовал на оригинальность: просто писатель творчески продолжил богатые традиции мировой, прежде всего русской, классики. Точно так создавал, например, свой знаменитый «Дневник писателя» Ф. М. Достоевский, так писали и издавали мемуарно-публицистические книги его современники Д. С. Мережковский («Было и будет. Дневник, 1910 – 1914», «От войны к революции. Невоенный дневник. 1910 – 1917»), З. Н. Гиппиус («Литературный дневник», «Живые лица»), М. П. Арцыбашев («Записки писателя») и многие другие.

В последнее десятилетие жизни и творчества Зайцев печатал мемуарную публицистику преимущественно под одним названием: «Дни», очевидно, сделав окончательный выбор из многих, перечисленных выше рубрик. (Некоторые из очерков, появившись впервые в «Дневнике писателя», затем были переизданы, в новой редакции, в «Днях»; например «Флобер в России» и др.) Таким образом с немалой долей вероятия можно утверждать, что именно так он назвал бы свою итоговую книгу писательского дневника. На этом названии остановились составитель и издательство «Русская книга», готовя к выпуску мемуарный том Зайцева. Однако внутри тома в качестве его разделов сохранены две главные авторские рубрики: «Дневник писателя» и «Дни», в которые включены в хронологической последовательности также публикации без рубрик, относящиеся к годам соответственно 1925 – 1939 и 1940 – 1972. Открывают книгу некоторые из публикаций 1906 – 1924 гг. (их немного, поскольку в эти годы Зайцев редко отвлекался от художественной прозы).

Название «Дни» скорее всего было подсказано писателю берлинской одноименной газетой А. Ф. Керенского, в которой 29 октября 1922 г. (с первого ее номера) началось активное сотрудничество Зайцева-публициста, только что оказавшегося в добровольно-принудительном изгнании. Здесь впервые увидели свет очерки «Пушкин в нашей душе», «Бальмонт», дневниковые записи «Странник», «Константин Леонтьев», автобиографическая заметка «Прыжок» и др. В годы сотрудничества с газетой «Возрождение» Зайцев пришел к решению печатать свою публицистику как «Дневник писателя» (с 22 сентября 1929 г.). Впрочем, в этот раздел попала примерно треть всего им опубликованного в «Возрождении»: через три года, 18 декабря 1932 г., «Дневник писателя» появился здесь в последний раз, несмотря на то, что каждая дальнейшая публикация Зайцева имела право продолжить дневниковую

рубрику. В нашем томе эта трудно объяснимая «несправедливость» устранена: раздел «Дневник писателя» представляет достаточно многообразно публицистику Зайцева периода 1925 – 1939 гг.

29 сентября 1939 г. также в газете «Возрождение» состоялся дебют рубрики «Дни», словно бы продолжившей (судя по жанрам, темам и характеру публикаций) «Дневник писателя», оказавшийся недолговечным. «Дням», подхваченным в 1947 г. газетой «Русская мысль» и другими изданиями, суждена была жизнь долгая: последняя заметка здесь появилась 5 января 1972 г., т. е. незадолго до кончины Бориса Константиновича.

Зайцев был многолетним сотрудником (штатным редактором и автором) ряда газет и журналов эмиграции. Это обстоятельство давало ему возможность самому готовить к печати, вычитывать и редактировать свои корреспонденции, не позволяя никому другому вмешиваться в них. Вот почему мы обязаны с доверием отнестись к газетно-журнальным текстам: они, а не рукописи были в большинстве случаев для автора окончательными. Тому подтверждение – и его книги «Москва» и «Далекое», повторившие почти без изменений тексты периодики. Некоторые тексты (из-за отсутствия первопечатных оригиналов, что отмечается в примечаниях) нами даются по сверенным с рукописями парижского семейного архива публикациям в книгах «Странник» (Пб.: Scriptorium, 1994) и «Дни» (М.; Париж: YMCA-Press; Русский путь, 1995), подготовленных А. К. Клементьевым при участии дочери писателя Н. Б. Зайцевой-Соллогуб (с ее участием готовился и этот том).

Т. Прокопов

МОЛОДОСТЬ – РОССИЯ

Мои ранние годы проходили в мирной, благодатной России, в любящей семье, были связаны с Москвой, жизнью в достатке – средне-высшего круга интеллигенции русской.

Условия будто и хороши, все-таки это трудно. Из отрока вырастает юноша, уже человек. В своем роде рождение к настоящей жизни. И подспудные силы пробуждаются, стихии томящие и мучающие, и неразрешимые вопросы, и главнейший, может быть, вопрос: что будешь в жизни делать? Чему отдашь силы, которых еще так много и не знаешь, куда их приложить?

То, к чему влекло – литература, находилось в противоречии полном с окружающим: с детских лет инженеры, заводы... Отец был уверен, что и сын его будет инженером, – сын учился, выдерживал конкурсные экзамены – каких только не выдержал!.. и томился потаенными попытками литературы.

Первые шаги всегда тяжки. Вспоминая все-таки свое начало, не могу укорить старших, в чьих руках находились наши судьбы. Скорее удивляюсь их вниманию, терпению.

В 1900 году студентом Горного института послал я довольно большую рукопись свою Н. К. Михайловскому (вместе с Короленко редактировал он журнал «Русское богатство»). Спустя некоторое время разузнал о приемных его часах, отправился к нему.

В большой, очень светлой комнате петербургской квартиры около Литейной, за огромным столом посредине, заваленным книгами и рукописями, – книг было множество и на полках по стенам, – сидел маленький человек с гривой седых волос на голове, умным и скорее приятным лицом. Совершенно неизвестного ему юношу принял очень любезно.

– Рукопись? Да, прочел. Думаю, напечатаем. Но должен послать в Полтаву, Владимиру Галактионовичу. Мы оба читаем.

Не помню, что говорил еще Михайловский. Сам я не мог никакого слова произвести: тот, кто знает, что такое девятнадцать лет, поймет.

Однако навсегда запомнилось, как Михайловский поднялся (и тут ясно стало, что вся сила его в голове и седых кудрях – голова над столом возвышалась совсем немного), протянул руку довольно величественно:

– Молодой человек, благословляю вас на литературный путь!

Можно ли было после этого «продолжать» сопротивление материалов, кристаллографию? Я все бросил и уехал в Москву к родителям.

Владимир Галактионович Короленко жил в это время в Полтаве, был чистейший и простодушный автор, к людям обращен благожелательно. Бывают такие природно добрые натуры. Обо мне понятия не имел. Но вот не только внимательно прочитал, но и ответил подробным, приветливым и сочувственным письмом, отклонив, однако же, начисто эту вещь для «Русского богатства», в чем был и прав, разумеется.

Но остановить меня было уж невозможно. Я и мучился, и еще пробовал – в Москве, тоже неудачно. Все это было для меня важнейшее, самое в жизни первое. Добрался до Чехова, писаний моих и он не избежал. Это грех мой перед ним, зато он, и не подозревая, навсегда отложил во мне скромный, прекрасный свой облик, несколькими приветливыми словами поддержав в юном человеке веру в себя и упорство.

Эти трое: Михайловский, Короленко и Чехов – первые мои крестные, но практически бесполезные. Все гораздо меня старше! Нужен был более молодой, более сверстник.

* * *

В первых годах века издавалась в Москве газета «Курьер». «Русские ведомости» были солидней. Старые либеральные профессора, в сапогах, с рыжими голенищами под штанами навыпуск, в крахмальных отложных воротничках, в июле надевавшие калоши, издавали их. Чернышевский переулок близ Большой Никитской, «Русские ведомости» – официоз интеллигенции русской!

– Нет-с, это в «Русских ведомостях» напечатано!

Значит, уж верно. Если в «Русских ведомостях»...

«Курьер» был моложе, левей и задиристей. Помещался тоже в переулке, но подальше, чуть ли не в Трехпрудном, в доме Мамонтовской типографии. И пейзаж его вовсе иной.

Старых, весьма порядочных и весьма самоуверенных профессоров, находившихся «на посту», «честно мысливших», умеренно осуждавших «реакцию, которая подымает голову», здесь не было. Возглавлял «Курьер» Яков Александрович Фейгин, хроменький, умный и спокойный. В сером пиджачке, но более европейского вида, иногда с цветочком в петлице, сидел он в небольшой, светлой комнате дома Мамонтовской типографии, читал рукописи, корректуры, ходил с палочкой, сильно прихрамывая, и довольно-таки бесшумно управлял своим заведением, где верным ему помощником был Новик, секретарь редакции, – царство ему небесное, – скончался он уже здесь, в эмиграции. Очень обходительный и приятный человек.

А сотрудники пестрые. Вероятно, не так легко было Якову Александровичу находить среднее пропорциональное между, скажем, Иваном Буниным и критиком Шулятиковым, яростным марксистом, стремившимся обратить «Курьер» в боевой орган. Критик же он был странный: например, укорял Тютчева за то, что иной раз он восхваляет день, иной раз ночь (так что нельзя понять, «за кого» он).

Сам Шулятиков, которого я никогда не видал, но о нем слышал только, тоже не совсем был последователен: с одной стороны, марксист, с другой – пьяница. И совсем в русском духе, напивался так, что засыпал на столе в редакционной комнате. А другой марксист, Петр Семеныч Коган, в ином роде, европейском: худенький, с копной черных, в завитке, волос, в высоких белых воротничках, образованный и культурный. Читал историю литературы на Педагогических женских курсах. Когда садился на кафедру, курсисткам видна была снизу одна кудлатая его голова. Они прозвали его пуделем. Но уважали. И конечно, влюблялись.

Однако же больше всех выделялся в «Курьере» Леонид Николаевич Андреев. Знакомство с ним, доброе его отношение очень мне облегчило первые шаги.

Он был тогда молод, очень красив, с прекрасными карими глазами, ходил еще в пиджаке (позже в бархатной куртке или поддевке: горьковский стиль). Родом из Орла, кончил Московский университет («Дни нашей жизни» – типичный студент с Козихи, но живой, с фантазией, одаренный и в некоем смысле «роковой»). В жизнь вышел помощником присяжного поверен-

ного. Начинал в «Курьере» скромно – судебным репортером, но дарование литературное выдвинуло: кроме отчетов стал писать рассказы и быстро прославился.

Вот с ним получилось, разумеется, легче, чем с Михайловским, Короленко, даже Чеховым. Он хоть и старше, но не настолько. И еще не на Олимпе, свой, как бы старший брат, пробующий тоже нечто новое. Хоть по природе и *совсем иное*, чем у тебя, все же из нашей эпохи, дыхание жизни той же, какой и ты дышишь.

Думаю, я тогда был почти влюблен в него. Он заведовал в «Курьере» литературным отделом. Поддерживал и опекал меня, печатал и Ремизова, тоже только что начинавшего. Делал все это не без сопротивления в самой редакции. Но Фейгин прикрывал. Ему и Андреев нравился.

Летом 1901 года появилась первая моя вещица в «Курьере», написанная в новой тогда манере. За ней и другие. В 1902 же году рассказ «Волки» открыл дорогу и дальше – его перепечатали в альманахе кружка «Середа» и меня самого туда приняли.

«Середа» был кружок писателей – реалистов (в противность появившимся уже символистам). Писатели туда входили немолодые, серьезные и очень московской закваски. Собирались по очереди у Андреева, Телешова, Сергея Глаголя – каждую среду. Читали новые свои вещи, а потом – обсуждение и ужин, с водкой, закусками, всякою вкуснотой. Дух приветливый, мягкий. О прочитанном говорили и разбирали, но дружески и благосклонно. Больше всех читал Леонид Андреев. Он и я, да еще Сергей Глаголь (врач и художественный критик) представляли левое крыло, «модернистическое». Бывал иногда Горький, очень редко Чехов – проездом через Москву. Так же случайно Короленко, Куприн, Елпатьевский. А обычные – Андреев, Ив. Бунин, его брат Юлий, Вересаев, Телешов, Тимковский, Белоусов, Махалов, Гославский – настолько ушедшее, plusquamperfectum[1], что теперь почти все имена эти ничего не говорят, да и из людей «Середы» жив в Москве один Телешов, а здесь – Бунин да я.

Легендарными кажутся сейчас эти московские сборища с благодушными разглагольствованиями, ужинами, шуточками, острословием. Встречаясь, целовались – не от особенной любви, а тоже больше от московского благорастворения воздухов. Давали клички друг другу по названиям московских

[1] Давно прошедшее *(лат.)*.

улиц. Юлий Бунин – Старогазетный переулок, Телешов – угол Денежного и Большой Ленивки, Гольцев (редактор «Русской мысли») – Бабий городок, Андреев – Новопроектированный (переулок). Общий же тон был очень порядочный и покойный – несколько провинциальный конечно, особенно если сравнивать с Петербургом.

Сергей Глаголь жил в Хамовниках. Выходя от него, мы нередко проходили гурьбой зимней московской ночью со звездами мимо дома Толстого. Забор, калитка, в глубине особняк, не особенно складный, все-таки основательный, темно-бурого цвета (обшит крашеным тесом). Собственно, помещичья усадьба средне-высшей руки. Но это Синай.

Толстой не бывал у нас никогда, а если бы появился, то я, например, – и так в те времена робкий, – вероятно, окаменел бы от ужаса. Но он не появлялся, и, хотя мы жили в одном городе, я никогда его не видал, даже на улице.

Гославский был старик с серебряною головой, очень живописный: Бог Саваоф. Но по части литературной слабо. Все ушло в поэтическую внешность. Кажется, это его мучило. За ужином он выпивал основательно и потом, по дороге, впадал в возбуждение. Вспомнился он потому, что как раз у дома Толстого, как раз морозною ночью, когда все мы подымали мерлушковые воротники пальто, он однажды набросился на меня – как выпивший – ни с того ни с сего. Это нередко с ним случалось. Или брань, или восторг. Сегодня брань, и выпала моя очередь.

– Ты думаешь, что по-новому пишешь, так сразу в генералы выскочишь, как Леонид? Нет, шалишь, ты с наше поработай! Вон гляди... Лев Толстой... этот писал не то что ты... или Леонид...

Слова были бурные, а как-то не задевали. При всем самолюбии юношеском просто я тут смеялся. А он поругал, поругал, да и успокоился. Все это привычное. Нынче ругает, завтра обнимать будет. Смиренный Белоусов усадил его на извозчика и увез. Толстовский же дом помалкивал, там за семью замками сидел другой – суровый, великий – старик.

Я писал тогда в импрессионистическом роде, так, как теперь самому мне не очень близко, но, во всяком случае, по-иному, чем Гославский. Очень мрачные вещицы чередовались со светло-восторженными. Сергей Глаголь, высокий, изящный, с худощавым приятным лицом, весьма ко мне благоволивший и много мне добра делавший, говорил иногда, заправляя назад прядь седых длинных волос:

– Зайчик, мне твои сладости не нужны. Ты мне напиши с жутью, знаешь, как Леонид. С жутью.

Милый Сергей Сергеич любил «жуть».

Такое было поветрие. И Леонид весьма способствовал «жути» этой. На наших средах читал и «Бездну», и «Красный смех», и «Василия Фивейского». Все равно, он для меня навсегда остался живым, острым, зажигательным.

* * *

Что-то уже готовилось тогда, назревало. Все были задеты революционностью, одни больше, другие меньше (я совсем меньше). Все-таки в моей собственной квартире бывали явки социал-демократов. Идешь по Арбату, навстречу тип в синей косоворотке и мятой шляпе: к тебе же, и у твоей же жены в диване спрятаны шрифты, если не сказать еще бомбочки.

То же самое и у Леонида Андреева, но в большем размере. Он и жил шире, у него больше бывало известных людей – адвокаты, писатели.

Помню на его вечерах Горького, Шаляпина. Горький ввел моду писателям одеваться под мастерового – в блузах, поддевках. Не все следовали, Чехов всегда ходил в пиджачке, Бунин тоже, но Скиталец, Андреев...

К Горькому я всегда был несправедлив, – да и сейчас не могу с собой совладать: плоское лицо, скуластое, вздернутый нос, небольшие глаза... Вот подходит к нему курсистка:

– Алексей Максимович, каков ваш взгляд на Ницше?

– Ницше? (Покручивает небольшие усы. Другая рука за ременным пояском блузы.) Карманный тигр.

Шаляпин тоже в поддевке. Вокруг него дамы. Тот же волжско-бурлацкий стиль при редкостном даровании. Нет, Чехов среди них одиночка. Впрочем, у Андреева и не бывал.

А кишели еще адвокаты. Леонид сам принадлежал к молодой, левой, адвокатуре. И вот сотоварищи его тоже на этих вечерах упражнялись. Адвокаты, адвокаты? «Я не буду спускаться в банальные низины психиатрической экспертизы...» – впрочем, что говорить: почти все они, тогдашние молодые и левые, позже погибли от революции. Не подымается теперь на них рука. Упокой, Господи, их души.

А Горький? Буревестник? Друг Ильича? Можно ли было *тогда* думать, что революция, которой он так жаждал, ему же и поднесет кубок с отравой?

Подготовка же все шла. Банкет в «Эрмитаже» по случаю сорокалетия Судебных уставов. Отличные уставы, гордость наша, но до чего же тоска была слушать честных стариков из «Русских ведомостей»... Все «на посту», многозначительно разглаживают бороды, все в упоении от себя и уверены, что вполне могут спасти Россию от «надвигающейся черной реакции». Потому что знают, где «огоньки», где «факелы в беспросветной мгле окружающего». Будьте покойны, приведут куда надо.

Колонный зал «Эрмитажа», триста интеллигентов, осетринка америкэн, сбившиеся с ног «человеки» в белых рубахах и штанах... – нет, отсюда уж лучше улизнуть в Литературный кружок.

Кружок этот, а вернее, клуб, конечно, часть истории литературной и культурной Москвы того времени.

Первые его (героические) годы – скромное помещение в Козицком переулке близ Тверской. Толстолицый психиатр Баженов в жакете, с цветочком в петлице, рыжеватый Бальмонт с острой бородкой, чтения об Оскаре Уайльде, гимназист с гривой волос вниз на лоб, возглашающий сверху, с эстрады: «Окунемся в освежающие волны разврата!» – юные дамы, зубные врачи, декаденты, поэты, художники...

Позже Дмитровка, дом Вострякова. Тут много просторнее и богаче... Зал на шестьсот слушателей, наверху ресторан, где-то в боковых помещениях игорные залы. За круглым большим столом «материальная основа цивилизации»: игроки – карточной игрой и питался кружок денежно. (Позднею ночью, среди разных других, в зале с бледною живописью модерн можно было видеть сражающихся за зеленым сукном Достоевского и Толстого: сыновей.)

Но пройти слегка в сторону – тихие коридоры в коврах, читальня, библиотека в двадцать тысяч томов. В большом зрительном зале по вторникам чтения, диспуты. Кто-кто только ни выступал! Кто с кем ни спорил, ни состязался из московских и петербургских, с именами крупнейшими, как Бальмонт, Мережковский, Брюсов, до меньших, типа Волошина, – всех не переберешь, во всяком случае, это была некая кафедра литературная предреволюционных лет. Сколько бурь, споров, ссор, примирений, сколько ночей наверху в ресторане... – это молодость моя, уже определившаяся, уже литературная и более легкая.

* * *

Последнее десятилетие перед войной считается временем «мрачной реакции» – это по взгляду революционных партий. Им действительно приходилось туго. А Россия, несмотря на явно неудачное правительство и вымирание ведущего слоя, росла бурно и пышно (тая все же в себе отраву) – росла и в промышленности, земледелии и торговле, народном образовании. Все это на наших глазах, хотя тогда, по беспечности наших юных лет, мало мы этим занимались.

Занимались же литературой. Тут двух мнений быть не может: расцвет существовал. Нравилось это или не нравилось, но литература, поэзия (в особенности), религиозно-философское кипение – все это находилось в бурном и обильном подъеме. Возникали «течения», возникали писатели, поэты, издательства. Напряжение было большое и творческое.

Некоторые называли даже начало века «русским Ренессансом». Преувеличенно, и не нес Ренессанс этот в корнях своих здоровья – напротив, зерно болезни. Все-таки в своем роде полоса замечательная.

В 1906 году, осенью, возникло в Петербурге новое издательство «Шиповник» – его основали молодой художник З. И. Гржебин и С. Ю. Копельман. Первою же книжкой «Шиповника» оказались как раз мои «Рассказы»: с этого началось знакомство, а потом и долгие дружественные отношения мои с «шиповниками».

Стали они выпускать альманахи (тоже «Шиповник») – с большим успехом.

Теперь приходилось нередко бывать в Петербурге: я был постоянным сотрудником, одно время даже редактировал эти альманахи.

Литературный, а позже и театральный Петербург предстоял теперь предо мной. Все было интересно, кипуче – новые встречи, люди, знакомства. Писатели, художники «Мира искусства», поэты. Мы останавливались с женой у Г. И. Чулкова, друга нашего, «мистического анархиста». Бывали у Гржебиных, у Андреева (переехавшего сюда), Сологуба и Блока, Вячеслава Иванова. На обедах у Гессена знатные кадеты рассуждали о политике. В ресторане «Вена» литературная богема кишела, рангом попроще, но тоже модная.

«Честных», «идейных» – типа народников из «Русского богатства» – я тогда в Петербурге не встречал: Михайловский скончался, Короленко тихо доцветал в Пол-

таве, и не они были в моде. Нас влекло к более молодому – видеть пришлось многое: и перворазрядных, как Блок, Вяч. Иванов, Сологуб, и второй сорт, и третий.

Рестораны, собрания, редакции, рукописи... – сказать, что жизнь не наполнена, не остра, было б неверно.

От Блока осталось по Петербургу ощущение юноши – поэта, вот уж именно *поэта*, в романтической домашней блузе с белым отложным воротничком – неподвижное, несколько каменное лицо, правильная кудреватость, прохладные глаза. Очень изящен, очень. Изяществом нравился, а подспудного его тлена по молодости лет (собственной) как-то не замечал. Сказать тогда, что он напишет «Двенадцать» и сам задохнется в них... – никогда бы не сказал. Ну что же, Россия (и литература ее) и неслась вперед, и было в ней нечто уже обреченное. На самых верхах культуры ее Блок, может быть, выражал уже роковую трещину (как выражал ее и Леонид Андреев, но простодушней и провинциальней: а все-таки они друг к другу тяготели, что-то у них было общее).

Во всяком случае, Блока вспоминаю со щемящею грустью...

У Сологуба бывали мы на Васильевском острове, где-то в линиях. Старый дом, старомодная квартира при городском училище, уездная обстановка, чуть ли не фикусы и герани, лампадки у образов – это не он, а сестра его, тихое и безответное существо. Среди всего этого хозяин: лысый, в пенсне, умная и спокойная голова с какими-то диаболическими устремлениями, но по виду бесстрастный и тусклый. И сам, и в квартире все точно в паутине. Но гостей принимал приветливо. Усаживал, угощал: «Кушайте, господа, пожалуйста, кушайте» – довольно-таки ледяным тоном. А за обеденным столом Мережковский, Гиппиус, полная и цветущая Тэффи, Чулков, разные молодые писатели. Разгуливает среди них как бы спокойный демон с блестящею лысиной, в пенсне, с бородавкою на лице... – стихи его замечательны! И конец жизни, уже в революцию, мучительно-горестный... Кажется, мало что и осталось от «демонизма» Васильевского острова: сужу по его стихам предсмертным...

Да, это все на нашу «Середу» в Москве непохоже.

Может быть, самый большой след, «учительный», оставил тогда Вячеслав Иванов – у него собирались по средам, это называлось «на Башне» – он высоко жил (как и высоко мыслил), где-то в поднебесье. На среды его набивалась уйма народа. Тут в памяти остаются Городецкий – высокий молодой лось, очень даровитый (а потом быстро сошедший), и Кузмин, с голым черепом, зачесанными височками: талант-

ливый, путаный человек, смесь александрийских песенок и русской болезненности, поэт, музыкант немножко, в гостиной Вячеслава Иванова напевавший за пианино, себе аккомпанируя, свои причуды.

Вячеслава Иванова изнутри узнать трудно, я и не берусь. Но что этот высокий и несколько медогласный человек с наружностью типа Тютчева был интереснейшим из всех известных мне собеседников – несомненно. Он странно жил. Вставал в шесть вечера, ночь же всю бодрствовал, ложился, когда люди выходили на работу. Иногда звал меня к себе отдельно, уводил в кабинет, заставлял читать страницу прозы (моей), разговаривал, разбирал... – разгорался, и беседа его заводила на такие высоты, что сейчас, вспоминая, просто удивляешься, как и когда это происходило: будто в другом мире.

Был он представителем особенным, культурой даже перегруженным, довоенной России в литературе: поэт, ученый, утонченнейший стилист и провозвестник не индивидуализма самозаключенного, а «органической эпохи», «соборности» – вот о чем мечтал, живя в России, несшейся неудержимо к такой «соборности», от которой сам он в некий срок на всех парусах выплыл в Италию. Два года назад я навсегда попрощался с ним в Риме, и опять, как в молодости, но теперь уже в последний раз, пахнуло на меня великой русской культурой мирных времен.

* * *

В нижних этажах писательства Арцыбашевы, Каменские открывали «новые подходы» к вековечному. Вопросы пола разрешались в ресторане «Вена», разрешители искренно считали себя пророками. Гимназисты, гимназистки провинциальные усиленно вербовались в «огарки». Осуществляли заветы пророков. Иногда погибали во мраке и отчаянии – и все это были знаки, невидимая рука писала уже на стене роковые слова (погибающих эпох).

А мы жили, писали кто как мог. Очень, очень немногие чувствовали, куда идет дело. (Среди них Блок. В дневниках его, того времени, много предчувствий...)

Вспоминая теперь эту полосу, перед войной, видишь ее в другом свете.

И яснее становится, куда вело это все. Но тогда общая распущенность, беззаботность, прямо даже детскость казались ес-

тественными. Мы были молоды, в Москве и деревне жили все-таки здоровее, чем петербургские люди, – освежал воздух полей тульских, каширских, освежала Италия, куда, как в страну обетованную, неудержимо влекло и откуда всегда возвращались напоенные красотой и поэзией. Да, великой целительницей и утешительницей для некоторых из нас была Италия, и, возможно, если и сохранилось в дальнейшем душевное равновесие и спокойствие, то немалая тут доля веяния самого латинского, прозрачнейшего воздуха ее.

«Умбрских гор синеющий кристалл...» – слова того же Вячеслава Иванова.

А к концу мирной полосы и началу катастроф некое томление и беспокойство достигло предела. Помню это по себе, по окружающему. Неосознанное, но присутствовало. Не то чтобы мы предвидели. Ни о каких мировых потрясениях и русских катастрофах не думали, но тоска была. Вспоминая то время, удивляешься младенчеству своему политическому, удивляет односторонность, сосредоточенность на себе (незнание народа, книжность, одинокая утонченность – грех нашей художнической молодости. Вячеслав Иванов мог говорить о «соборности» сколько угодно, все же квартира его, «Башня» петербургская, была воистину une tour divoire[1]).

Помню весну 1914 года. Я жил у себя в деревне, в нервно-болезненном напряжении, запершись во флигеле, докуриваясь до таких сердцебиений, что казалось – пришел мой последний час. Писал пьесу, необычайно мрачную и казавшуюся замечательной. Писал по ночам, в подъеме, все как полагается... А получилось нечто мучительно-безводное, неплодоносное. Смута была в душе, и в моей жизни – страшные предгрозовые месяцы. Литературно находился я в то время в тупике: ранняя манера (импрессионизма) изжита, тургеневско-чеховская линия – повторение пройденного. А сил много, жизнь не кончается еще, может быть, только вступает в настоящее...

Тучи мы не заметили, хоть бессознательно и ощущали тягость. Барометр стоял низко. Утомление, распущенность и маловерие как на верхах, так и в средней интеллигенции – народ же «безмолвствовал», а разрушительное в нем копилось.

Материально Россия неслась все вперед, но моральной устойчивости никакой, дух смятения и уныния овладевал.

[1] Башня из слоновой кости *(фр.)*.

Не напрасно являлись Андреевы, Блоки. Сколько горечи в дневниках Блока этого времени! А в каком сумраке был Андреев... – про это уж и говорить нечего. Томление их непритворно и искренно. Самими собой обнаруживали они внутренний мрак и опустошенность России. Арцыбашевы, Каменские, «огарки», танго, вдруг так процветшее по столицам, бесконечные кабаре, темные притоны, Маяковские и футуристы, в финансовом мире полный разгул делячества, спекуляции, все растущий раздор между властью и народом – хоть неточно, а все-таки в Думе представленным...

Тяжело вспоминать. Дорого мы заплатили, но уж, значит, достаточно набралось грехов. Революция – всегда расплата. Прежнюю Россию упрекать нечего: лучше на себя оборотиться. Какие мы были граждане, какие сыны Родины?

Во всяком случае – слава Богу, хоть поздно, за громовыми ударами, да как будто очнулись, проснулись. Катастрофы и потрясли, а зато через них лучше засияла лазурь. Кровь, сколько крови! Но и лазурь чище. Если мы *до* всего этого смутно лишь тосковали и *наверно* не знали, где она, лазурь эта, то теперь, потрясенные и какие бы грешные ни были, ясней, без унылой этой мглы видим, что всего выше: не только малых наших дел, но вообще жизни, самого мира... В сущности, произошло то, что всегда происходило, от века. Господь поражает слепительными молниями заблудших – и в смерть и в воскресение.

Но тогда, но тогда – можно ли было думать, что рассеет он нас, как сеятель семя, по всему миру?

Вот и рассеял. И ничего: пережив, претерпев, мы живем по чужим странам, жизнию, никак не героической, все же как можем продолжаем свое.

То оцепенение литературное, которое на меня тогда нашло, тоже миновало. Революция странное действие оказала на мое писание: сперва резко отвела от тургеневско-чеховского вновь в сторону лиризма и импрессионизма (с другим содержанием; и одновременно – отход к общечеловеческому и Западу). А затем, в эмиграции, дала созерцать издали Россию, вначале трагическую, революционную, потом более ясную и покойную – давнюю, теперь легендарную Россию моего детства и юности. А еще далее в глубь времен – Россию Святой Руси, которую без страданий революции, может быть, не увидел бы и никогда.

Те же писания мои, которые помещены тут, за этим введением, рождены Россией трагической. Это часть и моего жизнен-

ного пути. Россия терзающая и терзаемая. Был бы жив милый Сергей Глаголь, может быть, и остался бы доволен («Ты мне дай с жутью...»). Этого, кажется, здесь достаточно, «акварели» никак не найдешь.

Разное в пути видишь, райскими долинами иногда проходишь, но и адскими. Разное замечаешь и на разное отзываешься, как и в самом тебе не один только цвет.

СТАТЬИ
ЗАМЕТКИ
1906—1924

ЗАМЕТКИ О ХУДОЖЕСТВЕ

I

Новый рассказ Леонида Андреева

В февральской книжке журнала «Правда» напечатан рассказ Леонида Андреева «Губернатор». Он занимает 58 страниц, читается без передышки и весит столько, что если на другую чашку положить остальной художественный багаж журнала, – хоть за несколько месяцев – перетянут 58 страниц. Это оттого, что их удельный вес непомерно высок, как у золота.

Рассказ говорит о «суде Божием». Обыкновенный губернатор, старый военный генерал, «махнул белым платком», когда к его дому подошли толпы бледных забастовщиков. Было убито тридцать пять мужчин, восемь женщин и трое детей. И этого стало довольно. До сих пор длинная жизнь губернатора ничем особенным не выделялась; теперь какой-то темный и непонятный ход вещей заносит над ним свою секиру; что-то скорбное, глубокое и божественно-праведное подвигает к его глазам великие скрижали. В них он видит себя и свои злодеяния. «Как будто сам древний, седой закон, смерть карающий смертью, давно уснувший, чуть ли не мертвый в глазах невидящих – открыл свои холодные очи, увидел убитых мужчин, женщин и детей и властно простер свою беспощадную руку над головой убившего». Возмездие идет; вначале оно сквозит только кое-где, в отдельных мыслях, в скользнувшем подозрительном человеке у губернаторского подъезда; но чем дальше, тем оно несомненнее. Подсудимому пощады нет. Он понимает это и сам, с каждым днем ему как-то *беззвучнее* и *безвоздушней* жить: точно между ним и всем миром, даже до домашних и служащих, возникла стеклянная стена. «Это» даже влечет его: последние дни своей жизни он как будто нарочно бродит один, гуляя по городу. Город же вокруг него мертв, ибо все в

сердцах своих подписали ему смертный приговор: он «проклятый», «убийца детей». Он принимает смерть, как собака, на пустынной площади, от трех револьверных выстрелов. Во всем городе нашлась всего одна гимназисточка, «которая плакала» – да и то оттого, что генерал стал собакой, и «никто даже не будет плакать над его могилой». А над всей жизнью, «за нужными мелочами ее, за самоварами, постелями и калачами выступил в тумане грозный образ Закона-Мстителя».

Так проиграл губернатор свою жизнь и честь; проиграл, живя многие годы в уверенности, что строит, поддерживает и делает то, что нужно. Поэт же из этой истории сложил величественное здание, из мощных камней, с огромной серьезностью и мудростью; свободно, нигде не напрягаясь, поднял он на свои плечи один из загадочнейших вопросов человеческой жизни, и с высоты, как божество, произносит свой суд. Суд этот страшен – потому, что глубочайше беспристрастен. Как крупнейший художник, он *не подписывает приговора*, а *ведет суд*, и темное крыло этого суда овевает не генерала, не солдат, а – дальше и глубже – целое гигантское Начало жизни. Я бы сказал, что автор, ничего не навязывая, невольно поставил блистающее «проклинаю» на все *тело мирового зла*, на тот черный, живой организм, только частицей которого, и бессознательной, были жалкие – губернатор, Судак, подполковник, сыщики. Отсюда во всем произведении, при полном отсутствии морализированья – свежий, морской запах Нравственного.

Исполнена вещь в тоне ее содержания: строго, почти молитвенно. Слова и фразы вяжутся четко, прозрачно, с большой простотой и с громадной значительностью. По этим фразам плывешь как по холодному, ясному до дна озеру, и чувствуешь, что и сама вода – ключевая, кристальная. В каждой строчке сквозит огромная сила; читающий сразу теряет способность сопротивления, но автор не забавляется собой; весь свой «холодный жар» он концентрирует на одном – на намерении послужить до последнего издыхания своему художническому замыслу; для него самого это – священное дело, и он с неумолимой упорностью, не глядя по сторонам, протягивает читателя сквозь эти 58 страниц; как будто самого его, как художника, этот конец влечет не менее, чем генерала магнит смерти. И остается впечатление тяжелой пули, идущей ко дну по прямой линии.

«Честность» и правда этого рассказа вызывает в представлении образы людей, как Толстой, Карлейль.

Кажется, что эти прямосердые гении должны бы были положить свое «одобряю» на страницы в журнале «Правда». Кар-

лейль уже написал раз (про сожжение Иоанна Гуса): *«они сделали это нехорошо»*. Я думаю, если бы он встал из гроба и сумел прочитать по-русски это произведение, то написал бы: *«он сделал это хорошо»*.

ЗАМЕТКИ О ХУДОЖЕСТВЕ

II

Новый реализм и сборник «Факелы»

Книга «Факелы», вышедшая под редакцией Г. И. Чулкова и содержащая произведения молодых писателей из «Вопросов Жизни» (по преимуществу), – интересна, как «новый факт». Она интересна новым реализмом, которым дышит от начала до конца. Вероятно, иначе и не могло быть: очень уж напряжен и пламенен воздух вокруг нас. Прежние эстеты отворачивались от видимости: она казалась им слишком мелкой и жалкой: Вилье де-Лиль-Адан в романе «Eve future»[1] изображает *призрак* женщины, созданный магически-научным гением Эдиссона взамен живого, плотского существа. Гюисманс уходил в искусственно созданное одиночество, – нюхал разные запахи, читал редчайшие книги и истекал от гордости, что вот только он один из всех такой необыкновенный. Но, во-первых, эти люди жили в действительной пустыне, в Париже Эйфелевой башни: во-вторых, под стеклянной крышей долго не высидишь, – мир потянет, и еще хватит ли твоей души, чтобы понять и почувствовать всю его глубину, величие и обаятельность!

Наши времена удачливее тех. Теперь ветры дуют буйней и самый воздух жутче: появляются смерчи, ураганы, огненные столбы, и великие стихии жизни кажутся нам величественнее и бездонней грез Вилье. *Они* дышали действительностью, не замечая ее, как не замечаешь воздуха; но во время бури *воздух сам* налетает и заставляет себя чувствовать. Что такое для старого декадента народ? Сборище тупиц, которые не умеют даже прочесть его произведений. И насколько он имел в виду французских лавочников и мелких земельных проприэтеров из Золя и Мопассана – он прав: действительно, тупицы. Но если бы ему показать Его Величество Народ, темный мистический океан, глубь которого мы ежеминутно ощущаем, дело бы обстояло иначе (при условии, что не атрофировано восприятие).

---

[1] «Ева будущего» *(фр.)*.

Положительно, человечество молодеет: новые дрожжи вспучивают его великие хляби и показывают громаднейшие богатства там, где раньше казалась плоскость. Карлейль всегда кричал: «я против баллотировочных ящиков» – но бывают священные баллотировки, и жаль, что он не видал их. Действительно, политика французских купцов ничтожна, но из этого не следует, что ход общественной жизни не несет в себе ничего значительного, и что «делание» внешней жизни ничтожно. Тут мы ошибаемся только потому, что мелкий буржуазный сор заслоняет для нас (в обыденщине) громадные абрисы строящегося.

Как бы то ни было, «Факелы» учуяли дыхание Бытия, и это важно: по мере своих сил и талантов они служат новому, огромному делу – непозитивистскому пониманию «позитивного», действительности. Некоторых из них реальность оглушает, и они берут ее со слишком внешней, истерически-казовой стороны: такова повесть Сергеева-Ценского «Проталина», трактованная в жанре «Сборников Знания», только с большим инервированием и словами вроде «ужас ползал», «стены визжали» и т. п. Но есть и более значительное – рассказы Дымова, Ремизова, Андреева. У Андреева тема взята огромная – сила инерции, темное тяготение человеческих масс к рабству (даже в момент высших напряжений) – и мистика власти. Однако, в исполнении чересчур много бенгальского огня; мало непосредственного общения автора с глубинами народных чувствований, некоторый подмен внутреннего – театрально-маскарадным, что ослабляет вещь; вспоминается «Стена» – от которой так далеко ушел за последние годы этот крупнейший талант.

Стихи сборника лучше. Плохих стихов совсем нет; а в общем здесь больше мудрости и меньше газеты. У Ал. Блока прекрасная «Осенняя воля» – она говорит об осени, Руси, «нищем, распевающем псалмы» и чрезвычайно трогательна. Очевидно, старый Господь Бог дал поэту почувствовать обыкновенную серую русскую вещь ужасно по-глубокому и по-настоящему; оттого так близок сердцу «твой узорный, твой цветной рукав» и «желтой глины скудные пласты». Это подходит к чему-то исконно-народному, находящемуся на бесконечной глубине в резервуаре его духа, – и в тоже время к некоторым последним вещам Андр. Белого («Горемыки» в № 1 «Зол. Руна», 2-е стих. из помещ. в «Факелах»).

В общем надо характеризовать «Факелы» в художественном отношении тяготением к глубокомысленному реализму, реализму не внешне-описательному, а внутренне-проникновенному, углубляющему переживания доведением их до мистики; в философском – позицией «бунта»: возмущением против сырых,

грузных масс реального, которые должны быть, так сказать, переварены, пропитаны светом, чтобы стать атмосферой и содержанием жизни будущего. Но эта «преображенная» жизнь представляется не безвоздушно-небесной, а просветленной плотской. Как видим, мировоззрение монистическое и настолько широкое, что дает возможность встретиться Андр. Белому и М. Горькому. – От книги идет запах молодости, «весны»; многое не сделано, не доделано, но это гораздо лучше старческой законченности и равновесия. Недаром на обложке нарисован пожар. Когда человечьи души горят, это бывает очень хорошо; впереди чувствуешь дороги и просторы:

Из *Нет* непримиримого
Слепительное *Да*!

«ГОРЕ ОТ УМА» НА СЦЕНЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

Как нужно ставить комедию Грибоедова? Ответить на такой вопрос, пожалуй, и не очень просто. Конечно, все мы много раз видели это произведение на сцене, и практикой найден и установлен известный среднеприличный уровень его исполнения. Фамусова делают толстым, Скалозуба глупым, Чацкого «идеалистом». Но все это, разумеется, хорошо только для гимназических спектаклей, для открытия сезона.

Если же спросить: где дух, сердце и главный нерв комедии? Каков ее художественный стиль? В каких тонах она написана и как воплотить эти тона на сцене? – то здесь ответы могут сильно разойтись и даже, быть может, трудно будет столковаться в главном.

«Горе от ума» – произведение исключительное; не только по своим литературным достоинствам, но и по тому, как особняком стоит оно в нашем «пантеоне». Ко всему оно боком. В том роде, как оно написано, ничего до него не было, автор тоже был странный: дал одно огромное произведение и только, – скоро умер и теперь кое-кто даже не вполне уверен, его ли это вещь. Стихи пьесы тоже в своем роде уникум. Но еще замечательнее то, что «Горе от ума» трудно отклассифицировать по признаку: «реализм». С одной стороны, конечно, – реализм, новый, смелый по тому времени, – и все же это не то, что мы видим впоследствии у Гоголя, Гончарова, Островского, Толстого. Настоящий реализм прежде всего сочен, красочен и, так сказать, мясист. В комедии много ярких слов, вошедших в пословицы, но общий ее колорит – суховатая стильность.

Большинство действующих лиц как-то бездушны, в них нет живой игры материи; на всех лежит сероватый налет чего-то такого, что, – если чуть еще усилить его, – обратится в серый картон. Если действующих лиц «Ревизора», например, хорошенько пожать, то потечет сало и еще какой-то живой, теплый сок; из фигур же «Горя от ума» ничего не выжмешь, они все заранее слегка подсушены, они все именно «фигуры»; быть может, даже нечто от марионетки есть в них. (Чацкий, напр., – Скалозуб – безусловно написаны каждый в одном тоне; Фамусов несколько выделяется, но гости, княжны, старухи – опять силуэты в одной плоскости.)

Таким «Горе от ума» представляется нам; быть может, другому глазу оно кажется и несколько иным, но несомненно одно, что режиссеру, ставящему пьесу, как и вообще художнику, творящему нечто, это нечто должно рисоваться совсем определенно. Здесь – первое условие удачи работы. Сказать можно только то, что ярко в самом.

Было ли что-нибудь сказать по поводу «Горя от ума» у Художественного театра? Думаю, – нет. Не говоря о *характере* единства, в исполнении отсутствовало и вообще какое бы то ни было единство. Главного центра, к которому тяготеют детали, не было; впечатление получалось, – что играет оркестр без дирижера. Отдельные таланты были – но этого мало.

Когда шла «Чайка» или «Дядя Ваня» – невидимо присутствовала душа Чехова. Души Грибоедова нет, – вместо нее воспринимается масса деталей, отдельные образы, иногда удачные (Лилина, Качалов), иногда режущие глаз (Станиславский, Германова). Выходя из театра, спрашиваешь себя: что заинтересовало этих талантливых людей в «Горе от ума?» Пусть их понимание расходится с нашим, – но все-таки где же оно? Ответа нет.

Вероятно, «Горе от ума» просто не в репертуаре Художественного театра; нельзя безнаказанно быть превосходным Тригориным и Фамусовым, и т. д. Очевидно, душа организма, называемого Художественным театром, звуча в тон с духом Чехова, Гауптмана, иногда Ибсена, – не соединяется с Грибоедовым, и артисты поют не свои арии.

«Художники всех стран, познайте самих себя».

НАШ ПРИВЕТ М. ГОРЬКОМУ

Я видел Горького в последний раз восемь лет назад, осенью 1905 года. Жил он тогда на Воздвиженке, против архива Министерства иностранных дел. Мне пришлось быть у него раза

два. Помню атмосферу кипучей сутолоки в квартире. Видно, что постоянно приходят посетители, знакомые и незнакомые, и ведет их сюда обаяние имени, облика хозяина. Помню и его самого – высокого, несколько сутулого, широкоплечего. Тогда кончался «блузный» период русской литературы. Надо сказать, что на Горьком блуза всегда имела вид настоящий, не оперный. Вообще, когда его вспоминаешь, то самое лучшее в зрительном впечатлении – это народное: грубоватая некрасота лица, но большая его характерность и тот мужицкий аристократизм, который свойствен, например, лицу Толстого. Хорош у него был говор – тоже очень коренной, крепкий. Думаю – отсюда же лучшие черты его дарования.

Он был тогда очень оживлен, внимателен, интересен. Действовал на собеседника, особенио молодого, сильно. Не говорю уж о социал-демократах, смотревших ему в рот.

Этот человек, в котором, быть может, именно человек ярче художника, восемь лет пробыл вне родины. Родину он любил и любит, хотя, кажется, очень по-интеллигентски. Родине он дал что мог, жизнь свою литературную прожил серьезно, честно, и потому облик его имеет значительность. Родина может и должна его приветствовать, вспомнить о самом хорошем, что в нем есть.

УДОБНОЕ И ПРЕКРАСНОЕ

Кому нужен белый декабрьский день, летающие галки, золотая главка церкви за голыми деревьями, широкие, спокойные улицы, вкусный воздух зимы?

Наши дела и события нашей жизни не изменились бы, если бы этого не было. Всем, кто любит странствия, блужданья по незнакомым местам, кто любит море, звезды, ветры, снега – всем им говорят люди дела: «Это прихоти – надо работать».

Положительный человек прав. Он сидит в бане, конторе, в суде, парламенте, в думе, и он не знает бесцельных действий, бесцельных мыслей и чувств, бесцельной и милой природы. Все, что он делает, – разумно, и направлено к определенным целям. Он работает – некогда ему допускать бесцельное. Окружен он себе подобными, устроителями и хозяевами жизни, которые тоже трудятся, в своем деле творят, торопятся, и торопят: если не быть быстрым, обгонят. Им на смену подрастают толпы новых людей – молодежь – и всем нужно дело, нужно увеличивать удобное, чтоб оно росло, одевая собою все. Им тоже должно стать некогда. Пусть уходит голубое небо прекрасного.

Рост удобного и его господство видим мы постоянно. Принято называть его нашествием американской культуры. Быть может, вернее определить: немецко-американской.[1] Гений этой малой культуры есть правильный, разумный, чистоплотный, экономический и бездарный распорядок жизни. Живя, человек должен чувствовать себя как в первоклассном отеле: все предусмотрено, все к его услугам и нечего беспокоиться. Чувства благовоспитанны и культурны. В меру человек добр, в меру честен. Страдать, мучиться за грехи ему не полагается, ибо нет грехов, да и страдание вещь неудобная: мешает работать. Что же касается трагедии, то это вздор: ее выдумали неврастеники, от нечего делать.

И скромный завоеватель идет среди нас. По русской земле он шествует не так еще твердо, – русские некультурны, это «раса», которая должна быть преобразована симпатичным культуртрегером. Он понимает, что всего сразу не добьешься, но он терпелив и невзыскателен. К тому же, он действует во имя своего бога: удобства. Он не будет унывать, у него идеалы!

Достоевский видел и понимал его. Всей страстью великой души он его ненавидел, и был склонен считать силой дьявольской. Культуртрегер тоже не одобрил Достоевского, устами Цаделей, Брандесов, малый человек сказал: «начиная с «Преступления и Наказания» талант Достоевского падает. «Идиот» очень слаб, а «Братья Карамазовы» такая длинная и скучная история, что ее не могут прочесть и русские».

Со времен Достоевского малый человек сделал огромные завоевания. Он обнял всю жизнь. Он неутомимо нивелирует, приспособляет человеческие души к обиходному образцу, изготовляет духовную пищу, направляет, скромно повелевает. И по-прежнему, если не больше, ненавистны ему те, кто ему мешает.

Кое-кому, однако, и он мешает. Как бывает всегда, накоплению сил на одном полюсе соответствует их концентрация на другом. Те, кто любит прекрасное – бесцельное и великое *настоящее*, – те в современной жизни, чувствуют себя одиноко, отрезанней от океана торжествующих, но теснее связанными друг с другом. Есть они, конечно, во всех странах. Былое русской страны накладывает на тех, кто живет в России, особые, русские бремена.

Каковы бы ни были их силы, они должны помнить, что они дети народа, давшего в своей религии, искусстве, поэзии и философии образцы высочайших душевных проявлений. Надвигающемуся врагу русский человек должен противопоставить родные святыни. Осененный ими, глядя в страну великого, он может идти

---

[1] Я отличаю большую германскую культуру от молодой немецкой.

спокойным, пусть и одиноким, путем. Наверно, широкой жизни он будет малопонятен; но, сознавая, что путь его истинный, пусть он не поддается. Если же в глазах мира будет сочтен за безумца, то не считает ли он уже этот мир безумствующим?

<СЛОВУ – СВОБОДА>

Гнет душит свободное слово. Старая, старая история. Кто станет спорить, убеждать, доказывать? Убеждать не в чем. Все ясно! Но еще раз, как всегда было и всегда будет, мы подымаемся и говорим: «Сейчас, именно вот теперь, делается дурное дело, совершается насилие над человеческим словом. Не забывайте, что дурное – дурно!» Вот наши слова. Жить же, мыслить, писать будем по-прежнему. Некого нам бояться – служителям слова. Нас же поклонники тюрем всегда боялись. Ибо от них и их жалких дел останется пепел. Но бессмертно слово. И осуждает. Ни сломить, ни запугать его нельзя.

<О ТУРГЕНЕВЕ >

Слава шумная пришла к нему в начале шестидесятых годов, после «Отцов и детей». Пришла потому, что затронул он «общественное явление», нигилизм. Я думаю, что Базарова Тургенев написал очень правдиво и верно. Радикалы, однако, были недовольны. Поднялись нападки. Они и дали славу.

Тургенев написал еще несколько романов о современности – «Дым», «Накануне», «Новь». Здесь, как и в «Отцах и детях», умно, покойно, своим круглым, по-настоящему великорусским языком он говорил о делах и вещах ему не близких и художественно мелких. Все эти Базаровы, Инсаровы, Соломины, Кукшины и Машурины не имели зерна очарования. Поэту нечего было с ними делать. Нигилисты не могли остаться на полотне положительного, любовного художника, каким был Тургенев. Они хороши для сарказма, как для Достоевского компания из «Бесов». Но сарказм не область Тургенева; полюбить же их не за что. И на них он терпел неудачи, при всем своем таланте, уме и наблюдательности. Его истинные удачи и настоящая прекрасная слава основаны на другом, что он изображал, – на том личном и вместе национальном, чем одухотворял он лучшие свои творения. Он написал Лаврецкого в «Дворянском гнезде» и Лизу, Рудина, Зинаиду из «Первой любви» и ряд меньших обликов, где выражено *русское* лицо, всегда близкое душе автора и близкое и всякому русскому, ибо

сказаны в них наши родные черты: и прелестное, что есть в русском, и печальное, слабое и неустроенное, неприспособленное, непрактическое – вместе с милым и скромным, донкихотским, иногда благочестивым, часто незадачливым. Давно указано на тургеневских «лишних людей» и на стихию женственного, разлитую в его творении. Правда, в Тургеневе эти свойства были; они очень сильны в русской природе, и оттого любимые его люди пассивны, мало кузнецы, но никогда и не наглецы. Они в стороне от жизненных большаков, где орудуют люди с волчьими зубами. Их любви, дела, радости и неудачи, меланхолическое раздумье, слова элегии, изящество, аристократизм образуют ту «категорию тургеневского», о которой правильно заметил Ю. И. Айхенвальд, что она – главное в наследстве Тургенева. Действительно, «тургеневское», некоторый тончайший эфир его души, пронизывает все написанное им, и сквозь недостатки, устарелость приемов, нередко – слабость архитектуры (в больших вещах), остается очаровательным и вечным. Это «тургеневское», повторяю, вместе – и очень русское, сколь ни подчеркивал он своего западничества. Не напрасно он родом из Орловской губернии, писал ее, как и Калужскую, наверно – знал Тульскую, писал Москву, Кунцево, Нескучный сад. Говорят, он удивительно рассказывал. Но и в его литературе чувствуешь коренной великорусский говор, с мягкостью и круглотой, с великой подлинностью и тем удивительным равнодействием культуры и стихии, природы, какое редко встретишь. В его книгах говорит барин, взявший все теплое и живое у мужика, леса, зари. Его язык не столь великолепен и выделан, как у Флобера или Гоголя, не столь божественно легок, как у Пушкина. Он иногда по-старомодному важен, иногда (в лирике) словоохотлив и не сложно-музыкален, но его прелесть в естественности, в том неизменно приятном и радостном ощущении, какое от него остается.

Этими средствами души и языка Тургенев отлично писал кроме больших фигур разных простых орловских мужиков и баб, и детей, и егерей, и певцов, и старого итальянца Панталеоне, и луга, и леса Полесья, и зори, и тетеревов. Он создал «Первую любовь», «Дворянское гнездо», «Рудина», он отлично дал любовное в «Дыме», далее идут «Ася» и «Вешние воды» – вновь с любовью и старой Германией, Рейном и руинами, «Записки охотника», «Фауст» и другие и предсмертные горькие и мистические произведения – «Клара Милич». Каково его отношение к религии? В нем, думаю, были струи религиозности. Но и мешало что-то. Быть может – та же слабость, половинчатость. Его душа вряд ли была довольна здешним. Но до конца, Истину запредельную не возлюбила.

Тургенев остался и остается в первом ряду нашей литературы как образ спокойствия и меланхолии, созерцательного равновесия

и меры, без сильных страстей, облик благосклонный и радующий – изяществом, глубокой воспитанностью духовной; женственный и как бы туманный. Область влияния его – главнейше молодые годы. Чрез Тургенева каждому, кажется, надлежит проходить.

И писавший эти строки рад, что отрочество и юность (раннюю) освещал Тургенев. Ему обязан он первыми артистическими волнениями, первыми мечтами и томлениями, может быть, первыми «над вымыслом слезами обольюсь». Это чувство к Тургеневу, как к «своему», «родному», не оставляло и впоследствии, выдержало Sturm und Drang[1] модернизма и спокойной любовью осталось в зрелые годы.

ТЕНИ БЛАГОСТНОЙ

Облик, с детства знакомый, с детством и юностью связанный, в юности познанный, раз навсегда, и полюбленный. «Лес шумит» и «В дурном обществе», «Сон Макара» и «Йом Кипур» – многое ужс забыто, но в ребяческое ссрдце принесен свет теплый, ласковый, и там остался.

Кажется, такой же был и в жизни Короленко: мягкий и простой, с душой, открытой детям, с делом, устремленным к людям благосклонностью. Говорят, дети любили его очень. Когда являлся он на дстский праздник, в гимназию, приют – дети завладевали им, цеплялись, лезли на колени, тормошили, не давали продохнуть, но это так и надо было, он не удивлялся.

Почему бы Короленко рассердился на детей? Не за что. Он и на взрослых-то сердился мало. Раз навсегда почувствовал в них братьев, с этим вышел в жизнь, с этим в могилу лег. Братству, человеколюбию отдал долгие годы бытия, – прожил лет семьдесят, – и за отмеренный судьбою срок вряд ли ленился, вряд ли дни свои коптил напрасно.

Путь его неторопливый, но наполненный. Если писание, литература, то за ними – человечество, где печали, беды, нужды. Если работа, деятельность – опять-таки все – малым сим, народу темному, крестьянству, обездоленным и слабым. Пострадать за это? Очень просто, можно и в Сибирь быть сосланным. Но это мелочь. Сошлют, а там ведь тоже люди, дети, инородцы, вряд ли не хватило б ему дела.

И не зря родился он в России – горестнейшей из подлунных стран. Много ли довольства, света? Скорби же всегда довольно, помогать

[1] Бурю и натиск (*нем*).

кому – всегда найдется. Это знают все, а он особенно. И сам он в жизни мало «вкусил меду». Не для того явился. Да и некогда, наверно, было. Там мултанских вотяков гонят на каторгу из-за религии – надо вмешаться и писать, в суде держать речь. Там голод – вымирает Русь. Кто же волноваться будет, собирать и помогать? Владимир Короленко, разумеется. Еще кого-нибудь сошлют, а там студенты захирели, там громят евреев – выходит на базар писатель, русский, безоружный, унимать толпу. Там дело Скитских, снова недороды, комитеты помощи, и так до бесконечности. За всеми не поспеешь.

Но спокойный, добрый путник в меру <...> бескрайней, – где проходит, там проносит свечку света, справедливости и правды. Так уж прочно с ним срослось имя всеобщего заступника, безмездного ходатая, воина невоинственного. Вся жизнь его – борьба; но только крови нет на жизненном пути. Нет ни мечей, ни лат, ни пик, а только слово. Да и слово-то не бурное. Вряд ли патетичен он. Голос его не такой уж громкий, но вот слышен он везде, где надо.

Когда дети стали гибнуть тысячами в наши дни, услышала ж его Европа и Америка, давали пропитание в «Лигу спасения детей», им возглавляемую. Когда гражданская война шла у Полтавы, кто ходил с красным крестом спасания гибнущих, из лагеря в лагерь, мимо политики, во имя человека? Один Владимир Короленко. Многих спас он, как и некогда спасал во времена погромов. Другого бы запрятали давно, но за ним слава, жизнь безупречная и народная любовь и в нем взор мягкий, хоть и укоризненный. Просто пред ним стыдно людям.

Приманками мамоны Короленко трудно было взять. Жир, сытость – не его стихия. Путь русского писателя эпохи героической, путь нищенства, свободы. Короленко помогали жители Полтавы, как своему праведнику; sancta povertade, святая бедность, некогда начертанная девизом в сердце у Франциска из Ассизи, верного ученика Христа, прошла и через дело Короленко, мало Христа знавшего. И в этом отношении он своеобразным францисканцем – хоть без капюшона и веревки – был.

Ныне Короленко умер. Русская литература давно вписала имя его в свои святцы. Давно легенда обвила его. Легенде, тихому и светлому почету, связанному с обликом печальника, заступника и добра делателя всея Руси, надлежит расти, и это будет так, конечно, пока не мертва Россия, живы люди и сердца не очерствели.

Тени благостной, скромной в жизни, деятельной в любви, благородной в слове, страннодприимной, заступнической, – низкий поклон от нас, чье детство, юность он озарял, чьи годы взрослые наполнил чувством почтительного изумления.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

1925—1939

ПУШКИН В НАШЕЙ ДУШЕ

Довольно скоро после смерти Пушкина журналисты объявили, что он устарел. Другие будто бы задачи и другое время. С резвостью, истинно ребяческой, пытались поколебать его треножник. Тяжко было «пушкинству» в шестидесятые годы: писатель барский, малопрогрессивный, бесполезный. Для школьников невнятна, значит, не нужна высшая математика культуры. Но ведь не одни же школьники... Забиваемый иногда журнализмом, шел поток подземный, не нуждавшийся в аплодисментах «чуткой молодежи»; малопопулярный и глубокий Тютчев, Фет, Тургенев, Аполлон Григорьев, Достоевский независимо от всяких верхоглядов Пушкина святыню охраняли – в самые реакционные (духовно) годы. В 1880 году Достоевский и Тургенев в знаменитых речах на открытии пушкинского памятника вывезли поэта из уединенной полутьмы в большой «народ». Тут Пушкин входит в легендарное, неоспоримое. Поздно и смешно его корить и «колебать»: уж лучше будем изучать, учить по нему детей и молодых писателей.

Два последних дела Пушкину почти помешали. Учителя стали с ним надоедать, критики и журналисты им одергивали молодых писателей: Пушкин, вот где язык, стиль, рифма абсолютная. А уж являлся русский символизм начала века. И в ответ, во имя воли и своезакония, кое-кто из молодых тогдашних против пушкинской непререкаемости будировал.

Некое неполное довольство Пушкиным проявил и Владимир Соловьев, в статье о жизненной судьбе его и смерти: очень осторожно, с оговорками, признавая все величие его поэтическое, Соловьев не одобрил гордыню Пушкина, приведшую к *не*христианскому концу. Соловьев судил с высочайшей точки, многое имел для права так судить, и все же... Будто взял задачу

выше сил, не той ступени иерархической. Но его отношение есть тип отношения к Пушкину – и очень важный. Об этом ниже.

В общем, русский символизм начала века Пушкина превозносил, оценивал более тонко и глубоко, и слова о нем Мережковского, Вяч. Иванова, исследования о его ритмах Белого – суть слова и дела настоящие. Так и должно было быть, ибо в русском символизме жила традиция большой духовной культуры – и была она во многом пушкинскому времени созвучна (отсюда – прославление Тютчева и Баратынского, более углубленная оценка Гоголя).

Если символизм явление духовное, то выплывший к десятым годам века футуризм есть ранний сигнал того мрачно-грубого и механически-спортивного, что дало «великую» войну и «великую» революцию. Мы в нем и посейчас.

Конечно, футуризм на Пушкина восстал. Как станут дружить духи тления с духами жизни? Пушкин – поэзия, и облегченность, и улыбка, космос; футуризм – развал и гибель. Что же общего? Конечно, долой Пушкина «с корабля современности». И, конечно, тем, кто за Пушкина, нельзя быть с мертвецами и слепыми.

Литературно футуризм не силен, и в Италии, например (откуда вышел), он уже отцвел, во Франции, по-видимому, он ничтожен. Латинская земля враждебна его формам. Но механически-машинный, материалистический дух дает себя знать и в Италии, и во Франции, не говоря уже о России и Америке, – повсюду – погрубением жизни и литературы. Натурам более глубоким снова предстоит спускаться в катакомбы. По-новому, но в некотором смысле и похоже – Пушкину вторично надлежит отходить в некую тень. Если под современностью разуметь аэропланы, бокс, кинематограф, спортивные романы, комсомольство и тому подобное, то ясно, что *такая* современность должна Пушкина отбросить. Поэзии с наглеющей материей не по дороге.

Но жизнь сегодняшняя ведь не вся этим исчерпывается. Есть и такие, кто свирепую и пошлую эпоху нашу переносит, что-то *из себя* ей противополагая. Кому же именно из них и что Пушкин дает сейчас? Как он живет в живых сердцах? Каков роман душевный *нынешнего человека* с Пушкиным?

Весь ход событий мировых так складывается, что в теперешнем христианине все сильней мотив апокалиптический. Зрелища колоссального торжества зла, насилия и крови все ясней рисуют морду «выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его... десять диадим, а на головах его

имена богохульные». Дух культуры механической дает свои плоды. На наших глазах человечество глупеет, опошляется и свирепеет – явно; христианин дня нынешнего гуще и теснее льнет ко христианину, ко кресту, Христу, противополагая торжествующему интернационалу сытости, богатства и подделочного братства истинный интернационал любви. Вавилону, городу крепкому, – Иерусалим небесный.

Если Соловьев упрекнул Пушкина за неправедный склад жизни, то теперешний воинствующий христианин, пожалуй, скажет: Пушкин слишком *не* воинствен, слишком он нейтралитет[1], слишком au-dela[2] трагической борьбы, таинственный языческий певец, Арион, готовый «ризу светлую свою» сушить на солнце после кораблекрушения, и в каком-то смысле, по-другому, чем простецы годов шестидесятых, можно упрекнуть Пушкина.

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Нет, в боевое время *и для битв*. Довольно нам язычества и ренессанса. Ренессансный период кончен. Пушкин, единственный (по Бердяеву) ренессансный человек русской литературы, сейчас внутренне менее современен, чем Гоголь или Достоевский.

В таком настроении есть своя правда, но не вся. Насколько корни христианства *и в Элладе*, настолько наша русская Эллада, Пушкин, вечно жив и вечно плодотворен и для человека христианского. Полнейший образ красоты, искусства всегда говорит «да», всегда за Божье дело, если у него и нет напора боевого. Оно радует, веселит сердце чистым и возвышенным веселением. Конечно, Пушкин не проникнут духом христианским в смысле наступательном, напрасно было бы навязывать ему то, чего у него нет. Но и того, что есть, так много, откровение искусства так незамутненно в нем, сам он столь ясный факт творения Божественного... Как же отвернуться, не любить? И им обольщены, пленяются, в нем очищаются сердца самые непримиримые.

В воинственном христианине еще могут быть и оговорки, и стремление Пушкина слегка охладить. Но уже безоговорочно поклонится ему художник нынешний. Пускай религия – страна, великая держава, а искусство – область. Пусть художник уступа-

---

[1] Так в тексте. (*Примеч. сост.*).

[2] В стороне от (*фр.*).

ет иерархически, но у него есть местный патриотизм, его Москва, его Тоскана. Ограниченней, зато и безраздельней, убедительней. Пушкин *свой, наш* художнику. Земляк Пушкин такой земляк, за которого перегрызет он горло. Ибо когда душно, тяжко ему, он *особенно* ценит образ утешающий и укрепляющий – образ совершенного художника. И это Пушкин – легкость, острота слова, царственная поступь, полнота и самовластность, сила, тонкость, самоизначальность. Все бьет первозданным, но и все проверено. Избыток, щедрость? Да. Но и святое ремесло, та кухня дела артистического, где повар знает и умеет, двадцать раз понюхает и подогреет, посолит, не успокоится, доколе блюдо и на самом деле не уступит пище олимпийцев.

Зачем же пушкинским творением колоть глаза? «Написал Пушкин, это образец. Учитесь, подражайте» – именно *не* так. Меньше всего Пушкин канон и догмат. Он есть *облик*. Дело не в том, сколько в строфе он узаконил отрицаний, сколько допускал «ужей», писал ли ямбом или вольным стихом и надо ли прозаику стремиться к суховатой легкости его прозы. Сколько прилагательных выдержит существительное в прозе нынешней, законны или незаконны из пушкинизма те фиоритуры прилагательных, гирлянды, коими играет нынешний прозаик, – все это не важно. Бунин держится одной структуры фразы, Сологуб другой. Важно для художника не лгать, писать без пустых мест, линий наименьшего сопротивления. Чтобы все – в упор, tete-a-tete с галлюцинацией или напевом. Это и есть предельность, это и есть *быть собою*, никого, кроме себя, не слушать, но и давать не бред, легко вскипающий, да и легко развеивающийся, а выверенное, на десяти весах потом провешенное. Кто с Пушкиным дружит, тому *стыдно* писать плохо, вот так возбуждающе-оздоровляюще он действует на артиста. Противоядие всякой растрепанности и неряшливости, преувеличенью, болтовне нервической. Смерть провинциализму, доморощенности. Пушкин обязывает, и в его присутствии, как во Флоренции перед Palazzo Vecchio или на некоторых уличках Парижа (близ Люксембурга, Пантеона, Нотр-Дам), неловко писать под Демьяна Бедного. Нелегка наука Пушкина, но преодолевшему ее даст он железный перстень свой, перстень прямоты и мужественности, – тот сонет, который завещал Тургенев «зарубить на носу» всем пишущим.

Художнику нашей минуты, в изгнании лишенному России, а в России – без свободы, света, воздуха, без среды, сочувствия, задавленному грохотом событий, подлостей, торгашеств, торжеством сытого хама, там и здесь – в бедности и безотзывности, особенно ударят слова царственные:

......живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

«Живи один» – значит: в подполье, в катакомбы, наблюдай оттуда «милое теченье жизни» и триумфы подлостей. Трудись и радуйся, если не помер с голоду. Но это ничего. Если ты знаешь, что твоя работа – настоящая, если есть в тебе маниачество литературы, то не сдвинуть тебя с места никому, и пред тобою только искушение: впасть в гордость. Пушкин *с нами*! Легче с ним в подземной сапе. Его линия, его завет – и это укрепляет. Вот почему художнику сегодняшнему Пушкин, так велико ощутивший одиночество средь черни, так велико дорог.

В сущности, он так же дорог *просто русскому* года 1924-го, тому, кто не апокалиптик, не художник, но не раб и не мертвец. Свободный, скромный обитатель града человеческого на земле России или Запада. Вот именно вольнолюбивому и человечному Пушкин отрада. Кто лишен свободы, тот вздохнет о ней над ним. Кто лишен родины, найдет – преображенный, но и верный – лик ее в его творенье. Если Пушкин жив, не умерла свобода. Если Пушкин жив, не умерла Россия – и не один же зверский лик у нее. Подавленному грубостью, некрасотой теперешней России Пушкин обнаружит ее прелесть. Лишенному России он даст обаяние ее полей, простых людей, женских сердец, ее гармоний и величия, снегов, метелей, идиллий, любви, меланхолии, безграничности. И всем – здесь, там и где угодно останется он знаменем вольнолюбивости и человека. Да, пусть он ренессанс и гуманизм, но ренессанс великий, расчищающий путь к высшей ясности и любви.

В России его следовало бы запретить. Тиранам он отвратен, был, есть и будет, и ему они отвратны. Он враг схем и инквизиций, под каким бы видом они ни появлялись: католическим ли, робеспьеровским, дубельтовским или лубянским. Как художнику стыдно при нем писать дурно, так он, ничего не проповедуя, самим собою стыдит палача. Рабу, мрачному хаму без улыбки, мещанину, поднажившемуся на резне, врагу поэзии, бесцельности, мечтательности, другу брюха и поклоннику нагайки Пушкин вреден. Ведь ссылали же его непрестанно в годы жизни. Но не досослали, не добили. К сожалению, он правда Арион, и из-за гроба снова, назло «укротителям», он сушит «ризу светлую свою», смущает, вольнодумствует и обольщает. Надо уничтожить его книги. Они опиум для народа. Кто ими отравился, тот опасен.

Но дурно то, что, если и изъять его в России, он перекинется на Запад (уже перекинулся), проживет там годы под покровом пепла, в недоистребленных книгах, а потом вновь явится домой, опять развесит ризы.

Забыли ли его изъять или побоялись? Безразлично.

Разно живя в разных душах – для одних лучшее творение Бога в искусстве, для других вождь и пример, для третьих вольнолюбец, певец родины, – Пушкин, думаю, для всех сейчас – лучшее откровение России. Не России старой или новой: *истинной.* Когда Италия объединялась, Данте был знаменем национальным. Теперь, когда России предстоит трудная и долгая борьба за человека, его вольность и достоинство, имя Пушкина приобретает силу знамени.

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

СТРАННИК

<ДНЕВНИК 1925 – 1929 гг.>

27 сент[ября 1925 года]

После юга Париж суров. Всегда-то он холодноват, и суховат, но после тишины, пустынных гор Вара шум, деловитость, грандиозный ход Парижа надо вынести. Вообще это город-учитель. Париж велик и жуток тем, что в нем видишь облик мира. Кто-то назвал его: «Порог вселенной». Франция, Англия и Америка – обе Америки, и Швеция, и Китай, и Африка. И вот – будешь учиться жизни. Не в Университете, а у Города. Я думаю, Париж, так женщиной насыщенный – больше всего мужчина. Нет в нем женственного, ни романтического. Он *требует* мужественности. Как на свои улицы, тускло блестящие под дождем, в изящных, крепких линиях домов, серо-коричневатых красках, так и на человека своего кладет чекан: в душе его я вижу несколько прямых морщин. Они глубоки. В них есть печаль, а говорить о ней нельзя. Это ослабит, размягчит. Тут всегда нужно быть «в доспехах». С кем сражается парижский человек? С жизнью и за жизнь, со множеством, гудящим толпами на площадях, в метро, на тротуарах – он защищает себя, каплю, в океане. И потому так непроницаемо-далек. Самый учтивый, вежливый, воспитанный из европейцев – самый огнеупорный! Потому что он вооружен против всех.

В Провансе чувствуешь себя дома. Земля дымится поэзией. Мир – друг. Господь спокойно говорит в церквах, звезды плывут по небу вольно, виноград, дикий укроп, и тмин, лаванда – это все твое, братское, дары. Ты понимаешь собак и любишь цикад. Вино тебя не одурманит. Ты человек незащищенный, твое сердце все раскрыто – четырем странам света, четырем великим ветрам.

Но Париж скажет, что земля не рай. Что же, защищайся. Надевай водолазный шланг, спускайся вглубь человеческих морей, кипящих страстью, ревностью и ненавистью. Не туши света. И не страшись, в лучах его, печальных, страшных чудищ.

Ты здесь неразличим, безвестен, угрожаем. Ничего. Не ты один. Люди, и русские, и французские, и всех стран мира о бок с тобой – тоже идут, терпят. А русские-то... Да, рядом братья.

1 октября

Прочел статью о Львове, Ельцовой в «Совр[еменных] Записках». Очень хорошо. «Высокий» воздух в этом писании. Львов изображен сложной и горькой русской душой. Удивительно у некоторых «наших» чувство судьбы и обреченности. Львов был из древнего рода, среди предков его «ярославские угодники», и сам он, по давнишнему рассейскому – ездил в Оптину, всю жизнь работал на Россию, в революцию – не мог бороться, знал о гибели – и погиб. При Сергии такой князь ушел бы в схиму. Молчаливый, загадочный русский тип. Министр-президент... Как посмеялись бы разные лавочники: Эррио, Болдвины на такого, нашего... А Львов напомнил мне покойного государя, Николая II. Тоже древний облик, и какая скорбь, какая обреченность. Слабые, грустные русские люди – новая жизнь злобно их растерзала.

На всем писании Ельцовой – налет монашеского. Чисто, благообразно и «келейно». Очень облегчает душу. Очень нужно. Для блудилища необходим озон. Я считаю, что это – даже борьба. Мы здесь сидим на чужбине, невесело, наша большая задача – просто показывать добро настоящее. Наши враги не выносят этого. Им бы хотелось, чтоб здешние русские были как можно мерзей. Чистый облик всегда тяжек. И не одно лицо скривится пред статьей Ельцовой. Мир нуждается сейчас – как никогда – в теплоте и чистоте духа.

2 октября

Недавно здесь вышла довольно смешная история. В «Иллюстрированной России» напечатали снимок, изображает он «ливадийский исполком». В средине выродок с идиотически-

свирепым лицом наяривает на гармонии. Он в белом, по-летнему, так же изящны и соседи. Среди них кокаинисты, один молодой педераст, и т. д. Действительно вид картины ужасен. Настолько ужасен, что парижские друзья изображенных ахнули. В последнем № «Илл[юстрированной] Росс[ии]» сказано, что появилось опровержение: это, мол, не ливадийский исполком, а врангелевские офицеры, здесь, – кажется, в Бизерте. Редакция документами подтверждает, что получен снимок из Москвы. Но нечего и подтверждать: я сам видел это в «Прожекторе», в том же номере, где напечатана гнусная статья о Бунине, Шмелеве, Куприне. Так что тут Врангель вовсе ни при чем. Дело российское. И дело печальнейшее. Можно посмеяться над неловкостью «защитников», а над Россией, ведь, не посмеешься – тут иное.

Мы здесь у вопроса о «лицах». Я начал собирать – вырезки, снимки, выражающие, как считаю, наше время. «Исполкому» там место. Я собираю, но иногда кажется, что это не столь похвальное занятие: получается такой мрак, такая горечь... «Научно», б[ыть] м[ожет], это не вредно. Складывается, напр[имер], некоторый тип «советских» лиц (вовсе не все выродки или преступники. Есть лица и умные, и волевые. Нет *светлых* и *добрых*. У всех – волчий оскал). Научность научностью, но иногда кажется: закрыть бы глаза, не видеть, напр[имер]: «негра Люниона на древнем троне русских царей в Кремле», или лица знаменитого дипломата, похожего на клубного шулера. Тогда завожу другой альбом. Лица, где сказано «слово». Мне попалось немного таких, но все-таки Владимир Соловьев – по случаю двадцатипятилетия смерти (никем почти не отмеченной!), кардинал Мерсье, да французский святой, недавно канонизированный, – скромный деревенский кюре, всю жизнь отдавший Богу и людям. На гигантском, гениальном его лбе, в светоносных глазах записана летопись подвижничества.

Мой опыт «о лицах» очень мал, и пока «ненаучен». Но могу сказать: есть коренное различие между теми, кто «за» дух и кто «против». Это вопрос мировой. На нем все вертится сейчас. Член Ливадийского исполкома не виноват, что родился с таким лицом, и заслуга Соловьева *лишь* в том, что воспитывал в себе свои дары, не им созданные. Не для осуждения, тем больше – злобы и насмешки это пишется, а для указания. С данными каждого из нас можно воспитывать в себе образ Божий или же харю дьявола. Да, наши лица очень многим и от нас самих зависят. Но мы должны знать, где правая, где левая сторона. И спокойно, с горечью и твердостью пройдем чрез ливадийские исполкомы, чтобы воздать должное святым и напрячь все силы в приближении к Истине.

3 октября

Прошлым летом, живя в Со, под Парижем, я прочел одну русскую книжку, Бориса Грифцова, «Бесполезные воспоминания». Она написана в Москве, в 1915 г., человеком нашего поколения и нашего склада молодости. Литературно – не сильна. Она незащищена никак, ничем не приукрашена, не «подана». Это трогает. Полный неуспех у читателя – написано для себя. И потому имеет душевную ценность. Это воспоминание о романтических «любвях» начала века. Москва, Венеция и подмосковные края. Мечтательность и молодая нервность, первые зори, томления и сладостные изнывания – в пустоте... Разумеется, некая «Мари», вокруг нее все вертится.

Окончив книжку, сел в поезд и из садов Со направился в Париж – довольно душным вечером. Париж сухо блестел в дымке, над ним тяжкая мгла. Отчетливы, тверды улицы, рисунок так уверен! Асфальт отблескивает. Обсерваторские аллеи так безукоризненны. Все так закончено, так найдено. Все давно вымерено. Высоко по изяществу! Вот где уж помечтать нельзя. Вот где мгновенно бы задохнулись все Грифцовы и Мари, с зорями и Венециями.

По красоте поразительно. Над Сеною Нотр-Дам, огни мостов, дрожание воды, красные змеи в ней, лари букинистов и каштаны, вечное гудение, мельканье, грохот, сизый дым и перлы фонарей. И – все не наше.

Был ли во Франции романтизм? Боже мой, а Шатобриан, Гюго, Виньи, Мюссе? Бальзак? Все это непонятно в вечере Парижа. Ну, конечно, были. А быть может... по недоразуменью? Какой вообще романтизм латинству? Нет, латинский человек тверд, прям. И Нотр-Дам не он строил, это другое племя, и Шатобриан случайно оказался здесь, а романтизм Бальзака никому во Франции решительно не нужен. Вот «Король-Солнце», и Версали, дворцы, Корнели и Расины – это так. И Революция – очень подходит для Парижа (математика, как и подстриженные аллеи, подстригание человечества по шнуру).

До свиданья, Борис Грифцов и «Бесполезные воспоминания». Если вы встретите где-нибудь в бистро Новалиса, или Тика, так, может быть, и разговоритесь. Только сомневаюсь. Они, кажется, перевелись, да если и нет, то в Париж визы не получат. Вот именно здесь *такое* визы не получает.

Но когда вылезаете из Нор-Сюд у Палаты депутатов, и после подземелья вдруг – зеленоватый сумрак вечера, зеркало асфальта, полоска зари с раздирательной призеленью, красный фонарь над выходом – это единственно. Париж, июнь!

5 окт[ября]

Жизненный путь, что это такое? А вот что: этим летом, в жаркий день, шел из Торонэ в Пюжет (в Провансе), нес провизию в корзинке. Виор, лавочник, наложил довольно много. И тяжеловато было тащить. Шоссе белое, слепит глаза. Кустарники кругом – дикая акация, сухенький дубок – все запудрено пылью. Сел вздохнуть на только что срезанную у дороги сосенку: пахнет смолой, через дорогу виноградник с покрасневшим листом, а дальше, по рыже-коричневой земле оливки – тугого, матового серебра. Отдохнул, пошел дальше. У сворота в нашу усадьбу опять сел. Велосипедист пронесся как бешеный. Обтираю пот с лица. Потом взял в руки метелочку дикого укропа, растер, откусил кусочек – анисовый вкус и крепкий дух – и вдруг так ясно понял: вот я несу от Виора всякие свертки, одет в серенький пиджачок, еще отцовский, притыкинский, портной Павел Тихоныч перешивал, – все неказисто, все простенькое, почему-то на чужбине не погиб еще, напротив, живу, радуюсь солнцу и дальним горам – и иду. Вот устал, отдохнул – и дальше. Потому что упрямство-то какое-то есть! Ну, ладно, потихоньку, с развальцем, с передышками, а вот идешь, и веришь, что дойдешь, так уж тебе положено дойти – то ли Пюжет, то ли иной порог, и значит, в путь, en route[1] – простой путь из Торонэ, два километра – это и есть жизненное странствие. Дойдешь!

И встал, зашагал, неторопливо.

[5 октября]

Владыка Евлогий, в церкви, после Литургии говорил о пути, Кресте. Он стоял на амвоне, опираясь на высокий, двурогий посох, в позе утомленной, с грустным взором добрых глаз из-под очков. Тон его слов всегда кроткий. И всегда есть медленная простота в его манере говорить. Меньше всего он хочет быть оратором, деятелем какого-то театра. Я не слышал знаменитого Сантера в Нотр-Дам, но знаю, «на него» ходят, как можно пойти на Шаляпина, или в Палату на Бриана. На владыку «не пойдешь». Праздным и любопытным он не нужен. Его речь – беседа, тихая и полная *живого, внутреннего* содержания. Да как и можно было бы то, о чем он говорит, преподносить «ораторски»? Оно вышло б не русское, не православное. Где же может быть поза и желанье «приукрасить», игра интонациями и периодами, когда русский иерарх на русском языке (это *очень* важно), говорит о жизненном

---

[1] В путь (*фр.*).

подвиге и кресте? Он говорил о светлом бремени Креста Христова и о подвиге «отдания» себя – перед людьми, лишенными родины, живущими, часто чудом, несущими в сердцах кровавые раны. Он говорил для своих, для своего «стада», для тех, кто «на пути», у кого есть капля – с точки зрения мира – «безумия». И вот, о Кресте сказал Владыка еще так: не надо думать, что изменится там что-то, ну, вернемся мы на родину, сойдут наши враги, и пр[очее] – и тогда все кончится, станет легко и удобно. Тихим и простым своим голосом напомнил он – тогда-то и начнется! Ничего не кончится. Не обольщайтесь. Христианский человек – всегдашний воин. Нет ему успокоения, довольства. Он всегда в борьбе – с собой, со злом.

Вот она, разница с противниками. Те говорят: идите к нам, мы овладеем властью, будете богаты, счастливы, покойны, ваши дети будут сыты, жены хорошо одеты, вы займете теплые и чистые квартиры. А Владыка (обращаясь к тем, кому и так не сладко): вам сейчас плохо жить, я зову вас к Истине, Христу, и вы на этом ничего не выиграете, скорее проиграете (с точки «мира»), чем выше вы, тем Крест ответственней, борьба со злом тем обязательней – награда: чистая, высокая душа – и только; и ничего «в жизни». Никаких «приятностей».

В гигантском, дышащем всеми утонченностями, гастрономиями Париже, в городе «гутированья», смакованья, усталый русский иерарх с таким спокойствием и кротостью несколькими словами зачеркнул все, из-за чего вокруг кипят, рвутся, грызутся – миллионы. Пусть миллионы. У него Истина.

6 окт[ября]

Мы себя любим чрезвычайно. Что скрывать. Было бы лицемерием. Безумно сладко возношение *себя*, победа *моего*. Гордыня, славолюбие и честолюбие – страсти жгучие. Напряжение их всегда переходит в боль. Но человек загадочно устроен. В нем есть другой полюс. В грешном, живом сердце одновременно живет потребность в саморастворении, истаянии, преклонении... Может быть, человеку трудно нести личность. Ее границы, стены комнаты – нас утомляют (а мы рвемся покрупнее комнату себе устроить, захватить в нее побольше). И – стояние пред Высшим – нас освобождает от себя. Более легкая форма этого, любовь. В юности освобожденье от себя – в любви. В зрелости – это религия. Оттого вот – самый гордый с такой облегченностью прикладывается ко кресту в церкви, и целует пухлую руку, держащую его. В эту минуту он нисходит, распускается, как кусочек сахара в горячей воде, и угасают раны, боли, нет морщин. Пока жив человек, пока не обратился он в машину, всегда

будет его нечто влечь к преклонению. Восславить, поклониться, умилиться – в этом отдохнуть и взять новых сил для жизни.

– Неужели же Цезарь, Петр Великий, Наполеон нуждались в том, чтоб преклоняться? Они свертывали шею всякому, кто им не поклонялся. Кроме себя им никого не нужно было.

– Верно. Я ведь говорю о людях. В жизни часто попадаются иные облики. Они похожи на людей. Но все же это скорей силы природы, бессознательные проводники Рока. Много «великих» должны еще доказать, что они люди.

8 окт[ября]

Посещение Нотр-Дам. Настроение тяжелое, хотя ясный, чудесный день. Шум, блеск, пестрота улиц рассеивают, утомляют. Наркотическое действие. Человек отравляется, ему куда-то нужно спешить, нервная тревога, страшное возбуждение... И – усталость. Насыщено электрически-эротическим.

Нотр-Дам не дала отдыха. И впечатленье иное, чем восемнадцать лет назад (когда впервые был). Уж очень теперь музей и тротуар. Туристы, туристы. Идут стадом. Стучат, шумят... Как можно служить в таких условиях? Гиды болтают по-английски, у загородки подбирают группу для очередного «визита» – осмотра драгоценностей и древностей. Сквозь витражи разноцветный свет. Весь главный неф с боков в розетках с витражами, их преобладающий тон сине-стальной, и на могучие стены падает этот холодноватый, мрачный отсвет. Вообще холодно, неуютно, нет свечей – зажженных и струящихся, одиноко как-то в этом гигантском соборе. Неприютно! Нет жизни (так кажется), как, напр[имер], в церкви св. Женевьевы.

В Провансе я не видел готики. И здесь, вновь, почувствовал всегдашний ее сумрак. Все-таки, это рождено темной, северной душой. Слишком много, наверно, было сырья, стихий, неосиленной мощи в этом франко-кельтическом человеке – христианство очень в борьбе со зверем. Зверь не укрощен и не гармонизирован. Всюду еще морду высовывает. Химеры, черти, собачьи головы средневековья, – да, это во всех нас есть, мы тоже варвары и киммерийцы, но, должно быть, как раз потому и не очень полюбишь их.

Зашел в St. Julien le Pauvre; это старая, романская церковка. Ни одной «оживы». Все полукруг, круг, спокойно и без зверей. Это греческая церковь (католич[еская]). В церкви иконостас. Очень родное что-то, византийское. Успокаивает, «утишает». Но о St. Julien надо как следует написать, она заслуживает. Милая церковь (если позволено так сказать). Отзвук Равенны, Рима, базилика, и значит, и Византия, Россия.

10 окт[ября]

«Смирись, гордый человек!» Вот, Достоевский знал, куда ударить. Именно, смирись, попробуй! Хорошо бы Достоевскому самому этим заняться. Впрочем, он из тех душ, что всю жизнь жарятся на решетке св. Лаврентия. И не легче ли ему было смириться на каторге, чем потом в жизни, когда Тургенев гонорару впятеро больше получал, чем он? Но это так надо, грешная душа, страстная и живая, вечно мучается, и в этом ее борьба, какая-то точка отталкиванья. А покоя и «гармонии» вообще мало. Легко говорят: «гармоническая душа!» – потому что просто не знают – падений и унижений самой «разгармонической» души. Нет, уж куда там! Святые до исступления боролись, и долгими годами подвига приходили к действительной «гармонии». Св. Серафим пятнадцать месяцев простоял на пне, прежде чем начал поучать.

Нам, простым смертным, и вообще-то не до поучений. Дай Бог самим ноги унести. Дай Бог самому хоть на крупицу поумнеть и чище стать, хоть не вовсе ничтожной сделать свою жизнь.

Из отзывов на мою статью о Блоке («Побежденный») усматриваю, будто моя собственная поза получается в роде «победившего». Будто бы я «сужу». Это неверно, если так кажется, значит, я нехорошо написал, а я никого судить не могу. Что Блока-то «победили», в этом я уверен, и не могу сказать, что он победил, но хотел я это сказать с горечью и братским сожалением, а не с покровительственной снисходительностью, как «первый ученик» пожалел бы провалившегося последнего. Нет, когда писал, чувствовал только правду. А гордыни *здесь* не было.

Около той же Нотр-Дам, о ком недавно писал, вчера видел сценку – в горькую минуту она развлекла: я стоял в бистро, за стойкой полумесяцем, пил «Bordeaux blanc»[1]. Слева пьяный толстый полицейский, в распашонке, кепи, показывал мне, хозяину, хозяйке, индивидууму на стуле у кафельной стены – бумажку.

– Pas d'adresse! Pas de signature![2]

Речь была бурна, красноречива, бесконечна. Надо что-то взыскать, и неизвестно с кого, и где он живет.

За спиной моей фиолетовый закат. Сена серебряная, сухое зеркало асфальта. Вошел трубочист, с особенно светло-зелеными от сажи на лице, глазами, очень добрыми. Мы чокнулись с ним. Потом – рыболов, с сетками, раскладными удочками в чехлах, как у

---

[1] Белое бордо (*фр.*).

[2] Без адреса! Без подписи! (*фр.*).

нас помещики возили ружья на охоту. Тоже толстый, бритый, благодушный, в жилете до горла, с большими водяными глазами.

– Ни одной рыбки? – спросили.

– Ни единой!

Снасть его совсем чиста, суха, новехонька. Трубочист приветливо мне кивнул, удалился дочищать недочищенную трубу у буржуя, а сержант накинулся на толстяка:

– Pas d'adresse, pas de signature!

Боже, какой ужас – взыскивать неизвестно с кого, и неизвестно где находящегося! Человеку надо облегчить волнение и поделиться огорченьем. Кто в миллионном Париже станет слушать историю о ста франках? Ну, я послушал, посочувствовал. А потом и рыболов, и я, мы вышли, и нас замело людьми, мы канули. Сержант, наверное, еще кому-нибудь расскажет.

11 окт[ября]

В прошлом году была работа около бульвара Османн, и часа в четыре, в пять, часто проходил к Опере. Неприятные места. За них Париж когда-нибудь еще ответит. Тысячи мужчин, женщин, шурша платьем, с запахом духов, пробегают, а автомобили других, таких же, струями сплошными текут по улице. Как пусты и пустынны лица! Боже мой, это мои братья, я их не узнаю. Может быть, и у меня здесь такое же лицо? И все только – витрины магазинов, или взгляды, «призывающие». Здесь ты «самый последний» и безмерно одинок. Вот, сержант. Но он ведь в простеньком бистро, и трубочист, и рыболов, хозяйка, русский все же ему улыбнутся. Он бы здесь попробовал...

Тут есть агентство: выставлены снимки пароходов, потом карта, пунктир рейсов, Африка, виды пустыни, пальмы, верблюды. Подпись: «Пустыня в трех днях от Парижа». Вздор! Вот она – кругом. И никакого парохода мне не надо. Я каждый день в ней.

14 окт[ября]

«Рафаил, митрополит Алеппо и Александретты» – волнует имя да и дальне-легендарные места служения.

Стоит на возвышении, в тяжелой ризе, золотой митре. Черные огромные глаза, южно-черная борода, голос высокий и красивый, арабский, греческий язык, малопонятные, но гармоничные слова – только по временам гортань востока, а напев и ритм нам близкие. «Кири элейсон!»[1] Этот возглас, ведь, и в катакомбах, на служениях – наверное, почти такой же голос восклицал.

---

[1] «Господь милостивый!» *(гр.)*.

Митрополит спокоен, сдержан, крепковат, он больше удален от нас, чем наши иерархи, это иной мир, еще древнейший, и для нас даже загадочный. В Киеве, пред такими же митрополитами, стояли некогда наши чубатые князья, вздыхали, удивлялись...

Да, и мы вздыхаем. Больше живешь, больше видишь – больше удивляешься, и больше чтишь. Спокойные, серьезные, иногда грустные проходят Владыки через наш мир. Какая строгая, чистая жизнь! Направлена на *великую* цель. В ней ничего нет мелкого и дребезжащего. Она пронизана духовностью, медлительною важностью, *делом* и служением... Все люди – странно-далеки, и странно-близки. Не по-человечески близки, далеки прохладным воздухом, отделяющим. Владыки эти – некоторый укор миру. В их медленных движениях мир должен чувствовать свою неправоту.

Мне неизвестна жизнь митрополита Рафаила. Должно быть, никогда и не узнаю. Сказано лишь было: едет он из Сирии в Южную Америку, проездом, среди моря дел, в знак братства с нашей церковью отслужил Литургию, на которой в первый и, наверное, в последний раз мы его видели. Из Сирии в Южную Америку! Не зря. Но «зря» и пустяки – это наша жизнь. Их же обращена к Вечности. Там пустяков никаких нет.

16 окт[ября]

Отцу шестьдесят лет. Девочке его – десять. Он болен сложною и безнадежною болезнью. Врачи предупредили, что ему жить еще год, чтоб позаботился, куда девать в Париже девочку. Кроме него у нее никого нет. Вот, он ходит и отыскивает, кому бы поручить ее. А она за ним всюду, держится ручкою за руку и говорит по-английски.

Это я вчера слышал. «Сюжет для небольшого рассказа». О, Господи!

19 октября

Парижанки: бесконечные фигурки, статуэтки у метро, на тоненьких ножках, в узком, обтянутом манто, с личиком приятно-никаким... Мужчина всю ее съедает, с косточками, и желает, чтоб зажарили, как следует, и с подходящим соусом. А обглодать уж он сумеет. Обгладывают именем приятности. Этот закон силен, страшен. Все, решительно мы все ему подвержены, он может овладеть. Ах, я понимаю диких анахоретов Египта! Вот врывались они в Александрию, палками громили и лупили все, направо и налево. Всех богов, и статуэтки, вазы и бассей-

ны, зеркала, курильни, лупанары... «Paris sera brulee par la canaille»[1] – так изрекла святая католическая, да, Париж ответит. Всяк ответит, кто глотает женщину, как устрицу, но и за устрицы ответим, устрица безвинна – отношение к ней наше небезвинно.

Париж особенно любили старые гурманы. Еще бы не любить! Хочешь женщину – вот она, хочешь рыбки – Прюнье, убоинки – Boeuf a la mode[2], дорогой скромности – Laperouse, мало знаешь по кабакам – купи книжечку, все объяснят. Хочешь нарядов – rue Castiglione, цветов – на Мадлэн, шик – Avenue des Bois, захотел старины – rue de Seine все удобно, и все приспособлено на все вкусы, только бы денежки. Денежки, денежки! Со всего света съезжаются, все в Париж тащут – доллары, фунты, пезеты, иены всякие – все в обмен на приятности, и торгует столица древняя, Рим наш, под варваров заокеанских – торгует, да и задумается, пожалуй: не слишком бы уж расторговаться! Закупят Нотр-Дам свиные короли, Версаль – нефтяные, Лувр – автомобильные. Лакомое блюдо Париж, сам талантлив, сам талантливостью своей и исходит.

24 октября

Вечер Парижа, бульвар Монпарнас. Вот наши места! Сколько раз мерил эти края! Так, когда-то, в иной жизни, ходил: по Тверскому бульвару, от кафе Греко до Пушкина и потом по Тверской, до генерал-губернаторского дома. По одним и тем же местам хорошо идти: успокаивает, в медленный, правильный вводит ритм. С путем моим – бульвар Вожирар, монпарнасский мост, всегда в облаках пара, с откуда-то сочащейся по стенам водой, проезд, и тротуар Монпарнаса до Ротонды – связано что-то пронзительное, одинокое.

Ну, а сегодняшний вечер... Днем было много дождя, к закату так промыло воздух. Около Нотр-Дам де Шан остановился и залюбовался: колокольня на серо-стальных, синеватых тучах, как за скачущим Филиппом у Веласкеза. Сумрак, красота, тяжело-мрачный тон. А обернулся в сторону вокзала – все другое, той прозрачной, нежно-ласковой закатной зелени, которая вдруг вас пронзает. Эта зелень блестит в мокрых тротуарах, выхоженных нами и блудницами окрестных переулков. Боже мой, Монпарнас залит благоволением, прозрачен его воздух, сами красные огни смягчились, люди стали человечней и естественней – и над вокзальным дымом замерцала даже звездочка. Париж немного, будто бы, при-

[1] «Париж будет сожжен чернью» (*фр.*).

[2] Буквально: говядина по моде; шпигованная говядина (*фр.*).

тих. И только стал соображать, что за звезда может быть – в глубине проезда вдруг, над горизонтом поднялась – огромная Венера. Чудеса! Мне прямо повезло. Венера провожала до бульвара Вожирар, а потом зацепилась, «загремела» за дома. Но вышел небольшой, вполне приличный месяц рядышком с Юпитером. Направо, чуть виднеясь от фонарей, – Медведица, и даже Голубая звезда, моя Вега, моя «чистота и молодость», сопроводила по бульвару Вожирар. Я был спокоен, благодарен и слегка растроган. Что же, сегодня Вавилон принял как сумел лучше. Даже звездное хозяйство все мое в порядке. Чего больше требовать?

29 окт[ября]

Да, мы пускаем корни. Этого не станешь отрицать. Похож на кошку, привыкаешь к местности и прирастаешь к ней.

Так, затопив печку, в кабинетике, взглянув на рю Фальгьер, вдруг ощутил: и у меня, «безродинного», все-таки есть угол, и даже некий уголок Парижа стал моим. Я понимаю дух quartier[1], местный патриотизм. Уж на что улица Фальгьер: как мучила вначале грохотом. Тяжкая улица! В огромных камионах по ней возят скот на бойни, гонят старых, искалеченных, усталых лошадей. Быки тесно и тупо стоят, плечом к плечу, на мчащихся платформах. Я издали, по слуху узнаю поступь осужденных лошадей, тяжелый и широкий плеск подков по мостовой. И всегда вспухает мое сердце. Мало натерзали нас в России, надо и здесь каждый день... Ну, значит, надо.

И все же улица Фальгьер – отчасти уж моя – со всеми эписри[2] и булочными, и консьержками, бистро и прачечными, по ней бежит в школу моя девочка, и старичок нищий, едва влачащий ноги, что-то напевающий – мой, и стена сада, где в прошлом году задавили мальчика – камион поскользнулся, въехал на тротуар, и прижал насмерть ребенка – все это мне, со своей серостью и бедностью, с балом mascotte[3] на углу бульвара Пастёр, где в духоте пляшут девчонки и приказчики, а два ажана[4] охраняют. И у стены рю Фальгьер я поставил бы крест на месте гибели школьника, ибо Голгофа дитяти – уж и моя.

Я хорошо знаю бульвар Вожирар. Скудны деревца его, посредине и на лавочках нередко дремлют пьяные, иной раз запивает колбасу и лук красным пинаром подозрительный тип – бедняк.

---

[1] Квартала (*фр.*).
[2] Бакалейными лавками (*фр.*)
[3] Кумиров (*фр.*)
[4] Полицейских (*фр.*).

Вообще здесь много бедняков. Они толкутся около бистро, бродят по тротуару рядом с хмурыми деревянными заборами, вблизи отельчика со смешной надписью: «Hotel de Provence et du Nord»[1]. Из-за заборов – свистки паровозов, и конец бульвара упирается в железный мост. Он часто в облаках пара, по стенам его всегда вода сочится, это образ хмурости и безнадежнейшей некрасоты. В дождь он дает убежище, но и оно не радует.

За ним же начинается другое – пестрые и яркие огни монпарнасских баров и привычная дорожка странника в Ротонду.

Все это теперь тоже свое.

12 ноября

Ротонду знает всякий. Блеск ее огней, табачный дым, плохенькие картины по стенам, шелуха и грязь на полу, тесные столики с недопитым кофе, беспрестанная толкотня в проходах, широкополые шляпы, индийский тюрбан, плоское лицо японца, датчане и шведы, русские, евреи, англичане, вновь евреи... Все галдит, шумит, смеется. Все подвинчено ненастоящим оживлением, подмазано, подкрашено, подраздувает свою славу, борется, иногда голодает, иногда – приходит сюда смотреть, как другие бьются, «монпарнасская богема».

«Богемским» людям это кое-что дает. Острота, раздраженность одиночества, какой-то укол в разноплеменной толпе – родственной и далекой. Первое время Парижа, для новичка, – возбуждающий, слегка наркотический яд. И как всякий наркоз – утомляет, бледнит. Здесь «малый воздух». И физически душно, да и дел нет. Ничего путного не родилось в суетне, толкотне, хотя тут и рисуют, и пишут стихи... Очень видно ничтожество. Надо бы все здесь продуть, промыть – ветром пустынным, волной океана, вообще *великим*. Такой пустой гомон Ротонды есть самое противоположное, самое недружелюбное *церковной службе*. А звезды, океан, ветры – тот же ритм, что и обедня. Но ни одной великой ноты здесь не прозвучит. И мне казалось иногда, что если посадить Владыку, в белом клобуке с бриллиантовым крестом, за столик этого кафе – то вот и облик: Храма в Вавилоне.

И, пожалуй, Вавилон не удивился бы. Что же клобук? Мулатка Айша носит чалму, индус белый тюрбан – русский старик надел свое.

А пока богема заседает в табаке, вине и электричестве, по тротуарам Монпарнаса бродят мелкие блудницы, зазывают mon

---

[1] «Отель Прованса и Севера» (*фр.*).

cheri[1] в Hotel St. Marie, зябнут, мокнут под декабрьским дождем, забегают на минуту в кафе греться, и опять на службу, la vie est dure[2], мои сестры блудницы, неизменное мое сочувствие вам много лет, и неизменная печаль. Вы бродите против церкви Богородицы Полей, и отдаете бедные тела в отеле Св. Девы за гроши людям в каскетках, запоздалым пьяным, всем порочным, тоже падшим, и Св. Дева к вам, верю, милостивее, чем к нам.

15 ноября

Годэ, годэ – часто слышу это слово – фасон платья, и если его нельзя себе сделать, то это большое несчастье. Или же платье «Наташа́» – французы выдумали, чувствуя превосходство русских и моду на русское.

Достаточно стать на точку годэ и Наташ... Ничего нет! Нынче Наташа́, завтра Маша́. И если надеть «Наташа́», когда наступило уж «Маша́», то это тоже несчастие, потому что хорошо только то, что, вот, сейчас, сию минуту. Будущее еще плохо, прошлое уже плохо. Nihil[3]. От платьев – к жизни, от жизни – к искусству... Тоже смена мод?

Чем выше, тем меньше годэ и Наташ. В каждой высшей ступени из дребезга тверже, яснее – Неумирающее. Оно выступает медленно, грозно – навстречу несущейся сутолоке, в струении вихря – растет, и вот оно выше науки, искусства, неба, звезд, солнца, и наших слов о Величайшем: пронзившее мир, головой в бесконечности и ступней в бесконечности. И на разный лад слабый язык людей, и других, быть может, братьев наших, из других миров о нем лепечет, намекая, искажая, но живой душой с Ним связанный, а оно дает всему дух и свет.

И это «Оно» – Истина. А мы несемся вокруг, в вихре, и с разных концов, по-разному, бедно и темно, угадываем. И лишь величайшим, чистейшим, светлейшим – дано кое-что видеть.

Где же годэ? С них, ведь, начал. Нет, беспокоиться не о чем.

21 ноября

Здесь топят углем, а растапливают щепочками – ligots. На днях среди своих лигошек встретил одну, в белом. Боже мой, береза! Белая кора, с коричневыми черточками, с оторванной, тончайшей кожицей – всегда она трепещет, нежно дрожит в ветерке – Россия.

---

[1] Моего дорогого (*фр*).

[2] Жизнь тяжела (*фр.*).

[3] Ничего, ничто (*лат.*).

Зачем же Западу береза, это наше древо, тут каштаны, вязы, дубы, буки и платаны – а береза наша. Да, береза облик чистоты и скромной непорочности, бедности и суровости. Святая Русь. Простенькими цветочками украшены поля Руси, простым и светлым деревом ознаменованы Ее леса, и под березами, под елями спасались Сергий и Серафим, русская береза есть у Пушкина, Толстого и Тургенева, и в музыке, и в живописи, да и в жизни каждого из нас: весной ли, в нежном дымку, бледно зеленеющем, с тихой зарей, просвечивающей сквозь листки – а сама роща полна белой чистоты стволов. Или зимой, во вьюгу, в той же роще, по сугробам, с жалобным стенаньем той же вот полуоторванной кожурки.

Монашенка и девственница, и заступница. Брошу ли тебя в печь, французская сестра? Нет, лежи, спрятанная. Память, вздох, надежда.

Когда-нибудь и на родной земле я обниму твой ствол.

1 декабря

Вечер, у решетки сада Люксембургского. Еще светло. Из-за Пантеона наползает рыжая, мрачная туча. Сразу темнеет. И придавлено все, верно, и в Помпеи, перед гибелью, вот так же было. Запад еще чист. Даже звезда над Сенатом. А уж зажгли огни в старом дворце, так бледен, тонок свет их, и так четко режется крыша на еще ясном, древнем – латинском – небе. Мгла с Востока. Старый дворец, крепкий, вычерченный – и печален свет в его окнах. Берегись! Но как изящен весь его рисунок, с ним красиво можно умереть.

А вот другой вечер.

Не было коней монгольских. И над тою же решеткой солнце зимнее невысоко, и четки, зябки статуи, Меркурий извивается в морозце – легкой, белой скатертью покрыт весь сад. Вот тебе и фонтан Медичи! И подмерзлый плющ по бассейну, и легкие следочки парижанок – дыханье Севера, чистое, хрусткое. Борей, обнял Латинянку – и успокоился, так освежил стихией.

Солнце покраснело, и зашло. Синеет сквозь решетку. Славный снег, отдых!

16 декабря

Иногда русский может сказать о западных людях: – Ну, как же они не видят? Прекрасно: пусть малознающие, трудно живущие, рабочие из предместий мечтают и увлекаются. Это понятно. Ну, а какая-нибудь американка-скульпторша, писатели из журнала «Europe», французские просвещенные люди, художники, поэты – среди них много тех, и таких, кто восторгается

самым убогим, что Россия дала: коммунизмом. Отчего то, что нам кажется и порочным, и провинциальным, грубым и плоским – все-таки отзвук какой-то родит в Европе?

Отбросим глупость – основную черту людскую. Отбросим уважение к силе, поклон успеху – тоже «кит», на нем человечество всегда стояло. Одним этим не объяснишь заболевания. Ему есть почва – утомлен старый мир. Много нажито, много нагрешено, смутно все чувствуют вековые несправедливости, страшный груз крови, преступлений, насилий... Чем-то хочется жить – выше «здравого смысла», «ренты», «economie»[1], «Bonne menagere»[2] – а что дает жизнь. Давно русские сказали: «Запад копеечник». Но в копеечничестве самим тесно стало. А какая же идея Запада, кроме этой? Социализм (одна сила) – здесь бледен, малоувлекателен. Нельзя «мечтать» с европейским социализмом. Католицизм (другая сила) – на нем наросло слишком много ракушек исторических. В нем есть, конечно, настоящая правда – но она слишком приняла формы римского государства, иногда – даже археологии.

И вот жажда: на Восток! Вот где – и люди новые, и формы новые, религия – положим, кровавая, вроде финикийской, зато увлекательно! Велик посул. И страстно нападение – на многое, что, и действительно, подлежит нападению.

Но тут-то и промахивается европеец пересыщенный. Объелся «священной собственностью» – ну и пусть получает скифа, иногда гримирующегося под джентльмена, кровавыми ручками чокающегося за завтраком с длинноусым Брианом.

Истина все-таки придет из России. Только не под тем обликом. «Святою Русью» – в *новых* ее формах, в бедности и простоте, тишине, чистоте, незаметно, без «парадов» и завоеваний. Придет новым, более справедливым, человечным, но и выше – человечным сознанием жизни, чтобы просветить усталый мир[3].

17 дек[абря]

Кто принесет ее? (Истину). Новый человек. Но почему же «новый»? Что в нем такого нового, «невиданного»?

Новый – значит творческий, свежий. Истина всегда свежа, «оживлена», слепое повторение же не истина, новый человек есть

---

[1] «Экономика», «экономка» (*фр.*).

[2] «Хорошее хозяйство» (*фр.*).

[3] В записи от 16 декабря 1925 года несколько слов в конце последнего предложения в рукописи зачеркнуты. Первоначальный вариант: «[...] чтобы просветить, очистить старый, изболевшийся, усталый мир».

живо воплощающий тот свет и духовность, что не со вчерашнего дня существует. Но всякий, кто в себе растит и выхаживает этот свет, чем больше ему удается, тем более он творит новое, высший тип, к которому стремится человечество, чрез все ужасы и подлости, кровь и преступленья. Сейчас, в гигантской мировой раскачке – сама Россия, верю, породит и порождает новое, малочисленное и малозаметное племя – homo spiritualis[1] – человека «с назначением». Есть «ответственные работники» и у Бога. Они приходят, когда кажется, что все погибло, но вот здесь именно и веет живым светом. Ибо невозможна жизнь без героя. Да, является «герой нашего времени». Скромный и смиренный человек российский, простой и благожелательный, себя воспитывающий, чистый и спокойный, душа благоуханная.

Он и здесь есть. А в России больше. Но пока нельзя об этом говорить подробнее.

26 ян[варя] 1926

Я вычитал однажды, что в Норвегии было собрание коммунисток. Они говорили о своих нуждах, вынесли постановления. Из них одно замечательно. Нужно добиться, чтобы государство не преследовало женщину, которая «освободит» себя от своего ребенка в первые двадцать четыре часа его существования. Логически дело стоит неплохо. Если мы признаем выкидыш, отчего не продолжить его – на сутки? И главное: надо устроить так, чтобы было удобно. Что возразить? Если жизнь вся основана на «удобстве», и ничего нет (nihil, Базаров), так отчего ж не придушить младенчика в несколько часов? Он не поймет. Милый мир, куда не по своей вине он прибыл, сразу же покажет ему, как он мил. Под любящей материнскою рукой безвинно хряснет шейный позвонок, а маме будет посвободнее, la vie est dure, alles teuerer geworden[2]. Маме не опасно. По закону не поставят ее к стенке, остается «стенка» внутренняя, та, у которой мы расстреливаем иногда себя, та казнь, что названа «когтистым зверем».

Люди – все ведь люди. Можно вынести постановление... а у всякой ли норвежской коммунистки так вот и отсутствует вполне «когтистый зверь»? Конечно, нет. Но важно здесь не это. Может быть, найдутся среди них такие, кто не хуже, может – лучше иных «христианских» женщин. Важно это, как черта эпохи, времени. Ведь коммунисты только крепче (и смелее!) договаривают

---

[1] Человек духовный.

[2] Жизнь сурова (*фр.*), все стало дороже (*нем.*).

до конца *многое*, чего тоже так хотелось бы европейскому человеку «приличному», не «хаму» – но стесняется сказать...

В «удобной» жизни хорошо бы раз навсегда избавиться от «когтистого зверя». Это большой враг. Он связан с каким-то иным миром, где нет ни авиации, ни спорта, нет ни дансингов, ни ресторанов... Это «неудобный» мир, и страшно старомодный. Прочь его! Buvons, mangeons, forniquons![1] Но, пожалуйста, без всяких зверей.

Современные люди, однако, весьма ошибаются, думая, что они новы, а все остальное старо. Увы, они как раз стары. «Buvons, mangeons, forniquons!» – это говорят у Флобера, в «Искушении св. Антония» татианиты, еретики третьего века. Да и вообще так говорилось с сотворения мира.

Получалось ли только от этого весело? Вот вопрос.

27 янв[аря]

Веселость! Какое прелестное свойство. Не «ирония», не «насмешка», а такое солнце внутри – всему улыбается, всему добро, всему свет. Веселых людей очень мало, потому что мало чистых. Веселость есть состояние до грехопадения, так, вероятно, чувствовал себя в Раю первый человек. Я видел раз во сне Рай, дул теплый ветерок, трава, солнце и непередаваемое ощущение безмерного веселья. Наяву такими были несколько майских дней моей молодости – во Флоренции, в дальней Москве, и золотые дни Прованса. Это вот и остается в жизни – несколько крупинок золота – веселья.

Чаще всего веселы дети, юноши, девушки. В нашем возрасте реже веселость. Благо – сохранившим ее. Ребенку-то легко, он *не* отравлен. А вот прожить жизнь – и не поддаться, одолеть яды, сохранить и умножить свет – это другое. Свет ребенка еще почти природа. Свет старца Зосимы – труд и подвиг. Светел, весел был св. Франциск, св. Серафим. Люди, мало знающие жизнь, мало задумывающиеся над ней, нередко упрекают аскетизм во «мраке». «Мрачные аскеты», «умертвители жизни» – сколько тут неправды! Не будем говорить о крайностях. Но без самоограничения нет силы и здоровья духа, следовательно, и веселости.

Аскетизм – ведет к веселости! Вот за что кинутся на меня «язычники». Пускай кидаются. Я сам очень язычник, не меня учить язычеству, если же ему поклониться и *лишь* на него опереться, то хорошего ничего не будет.

---

[1] Пьем, едим, развратничаем (*фр.*).

1февраля

Итак, «счастье состоит в добродетели»? Какая милая, новая истина! И как удобно на уроках чистописания выводить: сча-ст-ье со-сто-ит...

Однако, может быть, и рано улыбаться. Есть истины, которые созерцаются, есть истины, которые переживаются. Нельзя «пережить» формулу дифференциала суммы, поэтому в науке никогда никто не *повторяет*, это бесполезно и бессмысленно. Что дифференциал суммы равен сумме дифференциалов, это мне докажут неопровержимо, с карандашом в руках или с мелом у доски. Но мне нельзя объяснить, что такое добро, свет, любовь (можно лишь *подвести* к этому). Я должен сам почувствовать. Что-то в глуби существа моего должно – сцепиться, расцепиться, отплыть, причалить... Я помню ту минуту, более пятнадцати лет назад, когда я вдруг почувствовал весь свет Евангелия, когда эта книга в первый раз раскрылась мне как чудо. А ведь я же с детства знал ее.

Что говорить о формулах! Они, быть может, ничего даже не значат. Значит то, что в некоторый день, при парижском солнце, в комнатке своей на улице Фальгьер, человек, в некоем потоке чувств и мыслей вдруг переживает Истину. Он ощущает ее, прежде всего, сердцем, но не одним сердцем: и кончиками пальцев, и дыханием, и ногами – всем, лишь умом пытается облечь ее в слова, и вот сшит костюм, но тогда и оказывается, что этого покроя платье давно носят уж. Ну, что же, пусть. Свежесть, неотразимость ощущенья так же остается, как было на панихиде по кардиналу Мерсье: «иде же несть болезни, печали и воздыхания» – мы опустились на колена, и сквозь мех на плече соседней дамы свет ее свечи замерцал такими радугами, создал такой мир новый, чрез который вдруг так ясно и уверенно почувствовалось, где сейчас «архиепископ Иосиф», о котором мы молились.

Архиепископ Иосиф был «угоден Богу». Вот, не так давно я поминал его в этом своем писанье, а теперь уж он ушел, и от него остался чистый, и блестящий свет, как от кометы. Его жизнь – вновь полное подтверждение «прописной» истины. Как высоко! И как прекрасна прожитая жизнь!

2 февраля

И с отвращением читая жизнь мою,
я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
но строк печальных не смываю.

Кто написал это? Самый «ренессансный» из русских – Пушкин! Кто считал это стихотворение лучшим в русской поэзии и старческими глазами плакал над ним? – Знаменитейший из русских, Лев Толстой. Вот она, Россия! Пушкин написал, Гоголь боролся с дьяволом, Достоевский содрогался пред пороком, в страшном облике ему представшим, вечно тосковал «о невозможном» сам Тургенев, и во мглу Астапова Толстой бежал. Весь «золотой век» – вопль по Истине. В Некрасове он уж рыдание. Этого нет нигде кроме России. Это враждебно, это очень неприятно европейцу, и как мало это все годится для Парижа! *Самодовольство* – средний парижанин вполне подаст руку коммунисту. Разделяет их ведь только то, что этот «упорядочен», а тот пахнет еще «кровушкой». Но запахи выветриваются. Дед нынешнего лавочника тоже был с душком. А внуки, даже дети Менжино-Дзержинских чудно отстирают уж палачество. Во дворе церкви St. Julien le Pauvre были oubliettes rouges. Теперь там кабаре. На стенах надписи заключенных. Тут же обирают иностранцев. Отчего ж не завести и на Лубянке, через полтораста лет, в подвале Страхового Общества «Россия» – дансинга?

Главное – чтобы не беспокоили. Главное, чтоб поудобнее. Русские в Париже! «И с отвращением читая жизнь свою...» Ставрогины и Свидригайловы... Но это, уже, начинается просто скандал! Так называемый Порок с большой буквы, преступления, и покаяния, самоубийства, истеризм... Ну, это вовсе ни к чему. Париж спускает занавес, и зрители отделены от актеров. Пьеса провалилась.

4 февраля

Кабачок на Монмартре. Дверь прямо с улицы, небольшая комната, скамейки, пианино, по стенам безделушки, в углу статуэтка монаха, разные украшения, кажется, над дверью небольшое распятие. Встречает лысоватый блондин в бархатной куртке с красным галстуком-бантом – хозяин, монмартрский острослов, конферансье, быть может, и поэт. Литература его состоит из непристойностей, которыми он встречает приходящих. В публике хохочут. Он движется плавно, розовые глаза с белыми ресницами так восхищены собой, так приятно щеки маслянистые колышатся, так он уютно гладит пухлые руки... «Мадам», из дико разжиревших итальянок, с черным жгутом кос, подает вишни в водке.

Линялый мизерабль с фабренными усами, в линялом сюртучке тренькает на пианино. «Монмартр» поет похабное. Потом

линялая певица поет – тоже похабщину. Против нас, на скамейке, женщина, скромно одетая, с двумя дочерьми, лет шестнадцати, восемнадцати. Искренно, простодушно смеется. Молодые люди, влюбленные парочки. Еще мизерабль, тоже со всеми пороками на лице, тоже немолодой, крашеный, с зачесанными височками, со вставными зубами, начинает шутовскую обедню. Вот для чего и монах, и распятие! Хозяин с розовыми глазами ему вторит, они издеваются довольно долго, гнусавят, крестят публику, кадят, вплетают мерзости в напевы мессы. Молодые девушки весело смеются.

6 февраля

Молодые люди и девушки Парижа... Между шестью и семью вечера неоглядные тьмы их выбрасываются из контор, магазинов, банков – море на улице, море в метро. Зев метро на Place de l'Opera выбрасывает их столько, что автобусы останавливаются – перед «человечеством». Целый день труд, забота, но вот и минута жизни «для себя». Сколько худеньких, изящных парижаночек, разных Жюльет, Жоржет, Симонн ждут в коридорах подземельных – Жаков, Жанов и Эрнестов! Сколько поцелуев, нежностей и объяснений, иногда слезы, иногда гневные девические глаза... Мало стеснения. Не по бесстыдству, а по ощущению пустынности. Толпа, но все – чужие, все – чужие, значит, никого нет. Иногда, глядя на них, и улыбнешься: как любить-то здесь, в Париже, ведь, пожалуй, и не разберешь, чем Симонна лучше Жанны, столько их, и все похожи! Но вот они как-то разбираются, верно сторожат возлюбленных, вылавливают одного из тысячи, и он тоже, очевидно, не упустит.

Иногда приятно видеть эту молодежь в поезде к Со, Бурларену. Все-таки, сколько веселья! Изящества и воспитанности. Поезд выходит, весною, из кругов Парижа, в духоту вагона вдруг ляжет золотой, закатный луч, и с равнины к Орлеману донесет – цвет яблонь, милую зелень пшеницы, пестрые куски цветов и маков – медленно вращается над ними трубка оросительная – крестообразно. Хоть кусочек воли, неба, золота неподдельного. Русское сердце всегда уязвляется видом чужих нив, цветущих садов. Ну, а для них это свое. Но они и не очень смотрят. Хохочут, орут, колотят друг друга (юноши). Шутки все вековые: положить визави на колени ноги, сделать вид, что нос и поднести ладонь к самому лицу соседа, нахлобучить ему шляпу и т. п. Но исполнен весь этот театр легко, чисто и весело.

Ну, вот, Бурларен, холм, и белые вишневые, грушевые, сливные сады тихого Со. Дети Парижа разбредаются по домикам –

игрушечным, на многолетние гроши сколоченным. Все же вдохнуть настоящего воздуха. Пора, пора после Парижа...

8 февраля

Туманно-розовеющий закат сквозь тоненькие деревца. Булонский лес. Весенний вечер, над таким лесочком могут тянуть вальдшнепы. Здесь «тянут» лишь автомобили, и легко уносит нас могучий конь просекой к полю Лоншанскому, подтопленному водой. Автомобиль идет тише. Совсем рядом, за шпалерой деревьев клубится, и вьется розоватыми струями Сена, вздувшаяся, многоводная. За ней холм Сен-Клу, несколько огоньков. Объезжаем «ристалище» – вновь низина, сырость, туман – и всегдашнее чувство Парижа – громадность. По этой аллейке идем пешком, и нежно волнуется туманный воздух, краски заката, далекий Мон-Валерьен за рекой...

Снова легкий и ровный гул, тонкий лес, сновидением озеро, золотой букет ресторана на выезде – и далекая, зеркально выезженная лента авеню дю Буа. Вечер. Кончено дело с закатом. Этуаль в синеватом дыму, и ровен, зеркален бег по зеркальному... Он бессознателен и безволен. Мы просто плывем, в правой реке, а навстречу по левую руку другая река плывет. В нашей реке мы видим все лишь зеленые огоньки – прощальные, сзади, а в левой – двойные золотые глаза.

И нас несет до Этуали, а потом вниз, по Елисейским Полям, раскинувшим беспредельную золотую, двойную цепь, и может быть, Этуаль нам показывает свой мир, сладостный и волшебный облик Парижа, всю его прелесть и наваждение... Отдайся нам, пусть беспределен будет жемчуг золотистый по бокам, зеркальность, легкость, синева, огни, тихое гуденье золотых шмелей.

Вот он, Париж! С ним не так-то просто.

18 февр[аля]

> ...Приведен в исполнение приговор по обвинению в убийстве двух полицейских. Молодой человек, взойдя на эшафот, воскликнул: «Прощай мама и Маргарита».
>
> *Из газет.*

Мне было одиннадцать лет, я носил ранец и длинное гимназическое пальто с серебряными пуговицами. Однажды, в сентябре, нагруженный латинскими глаголами, я сумрачно брел под ослепительным солнцем домой, по Никольской. На углу

Спасо-Жировки мне встретился городовой. На веревке он тащил собачку. Петля давила ей шею. Она билась и упиралась, и жалобно волочилась по канавке рядом с тротуаром.

В те годы я был очень робок. Все-таки побежал за городовым, пробормотал что-то вроде:

– Куда вы ее тащите?

Городовой посмотрел равнодушно, и скорей недружелюбно.

– Известно куда. Топить.

– Послушайте... – залепетал я. – Отпустите ее... за что же так мучить...

На этот раз городовой сплюнул и мрачно сказал:

– Пошел-ка ты, барин, в ...

Я хорошо помню тот осенний день, пену на мордочке собаки, пыль, спину городового, и ту клумбу цветов у нас в саду на Спасо-Жировке – вокруг которой я все бегал, задыхаясь от рыданий.

Так встретил я впервые казнь. Так в первый раз возненавидел власть и государство. С тех пор мои любви и нелюбви менялись и слагались, но через все прошла и укрепилась безграничная ненависть к казни.

В юности я мечтал о том, что вот именно я, сам я сыграю в этом роль – мной отсечется отвратительнейшее, как казалось, зло. Все это было так ужасно глупо... но чистосердечно. За глупость мне шли и уроки. Я видел казни времен «покушений», «заговоров». Я жил в эпоху величайшей крови при войне – участие в которой, чьею-то невидимой рукой мне не было дано, эта чаша прошла – я видел, наконец, и всю ту кровь, все то насилие и ужас, что с собою несла революция.

Мне трудно сейчас проходить по некоторым местам Москвы. Мне никогда бы не хотелось быть больше в Крыму. И я живу сейчас в Париже, я читаю вновь о казнях и расстрелах у себя на родине, читаю – в Турции убивают тех, кто носит фески, и доходят слухи, что в Италии, благороднейшей моей стране, собираются ввести смертную казнь. В Италии!

И вот, я вижу Францию, Париж. Третий год дышу воздухом умеренности и свободы, голубоватым воздухом древней культуры, увлажненным океаном. Здесь не бьют женщин, нет здесь грубых унижений, издевательств, человек здесь есть уж человек – не раб, и не скотина.

Но больше и спрошу с него. Ежели человек... То почему же бульвар Араго? Почему около русского ресторана, на ранней заре воздвигают все тот же гнусный, революциею созданный, помост, и отрубают голову? Почему, когда Ландрю казнили,

то целые толпы приехали в Версаль из Парижа на автомобилях и полночи ждали, чтоб на рассвете «сподобиться», «улицезреть»?

Вот он Париж – снова и трудно, горько... Очень нелегко прощать.

24 февр[аля]

Известно, что Париж высасывает Францию. Все он берет себе! Французская провинция пустынна, не в пример немецкой, итальянской. С давних пор, сколько горячих, молодых голов в Париж являлось, сколько сердец, полных тщеславия и ощущения силы, даровитости. Не из одной мансарды, с видом крыш парижских, в предрассветный час юноша клялся «завоевать Париж».

Завоевать Париж – завоевать мир. Париж и мир жестоко смалывали в порошок тысячи, но единицы все же возносились – и тогда уж это, правда, была слава.

Париж насыщен похотью – к богатству, власти, женщине и славе. *Слава*, вот, быть может, одна из острейших отрав города. Вот миазм, что прививает возбужденье и тоску, наслаждение – муку. Если бы раскрыть «чрево Парижа», то в испареньях сладострастия и алкоголя, сребролюбия и властолюбия, обжорства явно бы курился сизый ладан Славы.

«И славы сладкое мученье...»

Но, кажется, в камнях «мирового» города не столько «сладкого мученья», сколько попросту изъязвленных жизней, исстрадавшихся сердец и очерствевших, ко всему кроме себя ослепших душ.

Иной раз, проходя вечером в толпе парижской, легче понимаешь полоумных, наполняющих весь этот город: ну, конечно, химерично и головокружительно, чтоб вся эта толпа знала твои дела, твое лицо и твое имя. Одолеть гидру... Для чего? Кому все это надо? – Тут и начинается безумие. И ядовито здесь Париж указывает сразу: на беспредельность цели, на ничтожество возможностей.

Может, он и разжигает. Может, и просто учит, старым, вечным вещам, но наглядно. Тщета жаждущего в толпе, тщета этой толпы и безмерность мира с достоверностью наглядности видны в Париже.

26 февр[аля]

Зрело, шире видя жизнь *действительно* с ней примириться... Вероятно, это выше наших сил. По плечу святому, и легко дается *равнодушному*. А живому и неравнодушному, просто че-

ловеку не забыть замученной собачки, не забыть бесконечности насилий, унижений и мучительства. В просто человеческое сердце это не вмещается. Именно вот – не хватает помещенья.

14 марта

На площади св. Августина есть кафе того же наименования. Небольшое, тихое. Оно как будто на мысу, с боков бульвар Османн и рю Пепиньер. Когда сидишь под вечер за его столиком, то видишь справа, слева от себя потоки автомобилей, и на площади они сливаются, задерживаются, путаются – вновь растекаются. Тут островок в вечном движении. На уютном кожаном диване, за столиками, одинокие читают газеты, или шепчутся влюбленные. За незаметность – любовь часто избирает местом встречи этот мыс.

В сумеречные часы, весной здесь хорошо сидеть. Чашечка кофе, и иллюстрированный журнал... Неторопливые гарсоны, смутно-фиолетовый полусумрак за окном, первые золотые пчелы на автомобилях, пред глазами, прямо, над рю Боэси, мартовский пламенеющий закат, и под ним синий сумрак с – тоже первыми – бледно-желтыми фонарями.

...Москва, и кафе Греко на Тверском бульваре, и топящаяся печка, кот, иллюстрированный журнал, прохожие, ледок, закат, март... И жизнь струится, как тепло над печкой Блациса, волнисто, зыбко, сладостно и нежно-грустно.

А время этому – почти что четверть века. Что ж? Сожалеешь, хочешь возвратить? Ну, вряд ли. Вот облачко над Боэси, в стране Латинской, окаймленное узором золота. Чрез несколько минут уйдет, растает, и другое явится. И это все.

22 марта

Клод Лоррен... Имя, связанное с Римом. С дворцом Дориа Памфили, прохладными коридорами галерей, зеркальными, с фиолетовым оттенком стеклами окон, глядящими на Корсо. В галерее «Рафаэль пейзажа».

«Справа и слева от озера большие купы дерев, темных, кругловатых; какая-то башня; далекие горы за озером, светлые облака; на переднем плане танцует женщина с бубном, и мужчина; пастух, опершись на длинный посох, смотрит на них; на траве, будто для беззаботной пирушки, расположились люди, женщина с ребенком, тоже смотрят. Лодки плывут по бледному озеру. И кажется так удивительно ясна, мечтательна и благостна природа; так чисто все. Так дивно жить в этой башне у озера, бродить по его берегам, любоваться нежными голубоватыми призраками далеких гор».

Вот он какой был, Клод Лоррен. Так я описывал когда-то знаменитую его картину – а теперь и сам забыл, где именно она. Но ощущение от него помню, и не без приятности, из окна новой своей комнаты, на углу вижу надпись: rue Claude Lorrain. Вот под чье покровительство попал! Страна Клода Лоррена. Приветствую тебя, художник. Под твоими небесами жить легко, прекрасен и волшебен свет твой, нежен колорит...

А какова твоя «страна» в Париже? Да, пожалуй, тоже неплоха. Тихая коротенькая улица. Маленькое кладбище времен Наполеона. Церковь. По ночам четко бьют часы. Небольшие дома, с садиками, мало прохожих, еще меньше проезжих. Перед моим окном особнячок в саду. Каштаны бледной зеленью распускаются над стеной, на улицу, как вяз в Филипповском переулке, вытягивают ветки. В саду куры, нарциссы, зацветают миндали. Согбенная старушка кормит петуха, и говорят, такой же есть и легендарный старичок. Во всяком случае, всегда заперты ставни, и должно быть, монотонная и призрачная идет за стенами жизнь – Филемона и Бавкиды?

Бывают дни, средь сутолоки, пустяков, вдруг ощутишь легчайший бриз... поэзии. Повода к нему нет. Просто: утро, несешь из булочной une couronne[1], солнце, тепло, снимешь шляпу, ветер ласкает волосы, и солнце подогревает. Заборы и садики маленьких улиц, зелень, ваза у калитки, полуоткрытое окно, и француз завтракает – наливает полстакана вина, священнодействует, и мягко падает тень бюста богини на фасад уютного домика. Блестит солнце в дверных медных ручках, облачка плывут по небу... т. е. и все как всегда, как обычно, но... слегка особенное.

Улыбка Клод Лоррена в ему подвластном крае? Его задумчивая нежность? Сон, видение, волшебное, легенда?

25 мая

...Ресторанчик Монпарнаса[2]. Слушаю ровный, мелодичный гул голосов – но из него в середине выделялась группа: сильней размахивали руками, громче голоса, не те гримасы – в слаженном оркестре нечто инородное. Прислушиваюсь: столик италь-

---

[1] Корону (*фр.*).

[2] В рукописи начало записи от 25 мая 1926 года зачеркнуто.

Первоначальный вариант: «...Мало французов знакомых. Но *французское* постоянно ощущаешь – на улице, в театре, ресторане. Французская толпа .. Я как-то в ресторанчике на Монпарнасе, вдруг сразу понял французов, французское «человечество».

Сидел один, запивал сыр анжуйским, слушал ровный мелодичный гул голосов [...]»

янцев. Вот он, Париж! Италия здесь уж шумна, и несколько грубей, первичней... Приглядываюсь. Да, экзотика. А это ведь Италия, та, настоящая, которую люблю. Она и здоровей, и южней, и проще, будто бы провинциальней, и развязнее в манерах, с точки зрения французской, вероятно, итальянцы не совсем воспитанны...

Ну, а французы? Всё в них было ровно и приглушено, все в меру, всюду мера, их оркестр слажен безукоризненно. Их язык – мягок и так *врожденно классичен*, так лишен острых углов и утомляющих своеобразий, и так все: лица и манеры, слова, движения, размеры тел – так все гармонизировано под *всечеловека*, что если бы я был француз – искренно бы презирал всех остальных (кажется, так и поступают, впрочем) – как провинцию и варваров.

Во французах (парижских) все так перекипело, выварилось, так отлилось, так отошло от «стихии», что «всечеловек» уже готов: его можно, родившись на рю Шатодэн – прямо надеть на себя, как костюм. Сколько в этом изящества! Во французской толпе почти нет мерзких лиц, как у русских. (В России: очаровательное, рядом – гнусность). Но и грусть есть большая. На парижской земле варвар (русский) – вдруг ощущает: а нет ведь земли! Фиалка в тигле, перегонный куб, дающий лучшие духи, но только не природу. И потому русскому ближе итальянец – землянее, корневитее и сочней.

26 мая

Пароход мягко постукивает, что-то лопочет в нем, а с реки – свежесть, влажный и широкий ветер, и даже рыбой пахнет – как лишен этого парижский человек, и как он рвется... Солнце, летние туалеты, эта влага рыбная и лопотание – вызывают дальнее и вечное: Риальто, и Дворцы, Догана, Лидо. Светлый дым молодости, то мучительно неповторимое, что вдохнешь вдруг с запахом пригретых фруктов, зелени на авеню де Версай, в дальней голубизне холмов Сен Клу, сквозь узкую щель рю Бийанкур. Злато Венеции, голубой свет Тосканы! который раз, когда устану?

Ну, так будем довольны теплым золотом, маем Парижа, будем скромно тесниться на палубе, и не забудем: праздник, каждому хочется ведь уехать, глотнуть зелени и голубизны. Под Парижем Медон, Севр, Сен Клу – мягкие купы зелени, майская влага, и нежная синева неба. Этот пейзаж приветлив, он говорит «ну, вот видишь, я благосклонен к тебе, маленький муравей, ладно, катайся на своих пароходиках. Если ты молод, влюблен, то пускай, под зелеными рощами ты вкусишь любви своей, краткой и малой, как краток твой век, но все-таки я раскрою тебе хоть на минуту – прелесть солнца, каштанов, дубов, желтых цветочков, извивы Сены... Вдохни же, насладись!»

Сен Клу. Впервые вижу я эти фонтаны. Влажно-пенное взгорье, кружева, тонкое стекло – и милый холод – прекрасно. Вилла д'Эсте? Но там тишина, барство высочайшее, безмолвная панорама Рима. А здесь «человечество». Оно разбрелось по всем лужайкам, по всем закоулкам парков на холмах, все честные папаши и все мамаши, дети, завтраки в платочках, зонтики, снятые ботинки и газетные листы – все надо претерпеть. Зачем скрывать: вид человечества тяжел, почти невыносим. Но это надо побороть. Достаточно стать в маленькую позу («я» и – «они») – и сердце наполняется тоской и ужасом некрасоты, печали и ничтожества. Прочь это чувство. Ладно, пусть. Человек хочет дышать. Ему немного надо! Барышня из магазина на авеню де Версай, не закрывающегося даже в праздник, искренно страдает, с дрожью и слезами, что не может вот вдохнуть «радости жизни» в этом Сен Клу – человек ценит столь малое, жизнь так скудна! «Яко цвет сельный, такой отцветет». Милосердия, милосердия! Отдых усталым, освежение затурканным. И нет язвительности в улыбке странника.

9 июня

Семь часов вечера. Все тот же день, зеленый угол парка, крутой склон, сабля Сены и за ней Париж. Вблизи он виден ясно – бесконечные дома, мало церквей, пятна садов и влево пышная зелень леса Булонского. Но дали смутны. Туман ли, мгла серосинеющая, тусклое дыхание гиганта. Оно колеблется, и точно медленно переползает. Вот одолел сноп света вечереющего, – из опала теплом выхвачен Монмартр, и забелел храм его многоглавый. Далекое виденье! А потом – ушел. Но тонким силуэтом – Нотр Дам, загадочные, всегда несколько страшные его башни. И безмерно выше всех «вавилонская башня», облик века, уж нашедшая своих певцов, уже прославленная, уж, верно, по T.S.F. беседующая с химерами Нотр Дам.

Как бы то ни было, но мировое. Тут уж не «порог вселенной» – просто образ универса.

Внизу, по площади, медленно ползет человечество. Священный час! Обед. Папаши тащат на руках будущих граждан Республики (Liberte, Egalite, Fraternite[1]), мамаши катят колясочки, скромные караваны запрудили мост, и терпеливою толпой стоят в очередях к трамваям, пароходам, автобусам, поездам – нет лишь аэропланов, чтобы возвратить домой насытившихся.

---

[1] Свобода, Равенство, Братство (*фр.*).

Покорное, невиноватое в страде, в убожестве своем человечество нуждается, чтобы Кто-то прижал его к безмерной, любящей груди – забыл все раны, безобразия и пошлость, все эгалите, всю философию консьержек, скопидомство, поклонение тельцу и всю продажность – *все-таки* прижал бы.

Но безумен тот, кто дал бы плебсу строить жизнь. Да не будет. Каждому свое. Герои и святые там, где им следует. Банкиры, лавочники и консьержки – на указанных местах. И *не наоборот.*

10 июня

Синий вечер Парижа – и довольно душный. Отворив окно, приятно высунуться, поглядеть сверху на каштаны, над собой увидеть белые и пухлые ладьи на темном небе, так же бесшумно пролетающие, как над Москвой и над Филипповским. И так же светлы звезды в глубине провалов, так же закрываются и открываются они.

Во всех окнах дома наискосок – особенно чердачных – головы, фигуры. И все тоже смотрят, и все тоже, будто – в бесконечность. И как будто все устало дышат. Далек простор, и лишь угадывается, лишь в синей, душной ночи с золотыми заревами, бледными небесными ладьями да узорами из звезд – угадывается.

И туда все смотрят. Точно ждут, точно в смутном блеске ветерка ловят кусочек шири, воли – необъятного.

Если спросить тебя, Париж, куда идешь, что ты ответишь? Если вспомнить тесную Лютецию на островке, крепостцу средь равнин. Мрачный Париж средневековья, с Нотр Дам, блеск королей, шум войн и революций, роскошь и нищету, отель Крийон и закоулки у Себастополь, всю твою гамму историческую, современную...

Во всяком случае, *нам* не увидеть нового твоего лица. А оно будет. Старый, обаятельный, порочный и чудесный город! Может быть, лучше подальше от тебя – в чистоту, тишину. Но *вовсе* без тебя уже не обойтись. Как чувствует себя мир? Чего он хочет? Как стремится? Ты его барометр, и твое давление всем ощутительно. Идешь ли ты к закату, будешь ли проглочен чудищем заатлантическим, взорвешься ль сам, в удушливых газах предместий, или мирно, твердо будешь искать нового в *душевном,* справедливом и Божественном, освящающем всякую жизнь, осуждающем всяческое обжорство. Озлобится ли далее твой труженик, запалит ли дворцы Ротшильдов и особняки Фридланд, или спокойно будет разворачивать новую, сложную и очеловеченную страницу бытия?

Кто знает. Надо верить. Но иной раз, проходя теплой летней ночью Елисейскими Полями, видишь над струеньем голубеющих твоих огней, Париж, над золотом автомобилей – пустыню и могильную лопату археолога. Тебя же – в Елисейских Полях прошлого.

1 августа. Ницца

...Под вечер на Promenade des Anglais. Серо, сумрачно, стал накрапывать дождик. Голова тяжелая с утра. Свернул на rue de France, зашел в аптеку. Когда вышел, дождя не было. Ладно, пойду пешком к себе на Pont Magnan. Вновь направился к набережной.

Добрый дух подсказал!

Что произошло?

Мир изменился. Ариэль крылом коснулся, все преобразилось.

Широкий тротуар стал бледным зеркалом, тончайшей выделки. На сером небе выступило несколько розово-пепельных полос, как бы отсветов закулисного. Воздух нематериальный, либо дрожащий. Море, и туманящаяся даль Антиба смылась в шелковисто-сиреневое, влажно дышащее, с белым кружевом. Последний же знак сна, полубытие... засияла вывеска отеля Negresco. Каков цвет букв? Где найти в словах краски? Бледный лунный ледок, снеговая вершина не нашей планеты, или в Чистилище, под вечер, так освещает таинственный свет?

Все, что хотите, только призрак. Бестелесная легкость. Какое волнение может дать глупый N e g r e s c o ! Какая грусть, и вздох, почти слеза. И слава Ариэлю.

5 авг[уста]

«Я тебя постоянно здесь вспоминаю, думаю о тебе много, и о нашем прошлом. Тебе бы так по душе пришлось здешнее житье и природа, редкая красота и отъединенность. Мне посчастливилось найти, от станции четыре версты, от Москвы сорок пять, но ничего дачного. Мы живем в двух избах... перед глазами такие живописные долины, холмы, что я называю их Тосканой, правда, есть что-то итальянское в мягкости и закругляемости пейзажа. Новый Иерусалим от нас в 12 верстах; а с краю другой стороны нашей деревни монастырь женский, сохранившийся (обращен в хлебопашескую артель). Дух монашеский не только за белой каменной оградой, но и вокруг: ты встречаешь монашенок, пасущих коров, убирающих сено, на жнивье – грубые загорелые лица, но с потупленными глазами и с четками на

руке; всегда кланяются. Службы прекрасны, тебя и твоих всегда вспоминаю в монастыре. В день Бориса и Глеба, 24 июля – монастырский праздник; мы были все за литургией, гостили Анечка с Машей и Настей и за крестным ходом шли все ребята, их матери и я».

Это отрывок письма близкого человека. Адресовано не мне, но *почти* мне. Вот мой воображаемый ответ.

«Дорогая Танюша, твое письмо очень меня взволновало. В нем я почувствовал, очень уж сильно, и тебя, и Россию, вернее, все ту же Святую Русь, с которою нерасторжима наша связь, где бы мы ни находились, в Париже, Провансе, Италии. Ну, прежде о тебе самой. Я помню тебя совсем молодой, с твоим прекрасным, тонкого благородства, лицом, глазами луиниевской мадонны – так и было в действительности, и когда ты вспоминаешь Тоскану под Новым Иерусалимом, не кровь ли итальянки-бабушки говорит в тебе? Но у тебя русское имя. Ты одна из трех близких мне Татьян. Это имя обязывает, имя великомученицы Татианы на русской земле осияно особенной прелестью. Все три Татьяны – на высоте. Я так с детства привык, что Татьяна есть *образец*, что теперь мне уж трудно поверить, что есть и какие-то «дрянные» Татьяны. А может быть, и правда, их нет! Как бы то ни было, для меня звук и облик Татьяны навсегда связался с обликом Святой Руси, и твое письмо лишний раз подтверждает это. И мне страшно приятно, что ты даже пишешь не только за себя. От тебя пошло уже целое племя, все милые твои дети выросли на моих глазах, на моих глазах прелестные девочки стали девушками и матерями, на моих глазах погиб сын твой от руки врагов, и тебя не миновала горькая чаша, от которой мы испили все. Но уже второе поколение, твои внуки, племя для меня «молодое, незнакомое», тихо возрастает близ Москвы. «И за крестным ходом шли все ребята, их матери и я». Вот мне и представилась целая рощица, исшедшая из московской земли, тобой возглавляемая, в твоем духе ведомая. Вы живете в двух избах, зимою в Москве боретесь с бедностью, но с вами правда, с вами Бог, и вы не можете себе представить, как утешительны на чужбине чистые и тихие голоса с Родины, говорящие о жизни в духе и истине. Твоя дочь одновременно пишет об общем нашем знакомом, к вам приезжающем из Москвы: «мне очень нравится, как он ведет свою жизнь, как он кроток, терпелив и как мужественно претерпевает свою очень трудную, нищенскую жизнь». Значит, вы не одни. Да и я вообще не сомневаюсь, никогда, в самые горь-

кие минуты не сомневался, что Святая Русь не умерла. Она в подполье, в катакомбах – это ничего. И те монашенки, о каких пишешь, что наперекор всему благообразно несут жизнь свою, и сотни ведомых и неведомых – это и есть живая вода. Дай вам Бог сил.

Я живу от вас далеко, и моя теперешняя страна мало похожа на нашу родину. Но благодаря доброму случаю (которым, однако, кто-то руководит), я второе лето живу у друзей в провансальском имении среди лесов, оливок, виноградников и гор Вара. Дому двести лет. Стены его толсты, он прохладен, затенен столь чудесными каштанами, что их зелень вызывает во мне какое-то древнее, друидическое чувство: понимаю, почему галлы могли поклоняться деревьям и считать их божествами. Вар очень пустынен. Фермы разбросаны редко, много из них заброшено, людей мало. Наши друзья и соседи здесь: цикады, днем весело и серебряно орущие, ночью едва звенящие; куропатки; сороки; сычи – самые для меня милые существа, в летние провансальские ночи перекликающиеся мелодично-нежным и меланхолическим свистом. Это тоже как бы местные божества, гении местности, ее охранители. Я все крепче люблю Прованс, в некоем смысле, как и Италия, это спиритуальная моя родина, и его вечное солнце, монастыри, мистрали, тмины, лаванда, укроп и даже чеснок – все это мои искренние друзья. Когда-нибудь напишу также о стариках и собаках Прованса. А сейчас пока скажу так.

Сердце мое все чаще направляется на родину. Все крепче мне кажется, что эти годы изгнания посланы нам для лучшего понимания жизни, для некоего созревания и расширения горизонтов (ибо здесь, действительно, на «пороге вселенной» мы становимся как бы «гражданами мира»). Но весь смысл этих «годов странствий» состоит в возвращении на родину. Здесь мы учимся, многие из нас заняты в грубом труде и приобретают суровые навыки, но в общем мы здесь состоим *при* жизни, но не *в* жизни. *В* жизни мы будем лишь дома. Я не думаю, чтобы это произошло скоро, и поэтому надо особенно нам стараться не стариться. Мы должны вернуться домой, чтобы продолжать вечное дело милосердия, добра и просвещения родины – дело, недостатка в котором никогда не будет. Всякое добро в последнем счете опирается на христианство, значит, по мере сил, предстоит работа по укреплению жизни «в духе». Только бы и самому оказаться на уровне!

Итак, я надеюсь и твердо верю, что мы с тобой встретимся, Татьяна, в Москве, и у тебя, и у меня прибавится в волосах се-

дин, но да пошлет нам Господь встретиться бодрыми, полными сил и правильно устремленной воли»[1].

17 авг[уста]

Ну, что же, полоса писем. Берем жизнь, «как она есть». Еще одно письмо, подписанное известным именем. Но *мне* такое письмо не могло быть адресовано. Беру его из газет:

«Совершенно ошеломлен кончиной Феликса Эдмундовича. Впервые его видел в 9 – 10 годах и уже тогда сразу же он вызвал у меня незабываемое впечатление душевной чистоты и твердости. В 18 – 21 годах я узнал его довольно близко, несколько раз беседовал с ним на очень щекотливую тему, часто обременял различными хлопотами, благодаря его душевной чуткости и справедливости было сделано много хорошего. Он заставил меня и любить, и уважать его. И мне так понятно трагическое письмо Екат[ерины] Павловны (Пешковой), которая пишет мне о нем: «Нет больше прекрасного человека, бесконечно дорогого каждому, кто знал его».

Это написал Горький Ганецкому о смерти Дзержинского. Что тут сказать? Возмущаться, негодовать? «Каждому, кто знал его» (Горького), давно ясно, что этот двусмысленный, мутный и грубый человек, очень хитрый и лживый, и не мог написать иного. «Каждый, кто знал его», отлично знает, что при случае он отречется от своих слов, если это выгодно. Так что удивляться не приходится. Грустно одно, что друг палачей, восхвалитель Лениных и Дзержинских, разбогатевший пролетарий и человек весьма темной репутации, грязнит собою русскую – *русскую*! литературу. Грустно, что этот недостойный литератор в глазах Европы и прочих стран является каким-то претендентом на литературный русский трон. А между тем, надо сказать прямо: письмо о Дзержинском – есть основание, чтобы поднять вопрос: да можно ли *вообще* считать такого человека «в ограде литературы»? Ведь и Менжинский литератор, если не ошибаюсь, даже беллетрист! А может быть, и сам покойник писал сентиментальные стишки?

---

[1] В рукописи окончание записи от 5 августа 1926 года зачеркнуто. Первоначальный вариант:

«Зная меня с юности ты, может быть, удивишься этим моим словам. Но, вероятно, они-то и суть вывод сознания, что в нашей эпохе не только, и даже не *столько* поэзии место, сколь *деланию*. Борьбе за добро, которому следовало бы отдать все наши силы и все, так называемые, дарования».

Нельзя никому запретить быть мерзавцем. Но в целях ясности следовало бы точнее разграничиться: писатели, скажем, составляют свой союз, спекулянты свой, чекисты – тоже свой.

Мне кажется, что как в 1921 г. провалилась кандидатура Горького в председатели Всероссийского Союза Писателей (11-ю голосами Московского правления, против 1-го), как провалилась недавно, по каким-то таинственным причинам, его Нобелевская премия, так наступает час и провала его права называться русским писателем, ибо это не шутки, русская литература есть русская литература, и в ней любителям палачей – не место.

20 авг[уста]

Тяжело писать о Горьком – но необходимо, слишком вызывает к этому его письмо. Тем радостнее выйти из нездорового воздуха на свет Божий. Свет Божий состоит из разных сияний: бессмертно расстилается он с холма «древней Ниццы» с оливковых склонов Грасса, не менее бессмертен в душе скромной и смиренной русской поэтессы, в прошлом году умершей, чьи «Подвальные очерки» только что довелось мне прочесть[1]. Солнце в подвале! Это не так-то просто. Да еще в каком подвале? В том самом, куда сотнями и тысячами сажал человек «незабываемой душевной чистоты».

Друзья покойной, направляя мне ее писание, просили: не называть ее имени, «это может повредить близким, оставшимся в России». Я это делаю. Я называю ее, как мне *позволено*, А. Г. – В чем состоят преступления А. Г.? Видимо, в том, что, отсидев в Крыму несколько времени в подвале Дзержинского, она с величайшей простотой и трогательностью, без всякого напора, нервов, обличения, дала несколько словесных зарисовок той жизни, тех людей. Эти люди так живы, их рисунок так безыскусственно верен, вся вещь так полна высокого и смиренного настроения, что, конечно, это одно из лучших произведений последних лет вообще, в мемуарной же литературе первое его место бесспорно. Вот, Горький, когда вам должно быть очень, очень стыдно! В эту минуту мне даже становится вас жаль. Зрелище писания А. Г. дало б вам ясную картину, с кем вы, кого хвалите, и кого (хваля злое), предаете.

Вы предаете тишайшую, замкнутую, невидную собою, с недостатком произношения и легкою глухотой, но полную внутреннего очарования русскую поэтессу-святую. Для меня несом-

---

[1] Они будут напечатаны в одном из ближайших №№ рижского журнала «Перезвоны».

ненно, что А. Г. принадлежала к очень древнему *типу*: первохристианских мучениц, средневековых святых, св. Цецилия, Катерина Сиенская, св. Тереза – ее великие сестры. Разумеется, она не была святой в прямом смысле и не будет канонизирована. Она была жена, мать, писательница, все мы, ее собратья по литературе, помним ее и в Петербурге, и в Москве, на литературных собраниях, на религиозно-философских заседаниях, и т. п. Невестой Христовой и монахиней она не была, и мира не покидала. Но чтобы вкратце показать, что это была за душа, приведу факты, сообщенные мне ее близкими друзьями. И, во-первых, обстановка, в которой она жила в Крыму: «сперва прошли красные орды, опустошая винные подвалы в награду за «победу»... И все же эти пьяные ватаги были менее ужасны, чем следовавшие по их пятам вылощенные чекисты. От красных орд наши виноградники усеивались трупами дохлых лошадей, от чекистов – трупами «белых» людей. По ночам их выводили голых, в зимнюю стужу, далеко за скалу, выдававшуюся в море, и там, ставя над расщелиной, стреляли, затем закидывали камнями всех вперемежку – застреленных и недостреленных. А спасавшихся бегством стреляли где попало, *и трупы их валялись зачастую у самых жилищ наших и под страхом расстрела их нельзя было хоронить. Предоставляли собакам растаскивать их, и иногда вдова или сестра опознавали руку или голову*» (Слушайте, Горький, слушайте! Или вы находите нужным в этом случае «побеседовать» на «щекотливую тему»?)

За террором пришел голод. А. Г. прошла и чрез эту Голгофу. Мой корреспондент утверждает, что эта полоса была не менее ужасна – потому, что больше убивала дух и мучила обыденностью. По-видимому, здесь нельзя уж было жить экстазом. «Голод – томительно долгий, держащий человека на границе животного существования – не только не одухотворяет, но низводит до зверя, до безумия».

Привожу длинную выдержку:

«Я никогда не забуду мертвенно-серого, припухшего лица А. Г., с затаенной остротой ожидания воспаленных глаз, с отупевшим от страдания выражением, с шатающейся, волочащей ноги походкой, с какими-то клочьями обуви, привязанными к ногам, облипшим вязкой глиной... Так бродила она по знакомым и незнакомым домам «сытых», робко вымаливая уже не кусок хлеба детям, а хоть бы кухонных отбросов. – Из картофельной шелухи готовила она «котлеты», из кофейной гущи и старых заплесневевших виноградных выжимок пекла «лепешки». (Мне самой пришлось отдать свою кошку соседке, у кото-

рой умирали дети). Но скоро ни кошек, ни собак не стало, приходилось рыть коренья: Варили «суп» из виноградной лозы, из необделанной кожи «посталов» (татарск[ие] сандалии). Помню радость А. Г., когда кто-то привез из Феодосии куски жмых – они жевали их и находили «вкусными»... Но что личные муки в сравнении с мучениями *матери*! Особенно трудно переносил голод ее старший мальчик. Он иногда по ночам, не будучи в состоянии спать, выбегал на двор, в зимний холод и там «выл»...

Как переносила А. Г. эту жизнь, какое было настроение ее душевное?

...«В такие ночи (днем было «некогда»), дрожа от голода и холода, эта неугасимая душа слагала свои стихи, пела свои гимны и славила Бога. Поистине, пред этим отступают и бледнеют «духовные гимны» древних подвижников».

У меня хранится эта литература. Но именно «литература» здесь на втором месте. Это гимны, молитвы, славословия высоко-поэтической души. Сейчас они важнее для меня как *факт*, как обрисовка цвета и направленности матери-поэта, у которой сын «воет» от голода.

Богородица, Приснодева!
Укажи мне путь!
«Ты сложи суету земную,
В нищей встань чистоте,
И в святую рань, в золотую,
Выходи налегке.
Разойдется трава густая,
Просветится стезя
И фиалку из Божьего рая
Я сорву для тебя».

А. Г. пережила голод, но погибла, все же, жертвою намученности и надлома. Она скончалась в прошлом году от болезней, ужасов и усталости пережитого. Конечно, внутренне *не* подалась, не уступила Дьяволу ни пяди, но тело не вынесло. Вместе с Блоком, Гумилевым, чрезвычайно от них отличаясь, она может быть причислена к мученикам и жертвам революции, и эти беглые мои строки – лишь заметка, лишь памятка о светлой и прекрасной душе, о частице Святой Руси, терзаемой и распинаемой.

В книге, подготовляемой ее друзьями, ее образ получит полное освещение.

А пока, Горький, повторяю: я *не* могу назвать ее по имени! Она бы вам простила. Я – не могу.

24 авг[уста]

Белый и светлый полдень. Тот свет, легкий и полный, когда сладостно орут цикады, когда мир дрожит от его прелести, когда юг есть свет, а свет есть Бог.

По узенькой тропинке, меж стен, за которыми оливки, иногда сады вилл – с чернотой тени лавров и магнолий, с едва слышным ручейком – мы поднялись с девочкой к часовне св. Христофора над Грассом. Цель девочки – нарисовать часовню. У меня нет цели. Я сопровождаю, впрочем, может быть, тайная цель: просто дышать светом.

Часовня очень уединенна. Над ней обрывы, скалы, дубы, сосны. Она не очень старая, спокойного, благородного стиля и того желто-коричневого цвета, что так характерен для церквей Прованса. Пока девочка истово рисует, я заглядываю сквозь решетку в полумглу ее влажную и прохладную. Обстановка обычная – алтарь, свечи, цветы, иконы. Кажется дважды, если не трижды изображен св. Христофор, «Христоносец», могучий человек, несущий через реку Младенца. Когда он взял Его к себе на плечо, о, как тяжко показалось ему Дитя! И как он должен был напрягать мускулы ног, чтоб перенести Его на другой берег!

По лесенке и по откосу спускаюсь на площадку перед часовней. Там, в углу парапета, под тенью чудеснейшего платана сидит и рисует девочка. В двух шагах водоем. Чистая, светлохолодная струйка бежит, и журчит... Прямо, за матовым блеском оливок, разлеглись в синеватом, сияющем белым дыму, гребни холмов, уходя складками в даль, всю напоенную великим светом, великим безмолвием. Тишь, мир! Сияние и благодать, вот именно уж Божий свет.

По тропинке подымается немолодой, облезлый и распаренный человек с женою и дочерью. Несут завтрак в корзиночке. Проверив у нас, что это то самое место, облегченно вздыхает и улыбается, подставляет лысую голову честного pater familiae[1] под струйку воды, а женщины распаковывают припасы.

Здесь они отдохнут. К простым, скромным людям не будет немилостив св. Христофор.

12 октября

Читая и слыша о положении православия в Латвии, так ясно чувствуешь все то же, что везде с нами. – Да, господа русские, у вас где родина? – Далеко. – Правительство какое? – Никакого. –

---

[1] Отца семейства (*фр.*).

Что же, у вас денег много? – Не густо. – М-м... ну, а кто же, при случае, за вас заступится? – Кроме Бога, некому... А-а, ну тогда, знаете ли, не *удивляйтесь*... можете, конечно, у нас жить, что же, мы люди добрые, но не удивляйтесь, что мы преследуем сперва *свои* интересы, затем интересы более значительных групп, а вы... ну, ничего, живите, пожалуйста... но, впрочем, *не настаиваем, не настаиваем*!

Всем памятно, как трудились поляки, в поте лица, ломали в Варшаве православный собор. В Риге «взрывают» нашу часовню. В Латвии, вообще, оказывается, серьезно взялись за нас, даже серьезнее, чем в России. Там упразднено 5% храмов, в Латвии 19% (правосл[авных] церквей). Архиерейский дом в Риге... Ну, русский архиерей как-нибудь там обойдется, а вот католическому епископу без хорошего дома неудобно.

– Отдать.

– Позвольте, а наши духовно-учебные заведения? В православной Латвии священников не хватает, служить некому, а вы отбираете у нас здания бывших семинарий, где же нам готовить пастырей?

– Попов плодить? Ну, знаете, это уж слишком. Нет, вы забываетесь и придумываете опасную теорию главенства церкви. Да и нам ваши дома самим нужны – для кинематографов.

Чудесно. В приморской архиерейской даче собираются поселить министра иностранных дел, погостные дома отчуждают административно *вопреки* решению собственного же суда, русское кладбище продают какому-то спекулянту, который сносит кресты, разрывает могилы и строит на русских костях доходный дом.

Все это так и бывает. Сильный не совестится, теснит слабого. Слабый и *не* богатый отлично знает все утеснения свои, все предпочтения себя богатому дельцу. Сколько лакействовала старая Европа пред Москвой, и как лакействуют и сейчас всякие «передовые» немецкие и французские люди пред теми русскими, у кого государство, деньги, армия...

Те, у кого нет денег, армий, земель, но кто чувствует за собой правду, пусть помнят, что упорством и достойной борьбой многое достигается, пусть помнят, что страдания и унижения изгнанничества нам даны для испытания, закала духа. В частности, великая красота и правда православия нашего времени есть его гонимость – и в России, и в неблагодарных мелких государствах. Гонимость дает иной стиль, более высокий. Напор зла отшлифовывает вечный камень. А все вместе возводит к духу первохристианства.

Ничего, пусть пренебрежительно нам говорят:
– Не настаиваем! Не настаиваем!
У нас должен быть мужественный и спокойный ответ:
– А вот *мы* настаиваем!
У нас своя правда, мы *на ней* настаиваем,

[12 мая 1929]

...Семь лет. Первый въезд в Берлин – утренний кенигсбергский поезд подкатил к вокзалу Цо, и вот мы на земле Европы, начинаем круговорот блужданий, мы, русские люди, московские. Говорят, за семь лет человек меняется. Может быть, и во мне ничего не осталось, и совсем другие глаза увидали Берлин теперь – в эту последнюю поездку, не те, что полны были кошмаров родины... Год самого Берлина, месяцы Италии, пять лет Парижа...

Думаю, Париж особенно к себе прикрепляет, вроде Рима. Подчинишься ему не сразу, но подчинившись, уже не уйдешь. В первый раз ощутил я это два года назад, возвращаясь из Греции. Когда завиднелись туманные горы Ривьеры, сразу стало весело. Домой, домой. Голубая страна, с благородным пейзажем Прованса, виноградниками Бургундии со своим старым, но крепким сердцем Парижем – страна завладела тобой. Помню, как радовался я Сене, Консьержери, Лувру, когда такси вез с Лионского вокзала. И каштаны мои (духовно мои, физически чужие) на улице Клод Лоррэн так же были приятны.

А теперь во второй раз сжалось сердце печально по уходящей Франции и Парижу – на бельгийской границе. Бельгия промелькнула быстро – и начался германский мир...

Моя прежняя жизнь в Берлине была неплоха. Я обитал на Курфюрстенштрассе, пил немецкое пиво, бывал на литературных русских собраниях в кафе Леон, повиновался герру Больте (моему хозяину) и даже я довольно бодро, беззаботно чувствовал себя в Берлине.

Оправлялся от измученности Россией, летом купался в прохладных водах Мисдроя, Прерова – на Балтийском море. В тот, первый год, русских в Берлине было много. Прибыла в октябре целая партия профессоров, литераторов, высланных из России. Сама Россия ощущалась близко, и была надежда (глупая, конечно) скоро возвратиться.

Так что Берлина мне не любить не за что. Скорей напротив.

Но как некрасиво, скучно показалось сейчас все в нем – люди, дома, улицы, движения людей, говор их, автомобили, витрины магазинов. Добро бы это была скромная некрасота. Я видал по-

меранские села и ширококостных, со светлыми ресницами крестьянок северной Германии – кроме сочувствия, ничего они не вызывают, как сочувственно-печален, скуден, суров и даже говорит русскому сердцу пейзаж какого-нибудь Каммина или Штральзунда. Но шиберский шик Курфюрстендамма невыносим. Вкус состоит в чувстве меры, такта. Ни того, ни другого нет в Берлине. Всюду вас хотят поразить, удивить – или научить глубокомысленной мудрости (плевать на пол не надо, сходя с трамвая, смотри туда-то, и т. д.). Если в Париже много уличных огней, светящихся реклам – мы заведем их am Zoo вдвое больше. И мы строим am Zoo «паласты», заливаем их сотнями электрических лампочек, все горит, блестит, сияет, внутри огромнейшие кафе, непременно на тысячи посетителей, ибо все у нас «колоссаль», ресторан Кемпинского на Потсдамерплац праздновал недавно миллионного посетителя (за короткий срок). На все красоты Цо смотрит Гедэхтнис-кирхе, нечто «готическое» – сплошной эрзац. На стенах паластов выставлены гигантские уродливейшие портреты ведетт синема: с грустью замечаешь искаженное лицо нашей Ольги Чеховой. Вокруг снуют «буби-копфы» в преувеличенно коротких юбочках, с преувеличенно выщипанными бровями. Все это посетители и друзья кино. Кино вообще владеет Берлином. Не было дня, чтобы не слыхал я нескольких разговоров о «кручении», фильмах, сценариях, «дреебухах» и т. п. Миллионное человечество выползло, наконец, изо всех щелей, потребовало хлеба и зрелищ и затопило пейзаж культуры. В нем и его творении тонет искусство, литература, философия. В Берлине слушал когда-то Тургенев Вердера. Теперь слушал бы рассказы о фильме «Манолеску» и пил бы кофе на Витембергплаце в кафе тоже Манолеску. Румынский спекулянт Манолеску станет скоро (его «крутят») героем Берлина. И все буби-копфы с выщипанными бровями и в юбчонках выше колен прибегут толпами в «паласты» смотреть «румынского Казанову».

Мои впечатления Берлина поверхностны – я это знаю. Конечно, есть в нем и почтенное, и внушающее уважение: трудолюбие жителей, их дисциплина, упорство, с каким преодолевают они тяжкую, серую (особенно в низших классах) жизнь. Я знаю, что в Берлине высоко стоит техника и наука – в частности медицина. Но нет литературы и изобразительных искусств. В ужасном состоянии религия – синема и церковь не бывают вместе. Говорят, плохо с молодежью. Семья рушится, морали нет (*на чем* ей держаться?), болезненные настроения, близкие к комсомольству, сильны в юношестве. Много самоубийств. Сильна проституция.

Тут выступает еще черта Берлина: это полусоветский город. Странным образом, в Берлине сразу чувствуешь себя каким-то концом в России. Только это не дает радости. Не Россия рек, лесов, полей, и не духовная Россия – святая Русь – здесь, а советская пшенка, примус, жилотделы и прочее. Мистический знак Берлина – скука, знак советский. В городе пахнет неизбывной скукой, как в Совдепии. Нет красоты ни во внешнем, ни во внутреннем, ни языческой прелести (в которой всегда зерно истины), ни духовной красоты: подвига, чистоты, любви. (Опять оговариваюсь – имею в виду лишь общее впечатление). Никакой веселости духа в Берлине быть не может, – и даже простого веселья нет. Весь он в каких-то облаках, парах, мутная атмосфера давит. (Интересно бы исследовать «флюиды» местностей. Сравнить, напр[имер], излучения Берлина и Афона!)

Берлин – социалистический город. Шиберы на поверхности, социал-демократы в толще жизненной. Социал-демократы хозяева положения, как бы буржуа социализма. Коммунисты – его «enfants terribles»[1]. Социал-демократы старше, покойней, культурней. Может быть, даже хорошие организаторы и управители – но религии у них нет. Религия коммунистов известна. Ее трупным запахом тянет над Берлином, и этот тлен, конечно, сильнее умеренного безразличия герров Мюллеров. Русские коммунисты должны чувствовать себя в Берлине превосходно. Правительство послушно им, пресса за них, общество также. На чествование Толстого, устроенное эмигрантами, не пошел никто из немецких профессоров. На банкеты Крестинского ходят все, едят русскую икру до отвалу и похваливают. «Великий» Эйнштейн убежден, что русским профессорам Берлина просто надо вернуться на родину (и по его гениальному мнению, это так легко устроить!). В одном берлинском издательстве, прежде чем начать читать рукопись русского автора, спрашивают: а где он живет? Если в России, то манускрипт уже почти принят. Если в эмиграции, книгу не читают.

* * *

В Берлине много простору. Улицы широки, есть незастроенные участки в самом городе. Квартиры гораздо больше парижских, с аляповатыми лестницами в деревянной резьбе. Нередки в огромных кабинетах ернические резные столы, работа

---

[1] Ужасные, дерзкие дети (*фр.*).

«под дуб», «под кожу», вообще, всегда под что-нибудь, ибо живого, рожденного дарованием и искусством, нет. (Если выдумают однажды заводных людей, «роботов», двигающихся и проделывающих все, что полагается настоящему человеку, – это будет берлинское изделие. Эйнштейн, надеюсь, приложит и сюда свою руку. Впрочем, нет ли уже и сейчас автоматов на Фридрихштрассе? Надо еще доказать обратное.)

Мне пришлось быть в одном квартале Вестена, застраивающемся новыми домами. Вернее сказать – новым домом, ибо это дешевая казарма стиля модерн, правда, является «монолитом» на сотни квартир, одинаковых, с квадратными окнами, вдающимися балкончиками, одинаково падающей тенью, одинаковыми подъездами, вероятно, и одинаковым населением. Молодежь этого населения разумно резвится на теннисно-футбольных площадках, культурно разбитых между домами.

– Чего же вы, собственно, хотите? – спросит меня вполне добропорядочный социал-демократ. – Вам нужно поэтическое нищенство? Чтобы наши труженики ютились в живописных лачугах какой-нибудь Генуи или Венеции? Без света, теплой воды, тенниса и ванны? Но чтобы вот вашему артистическому сердцу весело было смотреть на таких «интересных» бедняков?

Мое положение не так-то легко.

Все же я начинаю нечто бормотать.

– Да нет, знаете ли... герр Мюллер. Я, собственно, не тово... вовсе я не эстет этакий, сам отчасти пролетарий, и никого не собираюсь загонять в лачуги... Разумеется, проведенная вода благо... Я и не отрицаю. Только объясните же и вы – мне... почему такая непроходимая тоска от ваших ульев? Что такое – начинается жизнь термитов, что ли? Земной рай по Марксу?

И вдруг внутренне вспыхиваю. Нет, я теперь не робею перед сигарой и перед пивной кружкой уважаемого Мюллера.

– Извините, я тоже вижу жизнь, и тоже знаю, что появились новые отряды, слои, что ли, человечества – или классы, и вы вожди этих несытых классов. Но что вы можете им дать, кроме усовершенствованных клозетов, зажигалок и синема? Кроме этих казарм и лаун-теннисных площадок, ничего у вас самих нет за душой. Вы и самое-то слово *душа* позабыли, чему вы можете научить неимущих? И Бога забыли, и дух Божий от вас отлетел. От того и тоска такая в вашем удобно-разумном деле. Почему нет ни проблеска красоты, поэзии, искусства? Потому что самое ваше дело мелко и ограничено, оно не овевается никакими ветрами, это хозяйство городской думы или большой фермы... Лучшие из вас говорят, что все душевное и духовное –

Privat-sache[1], и говорят именно потому, что никакой [privat-sache] у них нет, а следующая, очередная реформа мира состоит в том, чтобы изобрести костюм без пуговиц – это сократит ненужный труд застегивания и расстегивания их и прибавит по несколько минут счастья каждому из термитов.

Герр Мюллер тоже начинает волноваться.

– Знаем мы все ваши разглагольствования. Общие места против социализма. А если покопаться, так это говорит в вас дворянский атавизм. Знаем мы эмигрантов. Вы мечтаете о восстановлении отжившего и опираетесь на крупную буржуазию, вам бы хотелось, чтобы рабочий класс вновь был согнут в бараний рог...

Бог с ним, с Мюллером. Пусть думает, что я хочу трудящихся и живущих нелегкой жизнью людей еще в какой-то рог сгибать, для чего мне это, когда среди своих, наших, кого Мюллер презрительно называет эмигрантами, я вижу сколько угодно нужды и пролетарской жизни. Что мне – себя самого закабалять? Своих знакомых и приятелей? Извините меня, г. Мюллер, я вижу бедности, вероятно, побольше вашего, и в «социальных противоречиях» тоже кое-что понимаю. Интересуюсь вовсе не восстановлением ушедшего (в котором было много, однако, великого и прекрасного), – а размышляю именно о будущем, и размышления мои иногда страшно грустны, иногда в них есть надежда.

Я совсем успокаиваюсь. Не надо волноваться. И презирать Мюллера вовсе не следует. Он даже совсем порядочный человек, зла своему народу не желает. При этом большой работник. Если я считаю, что вижу дальше и больше его, то опять моей заслуги тут нет, так уж мы созданы, а жизнь свою он, вероятно, проводит гораздо уважительнее и разумнее меня.

И вот в ближайший раз я поговорю с ним в полном спокойствии, без раздражения постараюсь приоткрыть свои козыри.

[31.5.1929]

ОТВЕТ МЮЛЛЕРУ

«У вас же в Берлине, г. Мюллер, я встретил одного русского, из Москвы. Может быть, вы думаете, что все нынче в России состоит из политики, собраний, пропаганды? Далеко нет. Россия очень сложна и пестра, не так легко охватить ее облик.

Мой знакомый вращается в довольно странном мире – духовном. Он не духовное лицо, а светское, и по специальности

[1] Личное, частное дело (*нем.*).

своей много работает. Работник хороший, его ценят. Но не в этом дело. Для меня гораздо интересней самый образ его бытия. Опять-таки ничего исключительного в этом «образе» нет, все-таки не совсем похоже на здешнее. Благочестиво он живет, и только.

Вы скажете, что это неново. Не со вчерашнего дня люди так устраиваются. Я с вами согласен. Но может быть то, что встретил я его именно в Берлине, городе столь далеком от всего *такого*, или что он из Москвы, или что эпоха наша особенная, я как-то чрезвычайно остро его и ему подобных воспринял. Главное ощущение, которое у меня от него осталось, – чувство сосредоточенной силы, внутренней глубокой жизни. Душевная воспитанность! – это редко бывает, дается, я думаю, долгим опытом. Аскетизм? В некотором роде, да. Много церкви, много молитвы, много труда. Забота о душе. Наблюдение над ее жизнью, частые исповеди. Мало житейских радостей и развлечений, но очень твердая внутренняя установка: на Бога, вечность.

Интересно, что на мой вопрос, хорошо ли ему в Берлине, он ответил:

– Скучно тут.

– Почему скучно?

– Да никак здесь... Ни то, ни се. И борьбы нет.

Я поглядел на него: человек вида слабого, болезненного. Какая же там борьба?

– Ну, может быть, слово борьба вам не нравится, заменим его другим: противостояние.

Он объяснил мне, что это значит. Тоже, если угодно, ничего особенного.

«Они» живут своей жизнью, строят свое царство. «Мы» отстаиваем свое. У «нас» церковь, приходы, мы стараемся жить христианской жизнью. «Мы» не занимаемся вовсе политикой. Но ненавидят «они» больше всего «нас», ибо только у нас противопоставлено им нечто – вернее говоря, особый мир... «Они» идут на него непрерывно, а «мы» неукоснительно к нему приникаем – и он нас укрепляет, и мы в бытии нашем пытаемся его утвердить, означить.

Я несколько раз встречался с этим человеком. Вот она родина-то, Москва! Вот она, подспудная Русь! Не один он живет так – совсем не один. Сколько понял я, это целый разряд, «партия», что ли, – я бы определил: скромных людей, вокруг церкви, ушедших в тишину, доброту, бедность, взаимно друг друга поддерживающих, поддерживающих всех неимущих и

страждущих. Государство гремит, «устрояет», «карает», производит вечный грохот Кесаря, всегдашние гонения – они же созидают свою обитель.

Вот и вышло, что древняя Москва вновь оказалась твердыней благообразия. Помню, еще в революцию поражала меня несхожесть двух миров: идет служба в церкви и ее торжественно-медлительный тон, ее пение, ее золото (внешнее и внутреннее) до такой степени отрицают улицу, хамство, хаос действительности. Хаос же отрицает это благозвучие. Ну, а теперь оба мира укрепились, каждый по-своему, пустили корни, живут и творят – один одно, другой другое. У одного власть, деньги, войско, полиция – у другого... лишь Истина. Один издевается над Христом и его служителями, устраивает безбожнические хулиганства, запрещает преподавать Закон Божий, облагает священников непомерными налогами. Другой – с особой любовью создает церковные хоры, украшает храмы, по грошам собирает деньги и вносит за своих священников. Один не хочет признавать никаких церковных праздников – они для него будни. Другой в эти дни начинает раннюю обедню в пять часов утра, а к семи из церкви идет уже на гражданскую службу. Один грохочет, нападает, злобствует, другой... – как будто ничего не делает, помалкивает, просто живет, но самое бытие его распространяет особые ультрафиолетовые лучи. Интересны флюиды нынешней Москвы! Если бы поставить прибор, который на манер аппарата покойного Шарля Анри (отмечавшего излучения души отдельного человека) мог бы дать картину излучений целого города, – что получилось бы от Москвы? Бури, плотный туман и тьма, прорезаемые удивительно певучими и нежными струениями. Оттого там и «не скучно» жить. Еще бы скучно было на поле сражения!

Если вообще мир поле битвы, то она ведется с разным напряжением в разных местах. Где – просто ничего нет, полурастительная (в духовном смысле) жизнь, а где «ключи позиции» – с обеих сторон двинута туда и тяжелая артиллерия, и танки, и авиация, и лучшие корпуса пехоты. Не Россия ли, и не Москва ли именно сейчас Верден этой борьбы?

Я рассказываю вам, г. Мюллер, обо всем этом для того, чтобы яснее показать, кому и чему сочувствую – и не я один, а многие среди нас. Вам все хочется, чтобы мы были отставными «капиталистами и помещиками», мечтающими о восстановлении былого. Мы же в действительности вовсе не такие. «Нам потому легче жить, чем другим», говорил мне мой знакомый в Берлине: «что мы верим, что революция и все бедствия ее посланы

нам за наши же грехи». Это душевное настроение очень близко и нам здесь, в эмиграции (не всем, но многим). В нем нет озлобленности (хотя оно вовсе не означает примирения *со злом*). Зло есть зло, им и останется. Борьба с ним должна вестись, и ведется – внешне и внутренне. Для нас самая важная доля борьбы – внутренняя. «Здесь и есть та «партия», которой мы сочувствуем. Никакие социализмы, республиканизмы, монархизмы мне не интересны. Я ставлю на «пневматиков», духоносных людей. Это надпартийная партия. Я понимаю ее очень широко: не только все христианские исповедания, но и вообще все идеалистически настроенные люди, все чувствующие небо, звезды, имеют уже к ней отношение. Вот в вашем городе, в Берлине, мало я *этого* почувствовал, и оттого огорчился. Ибо ведь без отблеска, как бы сказать, звездного света на делах человека самые эти дела серы. (Звезды над городом! Знаете ли вы, что в каждом городе звезды имеют особое выражение лица? Звезды Москвы не те, что звезды Рима, Флоренции или Парижа. Самые горькие звезды – над Берлином).

Мне отшельник, мудрец и святейшей жизни человек на Афоне сказал про Россию: «Сильнее покарал ее, потому что возлюбил больше. И больше послал несчастий. Чтобы дать нам скорее опомниться. И покаяться. Кого возлюблю, с того и взыщу, и тому особенный дам путь, ни на кого непохожий...» И вот так-то и кажется, что великие страдания России начинают давать плод. Что сейчас нужно миру, глубже, глубже угрязающему в материальности? Сильней, сильней замирающему под напором машины, физики, низше-удобного? Нужно, разумеется, «противостояние» духовных людей. «Я иду против мира и мир идет против меня». Так вот не в России ли, из крови, хаоса и ужаса вышло, оперяется, подрастает новое племя, носитель по-новому зацветшего духовного сознания? В нем то, в новом российском душенастроении, родившемся из мученичества – в нем я и вижу главную надежду, главное благовестие теперешней жизни. Весьма уважаю католицизм, ценю многое в протестантстве, но думаю, что вот этот «особенный» свой, и истинно обновляющий путь идет из православной России. Этого доказать нельзя. Чувствовать можно. Вот потому-то и трогает так, и волнует и дает радость встреча с человеком оттуда, который и собою самим (обликом, жизнью), и рассказами о других подтверждает, что есть на Родине подвижничество и подвижники, есть праведники, малозаметные и подпольные, выносящие на себе бремя новой жизни. Есть это и здесь, за рубежом, но, думаю, меньше – ведь Верден-то, все-таки, там...»

Герр Мюллер улыбается.

– Так что вы предлагаете записываться в партию праведников? Вы что же, и сами со своим искусством, литературой, артистическим темпераментом тоже выправляете себе членский билет?

– Многоуважаемый г. Мюллер, не улыбайтесь столь победоносно. У меня членского билета партии праведников нет, и я не собираюсь поступать в нее, и ни малейших прав на то не имею. Но могу я, принадлежа к артистическому цеху, к разряду людей никак не праведнического, а даже весьма грешного типа – могу или не могу искренно благоговеть перед праведниками, искренно считать: найдется у мира десять заступников, десять ходатаев и представителей – и будет он оправдан? Если могу, – а вряд ли вы станете это отрицать – то и улыбаться вам нечего.

И если еще раз вернуться к нам, к эмиграции русской, о которой вы, г. Мюллер, столь неправильно судите, то надо сказать: судьба ее еще не вполне разгадана, и «миссия» не совсем установлена (во всяком случае все гораздо сложнее и не так лубочно, как вы себе представляете).

По-вашему эмиграция – это Монмартр, «остатки аристократии, прожигающие свои дни в кабаках», тунеядцы, разложение и т. п. О трудящихся на заводах, о женщинах русских, гнущих спину над шитьем, делающих шляпы, куклы, игрушки, вы понятия, конечно, не имеете. О русской церкви, о литературе, о художниках, профессорах, учащихся, о просветительных и медицинских делах русских вы молчите, это мешает вашей схеме. Вам бы хотелось, чтобы все мы были выходцами с того света. Но вот представьте себе, приходится вас огорчить. Во-первых, мы вовсе не бывшие князья и дюки, а обычные средние русские люди. Живем небогато, ни о каких помпах и блесках для себя в будущей России не думаем, пока что видим весьма много бедноты и жизнь знаем сейчас лучше, чем знали в России мирной (это тоже наша выгода). А главное: живем! Легко ли, трудно ли, но живем, и кое-что делаем. Заноситься нам не приходится, меру сил и возможностей не станем преувеличивать. Но раз есть труд, бодрость, раз есть укрепление в церкви, в добре и посильном делании его, то жизнь, значит, есть. Вас не удивляет, г. Мюллер, что у этой самой «разлагающейся» эмиграции с каждым годом растет число храмов, школ, больниц, приютов? Что с упорством издаются книги, журналы, газеты? Что появился даже русский театр? Как-то странно, что «отжившие» русские только тем и занимаются, что собирают, строят, общества основывают.

Политические формы старой России рухнули легко: видимо, себя пережили. Дух России оказался вечно жив. В бедах, крушениях он еще сильней расцвел. Насколько есть в нем дуновение Духа Святого, настолько и жизнь. Я говорил уже вам, г. Мюллер, что радостно мне было ощутить живую Россию еще раз, из первоистока зачерпнуть нечто от сегодняшней Москвы. Думаю, теперь вам более ясно, о чем я говорю и чего желаю обеим частям России: той, коренной, в Москве и на земле родины, и нашей, западноевропейской – все веяния того же Духа Свята. Есть оно, все будет, все приложится. Нет – тогда вообще ничего не надо.

И в частности о здешних, нашем поколении: суждено ли нам вернуться и там начать, сызнова, нелегкую просветительно-одухотворяющую работу, или же наша «миссия» – просачивание в Европу и в мир, своеобразная прививка Западу чудодейственного «глазка» с древа России – тот или иной вариант взять, на нас возлагается ответственность. Быть «на высоте России», на высоте задачи... Это не так легко. Но если будем, и жизнь наша, и деятельность не угаснут. И может быть, вы сами, г. Мюллер, попав однажды на русскую службу в церкви, в русский приют, на русскую лекцию, призадумаетесь, и со свойственной вам добросовестностью про себя скажете:

«А, пожалуй, кое-что насчет русских надо и пересмотреть».

День Св. Николая Чудотворца

КЕЛЬН

Под гигантским мостом Рейн гудел
глухо и внушительно. Вода лилась
под его черные быки, как в вечность...
Неизвестный писатель.

Я впервые был в Кельне двадцать три года назад, немецкою весной, пои едва распускающихся каштанах. В памяти остался сыроватый день, сыроватая комната в отеле «Evige Lampe», собор, Рейн, музей кельнских примитивов и какой-то старый сад, где мы сидели вечером, перед отъездом. Вот, в том саду, в те сумерки, я ощутил древность Кельна: представился так живо римский лагерь, леса вокруг, горсточка воинов, заброшенных в пустыню. В этом ощущении была поэзия и грусть. Будто бы на мгновенье стал таким воином, за тысячи верст от родной Италии, в стране первобытной, грубой, с назначением – в ней и головушку сложить.

Казалось, бегло это впечатление, а продержалось сколько лет! И даже вообще Кельн собой окрасило.

На этот раз, оставив вещи на вокзале, прямо попал я в собор. Шла воскресная месса. Странно после Берлина – собор переполнен молящимися. А собор ведь кельнский: не так легко его наполнить.

Было довольно холодно, довольно светло (гораздо светлее, чем в Нотр Дам), играл великолепный орган, пел очень хороший хор. Орган кельнского собора не то, что в Гедэхтнис-кирхе в Берлине! И вообще все здесь не то. Тут Рим ясно и твердо предстал в христианском своем преломлении. «Хочешь меня или не хочешь, любишь или не любишь, твое дело и меня не касается. Ты можешь быть монархистом или социал-демократом, а вот я, Рим, и свою Истину предношу в тысячелетней славе». Те воины римские, которые во времена Цезаря сюда попали, еще этого не знали. Другие изображения – римских орлов – были на значках их легионов. Но уже среди внуков, в этих же непроходимых тогда дебрях, некоторые осеняли свои бритые лица знамением креста. А потом и вовсе Крест завладел страною рейнской.

После холода внутри, на воздухе показалось теплее, и милей. Собор снаружи не разочаровал, скорей, напротив, подтвердил прежнее удивительное впечатление.

Я не знаю ни истории его постройки, ни его «места» в готике, говорю как профан, но говорю то, что чувствую. Разумеется, я не знаю другого такого *движущегося, летящего* собора. Когда стоишь внизу, то обе башни его точно бы закидывают назад головы и клонятся друг к другу острыми верхушками. Бесчисленные вертикальные струи пробегают по ним, все стремятся вверх, к единой точке, точно бьют в некий центр, и все движутся, и удивительная музыкальность, гармония есть в них. (Мне кажется, между прочим, что химер и вообще готических «ужасов» в Кельне меньше. Собор несколько «веселее» французских. Возможно, что последние лучше выражают средневековье, но это уж другой вопрос.) А когда глядишь сквозь башни на весеннее небо, с дымно-светлыми облаками по неясной голубизне, то уж ясно, что верхушки и вбок куда-то плывут, навстречу этим облакам.

В то ясное утро, куда бы я ни отходил от собора, он всегда был рядом, в разных поворотах, разных перспективных сокращениях выглядывал то там, то здесь, но никогда не прекращалось его *течение* кверху, вертикальные ручьи все устремлялись в одну точку.

Разумеется, я попал и в Музей. В тот ли, где был *тогда*? Точно бы он помещался в другом здании, и был меньше. Во всяком случае, на старокельнские примитивы наткнулся довольно быстро. Как и тогда, не весьма они порадовали. После Италии, все это довольно убого. Особенно бросилось в глаза – какая грубая, вероятно, и драчливая была жизнь в этом крае! И как мало рождала поэтов. Сколько вариаций бичевания Спасителя! Впечатление такое, что художники просто с удовольствием изображали под этим предлогом всяческие избиения, которых, очевидно, было достаточно в окружающем. И намека нет на «Страсти Господни». Нет и мрака разных испанских «истязателей». Просто бьют некоего некрасивого, рыжеватого человека – подпись: Geisselung Christi[1]. И, конечно, все так же неуклюже, как и полагается германской живописи.

Только милая «Мадонна с бобом» тронула – вот она запомнилась еще с тогдашнего. Круглолицая, белокурая, благообразная и тихая, с Младенцем, держит в руке простенький немецкий цветик, именно Gemüse, хорошо бы еще ей дать вместо боба картофель, был бы уж вполне местный колорит.

При выходе из Музея, под старыми деревьями, среди обломков древности, украшающих этот сквер, попал я на музыку. Духовой оркестр играл разные приятные вещи, горожане стояли вокруг и слушали, с неба сеялся легкий весенний свет и облака шли, все бесконечные, такие же, как были в моей юности.

БЕЛЬГИЯ

Тоже летучее впечатление. Но ведь есть связь людских лиц с пейзажем и архитектурой, все это удивительно меняется, и как занятно наблюдать, хоть из вагонного окна, смену природно-человеческих климатов!

Уже одно то, что поезд идет долиною реки, довольно извилистой, замкнутою возвышенностями, дает впечатление чего-то некрупного, укрытого. Вроде симпатичной игрушки. Есть и леса, и очень милые пейзажи, и какие-то даже имения, барские дома, но все, будто бы, для детей. Именно барства, ширины, ощущения «великой державы» и нет. Много заводов, и тоже не страшно. Города симпатичные и удивительно провинциальные. В чем выражается это? Кажется, и в постройках, и в публике на вокзалах, и в костюмах.

---

[1] Бичевание Христа (*нем.*).

Мне очень понравились бельгийские станционные служащие: длиннейшие, худющие, в кепи, старомодных сюртуках, воротничках, вообще такие distingues, принципиально-старомодные типы, но, должно быть, весьма порядочные.

В Льеже наш поезд стоял довольно долго. Был вечер, как раз час отдыха трудящегося человечества. Небо очень высокое, чистое, с чуть золотящимися облачками. На платформе поезд (тоже игрушечные вагончики) местного сообщения, везут отслуживших день барышень и молодых людей в пригороды. Из одного вагона выглядывали все юношеские мужские лица, из другого – девические. Это вот именно бельгийский «пролетариат». Переполнен им поезд. И сразу бросается в глаза, как чинен и благообразен этот люд (в средневековой Италии хорошо назвали буржуазию и пролетариат: popolo-grasso и popolo-minuto – «жирный народ» и «тощий народ»). Здешний тощий народ очень приличен. Никакого хамства. Я объясняю это тем, что в Бельгии совсем почти нет коммунистов. Очень сильны католики и умеренные социалисты, и они друг с другом смешаны, друг на друга влияют, вероятно, в неплохом роде. Вот и получается благообразный тощий народ – зрелище, к которому мы, русские, мало приучены.

Во всяком случае, сожалею, что не был в Брюсселе, не говоря уже о северной Бельгии – о разных Брюгге, Гандах и Лувенах.

HEIMAT

После Берлина все вообще в Париже нравится. Иногда ловишь себя на том, например: в среднем кафе, среди прежних (и скучных, конечно) французов, вдруг представишь себе среднее немецкое кафе и средних немцев. Или видишь недавно выстроенный дом. С изумлением замечаешь, что хоть это и не Бог весть что, все же он тебя не оскорбляет. Не говорю о некоторых улицах, как будто, и совсем простых, не народных (рю де Лилль, например) – по которым просто радостно проходить. Высокое благородство немолодых французских домов... неужели среди них вспомнишь о Курфюрстендамме?

Да, в Париже никому нет до тебя дела, и до французов никогда, конечно, не доберешься. Но, быть может, и лучше – одиночество? Зато сознание, что живешь, а может быть, и умрешь не *где-нибудь*, а именно в Париже, именно в «люмьере». И вот, я иду по парижской улице, меня никто не знает и никто не узнает, но ничто и не обидит уродством. А многое восхитит. Пока живу и глаза видят, буду любоваться Елисейскими Полями.

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ

Яркая книга Бердяева о Леонтьеве изображает обоих – одного прямо, о нем писана, другого косвенно – он писал и жил в этих страницах со своими вкусами, складом мысли, темпераментом, стилем.

Сперва о Леонтьеве.

* * *

Кто был он?

Калужский помещик, Мещовского уезда, барин, писатель, дипломат, годы проведший в Константинополе, друг афонских монахов и оптинских старцев. Жизнь жгучая, запутанная, трудная, отмеченная необычностью. Все в Леонтьеве сильно и даровито, все первозданно и страстно. Человек сложной судьбы... Как все замечательные судьбы, она нелегка. Он художник, артист и язычник. В этом случае не совсем даже русский, слишком страстен для русского, жаден до бытия, до наслаждения, власти, силы. Возможно, в нем есть азиатское, вот именно некая жгучая свирепость... Он очень любил Коран, Восток и самым счастливым временем считал жизнь свою на Востоке. Он «евразийский» тип, Тамерланова косточка. И вот залетел в Россию 60-х, 70-х годов.

Леонтьев даже на портрете изображен в татарском архалуке с меховым воротником. И скулы, и разрез глаз – очень красивых – все восточное. Такой облик рядом с Николаем Константиновичем Михайловским или еще лучше – с Шелгуновым!..

Но Леонтьев был и пронзен христианством. Говорю пронзен, ибо если бы он просто был эстет, художник, эротик, Дон Жуан и любитель «простеньких болгарок», дело было бы попроще, вероятно, он «с приятностью» бы прожил жизнь, «удобно» в ней расположившись. Но в нем именно удобного и не было... Он крайне неудобен, ибо весь противоречив, и в этом тяжесть всей его судьбы. Он одновременно влекся к противоположному, и, конечно, раздирался. Что общего между духом Нагорной проповеди и словами Леонтьева: «Одно столетнее, величественное дерево дороже двух десятков безличных людей, и я не срублю его, чтобы купить мужикам лекарство от холеры».

Так значит, это был «жестокий», «бессердечный» человек? Оказывается, опять нет: Леонтьев *лично* был очень добр и – в особенности с простыми людьми – прост, и отлично помогал разным «слабым» и «обездоленным», которых идейно ненавидел. Идейно он терпеть не мог слабости, сладости, середины.

Он считал слишком «розовым» Достоевского, разошелся с Соловьевым за некоторое его сочувствие демократизму. Преклонялся византийщине и был убежденный «деспотист» – любил и ценил власть, крепость, узду.

Тут у него была целая философия, опиравшаяся на якобы сходство общества с организмом. Если принять такое сходство (а оно, конечно, ошибка), то картина получается эффектная. «Все вначале просто, потом сложно, потом вторично упрощается, сперва уравниваясь и смешиваясь внутренне, а потом еще более упрощаясь отпадением частей и общим разложением до перехода в неорганическую «нирвану». Тому же закону подчинены и государственные организмы, и целый культурный мир. И у них очень ясны эти три периода: 1) первичной простоты, 2) цветущей сложности, 3) вторичного смесительного упрощения».

Он считал, что Европа и Россия выходят из «цветущей сложности» на путь «смесительного упрощения», равенства и мещанства – смерти. Он предпочитал «величественную» деспотию, и даже находил, что при ней только и возможна жизнь... Известно его изречение: «Россию нужно подморозить». Революцию он предсказывал за 35 лет и легкость развала России вполне почувствовал. Но сам *действенного* ничего не предлагал. Мороз да мороз – но сам он как раз в этом же самом упрекал Победоносцева: «Он, как мороз, препятствует дальнейшему гниению, но расти при нем ничего не будет. Он не только не творец, он даже не реакционер, не восстановитель, не реставратор, он только консерватор в самом тесном смысле слова, мороз, я говорю, сторож, безвоздушная гробница, старая «невинная» девушка и больше ничего».

Так этот противоречавший и ярчайший человек говорил о Победоносцеве, тоже поклоннике «силы», человеке правого лагеря, как будто «своем». А любил – Тургенева... Вот он как будто «националист», но терпеть не может русского народа. Азиат – и поклонник Запада, католицизма, рыцарства, старой Европы. Человек по вкусам времен Малатесты и Борджиа, и наступленный христианин, в зрелости принявший в Оптине тайный постриг. Высшее, что признавал – монашество, и вся жизнь полна романами, а восточный период – и вообще двусмысленностями эротическими.

Легко ли было жить при таких «данных» и такой философии?

Сорока лет Леонтьев пережил религиозный кризис, окончательно он понял неправдивость и греховность своей жизни («Матерь Божия! Рано! Рано умирать мне! Я еще ничего не сде-

лал достойного моих способностей и вел в высшей степени развратную, утонченно грешную жизнь»). Он отправляется на Афон к старцам. И в Салониках делает жест – столь выразительный для русского писателя. «К. Н. берет все рукописи и неожиданно бросает в пылающий камин, где они сгорают». Рукописи эти – роман «Река времен». Он приносит первую жертву Богу, жертвует тем, что дороже всего творцу».

«Знаете ли вы, – пишет он Александрову, – что я две самые лучшие свои вещи, роман и не роман («Одиссея» и «Византизм и Славянство»), написал после 1,5 года общения с афонскими монахами, чтения аскетических писателей и жесточайшей плотской духовной борьбы с самим собой?».

Он хочет постричься в монахи, но старцы отклоняют его просьбу. И Леонтьев остается в мире – полумонахом, полуэстетом, колеблясь между красотой, грехом и святостью. Он остается в миру очень одиноким. Ни к одной партии не пристает. В сущности, он везде чужой, и «дельцы» русского консерватизма далеки от него так же, как и левые. Славянофилы – как и западники. Литературно он обойден, не замечен так же, если и не больше, чем, например, Лесков. А между тем, ход русской и мировой жизни все сильнее и сильнее делает его пессимистом. Зрелые и старческие годы принесли Леонтьеву плоды – бедность, тяжкие болезни, внутренние терзания, одиночество и непонимание.

* * *

Но вот прошли годы, и у Леонтьева нашлись поклонники: Розанов, Грифцов, Бердяев. Людям 60-х, 70-х годов он был вовсе чужд, людям нашего века – не вовсе, ибо наш человек прошел уж и через ницшеанство, и через эстетизм, ему ближе и христианство, да и революции он видал (и пережил). Бердяев относится к своему герою сочувственно, но спокойно. Видимо, ему нравится жить в «леонтьевском» воздухе, и он ставит себе задачей Леонтьева *показать*.

Задачу осуществляет отлично. Так как изображение – всегда некая «повесть», а не «утверждение себя», то книга менее страстна и нервна, чем другие книги Бердяева. В ней много, иногда прекрасно говорит сам Леонтьев. (Не могу удержаться от выдержки – какой это художник слова: «Как я счастлив, о Боже! Мне так ловко и тепло в моей меховой русской шубке, крытой голубым сукном. Как я рад, что я русский! Как я рад, что я еще молод! Как я рад, что я живу в Турции! О, дымок ты мой милый и серый, дымок домашнего труда! О, как кротко и гостеприимно восходишь ты передо мною над черепицами мно-

голюдного тихого города! Я иду по берегу речки, от Махель-Нэпрю, а заря вечерняя все краснее и прекраснее. Я смотрю вперед, и вздыхаю, и счастлив... И как не быть мне счастливым?.. Я счастлив... Я страдаю... Я влюблен без ума, влюблен... Но в кого? Я влюблен в грешную жизнь, я люблю всех встречных мне по дороге, я люблю без ума этого старого бедного болгарина с седыми усами, в синей чалме, который мне сейчас низко поклонился, я влюблен в этого сердитого, тонкого и высокого турка, который идет передо мной в пунцовых шальварах... Мне хочется обоих их обнять, я их люблю одинаково».)

Бердяев идет за ним шаг за шагом. Следит за жизнью, за писанием и мыслями.

Подчеркивает то, что ему близко, отгораживается от далекого. Видимо, прежде всего, ему просто нравится яркая и богатая натура, художник, барин, аристократ, – то, что в Леонтьеве, действительно, неотразимо. Самую выдержку (см. выше) Бердяев делает еще полнее, со вкусом, ему хочется (и законно) показать «товар лицом», Леонтьева в лучшем виде. Внутренне близко ему и леонтьевское ницшеанство до Ницше – но оно преодолено для Бердяева христианским учением. Нелюбовь к демократизму, некая «парадность» Леонтьева тоже близки, но «византизм», «подмораживание» – конечно, нет. Консервативно-охранительное вообще чуждо Бердяеву. Напрасно его считают «правым». Это неверно. Бердяев потому уже не может охранять, что он слишком для этого трепетен и нервен, в нем есть напор, устремление, он гораздо больше и охотнее глядит вперед, чем назад. Консервативны «созерцательные» люди. Бердяев не созерцательный, а динамический. При этом он не очень любит быт, склад (даже в этой книжке говорит, что эстет не может быть в быту – утверждение неверное, если только под эстетом не разуметь сноба), недостаточно любит и замечает живое, плотское, а также и природу, он более погружен в идеи, а в идеях тоже прельщает его не неподвижное, а устремляющееся. Поэтому ко всему *пророчественному* у него большее тяготение, и Леонтьев ему тогда становится *уж очень дорог*, когда начинает говорить о грядущей революции, о надвигающемся кризисе, «закате Европы» и т. п. Это, кстати, и объективно замечательная черта Леонтьева. Он на 50 лет раньше Шпенглера и раньше Соловьева почувствовал трагический ход вещей в мире. Но христианство Леонтьева не было пророческим, как у Достоевского, и Бердяев, видимо, недоволен им за его резкое отношение к Достоевскому. Он недоволен и «натурализмом» Леонтьева, зато охотно с ним вместе при атаке славянофилов

(они для Бердяева опять слишком «бытовики», а ему нужен полет, отрыв, дух).

И, наконец, близка ему и общая позиция Леонтьева – уединенность, «дикость» и невнятность кругу публики. В этом они сходятся. Но это участь почти всех, кто думает лишь за себя, не стоит ни в каких рядах и не носит в них тех или иных эполет.

Книга Бердяева важна и значительна тем, что просто вводит крупного и малопонятого русского писателя в подобающий ему круг. Можно любить или не любить Леонтьева, сочувствовать или не сочувствовать его идеям, можно (да и должно, это и Бердяев делает) – с ним спорить, но в одной вещи нельзя отказать ему: в значительности. Леонтьев не «для юношества».

В хрестоматии вряд ли попадет. Но в высшей математике русского духа его место неоспоримо, наряду, например, с Розановым, и, в сущности, книга Бердяева могла и должна была бы быть написана и раньше.

Ив. БУНИН. СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

Ив. Бунин. Солнечный удар. Изд. «Родник». Париж, 1927.

Первое время эмиграции Бунин почти замолк, как художник – писал довольно много страстных статей. Как будто время владело им, то страшное время, когда никому нет дела до художества, и менее всего клонит к нему натуры с такой яркой чертой действенности, темперамента, как Бунин. Но годы шли. Временно отодвинувшийся художник вновь выступил.

Интересно сравнить то, что он писал до революции, в последней своей полосе, с этим, послереволюционным. Получится: «Сны Чанга», «Петлистые уши» и – «Несрочная весна», «Емеля», «Безумный художник». Будущему историку литературы нетрудно будет определить мотив борьбы с революцией в этих вещах, очень разных по характеру и достоинствам, но объединенных общей чертой. Борьба была и в статьях, но теперь она приняла иные, более скрытые и сложные формы – насколько вообще настоящее художество скрытней, сложней и значительней публицистики.

И наконец, пришел час, когда общественность и политика точно бы вовсе ушли из бунинского писания. «Митина любовь» относится к числу так называемых «шедевров», вещей, коими Бог не каждый день благословляет художника. Само название говорит о теме. Этой темы Бунин иногда касался и раньше, в молодом его творчестве есть несколько тихих и романтических произведений «о любви». Но теперь он пишет совсем по-другому!

«Солнечный удар» – называется новая его книга, по первому рассказу, и рассказ этот, «ударный», действительно дает облик всего тома. «Солнечный удар» – краткое и густое (как всегда у автора) повествование о страсти, о том, что ослепляет, ошеломляет, о выхождении человека из себя... Бунину, видимо, нравится, что есть в мире стихии, и силы, властвующие над человеком. Не так, пожалуй, важен человек, как то, что больше его: любовь. Точнее надо сказать: любовь-страсть, и лишь одна интересует сейчас Бунина. Все «воздыхательное», романтически-мечтательное ему чуждо. Странно подумать: Бунин никогда не писал драм и вообще пьес, но сейчас он как будто стоит на пути к театру. То, что ему хочется сказать, наилучше выходит именно на сцене. И вдруг мы доживем до дня, когда театральный занавес поднимется над сценой, где будет идти драма любви, страсти, ревности, где вновь появятся шекспировские принадлежности: кинжал, яд, шпага – и это будет пьеса Бунина?

«Дело корнета Елагина» – вещь сложная, запутанная, проба нового приема – очень характерна для данной полосы Бунина. Это значительная повесть. Женщина написана в ней ярко и сурово. Трагедией вся она овеяна – и некоторым «разоблачением» человека. «Ида» – тоже любовная, но иного тона. И очень мрачен «Мордовский сарафан».

В книге есть еще иные линии: «В саду» – превосходная вещица прославленного бунинского жанра «Мужики», и «Цикады», «Воды многие» – очень важный центр художнического облика нашего поэта: «рассказ о ничем», то, о чем мечтал Флобер. «Цикады» – рассказано, как ночью на юге кричат цикады, «Воды многие» – дневник океанского странствия. В этой последней вещи, между прочим, Бунин проявил довольно загадочную свою черту, давно в нем существующую: «морское» свое сердце. Бунин, человек средней и сухопутной России, всегда удивительно понимал и писал море. Откуда это? Я не понимаю, но это так. Есть точки – когда он их касается, то особенно ярко развертывается: природа, народ (крестьяне), море, и вот теперь, новый мотив: страсть.

Бунин относится к тем писателям, которые зря не пишут. Если он пишет, значит, ему надо так, не забава, а необходимость, судьба. И ведь, чем более «роковое» писанье, тем он вообще лучше. Для Бунина, как художника, видимо, темы любви-страсти стали теперь роковыми. В этом ответ на вопрос: хороша книга «Солнечный удар», или нет? Плохо-то Бунин вообще не может написать. Но может написать о «самом главном» и о «полуглавном». В «Солнечном ударе» основное из «самого главного».

С. С. ЮШКЕВИЧ
(1869 – 1927)

Я много лет знал покойного Семена Соломоновича, но впервые его «почувствовал» как следует и, быть может, понял, лет десять назад, в Москве, – мы встречались довольно часто в пестром и шумном предреволюционном кафе Бома. Большой лоб Юшкевича, большие руки, уши, нервный и горячий говор, удивленные, светлые и добрые глаза с очень детским оттенком живо помнятся среди мягких диванов Бома, в накуренной комнате, где встречались прапорщики, писатели, актеры, вечно были разные дамы. Юшкевич всегда горячился и всегда спорил, со страстью утверждал свое, он очень любил разговоры о литературе, кипел беззаветно и самым искренним образом воспламенялся... Именно тогда я увидел в нем «нашего», очень, навсегда отравленного литературой – а значит, сотоварища. И добрую его природу тогда же почувствовал.

Эти впечатления потом только подтвердились. В эмиграции еще чаще приходилось с ним встречаться. Он так же любил шумно и горячо говорить о литературе, хохотать, сидя в дружеской компании за бутылкой вина, и еще ясней раскрылась (для меня) одна его прекраснейшая, трогательная черта: беспредельная, воистину «неограниченная» любовь к семье – жене, детям. Даже казалось, что его жизнь вообще ориентирована по этим близким, что и слава, и возможность заработка интересны не столько для писателя Юшкевича, сколько для Юшкевича – мужа и отца.

Но одной стороны раньше я в нем не знал, или, может быть, на чужбине она сильней выступила: это общая горечь отношения к жизни, пессимизм, безнадежность. Сыграло ли тут роль изгнанничество? Надвигавшаяся болезнь, упорно направлявшая его мысль к рассуждениям о смерти? Или дало себя знать безысходно-материалистическое его миросозерцание?

Как бы то ни было, за шумностью, нервностью, иногда и за смехом Юшкевича в Париже или в Жуан ле Пэн (где так дружественно и бесконечно приветливо принимал он нас с Буниным этим летом!) – всюду ясно чувствовался какой-то «хриплый рог». Смерть ли это давала ему сигналы?

Он очень тосковал по России, и тяжелей других переносил изгнание. Тут приближаемся мы к его писательскому облику.

Юшкевич нередко говорил (мне и Бунину):

– Вам хорошо, вы рождены Москвой, а я Одессой.

Этим хотел сказать, что его родина, которую он так любил и с которой так тесно был связан, юг России, иерархически как бы подчинена, второстепенна рядом с Великороссией.

– За вами целая великая литература, – кричал он иногда. – Россия! Какой инструмент языка!

Тут он был и прав, и не прав: прав в иерархическом предпочтении Москвы Одессе, и не прав в мрачных выводах о себе: сам-то он очень ярко и сильно выражал южнорусский народ, русско-еврейский – и в этом была главная его сила, как художника. Так, Мистраль (с которым у Юшкевича ничего нет общего в натуре) выражал свой, южнофранцузский, провансальский народ с таким гением, которому бы позавидовал всякий скверный француз.

Да, Юшкевич был писатель «региональный». Лучшее в его писании связано именно с русским югом, с Одессой, с ее живым, нервным, говорливым и бурливым народом. Юшкевич, будучи евреем, нередко будто бы евреев задевал в своем писании, давал так называемые «отрицательные типы» («Леон Дрей») и даже, кажется, в еврейских кругах это ему ставили в некий минус. Если стоять на этой точке зрения, то следовало бы нашего Гоголя совсем заклевать – уж кажется, ни одного порядочного русского на сцене не показал. Конечно, у Юшкевича была сатира (и, кстати, он как раз Гоголя очень ценил, и сам весьма тяготел к гротеску) – но подо всем этим, конечно, пламенная, кровная, органическая любовь к своему народу. Юшкевич был *органический* писатель, в этом его главная сила, он достигает наибольшего тогда, когда живописует *художнически-любимых* им людей Одессы, когда дает неподражаемый их язык, трепет и нервность, и неправильность этого языка, и их облики, сплошь живые.

Вот потому, что он был такой *кровный* и настоящий, ему пришлось столь трудно за границей, в том Париже, который он знал с молодости, – но где нет Одессы. В одном небольшом его очерке, уже здесь, в эмиграции, трогательно и ярко изображена тоска двух одесситов по Одессе. Все *тут* хорошо, а *там* лучше, и акации, и море, и Франкони... Если угодно, это древний плач на реках вавилонских. Возможно, что в каждой еврейской душе есть тоска по Земле Обетованной и горечь безродинности. Для Юшкевича жизнь так сложилась, что на склоне лет солнечная и веселая, разноязычно-пестрая и яркая Одесса была отнята у него, и его плач стал еще пронзительней.

Совсем, совсем недавно мы сидели с ним на берегу Средиземного моря, под пиниями, в солнечном дыму каннского залива, и он искренно всем этим восторгался, но сердце неизменно направлялось на Россию, и никакими Каннами утешить его было нельзя.

А тому назад месяц со вздохом кинули мы по пригоршне латинской земли в могилу на прах нашего дорогого сотовари-

ща, талантливого и честнейшего писателя, добрейшей, открытейшей души человека.

Вечная ему память!

ТОЛСТОЙ

Заметки

...Вероятно, Толстого – ребенка очень трудно было заставить сделать что-нибудь, что ему не нравилось. А то, что нравилось, уж так нравилось, что ничто не отвратило бы его любви... «Если я говорю да, а весь мир будет кричать нет, я не обращу на это ни малейшего внимания. И правым окажусь я, а не мир» – так мог бы сказать Толстой. Каков в колыбельке, таков и в могилке, родился Толстой таким, таким и умер.

Этому человеку были даны величайшие силы – кто в его веке с ним сравнится? Он и прошел великаном. Созидал сам, сразился с Богом, миром, обществом, человеком, всему сказал: «не так, а вот этак», и пытался переставить вещи с одного места на другое. Многого ли достиг?

В одном чрезвычайно многого, в другом крайне малого. Не считал ли себя Толстой на восемьдесят втором году прославленной жизни в некотором смысле неудачником?

* * *

В искусстве, как и во всей своей деятельности, Толстой пошел одиноко, напролом, не туда, куда шли другие, а так, по собственному душевному компасу.

Еще молодым человеком он встречался в Петербурге с Тургеневым. Разумеется, его невзлюбил. За что? Вероятнее всего за то, что Тургенев был Европа, культура, традиция. Тургенев знал все первосортное: как писать роман, новеллу, охотничьи очерки, как пишут лучшие писатели Европы, в каком музее какие знаменитые картины, статуи, где лучшие философы и музыканты.

Главное же – как надо писать. Толстой тоже знал западную литературу, но мало был с ней связан и таких связей не любил. В собственном художестве просто ее отверг. Тургенев плыл в некоем течении культуры – тончайший и изящнейший ее плод. Толстой сказал и течению, и Тургеневу, да и вообще всем предшественникам: нет – и голыми руками, без старших, без родуплемени стал громоздить «Войну и Мир».

Иногда указывают на Стендаля, как на исток толстовского художества. Это, конечно, неверно. Кое-какие общие точки есть, но и «Война и Мир» и (еще совершеннее написанная) «Анна Каренина» – просто новые миры, которых не знал ни Стендаль, не вообще европейский роман. Европейский роман шел из латинской новеллы, его праотец – Бокаччио. Европейский роман фабулистичен (потому чаще всего и условен), построен на развертывании и основном ядре, проделывающем некоторый круг – подъема, зенита, развязки. Толстой же сплетал свою ткань из отдельных нитей, отдельных жизней, судеб, лиц. Поэтому роман Толстого рекообразен, у него обширная и сложная форма с текучими узлами, водоворотами, вновь мирным течением – вроде симфонии, называемой жизнью.

Форму эту он заполнил такой сплошной живописью, острой удачей и победой, что, беря главные его вещи... где найдешь *неудачу*? Все полно, все цветет. Из «Анны Карениной» я могу вспомнить лишь бледноватую Италию, да художника Михайлова (плохо его вижу), из «Войны и Мира» (отбрасывая эпилог) – легкую усталость четвертого тома, некоторую его беглость и скомканность. Но говорить о неудачах в этих махинах, все равно, что заметить, что какой-нибудь нос у Сивиллы или палец у пророка Сикстинской капеллы вяло написан.

Писание вообще есть галлюцинирование. Галлюцинация Толстого как бы подлинней того, *о чем* она. Он всегда пишет то, что (в воображении) видит, осязает, обоняет, он слышит все голоса и слова своих людей. Он никогда не идет более легким путем, не прикидывается, что их видит и слышит (выдумывая): он действительно ими одержим, отягчен: потому у него и нет неправды общих мест. Нет и приблизительности.

Он сказал об одном древнем писателе: «...Как ключевая вода: ломает зубы, когда пьешь». Это самое и о нем надо сказать.

* * *

Однако и в «Войне и Мире» и в «Анне Карениной» есть отрава. У Гомера ее не было. Гомер первоначален и не рассуждает. У Толстого Пьер, Андрей Болконской, Левин – слишком много рассуждают, они «беспокойные», пытатели и вопрошатели, несогласные и недовольные. Это уже прометеевские голоса. Они вызывают Бога на сражение.

Главное сражение произошло у Толстого, впрочем, не в романах, здесь слишком преобладал пол (основа искусства), стихия всегда послушная (ибо связана непосредственно с сердцем мира). Главное произошло дальше, когда начался «разум» (уединенный).

Как в искусстве Толстой отринул все, что предшествовало ему, так и в размышлении восстал на все, считавшееся истиной – и восстал с гораздо большею страстностью. С «прежним» он не мог мириться. Надо было завоевать новое. На полпути он остановиться не мог: или найти «смысл», или погибнуть.

Известна минута в жизни немолодого и уже знаменитого Толстого, когда он склонялся к последнему решению. Одно время он серьезно думал о самоубийстве.

Но все-таки выжил. Гигантскую свою силу затратил на пересмотр всего, что до него было. Все оказалось «не так». Бог, религия, социальный строй, общество, искусство, наука, семья, суд, даже медицина – все плохо. Все надо переделать заново.

Он и переделал...

Разумеется, начал с главного – Бога и церкви. Христа Толстой принял, но «своего». Евангелие изменил так, как ему самому хотелось, чтобы оно вышло «разумным» и полезным. Церковь разгромил. Православие с его догматами, таинствами, грубо осмеял в «Воскресении». Осудил очень многое действительно дурное в жизни – войну, насилие, притеснение бедных богатыми – во всем дошел до предела. Об искусстве написал такую книгу, которая зачеркивала «Войну и Мир». Проклял семью, проклял женщину и любовь.

Что же осталось? Остались Будда и Христос, приноровленный к толстовскому обиходу, философ вроде Сократа. Осталась обескровленная мораль, нежизненная, ничем не питаемая.

* * *

Толстой никому ни в чем не поверит, собственными руками должен потрогать и сказать «свое» слово. Ему хочется, в сущности, померяться с Богом, самому создать мир, лучший уже созданного. Силы у него такие, что искушают. Прометей похитил божественный огонь – Толстой не только его вырывает у Бога, но не прочь стать и сам Демиургом. Зрелище его жизни есть зрелище титанического созидания, разрушения, вновь постройки, наворачивания каких-то глыб.

И всегда в глубоком одиночестве.

* * *

Русская революция Толстого очень чествует. Беря из него то, что «нам» нужно, «мы» можем его к себе приспособить. Насчет Будды, Христа и морали это в нем, разумеется, пережиток,

равно и непротивление злу. А вот что он укорил общество, церковь, семью, «бесполезное» искусство, что вообще отринул «бывшее», всякую связь с прежним человечеством, что был настроен так, чтобы на голом месте создать новую жизнь – это «мы» приветствуем. Был такой случай в жизни Толстого: утомленный зрелищем нередких в начале этого века, казней, он издал известный вопль: «Не могу молчать!». Интересно знать, какой рык раздался бы из Ясной Поляны в эти «великие» годы, когда теперешние его чествователи истребляли людей тысячами, целые семьи, женщин и детей?

Напрасно они его чествуют. Он бы их проклял библейским проклятием.

* * *

Один молодой человек, прочитав «Не могу молчать!», ответил Толстому страстным письмом. Опираясь на фразу «намыльте веревку и захлестните ее на моей старческой шее», он высказал несколько странную, но не столь нелепую мысль: он пожелал Толстому, которого глубоко почитал – пожелал ему мученического конца, чтобы вот эта веревка действительно захлестнулась на его шее. Ведь не он первый погиб бы за свое исповедание. По мнению юноши, это было бы удивительным завершением жизни.

В условиях тогдашних такие мечтания были почти смешны. Кто, правда, тронул бы Толстого! В условиях революции, если бы он до нее дожил, разговор мог бы быть и иной.

Но не зря, все-таки, ничего этого не случилось. Толстой жил в своей славе, как в броне. И революция его не тронула бы. Может быть, он задыхался в своем «благополучии» жизненном, столь несовместимом с его бунтарством – но это уж его удел.

* * *

Толстой есть часть нашей жизни. Ни детства, ни юности, ни зрелости нельзя представить без маленьких томиков двенадцатитомного Толстого, где «Война и Мир» и «Анна Каренина» зачитаны до «протира». В детстве «Войну и Мир» читали, пожалуй, и не как книгу: просто отворялась дверь и начиналось новое существование: Наполеоны, Александры, Безухие, Наташи, Болконские, Ростовы – все являлось и жило, пушки палили под Бородиным, Москва горела, одни влюблялись, другие умирали... Оторваться же было трудно. Оттого и протирались страницы.

Какой низкий поклон! Земной поклон художнику.

* * *

Толстой не был расположен ко вздоху, грусти, мечтательности. «Война и Мир» написана в мажоре, да и «Анна Каренина». Но странным образом, при всей жизненной напряженности, сверхчеловеческой силе его писания – творение Толстого *в общем* сумрачно. Нет в нем «веселости» в высшем смысле. Нет улыбки, нежности, умиления... Надо сказать правду: и *любовь*, эрос, не область Толстого.

В ранней полосе, пока он более бессознателен, просто связан с «темным лоном», это менее заметно. Но писания типа «Крейцеровой сонаты», «Смерти Ивана Ильича» уже несут некую страшную черту. Неблагодатны эти вещи, не благословлены. (То же и с «Воскресением»: не воскресает неживой Нехлюдов).

Точно бы автор находится на трагическом пути.

Вот он отверг тысячелетний духовный опыт человечества, интуицию его светочей и святых, не поверил им, не полюбил их, в исключительной гордыне все решил заново пересоздать, одному пойти против мира и Бога... – он один и остался. Ему не было поддержки – этим путь Толстого резко отличается от пути святого. Толстой непокорный демиург – ему не было дано даже мученичества за исповедание. Толстой великий облик бунтарства, он принял всю трагическую тяжесть этого положения. Мир и покой не согрели его старости. Его собственная жизнь – могучего, здорового, богатого и знаменитого человека, внешне так, будто бы, отлично сложившаяся, раздиралась грозными противоречиями. Если можно говорить о мученичестве Толстого, то лишь во внутреннем смысле – и это одна из привлекательнейших и человечных его черт. Толстой всегда глубоко страдал и раздирался. Удивительно, что «болезненный» Достоевский нашел сравнительно тихую старость, несмотря на все свои грехи, извивы и запутанности. А здоровый Толстой, со всем его «гомеризмом», со всеми великими дарами, могучий и выросший из земли, на старости лет проклял и семью, и любовь, и женщину, бежал от той, с кем прожил пятьдесят лет, осудил и всю свою жизнь, и лучшее в своем творчестве.

* * *

Сто лет тому назад Толстой родился. О нем написаны библиотеки. Эти беглые строки никак не надеются дать облик сложнейшей, противоречивейшей, великой души. Они просто – минута раздумья, почтительного преклонения перед русским гением.

В.КОРЧЕМНЫЙ. ЧЕЛОВЕК С ГЕРАНИЕМ

В. Корчемный. Человек с геранием. Изд. Возрождение, Париж, 1927.

Кажется, читателю не особенно хочется сейчас революции. Бог с ней, была и прошла, началась другая жизнь. Книга Корчемного вся о революции, ее можно бы назвать воплями, молитвами и размышлениями о революции. К читателю Корчемный равнодушен. Он говорит то, что ему самому хочется сказать. Иногда как бы рыдает, или грозит, или стонет, но никогда не смеется, даже не улыбается. Невеселая книга! Что поделаешь, нет повода веселиться, выбрав такую тему.

Повесть, давшая название целому, бесспорно лучшая вещь сборника, полновесная, яркая, мучительно-страстная и пронзающая. Духовная родина Корчемного – Достоевский, но автор наш сам очень своеобразен, своенравен, иногда капризен, замысловат в слове, и как всякий настоящий писатель – неповторим. Его фраза бывает запутана, его проза иногда вязка. Кажется, основная черта в нем – не столько желание «изобразить», сколько «сказать». Это можно считать признаком лирического строя души, но все же лириком Корчемного не назовешь. Он органический писатель. Слова и фразы – как бы дыхание его, дыхание тяжелое, порой мучительное, но из глубины легких. Ритм книги сложный, местами очень и очень замедленный.

Мелкие вещицы второй половины – как бы очерки, иногда просто описание фактов в патетическом, лирико-философском обрамлении (большой искренности). Это очень «русский» род прозы, западу мало свойственный и, вероятно, даже для него отвратный. У Корчемного не видать новеллистической струи. Сюжет, его движение, развитие – отсутствуют.

В книге много гнева, есть просто проклятия, некая анафема, но много и жалости, любви, сострадания («Веруня на кухне», смерть мальчика в «Агитпункте» и др.). Главный упрек автору – многоречивость. Длинноты, особенно во второй части (напр., первая половина «Смерти лошади») чрезмерны. Материал распухает и подавляет и пишущего, и читающего. Об этом приходится только жалеть, ибо у автора настоящее дарование, книга его значительная, и остается в душе.

ВИНОГРАДАРЬ ЖИРОНДЫ

Возраст – лет под сорок. Суховатое, крепко вылепленное моложавое лицо. Большой лоб, короткие усы. Сидит по-домашнему, на турецком диване, без пиджака, держит в руках книгу, острым взором смотрит на зрителя – Мориак, известный писатель, автор «Терезы Декейру», «Пустыни любви», «Того, что было потеряно». Звезда литературы отдыхает в Малагате (Жиронда), в имении, где возделывает виноградники. Это его родина. Его романы полны Ланд, сосновых лесов. Подчиненные ему люди в писании – разные Куррежи, Декейру, Горнаки – пропечены зноем, сушью, пахнут смолою и сосновым лесом.

Нет, кажется, его произведения, где бы ни описывалась жара (вернее: где бы она ни давалась – в слове скупом, но сильном). Он любит идущее из почвы. Его люди наделены страстями и грехами яркими, возросшими на первозданном. Чем-то древним, некоим terror antiquus полны и его пейзажи, и чувства. Он знает силу рода. Люди у него не единичны, не оторваны. Не только в землю свою вросли: за каждым и над каждым предки, их власть, те – иногда прекрасные, иногда грозные задания, что даются нам из океана, нам предшествующего (мы же передаем их, в потомство, дальше). Кровь, стихия рода, близка этому писателю. В ней нечто жуткое. Всегда она косна, как земля. Безмолвна, и безлична.

В самом снимке, в белоснежной рубашке Мориака – уже зной. В деревенском, старом доме должны быть закрыты ставни. «Отдыхать» там можно только в зеленоватом полумраке, под серебряный стон цикад. Даже вино (в Малагате чудесное) нельзя пить в такую жару. Мориак должен обходиться водою со льдом.

Таков он – плод южной, французской земли, но не провинциал. Знает Жиронду и Ланды, но и Париж, т. е. мир. Он католик – но не типа захолустного кюре. Никакой благонамеренной агитки нет в нем и не может быть. Жизнь видит широко, в ее противоречиях, мучениях. Человека – глубоко. Душа мужественная, мрака не боящаяся, остро и современность чувствующая. Но не сядет Мориак в эту современность, как в автомобиль (подобно Морану), не поедет, куда повезут. Он *небезразличен*. Но, как люди его земли, замкнут, скрыт, мало себя показывает. В прежних романах даже столь скрыт, что католики простодушные были им недовольны:

– «Изображение страстей, пороков... Но где же утешение?»

Ни в «Женитрикс», ни в «Судьбах», ни в «Терезе Декейру» (в глуби лесов Жиронды мужа отравляющей) действительно, нет утешения – или оно столь под спудом, что до него не доберешься.

* * *

Последний роман «То, что было потеряно» более автора открывает.

Действие все в Париже. Сумрачный и порочный Эрве Бленож и жена его Ирэна, надломленная, больная. Медленно она гаснет – не только от болезни – от холода, лжи, нелюбви мужа. Они принадлежат к знати. Ее свекровь, старая католическая графиня с улицы Лас Каз, может быть, и могла бы ее утешить, но нет близости. Для Ирэны она «ханжа», окруженная аббатами. Графиня простодушный человек. Ирэна – «современный». Она сама многим отравлена – книгами, искусством, культурой. Католицизм свекрови для нее пережиток. Ничего она не видит истинного под старомодностью графини. Но как жить? Вокруг пустыня. Эрве вечно исчезает – полон он погонею за наслажденьем, затянут миром жестким, беспощадным. И сам с женой беспощаден.

Его бывший друг Марсель Рево, исписавшийся писатель с двусмысленным прошлым, темной денежной историей – тоже бесплоден и отравлен. Мучится неразделенною любовью к молодой жене, с которой живет тоже безрадостно – Тоту вывез он из глуши Котерэ, мрачнаго имения Юм, где остался деспот отец да юноша – брат, Алэн.

У Эрве к Марселю странное, злобное чувство. Некогда были они так близки, что женитьбы ему он простить не может. Месть придумывает тонкую. Намеками, полусловами, улыбками внушает мысль, что Тота не просто любит брата, а «преступно». Марсель чувствует, что жена не с ним. Ее мысли, душа – на юге. Клевета Эрве ловко попадает... Начинается вторая, как бы удвоенная тоска Марселя.

С какой силою, крепостью написано это начало романа! Трудно дышать воздухом, где живут озлобленные, отравленные пороком люди – праздные и недобрые, несчастные и одинокие, посетители модных подозрительных баров, дансингов, мертвенно разъезжающие в автомобилях по мертвенному Парижу.

* * *

Форма романов Мориака всегда близка к эраматической: мало описаний, мало слов (язык сух, остр, благороден) – действие не задерживается. У Ирэны не то рак, не то туберкулез. Она сохнет, слабеет. Вот просит однажды мужа посидеть с нею вечер. У него как раз в эти часы подозрительное свидание. Он сначала отказывается остаться – любой вечер, только не этот – потом остается. Через силу

читает ей Ницше. Она засыпает. Спит крепко. Желание – непреодолимое – уводит его, пока она спит. Проснувшись, видит Ирэна, что никого нет. Всего-то и маленького, одного вечера он ей не дал....

В этом усматривает она приговор. Так и загадала: если есть в нем *капля* милосердия, она живет. Если нет....

У нее под рукой гарденал, против бессонницы. Она принимает таблетку за таблеткою. Удаляется от нее горький мир! Проносятся клочья прежнего – девушка, из богатейшей семьи, Эрве за нею охотится, она влюблена и так любви ждет, и материнства. Во всем этом ей отказано. Что же – жизнь не удалась, удастся смерть.

Роман странно поворачивает. Поворот смелый, очень высокий. Ирэна гибнет – но в некоем смысле продолжает жить и на других влиять.

В тот самый вечер, когда чтением своим усыплял Эрве Ирэну, старая графиня приходила к ней. Но Эрве не допустил ее. Знал, что Ирэну она раздражает (и она это знала). Искренно несла утешение и любовь: не донесла.

И вот тело Ирэны недвижно, графиня же исповедуется, в сумрачной капелле:

«...Она судила о религии по моему облику. Не к чему было мне и раскрывать рта: самое приближение мое ее раздражало, самый вид. Ирэна все читала, она знала все, все понимала. Я же не знала даже имен писателей, ее учителей. Помните, она сказала раз: «Католицизм, это моя свекровь»...

....Страшно сказать: одним своим присутствием я приношу вред Тому, кого люблю, делаю Его смешным. Его не любят из-за меня. Я удаляю от Него бедное дитя – без меня, может быть, Он и привлек бы ее».

Она стенает и от того, что собственными руками, из утробной любви к сыну (genitrix!) состроила этот жалкий брак: хотелось создать ему жизнь богатую, праздную. И вот последствия...

В ужасе и смирении ждет она слов исповедника.

Он отвечает, из своего укрытия:

– Возрадуйтесь, дочь моя.

Графиня не поняла.

– Я в трепете могу лишь повторить, что Господь открывает мне для вас: «Она отсутствовала. Но Я был с ней».

Ничего, что графиня не дошла до Ирэны. Я принял ее. «Возрадуйтесь, дочь моя».

* * *

Тут удивляется критик Жалу, говорящий о Мориаке: как же это католик может чуть не благословлять самоубийцу?

Пусть удивляется Жалу. Мориак еще раньше оправдал Терезу Декейру, мужа отравившую. Кто имеет силу, тот оправдывает.

Благая весть, переданная матери, идет дальше. В доме, где стоит гроб Ирэны, встречает графиня сына. Эрве ждет упреков. Мать идет к нему навстречу, ясная и светлая.

– Дорогой мой!

Плача на ее груди, как плакал некогда ребенком, растопляется Эрве. Недавно только сам поймал себя на низкой смысли: «ну, теперь свободен!» – а теперь чувствует в себе убийцу.

– Ты получил великую милость, говорит мать, лаская его.

– Я?

– Да, величайшую. Ты себя видишь, себя знаешь. Ты называешь грязью – грязь. Ты понял, что грязь – грязь.

Таков таинственный смысл гибели Ирэны. Как зло идет кругами, наподобие кругов в пруду от брошенного камня, так и благодать: один из ее кругов доходит – сложными путями – и до сердца Марселя: умягчает, увлажняет его.

* * *

В романе есть лицо, юный брат Тоты, Алэн. Он живет на том самом юге, чью жару любит Мориак (упоминается, хотя бегло, о ней и здесь).

Алэн юноша особенной судьбы. Он глубоко религиозен, «призван». Париж, в первый его приезд к сестре, предстает ему кладбищем и долиной печали (странная и яркая сцена, когда ночью, на скамье Елисейских Полей, выйдя из дансинга, где был с сестрой и Марселем, встречает он Терезу Декейру, изнемогающую от тоски. Он ее провожает, *указывает дорогу*).

В этом и его собственное назначенье. Дальнейший его путь фатален: во второй свой приезд, с известием о смерти отца, он попадает как раз в минуту, когда Тота готова вступить в легковесную связь, как бы заблудиться. Он увозит ее в деревню. И в вагоне, глядя на спящую сестру, чувствует силу «призвания». Тота одна из многих, кого предстоит выносить на руках «из-под развалин». Так что, живой (видимо, надлежит ему стать монахом, или аббатом), продолжает он дело умершей Ирэны.

– Значит, все в романе спасаются?

Этого мы не знаем. Мориак останавливается. «Благополучия» от него трудно ждать. Силу греха и трагедию жизни слишком он хорошо знает. Но если говорить о *надежде* – да, она есть. Взят лишь момент – всех просветляющий. Что будет дальше, каковы судьбы героев – неведомо. Может быть (чуть не наверно), будут склоняться жизни Марселя, Эрве, Тоты вправо,

влево... Каков окончательный суд – неизвестно. И все же впервые открыл Мориак себя глубже: благодать, помощь, надежда – все это есть, тут же рядом. Несчастные «потеряли» важнейшее. Без него тьма, гибель. Но вот рядом – тайное дуновение благодати: и спастись можно.

«То, что было потеряно» смелый роман, потому, что в нем тезис. Для художника это трудно. Велик риск увлечения схемой. Некоторая искусственность есть тут и у Мориака. Но она с избытком искуплена подземным пламенем, бьющим из всех щелей. Сердце несентиментального автора слишком потряс мир скорбный, холодеющий, черствеющий. Мир слишком настрадался.

Он нуждается в милосердии. И замкнутый обитатель Ланд, одиночка, хорошая Франция – земляная и верующая – разжимает скупые губы:

– Возрадуйтесь.

* * *

Не знаю дальнейшего пути героев, не знаю и пути автора. Может быть, и он услыхал «призыв»? Сухощавый, изящный Мориак, вспоенный лесами, звездами и виноградниками, океаном, алтарем, епитрахилью?

ЛЕОНОВ И ГОРОДЕЦКАЯ

Еще в двадцать втором году существовало в Московском Союзе писателей правило: коммунистов в члены не принимали. Ни одного коммуниста не было у нас – хотя на публичные чтения в Дом Герцена они приходили – но как гости. Не помню среди членов Леонова. Он к коммунистам не принадлежал. Но чтобы быть принятым, надо было выпустить книгу: он тогда книги не мог еще представить.

Однако я о нем уже слышал. Два раза общие друзья звали слушать его чтение.

– Приходите, будет читать один юноша... очень даровитый, образованный, скромный. Совсем в домашней обстановке. Фамилия его Леонов. Ему очень хочется, чтобы вы были.

И вышло оба раза так, что мне не пришлось прийти. Я его никогда и не видел – может быть, он сиживал в публике на собраниях наших, но представлен мне не был.

Позже, в Берлине, мне попалась книжка Леонова «Петушихинский пролом». Вот по этой вещи мы бы его в Союз приняли.

(А принимали с разбором: только «литературу», а не макулатуру.) «Пролом» был написан в модной тогда манере лесковско-ремизовского «говорка», сильно, конечно, style russe (с некими загогулинками), с теплым нутряным воздухом. Что-то от «натуры», от круглого (но уже не без бойкости) русачка – в общем, приятная и талантливая повесть. Прочитав ее, помню, еще подумал:

– Ну, жаль, что с этим юношей тогда не встретился.

Юноша быстро приобретал известность. Занял он место среди попутчиков в такой, примерно, связи: Леонов, Пильняк, Бабель и т. д. Начальство, кажется, не очень его долюбливало, но публика любила – и там, и здесь. Во время расцвета нэпа и надежд на эволюцию коммунизма все наши «примирители» и «сглаживатели углов» неизменно указывали на Леонова.

– Помилуйте, у них там такая литература! Ну, что вы говорите... у них же быт, вы понимаете, эта мощная Россия, это же интересно... Пильняк, Бабель, такой сочный русский язык... Недра, это вам не эмигрантское захолустье.

Бабель, впрочем, больше отдавал Житомиром и Шполою, чем недрами, но Леонов, конечно... Белокаменная, мать сыра земля и т. п.

И вот – еще небольшая повесть, а потом увесистые романы «Барсуки», «Вор», недавно вышедшая «Соть». Известность растет, выходят переводы на иностранные языки. Статьи, рецензии, все как полагается.

Европа жадна до советского писателя. Особенно Германия. Переводчики ломают голову, как перевести слово «запань» или «птицы», в Вене Леонов лично очаровывает («такой скромный, воспитанный...») – все как будто и великолепно. Что же, дай Бог русскому писателю хоть и на теперешней родине процветать – и дай Бог заработать хорошо: эмигрантский сотоварищ только порадуется.

* * *

Он бы даже и совсем порадовался, если бы Леонов преуспевал в своем искусстве. К сожалению, этого нет. Он не только не преуспевает, а идет назад. Грустно сказать: почти за десять лет работы лучшая вещь – тот же «Петушихинский пролом», «Барсуки» сумбурны, многословны, в них есть аляповатость, но это можно читать. «Вора» уж просто не дочитаешь (я, по крайней мере, не мог: до такой степени длинно, фальшиво, лубочно).

Все же эти романы написаны до пятилетки. В них еще виден писатель если и не свободный, то «сам по себе» – правда, не

воспитывающий своего вкуса, сильно провинциальный, по-провинциальному желающий «удивить» и «блеснуть», вряд ли перечитывающий то, что написал (а если бы потрудился переписать, то треть барсуков своих просто бы выбросил: роман бы осел и не пришлось бы по три-четыре страницы перелистывать – читателю делать работу автора). «Барсуки» переводятся сейчас на французский язык. Наплачется над ними переводчик, и покорно поскучает французский читатель. Но в «своей» прессе написано будет все, что нужно.

И вот у меня на столе «Соть». Это еще новый поворот. Самое в ней, пожалуй, интересное (но и страшное) – это: как за десять лет сумели обработать и сломить *человека даровитого, настоящего, может быть, даже крупного писателя*. «Соть» есть открытый, совсем ничем не вуалированный «социальный заказ». Собственно, автору это и совсем неинтересно. Приказали – сделал. На книжке напечатано: «Собрание сочинений, том пятый». Тираж – 10.000 экз. Тема – советское строительство на реке Соти. В глушь, в леса с непроходимыми болотами являются «созидатели»: энтузиаст Потемкин, «героический» комиссар Увадьев, химичка Сузанна, инженеры Фаворов, Бураго... Под напором «железной» воли Увадьева (без Петра Великого не обойдешься никак по нашим временам) на Соти не по дням, а по часам растет «комбинат»: будущий бумажный завод с рабочим поселком, клубом, больницей, радио и т. п. Фигуры все титанические. (Максим Горький со своим лубком выглядывает из кулисы.) Увадьев мрачен, молчалив, стальной человек. Революция и строительство социализма для него все. Личной жизни нет и не надо – в Сузанну он влюблен безнадежно, но Соть выше. А по нравам это спартанец или римлянин типа Катона: раздевшуюся для него догола машинистку Зою («за финики», которыми он ее угощал) Увадьев торжествующе выгоняет («Вон, гадина!»), – и все симпатии читателя на стороне бедной «грешницы». Потемкин, чахоточный, не колеблясь, отдает жизнь тоже за эту Соть. Инженеры работают, как звери, работа кипит, все изображено в тоне «Илиады», переложенной на баритон Максима Горького с прослойкою все тех же лесковских устремлений и с не окончательно вытравленной собственной «круглотой» и «русскостью».

Строят завод на месте прежнего скита – это дает повод изобразить монахов – самые гнусные страницы «Соти». Тут уже нет никакой скромности и якобы «тишины» автора. Леонов грубо и бездарно издевается над русским иночеством, оплевывает скитского старца (постыдился бы, вспомнил бы «Карамазовых»!) –

нет, не стыдится, заушает гонимых и гибнущих, святую Русь изображает шайкою каких-то лодырей, дикарей, сластолюбцев, идиотов, притворщиков (сам старец, умирая, вдруг кричит: «Бога нет!»). Послушать автора, так и митрополит Вениамин, удостоившийся мученического венца от руки теперешних друзей Леонова, тоже перед смертью выкинул какое-нибудь коленце! Тоже петухом запел!

Мне не раз говорили, что Леонов – человек религиозный. Не знаю. Вообще отказываюсь судить о его «недрах». Не могу говорить и о мотивах. Вижу только пред собою гадость и смолчать о ней мне затруднительно.

На Соти гомерическое наводнение, саботаж, вредительство. Есть, конечно, б. офицер, постригшийся в монахи, а потом ставший «завклубом» – вредитель. Он развивает идиотские идеи о новом Аттиле, во имя которого надо разрушить большевизм. Есть и саботажник-инженер. Но несмотря на все препятствия и всех злодеев, «наши» одолевают.

Все турбогенераторы, дефибреры, желонки бура, котлованы, толуолы, бугели, товарищи прорабы оказались на своих местах. Увадьев лично спускался (даже прыгнул!) вниз, где крепили прорвавшийся плывун, грозивший все испортить. «Мускулы его напружились, и давно утраченная, грубая, почти ураганная радость физической силы вздыбила ему сознанье, точно внезапно включили пропыленный мотор».

Приблизительно так и вся книга написана: «метель сенсаций», «в окнах белесо пучился рассвет», «брань звучнее булыжника летела в квадратное оконце» (Горький лет тридцать тому назад метал такие булыжники, да и Сергеев-Ценский, и покойный Леонид Андреев грешили ими). Но рядом – «таилась хрупкая неправда» (Вербицкая). «Ему было, будто курит толстую папиросу...» (просто безграмотно). «Сравнимые только с бабами на сносях, собирались над Сотью облака» (имажинисты, ранний Есенин). Слава Богу, меньше других потревожил теперь Леонов Лескова: и на том ему спасибо. Образцы выбрал попроще.

* * *

Городецкой рядом с Леоновым положительно везет. Она тоже молода, но более дебютантка, у нее нет претензий «возглавлять» литературу, немцы за ней стадами не бегают – она просто русская писательница, только что выпустившая в Париже второй свой роман («Мара»). Социальных заказов ей, слава Богу, никто не давал – да она для этого и мало пригодна. У нее есть преимущество писать «о чем вздумается».

Дарование ее идет из истоков очень личных и «женской» натуры. Не думаю, чтобы Городецкой были близки задания объективные (а уж тем более гомерические!). Слава Богу, что над ней нет сейчас никакого Главлита или Главромана. Засадили бы ее за изображение мощи женщины-пролетарки в резиновой промышленности, Рыбтресте, Металлобумаге. Узнала бы, что такое дефибреры.

Пожалуй, она не понимает и что значит «габарит бумажного зала» и вообще многого в постройке заводов не смыслит.

В человеческой же душе, особенно женской, понимает гораздо больше. Мара – нервная, болезненная женщина, ясновидящая, хиромантка и отчасти авантюристка. Роман назван ее именем, в построении же его самой хиромантке отведено не так много места, но всюду, где она появляется, страницы очень оживают – ее образ, с какими-то острыми, пронзительными чертами выступает из книги, приобретает бытие самостоятельное. Действие происходит частью в «прежней России», частью в Париже, в Крыму – эпоха особенной роли не играет. Судьба этой Мары как-то связывается с жизнью профессора медицины Сретенского, его дочери Лизы и мужа Лизы – Шубина. Сначала Мара близка с профессором, потом, в тяжелую минуту жизни сходится в Крыму с Шубиным – но связь эта кончается неудачей – Шубин возвращается к жене. Нечто двусмысленное, смесь своеобразия и вульгарности, горечи трудной жизни и провинциальной истеричности есть в этой Маре. Не очень-то ее полюбишь, но у ней есть ощущение некой иной грани мира или жизни: в ясновидение ее веришь, а главное, она написана, она есть: важнейшее для романиста.

Роман вообще с несколько медицинским «уклончиком»: Шубин заболевает психически, это описано довольно живо и убедительно. Видно, что писательницу искренно занимают некоторые тайны бытия: она ходит вокруг них с острою наблюдательностью, может быть, что-то чутьем и угадывает.

Середина романа (жизнь Лизы с Шубиным) показалась мне вялой (не завладевает читателем). Думаю, тут причина и та, что не удался сам Шубин. Я его не вижу и не слышу. Лиза, здоровая, честная, идущая каким-то своим путем, – лучше. И всего лучше – конец, самоубийство Мары (она бросается с моста в реку), и последняя глава: старый, довольно цинический профессор, в свое время «так себе» взявший Мару, узнает о ее гибели – и на лекции доктора Жака (о волнении, жалости, аффектах) – никак не может успокоиться и разрешить своих волнений: о погибшей, о судьбе Лизы, о будущем маленького ее сына – сына душевнобольного отца.

«Лекция окончилась. Профессор поздравил Жака с успехом.

Все еще было ветрено. Горбатая улица раздалась, под нею открылась другая – ровная и очень оживленная. Профессор остановился, придерживая свою кротовую шляпу. Отчаяние ли в нем было или надежда, он и сам не знал. Не разум его, а все существо – ну, да, душа – переполнилось томлением, любопытством, испугом».

В общем, «Мара» написана хорошо – крепче, сложнее, значительнее первого романа Городецкой («Несквозная нить»). Писательница работает, учится, живет (и, видимо, не зря) в европейской столице, центре мировой литературы. Это помогает ей выходить на «столичную» дорогу, обрабатывать и закалять свое изящное дарование. Вряд ли соблазнят ее запоздалые провинциализмы Леонова. Вряд ли откажется она и от свободы. Можно только ей пожелать и далее идти простым, естественным, но и нелегким путем художника.

– Ну, вот и видно, что вы пристрастны, – рассуждаете, как эмигрантский писатель, благосклонны к здешнему, жестоки к советскому.

– Нет, я Леонову зла не желаю. Напротив – добра. Но для пути добра должен он устыдиться «Соти». А там видно будет. Он еще молодой и талантливый человек.

ВОЙНА

В последнем, замечательном произведении Марселя Жуандо («Тит Лелонг») есть такая сцена. Сабина, молодая девушка, дочь разоренного на войне деревенского дворянина (и Дон Кихота), проводит с сестрами вакации у тетки, в небольшом городке. Рядом с теткиным садом – Семинария. Вечером Сабина замечает странную сигнализацию из семинарской мансарды. Лампа выписывает в темноте огненные буквы, каждую по три раза, все медленнее и медленнее. Сестра Сабины записала их. И разобрала: «Отъезд миссий в Китай в следующем месяце. Готова ли ты? Господь нуждается в тебе».

Сабина поражена. Вырезав из картона буквы, она на другой же день ответила – завязалась переписка. Сначала молодого семинариста посадили за нее в карцер. Но потом выяснилось, что это не простая забава: световыми сигналами он «проповедовал» неизвестному зрителю то, чем был сам полон. По его мнению, «ничего нельзя ждать от нашей Европы, война выпила лучшую ее кровь, и раз случилась эта война, значит, Евангелие еще не понято». Сабина встре-

тилась, наконец, на площади городка с этим таинственным благовестителем. С изумлением узнала в нем Антельма Жерико, сына того самого бакалейщика Жерико – Лорей, который купил у ее отца дом, поселился в нем, оставив для семьи Лелонг нижние, худшие комнаты – и всячески преследовал ее отца. «Антельм не менее изумился и возблагодарил Провидение за доставленный случай встретить людей, которых, как и его самого, столь мучила скупость отца. Теперь, по крайней мере, он хоть мог принести извинения».

Но дело, разумеется, не в извинениях. Он тотчас же заговорил о Китае и миссиях.

«Сабина дышала глубоко, радостно. Она нашла смысл жизни. Она нашла способ дать своей жизни некий смысл. Через пятнадцать дней она получила от отца разрешение поступить к сестрам-миссионеркам Пикпюса, и родной город не увидел уже ее больше. Год тому назад она скончалась в Шанхае».

* * *

Сабина умерла. Но сколько ее сестер живы, действуют, служат, «нашли смысл жизни»!

В огромном павильоне Католических Миссий на выставке такая Сабина встречает вас у самого входа – скромная и высокая, с тарелочкою в руках: сборы или на «детей западной Африки», или для «больных Гвианы», или на «школы в Полинезии»... Иногда Сабина в темном с огромными белыми крыльями на голове, иногда вся в белом («Белые сестры» африканских миссий). Иногда она немолода и улыбается ртом с редкими зубами. Иногда совсем юная, с непередаваемой прелестью не женского и не мужского (ангельского). Но всегда та же тихая и приветливая, лучезарная улыбка... (Все они, нашедшие, всегда веселье развлекающихся – и страдающих...). Их милые лица мелькают по всему длинному вашему пути – у столов с открытками, книжных прилавков, просто среди зал. «Маленькая Тереза», «св. Тереза из Лизье» как бы присутств<уют> в этом (не весьма красивом) строении, посвященном мирной войне.

Ибо действительно все залы, коридоры, переходы павильона являют собой музей войны, но особенный: кровь проливается в ней лишь одною стороной. Другая претерпевает и несет свое оружие: Крест, Распятие, Евангелие, школу, больницу, борьбу против рабства. Генеральный штаб этой армии – Рим. На большой карте у входа сияет электрическим светом Рим, из него во все страны мира летят огненные стрелы.

«Новые и непрерывные крестовые походы» – так можно определить теперешнее миссионерство. Ватикан, видимо, и сам не

отрицает связи с крестоносцами средневековья – в первой же зале гигантская статуя крестоносца, опирающегося на легендарный меч, сумрачно исчезающего под кольчугою и шлемом: одни глаза видны. Но именно меча-то, которым древний крестоносец, по избытку сил и «стихий», разил (случалось, правого и виноватого), у теперешнего миссионера нет. Как хорошо, что Церковь больше не в союзе с Государством!

Как она выиграла от этого! У нее свой «град», иногда ее едва терпят – лишь геройской деятельностью в колониях отстояли французские конгрегации свое право на жизнь. Но – тем лучше!

Ряд зал – ряд стран, ряд эпох (приблизительно, три столетия). Всюду в существе одно и то же: молодые люди, «братья» или «сестры» покидают родину, на кораблях, на пароходах (иногда на лодках по девственным рекам) плывут к новым неведомым братьям и сестрам: научить их христианской вере, просветить, залечить раны, иногда накормить, обучить грамоте... и самим в безвестности и смирении сложить головы. Вот уж поистине «за други своя положить живот свой». Чем движутся эти люди? Собственно, одним: любовью, состраданием. «Мир нуждается в сострадании» – никогда не хватит слез, чтобы омыть беды его. И вот избранные идут и идут, тысячами и десятками тысяч, на добровольный подвиг.

В первых же залах наивно исполненные панорамы показывают мать Жавуэ, в Гвиане (XVIII в.), освобождающую рабов (они приходят и кладут к ее ногам свои освободительные грамоты. Рядом – корзина с башмаками – как свободные они имеют теперь право носить обувь). В Кайенне монахини ухаживают за больными и детьми в каком-то первобытном, среди пальм, госпитале. Сестры С. Поль де Шартр просвещают индейцев. Далее идет Восток – Сирия, Палестина, Индокитай, Китай – снимки с храмов, группы школьников, монахи-учителя, монахини среди девочек. Монахиня посещает бедуинскую палатку – перевязывает больного ребенка. Вот в Хохинхине «сестры» выкупают беспризорных детей: обучат их, воспитают, и из маленьких дикарок выйдут тоже, может быть, местные миссионерки.

Африка – Марокко, Алжир, Судан – тут все миссионерство «белое», в белых шерстяных одеждах. С фотографий улыбается доброю улыбкой изможденное лицо знаменитого о. Шарля Фуко, бывшего гусарского офицера, а затем монаха-трапписта, впоследствии отдавшего жизнь «деятельной любви» в пустынях южного Алжира и Сахары (и могила-то его, белый камень с высеченным крестом – в огненной Африке).

Отцы «маристы» проповедовали в Океании. Вот о. Шанель, первомученик Футуны – его зарубают на картине дикари (1844 г.), – а теперь все жители острова христиане. На том самом Таити, которое теперь так привлекает одержимых «беспокойством» и пресыщенных культурою писателей, художников Европы, еще в начале прошлого века приносились человеческие жертвы. Все это надо было искоренять, как и бороться с язвой этих райских и тишайших мест: проказою.

На небольшом листике отпечатано изображение монаха в белом – о. Фукэ, пальцем указывает он на висящий на стене крест. В центре его – лик Спасителя в терновом венце. В ветвях креста семь изображений других монахов, все это заразившиеся и умершие в проказе (как и он сам).

Для примера привожу несколько строк из «жития» о. Дамиана, родившегося в 1840 г. В 1873г. он отплыл в миссию Гавайи (Океания). Проказа так там свирепствовала, что правительство решило забрать всех прокаженных и выселить их на узкую косу, совершенно отделенную от всего остального мира. Этот «лазарет» скоро стал истинным адом. «Я готов похоронить себя среди этих несчастных», предложил однажды о. Дамиан своему епископу. Епископ одобрил его решение. Правительство заявило о. Дамиану: «Входите, но уже никогда вы не выйдете оттуда».

И он остался. Шесть лет прожил совершенно один среди восьмисот «живых трупов». Затем появились рядом с ним новые герои. На двенадцатом году пребывания у прокаженных о. Дамиан заразился и в 1889 г. умер – умирая, благословил смерть.

В зале океанских миссий стоит группа: умирающий в проказе миссионер, его перевязывает белая «сестра» – тут же присутствует и «сестра» туземная.

* * *

Центральный зал павильона имеет вид храма – прямо перед зрителем алтарь со свечами – думаю, тут совершаются и мессы (любопытная подробность: при входе в павильон Миссий мужчины инстинктивно снимают шляпы – действительно, как в церкви). За алтарь ведет узкий вход с надписью: Martyres. Простоватая, в большинстве провинциальная французская толпа образует здесь неизменный затор. Могучие католические дамы в старомодных платьях, нередко с престарелыми мамашами, держа за руку младшее, третье католическое поколение, – благоговейно входят как бы в крипту, где собраны реликвии миссионеров-мучеников. В крипте полутемно, освещены электричеством лишь витрины. Мимо них медленно, слегка

перешептываясь, очень чинно проходят, останавливаясь и читая надписи, – лысые отцы семейств, мужья с красными прожилками на щеках, жены, дети, тещи. Настроение, как в римских катакомбах.

Собраны разные кривые зазубренные мечи, копья, ножи, которыми пронзали мучеников. Веревки, которыми их связывали. Куски тканей с пятнами запекшейся крови. «Canque de bienheureux Borie» – китайское приспособление для удушенья – и все в этом роде. Пометки: Пекин (1900 г., о. Анри), Индокитай, опять Китай.

Скептику может прийти мысль, что, пожалуй, и не совсем теми веревками связывали какого-нибудь епископа, и пятна крови, возможно, тоже *приблизительны*. Все-таки, главное-то верно: люди добровольно шли на подвиг, ехали в этот таинственный Китай и гибли героически – этого никто не может отрицать. И нельзя того отрицать, что вот находилась же там преданность и забота, за всем следившая, собиравшая мечи, одежды, канги и кинжалы.

Разумеется, и коммунисты приложили свою руку. Из брошюры о деятельности доминиканцев в Китае узнаем, что в 1929 г. миссионерские посты в Шангханге, Вюпинге и Ланкиату были «совершенно разгромлены коммунистическими бандами».

* * *

Этим летом пришлось мне жить во французской деревне, под Парижем. Прогуливаясь по ее главной улице, от огромного вяза на площади до кооператива, где можно купить шоколадную плитку, проходя мимо запущенной церкви, не раз вспоминал я Сабину. Эта сильная девушка, склонная к гордости и самоуничижению, гневу и восторгу, жила в некоем Шаминадуре, не особенно-то отличавшемся от нашего Ромени. Такое же убожество, власть лавочников и мещан, царство бистрошников. Даже и церковь сходственна. «Крыша церкви обрушилась, на алтаре поселилось огромное дерево, посаженное ветром. Верхушка его, пробившаяся сквозь балки, заменяла колокольню.

Невдалеке крестьяне чинили свинюшник».

Наши крестьяне, на берегах Марны, складывали скирды пшеницы, жгли какие-то кучи, заходили в бистро. На Успение, 15-го августа, никто, даже заезжий на велосипеде аббат, не служил в церкви. Маленькие дети, чахлые и головастые, нередко косые, с рахитическими ножками и русскими *вихрастыми головами*, сплошь и рядом беззубые, слонялись по улице.

Понятно, что Сабину увлекла романтика. Ночные сигналы, дальние края, разрыв с семьей и будничностью Шаминаду-

ра... Ее увлекли бои за веру среди диких. Восторг, исступление влекло ее на Восток – недаром она из рода военных (часто замечается: особенно много монахов – из бывших военных. Если угодно, оно и понятно: и там, и тут война, только разными средствами).

Сабина ушла в Армию Дальнего Востока и там сложила голову. Множество юношей и девушек французских поступают так же. (Приток желающих идти в миссионеры всегда превышает число вакансий. На Мадагаскаре даже в колонию прокаженных оказалась очередь – здоровых, для ухода за больными!). Но церкви во многих местах Франции пустуют – за недостатком кюре.

Сабина могла воевать за свою Истину и не уезжая в Китай. В ее родном Шаминадуре, наверно, столько же детей, ничего не слыхавших о Христе и Евангелии, как в нашем Ромени. Так же все развлечения – танцульки при кабаке, да радио. То же убожество, теснота и мрак духа.

Я не упрекаю ее. Напротив, поклоняюсь. Но хочу только сказать: враг близко, он вокруг, мы живем с ним и... увы! – частью даже его поддерживаем.

ДЕЛА ЛИТЕРАТУРНЫЕ

Недавно довелось мне говорить в Лионе о русской литературе, эмигрантской и советской. Как обычно, по окончании задавали вопросы. Один пожилой, почтенного вида господин, вроде генерала или полковника, сказал:

– Что вы посоветовали бы читать молодежи – классиков, эмигрантских писателей, или советских?

Я ответил:

– Выбор зависит от того, чего хочет от книги читатель. Если большой литературы, как выражения духа в искусстве (а также философии, религии), – пусть читает классиков. Эмигрантская литература с классической состязаться не может: нет фигур даже приблизительно равных. Но эмигрантская литература есть литература, – если вы хотите этого, то читайте и писателей эмиграции. По мере сил, дарований они служат делу искусства. Если же вам нужна осведомленность о России (теперешней), обращайтесь к советским авторам. Быт, современный склад России они знают, разумеется, лучше нас. Многое из той жизни просачивается сквозь их строки – иногда незаметно для них самих, иногда даже вопреки им (вернее: вопреки «здравому» коммунистическому рассудку).

– Убеждены ли вы, что их изображение России беспристрастно?

– Нет, не убежден. Думаю даже, что непременно пристрастно. Говорю лишь о некоем воздухе, который присутствует и в произведениях тенденциозных. Повторяю, если хотите знать, чем и как пахнет теперешняя Россия, не открещивайтесь от советской литературы, хоть именно литературы там и чрезвычайно мало. До пятилетки она еще сквозила иногда у «попутчиков». Теперь – вымирает.

* * *

Будучи эмигрантским писателем и не любя агитку, я всячески старался сдержанно говорить о здешней литературе. Пусть не обидятся на меня сотоварищи: я не весьма вас рекламировал.

И вот, вернувшись домой, получив свежий номер «Воли России», – услышал как бы продолжение лионских разговоров. Мои тамошние слушатели были эмигранты, трудящиеся с фабрик и заводов. В прошлом, вероятно, участники вооруженной борьбы, люди не советского настроения. В вопросах, задававшихся ими о советских писателях, о литературе, было любопытство, иногда интерес, но никак не злоба, – да без всякой злобы отвечая и я о том, как поживает Соколов-Микитов или чем занимается Шкловский.

Не знаю, как в России говорят о нас на собраниях (пишут всегда грубо и с бранью). Но предельным недоброжелательством оказалась полна статья об эмигрантской литературе эмигранта Слонима.

Не к чему ее пересказывать: все это много раз говорилось. (Литература наша самомнительна, оторвана от родины и тем обречена на гибель, за четырнадцать лет ничего порядочного не дала, и т. п.). Слоним не любит, просто терпеть не может нас – это его право, и не приходится нам взывать о любви. Одни нас любят, а другие ненавидят. Это естественно. Естественно и то, что у каждого из нас за плечами «целая жизнь борьбы и творчества». В этой жизни достаточно было и похвал и порицаний.

Но небесполезно услышать о себе мнения резкие. Похвала иногда усыпляет, осуждение – подталкивает.

* * *

Являет ли собой эмигрантская литература и эмигрантские писатели некое новое слово миру? «Можно ли предполагать, что Шмелев или Куприн, Бальмонт или Мережковский, Б. Зай-

цев или Алданов станут творцами и руководителями какой-то новой художественной школы, которую впоследствии назовут «школой русской эмиграции»?

Конечно, нет. Самая постановка вопроса демагогична. И названные писатели, и другие, не названные – облики давно сложившиеся, воспитанные на известной культуре и ее посильно в творчестве своем преломляющие. Ждать, чтобы люди на шестом и седьмом десятке лет создавали какие-то новые, специфически эмигрантские школы, – странно. Нужно иначе ставить вопрос: если эти облики что-то собою представляют, чем-то ценны, то живут ли они, меняются ли в чем-то, отражается ли на них переживаемое время, или они застыли и повторяют себя?

Тут надо ответить: конечно, меняются. Одни больше, другие меньше. Но вообще сказать об эмигрантских писателях, даже старшего поколения, что они просто себя повторяют, – разумеется, несправедливо. (Примеров – сколько угодно.)

Написана ли в эмиграции «Война и Мир», или «Братья Карамазовы»? – Никто на это не претендует. Но думать, что «за тринадцать лет эмигрантского блуждания» не создано «ни одной крупной художественной ценности», – просто неверно,

Верно ли, что эмигрантская литература почти сплошь состоит из воспоминаний? – Конечно, неверно. Есть и изображения советской России, есть и произведения, где действие происходит в эмиграции. «Воспоминательная» струя, разумеется, была сильна, но едва ли сейчас не исчерпана. Кажется, чем дальше, тем все более выступают произведения, связанные с чужой землей, на которой поселились русские. Верно ли, что так-таки уж ничего не сделано для русской литературной, философской, религиозной культуры? Или что нет своеобразной исторической беллетристики? Биографий? Философских произведений?

Тут, кажется, самый острый пункт. Литература эмиграции выросла на почве христианской культуры. Для нее слова: Бог, человек, душа, бессмертие – что-то значат. Для нее слова: природа, красота, любовь – тоже есть нечто. Божий мир полон, глубок, трагичен, грозен, иногда непонятен, но он не есть пошлость и не есть плоскость.

Ни *царство термитов*, ни скотный двор. Официальное исповедание «той стороны» обратное (о тайном, подпольном разговор особый). «Та сторона» воспитывается на духе антихристианском, т. е. на отрицании Бога, свободного человека, свободной души и вечной жизни. Можно сказать и так: насколько «там» и вообще-то существует литература, настолько она идет против коммунистической догмы, ибо догма эта есть смерть

и разложение духовного человека, а лишь духовное может животворить искусство – литературу в первую очередь.

Вот потому-то я и говорил в Лионе, что на советскую литературу надо смотреть лишь как на материал, по которому что-то можно узнать о жизни, быте России. Смысла, характера чисто художественного в литературе «пятилетки» просто нет (это мелькало иногда у «попутчиков», но теперь и они раздавлены). Низшие области здешней литературы справедливо укоряемы за провинциализм. Глубокий духовный провинциализм владеет Россией – не надо этого скрывать, сколько бы горестно это ни было. Думаю, что в эмиграции слишком долго, и слишком много заигрывали с советской литературой: частью из боязни «не отстать», «идти в ногу с современностью», частью, может быть, и из искреннего желания увидать что-то хорошее на родине. Что же поделать: пора сказать, что желания и надежды не оправдались. На теперешних путях советской литературы *литература* не произрастает.

* * *

– Что же, все тут у нас великолепно, благополучно и победоносно?

– Ничуть не так. Напротив, очень тяжело и трагично. Здешние писатели отлично это знают. Можно размалевывать эмигрантскую литературу под какой-то сонм самовлюбленных и самодовольных олимпийцев – будет лубок, неверный и грубый. Если в первые годы раздавались еще горделивые слова (очень редкие!), то теперь давно этого нет. Эмигрантская литература не сдалась, но ушла вглубь, в какие-то окопы, в хорошо укрепленные позиции. Там, в суровых условиях, она и живет. Ей ли не понимать тягости отрыва от родины! (Не Слониму учить нас этому.) Но что же поделать. Конечно, *в подземельях* пишутся (немолодыми, в большинстве, людьми) романы, повести, стихи, философские произведения, биографии, истории русской духовной культуры и жизни, истории русского древнего искусства. Пишется все это в условиях необеспеченности, при весьма тощем читателе – но вот пишется (мыслится, делается). Думаю, все же, что никто из нас не променяет нелегкой своей свободы на доллары советского писателя, приезжающего в спальных вагонах в «гнилую» Европу и пропивающего здесь эти доллары. Нет, уж мы будем лучше пролетариями. Таково нам дано задание, весь вопрос в том, чтобы мы оказались его достойны. Гордиться и возноситься нам незачем, и себя преувеличивать не приходится. Но что поделать, если мы живы, работаем, пишем, читаем, любим родину.

Может быть, положение наше обязывает даже к героической жизни – кто из нас ею живет? Это иной вопрос, мы ответим за нашу жизнь перед Богом, а не перед Слонимом. Он-то искренно, от всей души хотел бы, чтобы обратились мы в прах, но приходится его огорчить: пока что не обращаемся. «Вымирание стариков», с некоей жадностью проповедует он. То, что мы немолоды, может быть, и не такой уж грех. Слоним моложе, но и он в свое время будет старым. И когда состарится, – да не будем мы (если доживем) злорадствовать и желать ему «вымирания».

* * *

Возвращаюсь вновь к Лиону. Когда пришлось мне упомянуть о молодежи эмигрантской в литературе, об их попытках писать о здешней жизни, о влиянии на них западной литературы, это, видимо, слушателей заинтересовало – сужу по вопросам, мне потом задававшимся. Я понимаю этот интерес, разделяю его. Очень важно, очень интересно знать, куда пойдет молодая литература эмиграции. Ее судьба не легче, а, пожалуй, тяжелее нашей. А ее молодость на нашу и вовсе непохожа. Как сравнительно легко было нам, в свое время! Какое приволье России, внимание общества, материальная обеспеченность, возможность работать... И главное, главное: Россия...

Здесь молодой писатель, чтобы существовать, должен служить – рабочим, упаковщиком, наборщиком – и урывать время для литературы. (Знаю талантливого поэта, годы работавшего на фабрике, пока не выбился в литературу – вернее, в газету, единственно, чем можно жить.) Нет вокруг и говора России. То, что западные писатели оказывают на русскую молодежь влияние, – не случайно.

Дело не в одном новом жизнеощущении (Пруста или Джойса). Дело в некотором отходе от стихии русской речи – отхода естественного и неосудимого. Нельзя впитывать то, чего вокруг нет. Впитывается иноземное. (Любопытны оттенки этого впитывания: есть немецкий – для русских Берлина; есть французский – для парижан. И при всем том, ослабление, даже порча самого русского языка.)

...Эти строки пишутся к концу старого, тридцать первого года – к началу нового. Может быть, и случайно так вышло, что перед новым годом особенно вспомнилась молодежь, а может быть, не случайно. Новый год приближается сурово. В нем мы будем дальше жить, каждый трудясь в меру сил, возраста, в пределах вольной и живой личности. Вряд ли жизнь наша будет легче. Вероятнее – что тяжелее. Но что поделать.

Чего же пожелать на новый год? – Вот чего: спокойной, скромной, но и с достоинством силы – старым, и средним, и совсем юным. (На юных и особое ударение, им особое сочувствие.) Веры в свое дело, высокого одушевления.

Пусть недоброжелатели осуждают. – Благожелатели желают жизни и в нее верят.

31 декабря 1931

<ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ЛЕНИНЕ?>

Литературная анкета

Редакция «Чисел» обратилась к ряду писателей с просьбой ответить на следующую анкету.

Что вы думаете о Ленине:

а) личность;

б) деятельность;

в) стиль (литературный).

Охотно дал бы «Числам» ответ на любую тему, кроме предложенной. Ленин настолько мне мерзок, что ни думать о нем, ни о нем писать – никак не могу.

Бор. Зайцев

КАЗНЬ

Избави мя от кровей,
Боже, Боже спасения моего.
Псалом 50.

...Очень дальние времена. Маленький гимназистик (на лбу серебряные листья, за плечами ранец), возвращается домой. Бредет по Никольской, в городе Калуге. Близок уже поворот на Спасо-Жировке, к Оке. Светлый сентябрьский день, листья сдувает ветер по канавке вдоль тротуара. И навстречу – огромный городовой. На веревке тащит щенка. Что сказать тащит! На шее затянута петля, щенок бьется, извивается, но здоровенная дубина мерит себе аршинными шагами землю.

– Послушайте, городовой... почему это вы... куда вы его... ведь больно.

– Туда и волоку. Бродяжных топим.

– Послушайте, отпустите его... разве так можно...

Гимназистик уже бежит за городовым, умоляет. Тот останавливается. Обертывается. Щенок в пене хрипит у его ног.

– Пошел-ка ты, барин, в ...

И продолжает триумфальный марш к Оке. А гимназистик бежит к себе на Спасо-Жировку, в слезах, в отчаянии бегает вокруг садовой клумбы: все свои ut. консекутивы позабыл.

* * *

Но сам он – страстный охотник. Застрелить белку, перепела из-под стойки, ястреба подкараулить вблизи стога – ничего не стоит. Охота... темная вещь все же: война, а не казнь. Охота грех, конечно. Истоки ее в душе мрачны (имеют связь и с полом). Но это стихия, страсть – и борьба. Птица всегда может улететь, зверь тоже не на привязи. На медвежьей облаве ежели по медведице с малышами смажешь, то и не ведомо еще, что произойдет. На тигров может охотиться лишь тот, кто навскидку бьет в глаз. Охотник, сражаясь со свободной дичью, находится в некотором опьянении – азарт. Вполне ли он даже вменяем?

Охотничья страсть очень сильна. Ей подвержены и малые, и великие. Отчаянные охотники были Толстой и Тургенев (общеизвестно.). По толстовскому темпераменту – неудивительно. Но Тургенев! Не так уж он бурно-пламенен. И все же до самозабвения увлечен разными чернышами, утками, дупелями – и всякий, кто занимался охотою (хоть бы потом и бросил), его поймет.

Толстой в молодости и воевал.

Тургеневу воевать не пришлось. Но дуэль он признавал, не раз изображал ее – и сам едва в ней не принял участия (как раз с Толстым!).

Охота, война, дуэль... – но казнь? Участвовали ли бы в ней Толстой, Тургенев?

* * *

Тургенев видел казнь в Париже, в 1870 г. Нарочно пошел смотреть, чтобы описать. Описал со всей сдержанностью художника... – и во всей этой сдержанности «Казнь Тропмана» – проклятие казни. (Сам он чуть нервно не заболел потом.)

Как Толстой относился к этому – известно. Судьба подарила ему зрелище многих казней на склоне жизни. Под их впечатлением написал знаменитейший в мире человек: «Не могу молчать... намыльте веревку, затяните на моей старческой шее».

Был еще русский писатель, «небезызвестный» – Федор Достоевский. Тот кое-что и на себе испытал. Вместе с Плещеевым и другими стоял на Сенной, на эшафоте (и помилованы они были в последнюю минуту). А потом, много позже, скажет у него «Идиот» об этом «правосудии» кровавом слова потрясающие.

Так что русская литература в некотором смысле тут «при чем».

* * *

Время идет. Гимназист сдал экзамены, обратился в студента. Давно забыт щенок калужский – новая жизнь в Москве, столь далекая от убожества провинции. И век новый: двадцатый. В Москве же, в том же Университете и первые вспышки. А там – убили Великого Князя. Стреляют по губернаторам. Восстание девятьсот пятого года... пьеса поставлена, занавес поднят. Ответ на террор – военно-полевые суды, виселицы.

Старых сановников, падавших под револьверными пулями, погибавших при взрывах, мало жалели. Убили Столыпина, взорвали его виллу – дочерей тяжело ранили: все это не одобрялось, но без пафоса. (Даже, думаю, террористические акты возбуждали нервы. Действовали, как пожары: когда горит, всегда хочется, чтобы сильней горело.)

Не одобрялось, значит, только на словах. А в душе многие сочувствовали фанатикам авантюристам, смелым охотникам. Каляевы, Богровы, Мазурины, несомненно, охотники. И охота эта опаснейшая. Когда их ловили и они гибли, их жалели много больше, чем Столыпиных и Богдановичей. Казались они борцами за свободу, тираноубийцами и мучениками.

Казни росли, росли... – не истребляя «зла». Вызывая обратное. Появился целый синодик мучеников.

Странное время переживала Россия. Старый строй умирал (он и сам это чувствовал). Чиновники, военные и духовенство – все на втором плане. На первом интеллигенция – нервная и волнующаяся, народолюбивая, искренно рвущаяся к лучшему, ненавидящая «царизм» – одновременно полуодобряющая террор и восстающая против «столыпинских галстухов», полупризнающая опасную охоту, отрицающая безопасную казнь – даровитая, противоречивая, с женственными чертами и взрывчатыми силами...

Да, разумеется, она предложила отмену казни. Не так и одинока была в этом. Сам уголовный кодекс наш к тому призывал, в том воспитывал. В обыденности суд русский не знал смертной казни. Из великих держав лишь с Италией мы делили честь: non c'epena di morte (нет смертной казни). До открытия систе-

матической *охоты* на правительство казнь и не применялась в России. Никакой суд присяжных этой «меры наказания» не знал.

* * *

Февральская революция казнь отменила. Кровь полилась вскоре реками... Отмененная обернулась, вылезла – затопила годы 1918 – 32 так, как не знала ни одна страна мира...

Интеллигенция русская? – Первая к палачам и попала. Была ли права или не права в первых вспышках, подготовляла, вольно или невольно (*не того* ждали) – или не подготовляла: сама казнями этими разгромлена. Вырезан русский просвещенный класс – что говорить...

Гимназист обратился в студента – казни умножились. Студент в зрелого человека – разрослись чудища в гнусный быт. О, тогда мы и волновались, и страдали над чужим горем. Потом испытали собственное. Теперь стало все обыденностью.

1932 год:

– За собирание колосьев на полях – 62 человека.

– За самовольный переход границы...

– За утайку вагонов...

– За... За... – кровь, кровь и кровь...

Пятнадцатый год! Все то же.

* * *

«Через двести–триста лет жизнь будет невообразимо-прекрасна»... – милый Чехов, самый грустный и пессимистический человек своего времени, – вот верил же в райские сады на земле. Хорошо, что умер вовремя. Увидел бы войну и революцию... Ел бы академический паек. Хлопотал бы за казнимых – безуспешно. И жил бы на Кисловке, с Пильняком и Леоновым.

Чехов пытался изобразить в Лопахине грядущего хама, большевика. Получился чеховский герой. Все никак не может «выяснить отношений».

Да, время было. Кажется, тысяча лет прошло.

* * *

Есть соображения за казнь (устрашает, удерживает других – полезна, потому что уменьшает преступления). Есть против (развращает, воспитывая жестокость, делает непоправимыми судебные ошибки). Пусть и пребудут аргументы сии.

А если просто спросить, самого себя:

– Хорошо это? Или плохо?

Есть ведь в человеке нравственная истина. Черное в ней черно – никак белым не сделаешь.

* * *

Старые люди (типа «в бараний рог»), и очень молодые за казнь обидятся.

– Керенщина! Сантименты! Позвольте, была великая война, потом гражданская, – да что такое человеческая жизнь? Тьфу, плюнуть! Это Чеховы ваши интеллигентские, да Тургеневы, да Толстые (сам же и готовил революцию... – вот бы кого...) могли над «несчастненькими» киснуть...

Достоевского тоже приводите. Ну, конечно, большевиков в «Бесах» разоблачил, но сам был сумасшедший. Не в счет. Нет, теперь не то. Миндальничать пора перестать. Читали в газетах: в Испании кортесы смертную казнь отменили? Явно, русские интеллигенты. Скоро и у них начнется. Заведут полковые комитеты, будут офицерам головы молотками тюкать.

* * *

«Не-миндальничать» приглашали и большевики. «Вестник Чрезвычайной Комиссии» призывал в свое время не останавливаться перед пытками («не миндальничайте»). Лев Борисович Каменев, тогда председатель Моск. Совета, закрыл за эту статейку – самый «Вестник». (Слишком европейский человек Л. Б., чтобы такие штуки допускать.)

Что же до Испании: очень возможно. Столь же удачно выбрали время отменять казнь, как и у нас в 17 году.

Впрочем, и весь-то мир, не одна Испания в расплавленном состоянии – в таком ожесточении и в озверении таком... что, правда, для человека, ежедневно убийства на войне видевшего, добивавшего раненого врага, какая-то гильотина, раз в два месяца отсекающая голову преступнику! Вон в России расстреливают за попытку спастись от голода, за попытку уйти в Румынию... Сотнями убивают взрослых, стариков, женщин. Что ж говорить о мещанской аккуратности, самодовольстве европейских казней. Мерзость, разумеется. Но в Европе все-таки казнят более или менее бесспорных злодеев.

...Вот они и разговоры о смертной казни. Многое можно сказать. Но кое-что и увидеть. Например: почему-то на одной стороне – Тургенев, Толстой, Достоевский (а за ними, в тумане веков, еще Один, ни с кем, ни с чем Не сравнимый. Сам через казнь прошедший, раз навсегда отравивший нас, пронзивший).

На другой: Дзержинский золотое сердце, Сталины, Менжинские – и легион подобных им.

Но и всякие иные, разных партий, разных стран, поаккуратнее и попричесаннее наших, в судейских мантиях и в пиджаках, смокингах. Нарядные дамы и лавочницы, бистрошники и эписери, вся необозримая толпа, испокон века кричавшая:

– Распни его!

С кровью-то и казнью позанятнее, чем с милосердием.

* * *

Ни через двести, ни чрез триста лет. Путь человечества – трагедия. От страстей войны, злобы, казней никогда не избавишься. Зло не победишь и «удачными» или «гуманными» законами. Значит ли это, что его надо признавать?

Назначение наше на земле – вечная борьба, вечная непримиримость. Так что «гуманные» законы неизбежны. Мир может утопать в крови, насилиях и мерзости, но не получит он за это одобрения. Самая страшная трагедия явилась бы тогда, когда бы все признали:

– Хорошо со злом!

Вот бы возвеселился Дьявол! Было бы собрание животных или роботов, а не людей.

Этого никогда не будет. Среди довольных и покойных выищется недовольный. Скажет:

– Нет, нехорошо.

И тем возмутит равнодушие стада.

25 сентября 1932

Н. А. ТЭФФИ. АВАНТЮРНЫЙ РОМАН

Н. А. Тэффи. Авантюрный роман. Изд. Возрождение, 1932.

Париж и русские в нем – вот место действия и персонажи нового романа Тэффи. Из «эмигрантской» жизни много уже написано, в большинстве, правда, лубочно-бульварно, но появляются и произведения настоящей литературы (чем дольше мы проживем здесь, тем больше и больше писатели наши будут электризоваться здешней средой, от нее получать заряды. Это естественно. Одним «воспоминанием» не проживешь).

«Авантюрный роман» именно к настоящей-то литературе и принадлежит. Размером он не велик. Написан мелкими, острыми, всегда живыми, иногда колкими, никогда не вялыми Тэф-

фиными фразами. Самое тело этого произведения изящно. То блеснет, то взволнует, то вызовет улыбку печальный, и несколько сомнамбулический роман русской манекенши (коммерческий псевдоним «Наташа») с парижским дансером и авантюристом. Свежо, остро чувствует себя автор в несколько новой форме. Занятно ему краткими, летучими чертами изображать и Гастона («белокурый, сероглазый, с пухлыми щеками и надутой верхней губой, как у детей, когда они что-нибудь очень внимательно делают»), и Наташу, и двусмысленную баронессу Вирх («Любаша» – куртизанка высокого полета), и милых танцовщиц «Шура Мура» – но внутреннее ядро романа не в этом. Может быть, и всегда в искусстве так. Кроме видимых обликов, драм, столкновений, есть нечто за сценой, трудно-рассказуемое, и обычно для автора самое дорогое. Этот второй план искусства очень силен в «Авантюрном романе» – кстати, удачно подчеркивается разница между названием, как будто указывающим на совершенно внешнее – и этим тягостным, внедренным в самую сердцевину «внутренним».

Тайна и одиночество в любви – мало об этом говорится в книге Тэффи (слова вообще упрощают), но горестный яд чувств этих сочится из романа, давая ему особую атмосферу. Действительный роман Наташи есть уж некоторый кошмар: как кошмар переживает она свою жизнь, любовь к Гастону, от которого оторваться не может, но в котором смутно, как бы в сонном предчувствии, ощущает тьму и гибель (он оказывается убийцей). Это видение «как бы во сне» особенно нарастает во второй части. Странным образом весь колорит повествования и вся его «душа» напоминают здесь «Сон» Тургенева – один из загадочнейших, самых фантастичных его рассказов.

Да, «Авантюрный роман» волнует не по-авантюрному! Сквозь всю занимательность, живость и блеск рассказа (обычные черты Тэффи) вводит он в иную область – очень властно и настойчиво завлекает. Небольшая книга овладевает читателем, как бы завораживает его. Жизненному кошмару последняя страница дает некое разрешение, тоже острое, и тоже двойственное, впрочем, как и часто у Тэффи: трагически-ироническое и умиленное.

...На третий день, когда тело Наташи прибило к берегу, к рыбачьей стороне за купальнями, море было спокойно и вечер, осененный ангельски-розовым крылом неба – благостно тих.

Нашли тело рыбаки, спустившиеся к берегу выправить сети.

Сынишка одного из них, увидев издали приподнятую головку Наташи, маленькую в облепивших ее коротких волосах, побежал к дому, радостно крича:

– Мальчика поймали! Мальчика поймали!

Этот серебряный детский голосок так чудесно прозвенел в вечернем воздухе, что стоявший на берегу толстый патер улыбнулся и повернул свое доброе лицо старой нянюшки к молодому другу.

...Он показал ему розовую даль, обещающую чудесное счастье и долго говорил о том, что день создан тоже по некоему образу и подобию, потому что рождается, живет и умирает. И что смерть сегодняшнего дня особо прекрасна, тиха и кристальна. Тихость моря и благость неба и даже мирный человеческий труд – вон там несут рыбаки что-то темное, должно быть, улов вечерний – и серебряный радостный голосок ребенка...

– Чудесна смерть твоя, отходящий день!

И так как был он не только сентиментальный поэт, но и священник, то подняв руки как бы для благословения, произнес последние слова, обращаемые на земле к отходящему:

– «In manus Tuas, Domine».

«Авантюрный роман» прекрасный успех автора – и как опыт в иной форме, и как произведение, показывающее его со стороны необычайной (для внимательного читателя, впрочем, не столь необычна она в Тэффи – все же выразилась здесь сильнее, чем где-либо).

ЖИЗНЬ С ГОГОЛЕМ

«После вечернего чая – со сливками, горячим хлебом, ледяным маслом, в промежутке до ужина, под висевшей над столом лампой отец читал Гоголя. Мать шила. Девочки вязали. Глеб сидел рядом с отцом и благоговейно смотрел ему в рот.

Казаки носились по невиданному полю перед фантастическим Дубном и сражались подобно героям Илиады. Все они были великолепны, громоподобны и невероятны. Но высокий звон речи гоголевской сотрясал душу, волновал ребенка, владел им как хотел. Да и отец, хоть не дитя, читал с волнением. Когда дошло до казни и Остап, в терзаниях на эшафоте не выдержал, крикнул: «Батько! Где ты? Слышишь ли ты все это?», а Тарас ответил: «Слышу» – отец остановился, вынул носовой платок, поочередно приложил к правому, левому глазу. Глеб встал, подошел сзади, обнял его и поцеловал – этим хотел выразить все восхищение свое и Гоголем, и отцом. Ему показалось, что и он мог бы выдержать эти мучения, а отец был бы Тарасом».

Так описывает современный писатель первую встречу ребенка с Гоголем. Отец мог бы читать что-нибудь и из «Вечеров на

хуторе близ Диканьки». Мальчик тоже восхищался бы. Но «Тарас Бульба» сильнее. Все в нем ясно, широко, увлекательно. Поэзия величава. Ярок сюжет, нехитра психология, в громе и звоне тонут преувеличения, и простоватое прославление казаков рядом с посрамлением Польши как раз укладывается в детской душе.

А разве «Страшная месть» не очаровывала? Колдун, Катерина, красные жупаны, таинственный замок, мертвецы, встающие из могил, грозный Всадник в Карпатах – все это пронзает, наводит ужас мистический, подобно синей грозовой туче, надвигающейся неумолимо. Нечто действительно страшное дойдет и из «Вия». По-другому, тонкой, но непобедимой печалью покорят «Старосветские помещики» – вещь необыкновенная еще и тем, что человек остается ей верным на всю жизнь: с детского возраста по зрелый.

Если прибавить рассказы «Вечеров», то, пожалуй, это и будет «Гоголь для юношества». Встреча с ним делает читателя верноподданным поэта, но показывает лишь часть Гоголя: часть живописнейшую, ярчайшую, природно-малороссийскую, с чертовщиною еще полусказочной, где все тонет в южном великолепии.

Замечательно, что, когда Гоголь явился в литературе, встречен он был шумным успехом – и преимущественно как юморист! Смеялись наборщики «Вечеров», помирали со смеху все, кому Гоголь читал сам. На представлении «Ревизора» хохотал император Николай.

Взрослые смеются. Но вот дети, впервые с Гоголем знакомящиеся, серьезны. Мальчик, которому вслух читал отец «Тараса Бульбу», замирал при убийстве Тарасом сына, в описаниях боев, казни Остапа, но комические сцены начала, еврей Янкель и все «смешное», с ним связанное, пропускалось мимо ушей. Все пьяные казаки, разные Чубы, или Солохи, Хиври «Вечеров», над которыми задыхался от смеха отец, ребенку вовсе не были интересны.

И он не исключение. Можно представить себе мальчика или девочку, которым приснился ночью колдун или Вий, или кто замечтается над оставшимся в одиночестве Афанасием Ивановичем. Но не вижу ребенка, вдруг вспомнившего что-нибудь смешное из Гоголя и помирающего со смеху.

Гоголь юной душе предстоит не весь, но героическо-поэтической своей стороной.

* * *

Гоголь семьи и детства есть часть поэтического мира, окружающего ребенка. Это и часть семьи. Уважение к нему и пред ним преклонение естественно переливается от старших – отца, матери. Тут некий авторитет любви. Он укрепляет и освящает

непосредственное впечатление. Но, чтобы так было, нужна свобода и любовь. Школа этого дать не может. Да и читает теперь Гоголя не дитя, а отрок, юноша. «Мертвые души», «Ревизор» – темы для сочинений «О значении Гоголя в русской литературе», о «гоголевских типах» – все это нужно, полезно... но казенно. Конечно, «Мертвые души» прочитаны, и без всяких учителей ясно, что это первый сорт, и еще лучше, что читаны летом, на вакациях. А когда надо писать о них сочинение, то выходит и правда мертво, скучно. Рисунки Боклевского – Чичиковы, Ноздревы, Коробочки, Кувшинные рыла, – их интересно срисовать на листок ватманской бумаги, но все это делается в блаженные часы вольности и свободы.

А затем, в студенческие годы, наступает перерыв. Гоголь прочитан, это «классик», великий писатель... ну и Бог с ним. Он отходит. Его переиздают, растет литература о нем, изучают его рукописи и устанавливают тексты. Близится столетие рождения Гоголя, и в Москве ставят ему памятник.

Этот памятник вызвал много шума и нареканий. Он стоит на Пречистенском бульваре, пред Арбатскою площадью, где некогда бывал поэт в доме Аксаковых. Гоголь изображен сидящим – сгорбленный, усталый, измученный, с заостренным своим носом.

Памятник вдохновлен новым пониманием Гоголя. Удачно или неудачно исполнен, в нем есть отголоски писаний о Гоголе Мережковского, Брюсова. Учителя гимназий нас учили, что Гоголь – основатель реализма русского и творец нашего романа. (Так что *художнический* путь к Толстому казался ясным.) Русский же символизм усмотрел в нем иное. «Гоголь и черт» называлась книга Мережковского. «Испепеленный» – статья Брюсова. Все внимание устремлено теперь на внутренний его мир. По Мережковскому, жизнь Гоголя была сражением с чертом, которого хотел высмеять автор, но пал в бою. Брюсов брал Гоголя как сожженного страстями, не нашедшими выхода.

Гоголь повернулся новой стороной. Интерес к нему усилился, и несколько по-иному вновь перечитывает его молодой человек. Находясь в атмосфере обостренного отношения к *слову* – что типично для эпохи – ближе всматривается в стиль Гоголя.

Это – та встреча, когда впервые восхитится читатель сознательно музыкой гоголевской прозы, ее ритмом и напевом. (Воистину: имеют книги судьбу! Сколько бранили при жизни Гоголя за его язык, неправильности, грамматику. А теперь как своеобразными кажутся его строки, льющиеся по каким-то сложнейшим, лишь прозаикам ведомым законам!) Именно в этом чтении самостоятельно вглядывается читающий в то, как рас-

полагал слова поэт, какие любимые у него обороты, выражения. Как он *отделывал* свои произведения. По тому же тихонравовскому изданию, по которому некогда ему читали Гоголя, он сличает первоначальные редакции с детства родных произведений с позднейшими. Учится тому, как должен над словом работать художник. Как, подготовляя к новому изданию, перечитывает он, выправляет свои писания. Подтягивает и укрепляет фразу. Добивается большей яркости и живописности. Выбрасывает из какой-нибудь «Сорочинской ярмарки» лишние эпитеты – молодость всегда многоречивее, чем надо. То, куда несет юного поэта воображение и лирический темперамент, поэтом зрелым всегда обуздывается. Но не без удивления замечает читатель, что с «Тарасом Бульбой» случилось обратное. Он не усох, а раздался вширь. Тут дело особое и не противоречит общему правилу. «Тараса Бульбу» Гоголь не то чтобы стилистически обрабатывал, а внутренне растопил и перелил в новые, обширнейшие формы. Получилось новое произведение.

Перечитываются и «Ревизор», и «Мертвые души». Теперь кажется, что глубже они поняты, Хлестаков и Чичиков представляются чуть ли не мировыми типами-масками, личинами мелкого зла. Лирические места «Мертвых душ» особенно прельщают.

Не одной стилистической, музыкальной и лирико-философской стороной Гоголя это *второе* чтение ограничивается. Читатель пытается проникнуть за ограду Гоголя канонизированного и школьного, кончающегося первым томом «Мертвых душ». Теперь впервые прочтет он «Выбранные места из переписки с друзьями».

Из этой книги главнейшие «дойдут» статьи по искусству: «Об «Одиссее», переводимой Жуковским», «О лиризме наших поэтов», «Исторический живописец Иванов», «О существе русской поэзии». Морализирование, отдельные мысли других частей покажутся прописными и слащавыми. Тон местами высоко поэтический, местами впадающий в елейность. Но общее впечатление: лишь огромный писатель и глубокой необыкновенности человек мог ее написать. А Белинский и современники, единодушно эту книгу отринувшие?

Впервые прочитывается знаменитое письмо Белинского о «Переписке» с обвинениями Гоголя в прислужничестве пред знатными, с намеком на религиозное помешательство. Гоголя называет Белинский «апостолом кнута и невежества» – и этими, им подобными строками вполне против себя восстанавливает. Читающему кажется, что если говорить о помешательстве,

то лишь безумец подумает, что «Переписка» написана с целью получить место воспитателя Наследника.

Во всяком же случае, читатель хочет узнать о писателе, с детства любимом, нечто большее: принимается за письма.

Но он еще слишком молод. Его жизненный и душевный опыт мал.

Он в полосе *только* эстетического отношения к писателю, и о духовной жизни просто понятия не имеет. Письма Гоголя кажутся ему сероватыми. В них нет той яркости, того обольщения, как в некоторых местах «Вия», или «Портрета», «Рима» Они представляются ему более расплывчатой прозой, не такой выделанной, без той остроты и блеска, какие есть в повестях Ему кажется, что их надо бы еще уплотнить, осолить. И зачитываясь одновременно письмами Флобера, он четырех шенроковских томов не одолевает. В сущности, не доходит до самого важного, самого главного. Видит Гоголя времен Нежина, юношей в Петербурге, первые успехи, немного Италии. Но до зрелой поры не добирается.

И Гоголь рисуется ему еще в классических, хотя и расширенных, уже не школьных, но чисто-литературных очертаниях. автор «Вечеров», «Миргорода», «Ревизора», «Мертвых душ», лишь отчасти и «Переписки с друзьями», Гоголь представляется, конечно, не реалистом, основателем романа русского, и не юмористом-сатириком, осмеявшим Россию Николая I, а скорее писателем фантастическим, населявшим действительность своими чудищами.

Как и памятник на Пречистенском бульваре, этот облик Гоголя сильно окрашен пониманием его, связанным с эпохой символизма.

* * *

Вновь на целые годы выходит Гоголь из круга внимания. Отдельные вещи иной раз перечитываются, но общее мнение о нем, *общее ощущение Гоголя* приблизительно то же, что и в сознательной молодости.

А жизнь идет. Мировые события, катастрофы, трагедии... – гибель прежней России, Гоголя породившей. Изгнание, жизнь на чужбине. Чем далее идет время, тем сильнее чувствуем мы здесь свое одиночество. Все более *уходим* душою с чужой земли, возвращаясь к вечному и духовному в России. Вновь перечитываем многое, на чем возрастали, по-новому его ощущая.

Становится почти жутко, когда подумаешь, что вот уже в последний раз пересматриваешь святыни родной литературы

Толстого и Достоевского, Тургенева, Гоголя. Вечные спутники! Но не вечно самим себе равные, с разных сторон раскрывающиеся, по-разному воспринимаемые, сопровождая нашу жизнь.

Может быть, не случайно к Гоголю в этом пересмотре обращаешься позже всех. С детства, как будто, насквозь ведомый писатель, в молодые годы изучал его лабораторно. Что может он дать нового? А рядом некое смутное опасение: вдруг поблекнет давнишнее, полулегендарное обаяние, под которым прошла жизнь?

Первые впечатления как будто дают к тому повод. «Вечера на хуторе» перечитываешь «спокойно»... Конечно, в пределах задач своих юноша-художник осуществил все, что нужно, сразу показав удивительный звук языка своего, дотоле нашей прозе неведомый. Показана зрительная изобразительность первосортная, и внутренний слух для диалога, и чувство людей, и уменье их дать полнейшие. И все-таки, это введение. Замечательное, но введение. Не больше того.

«Миргород» дает Гоголя ранней поры уже во весь рост. С радостью и волнением перечитываются «Старосветские помещики» – все та же вечная печаль без крика, без напора. Тайна и трагедия. «Старосветские помещики» владеют искушенным читателем так же, как владели ребенком и юношей. Пусть искушенный заметит кое-какие мелочи (напр., страницу, стоящую несколько «ребром»), на что раньше не обращал внимания – но это уж придирчивость профессионала. Нисколько не пошатнулись ни «Вий», ни «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Это, конечно, тоже шедевры. В разных родах, но полные удачи. В «Вие» дьявольское еще в романтическом, сказочном обличье (но есть и внутренний демонизм произведения), в «Повести» это дьявольское, хоть и на фоне Малороссии, впервые приобретает всеобщий, пусть и менее *броский* вид: появляется облик *скуки*, ничтожества, глубокой горести от жалкого вида жизни. Поражаешься, как Пушкин нашел эту печальнейшую повесть (с нелепейшим названием из десяти слов) – *только* смешной.

Но вот «Тарас Бульба», даже в зрелой его обработке, во многом разочаровывает. При всей мощности поэзии, при силе, удаче фигуры самого Тараса, а из второстепенных Янкеля, все-таки эта повесть слишком уж «для юношества», ее внутренняя тема элементарна. Тема Сенкевича, попавшая в руки Гоголя...

Из Гоголя петербургского периода, когда о Малороссии уже все сказано, особенно врезаются «Нос» и «Портрет». «Нос» – ранее вполне недооцененная вещь, предел гоголевского гротеска, как будто бессмысленная история, *неразъясненная*, без всяких коммен-

тариев, но выражающая поразительно нечто в манере Гоголя видеть мир. «Портрет» важен для авторской психологии – истории его дел с чертом, борьбы с ним, заушения дьявольского начала. Мрачен и таинствен воздух этого произведения, есть большой яркости места, но есть и схематичность и надуманность. Во всяком случае, это не шедевр, как и прославленная «Шинель» – сейчас кажущаяся в «гуманитарной» своей части слащавой, а в фантастической не весьма убедительной.

Третий и высший круг гоголевского писания художнического: «Ревизор», «Мертвые души». Первое, что бросается в глаза: поэт увенчан комедией и неоконченной поэмой. Итог всей жизни – одна комедия и начало некоего большого произведения. С внешней стороны, будто бы маловато.

«Ревизора» перечитываешь со смешанным, двойственным чувством: каждая строчка горит, кипит, чуть не каждую фразу наизусть знаешь. Ничто не побледнело, не стерлось. Как густо написано! Постройка всегда представлялась мне дугообразною – с первого действия арка подымается, ровно, естественно, доходит до высшей точки и так же плавно, под звон колокольчика улетающего Хлестакова закатывается. Замечательно! Фигуры – что же говорить о фигурах, мы сжились с ними, это, конечно, особенный мир, не так уж похожий на действительность – начертанный чуть ли не гениально... и все-таки в «Ревизоре» есть нечто неосновательное, как бы и раздражающее. Точно автор и дразнит, местами впадая в водевиль, и сейчас же опять покоряет. Когда читаешь «Казаков» или «Дворянское гнездо», этого чувства нет. Все ясно, верно, никаких двусмысленностей. Никакой опасности провалиться. В «Ревизоре» же есть нечто от наваждения. Наваждение с чиновниками, принявшими невероятного мальчишку за ревизора. Наваждение с критиками, принявшими все это за подлинную картину России. Наваждение с автором, post-factum придумавшим глубочайший смысл произведению (ответ на Страшном суде). Наконец, сам читатель испытывает наваждение: может быть, это гениально? А вдруг – просто пыль в глаза, все *не настоящее*, обманное? Может быть, и меня так же обманули, как и всех?

История с ревизором удивительна, написана каким-то необычайным существом, но подозрительна. Она создана человеком, еще не преодолевшим в себе Хлестакова.

«Мертвые души» гораздо крепче, хотя Павел Иванович Чичиков тоже довольно странного происхождения... Считать ли, что Чичиков и Хлестаков мировые типы (облики пошлости каждодневной), что в них-то Гоголь и поразил черта, посмеялся над

ним, или брать дело менее планетарно, утверждая лишь, что он в них влил нечто тягостное и мучительное из своей души, как бы свои некие черты в них распял, что и сделало их столь неотразимо ранящими, во всяком случае в «Мертвых душах» достиг Гоголь предела своей власти художнической. Тут школьное воззрение удерживается и взрослым. Да, Гоголь показал яркость почти страшную. Чичиковы, Ноздревы, Собакевичи, Коробочки в мир выпущены. Нельзя не верить в их существование, хотя это воистину «игра ума!». Сила галлюцинации в «Мертвых душах» родственна магии и – пожалуй – имеет даже неблагодатный характер. Что-то есть в ней общее с вызыванием духов. В «Войне и мире» фигуры не менее ярки, а воздух произведения иной. Над «Войной и миром» радуга. Но неотразимо горестны «Мертвые души».

Некогда Полевой полагал, что «искусству нечего делать с «Мертвыми душами», являющими «упадок дарования прекрасного». Жизнь над мнением Полевого посмеялась. То, чему детей учат в школе о достоинствах «Мертвых душ», правильно. Но дети так же мало знают, как и Полевой, что высочайший шедевр Гоголя в то же время и великий этап во внутренней его жизни: последнее писание «для всех», для славы, лавров, хрестоматий. На том художническом пути, по которому шел он, кристаллизоваться крепче, чем в первом томе «Мертвых душ», и лучше вызреть было уже нельзя. Но самый путь его не удовлетворял. Он перерос его.

* * *

И в более раннем знакомстве с Гоголем читатель знал, что существует вторая часть «Мертвых душ». Читал – без особого удовольствия – сохранившиеся главы. Знал, что остальные были сожжены, что в конце жизни своей Гоголь писал мало, был подвержен тяжелым болезненным припадкам, чуть ли не сошел с ума и странно умер.

Это знание было внешним. Мало задевало сердце и существо читателя. Он довольствовался искусством Гоголя. Но когда искусство это пересматриваешь теперь, начинаешь ощущать, что *всего* Гоголя оно не дает или дает неполно. Пушкин и Флобер – все в своем искусстве. Они – это их артистические достижения. С Гоголем иначе. Если «наследство» его взять музейно, как прославленные сокровища, оно всего и настоящего Гоголя не покажет – даже, может быть, чуть-чуть разочарует.

И круг проникновения в Гоголя расширяется. Вновь появляются «Переписка с друзьями», письма, но теперь и «Автор-

ская исповедь», и раньше совсем незамеченные «Размышления о Божественной литургии».

В этих чтениях складывается более полное и сложное представление о Гоголе.

Этому необыкновенному человеку были даны дары и свойства разнообразные, иногда противоречивые. С ранних лет, с остротою болезненно-гениальною видел он смешное, убогое, безобразное. Вот мир, где он как будто дома. Он и смеется, и тоскует в нем. Однако же, чем старше становится, тем ясней чувствует, что не только в окружающем, но и в нем самом есть нечто ужасное. «Собрание всех возможных гадостей» ощущал он в своей душе. Что именно? Вероятно, сложная и запутанная сеть мелкого греха, которая его ужасала. Убедительность, сила и верность, с какой изображал он жалкие и ничтожные черты человека, указывают на то, что говорит он тут о *родном*. Да, подполье какое-то в нем было, еще до Достоевского. (Он первый по времени русский писатель с подпольем.) Иногда несет оттуда мраком и холодом. Все, лично Гоголя знавшие, сходятся на том, что *пестр* и странен был Гоголь: то очарователен, то совсем неприятен.

Чувствуя и видя *такое* в мире (и себе), обладал он и волшебным изобразительным даром. Отсюда вся *удавшаяся* часть его писания, вся часть *видимая*. Ее завершение – первый том «Мертвых душ».

А другая его сторона совсем иная. С детства несокрушимая вера в Бога... «Страх Божий» – доходящий тоже до болезненного, чувство великой ответственности за свою жизнь, ощущение полученного *задания*, которое надо выполнить. Не то, чтобы издавать «звуки сладкие», а осуществлять в жизни Божье дело, *действовать*, помогать движению собственной души и других душ к «небесным звукам». Не одно низменное и пошлое дано чувствовать этой душе! В ранней молодости – это поэзия Малороссии, позже прелесть Италии, еще позже – высшая спиритуальность религии.

Некогда тот же Полевой издевался над отрывком Гоголя «Рим» («Аннунциата»).

Перечитывая «Рим» теперь, видишь, насколько произведение это полно *настоящего* восторга, сколько в нем *гимна* – красоте женщины, Италии, восхищения пред полупатриархальною жизнью Рима того времени, любви к простому народу и юмора *очень доброго*, вот это удивительно! А ведь «Рим» написан почти одновременно с «Ревизором».

Был у Гоголя еще дар, прекрасный, но не дающий покоя: стремление стать лучше (сознавая свои несовершенства). Как

это всегда бывает, в молодые годы жил он несознательно. Были творческие силы, он им отдавался. Но писал не раздумывая, что Бог на душу положит. Да и о себе самом «меньше размышлял». («Чистая литература», «чистая поэзия» всегда так и создается).

Но с некоторого времени, работая над «Мертвыми душами», начинает он все более задумываться – входит в иную полосу. Не вечно же пребывать с Хлестаковыми и Чичиковыми – неужели ими весь мир ограничивается, и в его собственной душе одни «гадости», столь удобные для изображения?

И вот, если есть в тебе «гадости», надо их преодолеть. Это «надо» не внешнее принуждение, это устремление всего существа, в известный момент жизни громко сказанное. Гоголь становится на путь духовной жизни, молитвы, самопроверки, непрерывного общения с Богом – началом светоносным и несущим благо – тот путь, где частицу божественного света усваивает и себе человек. Гоголь как бы проветривает свою душу, впускает в нее свежий воздух, впускает и свет – вернее, *дает свету войти*, делая минимальное усилие: высветляет ее. Это есть уже художество жизни. Создание *из себя самого* некоего *лучшего* произведения. Последнее десятилетие его есть жизнь полумонашеская. Она имела громаднейшие последствия для самого Гоголя и для всей русской литературы, которую *свернули* с пушкинского пути духовные годы Гоголя.

Последствия оказались грандиозны, сложны, в некоторых отношениях приобрели даже трагический характер.

Аскеза давалась Гоголю, по-видимому, трудно. С одной стороны, он подымался, одухотворялся и рос. Выше и глубже становился его взгляд на человека, мироздание. И *дело* жизненное – самоусовершенствование и деятельная любовь к людям, их и свое спасение – ярче виделось. Но в вековечном, тягчайшем деле духовного пути – преодолении гордости – успехов, видимо, насчитывалось мало. Скорее не было ли тут поражений!

«Выбранные места из переписки с друзьями» надо оценивать, правильно понимая ту полосу духовного развития, в которой Гоголь находился. – Книга писалась после тяжкого периода упадка духа, болезней, первого сожжения «Мертвых душ» (II ч.). (В 1845 году Гоголь думал, что умирает, и во Франкфурте звал даже священника, чтобы причаститься. Но выздоровел. И в новом приливе сил, отложив недававшиеся «Мертвые души», написал в несколько месяцев, запоем, «Переписку»[1].)

---

[1] Более подробно в замечательной книге Мочульского «Духовный путь Гоголя».

Она отразила и огромный шаг вперед Гоголя в смысле спиритуальном, и не достигнутую еще гармонию. В ней именно есть дисгармония. Рядом с крайним смирением, публичным покаянием крайняя гордыня. Рядом с истинно-пророческим тоном некая заносчивость, сухое проповедничество. В ней тоска и восторг, глубина и наивность, великая вера в человека и великое ощущение силы зла. Да, уж никак не назовешь здесь Гоголя христианином *среднего*, *серенького* типа! Не было в нем никакого *благополучия*! Или спасение, или гибель. И надо сказать: ужас гибели непомерно велик! (Одно из слабейших мест Гоголя: страх, а должна бы быть – любовь.)

«Переписка» книга такая, что, читая ее в зрелом возрасте (а ее только в зрелом и можно читать), нельзя ее *не переживать*. Она именно не *читается*, а *переживается*. «Переписка» действительно может волновать, иногда восхищать, иногда удивлять и даже вызывать улыбку, но это то, что говорит о пути жизни и спасения, о борьбе человека за лучшее в себе... – вообще «о важнейшем». Это книга героического духа. Тут уже не до смеха или развлечения.

«Переписка», одна из замечательнейших книг литературы нашей, провалилась совершенно. Не только Белинский, Гоголю чуждый, но и друзья Гоголя, во многом ему близкие, ее осудили. Враги же затоптали вовсе. Ругали в прессе, обществе, ругали самого автора, считая, что он не то сумасшедший, не то плут, а во всяком случае, ханжа, написавший вздор. Увы! представители Церкви тоже его не поняли (арх. Иннокентий). «Гордыню» заметили все, а вот *какую* душу раскрыл человек, этого почти никто не оценил. (Старенькому Плетневу, да калужской губернаторше Смирновой за неизменную и одинокую защиту Гоголя – да будет легка земля!)

Если считать, что Гоголь боролся с дьяволом, то приходится допустить, что тут вечный его противник напустил тумана в глаза и навел марево даже на людей, казалось бы, *обязанных* Гоголя понять.

Гоголь все это испил. Тут не просто неудача книги, это провал жизненного дела. Человек хотел поделиться результатами довольно долгой уже духовной жизни, кого-то поднять, чему-то научить... А ответ? «В меня все ближние мои бросали бешено каменья». Он жестоко страдал. В письмах той полосы это чувствуется. Но как еще вырос в этих терзаниях! Как необыкновенно высок тон «Авторской исповеди»! До какой степени сдержаны, скромны, благородно-смиренны его ответы и возражения в письмах по поводу «Переписки». Че-

ловек просит только об одном: если даже с ним не согласны, пусть все-таки верят, что хотел он добра, писал из побуждений чистых. Гоголю приходилось убеждать о себе, что он *не* плут и надуватель!

Павел Иванович Чичиков и Иван Александрович Хлестаков слишком прилипли, во мнении общества, к Николаю Васильевичу Гоголю.

А в действительности, написав их и пустив гулять по свету, он как раз от них и освободился. Он изжил их и шел уже иным путем: но никто или почти никто этого не понимал.

Ныне многое стало виднее. Если сравнить сейчас «Переписку», «Авторскую исповедь», письма последующие, «Размышления о Божественной литургии» с прежним его писанием, станет ясно, какова разница между Гоголем зрелым и молодым. Он сам понимал, что стал другим и что нельзя упрекать его за то, что пишет он теперь по-другому. Да, его яркость, образность, краски Малороссии, «чуден Днепр при тихой погоде», равно как и шуточки, смех «Женитьбы» или «Коляски» навсегда ушли. Ушли и поразительно написанные Ноздревы с Собакевичами. Нечего ему делать теперь ни с Коробочкой, ни с Хлестаковым, ни с Маниловым. Совсем в иной мир он внедрен. Самое слово его одухотворяется. В нем нет уже ничего резкого и кричащего, бьющего в глаза краскою или рисунком гротескным. Все теперь *внутренно легче*, спиритуальней. Воздух его *этой* прозы – спокойствие, музыка сдержанная и слегка приглушенная. Мало зрительных образов. Тут уже нечем блеснуть. И не до блистания. Некий ровный, серовато-жемчужный налет над его страницами. А строка звучит тонкими, удивительными, гоголевскими – еще не изученными – ритмами.

* * *

И вот все-таки истинного умиротворения («искусство есть примирение с жизнью»), гармонии и последней просветленности не удостоился Гоголь. За гармоническими и духовными строками жил автор, далекий от покоя.

Одновременно с писаниями своими лирико-философическими и религиозными, он продолжает труд, который считал *главным* в своей жизни: «Мертвые души». «Не оживет, аще не умрет», приводил слова Апостола, применяя их к первому сожжению второй части «Мертвых душ» (1845). До самой смерти (1852) трудился над ними. И... – опять сжег. Но уже тогда умер сам. Воистину, вместе со своим творением.

А пока жил, неустанно мучился над второю частью «Мертвых душ». Новое свое душевное состояние он применял к произведению, зачатому совсем в другом воздухе – и отчасти даже другим человеком. Теперь он задыхался среди Чичиковых и Собакевичей. Все его существо было настроено совсем на иной лад. Эту настроенность приходилось подгонять к делу неподходящему. Воплощать, объективировать теперешние свои состояния было не во что. Не являлось таких фигур, какие были ему нужны. Он выдумывал лица неживые, разных Костанжогло и Муразовых, впадал в морализирование, неубедительно «обращал» к добру Чичикова, вводил какого-то добродетельного генерал-губернатора... Мог ли, при его силах, быть всем этим доволен? (Когда раньше писал уродов, то *художнически* ими любовался. Без любования невозможно искусство. Но Муразовыми, Костанжогло, генерал-губернаторами никак не мог любоваться: да их просто и *не было*.)

Может быть, Гоголь, пройдя полосу крайнего морализирования, желания непременно *поучать*, чуть не насильно вести к благу, и успокоился бы, и, взявшись за писание иного рода, где сияла бы его восторженность, его жажда небесных звуков, написал бы произведение живоносное, обвеянное Духом Святым. Но – это не были бы «Мертвые души».

Намеком на такую, возможную, удачу является замечательное его предсмертное произведение «Размышления о Божественной литургии». Не берусь судить о нем со стороны богословской. Но как поэзия и литература это прекрасно, полно истинной гармонии, духовности и под скромным обликом описания церковной службы дает в самом напеве своем, в прозрачности, внутренней просветленности как бы отражение в словесности духа Литургии. В «Размышлениях» Гоголь поступил как музыкант, в зрелом возрасте перешедший от создания светской музыки к созданию церковной.

Может быть, если бы он вполне оставил прежние литературные формы и для нового своего духовного содержания искал нового писания, не имеющего отношения к Чичиковым, но и лишенного дидактизма (ведь и «Размышления» ничего не навязывают, они изображают, отображают) – возможно, все было бы по-иному и жизнь его приняла бы другой вид.

Но судьба Гоголя, в плане земной жизни, была трагической. Ему предстояло все биться вокруг «Мертвых душ», мучиться и тем, что они не удаются, и тем, не написал ли он чего-нибудь вредного, за что придется дать ответ.

* * *

Опасение, что Гоголя слишком хорошо знаешь, что он исчерпан и при перечитывании не даст нового или даже побледнеет, не оправдывается. Читаешь его по-иному и находишь не совсем то, что думал найти... Но находишь очень многое. Замечательна разница с Толстым. Перечитывая Толстого, в сущности, дальше «Войны и мира» и «Анны Карениной» идти не хочется. С Гоголем иначе, хотя сильнее первого тома «Мертвых душ» и он ничего не написал. Но своим путем, фигурою – Гоголь зовет дальше. Толстой «толстовством» не только никуда не зовет, но само это слово кажется сейчас пережитком. Толстой при жизни основал секту, едва ли не обожествлявшую его. Гоголь умер под знаком ханжи, чуть не полоумного и должен был доказывать, что он не плут. Но прошло время, и от толстовской секты остался дым, а Гоголь подвижником входит в духовную нашу культуру. Его путь, по загадочной странности неузнанный многими близкими, – вечен, и лишь теперь начинает распознаваться. Его литературные удачи, превосходные успехи, так успехами и остались приблизительно в тех же очертаниях, как казались и раньше. Тут нет особых неожиданностей. Меняются лишь *оттенки*. Подтверждается и одно детское впечатление: мало доходит сейчас *комическая* сторона его дара. Но бесспорно, облик его вырос, усложнился, этот лик особенно сильно сквозит теперь в писаниях его зрелых и *не*-прославленных, а частью и оклеветанных. Да и сама жизнь его, и его судьба входят в его творение: он *нечто написал самим собой*. Странным образом, выросла даже личная к нему близость. Не совсем так, как прежде, стал, однако, Гоголь внутренно дороже русскому человеку современности – во всех сложностях своих, греховностях, подполье, противоречиях, величии и слабости, одиночестве, непонятости, в духе героическом, в скитальчестве и нищенстве. Да, он стал гораздо более *свой*, чем раньше! Ибо душе юной, еще не потрясенной и не пронзенной, он *всего* своего лика не открывал. И его горечи и трагедии юноша сопереживать не может.

Чтобы дать его образ, надо написать его жизнь – постараться пройти за ним внешний и внутренний его путь. Это особое дело. Здесь же можно только сказать, что, приглядываясь к Гоголю великорусской его полосы, видишь его живее, полней, человечней, чем давали его символисты и чем изобразил скульптор памятника на Пречистенском бульва-

ре. Символизм понял Гоголя несколько по-новому, это бесспорно. Но сейчас есть и некое внутреннее противление этому пониманию. Гоголь и черт! Остро́, но схематично. А не из схем состоит человек. И вовсе не обязательно похож Гоголь на какого-то нетопыря Пречистенского бульвара. Без конца трудно представить себе Гоголя *живым*, *настоящим*... – например, понять тайну его комизма. (В самом лице его было нечто особенное, ему достаточно было, читая «Женитьбу», сделать какую-то легкую гримасу и присвистнуть, и слушатель валились со смеху.) *Это* сейчас в нем утеряно. Символисты же и не пытались жизненное в нем *восчувствовать*. Не выудишь из Валерия Брюсова, что Гоголь любил детей, а это именно так: вот этот Гоголь, якобы только и занимавшийся чертовщиной, детей любил, и дети его любили. С Аксаковыми и Погодиными бывал высокомерен, а с ямщиками, слугами острил и хохотал напропалую. В Калуге, совсем незадолго до смерти, играл в шашки с купцами в торговых рядах, в Оптиной пустыни смиренно беседовал со старцами, а когда ехал в коляске из Калуги в Москву, то выскакивал из экипажа, с детской радостью срывал цветы. Любил бедных, нищих – сколько раздавал из грошей своих! – Шел в жизни горькой тропой. Все – для великой цели. Неважно, что «Мертвые души» пишутся в Риме, в скромнейшей комнате с раскладным столом посередине и рядом постелью – это неважно, потому что Гоголь не *делец* от литературы, а святой и мученик ее. «Милая сестра, люби бедность!» «Нищенство есть блаженство, которого еще не раскусил свет. Но кого Бог удостоил отведать его сладость и кто уже возлюбил истинно свою нищенскую сумку, тот не продаст ее ни за какие сокровища здешнего мира». Так что неважна скудость обстановки, а важно то, чтобы хорошо, как следует написать «Мертвые души», послужить Богу, не ошибиться пред Ним и не вызвать Его гнева.

Гоголю дана была труднейшая и страдальческая внутренняя жизнь. Сомнения, тоска, даже отчаяние посещали его. Посещало и страшное чувство безблагодатности, оставленности Богом. Крест тягчайший! Но с какой покорностью, смирением он его нес! Жизнь его была мучительной, но кончил он ее *не* в поражении. Пусть «Мертвые души» *его замысла* не удались. Все равно, он прожил героически. И заслужил терновый венец – увенчание великих жизней, пусть и кажущихся неудачами.

ПАМЯТНИК ПУШКИНУ

Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Трудно себе представить в точности, какой вид имел Тверской бульвар тридцатых годов прошлого века, когда Пушкин с женою жил на Арбате. Вероятно, место это было довольно нарядное. Светские дамы гуляли там, среди них Наталия Николаевна Пушкина «заметно блистала» красотою. Туда же водили детей в «Детстве и отрочестве». На нем трагическая Клара Милич назначила свидание Аратову.

Так что уж издавна связан он и с культурою, и с литературой России. А 6 июня 1880 года произошло тут и некое завершение: с великой торжественностью, при властях, знаменитых писателях, был открыт памятник Пушкину – в верхней части бульвара, где выходит он на Страстную площадь.

Удивителен подъем, с которым прошел этот праздник. Будто русские просвещенные люди того времени ощутили, что созрел Пушкин для духовного представительства России. Ушли шестидесятые годы с наивными попытками Пушкина развенчать («...И в детской резвости колеблет твой треножник»). Споры умолкли. Солнце есть солнце. А пушкинское – одна чистая поэзия – в русских душах на празднестве преломилось и морально создало, после речи Достоевского, такой подъем, такой восторг, что незнакомые обнимались, дамы плакали, давались обеты «быть лучше» и т. п. – все во славу Пушкина («...Что чувства добрые я лирой пробуждал»). На минуту Тургенев примирился с Достоевским. Одним словом, «Пушкин на Тверском бульваре» стал событием, целая литература воспоминаний, писем об этом выросла, вплоть до устных преданий – почтительно передаю и я слышанное от московской дамы, в юности на открытии присутствовавшей, заливавшейся слезами над Тургеневым, когда высоким своим тенором читал он «Последнюю тучу рассеянной бури», над Достоевским, речью своею всех потрясшим. Даже вспоминая, через много лет, не могла она скрыть волнения, точно это были особенные, светлые дни. «А по вечерам мы ходили к памятнику Пушкину, сидели вокруг, декламировали его стихи, иной раз за полночь... барышни, студенты».

С тех пор нельзя себе и представить Тверского бульвара без памятника Пушкину. Каков бы ни был скульптор Опекушин, Пушкин его спокоен, может быть, слишком меланхоличен, но есть в нем привлекательное, внушающее симпатию.

Пушкин Тверского бульвара стал безмолвным свидетелем жизни Москвы и России. Видел торжества коронации последнего русского императора. С японской войной вошел в наш век, а с ним и в нашу жизнь, людей Москвы моего поколения.

Но он не просто стоял. Его как-то и полюбили. Стал он отчасти свой, московский, обращался в гения местности, genius loci[1].

Со времен Наталии Николаевны и Клары Милич Тверской бульвар опростился, и много бродило по нем косыночек, а то и шляпок довольно-таки подозрительных. По воскресеньям вблизи кафе Греко играла военная музыка и народ собирался толпою – далекий уже от барства Толстого, Тургенева. Вдалеке же над всем неизменно стоял Александр Сергеевич Пушкин, на голову которого садились голуби. Дети играли у подножия памятника, бегали, покачивались на цепях между тумбами. Разносчики предлагали летучие цветные шары на веревочках. На скамейках вокруг – барышни, молодые люди: у «Пушкина» встречались влюбленные. Много и простонародья толклось вокруг. Дворник с кухаркой, держась за руку и прогуливаясь, по складам разбирали надпись: «Я па-мя-тник себе воз-двиг неруко-твор-ный...»

Заезжие мужики из деревни вздыхали, покряхтывали. «Ишь ты, какого поставили! Стало быть, голова». Иногда живой Пушкин проходил мимо памятника – был в Москве такой литератор, вся, кажется, радость жизни которого в том заключалась, что он походил на Пушкина. Не помню, что он писал, где печатался, но знала его вся Москва. Он носил «пушкинскую» шляпу, плащ, завел подходящие бакенбарды, и хотя ростом был много выше Пушкина и брюнет, все же при взгляде на него Пушкин вспоминался неизменно. Он любил подходить к памятнику, прислонившись к скамейке, нога за ногу, изящно позировать пред монументом. А потом шел в небольшой ресторанчик «Моравия», тут же в проезде Страстного бульвара. Там собирались студенты, молодые писатели. В веселии Бахуса, выходя после возлияний, приветствовали и они «своего» Пушкина.

«Пушкин» стоял спокойно. Его не тронули бы ни восторги, ни ненависть. Он слышал, как у Страстного звонили к всенощной, видел, как по Тверской к «Яру» катили голубки, видел у своих ног и пьяных, и грубых, и на рассвете видал

---

[1] гения места *(лат.)*.

возвращения. Московские дамы с лихачей забегали в Страстной ставить свечку. Случалось и молодым энтузиастам, на весенней заре, после шумно проведенной ночи, снимать шляпы пред Пушкиным, спугивая утренних воробьев с его плеча. Пушкин врастал в жизнь Москвы, становился гражданской ее святыней.

В начале этого века первые пули просвистели над Москвой, первые толпы прошли по ее улицам. От Пушкина это было далеко. Но чрез несколько лет увидал он шедшие по Тверской к Брестскому вокзалу эшелоны – на войну. А потом назад везли раненых, размещали по особнякам вблизи, под знаком Красного Креста. Далее наступил день, когда валом уже повалили серые герои без ранений, возвращаясь с фронта. Весной и летом 1917 года являл памятник вид изумительный: всегдашняя густая толпа солдат в гимнастерках, пыль, пот, семечки, непрерывные ораторы, взлезавшие на постамент, поток речей. Россия косноязычная, долго молчавшая, вдруг заговорила голосом нечленораздельным, но ненасытным – не могла наговориться. Как раньше влюбленные назначали свидания «у Пушкина», так теперь все доморощенные Златоусты в солдатских фуражках влеклись к этому месту. Разумеется, с памятника можно было говорить, как с трибуны, над толпою господствуя, все же, может быть, фельдфебелей, фельдшеров, всех обиженных Епиходовых тех времен и особо стремило под сень Пушкина – того, чья речь (все-таки они это слышали!) почиталась священной.

Он стоял и молчал, все выслушивал, все потоки. Молчал и позже, в конце октября, когда сам бульвар обратился в поле сражения: вдоль него били из пулеметов, делали перебежки цепями, артиллерия рушила огромный дом Коробова, близ Никитской, далеко за спиною Пушкина. Артиллерия разнесла и тот дом, замыкавший бульвар, где годами ютилась знаменитая столовая Троицкой, скучноватый и недорогой приют интеллигентов бессемейных и студентов.

Кажется, пули не поцарапали памятника. Ни один снаряд в него не попал. Но когда бой закончился, началась новая жизнь Москвы.

Пушкин простоял на своем пьедестале все эти годы. Бородатые Марксы и Энгельсы, в одиночку и парами, возникали из гипса на разных перекрестках Москвы – гипс быстро таял под дождями и трескался от мороза. Их не то чтобы убирали... они сами как-то таяли, сметались с лица Москвы. Рядом с ними сносили и храмы. Тот Страстной монастырь, что видал и Тургене-

ва, и Достоевского у подножия памятника Пушкину, – уничтожили. О самом Пушкине, жившем в «заветной лире», писали и говорили, что он представитель барства, крепостничества. Памятника, однако же, не разрушили. Кто его охранял? Жизнь, судьба? Может быть. Как над толпой был при жизни сам Пушкин, так над нею остался. Кровь, свирепость, безумие видел со своего пьедестала. Но мог ли склониться? Тот, кто сказал: «Хвалу и клевету приемли равнодушно»?

Пушкин стоял неизменно над Страстным бульваром , спокойный, задумчивый, когда громили святыню России. Что же, выстоял! Достоял до столетнего своего юбилея, но *пока* стоял, сколь глубокие, хотя и подводные, изменения произошли в окружающем! Сколько Россия пережила! Сколько переболела! В скольком разочаровалась! Но загадочными судьбами не иссяк живой дух в народе. Уж чего-чего не долбили ему в эти двадцать лет! Полюбил ли он Маркса? Нет – Пушкина. Наперекор всему – барина, аристократа, автора «Черни».

Подите прочь! – Какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело,
Не оживит вас лиры глас!

Но пришли. Тысячами, толпами, паломниками в Михайловское на сотнях телег, сотнями тысяч читателей «устарелых» строф представителя «чистого» искусства. Правда, «народа» Пушкин никогда не отрекался. Напротив, при всей моцартовско-рафаэлической залетности своей чудесным образом с народом был он связан. Все же величайший аристократ в искусстве! Но – победил сейчас *в сердцах*. Какое утешение нам, здешним! Если берет верх искусство, дух свободы, дух Божий, хотя бы пока и подспудно, то кой для кого страшные слова, библейские и вавилонские, начертаны на стене. Рухнуть той стене, и ошибся кое-кто, не взорвав своевременно памятника и не сжегши заранее всех «сладкозвучных строф». А теперь поздно. Жизнь назад не идет. И увидим ли мы вновь Тверской бульвар в зеленоватом дыму апреля, в распускающихся липах с памятником Пушкину и влюбленной парой вблизи на скамейке, или не увидим, все равно – пушкинского в России остановить нельзя! Когда в этом, наступающем юбилее, к подножию памятника вновь положат венки – не Достоевский (он еще в цепях) и не Тургенев, а другие, нам неведомые, но уже чем-то родные, эти венки будут венками будущего, коренящегося в вечном и прекрасном прошлом.

ПОБЕДА ПУШКИНА

Слух обо мне пройдет
По всей Руси великой.

...Пушкин же, Арион, так и остался лучезарным любимцем столетия.

Его как первую любовь
России сердце не забудет

Тютчев

– именно не ожидая никаких «разрешений», просто любуясь им.

Любование, на минуту лишь затемненное в шестидесятых годах, к удивлению, выдержало и революцию. Пушкиным в современной России зачитываются, устраивают паломничества в Михайловское, ему поклоняются как величайшему писателю России несмотря на то, что он барин и аристократ. Значит же, не иссякло в России тяготение к красоте, поэзии, простоте, прямодушной жизненности и человечности! Подспудно еще, но начинает доходить пушкинское свободолюбие, пушкинская любовь к родной земле. Радостно нам это слышать – тем русским, для кого Пушкин есть знамя свободы, культуры духовной, любви к родине в высшем ее виде – не как презрения и отрицания чужого, но как гармонического сочетания разных цветов радуги, из которых свой, русский, ближе всех сердцу.

То, что Пушкин победил в той России, которой годами вколачивали противоположное, – есть великая *наша* надежда, победа *нашего* духа, в некоем смысле и *наша победа.* Теперь уже нельзя поворотить вспять. Кто любит Пушкина, тот за свободу. Кто с Пушкиным, тот за человека, родину и святыню. Если Пушкин завладевает сердцами России, значит, жива Россия.

О ЛЕРМОНТОВЕ

Лермонтов является человеку рано, вероятно, раньше всех русских поэтов – с ним рядом Гоголь молодой части писания своего. Тургенев несколько позже.

С детством слились и «Ангел», «Ветка Палестины», «Парус». И разные пальмы, сосна, молитва, все это вошло и годы жило... – может быть, складывало облик, произрастая подспудно. «Демон» и «Мцыри» – но ведь это полосы существованья, если их выбросить, что-то изменится в тебе самом.

С Лермонтовым связана тишина огромной комнаты старшей сестры, полумонашенки с девических лет. Сумерки, лампада заженная, сквозь окна снежная синева зимнего озера. И сестра, всегда бывшая для нас образом совершенства (мы любили ее и боялись), читает нам наизусть Лермонтова под своими иконами. Мы с другой сестрой на диване слушаем, замираем.

Лермонтов являлся в волшебном полусумраке, прельщая. Как Демон? По обольстительности – да. Но вот ведь *не* как демоническая сила!

В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть –
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

«Демоны» не молятся. Дьявольского никогда не стала бы декламировать сестра в своей обширной келье. Она ему как-то внимала, поэтически и жизненно волновалась, с ним переживала мятущихся его героев (конец «Мцыри»: «Когда я стану умирать, и верь, тебе недолго ждать» – всегда слеза сияла меж ее ресниц). Под всеми байронизмами его чувствовала же эта поклонница «Дворянского гнезда», Лизы Калитиной, что-то свое «себе на потребу». «И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли».

В доме появились два тома Лермонтова, в новом издании, в переплетах из Жиздры – с рисунками Врубеля, Серова, Коровина. «Тифлис объят молчанием, в ущелье мгла и дым». Тифлиса не довелось увидать, но Тифлис это и есть тьма, где-то глубоко внизу россыпь огоньков на рисунке к «Свиданию», пряностию отдающий звон стиха:

И в этот час таинственный,
Но сладкий для любви,
Тебя, мой друг единственный,
Зовут мечты мои.

Так и прошла с Лермонтовым наша юность. Без размышлений и оценок. Вижу Эльбрус, благоговею, падаю. И все тут.

Взор взрослый желает разобраться. Одного детского восторга мало.

И вот сразу же видно, что тем волшебным инструментом стиха, какой был у Пушкина и Тютчева, Лермонтов не обладал.

Он как бы угловатее, шершавей их. Менее проникнут духом музыки, хотя иногда хочет быть подчеркнуто музыкален. Усту-

пает и в магии слова. Это особенно чувствуешь в мелких лирических стихотворениях – где же угнаться за быстролетной, воздушной легкостью, обаянием слова Пушкина! (Впрочем, за Пушкиным никому не угнаться.) Зато из-под лермонтовской менее складной, без блеска, несколько неповоротливой и угрюмой манеры бьет огонь подземный. Сумрачный темперамент, чуждый улыбки, шутки – но какой силы! Нет в нем глубокомыслия, священного и сладостного косноязычия Тютчева. Это и не философия. Религиозный же «угль» пламенеет везде, даже под ядом и под демонизмом. «Угль» делает его гораздо глубже Байрона – к сожалению, даже Пушкина в молодые годы соблазнявшего.

Хотя Лермонтов по натуре и был, видимо, интимен, склонен к одинокому высказыванию, все же в «лирическое стихотворение» он не очень вмещался, что-то ему мешало – может быть, вышеуказанные природные черты.

Более просторно и «подходяще» чувствовал он себя в поэме. Кажется, в «Демоне», «Мцыри» достиг предельной силы, яркости, образности и величия. Это все тот же пушкинский четырехстопный ямб, но обращенный к героическим сюжетам, а не к милой России, Татьяне, деревне «Онегина». Тот да не тот ямб. По-иному звучит, по-иному живописует. Разумеется, тяжелее и громче Пушкина. Менее сдержан, чем в мелких лермонтовских же вещицах. Здесь Лермонтов как бы захлебывается в полноте, богатстве чувств. Некоторая громоподобность есть в его поэмах. И удивительно помог ему Кавказ! «Мцыри» вполне рождены Кавказом. «Демон» пережил длинный и медленный путь – одиннадцать лет возрастало это произведение, меняя форму, облик, место действия. Наконец из воображаемой Испании, которая никак не могла бы удаться, «Демон» переселился на Кавказ и сразу принял нечто убедительное и живое. Высылка Лермонтова в 1837 году очень оказалась полезной для литературы.

«Демон» и «Мцыри», при явной романтической юности замыслов их, остаются на огромной высоте, в своем роде единственными в поэзии нашей. По силе вдохновения и звучания – просто перлы. Кавказ же дал приподнятому героизму их живую одежду.

Перелистывая Лермонтовское писание, поражаешься краткостью недетской его полосы. Почти все, что он оставил, написано в последние четыре года жизни. Умри Лермонтов одновременно с Пушкиным, нам не о чем было бы говорить. Но он как бы подхватил выпавший факел – юношескими руками. Слава его при жизни началась со стихотворения «На смерть Пушкина», славу посмертную надо считать тоже с этого момента писания.

Замечателен его след в нашей прозе. Весь он – небольшая книжка «Герой нашего времени», название ужасное, вероятно, нравилось Марлинскому, но это не меняет дела. Двадцатишестилетний офицер, дотоле написавший «Княгиню Лиговскую» и «Вадима», вдруг дал нечто такое, в чем формальная сторона даже выше внутренней. Конечно, Гоголь в это время уже существовал. Но не Гоголь развивал и укреплял линию Пушкинской прозы. Это сделал «Героем нашего времени» Лермонтов, подготовляя переход к Тургеневу и даже к Льву Толстому (раннему, 50-х гг.)

Удивительно: в лирике форма не была силою Лермонтова. В прозе наоборот. Проза его *сама по себе* превосходна. Он учился, конечно, у Пушкина, но не только научился, а и дальше двинул этот род литературы.

Беру замечательное пушкинское «Путешествие в Арзрум», сравниваю с Лермонтовым.

Пушкин: «Дорога сделалась живописна. Горы тянулись над нами. На их вершинах ползли чуть видимые стада и казались насекомыми. Мы различили пастуха, быть может, русского, некогда взятого в плен и состарившегося в неволе. Мы встретили еще курганы, еще развалины. Два-три надгробных памятника стояли на краю дороги».

Лермонтов (тоже о Кавказе): «До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере».

У Пушкина совсем иной прием, ритм, фразы поставлены иначе и звучат иначе. Вместо пушкинских суховато-кратких, малокрасочных и как бы стилизованных «главных предложений» – здесь начало спокойной реки (русского романа), с описаниями, красками – тем, без чего роман обойтись не может. Разумеется, в последнем счете наш роман восходит к «Капитанской дочке». Все-таки... Прозу Пушкина можно очень любить и высоко ставить, но, в общем, это проза поэта, а не романиста. Странным образом байронически-романтический Лермонтов дальше, чем Пушкин, двинул изобразительную возможность прозы. Будто и парадокс – но в этой сумеречно-таинственной и скорбной душе больше сидел настоящий романист, чем в Пушкине.

«Герой нашего времени» состоит из нескольких частей-отрывков, объединенных фигурой Печорина. Основная часть, са-

мая крупная по размеру («Княжна Мери»), самая незначительная. Все мастерство прозы лермонтовской не искупает здесь внутренней ее неглубокости. Пятигорск, Кавказ, второстепенные фигуры даны отлично, да и Печорин ярок, жив... – но мал, неинтересен, самовлюблен. Демонизм и байронизм его домашние, автору же хочется, чтобы были мировыми. Столько позы, игры – и все по пустякам. Насколько же выше простенький «Максим Максимыч»!

Превосходна «Тамань». Эта небольшая повесть прославлена справедливо. Тут именно *все* написано: заброшенная лачуга контрабандистов, море, слепой мальчик, «Ундина» и сам Печорин (не раздражает). На всем лежит загадочный отблеск луны, странной песенки девушки. Дыхание моря всюду разлито. Все естественно, просто и вместе таинственно.

По форме же это «новелла», с легкой экзотикой, как корсиканские новеллы Мериме. Может быть, всеобще к Мериме идут от «Тамани» некоторые нити (собственно русскому «рассказу» не близок склад западноевропейской новеллы).

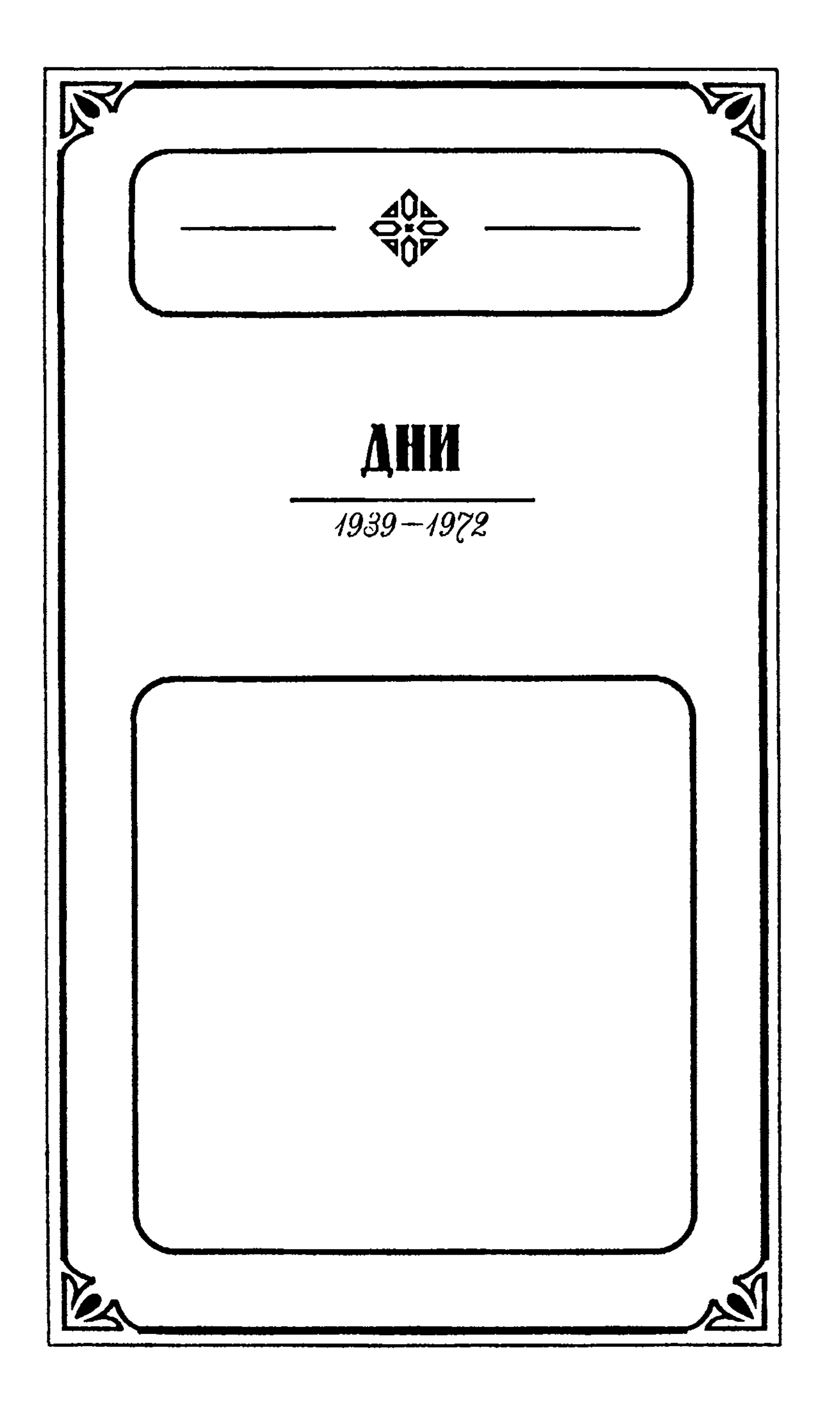
* * *

Россия вознесла Лермонтова с той же непосредственностью, восторженным увлечением, как некогда мы, дети. Не за то или иное качество его стиха, прозы, музыки, магии. Не как такого Аполлона, каким был Пушкин. Лермонтов навсегда сказал нечто русскому сердцу не только ямбами и тканью фраз «Героя нашего времени», но всем своим обликом, огромными бессветными глазами, горечью, томлением по Божеству и восстанием на жалкую человеческую жизнь, скорбным одиночеством, отблеском трагедии, сразу легшим на его судьбу. Полюбили подземную его стихию, сжатую многими атмосферами давления, как в вулканической горе. Никак не байронизм вызывал поклонение, а почуянный в глубине «ангел», зароненный небесный звук.

А его жизнь! Ранняя, страшная смерть – это ведь действительно нельзя вытерпеть. Нелепая ссора – и подножие Машука, секунданты, гроза, Мартынов, без конца целящийся в русскую славу. Сорила Россия своими сынами – досорилась.

В Тамбовской губернии мой отец некогда встречался с сыном этого Мартынова. Помню рассказ о нем отца. Мартынов, когда представлялся незнакомым, называл себя: «Сын убийцы Лермонтова».

Значит, ему так нравилось.


ДНИ
1939—1972

ДНИ
(ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ 1939 - 1945)
I

**1939-й год, сентябрь,
по возвращении из Прованса**

В вечере было что-то душное, теплое, бесконечно-светлое и уединенное. Мы позвонили в тихой улице городка Вильнев-лэз-Авиньон за рекой. Отворила робкая монашка. «Осматривать можно только до пяти». Но мы настаивали – «в путеводителе не сказано, что до пяти». Она побежала к настоятельнице. Через несколько минут изящная седоватая монахиня в белой наколке, с золотым крестом на груди тоже подтвердила: уже шестой час, поздно. Но через минуту сдалась, повела в капеллу и картинную галерею древнего своего странноприимного дома. В капелле показала памятник Иннокентия VI, сложное готическое сооруженье. Лестницей, видавшей пап и кардиналов, провела к картинам. Где-то в глубине двора находятся призреваемые, здесь же никого, мягкий, тепло-златистый тон вечера, тишина, маленькая худая женщина, приветливо нам показывающая картины. «Коронование Богоматери? Да, это здесь знаменитое произведение. Многие художники, у нас бывавшие, восхищались».

И подводит к произведению Ангерран Шаронтона – прелестный французский примитив XV в., с отголоском чего-то северного, нидерландского, может быть, от Роже ван дер Вейдена. Коронованная Дева так же тиха и безмолвна, духовна и неподвижна, как все это благородное, полузабвенное место. Ей тут и быть. И пусть такая монахиня показывает Ее русским в предпоследний их вечер августовский.

Мы возвращались в Авиньон пешком, через мост, мимо острова Бартеласса, образованного раздвоившейся Роной. Он ни-

зок, плодовит, сыр, весь зарос тополями, ивами, изборожден огородами. В один прежний приезд я обедал раз здесь под тополями, на террасе ресторана у реки, быстро струившей в закате воды свои под знаменитый мост св. Бенезета. Помню сумрачные дворцы другого берега, красно-ветреный вечер, змеи огней в воде, чувство поэзии и одиночества.

Нынче мы не остались здесь. Из Вильнев выносили мир – прелесть картины, тишину убежища, мягкое изящество монахини. – Да и тут нечто голубиное. Голубиное в начавшем сиреневеть воздухе – несколько печальное и таинственное. Сиреневость скоплялась вдали, над горою Ванту, даже в нечто внушительное... – не грозное ли? Вот-вот вспыхнет зарница. По мосту из Авиньона без конца велосипедисты – кончились работы дня. И тяжелые камионы грохочут.

* * *

Раскрашивая в синий цвет лампочки, наклеивая на стекло в окнах ленты бумаги, приноравливая портьеры, чтобы не пробивался вечером свет, никак не можешь понять, что все это было месяц назад. Кажется, десять лет. Ну, что же поделать. Есть потруднее вещи. Нельзя требовать, чтобы все было ясно.

Спускаешься по темной лестнице в погреб, зажигаешь электрический фонарик, видишь встревоженных людей, собирающихся по грозному реву.

Дворцы Авиньона, сады на утесах над Роной, вдали чуть белеющий Карпантра...

* * *

Сборище наспех одетых, не весьма румяных людей в подземных коридорах дома парижского, в три часа ночи, вызывало знакомый образ: было уже, в этом роде, в Москве времен революции. Разница только та, что в Париже нас собирают в подвале, чтобы защитить, а в Москве...

Мы сидим на скамейке, на притащенном стуле, лонгшезе. Если выйти во двор покурить, послушать, то картина такая: высоко над головой, как в отверстии многоэтажного колодца, в синем небе золотые гроздья – звезды, что стояли над моим деревенским флигелем, но похоже еще больше на те ночи на Лубянке, когда вечером мы проходили по двору и вот так же вечный, сияющий мир возносился над нашим убожеством.

Вдалеке гремят орудия. Слушаем. Понемногу смолкает. Новая труба архангела – теперь возвещает она не суд, а конец тревоги. Мир! Хоть и временный, на несколько часов, но мир. Сразу иное дыхание в подвале. Подымаются к себе наверх иначе, чем спускались, и иными.

Два часа назад покинутая комната кажется тоже другой. Может быть, в ней особое выражение невоинственности, покоя. Те же (или в том же роде) книги, какие были на родине. Их отчасти жалко – хотя это и глупо, но тех, русских, тоже было жаль. «...Твоим Пушкиным будут подтапливать плиту, а страницы Данте и Соловьева уйдут на кручение цигарок». Это было в России, пред революцией. Здесь другое. Но если бабахнет... [– то и курить, и цигарки крутить будет некому.]

Отворяю окно. [С пятого этажа] далеко видно. Вблизи серый, невеселый пригород, вдали за рекой взгорье Исси-лэ-Мулино. Прямо перед глазами, повыше, небо – очень широкое и далекое. [Окна обращены на восток. Там и родина, оттуда, с востока они летели, и еще полетят.]

* * *

Когда живешь повседневною, обычной жизнью, то кажется, что все мелкие удобства и приятности так и должны быть, «полагается». Но когда другое пришло, то и то хорошо, что вот лег в постель утром и знаешь – несколько часов покоя обеспечено.

* * *

Арль принял так же мило деревенски-аристократически, как полагается ему. Скромный как будто город, крестьянский, но и царственный – в древности и красоте лица человеческого, в неодолимой прелести своих памятников–один романский св. Трофимий с фасадом и скульптурами монастырька внутреннего чего стоит. Гробницы Алискан (Аппиевой дороги здешней), романская колокольня св. Гонората, музеи, античный театр. Арены... В Арле тоже приходилось бывать, но в этот сероватый, в облаках, хотя еще светлый полдень, он с особенным благоволением открылся – и в нехитрой таратайке с осликом, в галло-римских древностях музея, и в приятном вине ресторанчика, выходящего на площадь с римским памятником.

После завтрака, при начавших сгущаться облаках, мы выехали по дороге в Бо, через Монмажур. Страна Прованса открывалась. Альпиллы, у подножия которых жил Мистраль в своей деревне, стали кутаться в тучи, машина быстро приблизилась к холму в пиниях с храмом и гигантскими развалинами. Бенедиктинское аббатство Монмажур, X века. Латинскими дорогами, рядами кипарисов, тополей, виноградниками, фермами расстилается из-под пиний Монмажура Прованс, тот благородный и чудесный край Франции, которого никому нельзя отдать – хотя он, как и Тоскана, Лациум в Италии, принадлежит не только своему государству, но и всему миру.

Гид, похожий на Мариуса или на Тартарена, показывал, разглагольствуя, удивительный монмажурский храм и (как в Арле) монастырек при нем с капителями колонок, мало чем уступающими арлезианским, когда забабахало в небе, точно обстрел. Мы успели еще сесть в машину и до дождя тронуться. Вдалеке мелькнула знаменитая мельница Альфонса Додэ, ферма, где происходило действие «Арлезианки», проскочила совсем рядом, но с Альпилл надвинулся такой белый ливень, в котором кипело все, и из-под колес автомобиля веером летели брызги наискось, наперерез дождю. Мы поднимались медленно, предгориями Альпилл. В одном месте из тумана непогоды вылетел по перекрестной дороге красно-бурый ручей – размыв бокситовый. Альпиллы, Бо, Франция, мир – все заволоклось страшной завесою.

* * *

В этих пустынных горах некогда процветал город Бо.

При дворе властителей его жили поэты, музыканты, трубадуры, цвела высокая культура. Ныне одни развалины, грозные скелеты башен, крепостных стен – все это пронеслось на мгновение, в перерыве дождя.

Но сойти, осмотреть, любоваться знаменитым видом чуть ли не до моря и Марселя, мы не смогли. В суровом этом вечере нам, как во сне, был приоткрыт лишь на минутку «ход Истории» – от цветения до оголенных развалин.

Позже, по дороге в Авиньон, еще два облика.

У въезда в Сен-Реми, на плато, пред начавшим слегка светлеть закатом, сквозь слабеющий дождь – Рим: триумфальная арка и надгробный монумент с фигурами двух консулов, четко, сухо, крепко и вечно – Roma aeterna[1]. А далее поэзия и мир: усадебка того Мистраля, чей музей мы видели в Арле, кто прожил долгую жизнь на родной земле, лирой своей и любовью Прованс прославил. Он скончался в этом же селении Майанс в марте 1914 года. Через несколько месяцев его соседи пошли воевать за Францию, за свой Прованс.

* * *

Счастлив, кто мирно жил и трудился, мирно почил на родной земле, все ей отдал, что имел. Но судьбы человеческие разны.

...Из окна пятого моего этажа, наискось вниз, чрез две улицы, но не так далеко, видно кладбище, довольно хорошее, сильно заросшее платанами. Чужое кладбище, а вот становится сво-

---

[1] Вечный Рим *(лат.)*.

им. Время от времени провожаем туда русских. Воин, поэт, артистка, художник – очень известные, мало известные... – всех равняет земля. Проходя мимо стены кладбища, вспоминаешь иногда знакомых, и последнее время думаешь: «Ну, вот упокоился, и слава Богу. [Вовремя]».

Но живые живут. Безответные русские копошатся. Кто может – работает, шоферы возят, офицерские жены гнут спину за иголкой, грошами вырабатывая жизнь.

Небольшая, барачного характера, но хорошо устроенная церковь св. Николая не пустует. Это ведь «наш» святой, свой, народный. В его храме пригорода парижского и старые, и женщины, и юные, и дети – все из «труждающихся и обремененных». Из тех, на чьи головы, столько уже видевшие, еще новые беды выпали. И они стоят, крестятся, ставят свечки, молятся на коленях. А на литургии все звучат двухтысячелетние слова Апостола, которого «три раза били палками, однажды камнями побивали» – и сколько еще...

«Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем».

Да, это Павел – вечный, огненный, легкий и неутолимый, притесняемый – непобедимый.

II

Незадолго до войны, проходя тихою деревенскою дорогой Франции, можно было любоваться простором полей с копенками сжатой пшеницы, ячменя. Франция, несмотря на привычку нашу к Парижу, очень крестьянская страна. И пейзаж сельский очень для нее подходящ.

Но при всей тишине и блеске августовского солнца он вызывал меланхолию – вспоминались русские поля двадцать пять лет тому назад. Тут легко действовать и пехоте, и артиллерии – с малейшего бугорка все видно. В том августе по таким же или подобным равнинам шли наши цепи в атаки в Холмщине, Галиции, Восточной Пруссии. Под Красноставом в первых же боях пал жених нашей сельской учительницы. Мы слышали первые девические рыдания в такие же теплые, погожие дни, при скрипе возов в полях, постукивании дальней молотилки.

И все-таки война была безмерно далека. Плакала не одна учительница. На деревне много голосили бабы, провожая мужей, сыновей. Но быт Тульской, Калужской, Московской губерний мало изменился. Воевали где-то за Варшавой! Прекратили продажу водки, в городах появилось много военных, пооткрывались лазареты, жизнь же с мест не сдвинулась. Солдаты и офицеры сражаются, не-солдаты, не-офицеры сидят по домам совершенно так же, как и раньше. Театры открыты – в

Опере публика стоя слушает союзные гимны, Гельцер танцует в честь Бельгии. Газеты, журналы, литература не только действуют, но лучше обычного. Книги, к войне никакого отношения не имевшие, вдруг двинулись очень сильно. Сколько прапорщиков, поручиков коротали за ними время в окопах!

Помню тогдашнюю Москву. Никто из нее никуда не уезжал, кроме как на фронт. Никто не занавешивал по вечерам окон. Все Дмитровки и Петровки сияли по-всегдашнему. А в Литературном Кружке коньяк подавали под видом чая – в чайниках.

Кто мог думать о реве сирены, погребах, масках?

Да и вообще мало о чем думали. Было, конечно, ощущение нависшей беды. Но туманное. Мы были слишком еще далеки от жизни (общественной) – Россия вздыхала, охала, и все же подремывала. Обучение пришло позже.

Все мы через него прошли. Нельзя сказать, чтобы оно было мягким. Многие его не вынесли. Выжившие рассеяны по всему свету.

За двадцать лет относительно спокойной жизни, в культурной стране, у многих сложилось такое настроение:

– Мы уже свое отбыли. Пережили великую войну, не погибли в гражданской, потеряли родину – с нас довольно. Последние свои годы можно «в мире и покаянии скончати», не из одних же войн и революций состоит жизнь.

Рассуждение как будто правильное. Есть же какой-то ритм в истории! Попали в бурную полосу, она прошла, как гроза, дальше должна быть тишина. Верили в нее, жили потихоньку да помаленьку, не замечая, что назревало в мире. А уж признаки были давно. И в отдельных случаях мирное житие нарушалось.

Три года назад, летом в Ницце, русская дама, только что бежавшая из Барселоны от гражданской войны, говорила мне:

– Помилуйте, после наших русских историй... Я ведь на родине все *такое* пережила. И опять! Муж отлично был устроен, мы жили хорошо, выехали в мае на дачу, и вдруг в июле, утром однажды... знаете, артиллерийская стрельба, пулеметы...

Как не знать. *Все* как полагается.

Но что Барселона! Потихонечку да «незаметно» оказались мы совсем вне всякой «тишины». И вот в эти дни другая наша дама, здесь в Париже, как бы отвечая барселонской, сказала мне:

– Я всегда была верующая, с детских лет. А теперь верю крепче, чем когда-нибудь. Нам опять послано. Значит, не допили. Что-то не так делали. Не так жили, как следует. Нужно терпеть.

Не одни мы, разумеется. Весь мир «не так» жил. Кто виноват больше, кто меньше, не подсудимым разбирать. Ответственны все, так же, как и та война, та революция – расплата общая.

* * *

<Великая война застала нас неподготовленными, и в военном отношении, и духовно. Военное – дело военных. В управлении страною мы участия не принимали – все делалось где-то за сценой, «само собой» (и нельзя сказать, чтобы так уж блестяще!), в смысле духовном жили с ощущением, что мы дома, в доме могучем и полном. Временно дом в затруднении, но жить надо по-прежнему, по-обычному. Кончится война, все и наладится. Так что пока: «военные сражаются, не-военные живут». Это значит еще: когда призовут, пойдем, а сейчас не-военным до войны не так много дела.

Так было. С тех пор немало прошло времени. Изменились и мы, и обстановка. Судьба наша тоже изменилась. >

* * *

Мирные поля Франции могут напоминать в августе поля России, но война теперь другая, да и наше положение иное.

Война уже не где-то «за Варшавой». Через четверть часа после сирены враги могут появиться над нами. Оттого так и тих, мистически-темен Париж, с синими огоньками по вечерам. И когда в полночь отворишь окно, из которого видны днем вдали Нотр-Дам, Сен-Сюльпис о двух башнях, то такое чувство – будто город ушел. Пятнадцать лет ты в нем прожил, знаешь его наизусть, знаешь ночные зарева над ним, сияние Эйфелевой башни – но теперь будто бы Париж «отлучился», а на его месте древний хаос, такая же бескрайняя, слепая ночь, как над тульскими полями или над лесами Галлии времен Цезаря.

В этом Париже мы жили и живем, но мы не дома.

Прекрасен город Париж, многое от красоты и изящества его – общечеловеческое, все должны защищать Нотр-Дам, Лувр и многое другое. Когда в сентябре прошлого года, в страшный день решавшейся судьбы пришлось проходить по Place de la Concorde, то одна мысль о том, что все это может погибнуть под немецкими бомбами, приводила в содрогание.

Город всемирный – что и говорить. Но Москва была *наша*. Кремль наш и любой извозчик-ванька, почесывавший в затылке, так же наш, как могилы собирателей Земли Русской в Соборе Кремля.

<Что же поделать, мы не у себя. Наше положение иногда теперь даже двусмысленно.

– Русские? Значит большевики? Со Сталиным против нас?

Вот и доказывайте, что большевики одно, а мы другое.

Находясь на чужой земле, мы должны быть спокойны, осторожны, молчаливы, меньше разглагольствовать, но при случае твердо, не теряя своего достоинства, объяснять.>

* * *

...Ощущение глубокой серьезности происходящего – на всех лицах. Все глаза говорят об одном.

Русская натура вообще нервнее, быть может женственнее и лиричнее французской. Французский склад крепче, суше, более рассудочен и с большим самообладанием. Напев свойствен русским более, чем французам. В жизни народа нашего музыка, пение играли гораздо большую роль, чем в жизни латинского человека. Даже горе в России выражалось иногда музыкально: по покойникам бабы сложно, не без даровитости «голосили». По уходившим на войну близким – тоже («бабы воют»).

Французские женщины гораздо сдержанней наших. За все время «прощаний» и ухода я раз только слышал (во французской деревне) рыдания. Они мне напомнили родину. Все-таки наши бабы «выли» гораздо голосистее.

Но сколько – особенно в первые дни войны – «отчаянных» женских глаз! Замученных, молчаливо страдающих...

...А за всем тем: прошло полтора месяца, человек понемногу начинает привыкать. Лица и глаза и сейчас невеселы, все же спокойнее. Нервности меньше. Медленно, но неуклонно свыкаются с мыслью: обычное, прежнее кончилось. Наступило другое. В разной мере для разных людей – но страда.

В горе часто бывает с человеком: просыпается на рассвете в неопределенной тоске – и мгновенно вспоминает: да, вот это... Так теперь в час тяжких предрассветных снов пробуждение во мраке: «Да, война»... То великое несчастье, о котором в мирное время как-то академически думалось, и со всегдашней оговоркой: нет, не может быть, как-нибудь да устроится. Но вот ничего не устроилось, а началось то, для преодоления чего надо призывать всю силу выдержки, терпения, спокойствия.

* * *

<Мы не знаем, будет ли эта война длинна или коротка, будет ли похожа на прежнюю или нет. Но она пришла. На этот раз никого не оставляет в стороне. Дай Бог, чтобы скоро и благополучно кончилась, но надо быть готовым ко всему.>

Как сейчас жить? Для идущих на фронт своя Голгофа, для остающихся – борьба за жизнь, это первое – нам, русским, уже столь знакомое по революции нашей. Мы прошли на родине сложную школу очередей, недоедания, холода, болезней... – здесь, разумеется, до *такого* не дойдет. Но зима, все-таки, будет

тяжелая – сколько раз пропутешествуем по ночам в погреба, мы не знаем, и с каким успехом – тоже неизвестно.

Можно иметь и маски, и отличные фонари, и закупоренные запасы «на 48 часов», но чтобы жить в воздухе войны, надо иметь что-то еще в себе, как бы защиту души от серы.

У колодца Иаковлева Иисус сказал Самарянке: «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».

Без «воды живой» жизнь невозможна вообще – т. е. человеческая жизнь, не скотская. Глухо ли, подземно, забиваемая, всегда она струится в человечестве, без «импульса» добра, сострадания, сочувствия все отходит в звериный мир.

В грозные полосы жизни святыня ярче. Все мы помним, как в революцию были переполнены церкви – высший мир укрепляет и питает человека. Мир этот открывается и во всяком дуновении любви.

О, как надо желать теперь, в воздухе отравляемом, себе и другим живой воды! Это Дух Божий, Царство Его, свет, благоволение. Сочувствие, поддержка, улыбка, облегчающая соседа, облегчающая самого улыбающегося. Разделенное горе облегчает и разделяющего. Дыхание доброты согревает не только того, на кого направлено, но и *кто* направляет. <А сколько сейчас одиноких, отчаивающихся! Как бесконечно нужно именно чувство братства, единения, единочувствия.>

Чтобы переносить войну, мало одной привычки. Надо просить о даровании живой воды.

III

25 сентября. (В России)

...В деревне это был «Сергиев день». Праздник очень известный. Нельзя сказать, чтобы крестьянин каширский хорошо знал, когда жил и что делал преп. Сергий Радонежский, но на Сергиев день ярмарка. Это всем интересно.

Утром подают тарантас, тройкою. По колейной сухой дороге катим к соседям в Захарьино – в сребристом просторе полей, рощ уже голых. Дымок кой-где из трубы в Козловке – вкусный сентябрьский дымок. Пахнет в такие утра печеным хлебом, овином, замашками.

Вдалеке, над парком захарьинским, шпиль и крест церкви. Осень! Мимо этой церкви, с погостом при ней, прогремит та-

рантас, а там липовая аллея, елочки, дом времен александровских, белый, с двусветной залой.

Встретят друзья. С хозяином выйдем на балкон из кабинета его огромного, оттуда широкий вид. Александр Аркадьевич так же крупен и представителен, как его дом, как просторный костюм на нем. В подзорную трубу будем рассматривать леса за Беспутою, туманно сизеющие. Там со скромным соседом охотились вчера за зайцами <– гончие «тихи-тахи, тах-тах-тах»... А нынче смотрим, не едет ли еще какой гость.>

По Беспуте же ярмарка. К ней, поболтав, тоже спустимся. Кум Сычев, свежий, краснощекий, в поддевке, похлопывает плеточкой по сапогу – «да, да, да, на ярмарку... да». Барышни одеваются, выбегают из дому, хохочут – и все мы спускаемся вниз, к мельнице и реке.

Ярмарка вроде цыганского табора. Под благословением Сергия можно купить на ней и хомут, и игрушку, и свирестелку, и обод на колесо, и платок. Да и по-плотничьему, Сергиеву делу все, что угодно.

Это Россия давних, мирных лет. Накупили ненужных пряников, молодежь нахохоталась – вернулись домой прямо к обеду: пирог, индюшка, в графинчике водка. «Мирное житие» российское, день за днем, кому что по силам: у одних богаче, у других беднее. Но смысл один. Сергий Сергием, и день его отпразднуем, но все покойно, сытно, так вот и идти будет, от ярмарки до ярмарки, среди помещиков, мужиков, с гончими, водочкой, земством, выборами в Кашире.

И ныне все как полагается. В невысокой столовой даже тесно – подъехали еще помещики, некоторые с собаками, в черкесках, с арапниками. Собаки лезут под ноги, барышни опять взвизгивают. Пахнет смазными сапогами и табаком.

А хозяин в конце стола на председательском месте, командует графинчиком, быстро возобновляемым. «Кум, по единой, с грибочком»... «Не откажусь, не откажусь, да, по единой, за здоровье милых барышень».

В шуме и гаме протекает обед, без особых церемоний. А потом в зале танцы, старшие же засели за пиво, займутся и картами – это уж надолго.

Перед вечером тот же наш тарантас застучит по наезженной дороге, в сентябрьских сумерках, мимо садов с последними антоновками, мимо погоста, ждущего Александра Аркадьича, как и всю прежнюю Россию. Кучер наш из-за ярмарки на взводе. Лошади это чувствуют и идут нервно. Проезжаем шагом мимо риг копёнкинских, поздние грачи кружат над ними, в таинственном небе. Вниз

под горку лошади подхватывают – катят неестественно, коренник с рыси сбивается на скок —мы летим куда-то и ничего о судьбах своих не знаем. Прочно и сытно сидели, а вот теперь летим. Что впереди? Мостик? Лошади успокаиваются. Переезжаем шажком. Ничего мы не знаем. Как угадать день Сергия через тридцать лет?

25 сентября (8 октября) 1939

Эти тридцать лет и прошли. Просто себе пробежали. Чего-чего не было, все как полагается. Сидя в Париже, при «второй империалистической», говорить о ярмарках и помещиках... Но вот Сергиев день подошел и здесь. Церковь празднует его и тут по старому стилю, совершенно точно, как прежде.

Ясный и теплый, прекрасный день. Бледное небо парижское, сквозь облачка солнышко, мягкие дали в кисее.

Спускаюсь вниз, выхожу на улицу. «Здравствуйте». «Здравствуйте». Наш дом русский, все друг с другом знакомы. «Обратите внимание, у каждого подъезда женщина, как часовой». Сосед прав. Действительно, обитательницы квартала высыпали из домов, некоторые из-под руки смотрят вдоль улицы. Оттуда приближается почтальон. «Писем с фронта ждут. Вот и караулят – скорей бы узнать».

Это жены, невесты, матери. Наблюдая жизнь из окна, видишь иногда скорбную задумчивость молодой хозяйки, заплаканные глаза. Многих из ждущих сейчас знаешь в лицо, некоторые при тебе выходили замуж, другие, кого помнил по соседству в этом не нарядном квартале, уже умерли. Но беспрерывно идет перед взором их малая жизнь: фабрика и бистро, рынок и стряпня, стирка, хозяйство, счет су, разговоры на перекрестках. Как будто бы и налажено, крепко. Но вот дунула беда... Все в одном.

Знакомыми улицами идешь к церкви. На углу продают цветы для кладбища, могильные памятники, кресты. Там какие-то баки, торчащие в воздухе. Угольный склад. Мелкие фабрички, вдалеке трубы огромные – воздымаются, вечно дымят, портят воздух лиловым своим дымом.

Церковь близ завода Рено, в самом пекле, мало похожа на ту, что своими руками рубил Сергий на Маковце, среди дебрей Радонежских. Но тоже трудовая, скромная, любовию и тщанием созданная. Русский мир в чужом городе, как и Сергиево Подворье на далеком Бютт Шомон.[1]

---

[1] Парк, находящийся в конце улицы Crimee, на которой расположен Православный богословский институт св. Сергия.

На литургии поминается, конечно, ныне Сергий – «наставниче монахов, собеседниче ангелов». Икона его на аналое в цветах – и вокруг старые, средние, совсем юные. Много женщин, в большинстве той же партии, что и ждущие почтальона. Теперь это главное разделение: те, кто страдает – одно братство (или «сестричество»), они сразу друг друга чувствуют, «свои», хотя и разных национальностей. И равнодушные. Эти чужие.

А здесь сколько преклоненных у икон, тоже взволнованных, с влажными, в слезах, глазами. У кого муж, у кого брат, жених. – «Помоги, поддержи, не дай пасть духом ни там, на полях, ни здесь, охрани, заступи от ранней и ненужной смерти».

Боковая дверь светлой, барачного вида церкви отворена в садик. Иногда доносятся чрез нее посторонние звуки – радио, напевы. Нынче теплым осенним светом озарены кустики, скамейка. Идет молебен – все тому же Преподобному, со всегдашними чудесными словами: «...упование всех концов земли и сущих в море далече» – обо всех просим: дальних, странствующих, путешествующих, бедствующих.

Слышен сейчас, .аккомпанементом, гул пропеллера аэропланного. Это теперь здесь часто. Это «свой», наш, описывает круги.

СВ. СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

Пусть в народе, да и среди образованных, плохо знали жизнь св. Сергия. И быт, пироги, ярмарки отчасти заслоняли его – все же облик Преподобного чувствовался верно: всерусский святой, заступник России. Троице-Сергиева Лавра всерусское место. Цари, бабы, нищие, философы ходили туда на поклонение его мощам.

Св. Серафим Саровский выражал духовнейшее, нежнейшее, быть может с женственным оттенком русской души. И всецело личное. Он и обращался всегда к человеку *лично,* его нельзя себе представить в плане Куликова поля. Никакой Дмитрий не поехал бы к нему в Саров за благословением на «ратный подвиг». Св. Сергий, напротив, воплотил мужественный и строительный дух России. Он слегка суховат, прохладен, как Север, его породивший. Святой плотник с благоуханием смол русских сосен. Учитель, наставник – недаром насадитель монастырей, просвещения и культуры своего времени. И миротворец, и воин. Бессребреник, но оставивший по себе мощную Лавру, в XVII веке не поддавшуюся полякам.

Св. Сергий есть духовный вождь России как целого. Он величайшее, что было в ней духовно-действенного, как св. Сера-

фим высшее, что было мистически-созерцательного. Св. Сергий столетия как бы шел с Россией, любившей его и чтившей, но небрежной, в мирные времена иногда сонной, будничной. Что же скрывать: мы не оказались на высоте наших святынь. И лампады у раки Преподобного погасли, мощи поруганы. Вот надолго ли? Этого никто сказать не может. По народному взгляду, они «ушли под землю» – в этом наивном образе есть чувство вечности Сергия. Да, сейчас поруганы – но сам он вечно жив и всегда с нами, когда мы к нему обращаемся. А обращаемся более всего в беде, тогда, когда особенно нуждаемся в поддержке, укреплении.

Вот ведь он оказался же с нами в изгнании. Там разрушают его следы – здесь пишут новые его иконы. Троицкая Лавра закрыта, здесь (чуть ли не чудом) возникает Подворье имени его, насаждающее служителей Церкви.

«Сергиев день». Париж 1939 г. так мало похож на Россию 1909 г.! Но Сергий снова здесь, со всеми коленопреклоненными, во всех слезах, во всех грошово-драгоценных свечках русских тружениц.

IV

[Весна 1940 года]

Муза Истории называется Клио. Ее изображают сидящею, она держит в руке свиток. Или стоит, рядом с ней стопка книг. Вид у Музы серьезный. Белыми, пустыми глазами смотрит она перед собой в Вечность.

Пусть записывает с прохладою, важностью. Мы, смертные, тоже что-то видим, переживаем, у нас есть свои записи, мелкие, не беспристрастные.

10 мая

Из письма к другу:

«Уже с вечера не все было обычно. Из окна моего, с высоты, ты знаешь, обширный вид. Летние ночи иногда хороши. Тьма скрывает некрасоту домов, небо же разверзается свободно. Мне приятно, что сейчас как раз голубая Вега прямо против окна, над нами.

Так вот: часов около одиннадцати очень уж засияли прожекторы. Вдалеке, из-за Нотр-Дам, и правее, левей, вылетают в небо невесомые злато-серебряные снопы – свет. И на небе, высоко луч такой обращается в светлое пятно. Лучей много, они скрещиваются, пятна света одни на другие набегают, получает-

ся очень светло – даже в темной комнате отсвет. И небольшое золотое озеро по небу передвигается: ищут.

На этот раз были особо тревожные тучи. Иногда так носились, точно в пляске. Бедную мою Вегу и вовсе заслонили. «Затмили».

Легли мы спокойно, хотя и чувствовали – что-то неспроста. Около пяти утра не совсем уж покойно были разбужены тем противным ревом, который терпеть не можешь.

Солнце уже встало, утро прелестное.

Мы сошли. В подъезде стоял кое-кто, и мы высунулись на тротуар.

По небу протянулось розово-перстое облачко, узенькой прядью. Я его очень запомнил, точно был это знак еще мирного, милого мира. Но тотчас послышалось далекое, надземное бурление. (Некогда любили мы, в России, помнишь, слушать клекот журавлей осенью, провожать взором их воздушный треугольник, движущийся на юг).

Все – и наши, и соседи на той стороне подняли головы. Может быть, и увидели что-нибудь. Я журавлей не видал. Вообще ничего не видел... – Но нельзя было не услышать. Воистину «гром с ясного неба». Должен сказать, по моей недостаточной опытности, я подумал, что это взрыв бомбы (оказалось, залп зенитных орудий). Тут рассуждать уж не приходилось. Мы отступили в подвал.

Вся эта сторона жизни знакома по сентябрю. Но теперь в голове мелькнуло – ну, это не совсем такое, что-нибудь началось и «там».

Сколько надо побыли, вернулись в квартиру, уже залитую солнцем, стали кофе варить–соседка сверху сообщила (радио), что немцы вторглись в Бельгию, Голландию, Люксембург».

12 мая

Вот Клио и записала. А мы о своем думаем, вспоминаем. Бельгия, Бельгия! Давнее, горестно-милое, еще по той войне, страдальческое и благородное.

Во всем, однако, резкое отличие от прежнего: России нет! Дай Бог, чтобы в ходе кампании это возместилось чем-нибудь другим.

Бельгию знаю совсем мало. Но несколько дней провести довелось. Переехав границу, сразу чувствуешь, что попал в страну и спокойную, и достойную, не нарядную, несколько старомодную. Порода людская не из сильных. Худощавые, сухенькие. Города невысокие – и все города, города. Простору мало. Впро-

чем, долина Мёз очень красива, лесиста, особенно близ Намюра, Льежа (сколько этот Льеж поставлял некогда дешевеньких двустволок в Россию!). Бедный Льеж, тоже страдальческий город, первый принимающий удар нашествия. Когда его проезжаешь, он удивляет низенькими скромными домами, мирным видом, а в действительности очень он военный город, крепость с фортами. [Все это теперь в мученичестве.]

Антверпен показался грубоват, тяжеловесен. Нечто фламандское – опять иные люди, ближе к немцам и голландцам. Много старины – ратуша, дом гильдий, целая площадь XVI века, но и современного довольно в этом городе. Очень запомнилось: сколько велосипедистов! – А в музее Антверпена впервые по-настоящему чувствуешь Рубенса.

Знаменитый порт – нечто обратное тому, что связано с обликом Генуи, Неаполя, Марселя. Более скучного, путаного никогда и не видывал. Сколько кораблей! – но каких-то серых, неказистых, в бесконечных бассейнах, под влажно-парным небом, в непрозрачности воздуха. Наш пароход долго лавировал среди узких фарватеров, проходил под мостами и мимо огромных подъемных кранов – казалось, никогда мы не выйдем из мешанины разных карго. И никакого Антверпена не видать – он остался далеко сзади, его завесила полоса туманов.

Когда вышли на Шельду, к морю, на той стороне реки завиднелась Голландия: низенький зеленый берег, ветряные мельницы, красные домики.

15 мая

Дни идут быстро, события тоже. Человеческое сердце бьется, нагружается. После записи последней уже отошла Голландия – изнемогла, сдалась.

А о Бельгии все-таки продолжаю, хочется вспомнить серенький, тихий день в Брюгге.

Сверстники мои помнят бельгийского поэта Роденбаха. (В России, кажется, он был более знаменит, чем в Бельгии.) Роденбах это символизм, романтизм начала века. Портрет его на обложке книги «Мертвый Брюгге»: тонкое и худощавое лицо, огромный лоб, дымные волосы, глаза большие, светлые, сквозные. За туманным поэтом, на дальнем плане, дома, церкви, каналы, лебеди.

Он изображал Брюгге вроде того, как Жуковский (по Грею) сельское кладбище.

Брюгге же настоящий – вовсе не мертвый, но очаровательно-тихий город со старинными колокольнями, башенными часами, медленными перезвонами на них. По каналам лебеди пла-

вают, осенние листья. Тишина, благообразие, но нельзя сказать, чтобы бескровность роденбаховская.

В грозовые часы вспоминается этот городок белокрылых монахинь, Ван дер Вейденов, Мемлингов по-особенному. Мадонны Мемлинга! Вот из этих тонких, длинных и таких задумчивых, с большими лбами дев излучается то, что всегда в жизни было святым и благоговейным, это они, в самом деле, могут давать образцы поклонения, скромной, смиренной и чистой жизни. Мемлинг, в XV веке, видел вокруг себя таких. Брюгге, конечно, рядом со своим морем видел не одних святых, но вот завоеватели и ужасы прошли, ничего от них не осталось. А смиренные Богоматери населяют Брюгге, вдохновляют поэта, волнуют современного человека.

Сохранится ли это? Или какая-нибудь «воздушная атака» все сметет? Может быть, и разрушат музей. Но не убьют духа мемлингова.

20 мая

Вновь из письма:

«Ты беспокоишься и тоскуешь, как мы тут живем. Сам понимаешь, веселого ничего быть не может. Но взглянуть на Париж, стал он несколько пустынней, а в общем такой же: сдержанный, покойный.

Дети и совсем как прежде. Выхожу недавно на большую улицу – под платанами пятна майского света, в них прыгают три-четыре голоногих типа, лет по шести. И развлекаются: выучились гудеть сиренами. Очень ловко. И рады, и счастливы. – Правда, недолго нагудели – выскочили мамаши, концерт кончился.

А, собственно, дети больше всего тревожат. Не место им сейчас здесь. Около нас школа. В двенадцатом часу высыпают они на улицу, взглянешь – [холодок по сердцу пройдет...] ну, как с этого ясного неба?..

[Пока благополучно. Но, конечно, все возможно.] Третьего дня сирена захватила нас на улице – не детская, а настоящая. Мы недалеко отошли еще от дома, пришлось возвращаться. Было половина пятого – много школьников на улице. Все они побежали, кто домой, кто в убежище поближе, взрослые тоже. Но особенно было грустно на детей смотреть. Минут через пять все опустело – зловещая, неприятная пустыня.

Длилось недолго. [На этот раз к нам летели уже бомбовозы, их вдали остановили, под Парижем.]

Думаю часто о твоей горной, лесной стороне, о тебе самом. Природы очень хотелось бы сейчас, тишины, благообразия

мирной жизни. Но это невозможно. У нас тишина (внутренняя) бывает только в церкви. Вообще только Церковь, Евангелие возвышаются неприступно над всем.

[Очень тронут, что ты сопереживаешь наше. Но не забывай: все это «наше» – ничто рядом с тем, что там».]

V

[...июня 1940]

«Милый друг, ты уже знаешь, что мы живы, пишу подробнее.

3 июня

Мы с утра выехали в Кламар. Золотой, светлый день! В саду старинной барской усадьбы деревянная церковка Константина и Елены (эти имена мне дороги, ты знаешь: и по нашей семье, и через Веру). Церковь, совсем маленькая, благоухающая высохшим деревом стен, ладана, иконного лака, вызывает память Валаама: там в лесах такие часовенки – во имя свв. Сергия, Серафима, а есть как раз и Константина и Елены.

Никого еще не было. Мы исповедались у о. архим. Киприана, а потом, до начала литургии, сидели на скамейке в тени большого дома XVIII века – несколько тяжеловесного, но подлинного, с медальонами летящих гениев на фасаде, напоминающими барельефы латинской дороги под Римом.

Голубое золото было в этом утре. И легкая роса, нежный, прохладный туман на розах клумбы. На лужайке сено сохло. Худощавый юноша сгребал его, на какой-то французской вилке носил в дальний сарайчик. Пахло оно, как и русское сено – несколько слабее, однако, как всегда во Франции. В открытую дверь зала, стеклянную, носили две резвые барышни посуду для завтрака: нынче престольный праздник.

Прекрасно шла служба, мы причастились и я поехал в Париж на юбилейный завтрак. Вера осталась в Кламаре. Сказала мне: «Здесь все так зелено, покойно, как в деревне. Будто бы и войны никакой нет. Смотри, какие каштаны. Здесь я ничего не боюсь».

Последнее время, ты понимаешь, мы живем все под некоей угрозой. Все в нервном настроении.

Но должен сказать: менее всего я ждал чего-либо в тот полдень. Приехать успел вовремя, все собрались в отдельном зальце ресторана. Завтрак начался как полагается. Закусывали, чокались. И я думаю, что никто ни о чем «таком» не думал, когда завыли сирены. Почти тотчас загрохотали залпы.

Мы находились в центре Парижа. Бомбардировка шла по окраинам (преимущественно). За дальностью взрывы бомб казались нам простым действием артиллерии зенитной – правда, очень бурным. Потому завтрак и продолжался, прошел даже оживленно. [(Мы ведь не знали, что в Исси, Ванве, Отей рушатся дома, гибнут и взрослые, и дети!).]

О Вере я сразу решил, что раз она в Кламаре, у друзей, то значит в покое и тишине. Оказалось же вовсе по-иному. Она отправилась в Ванв, тоже к близкому человеку, и в двухэтажном павильончике пережила весь грохот, вой, свист, дым, пыль и огонь настоящего обстрела. Ничего-то мы не знаем. «Не ведаем бо ни дня, ни часа». После она говорила мне: «Поддерживало причастие и всегдашний заступник мой, Николай Чудотворец. Весь наш домишко ходил ходуном. Не можешь себе представить, что это было за ощущение. Когда я вышла потом на улицу, трех-четырех домов вовсе не было. Кое-где пылали автомобили. В Исси на площади мэрии все было усеяно битым стеклом: ни одного целого окна! – Но вот, мы остались живы».

Да, мимо нас лично гроза пронеслась. Но в Париже убитых около трехсот человек, да раненых свыше шестисот. Оказались и наши знакомые. Но об этом особо надо сказать.

Довольно давно познакомился я с Екатериной Николаевной, известной в Париже русской сестрой милосердия. Мы встретились у постели тяжко больной русской дамы, дочери наших друзей. Екатерина Николаевна полюбила ухаживать за ней с ласкою и любовью – жалела, отдавала ей что-то от сердца своего. На ее руках та и скончалась. А у меня осталось в памяти: Екатерина Николаевна румяная, круглолицая, необыкновенно милая и душевная женщина. Как-то щедро и вольно расточала она благоволение. Дар привлечения сердец! Трудно представить себе, чтобы ее н е л ю б и л кто-нибудь.

Прошло время, встречаться не приходилось. Она сама тяжело заболела. Долго лежала. Долго не мог я собраться зайти к ней. Наконец, месяца три назад зашел.

Дверь отворила девушка с большими карими глазами, скромного вида.

«Будьте добры подождать немного, мы сейчас делаем перевязку». Я знал, что это Туся, племянница ее, самоотверженно за ней ухаживавшая (уже около двух лет!).

В маленькой, худенькой женщине с прозрачным лицом (желтовато-зеленоватого отлива) не узнать было прежней Екатерины Николаевны. Она лежала на спине, недвижно, глаза тоже про-

зрачные, от долгого одинокого лежания, страдания, особый отсвет озарял их. Вообще же некая задумчивость, глубокая сосредоточенность в ней были. «Мне теперь легче. О. архимандрит соборовал меня, много лучше стало. А то, знаете, умирала. Так вот подходила, подымалась во мне смерть», – она показала маленькой своей, легкой, сухой рукою, как именно подымался хлад смертный: от ног к сердцу. «Вот, тут совсем был. Ах, тяжело! Я, конечно, слабая и грешная, и духом иногда падала. Знаю, уныние – грех. Но не могу. Ну, слава Богу, отошло. Знаете, что-то во мне переменилось. Я теперь думаю: как Богу угодно. То есть, я и раньше так считала, но только головой. А теперь это у меня во всем существе. Захочет Господь, возьмет меня: значит, так надо. Нет – буду жить. Ах, я очень, очень рада, что вы навестили меня».

Она говорила еще, довольно охотно, вспоминала общих друзей, покойную. Странное действие на меня оказывала. Я начал волноваться... – точно от нее передавалось нечто, хотя говорила она внешне покойно. Но вообще она не такая стала, какая была раньше – что-то в ней и разрушилось, что-то и возросло. Я не мог уж молчать. «Вы чудная, – вдруг сказал я ей, – я вас обожаю». Она схватила меня за руку. «Что вы говорите это?» «Да вот то и говорю. Особенная, чудная. Вы ни на кого не похожи».

Будто бы и странно: безнадежно больная женщина, которую я и очень мало знал, но от которой во всей убогости положения ее шел такой свет!

«Люблю Валаам, как и вы, – ее сухонькая ручка лежала на моей руке, – и вообще мы много одинаково чувствуем. Ах, меня так тронуло также... вот жена заходила, сказала, что вы обо мне часто вспоминаете».

Удивительно! Ведь я знал, что недолго ей жить. Она страстно жизнь любила, и я жизнь люблю, и она уходит, мы над бездной, она ближе, я на несколько шагов подальше, но какое действие, как она оживляет – почти из-за гроба. «Она праведница и все тут. Просто настоящая праведница – оттого все так и выходит», – это у меня в душе было, когда я на прощанье поцеловал ей ручку.

Вышел я в некотором тумане, возбуждении. В кухне стирала Туся. Она взглянула на меня карими своими глазами – опять то же, опять то же... «И эта святая. Вот так квартира!» «В какие часы удобнее видеть Екатерину Николаевну»? «Около четырех». «Спасибо. Зайду непременно». Это были слова. А под ними опять: «и эта праведница» – все необыкновенное.

Домой шел не шел, летел не летел (слова не те), но не такой был, как всегда. Вера, отворив дверь, спросила: «Что с тобой»? «Ничего. Все хорошо. Превосходно. Я видел сейчас святых».

В день 3-го июня, когда Вера была в Ванве, а я на авеню Ваграм, снаряд влетел в квартиру над Екатериной Николаевной. Пол рухнул – вниз, на больную. Ее засыпало щебнем, осколки оконного стекла вонзились ей в лицо. Тяжелое ранение и в ногу. – Тусю швырнуло в коридор, вырвало грудь. Она скончалась через несколько часов. Екатерине Николаевне пришлось отрезать в госпитале ногу. Но и она не выжила.

На отпевание Екатерины Николаевны в Кафедральном нашем соборе собралось порядочно народу. Красные розы украшали гроб. Из-под них, на возглавии, ясно рисовался Красный Крест на белом поле – орден милосердия и сострадания, коим всю жизнь служила покойная.

«Больше сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за други своя». – Туся могла, конечно, при начале сирен убежать в погреб, но не оставила тетки. Что же, облик свой до конца сохранила. Екатерине Николаевне не сказали, что племянница ее погибла – она и лежала в другой больнице, похоронена отдельно.

Взглянешь, кажется: как все удивительно! Два раза страдать неизлечимо и умереть от бомбы. Совсем юную, чистую жизнь подставить разрыву снаряда... Не только праведницы, а и мученицы? Мученицами-то всегда бывали лучшие – за нас, худших, и страдали.

Не понять нам тайн Господних. Не дано. Значит, не надо.

«Приидите с последним целованием», – не особенно раздумывая пал я на колени перед гробом, земно поклонился отошедшей».

VI

[Июнь1940]

Письмо другу:

«Не знаю, дойдет ли до тебя это письмо, да и вообще увидимся ли. Все возможно. Если не получишь, если не увидимся – пишу тебе в Вечность, со странным чувством: полного моего господства сейчас и над временем, и над пространством. Червь я и раб, но и владыка. Надеюсь, не поймешь меня превратно.

И вот, сообщаю тебе некоторые подробности того, как все «это» для нас произошло.

5-го июня, в среду, мы подходили часа в четыре к метро. Я увидел крупный подзаголовок газеты... «Somme» – остальное было закрыто. Но и так ясно. Купил, развернул: да, сражение на Сомме. И сейчас еще ощущаю в теле легкий электрический

удар. Мы, конечно, знали – вот-вот что-то должно произойти. Все-таки: сражение за Париж, за нас.

Не могу сказать, чтобы события медлили. Они шли почти с тою же быстротой, как в свое время лава Везувия на Помпею.

В понедельник, 10-го мы были на отпевании госпожи Р., погибшей от бомбардировки. Когда из храма на Дарю шли по Ваграм к княгине В., Париж уже двинулся. Сколько неслось машин, заваленных вещами, с тюфяками наверху. Другие стояли у подъездов, их грузили, навьючивали. Пасмурно, смутная туча застилала низ неба. Ветер, тепло. Почти жарко. По улице летела пыль, бумажки.

Мы поднялись на пятый этаж немолодого парижского дома без подъемника, с солидной дубовой лестницей. Княгиня была как всегда бодра, нешумлива, худенькая, но круглолицая, в очках, черном полумонашеском своем платье, с той милой улыбкой, которую трудно не ценить. Как обычно, занята общежитием своим. «Да, конечно, я остаюсь. Пожалуйста, еще вареньица. Вы тоже остаетесь? Очень рада».

Час назад то же самое сказал нам архимандрит, отпевавший покойную. Все теперь держатся друг друга. Мы покидаемые, Париж уходит, каждый свой, остающийся дорог особенно. Так могу добавить: русские, православные были в эти дни нам еще ближе, чем ранее. Не боялись, не охали, хорошо действовали на настроение. Человеческая душа чувствительна. Непрерывно принимает она токи: то они крепительные, то бередящие, угнетающие.

От княгини отправились к дочери, на левый берег, на rue St Dominique.

* * *

Наташа живет теперь с родителями мужа – тот на войне. Она давно звала нас к себе на эти дни. Их квартал покойный. Менее вероятий обстрела, чем для Булони нашей с заводами. Да и всем вместе веселее.

Ее томило другое: учреждение, где она служит, перебиралось в Бордо. Ехать или не ехать? Жаль разлучаться, жаль и терять работу. Жаль своих бросать, зато ближе к мужу, он как раз под Бордо, в офицерской школе.

Мы ночевали в небольшой старинной квартире старого дома, рядом с румынским посольством, почти на углу avenue Bosquet. Ложились тихонько, стараясь не шуметь: внизу живет аббат, довольно сердитый, при малейшем движении стучит в пол.

Утром вбежала к нам в комнату Наташа. «Мамочка, румыны от нас уехали. Правительство тоже. Мы здорово abandonnes[1]. И еще новость: Италия объявила войну».

День подымался над нами хмурый. Из столовой, налево в окно видна Эйфелева башня, а за ней сумрачно синеющая, туманная туча. Наташа побежала в свой банк.

«Не бери с собой чемоданчика, – сказала мать. – Если нужно будет, успеешь собраться». (С чемоданчиком сразу могла бы уехать. Вскочить на камион – и готово. Мать вела свою линию: а тут, пока будет собираться, может, те и уедут). Да не одна мать: все втайне хотели, чтобы Наташа не уезжала.

И она скоро вернулась, почти веселая: ну что же, все сделала добросовестно, чтобы не отставать от службы, но вообще ничего не вышло: уехали одни высшие. Для служащих камиона не достали. Мы обнялись еще, расцеловались. Значит, будь что будет, все вместе.

После завтрака втроем двинулись в Булонь за вещами. Изменился Париж – за один день. Точно тяжело больной пред началом конца... По avenue Bosquet уже сплошная вереница беженцев. Все на юг, все на юг! Повозки и велосипеды, тачки, идут пешком с чемоданами в руках – некоторые будто бы к вокзалам... – говорят, туда и войти нельзя.

И у нас в Булони идут, едут, укладываются. У подъездов консьержки. Эти в большинстве остаются. Вокруг них группы. Разговаривают, советуются. Какое беспокойство и томление! Вдали выстрелы... – или взрывы? Кто разберет!

Подъемник поднял нас на пятый этаж. Вон там, за Сеной, холм Mont Valerien, знаменитая стратегическая позиция – вроде Малахова кургана... Там наши зенитные батареи. Оттуда германская артиллерия била по Парижу в 70-м году. Сейчас над остроконечным холмом в зелени облако. Повис сизый дождь. За ним, дальше, Буживаль, где жил Тургенев, а потом Сен-Жермен, Понтуаз. Говорят, немцы уже в Понтуазе.

Жилье без хозяев быстро холодеет. Вчера только мы отсюда, а уж квартира пустынна, как бы заброшена. Сколько пепелищ таких теперь во Франции!

Мы наспех собирали кое-что – платье, белье, кофе, сахар, рис... кто знает, может, ничего и достать нельзя будет?

И торопились. Нервность, конечно. Волна нервности передавалась от всех этих уезжающих, убегающих. Ты понимаешь, мы всего-то перебирались в седьмой округ Парижа, к Ин-

---

[1] Обездоленны (*фр.*).

валидам, но и нас несло сейчас подводное течение. Спешить, уходить, уезжать!

Может быть, переезд в метро утолил несколько жажду странствий – вернулись мы на avenue Bosquet будто к пристанищу: тут оседлость, покойно – а между тем *там* прожили мы восемь лет, полоса жизни. Теперь бросаем будто с облегчением.

Ничего мы не знали о планах военных. Но казалось, на глазах: защищать Парижа не будут. Отступающих войск мы не видели – ясно, их сюда не пускают, они обтекают город с запада и востока. Приготовлений к бою нет. Ну, а все-таки? Ведь это все предположения, не более. А если окажешься в сражении? Об этом не хотелось думать.

Ночь я спал плохо. Вдалеке сильно бухало. Вера иногда просыпалась, садилась на постели... «Алерт?[1] Сейчас начнется?» (За этот год мы все же понаслушались сирен). «Спи, спи, ничего». «Лампочка у тебя?» «Да, тут». Она вздохнет, перекрестится, вновь ляжет.

Из полуоткрытого окна тянет свежестью. Темно, ночь глухая! И гул немолчный: Париж уходит. По av. Bosquet без конца автомобили, камионы, на юг, на юг... Мы же лежим тихо, точно притаившись. И сердитый аббат может спать под нами, в квартире своей покойно: не смутим мы шумом его сны.

Утром ходили закупать, что можно: сахар, кофе, картофель, квакер. Точно к осаде готовились. Но и все так. Народу на rue Cler много – это торговая улица, неглядящая, но основательная и очень «парижская», как и вообще многое в этом квартале: Париж старинный, смесь барства с католицизмом.

В тот день видел я на av. Bosquet удивительные сцены.

Ослик везет тележку, на ней женщина с младенцем. Хозяин шагает рядом. Вслед за ними колясочка – припряжена собака. Двое везут сундук, на нем перина, клетка с попугаем.

В тачке сидит старуха лет восьмидесяти. И мумия, и облик беспробудной, безмолвной тоски. Тачку тащит женщина лет шестидесяти, очевидно, дочь. Откуда они? Может быть, из-под Санлиса – так-то вот пешочком, с матерью, под Орлеан. Боже мой, какими барами мы еще живем здесь, на av. Bosquet! А вот этой, за мать, за тачку, за Орлеан наверно уже все грехи прощены.

В такие дни не очень приятно расставаться. Всякие глупости лезут в голову. А вдруг немцы войдут, да отрежут Булонь? Расставят пикеты и разговаривай с ними.

---

[1] Тревога (*фр.*).

В Булони было еще пустыннее, чем вчера. Я отворил окно комнаты своей. Справа, за Сеной и Сен-Клу, стояла сизо-дымная туча, какая-то вязкая, непроходимая. Время от времени оттуда грохот – взрывы. Дымовая завеса, или нефть жгут, взрывают мосты? Мрачно, глухо! А на востоке, за Нотр-Дам, над холмом Менильмонтана еще бледно-златистое небо. Последний островок мира, только бы радуге еще над ним восстать. Стало на минуту жаль и своей квартиры, и книг, рукописей... – а может быть, и мгновенной своей жизни, пролетающей, мчащейся к концу с такою быстротой, все чрез разные «исторические события». Бог с ними с событиями. Всегда-то их не любил... Но никто нас не спрашивает, что нам нравится, что нет. Девятнадцатый год мечет нас по Европе рука Господня – значит, еще не дометала.

Когда ехал назад, стал накрапывать дождь. Капли странные: черноватые. Очевидно, копоть из туч, от нефти.

На avenue Bosquet видел новое зрелище: остановились беженцы с коровами. Тут-то доили их, на тротуаре аристократической улицы, рядом с дворцом румынского посольства. Обитатели Парижа стояли в затылок с крынками, им продавали парное молоко. Тут же охапка сена, распряженная лошадь жевала – задумчиво, сложно, поглядывая прекрасным лошадиным глазом на людей неизвестного города.

Наташа попала на своем велосипеде под дождь. Не то, чтобы промокла; дождичек только крапал: но испачкалась сажей. И ее белые ручки стали пестренькие.

* * *

Четверг, последний день Парижа! Утром две католические девицы из нашего дома собрались уезжать. Но с вокзала вернулись: поездов уже нет. Уходили последние войска гарнизона. «Если хотите, можем захватить вас на камион, но куда едем, сами не знаем, и наверное будет обстрел». На Орлеанской заставе жандармы сказали: «Можете выходить пешком, но назад, в Париж, никого уже не пускаем». Добавили, что немцев ждут или сегодня вечером, или же завтра утром.

День был такой же тихий, хмурый, с такою же темной тучей на северо-западе, с глухими взрывами... и еще печальней. Париж совсем опустел. Даже беженцев шло нынче меньше.

Сказали, что в пять вечера уйдет наша полиция. Но это оказалось неверно: полиция именно и осталась.

Несколько раз собирался, накрапывал дождичек. Часу в седьмом вышел я к Сене, по avenue Bosquet. Долго стоял на мосту. Умирал Париж, это ясно. Семнадцать лет прожил я здесь.

Сказать, чтоб было в нем близкое изнутри, как в городах Италии, было бы неправильно. Всегда этот сухощаво-изящный, прохладный город был как бы за прозрачным стеклом – отделен. Как и обитатели его. Геометрия и суховатость свойственны XVII его веку – времени высшего и утонченнейшего цветения его. Не скажешь: «это мое». Но и не пройдешь равнодушно мимо. Слишком замечательно.

Что говорить о Париже – на нескольких строках. Добавлю только так: за семнадцать прожитых здесь лет часть жизни осталась в домах этих, улицах. И сейчас вот – как будто обычно льет Сена мутные воды под пролет, где огромный каменный солдат в кэпи, с ружьем поддерживает собою мост и два рыболова, как всегда, удят рыбу, а два дурака глазеют на них: но это необычно. Сейчас Париж умирает. На каком языке прочитать ему отходную? И кому надлежит это сделать? Над человеком читают «Живый в помощи Вышняго», 90-й псалом. А над городом?

Впрочем, Париж еще жив – еле дышит, [но не смолк].

* * *

В ночь на пятницу я не мог заснуть. Где «они»? В Клиши, на Монмартре, или уже здесь, на avenue Bosquet? Тьма безмолвна. Конец! Кто хотел и кто смог уйти – те ушли. Осталась лишь кучка. Спят ли оставшиеся, или, как я, лежат на спине, во тьме?

Часам к трем стали слышны пропеллеры. Не весьма приятный, буравящий звук. Родится далеко, быстро растет. Когда машина проносится над головой, то какое-то завывание слышишь, потом бурав убывает (с радостью вспомнишь из школы: «обратно пропорционально квадратам расстояний» – т. е. быстро...) – и замирает. Нравится ли это раздражительному аббату под нами? Ведь это немецкие аэропланы! Так-то вот жили тут католические девицы, лавочники, аббаты, старомодные рантье и считали себя солью земли, Париж свой центром мира. Но труба загремела. Все рухнуло. Все это давно возвещено всем нам, и всегда забывается. Когда для нас загремит, тоже и мы будем изумлены: почему же так скоро?

В десять утра мы пили кофе в столовой. Я подошел к окну. По ул. St. Dominique, налево, у табачной лавки остановилась парная мотоциклетка. Два солдата слезли с нее, разминая ноги. Были они в шлемах, шинелях зеленовато-лягушечьего цвета. Спокойные молодые люди, довольно мирного вида. Будто в гости к нам приехали. (Готы Алариха, входя в Рим, держались несколько иначе).

Закупив папирос, гости вновь сели в свою третатульку. Собрались любопытные – тоже совершенно невоинственно. Рассматривали их, как у нас в Байдине или Копёнках венгерцев с товарами. А эти, оказалось, ехали к Эйфелевой башне – менять флаг.

Днем опять бродил по городу, в нашей стороне. Утренние немцы успели вывесить на Эйфелевой башне свою свастику. На французов она произвела впечатление. В кучке соседей наших, глядевших с тротуара на шишак башни, шел спор, французский или немецкий флаг поднят. Хотя Париж занят, немцев все видели, все же хотелось, чтобы продолжал висеть французский. «Это не может быть немецкий, я свастики не вижу», – говорила взволнованно дама. Молодой человек возражал: «А я вижу, именно свастика, у меня глаза хорошие». Другая дама, старенькая, в стоячем воротничке из рюшек и с бархаткой на шее, – благообразный XIX век, – негромко заметила: «Ах, флаг, флаг! Но ведь это только маленькая подробность»! И заплакав, отошла.

В шестом часу я стоял на мосту Альма. Никого не было. Изредка, очень редко, проходил человек. По Quai d'Orsay проносились автомобили, камионы победителей. Incipit vita nuova[1]. Можно уж было читать 90-й псалом».

11 апреля 1941

Зима оказалась суровая: какая холодная! Весь январь лежал снег, как следует, хоть на санях поезжай.

Мы перебрались в мою комнату. Там печка. На крохотном столике у книжных полок «вкушали». За своим столом, все еще своим пером, на своей бумаге продолжал я странное свое занятие. Литература, конечно, роскошь. Но я не могу из нее выйти – вероятно, и дух жизни отошел бы от меня тогда. Летом кончается сороковой год моего в ней пребывания, как в начале февраля отсчитано мне было самому шестьдесят лет.

Зимнее бытие вносило даже черту молодости: что-то студенческое в этой тесноте, печке, книгах. Только бы еще экзамены сдавать. (Но экзамены, очень долго снившиеся, перестали даже сниться.)

Приближение смерти бесспорно. Болезней еще нет, но оттенок отношения к жизни иной. Собираюсь прочесть Сенеки «О преимуществах старости», по медлительному своему характеру никак не соберусь. Все равно, и без Сенеки кое-что знаю. А самого главного все равно не узнаю, всю жизнь о нем думал, а не уз-

---

[1] Начинается новая жизнь *(лат.)*.

наю. Но ощущаю спокойствие – и то Бога надо благодарить. Да и вообще надо мне Его благодарить: неустанно, неустанно. Я не заслужил. Велика была Его милость ко мне. Но я не заслужил.

Странно, в приближении вечности, <живя среди катастроф, не перестаю любить разные милые вещи – книги, например. Смотрю на полки свои книжные, знаю, что недолго уже видеть их, да, может быть, еще пока и жив выгонят из страны, квартиры. Все же, если бы была возможность, именно книги бы покупал, всю комнату заставил бы. Не так давно, утром проснувшись (в ледяной столовой, под теплым пальто с котиковым воротником), стал вспоминать, какие у меня были книги в России – и жалеть о них. Хорошие были! Жалел я их искренно. Герцена перечитывая уже здесь, вспомнил, какой светло-желтой, мягкой кожи были корешки переплетов моего тамошнего Герцена. (Переплет, будто, лучше автора). Скучал по Тютчеву своему, по Баратынскому. По книгам современных мне писателей: почти вся большая литература начала века стояла у меня в спальне, с автографами. Ведь это теперь редкость! Впрочем, к русской книге сейчас относишься вообще как к редкости. Как она беззащитна! Может только исчезать, появляться не может. Испытываешь щемящее чувство любви. Нет, мы, писаки, неисправимы. Недаром дочь, когда была девочкой, называла меня «книгель» («Книгель пошел во флигель»). Книгелем, очевидно, и в гроб ляжешь. Что же «сии на колесницах, сии на конех», а вот мы «именем Господа Бога нашего».>

15 апреля

Весна, тепло наконец, солнышко. Это уж благо бесспорное, что бы ни случилось. Бесспорна прозелень леса Булонского, то впадающая в желтоватость, точно пух цыпленка вылупившегося, то настоящая, острая, нежная. А то увидишь лилово-цветущее деревцо. И пахнет лесом, весной – слабей, чем в России, а все-таки...

И всюду в Париже весна. Но нет радости. Да и Парижа настоящего нет.

Париж был, и апрель был тридцать четыре года назад – первая встреча. Давно! Целая жизнь. Молодость, первая книжка, первый успех, все, все еще впереди.

Мы поселились в отеле – пансиончике на Notre Dame des Champs – но там не столовались. Только утром пили кофе, а потом уходили на целый день: путешественники из Москвы, все надо посмотреть, везде побывать.

Апрель выдался холодный, и это удивляло. Забирались в такую Европу, а приходится камин подтапливать! И часто дождь.

Комната небольшая, с зеркалом в золоченой раме над камином, с бронзовыми часами на нем, необъятная кровать, все как полагается сказать. Коридорчик такой узкий, что вдвоем трудно разминуться, вниз винтовая лестница, очень чистая, с ковриком, но тоже теснейшая. В таких отельчиках на Монпарнасе больше жили иностранцы – вроде нас артистический круг: датчане, норвежцы, англичане. Е.А. Бальмонт показала нам ресторанчик вблизи, на Bd Raspail. Там всегда тоже художники, студенты, молодежь всякая. Мы нередко завтракали тут – в тесноте, смехе, веселом духе богемном.

Был ли я робок, или вообще деревенщина – меня пугали шум, многолюдность, громадность Парижа, его толпа. После Притыкина и Москвы это столица! Как бы зрелище человечества. Оно движется, толпится, гудит, в положенные часы завтракает и обедает – в нем теряешься.

Были уже автомобили, но мало. Облик их показался бы теперь уродливым, как странны и дамские шляпы того времени, моды – все вообще иное. Все-таки Париж был живой, полный, сам себе хозяин, нравится ли он тебе или не нравится – это Париж, мировой город.

Более тихие места в нем я любил. – Люксембургский сад, галереи Одеона с книгами. Из Парижа мы направлялись в Италию – и в этих галереях, букинистами разукрашенных, среди разных Мольеров и Руссо я нашел, что мне надо: историю живописи итальянской – Лафенетра, книжку немудрящую, со скромными гравюрками, которую все же усердно читал в свободную минуту у себя на Notre Dame des Champs.

И Люксембург, парк его, музей, книги Одеона, Обсерваторские аллеи так и остались в памяти обликом Парижа артистического. Интересно ведь *узнавать* – особенно в том, что нравится. К Италии влекло, вот и радостно было увидеть в Лувре Леонардо, прочесть у Лафенетра о Сано ди Пьетро и в Шантийи встретить его. Так уж устроен человек–наделен жаждой. Даже сейчас не хочется упустить дня, чем-то новым овладеть. Потому и читаешь, и лекции слушаешь охотно – разумеется, не по кристаллографии.

Но ведь тогда, в Париже, жизнь не кончалась, а начиналась.

Сколько хотелось присвоить из чудесного Божьего мира! Что же, я так устроен: знаю отлично, как страшен, жесток, гибелен этот мир, но всему в нем есть обратное, и мне дано видеть не гадость, а прекрасное его, больше любить, а не ненавидеть. Изображать чаще и лучше очаровательное его и светлое, чем

тьму и зверство. По писанию моему всей полноты мира не узнаешь. Я односторонен. Так мне назначено.

Вот и Париж тогдашний, хоть не всем мне понравился, а в памяти сохранился с лучшей стороны. Может быть, именно со стороны вековой школы – артистизма, литературы, живописи. И собственная молодая жизнь сливалась с этим духом Парижа: жажда познания! – вот таким знаком встретил я Париж.

Почти месяц прожили мы в нем. Сил было много. Бегали с утра до вечера. Посмотрели немало. Побывали в таких музейчиках и местечках, куда потом за шестнадцать лет жизни не пришлось заглянуть.

Какое было тогда передвижение в Париже! Метро всего две линии: поперечная да круговая. Но и круговая неполная: можно было от Этуали доехать только до нашего Bd Raspail.

Метро это нагоняло на меня некоторый ужас: так быстро несется, такая толпа на перроне! (Запомнился навсегда запах: был обычай посыпать станции порошком мыла миндального. Запах миндаля!)

Для моего ритма больше подходили омнибусы. Мы любили с Верой забираться у Одеона на империал. Краснорожий кучер с бичом, здоровенные лошади – отплытие ковчега с левого берега Сены к Опере, Мадлэн. С нашей трибуны неторопливо проплывал торопливый, многошумный Париж. Девиз омнибуса с моим совпадал:«спешить некуда».

Среди этой молодой, пестро-студенческо-путешественной жизни осталось и воспоминание пронзительное.

Раз зашла к нам Е.А. Бальмонт, сказала:

– Знаете, тут рядом с вами умирает Гюисманс.

И добавила: умирает мучительно, у него болезнь глаз, ему зашили веки.

Как молодой российский литератор просвещенного круга, должен был я иметь понятие о Гюисмансе. И имел. Читал еще в Москве его «A rebours»[1] – без удовольствия, все же это был «наш», настоящий писатель, и так страшно умирает. Проходя мимо дома его на Notre Dame des Champs, все представлял себе – как это с зашитыми веками.

А в конце концов умер Гюисманс, мы этого не заметили. Мы были полны собой, своей цветущей жизнью, впереди Италия, сзади могучая Россия. Именно что могучая. И живя поднебесно, мы не испытывали тревоги и в Париже, хотя деньги прожили почти все. Ничего! Русский издатель выручит.

---

[1] «Наперекор» (*фр.*)

Приближался май. Вера купила себе за 28 фр. летний костюм, я тоже летний, белый в полосочку за 10, и чтобы тронуться во Флоренцию, заняли мы у Е. А. 400 франков.

Дождь лил в тот вечер, когда мы садились у дверей пансиончика нашего в извозчичий фиакр. Толстомордый кучер, налитой красным вином, в резиновой накидке, в цилиндре, с бичом... – и огни Парижа сквозь окно в слезах, Gare de l'Est, поезд, бешеный ход его, ночной крик с платформы: Труа, а потом утром: Бельфор! И уже днем Швейцария, днем С. Готард, где едят бутерброды на станции перед туннелем – от высоты в ушах слегка шумит.

А затем после длинного туннеля полоумный, в свете, тепле, радости-восторге лёт к разным Беллинцонам, Лаго-Маджиоре – Италия. Как же не благодарить Бога, что даровано мне было столько прелести и красоты мира, что дарована была легкая юность, любовь, искусство, райский месяц май 1907 года во Флоренции, Виареджио, Равенне?

1 мая

По возвращении из деревни. Двадцать месяцев не выезжали из Парижа, с начала войны. А вот теперь выехали. «И равнодушная природа красою вечною сияет». Вряд ли природа равнодушна, и сияла она в этом апреле очень живо и жизненно: белым, лилейным одеянием цветущих вишен, груш – залиты сады цветением. Спустишься из дома, понюхаешь: груши слабо пахнут, жалостно. Вишни вовсе «безуханны»».

Очень нежны и воздушны и тоже одухотворенны были дали со взгорья – светло-голубеющие, светло-зеленеющие, все легкое, мягко размытое, сливающееся в слабый весенний туман. Коегде коричневые загоны, ярко-желтые полосы – сурепица? Но все именно живое, а не «равнодушное», дышало, имело смысл.

В этом доме, у друзей, мы проводили последние дни перед войной, отсюда выезжали в последнее мирное путешествие. После нас в доме стояли германские войска. По внешности будто ничто и не изменилось... – только вот хозяйка не пережила войну, бегство: скончалась. Теперь лишь тень ее в доме. Да доброе и грустное воспоминание.

Конец апреля все-таки дохнул холодом, напомнил апрель молодости нашей в Париже. Но в день отъезда опять чудное солнце, тепло. Как некогда мы ездили на лошадином омнибусе от Одеона к Мадлэн, так теперь на огромном, майски-лоснящемся коне неторопливо катили на станцию среди легчайшей прозелени полей. Очень жаворонки старались в вышине! Да и

правда, хорошо им петь в таком сиянии. Вот уж, действительно, – «Слава Тебе, показавшему нам свет».

Всегда мне казалось, что жизнь – это смена путешествий, вплоть до последнего.

Так и теперь. Скромнейший поездок местный долго влек нас к Парижу – среди бледно желтеющих, опушенных тополей, узкого серебра Ионны, мимо собора Санса: то, что называется в Италии treno omnibus[1] [– сколько прекрасных воспоминаний связано с такими treno где-нибудь под Сиеной, Падуей! Так что приятно было ехать].

[Но в Италии был тогда мир. Именно благоденствие и тишина, крестьянские соломенные шляпы, фиасочки вина на станциях, корзинки винограда... – Тут тихо тишиною пустыни. Есть и следы войны –] взорванные, наскоро починенные мосты, здания с выбитыми окнами, разрушенный старинный виадук. [На остановках – ни газетчика, ни лимонада, ни вина, ни кусочка съедобного].

Наши убогие вагончики постукивали себе постукивали на стыках рельс и доставили нас, с двумя дюжинами деревенских яиц и куском сыра, в Париж – отметив еще один перегон скоротечной нашей жизни.

VII

27 июля 1941
[Bussy-en-Othe]

Завтра день св. Владимира. Для кого именины, для меня другое. Сорок лет назад как раз в этот день преломился путь мой: были двадцать весен, двадцать зим, потом кто-то произнес: «новая жизнь» – дунул на меня – она и началась.

Дуновение шло и раньше, но ныне закрепилось, окончательно овладело, как бы припечатало. Первый появившийся рассказ. Первая подпись, кипятком по сердцу, по ногам, сумасшедшее волнение весь день – из гордости скрываемое: да, стал писателем.

Недавно сказала одна дама: «Что же теперь о себе раздумывать, когда с Россией такое происходит. Мы ничто. Нас может волновать и занимать лишь родина».

Верно. И очень благородно. Но у меня не выходит. О родине, разумеется, постоянно думаю, ежедневно о ней молюсь, но о себе забыть не могу. Дама может меня укорять – что же поделать. [Мало ли за что еще можно меня укорять.]

---

[1] Пассажирский поезд *(ит.)*

Я и сам удивляюсь: решаются судьбы России, пожалуй, что и Европы, а я вот живу себе в бургундской деревне, в старинном отличном доме, в тишине, удобстве. В сущности веду жизнь барскую. Выхожу в поля, как бывало в Притыкине. Наслаждаюсь зеленым великолепием леса, грибным запахом, золотом заката, золотом света сквозь зелень (положительно, свет сквозь зеленую листву – мой друг. Я заметил это давно, в Провансе). Мало ли еще что радует: спелые вишни на деревце, сова в сумерках, голубая вуаль далей, простор и безмолвие комнат. [(Молчаливые, большие комнаты – великая роскошь и краса жизни. Всегда нравилось. Особенно ощутилось на Афоне, в монастырской гостинице: пустынные коридоры, тихий мой номер, балконы в цветах, огромная гостиная прежних приемов. Я подолгу гулял в ней, по половичку, среди теней игумнов, великих князей, митрополитов)].

Завтра приезжает мой духовник архимандрит Киприан. Его комнату, за стеной, рядом с нашей, мы называем «архимандричьими покоями». Из покоев этих дверь, две ступеньки вниз, там вроде келийки, будущая часовня. Сейчас в ней еще голо, пусто, один Лик Спасителя над скромным столиком, где лежит псалтырь да несколько свечей (здесь о. архимандрит уже служил панихиду по покойной хозяйке дома).

Эту часовенку называем мы Sainte Chapelle и по утрам ходим туда молиться. Очень хорошо! Никогда раньше не приходилось вот так... – Начинаешь понимать, как прекрасны и нужны были в настоящих замках домашние церкви и капеллы.

И опять все это только *твое,* твоя жизнь, а не родина. Опять, значит, вразрез тому, что дама говорила.

А чтение? Томики Беренсона «Les peintres italiens de la Renaissance».

Что может сравниться с гармонией, музыкой живописи итальянской? Какая, однако, связь с русской трагедией?

14 августа [там же]

День сорокалетия литературного прошел тихо. О. архимандрит отслужил в Sainte Chapelle благодарственный молебен – мы помолились.

Какая б ни была дальнейшая судьба моя, одно уж то, что сорок лет мог я свободно отдаваться своему труду в спокойствии, в ближайшем окружении любви – это великая милость. Милость и то, что я еще здоров, не расслаблен и люблю жизнь. [Хочется узнавать новое – охотно слушаю лекции, а если б пустить меня путешествовать – куда бы заехал! И литературу люб-

лю. Вообще ее люблю, и самому работать в ней. *Не* надоело. Как не благодарить?]

Значит, сейчас я вроде *старого студента*, а в 1901 г., летом, был студентом молодым, только что принят в университет. Формы еще не носил, ходил в штатском. И с сестрой, с будущим ее мужем впервые побывал близ Кавказа: в Кисловодске, Пятигорске, Железноводске.

Мы тогда проехали через всю Россию, пред нами разворачивала она и поля свои, и степи. Орлы летали над горой Железною в чинарах. Эльбрус я видел в первый раз – таинственно снеговым треугольником восстал он однажды в погожий день над горизонтом – пригрезился за триста верст. Больше и не показался.

Теперь родина пылает. К многолетнему ее страдальчеству прибавилось и новое. С ужасом думаю о зиме в России. Голгофская страна! Судьбы происходящего загадочны. Можно поразному их понимать. Но чаша предложена. Поздно молиться о том, чтобы она миновала. А просто: «Ослаби, пощади, просвети, Матерь Божия, покрой святым твоим омофором».

Ибо: «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни» (Матф., 24, 22).

Война с Россией началась 22-го июня, в день Всех Святых на земле российской «просиявших».

24 августа [там же]

Вот так погодка! Петух над колокольней повернул на юг – теплая сырость. Облака дымны, низки, набежит дождичек, перестанет, опять... – Под зонтиком выхожу все же из деревни, к лесу. Лес этот прекрасен даже в дождь. Дубы, ореховые деревья, много акаций. Вот сейчас их листочки перистые сплошь в каплях серебра. Дождя нет, но в зеленой тьме леса непрерывно льет – деревья отряхают в ветерке эти капли, нет сил больше держать их.

Возвращаюсь опять под дождем. Вся окрестность, холмы над деревней завешены им. Как знакомо! Сколько в хмури такой бродил по полям родины...

Дома «радио». «Элегия» Масснэ, исполняет Шаляпин.

С детства знакомая мелодия. С юности голос знакомый – широкая река, вольная, могуче-баритонально-бархатная. Ока, Волга? Россия?

Этот огромный Шаляпин с белесыми бровями и ресницами, «блондин даже в глазах», лежит в Париже на кладбище Batignolles. Мы недавно там были, о. архимандрит отслужил

даже литию на могиле его (одинокой и уже заброшенной: русский деревянный крест, плита – ни цветочка, ни букетика).

«Та-ак без воз-зврата прошли,

Лучшие дни, дни чистой и свет-тлой люб-бви!»

Да, это Федор Шаляпин лучшей поры, запечатленный магическими нашими машинами, магически воссоздаваемый – страшный замогильный голос. Может быть, мы тревожим вечный сон? Может быть, это вроде вызывания духов?

«Дни чистой и свет-тлой люб-б-бви!»

В двести лет раз такой явится. Это дары России. Великие – не последние ль?

Победитель безмолвен. Река продолжает литься.

Вдруг однажды «на коротких волнах» (или «на длинных») наши внуки услышат голоса наших душ, не певцов, не Шаляпиных – просто предков. Я, например: 481, 52; Вера – 482, 76?

10 ноября. Париж

<Сороковой год начался, как мы вместе [с Верой]. Отмечаешь верстовые столбы, пройденное яснее. Видишь его со стороны, все так давно было, точно это не ты, а другой.

Дольше живешь, больше чувствуешь Промысел. Он даже в строении твоей жизни. Вот начинается литература – и подруга является, будто случайно, из-под земли. Но не случайно. Такая как надо. Трудно говорить, слишком личное, но это так. В блеске и свете молодости, любви – опора. Воздух, «легкое дыханье». Жизнь не может быть легкой и безгрешной, но женщина может тянуть вверх или вниз. Слава Богу, есть натуры: если бы и хотели, вниз тянуть не могут. Да и не хотят!

А место, где встретились мы, где прошла молодость, в беде... «Москва – это город, которому придется еще много страдать» – Чехов не ошибся. Много Москва видала в революцию, да видно не допила.

Двадцать четыре года назад в это самое время кончилось в ней восстание. Красные победили. Я приехал тогда из деревни на ноябрьский снежок Москвы поверженной, в разбитых окнах, вывороченных столбах, тихой и мертвой. В нашем тогдашнем ребячестве мы считали, что новая власть продержится три-четыре недели. Прошло еще три года. В эти же самые дни, в ноябре, красные взяли Перекоп, ворвались в Крым. Это была их завершительная победа: белые сокрушены вовсе. Гражданская война окончена.

В холодные дни солнце кроваво вставало над нашей деревней. Было тихо, морозно, лежал неглубокий снег. Со станции

Мордвес каждый день привозили газету. Успехи, успехи! Какая смертная тоска в эти морозные ноябрьские дни!

Кончились последние белые, в деревне поднялась температура. «Веру надо на лесные работы, она здоровая. А Бориса в Каширу в исполком, писарем. Он писатель, вот пусть и пишет» – таков голос правящих сфер.

Ни Борис, ни Вера в руки не дались. Путь лежал на Москву. А там – «на дальний запад».

И вот двадцать лет мы уже здесь.

Будем ли дома? и лежать ли нам в Москве на Девичьем, с матерью на Дорогомиловском, или здесь, на углу rue Thiers. Этого мы не знаем. Но то давнее, крепкое, что жило в нас при всей нашей неискушенности: не может так просто и мило, вничью и благополучно закончиться виденное – это сбывается. Кара пришла. Страшное страшным кончается.

Что-то будет с Россией?>

11 декабря 1941

Вчера похоронили Мережковского. Он скончался в воскресенье 7-го, утром. Вот как рассказывает об этом Зинаида Николаевна.

«Он в субботу совсем был здоров... как обычно. Утром занимался два часа, потом завтракал... да, потом прилег на диванчике. Днем ходили в кондитерскую, он пирожки любил. Вернулись, пообедали... да, все как обычно. Вечером читал, лег в час с чем-то. Я зашла с ним проститься, всегда это делаю... Мы ведь пятьдесят два года вместе, и ни на один день... не расставались ни на один день. Так вот, я присела к нему на постель, потом поцеловала, перекрестила и пошла... ну, к себе. Заснула. А утром меня femme de menaqe[1] будит: «Madame, идите, Monsieur... ему плохо». Я прибежала, он в халате, в кресле, тяжело дышит... хрипит. И без сознания. Вот. Доктора сейчас же позвали – он сказал: tres qrave[2]. А Димитрий уже и скончался. Нет, он не страдал.

Она помолчала.

– Я всегда хотела раньше его умереть, и была уверена, что умру... А вот вышло иначе».

В понедельник были мы у них днем. Дмитрий Сергеевич лежал на кровати своей, на спине, в руках иконка. Подбородок под-

---

[1] приходящая домработница, прислуга *(фр.)*.

[2] очень печально *(фр)*.

вязан. Я долго на него смотрел – мне показалось, левое веко его дрогнуло. Точно он подмигнул. Наверное, это в глазах зарябило.

Во вторник панихиду служил архимандрит Киприан. Очень взволнованно. Ему давно хотелось встретиться с Мережковским. Около месяца тому назад мы привели его, в воскресенье, в эту квартиру. Они познакомились, разговаривали очень дружелюбно. – Мережковские сидели в пальто, в квартире нетоплено. Д. С. был несколько размягчен, теплее обычного (а вид неважный – припухлости под глазами, на голове темное пятно, будто от небольшого кровоизлияния). Он попросил о. Киприана передать приветы Карташеву, о. Сергию Булгакову, на Подворьи. – Принесли новые его книги, по-французски – «Паскаль», «Лютер». «А сейчас работаете, Дмитрий Сергеевич?» «Пишу о маленькой Терезе. Если Бог даст жизни...»

Слабый он был в тот вечер, хилый, не-герой. Бог дал ему жизни еще недели на три. О. архимандрит увидал его в следующий раз уже на смертном ложе. Он казался более прямым, чем обычно, на спине недвижно лежал пред Богом, как всю жизнь пред Ним стоял. И когда жил, то волновался и кипел, все вопрошал, допытывался, может быть, даже «беспокоил» домыслами своими, хотелось и в Иисуса Неизвестного проникнуть, и движение Духа в Церкви понять, разгадать Святых, Апостолов, Учителей. Искренность, преданность, страстность – несколько ледяную, конечно (как вообще была в нем льдинка) – проявил. Многого ли достиг? Не так очень многого, но ведь и цель... – где же вполне достигнуть? Скажут, конечно: чтобы такое вопрошать, надо быть самому святым, а не литератором. И тогда, мол, смиреннее будешь проникать – не насильно, не стучась, а что сам Господь приоткроет.

Конечно, он к святым отношения не имел и на это не целился. Он из нашей братии, просто «пишущих», себя очень любящих и высоко ставящих, не-смиренных. Бывал, разумеется, дерзновен. Но при даре его, прямоте, упорстве, сколько мог *расчищал*. (И колебал, шевелил.) Беспокойный пред Господом. (Насколько это лучше, чем равнодушный!)

Еще черта: он был весь как бы *вне* себя, то есть весь в творчестве своем, искании. Собой самим, личностью своею, «моральным» в ней не занимался. Был вообще «по ту сторону» многого. И думаю, чувства греха, покаяния мало были ему свойственны. Грех расщепляет человека. Раздвоенные особенно ощущают покаяние. А он был цельный. Никак не безгрешный, но грех его не занимал – в судьбе его мало значения имел. Его занимало познание.

Считается, что нехорошее внезапная смерть – не успевает человек упорядочить высшие счеты. Дмитрий Сергеевич умер внезапно. Но у него, я считаю, счетов душевных с Богом было мало. Бог его принял легко и быстро. (Мой домысел: прошу за него прощения.)

И как писатель, и духовно Мережковский рос непрерывно. Последние произведения его очень остры и гораздо глубже ранних – сам он особенно придавал значение «Иисусу Неизвестному».

Похороны были тихи. Утренняя тьма, церковь на rue Daru.[1] Мало народу. И единственный букет цветов на гробу – от знакомого «не-арийца». Покойный называл его «добрый Самарянин». И был прав. Самарянин не забыл его над могилой.

Без Мережковского стало просторнее, пустынней. Высокой выработки теперь нет. Что говорить! Смены нет. Ну, он умер «на позициях». Дай Бог так всякому из цеха нашего.

27 декабря

Прошел год. Осталось ему несколько дней. Войны год третий, из всех самый кровавый. Теперь дерутся уже по всему свету. Если дальше так пойдет...

А некоторые на мир надеялись давно, еще прошлою осенью. Боже, чего только не приходится слышать! Я теперь мало спорю. И сам мало знаешь, а если и знаешь, то человеческого упорства не переспоришь. Все почти говорят о происходящем так, как им хотелось бы, чтобы оно происходило. А мне чего хочется? – Такого, чего наверно не будет. Поэтому мне, как будто, и легче быть беспристрастным. Те ли победят, эти ли, хорошего не вижу. Может быть, разные степени дурного. Но это оттенки. А при «беспристрастии» своем ошибаюсь, конечно, и я. Но это совершенно безразлично: слава Богу, ничто от меня не зависит. Не завидую управляющим судьбами государств и народов.

<Мы живем с Верой в одной комнатке, как прошлую зиму, топим, худеем, во все большем одиночестве. И вот я еще что-то пишу!

Не знаю даже, что ответить, если бы спросили, чего желаешь в году наступающем? Прежде журналисты нас спрашивали об этом. Мы кратко расписывали какую-нибудь чушь. А теперь прекратилось все это. Да и к чему, правда? Нехорошо вышло бы. Даже, пожалуй, смешно!

---

[1] Кафедральный собор св. Александра Невского.

Можно, конечно, и так ответить: 1) голодать не хотелось бы, 2) холодать, 3) хворать, 4) в уныние впадать. А потому вот и нашлись пожелания – и даже добавлю: Боже, сохрани дух бодр, сохрани близких, и любимых, не дай впасть в нищету, болезни, во всякое убожество. – А про мир? Все понятно, но тяжело говорить.

4 февраля 1942

«Ты живешь в сияньи дня,
Ты живешь не для меня» ..

Перечитываю Жуковского. Милый поэт. Голос тихий, иногда сладостный; простодушный, но мудрый. Жизнь, пронизанная печалью, но и примирением. Вот кто настоящий «поэт покорности и примирения».

Старость Жуковского «вызрела» из всей его жизни. Тихо жил, тихо созрел, мудрецом умирал. 1852-й год. В феврале Гоголь ушел, в апреле Жуковский – друзья. Дорогие мои.

Гоголя след с детских лет прочертился в сердце. Жуковский пришел позднее. Обоих очень люблю, хоть и силы их разные. Какие они письма друг другу писали. Вообще – что была за Россия! От нее остались пожарища, пепелища, все равно, дух вечен. Вечные голоса дойдут из-под ужаса, мрака. Смотришь на русскую книгу теперь с волнением – и любовью (особенной). Ей ведь вверено сохранить, передать более мирным и счастливым поколениям образ России – не звериный, но истинный. Гоголи и Жуковские за нас заступники. Если б они живы сейчас были, я бы им сказал: «Старайтесь, ради Бога постарайтесь, милые мои, побольше и получше напишите»! И сейчас мысленно обращаюсь к собратьям моим, современникам еще живущим, еще «на лире бряцающим» – тоже: бряцайте, пожалуйста, до последнего даже издыхания. Кто может – стихами, кто может, рассказами или романами – все приемлется». Мережковский – в своем особенном роде, но благородно трудился... и пока жив был, всегда радовало, что вот этот хилый, сгорбленный старичок на восьмом десятке не складывает рук. Дай Бог каждому из нас кончать так, как Жуковский. Но это надо заслужить. Это плод жизни высокой, подвижнической, удобренной преодоленным горем. «Поэт покорности и примирения» – это надо оправдать.

Леля Б[елоцветова с мужем] задержалась в Риге до ухода большевиков (в июне 1941) – не успели бежать. Накануне вступления немцев к ним в квартиру ворвались – на глазах Лели мужу выкололи глаза, вырвали язык и в гостиной повесили его на люстре.

14 февраля

<С русского фронта приехал в отпуск шофер-армянин. Пошел к митрополиту и передал письмо епископа одной из занятых местностей. Послание это провез он зашитым в одежду. Епископ пишет, что остался почти вовсе один: часть священников перемерла, часть уничтожена, часть разбежалась. Служит сам, сколько может, служит в ситцевой рясе, в митре священника. Епитрахиль – из музея безбожников. Наплыв верующих огромный. Особенно много крестятся – владыка едва успевает крестить их, сил не хватает. Нашего митрополита умоляет прислать св. мира, необходимого при крещении.

Митрополит приготовил пузырек со св. миром и сказал зашедшему к нему перед отъездом: «Вы армяно-григорианского исповедания?» «Да». «Но православие признаете? Нашу религию уважаете?» «Так точно, Ваше Преосвященство». «Ну, так вот вручаю вам святыню. Дайте мне торжественное обещание, что все добросовестно выполните, не посмеетесь, не унизите... Помните, что это был бы величайший грех».

Армянин стал на колени, перекрестился на иконы, поцеловал скляночку со св. миром (чтущимся в церкви нашей непосредственно за св. Дарами), даже прослезился и сказал: «Вот здесь у сердца буду хранить, на живом или на мертвом на мне будет это доставлено».

Так сказал неизвестный мне армянин, а я рассказ этот слышал на обеде, а потом ночью проснулся, вспомнил, опять пережил, взволновался, все заснуть не мог. И теперь, в спокойную минуту, записываю.

Доехал ли армянин?

21 марта

Мы выезжаем по вечерам редко, очень редко. В концертах и совсем почти не бываем. Но тут меня соблазнил архим. Киприан. – Я проявил даже известную жизнедеятельность– заранее взял два билета (последних в доступную мне цену). И во вторник 3-го, около 8 часов вечера мы подымались с Верой в первый ярус залы Гаво, на Бетховенский концерт.

Архимандрит не запоздал, появились и наши знакомые барышни, время шло как полагается. Серьезные музыканты устроились на авансцене под уютной стоячею лампою с золотисто-коричневым абажуром. В полумраке из теплого этого пятна света, под смычками скрипачей, виолончелиста, возник Бетховен. Сверху нам видны были лысины исполнителей, их смычки, мягко, иногда змеевидно ползущие, вздымающиеся, вычерчивающие

свои линии, как в нематериальном будто бы мире вычерчивает Бетховен звуковые свои рисунки. Все это очень строго, довольно формально, таинственная и священная игра, *забава* гения. Нравилось, видно, ему любоваться (создавая их) такими струями и переливами, он был еще молод, быть может, и не вполне тот Бетховен, какого мы с детства знаем – во всяком случае, свою забаву человечеству навязал, и вот мы слушаем его через сто лет, замогильно владеет он нашим вниманием, сдержанным возбуждением. *Оттуда* заставляет чувствовать, как входишь постепенно в строгий, чистый его мир.

Около десяти, в последнем квартете, к звуку скрипок и виолончели приросло глухое рокотание. Не то гроза, не то огромный камион проехал. Бетховен продолжается. Вновь рокот. На этот раз вдруг пролетело в мозгу: отлично, они мирно разыгрывают, если же бомба пробьет крышу и ахнет – мокренько от них останется. Да и от нас, разумеется. Балкон над головой вот сюда полезет, мы сами косвенно вниз... – глупости какие, ведь сирены не выли, о чем же там говорить. Наверно, гроза.

Музыканты спокойно кончили. Мы в толпе мирно вышли на улицу.

Удивил розовый отблеск. И ракеты в небе, вернее, плавающие светильники, светло-малиновые. Но тут так забахало, что о грозе, камионах думать уж невозможно.

Но сирен почему-то нет. Метро Миромениль не заперто, чрез несколько минут мы уже неслись знакомым путем на Трокадеро, Porte St Cloud. В вагоне светло, тепло, ничего и не слышно кроме грохота поезда. Все-таки: едем домой, но ведь там-то, наверное, самое пекло. Почему к пеклу этому мы приближаемся? Теперь это кажется странным. А тогда странным не было. Ехали и ехали. Не оставаться же ночевать на улице.

Далее Porte St Cloud поезд не пустили. Мы вышли из вагона. Теперь над головой тяжко ухало. Приехавшие толпились, не знали, что делать. Подземными коридорами, вместе с другими дошли мы до выхода – навстречу обеспокоенные фигуры, кое-где усаживаются уже на полу, на сидение долгое.

Выход на площадь такой знакомый. Садик, нелепый носорог, фонтаны... Сколько раз тут входил и выходил, ни о чем не думая.

Кровавым светом освещено все и гром гремит не переставая. Пустыня! Никого нет, а жутко пересечь эту площадь. Вот над домом летит черный аэроплан, совсем низко. Захочет, сбросит бомбу, не захочет – нет. Над Булонью, в нашей стороне, зарево. Иногда ветер налетает, иногда сыплется какой-то горох. Пулеметный огонь, что ли? Нет, неуютно. Лучше опять в подземелье.

Так идет время. То сидим на скамейке перрона, то бродим, то опять пытаемся выглянуть, и опять назад.

Около двенадцати пришли немцы и полиция, заняли выходы.Теперь уж из метро не выпускают. Да не поздно ли? Вот и гром кончился. Толпа повалила из подземки.

Ночь, луна. Нет бенгальского света. Молча шагаем по av. Edouard Vaillant. В конце ее страшное красное зарево. И налево другое. Не в Исси ли Мулино? (Там сестра...[1]) «А наш дом сгорел или нет?» Так Вера меня спрашивает. «Пожар гораздо дальше». Помню еще по России, деревне: всегда ночью пожар кажется ближе, чем в действительности.

Сворачиваем влево, на свою улицу. В конце ее виден огромный наш дом. Цел... – а улица вся в битом стекле. Отойдет облачко от луны, осколки блестят, надвинется – тускнеют.

«На углу бомба два дома разбила, у кладбища, – говорят в нашем подъезде знакомые.– Трое убито». «А здесь, в доме плохо было?» Усталые лица, усталый голос: «Ходуном ходил. В погребе ветром поддувало от взрывов».

Наверх подымаемся ощупью, в темноте. Фонарика нынче не брал. Зачем он, луна! А вот и луна, да электричества нет. Воды тоже. Со странным чувством входишь в квартиру. Как тут близко был враг!

Окно в столовой смутно сереет. Подхожу – рука свободно высунулась наружу. По полу и подоконнику осколки. А в кабинете цело. Целы пока книжки мои, рукописи. Моя жизнь еще продолжается.

Отворяю окно. Тихо, зарева теперь не видать, оно с той стороны. В угловом доме близ кладбища брали мы у цветочницы в магазине ведерко– поливать цветы на могиле. Цветочница эта убита. На ее собственной могиле, из того же ведерка, кто-нибудь будет теперь поливать цветы.

Нас Господь пощадил. Когда мы бываем в концертах? Когда? – «В минуту смертельной опасности».

Слабому сердцу Веры – отсрочка. Мне – отсрочка.

Ходил смотреть разоренные места, вглуби Булони. В сером, тихом дне молчаливая толпа меж развалин. Зрелище невеселое. «Человек яко трава, дни его яко цвет сельный, тако отцветет».

В огромном доме уцелела стена и квартиры, к ней примыкающие. А вот и кусок стены выломан. Столовая. Заводили буфет

---

[1] Надежда Константиновна Зайцева, в замужестве Донзель.

rustique[1], стол на солидных ножках. Стол лежит вверх ногами. Буфет по-прежнему радует сердце хозяев, откладывавших свои су, заводивших обстановочку. Живы ли только они сами? Дальше груда камней дымящихся. Их раскапывают. Кто там погребен?

С моста севрского оборачиваюсь на Париж. Предо мной av. Edouard Vaillant, вправо, влево были заводы, дома. Теперь развалины. Некрасивое место, все-таки, кто-то заводы эти строил, «заводил», в домах жили, это Париж, часть того города, где сам живу чуть ли не двадцать лет. Он не мой и я не его. Все-таки...

На мосту, у перил, женщина говорит другой:

– В госпитале бомба упала в детскую палату. Восемь детей погибло.

Возвращаюсь все в той же толпе, прохожу мимо зеркала у магазина. Неужели у меня всегда такое лицо? Или сейчас эти страшные развалины написали на нем нечто – страшными и горестными своими письменами?

7 сентября 1942
Bussy-en-Othe

В марте 1917 года я кончал Военное училище (в Москве). Экзамены отошли. Нам шили офицерскую форму, занятий уже никаких. Теплыми весенними днями можно было сколько угодно лежать на постели, заниматься чем хочешь. На улице светло, мокро, в нашей второй роте – колонной зале – веселый блеск жемчужного дня. Лежа я читал книгу Уолтера Патера «Воображаемые портреты». Военные науки так мне надоели! Патер писал о мирном и всегда милом сердцу. Первый очерк – Ватто. Описывалась родина его, французский городок Auxerre, среди зеленых лугов Ионны, увенчанный древним и прекрасным собором.

Я был меланхолически настроен. Шла война, через полтора-два месяца – на фронт.

Казалось, что с войны не возвратиться. – «Вот и Auxerr'a этого, и лугов, Ионны, собора никогда не увидишь...» Так думалось под щебет воробьев в открытые форточки. И с того дня запомнился городок Auxerre – по-русски было напечатано: «Оксерр».

Но на войне я вовсе не был. Через пять лет оказался в Германии. Через семь лет в Париже – в полутораста километрах от Auxerr'a. Через семнадцать лет – летом же на вакациях – в тридцати от него километрах[2]. Так происходило мое приближение к Auxerr'y. Летом нынешним старый крестьянин сказал мне, что

---

[1] Незатейливый, простой *(фр.)*.
[2] Т. е. в Bussy-en-Othe, в имении Ельяшевичей.

в хорошую погоду с нашего холма видна колокольня осэррского собора. «Une belle Cathedrale, monsieur». Через несколько дней я разглядел с пригорка в туманной синеве башню, а на прошлой неделе мы, наконец, Осэрр посетили.

Оказался он милым городом. С времен Ватто через XIX век – время Патера – менее всего изменился собор. «Une belle Cathedrale», мой сосед оказался прав. Собор прост и светел общим впечатлением своим. Что-то сдержанное в нем, изящно-ясное. Химер мало.

Внутри главный неф прохладен, благородно гол, светел камнем, на котором легкий зеленоватый отсвет (из окон, по-видимому). В первый раз вижу этот оттенок в соборе готическом.

За архим. Киприаном бросились мы в боковую дверь– на лестницу колокольни. Вера тоже подымалась. Триста восемнадцать ступеней! Архимандрит сказал, что это число священное, по библии, по церковной истории (318 слуг Авраама, 318 членов Никейского собора и т.д.).

Наверх поднялись усталые, но были вознаграждены необъятным видом. Черепичные, коричневые крыши внизу, в раме зелено-голубоватого пейзажа со стеклянно-стальной лентой Ионны у ног – да, сдержанное благообразие, изящество собора. Среди этих нив, виноградников, лесочков, лугов возрастал Ватто с легкой, полуфантастической своей и поэтической, изысканной и мерной кистью. Этот край не может породить Гойю или Греко.

Мы пробыли в нем недолго. Побывали в другой старой церкви, потолкались по улицам его, прошлись по берегу Ионны, над которой собор воздымается. Вот там, за рекою и были, вероятно, при Ватто луга. Ныне же все это в домиках и мастерских.

Что еще могу я сказать о городе, приснившемся мне двадцать пять лет назад? Что там приятные, свежие девушки болтают на улицах? Что Осэрр известен отличными пирожными? (В чем мы и убедились.) Что там есть лавки антикваров и хорошее вино из соседнего местечка с мировым именем Chablis? Все это верно. Но возможно, что этот Осэрр явился и точкою в ткани скромной моей судьбы: небольшой станцией не мною намеченного пути.

27 июля 1943 (День св. Владимира)
Bussy-en-Othe

Почти целый год! И вот ничего не записалось. А сейчас написать хочется, да и день нынче особенный – под его знаком я входил в литературу (для меня = в жизнь).

Что за этот год сделано? Очень, разумеется, мало. Все-таки нечто было, что поддерживало и питало. Пришло оно неожи-

данно. Двадцать пять лет лежит у меня рукопись перевода дантовского «Ада». Я его начал до *той* войны. Пять лет работал, в революцию кончил. Трижды он был продан, трижды в «буре эпохи» погибали издательства, его покупавшие. Рукопись вывез я с собой, годы она у меня лежала – и вот прошлой зимой (не могу даже вспомнить по какому поводу) я решил всю ее пересмотреть и сличить с подлинником. Тут и началась новая жизнь: «incipit vita nuova»[1]. Она дала мне и радость труда, и некоторый урок.

Неточностей и ошибок оказалось в переводе не так много. Изменений же мелких, для взгляда читателя, верно, и незаметных, пришлось сделать немало. Изменился я сам. Многое могу сказать по-другому. Может быть, если б еще через двадцать пять лет взглянул, то исправил бы снова. Но через двадцать пять лет меня уже не будет. Этот просмотр есть последний. Для кого делался он? Трудно сказать. Не для печати –вряд ли увидишь его в книге. Для близких друзей? Тоже неточно. Сила же некоторая была, подгонявшая.

Перевод – скромное и смиренное дело. «Molta e fatica, poca qloria»[2] – правильно про него сказано. Никому еще перевод не давал славы. Это «opuscula»[3] из «меньших братий». А вот я со своим переводом ношусь.

В моей жизни (внутренней) он занял большое место. Почему?

Первое: Данте – последняя ступень пред Священным Писанием. Выше его Библия. Остальное все ниже. Так что его переводя, чувствуешь себя почти одним из семидесяти толковников. Второе: я полюбил Данте юношей, с первых моих путешествий в Италию (хотя знал его недостаточно). Он из моих «вечных спутников», как Флоренция, Рим. Третье: это как бы прощание и отчет. Я прощаюсь с тем, что любил в жизни. И даю отчет в том, что делал. Сорок два года писал, надо что-то «сдать». Плохо ли, хорошо ли в конце концов, но хочу сдать «в лучшем виде», с последним усердием. Даны некоторые силы (возможности). Надо их до конца использовать. «Вот я пред Тобою – последний из рабов Твоих. Дурно я прожил жизнь. Суди меня. Но солгу, если буду говорить, что не любил своего дела. Нет, любил. Нет, сколько мог – трудился».

С этим, может быть, легче умирать. Может быть, тут писательское преувеличение. Возможно, со стороны покажется и

---

[1] Начинается новая жизнь *(лат.)*.
[2] «Много тяжкого труда, мало славы» *(ит.)*.
[3] Небольшой труд *(лат.)*.

смешным: чудак какой-то сидит над словами стародавними и старается, чтоб они лучше звучали – а может быть, их никто и не прочитает, никому в милой жизни нашей ни Данте не нужен и ни его поклонник. Пусть. Пусть «смешно» и «чудачество», а я вот Бога благодарю, что дано было провести зиму с поэтом, с Италией, со словом благородным, высоким. Как понимаю монаха шестого века, где-нибудь в Монте Кассино! Со своей горы видел он разные орды, внизу двигавшиеся – к Риму, Неаполю – мало ли их было? Чужеземцы, варвары, свои – тоже вроде варваров... Они свое дело делали: воевали и грабили. Он – свое: переписывал книги священного Писания, древней поэзии и литературы. Украшал их заставками, разрисовывал буквы заглавные, исполнял миниатюры. И чрез страшные годы пронес величайшее, что у человечества было.

Дело такое всегда укрепляет чувство вечности нашей, высшего смысла жизни. Как бы ни было трудно вообразить «будущее» запредельное, уже то, что труд для замогильного, не имеющего, будто бы, к тебе отношения, дает радость и бодрость – это говорит, что смысл именно и существует. «Для чего мне стараться, ежели меня не будет»? – это слова неверующего. И тогда ничего нет, все пустота. Верующий же в Бога из самой вечности ощущает ток живительный. Будто бы я умираю, да не очень. Иначе откуда бы спокойствие и прочность такого труда? – Он спокоен, прочен потому, что в конце концов предложен Богу.

29 июля

Вот, был я молод, полон самолюбия литературного и самомнения. Вместе с П. П. Муратовым (он должен был писать введение и примечания) явились мы однажды к издателю Сабашникову с предложением «Ада». Сабашников захотел посмотреть перевод. «Нет, этого не нужно. Вы знаете, кто переводит, этого достаточно». Такой надменностью был, кажется, удивлен Михаил Васильевич. И скромно сказал: «Я должен сообразить стоимость издания и все точно калькулировать». Это был способ отъехать. Мы с Муратовым и назвали его тогда «калькулятором». «Ад» же куплен был на корню и заглазно К. Ф. Некрасовым, племянником поэта.

Война подошла, революция. От издательства Константина Федоровича рожки да ножки остались. «Ад» купил Гржебин, тоже издатель, приятель мой давнишний (этот не осмелился бы и заикнуться о качестве перевода). Книга должна была выйти в Берлине, уже в эмиграции (1923 г.). Но Гржебин разорился. Затем в Париже Рахманинов взял этот «Ад» – и издательство дочери его

«Таир» прекратилось. Думаю, что и Некрасов. Рукопись странствовала со мной из Москвы в Берлин и в Италии побывала, в Париже. Иногда мне казалось отчасти горьким: вот незадача какая! Все мое печаталось без затруднения, только не это.

А теперь вижу – тут-то и заключается урок: так и надо было ей не выходить – не дозрела. Правильно, что пролежала у меня рукопись.

Как бы я теперь был недоволен, если б она появилась в «сыром виде». Знаю, что и теперь несовершенна, но в пределах возможности все, кажется, сделано. Времени уже нет. Ждать некогда. Она уйдет вместе со мной – таким, как я сложился к концу жизни.

А сейчас начались для этого «Ада» еще некие странствия.

В воскресенье 4-го апреля наша Булонь вновь подверглась обстрелу. Вновь, как и в прошлом году, нас дома не было. Налет был недолгий, при ясном небе, в час завтрака. Мы были в церкви на rue Daru, остались на панихиду по Рахманинову. Затем Наташа пригласила нас к себе завтракать – на St Dominique. И только что мы сели, завыла сирена. Раздались взрывы. Сначала не поняли, где это и что: из центра не так ясно слышно. Но к вечеру дома застали тяжелую картину: вокруг нас попали бомбы, строения изуродованы, на мостовой воронка, оттуда бьет пламя газа. Много людей перебито. В нашей квартире все стекла вылетели. Комнаты завалены мусором, битым стеклом. Если бы вернулись и завтракали у себя, все это попало бы нам в лицо – если бы не были еще убиты, проходя от метро домой (там как раз оказались попадания).

С этого дня началась кочевая наша жизнь.

Мы у Наташи ночевали, месяц прожили в полупустой квартире на av. de Breteuil. За эти дни узнали, хорошо ощутили чувство *бездомности*: с чемоданчиками, в метро (от одной не нашей квартиры к другой не нашей, все не у себя). Стекла я вставлял сам, сами мы с Верой приводили все в порядок и чистили нашу квартирку. И было чувство: враг побывал здесь. Явился, напакостил и унесся. (Первый раз уходили отсюда в бурю, дождь, ветер хлестал в выбитые окна... не забыть.)

И вот, временно возвратившись домой, стали мы понемногу вывозить, что возможно. Платье, рукописи, верхнюю одежду. С «Адом» я спустился в подвал одним летним утром, когда вдали глухо бухали взрывы: не хотелось его оставлять наверху на разгром – и увидел он адские коридоры внизу, мизераблей наших, жавшихся там. Мы поистине были похожи на отряд грешников из какой-нибудь песни.

После этого путешествия я увез «Ад» совсем из Булони. Он сейчас на rue St Dominique. Нашей местности, как обещает радио, предстоит еще воздушный погром. Мы же пока в деревне, в том же просторном, светлом доме северной Бургундии, в Bussy-en-Othe. Тишина, второй день жарко, благоуханно. Зреют сливы, поля наполовину убраны. Много крестцов по жнивью. Молодые ласточки упражняются стайками вокруг нашего château[1]. Милые птицы. Вчера прямо усеяли старую грушу против моего окна. Ночью мелодически и таинственно бьют церковные часы. Утром солнце из-за пригорка попадает лучами прямо в наши окна.

Сирен здесь не слышим. Еще две недели можем спокойно спать. Я могу заниматься чудачеством своим, писанием, невозбранно – на последних листах бумаги, оставшейся у меня.

8 сентября 1943
Булонь

Сегодня, в день свв. Адриана и Натальи, Италия положила оружие.

9 сентября

3 сентября, в четвертую годовщину войны, около десяти часов утра загудели сирены. Погода ясная. Мы спустились в подъезд. Там кое-кто был уже. Я стоял с французом у входной двери, выглядывая на улицу. Он вдруг, взглянувши налево, изменился в лице, крикнул всем мизераблям долины: «В абри[2], в абри».

Подземелье быстро наполнилось – коридоры, освещенные электричеством, толпа бедно одетых людей – облик местности нашей. Какая-то женщина плакала. Дети жались к родителям. Наверху бухало. От одного удара грохнуло что-то в нашем подвале, ток нервный прошел по подножию дома. Но ветер не влетел – значит, не так уже близко.

Несколько позже мы вышли. Стрельба прекратилась. Я поднялся к знакомому на самый верх: седьмой этаж. С балкона у него вид огромный, от Notre Dame и купола Пантеона до зеленых холмов медонских со дворцом и обсерваторией. Я изображал в этот день Нерона. Прямо передо мной, за пустым рядом платанов могучих, по набережной, влево от моста к Исси-ле-Мулино, воздымались гигантские черные клубы дыма. Огонь

---

[1] Шато, жилище *(фр.)*.
[2] Укрытие, убежище *(фр.)*.

внизу в них извивался с дьявольским полыханьем и струеньем – жрал, что ему надо. Все это дело адское упорно возносилось к небу, высоко и могущественно, как бы радуясь своей силе. «Ну, а если там люди остались, где-нибудь в подвалах завода, рабочие в абри»... Невозможно представить, чтобы что-нибудь из живого могло уцелеть тут... «Ripolin[1] горит, – сказал мне сосед, – краски выделывал. Целили в авиационный, сожгли этот».

Не знаю, как Рим горел при Нероне. Но такого пожара, как этот, я еще не видал. И грозное, и печальное было в том, как при слабом ветре по всему небу пролетела мутно-молочно-пепельная дорога, занавесив солнце. Против солнца она приняла мрачно-оранжевый оттенок – снизу же беспрерывно клубилась чернота. На солнце можно было ясно смотреть сквозь вуаль эту, как сквозь закопченное стекло в затмение.

Другой столб дыма, сизый и слабый, встал в направлении Эйфелевой башни, но к нам ближе. («Значит, улица Наташи цела».) А третий еще левее, где Auteil. Он тоже совсем не походил на первый, по жертвам же вышел самым страшным. Для меня еще то оказалось пронзительным, что ведь это все «наши» прежние места, дома и улицы вокруг Claude Lorrain, где мы столько лет прожили. Разбита почта, где я столько раз отправлял письма заказные. Убит булочник-голландец на углу, чуть не убит Шмелев.

К вечеру я отправился к нему. От самой площади St Cloud вид мерзкий: на мостовой воронки, все усеяно щебнем и битым стеклом. Ни одного, кажется, окна не уцелело. Рынок весь разбит. По rue Boileau к Шмелеву едва пробрался. Бомба упала в пятнадцати шагах от его дома. Дом напротив разрушен. У Ивана Сергеевича выбиты стекла, рамы вылетели. Сам он лежал в глубине комнаты на постели и был засыпан осколками – к счастью, не пострадал. Я его не застал, он уехал уже в деревню. Русская дама в подъезде сказала мне, указывая на рухнувший дом. «Там засыпана барышня-француженка. И знаете, она сидела у окна, переговаривалась через улицу со здешней консьержкой. Когда явились авионы, радовалась, что они летят разрушать Рено и Булонь – и как раз тут они сбросили бомбы».

Да, в этой местности никто ничего не боялся. Все были уверены в безопасности своей. «Не к нам летят. Других будут громить». Но они оказались так же слепы, как и мы все вообще.

---

[1] Завод эмалевых лаков *(фр.)*.

10 сентября

<«Где-то растет уже дерево, из которого сделают тебе гроб». Вот один знаменитый мой друг говорил: «Да не хочу я умирать. Я всегда буду жить». Мы сидели с ним раз на пляже, в Канн – после купанья. Он полоскал ноги в морской воде, внимательно их рассматривал (ноги у него, правда, изящные, хорошо вылепленные). – «Жалко мне, дорогой мой, моих ног. Сгниют ведь. Ах, как жалко. Нет, не могу этого принять».

В подземелье я не стал философствовать, но про себя думаю: а ведь, пожалуй, тут учат правильному отношению к концу – подготовляют. «Душа моя, что спишь, конец приближается...» Что касается нас, старых, уже проживших жизнь, дело проще. Но молодому, страстно еще жить хотящему... Ах, как все трудно! Как я их понимаю! Боже, сжалься над ними. Да и над нами, конечно. Нас-то, старых, только Ты и можешь еще пожалеть.>.

13 сентября

Вчера немцы освободили Муссолини, где-то в горах, из плена войск Бадолио. Эффектно. А на радость ли? Какая его судьба? Хотелось воскресить римлян, создать великую Италию. Ничего, не выходит. Римляне остались в учебниках. «Расе, расе»[1], – кричат женщины. А войска сдаются и вообще ничего не хотят делать. Муссолини человек народа – и глубоко в народе своем ошибся.

Днем ходил на Quais[2]. Потом на rue Mazarine, остановился перед домом, невысоким, старым. Доска и надпись:«Здесь умер 21 июня 1723 г. Мурье дю Перрие. Он первый ввел во Франции пожарную команду». Этот своего достиг.

21 октября

<Опять треволнения. Бедная Вера попала в страшную бомбардировку 15-го сентября – была у знакомых на Porte St Cloud. Просидела в подвале рядом с пылавшим заводом, потом средь развалин, меж раненых и убитых добралась домой и мучительно за меня волновалась – я обедал у Наташи, на rue St Dominique. А мы там?

Страшный день. Страшна была ангельская лазурь неба над rue St Dominique и в ней летящие, с демоническою надменностью, бледно-коричневые эскадрильи. Вокруг них рвались белые

---

[1] Мир, мир *(ит.)*.
[2] Набережные *(фр.)*.

дымки – шрапнели. Веера плыли равнодушно, как будто бы и безмятежно... Вдруг один из них вспыхнул – дым и пламя столбом метнулось от него. Наташа вскрикнула. «Ведь там люди горят». Из остатков посыпались какие-то белые точки. «Парашютисты!» Потом другой вспыхнул, но по-иному – винтом стал вниз крутиться...

И в это время, ровно в направлении на Булонь, увидали мы столбы дыма. Вера там. Наташа порывалась было сейчас же туда броситься, но это невозможно: отсюда шесть километров, метро нет, по улицам на велосипедах не пускают... да и велосипед надо еще искать.

Дым все шел, шел. Райский вечер угасал, ад надвигался. Сплошной темною тучей обнял он город, укрыл даже Эйфелеву башню, почти рядом с нами. В полутьме, грохоте артиллерии ждали мы отбоя – в каком виде? – можно себе представить.

С первым метро кинулись мы в Булонь. На площади Porte St Cloud, выйдя, оказались в розовом сиянии горевшего завода. Среди воронок, сбитых деревьев сквера, осколков стекла кинулись к себе на Thiers. От угла Наташа не могла уже выдержать, бросилась со всех ног вперед.

Вера в это время, уже почти час, ходила взад и вперед по тротуару у подъезда нашего, ждала меня. Ей сказали, что метро Porte St Cloud разбито. И она решила, что я там погиб, возвращаясь (еще до тревоги) домой. Когда Наташа подбежала, она успела только крикнуть: «А папа?» «Жив, жив!» Я тоже подбежал. Она увидела меня и потеряла сознание – так и повисла на мне и Наташе. – Слава Богу, это продолжалось минуту.

Вот потому мы и переехали вновь на avenue de Breteuil, туда, где весной временно жили – в покинутую квартиру.

25 октября

Она велика, молчалива, почти роскошна. Тут жили богато, рассчитывая на «приятность» жизни, но вряд ли рассчитывали, что в известное время придется и отсюда бежать, тоже из-за войны. А вот хозяева где-то на юге, сюда более не вернутся. А живем мы, бродяги, на обломках чужого бытия, – сами обломки своей собственной жизни.

В сумерки вышел пройтись. Хмуро, тепло, дождь чуть накрапывает. Поднялся по бульвару Pasteur. Там направо, на углу rue Falquiere и rue Belloni мы жили девятнадцать лет назад– первая наша зима в Париже. Ее начало трудно давалось. Какой ужасный грохот на Falquiere, ночью с трех часов! Везли скот на бойни. Долго не мог привыкнуть – не спалось. И вообще было

трудно. От безденежья болела иногда голова. А потом все понемногу наладилось. И вновь нас сюда закинуло – мог ли я в 1924 году думать, что в 1943 буду укрываться от бомбардировок на углу av. de Breteuil?

И вот эти места меня тронули, пронзили печалью и какою-то теплотой. «Что прошло, то станет мило». Каштаны частию уже порыжели, по-осеннему закоричневели на бульваре Pasteur. Rue Falquiere в сумерках. Бедные военные фонари, на углу нет уже Bal mascotte, где танцевали матросы и девчонки, приказчики. Далее, на бульваре Вожирар подросли за девятнадцать лет деревья, но такой же бульвар чахлый и очень п а р и ж с к и й. Там прямо, за путями монпарнасского вокзала rue du Chateau– Париж полного убожества, но тоже очень «Париж», хорошо описанный у Дюамеля (детство которого здесь где-то близко и прошло).

По этому бульвару сколько раз вечерами я ходил на Монпарнас в Ротонду, тогда артистическую и модную. И какую тоже острую грусть, одиночество и покинутость чувствовал в разношерстной, международно-проходимческо-художническо-жульнической толпе, там за столиками заседавшей! Это ведь было первое научение эмиграции. А теперь вспоминаю беззлобно. Какой-то индус в тюрбане (при ближайшем рассмотрении – еврей), «Кики с Монпарнаса», поэт Парнах, которому я иногда давал франк на кофе (книжка его называлась: «Карабкается акробат»). Все это тени.

А сейчас сумерки, площадь вокзала Монпарнасского. Нечто схожее с прежним Парижем: отблески фонарей в туманности осенней, люд снующий, оживление. Несколько автомобилей прокатило. Фиакр стоял, с лошадью, как следует – кого-то ждал. По крайней мере не пустыня, как иногда теперь бывает.

* * *

Л. подарил мне том «Correspondance»[1] Флобера. Я здесь все читаю, и вот одновременно – Достоевского и Флобера, наперерыв. «Дневник писателя» всегда мало знал. Пополняю упущенное.

С Достоевским случилась у меня странная вещь: в жизненном моем и литературном пути он большой роли не сыграл. Собственно, «учиться» или что-то бессознательно впитывать от него, как от Гоголя, Чехова и Тургенева, мне не приходилось. Слишком иной мир и поэтика иная. Всю жизнь считал я Досто-

---

[1] «Письма» *(фр.)*.

евского – при несравнимой грандиозности его – неблизким. И теперь его манера и прием, склад писания так же «на расстоянии». Но он сам, фигура, чувства, даже слово – как приблизились! Прошлым летом перечитал, пропустил перед собой «главные силы»: «Преступление и наказание», «Идиота», «Бесы», «Братьев Карамазовых». Пронзался иногда до восторга – а начиная, боялся: не разочаруюсь ли? Не только не разочаровался, а еще воспылал. «Братья Карамазовы» есть чудо по удаче – в то же время плод долгого созревания писателя. Казалось бы, такой «полоумный» Достоевский, а как крепко и медленно д о з р е л к шестидесяти годам. Ведь и слово его, и изобразительность, и чувство меры – все выросло, на закате жизни новые, будто, и силы появились – все ярко, плотно, поразительно написано. Давнее мое мнение подтвердилось: «Братья Карамазовы» и «Война и мир» два равновеликих совершенно разных величайших романа мира. Никто и ничто не может с ними соперничать. Вот как. (И удивительно еще, что, зная это отлично и мало интересуясь тем, чтобы другие думали, как я, – все-таки это записываю, на скверной военной бумаге, скверным пером, чтобы загромождать рукописями своими квартирку Наташи.) Но все противоречиво: а для чего собираю теперь, более усиленно, чем когда-нибудь, книги у себя в Булони, когда завтра, быть может, вся нора моя разлетится в прах? А послезавтра меня самого куда-нибудь засадят? А потом – просто мне и жить недолго? Поди разбери тут.

Итак, читаю сейчас «Дневник писателя». Лучше всего то, что о жизни автора. Вот в молодости с «Бедными людьми» возился, весь тогдашний его восторг, и ночной визит Некрасова и Григоровича (до утра читали рукопись «Бедных людей» – редакторы! и полетели будить автора с поздравлениями – известный рассказ, именно в Париже особенно меня пронявший. Вот бы посмотреть здешнего редактора, который ночью кинулся бы будить автора. Да и автор здешний в четыре утра на ногах и в мечтательно-нервном настроении). А еще отметилась «Смерть Некрасова», детские и каторжные воспоминания – «Мужик Марей» – и вообще разные черты жизни. Г о л о с же Достоевского стал еще ближе.

Флобер, давняя любовь, с молодых лет. Что общего с Достоевским? Ничего. А вот вместе читаю, после вечерних пасьянсов, и обоим радуюсь. Какое одиночество! Какая печаль! И какой сдержанный, благородный облик – ну, это художник, «Аполлон», это не то что наш «священный идиот». И вот сдержанный человек пишет: «et comme je me contiens devant le monde,

je suis pris de temps a autre par des crises de larmes ou il me semble que je vais crever»[1]. Вот тебе и длинные галльские усы, и громовой голос, и голова для монумента. (В Люксембургском саду, в дальнем углу есть его бюст – более чем скромный! Ни одной улицы имени Флобера нет в Париже – а сколько есть их в память безвестных адмиралов и бездарных художников!)

Недавно мне на Quais попался томик стихов его друга Буйе. Вряд ли они так замечательны. Но он обожал этого Буйе. А тот рано довольно умер (как и вообще близкие его дружно уходили и он очень уж о них тосковал). Что сказать о такой фразе: «Je ne sens plus le besoin d'ecrire, parce que j'ecrivais specialement pour un seul etre qui n'est pius»[2] (Буйе). А дальше Гонкуру: «et je n'ai personne a qui parler»[3].

«Je n'ai personne a qui parler» – над этим можно каждому задуматься.

2 января 1944

Новый год – еще на новом месте.

Маленькая, чистая и очень теплая квартирка в седьмом этаже. Благодаря высоте очень светло. Благодаря радиаторам – очень тепло. Книг довольно. Три-четыре картины Коровина, – два портрета хозяйки: пристанище наше интеллигентское.

Долго ли мы тут проживем? И как? Вот вопрос. Прежней квартиры, своей, не бросаем. А пока – ждем событий в пятнадцатом округе Парижа на углу улицы Blomet. Из окна моего виден кусочек зелени – верхи садов, и над ними высокие парижские дома с узкими трубами.

Третьего дня минуло двадцать лет, как я въехал в Париж из Италии. Двадцать лет вижу Францию и не вижу Италии. Вот как сложилось: вся зрелость моя литературная пришлась на Париж! И ни одной строчки не появилось на родине. Двадцать лет назад был я полон каких-то желаний. Теперь очень их мало. В некотором смысле «освобождение». В некотором – удаление бытия. В те времена мне очень хотелось, например, чтобы книги мои выходили и по-французски. Годы прошли, прежде чем появилась первая, маленькая «Преп. Сергий Радонежский». И еще два романа – за двадцать лет. А сейчас за месяц я продал

---

[1] «И так как я обуздываю себя перед светом, время от времени меня охватывал приступ слез, в котором, мне кажется, он околевал» *(фр.)*.

[2] «Я не чувствую больше потребности писать, потому что я писал только для того, чего больше нет» *(фр.)*.

[3] «и вот мне не с кем поговорить» *(фр.)*.

две книги. Это, конечно, приятно, но ничего общего с тем, что было раньше, когда нес домой деньги, в сумерки, около громады Si Sulpice, где двенадцать лет назад выходила на той же самой улице Servandoni французская «Анна», думал: «Деньги, понятно, хорошо, благодарю Бога, но что мне собственно с ними делать? Да, они уйдут незаметно. Хочется ли мне что-нибудь на них купить, как-нибудь их употребить?» Знаменитое русское «nitche-vo». И среди сотен, тысяч выходящих в Париже «букэнов» две моих – тысяча первый и тысяча второй, что, собственно, прибавят к лавине литературы?

Впрочем, я уверен лишь в том, что получил деньги. Выйдут же ли эти букэны, не знаю. Год, видимо, предстоит такой, что всего ждать можно...

9 февраля

Все у Достоевского наперекор стихиям. Казалось бы, так возиться с «идеями», так всаживать их в своих людей значит убивать живое в них и рубить вообще все. Вся поэтика его «противохудожественна». Это никак не брат по писанию (как Флобер Тургенева). *Наша* поэтика правильна, а его нет. И он всех выше! Я бы хотел видеть писателя средних сил, который бы у Достоевского учился, *как* писать. Боже, что бы получилось. Достоевский же начинает партию шахматную ходом h2-h4 и все-таки ее выигрывает. При этом: всякий *художник* любит и *любуется* (артистически) на своих героев. Даже уроды Гоголя художнически его возбуждают, он их почти сладострастно *созерцает*. Вообще без созерцания – какое же художество?

У Достоевского совсем нет созерцания. И любования нет. Эстетического в отношении к миру и людям ничего. Значит, он не художник. И этот «не-художник» написал «Братьев Карамазовых» – величайший роман мира! – Иван Карамазов живой, правдоподобный, 23-летний студент? – Нет. Но великий образ – знаешь, что это почти голая идея – но великий образ и некое с у щ е с т в о . Живая идея! Вот этого никогда не бывало в литературе. Тоже и Ставрогин – живой демон и никакой человек («таких не бывает»). То же и Кириллов и Петр Верховенский. – Так что Достоевский против всякого здравого смысла в искусстве. Все наоборот. Но и его собственный облик, существо, называвшееся Федор Михайлович Достоевский, есть вызов и презрение к здравому смыслу. Такой уж он был. И таким останется даже и в том случае, если Россия обратится в скучно-благополучный русско-американский муравейник. Он всегда будет ход h2-h4. «Долой стеклянный дворец»! Это ведь у него во всем, не только в нездравомысленности художества.

28 февраля. 10 ч. вечера

Через два дня буду сидеть в этот же час в уже нетопленой комнате. Впрочем, нельзя говорить «буду», бабушка из «Обрыва» была права, обучая Райского смирению. В субботу Вера вышла за покупками и упала – хорошо, что ногу не сломала, все же лежит целую неделю. Сейчас спрашивает: «Неужели же Достоевскому интересно было писать «Дядюшкин сон» или «Крокодил»? А я даже удивляюсь, что ему и «Село Степанчиково» интересно было.

ИЗ ПАРИЖСКИХ ЗАПИСЕЙ 1944 г.

28 февр. 1944 г.

Нынче был грустный день. Такая подавленность, тоска. Вспомнился даже свой угол в Булони[1], свои книги. А там ведь сейчас пустыня. И идет на нас пустыня, вообще со всех сторон. Пусть вережжит пропеллерами, танками гремит, она ничем не наполнена, кроме смерти. Быть может, скоро и французская земля наполнится вновь страданием, ужасом. Что суждено видеть Парижу, нам? Собственно, мы уже находимся в революции. Гражданская война идет. А не сегодня-завтра и еще одно иностранное вторжение. И все – на одно наше поколение. А вот я всегда, с молодости, был за «мирное, гармоническое развитие», революцию терпеть не мог и до сих пор не выношу, – а вся жизнь в ней прошла. Теперь издали, отлично видно, как мало в ней понимал и «предчувствовал». Это плохой признак? Может быть. Ни на какие пророчества не претендую. Жизнь (России особенно) пошла совсем не так, как бы я хотел и как думал, что пойдет (перед первой войной). Но меня не спрашивали. Выбран путь революции – и его проделали с логикою, которая может быть и в кошмаре. За все эти двадцать пять лет людям моего склада все хотелось, чтоб «обернулось» поблагообразнее, потише, – а оборачивалось все ужаснее и громче. Да еще и конца не видно этому ряду «волшебных изменений милого лица». Одно бесспорно: Россия уже заплатила бессчетный счет. Оптимисты же уверены, что все обернется превосходно. Дай Бог. Я не верю. Но сам признал себя плохим пророком. Так что, может быть, скоро увидим «все небо в алмазах».

---

[1] Булонь – предместье Парижа. Во время войны подвергалось обстрелу. Из-за этого автор записей полтора года вел кочевую жизнь в более спокойных кварталах Парижа.

22 марта 1944 г.

Был на квартете Бетховена. Попал случайно. Сидел почти там же, где и 3-го марта 1942-го – тогда квартет кончился бомбардировкой. На этот раз обошлось спокойно. Никто никого не убивал.

Как и тогда, трех скрипачей и виолончелиста от меня не было видно, ну, и Бог с ними – в антракте я выглядывал из прохода, видел их. Лысоватые, серьезные люди, дай им Бог здоровья, и играют на совесть. Слава Богу, что играют, и слава Богу, что еще есть Бетховен.

После всяких радио, после «музыки» в синема звуки настоящих инструментов кажутся братьями родными. Так бы обнял их, к сердцу прижал. Какое благородство! Да, это не улица. Если быть владыкой человеческого муравейника, надо запрещать такую музыку. Она слишком аристократична. Для муравейника вредна, ибо поддерживает и укрепляет одиночек, мнящих себя выше уровня. Долой одиночек, долой, укоротить их на размер головы.

Играли седьмой, восьмой и девятый квартеты. Разорился, купил и программку. К удовольствию своему узнал, что тема Adagio в седьмом квартете не мне одному кажется «d'une beaute inneffable»[1]. А в восьмом про одно удивительное место – тоже в Adagio – сказано, что это «беседа в Раю душ, любивших на земле друг друга». Да, эта часть музыки, правда, обладает сверхземною прозрачностью, каким-то тихим величием – райским. Знал ли Бетховен Данте? Читал ли «Божественную комедию»?

А потом вдруг (ни с того, ни с сего) появилась «русская тема»: с детства знакомая «Слава»... Исторически это понятно. Квартет посвящен русскому послу в Вене графу Разумовскому. Значит, – поклон и благодарность покровителю. Но при чем тут самое *строение* произведения? Вообще, как эти квартеты строятся? Даже в нашем «рассказе», в повести, очень свободных формах, все же должна быть внутренняя цельность, ядро, вокруг которого все слагается. А у них, по-видимому, не так. Как будто взял allegro, scherzo, adagio, andante, allegretto, еще какое-нибудь largo[2], перетряс, перемешал все это и будет один opus. По-другому эти же формы скомбинировать – другой!

---

[1] «Красотой неземной, волшебной» *(фр.)*.

[2] Аллегро – весело, бодро, скерцо – шутливо; адажио – тихо, медленно; анданте – легко, плавно; аллегретто – спокойнее; ларго – очень медленно *(ит.)*.

Тут уж начинаю улыбаться. Кажется, в первый раз в жизни пишу о том, чего совсем не знаю.

28 мая 1944 г.

Общее мнение: близятся события. Увидим ли войну совсем рядом? Возможно. Уцелеем ли? Тоже возможно. А может быть, и не уцелеем. Пока же что сидим без угля, с сокращенным газом, сокращенным метро. Не удивлюсь, если и пешочком пойдем и в темноте вечером посидим, хлебнем soupe populaire[1].

В нашей семье тоже событие: А. берут в Германию, на работы. Со всех сторон есть попытки избавить его от этого. Три недели идут хлопоты. Все неясно и скорей – плохо. Третьего дня получил я известие, с небольшою надеждой. Поздно было уже идти к А. и Н. – дождался утра. В восемь явился к ним. Свидание с лицом влиятельным назначено в среду, но А. должен уезжать во вторник! «Сделайте все возможное, чтобы получить хоть на несколько дней отсрочку». На этом и порешили. Н., в особенности, того же мнения. А. ушел на службу. К часу оба они должны прийти к нам завтракать, архимандрит К. тоже. Я придумал так, чтобы вместе помолиться.

Сирены гудели, как хотели, все же Н. пришла вовремя. «Папа, плохие вести. Сказали, что, очевидно, хлопоты не удались, l'affaire est enterree[2]. Завтра Троица, послезавтра тоже праздник, ответа нет, а во вторник уж ехать». Н. легла на постель, на спину. Она бодра и крепится. Но в лице что-то дрогнуло. «Мне будет ужасно скучно одной. Не забывайте меня». В. целует ее. – Архимандрит появился скоро. Я сказал ему, что хотелось бы отслужить молебен. А. несколько запоздал. Наконец, стук в дверь. Отворяю. Усталый А., запыхавшийся (шел пешком из-за алерта), но веселый. «Хорошие вести!»

До часа он сидел на службе и не было уже никакой надежды, все расходились. И – в последнюю минуту известие, что сами германские власти ходатайствуют о том, чтобы троих оставить как необходимых для работы банка – в том числе его. И, во всяком случае, во вторник не ехать.

В. обнимает Н. «Помнишь, мы начали хлопотать в канун дня Николы Угодника? Он всегда мне помогал».

Архимандрит тоже взволнован. Сквозь слезы слушаем мы молебен. Да, вот все пятеро объединены в волнении и любви.

---

[1] Простонародной похлебки *(фр.)*.

[2] Решено отказать *(фр.)*.

«Ибо всякий просящий получает и ищущий находит и стучащему отворят».

Архимандрит стоял с крестом высокий, худой, крепко и пламенно сказал, обращаясь к А.: «Все будет хорошо. Все, как надо. Что бы ни было, все, как надо. Полагайтесь на Бога. Чудеса Его не в том, что вот пред вами столп какой-нибудь огненный возникает, а в том, что Промысел все устраивает так, как надо, для вашего же добра».

Завтракали весело и легко. Чокались за А. Опять загудели сирены. Опять стрельба. Но радость не подавляется – тут уж могу прямо сказать: нашей братской «трапезы». Да, оттенок агапы, трапезы любви был во «вкушении» салата, изготовленного В., макарон, вина, настоящего кофе, который сберегла В. к этому дню. А потом архимандрит рассказывал о своих ученических годах, просто веселое и смешное, и Н. заливалась смехом детским. Я же показал ему старые фотографии нашей семьи – Боже, какие мы были тогда! Прежний мир, Притыкино, отец, мать, тульские поля... Но с архимандритом мы земляки, одно любим, одно понимаем. В светлом майском дне парижском прошли тени былого, милые тени, иногда ранящие до боли, но сегодня все залито светом.

Так и остался в душе этот день, и снаружи по-майски сияющий! и внутри полный света. Что такое? Любовь ли, молитва, дыхание Духа? «Царствие Божие внутри вас есть». Думать дерзаю: Царствие Божие – это тот свет, веселость внутренняя и радость, отблеск чего был и у нас. Пятеро, но не в будни, а в праздник.

Позже поехали с В. в бедную нашу Булонь, на свое прежнее пепелище, откуда выгнали нас бомбардировки. И весь вечер занимались у себя на квартире малыми хозяйственными, будто бы будничными делами. С высоты пятого этажа, в голубой шири неба видел я стаи гостей, выстрелы грохотали, рвались в небе шрапнели и на несколько минут мы спускались вниз, в подвал, к мизераблям долины. Но все это прошло, а над скромным нашим житием, над Булонью полуопустевшею лежал зеркальный, прозрачно-легкий свет этого дня. И над окном, которое я мыл, и над пасьянсом, который раскладывал, и над страницами книги о Витербо. Нет, как бы ни повернулось дело с А., этот день есть день. Его не вычеркнешь.

Мы возвращались при ясном месяце, синем ночном полумраке пешком, по убогим улицам Бианкура и Исси. Шли легко. От Porte de Versailles начался Париж. На rue de Vaugirard в саду цвела белая акация. «Запах жасмина» – сказала В. Жасмина ли,

не знаю. Но из-за старой стены, из огромного сада сладко лился очаровательный запах – ну, вот, наконец, он в тон месяцу, синеве ночи, легкости духа.

6 июня 1944 г.

«Нынче ночью, между Гавром и Шербургом произошла высадка» – так мне сообщили на лестнице, когда вышел по хозяйству. В городе совершенно тихо. Около магазина застигла сирена. Переждал рядом, в квартире Н. На лицах прохожих ничего не заметил. Немецкие солдаты все такие же, как всегда. Вот так, вероятно, и делается история.

7 июня 1944 г.

Начался «новый эон» жизни нашей. Война в двухстах километрах от Парижа. Вокруг города Кан, знаменитого водкою своей, Бог знает, что происходит. Слухов, конечно, море. Врут, как хотят.

Вспоминаю время около пяти лет назад. В августе 1939 г. мы с В. провели несколько очаровательных дней в Авиньоне. Это напоминало молодость нашу, скитания по Италии. И оказалось как бы прощальным путешествием мирного времени – едва мы вернулись, началась война.

Я нервно себя в Авиньоне чувствовал. Особенно одна ночь была странная – совершенно бессонная, в страшной тоске. Именно в эту ночь Германия подписала с Россией соглашение, толкнувшее ее на войну.

Не могу сказать, чтобы был у меня дар предвидения, или предчувствия. Но вот теперь, второй раз: три последних дня перед наступлением «нового эона» ощущал я опять эту же пожирающую тоску. Места себе не находил, днем в особенности. Можно, конечно, сказать, что и тогда, и теперь было нервное утомление. Но то, что совпало оно с канунами грозных событий, все-таки заставляет задуматься. Нервы нервами, а почему же именно в такие минуты? Таинственное проявляется в формах обыденных, но нельзя формами объяснить последних причин. Чем больше живу, более все мне кажется, что ничто зря не делается. Из загадочных глубин Промысел подает знаки и ведет, куда надо. Да, в Промысел без затруднения верю. Вообще скорее пессимист, а тут верю в конечный прекрасный смысл всего, несмотря на ужасы окружающего.

Ночью была сильная стрельба. До пяти не мог заснуть. Но чувствую себя бодро. Гроза началась, а томление предгрозовое кончилось. Так, что ли?

8 июня 1944 г.

Ночь плохая. С часу почти до трех летели прямо над нами. В. сказала: «Точно мне по голове скребли». Сколько их было! Мы не спускались в погреб, а лежали, одетые, в темноте на постели. Страшно не было. Но как-то противно. Стрельбы мало, – однако, пять штук над Парижем сбито.

Утром поставил радио. Моцарт, турецкий марш. Не похоже на ночную музыку. Хорошо, что он ее не слышал.

21 июня 1944 г.

Симпатичный эончик продолжается. Теперь ухитрились уж стрелять с берегов Франции по Лондону и южным портам. Летописец записывает: «в лето от Рождества Христова 1944-е бысть великое огненное метание даже до вражеской столицы» – и так далее. Далее не пишу, ибо древнего языка не знаю, да и язык тот, к чести его, не сумел бы выразить нынешнюю мерзость. Моторы, пилоты, радио... Бог с ними. Бог с ними. Опять кого-то убивают, самыми усовершенствованными способами. Покойный отец сказал бы: «Без нас. Без нас». Он тоже не любил убийств.

Третьего дня были в Булони, на прежнем пепелище. Всегда эта Булонь, в нашей части особенно, была скромна до убожества. Мелкие фабрички, заборы, угольные склады, серое население – мизерабли долин. Одни только платаны на Boulevde la Republigue, куда дом наш выходит, хороши – могущественно плодотворны. Теперь, после стольких бомбардировок, разрушений, этот край опустел. Многие поразъехались. Фабрики позакрылись, улицы стали безмолвны, светлы и чисты. Воздух лучше – с холмов Медона доносит даже ветерок благоухание.

И повсюду страшные воспоминания. В этом искалеченном доме тяжко ранили итальянца – парикмахера, под другим рухнувшим погиб русский (теперь ровное место, огороженное забором. Если б Н. не позвала нас тогда завтракать, 4-го апреля, мы бы с В. как раз здесь возвращались в час обстрела). Там на кладбище лежит русский мальчик из нашего дома.

Так что Булонь-Бианкур место страдальческое. Я его никогда не любил, но теперь оно возбуждает участие. Мне его просто жаль, как живое существо. И квартиру свою жаль. Разоренная жизнь. Все без человека увядает, покрывается пылью. Дух небытия. Затхлый воздух в комнатах – и мои книги, моя двадцатилетняя жизнь в Париже – все отходит.

На дверях дома нашего объявление: это zone tres dangereuse[1], женщинам, детям и старикам советуют уезжать. Будто бы, будут бомбардировать мосты.

Я провел полдня в пустынной квартире с видом из окон на пустынный город. В окнах, с пятого этажа, много света. Сизый день. Временами дождь накрапывал. В. хозяйничала. Я хотел было разбирать старые письма, статьи свои, да не решился. Заест печаль. Глядел сверху на безлюдную улицу. Развернул Муратова «Образы Италии». Посвящение такое: «Борису Константиновичу Зайцеву, в память о счастливых днях». Эти дни были сорок лет назад.

22 июня 1944 г.

Вчера в церкви на rue Lourmel панихида по скончавшемся в Германии о. Дмитрии Клепинине. Много народу, все взволнованы, немало слез. Его любили. И жалеют вдову с двумя детьми.

Я его мало знал. Все же помню один день, с ним проведенный, – около смерти.

В этой самой церкви отпевал он старого писателя Александра Антоновича Курсинского (одного из ранних символистов русских, сподвижника Брюсова и Бальмонта по «Весам»). Вот одинокий был человек! И малоизвестный. Из отельчика попал в больницу. Там и умер. Едва успел я выкупить тело его – могло попасть в анатомический театр.

В страшный декабрьский мороз, при огромном, из туманов вылезавшем красном солнце, мы везли тело за Париж, на кладбище: В., я и о.Дмитрий – он все кутался в какую-то кацавейку, поглаживал рукой округлое, не совсем правильное, но милое лицо с кругловатою бородкой – он вообще весь был круглый. И вот так мы неслись к кладбщу Thiais, сидя рядом с гробом Александра Антоновича. О. Дмитрий спрашивал о нем, я рассказывал, он кой-что записал: для статистики своих покойников. Да и вообще был он человек с обращенною к людям душой, светлый.

Кладбище бесконечное. Канава, ряд могил – fosse commune[2]. Не забыть огненного ветра, огненного солнца, рук леденеющих о. Дмитрия над могилой, согнувшись, читающего последние молитвы. Могильщики, сухая пыль под ветром, даль зимней Франции, убогий гроб Александра Антоновича. Что поделаешь: это жизнь. Бедность, одиночество русского писателя в изгнании.

---

[1] Весьма опасная зона *(фр.)*.

[2] Общая (братская) могила *(фр.)*.

А вчера, выйдя на церковный двор после панихиды, обратил я внимание на парня – он сидел у двери дома, рваный, босой, с лицом обветренным, тупым взглядом. Страшные ноги: все сбитые, должно быть, были окровавлены, потом засохло, струпья лиловые. – На него собирали среди русских: «Это из Шербурга. Русский пленный».

Русь! Русь! Мы забыли тебя. Тут не видишь босых, нечесанных. Мы отвыкли. Наш же брат, человек, да по-русски еще говорящий. Сколько осталось их там? Сколько в страшном плену погибло?

29 июня 1944 г.

А. оставлен в Париже. Я очень счастлив. Как хорошо мы тогда были вместе в любви и молитве! Мне представлялось: может быть, и не будет услышана наша молитва – все равно, то высокое, что нас объединяло, останется. И безропотно надо было б принять все, что послано. Но вот вышло и легче, и радостней: как же не радоваться? Архимандрит К. тоже доволен. От него письмо. «Как я рад за всех Вас, а особливо за Вашу Н. Помните, я сказал тогда у Вас: когда будет совсем плохо, вот тут-то и придет помощь. Вот и жандармы приходили, казалось бы, совсем плохо, а тут-то и отверзлась дверь спасения».

Может быть, так можно сказать: не всегда исполняется то, о чем просим, но всегда устраивается так, как для нас лучше – в последнем счете. На этот раз, значит, то и другое совпало. Благодарение Богу.

7 августа

В четверг, 3-го утром, убита в Кламаре М.К.М.,[1] наш друг, в жизни светлый ангел. Вчера был день свв. Бориса и Глеба, в крещении Романа и Давида. Они называются страстотерпцы. Их прославляют за кротость и жертвенность – «незлобивый Давиде», агнцы, на заклание влекомые. Убийцы пришли собственно к мужу М.К. Дверь виллы не была заперта, и первая, кого встретили они, была она. С целью мести политической искали мужа. Но на всякий случай застрелили и ее. А потом поднялись

[1] Мария Константиновна Звягина, в замужестве Montandon. Ее муж, врач George Montandon, в 1919–1921 годах находился в Советской России в качестве представителя миссии швейцарского Красного креста в Сибири, о чем написал книгу «Deux ans chez Koltchak et chez les Bolcheviques» (P., 1922, 318 p). Был убит французскими партизанами за сотрудничество с немцами в период оккупации.

наверх и убили его также (он лежал в постели, у него рак печени). Торопились или растерялись, но детей не перестреляли – а легко было сделать: все безоружные и довольно взрослые.

М.К. была высока, тонка, нежно-румяна, с раннею сединой в духе XVIII века (поседела в одну ночь от душевных потрясений). Прелестное тонкое лицо с зеленовато-серыми глазами. Быстра, легка в движениях, всегда неслась куда-то, как летящие гении Жана Гужона на барельефах. Чиста и простодушна как ребенок, глубоко женщина с поклонением беззаветным, с любовью нерассчитывающей, добротой Богом данной. Лавочник итальянец в Кламаре заплакал, узнав о ее гибели. «Это ведь был ангел», – сказал. Я сам так же выразился, но это неточно. Ангел бесплотен. А она человек, женщина, воплощена, в высокой мере женщина, но с просветленной плотью. Сколько в ней было свету! Он и распространялся от нее. «У меня всегда ощущение света, когда я ее встречаю», – сказала вчера кламарская ее знакомая. Верно. Эта вольная и светозарная душа шла по миру, разбрасывая сокровища и не считая их. Она была расточительница. Она все раздавала и ни с чем не считалась. Разумеется, и грешила – и грех никак не приставал к ней, как-то отлетал, грех ее несуществен. Он в свете и тепле таял. Она была отчасти нимфа христианская или Психея. Эрот мог ее сердце ранить, но ничто не могло загрязнить.

Незадолго до смерти вдруг решила обвенчаться в церкви с мужем – брак их был заключен в Советской России, гражданский. Придавала этому большое значение, под венцом вся сияла, хотя вообще брак этот был для нее крест. Я держал над ее головой венец, который церковь наша считает мученическим – не царским, а мученическим, как бы пострижение в своего рода монашество. Как я молился за нее тогда! Венчал о. архим. Киприан – в подъеме. Он ее тоже любил. И мы вводили ее в последний постриг. Сияющая и простодушная она взошла на эшафот – как и столь многие невинные – как искупительная жертва.

И вот она уже не первая в краткое время. Я писал о двух праведницах, погибших от бомб 3-го июня 1940 года. В этом есть что-то таинственное и глубокое – но восходит к далеким временам. Безвинно погибали христианские мученики и мученицы – лучшие погибали. Так и нашу Психею раздавил хам. Но пути все эти восходят к Голгофе, где была распята и замучена сама Истина и само Добро.

Послезавтра мы ее хороним.

10 марта 1945 г.

<Семь месяцев не писал. Событий столько, что хоть отбавляй. А вот записывать не хотелось. Милый Жуковский! Дышал и дышу им, жизнию его и творением, жизнями близких ему. От всего этого – свет и поэзия, то есть то, что нужно, без чего тяжело жить.

Он в моей юности не сыграл роли. А пришел поздно и незаметно. Постучался тихонько: Елена Кампанари мне дала здесь, в Париже, том огромный – полный Жуковский (уже давно, более десяти лет). Иной раз заглянешь, посмотришь знакомые с детства «Ивиковы журавли», «Кто скачет, кто мчится»... Года четыре назад перечел его биографию – краткий очерк. Но это из «наших»! И призадумался. Три года назад вновь начал читать, все по огромному тому – и уже мелькнуло, смутно еще, неуверенно: «вот о ком написать бы».

Да, не торопясь он завладевал. Еще до осени был я свободен, а теперь нет. Под пушки и пулеметы августа он входил, медленно и вежливо, тихий, нешумный, мечтательный и благообразный и занял меня всего так, что теперь нет свободного угла. Его читаю, о нем читаю, о нем думаю. О нем и писать собираюсь. Если даст Бог сил, будет книга.

Сижу в библиотеке (Восточных языков), смотрю старые письма. Давние чувства, из-за могил, в чужом городе, до меня доходят лучше глупого радио, болтающего об избиениях. Мои тихие голоса говорят о любви, о примирении с земным горем и о Боге. Много о Боге! Те, в обществе чьем я сейчас, знали и умели о Нем говорить, потому что чувствовали «правильно», как выражалась одна светлая душа в Финляндии[1], одна из праведниц современных.

И пока я читаю в большой зале – по стенам шкафы с книгами, посредине столы – вокруг меня все одна картина: два-три таких же, как я, «немолодых» русских, два-три десятка юнцов и юниц, шелестящих огромными словарями, выписывающих, отмечающих – иногда в словарях их такие иероглифы, что избави нас Боже! – Тут учат китайскому, японскому, русскому и турецкому, мало ли еще чему.

Когда взволнует читаемое, откладываю, сижу молча. Дуня Киреевская, Александра Воейкова, Василий Андреич Жуков-

---

[1] Нина Геннадиевна Кауше, дальняя родственница В. А. Зайцевой, у которой В. А. и Б. К. Зайцевы гостили в Финляндии в июле–августе 1935 года. После нападения Советского Союза на Финляндию Н. Г. Кауше переехала в Стокгольм. В архиве Зайцева хранятся некоторые ее письма.

ский («Базиль») – это все свои, наши. Столетие нас разделяет. Но они ближе современников и невозможно их не любить.>

11 марта

Вчера сел было писать, о чем ночью раздумался, а появился Жуковский, отвлек. Возвращаюсь сегодня.

Двадцать лет мы здесь называемся «евлогианами». Мне это всегда нравилось. Скромный какой-то стиль, просвещенный, без шуму и политики. «Церковь – духовный организм. Дух и Любовь – вот ее основы». А не политика, не ковы и не брани. При мне Сергиево Подворье основалось, мне всегда близок был этот русско-монастырский холм в Париже, я с ним связан. (Раз даже читал в его пользу. Был благословлен оттуда на поездку на св. Афон)[1].

Также и к митрополиту всегда был расположен. Просто нравился мне он, со всей его как будто русской и обломовщиной, поглаживанием бороды, добрым и умным взглядом, не без русского и лукавства... Полный, неповоротливый, но с лицом прямо красивым, до такой степени туляк наш, сын протоиерея Георгиевского, как Жуковский – в миру Василий... Первые годы эмиграции он меня даже воодушевлял. Архиерей, ставящий на интеллигенцию, на профессоров, писателей, сам много читающий – чуть-что не подписчик «Современных Записок». И вот – вокруг него новые церкви, небольшие общежития монастырские, в Сергиевом Подворье, на гроши созданном, – Богословский Институт. Молодежь, новые священники оттуда выходят. Государства, политики нет. Это все иной мир. Тут молитва, наука, к человеку сочувствие... Много было всяческих треволнений, наскоков на церковь евлогианскую – под конец и премудро она прикрепилась к Вселенскому Патриарху, ни от Москвы, ни от Карловцев не завися. Часть вселенского Православия. Не значит, что русскость свою теряет. Патриарх ничего ей не навязывает. Наоборот, сохраняет всю свободу и духовность, и все это по тому правилу церковному, что если православные оказались почему-либо вне своей страны, то они поступают под покровительство Вселенского Патриарха. А уж тут известно «почему» и в каких условиях церковь на родине.

И вот теперь дожили мы до некоторой драмы. «Я тебя породил, я тебя и убью». Сам владыка Евлогий и оказался противником духа церкви своей, экзархатной, оказался против Сер-

---

[1] Книга Б. К. Зайцева «Афон» посвящена митрополиту Евлогию.

гиева Подворья, за церковь государственную – Москву, разумеется. «Потянуло на родину» – хочется на родной земле кости сложить и свою церковь евлогианскую у ж е с е й ч а с внедрить в землю Российскую. «Тула», «Одоевский уезд»... – это свое, земляное, а дух Вселенской, всемирной, скитальческой и гонимой церкви с вековой культурою Византии, с творчеством и богословов, и историков, философов, поэтов, дух единения в любви, но физического одиночества – все это от владыки отошло.

«Может быть, Бог меня скоро приберет, может быть, мне придется отойти от вас» – так говорит он Сергиеву Подворью.

Чем это кончится, неведомо.

Но ставится вопрос самоопределения. За кого же ты, русский писатель, светский, но православный?

О, конечно, за странничество, за свободу, за нечиновничество, подальше от страшной и кровавой громады государства. Пусть церковь в России идет тем путем, какой выбрала – там путь этот (для лучших) страдальческий. Но здесь, для нас, исключенных ведь даже из подданства России – здесь путь все тот же, всегда один. Горсть может противостать Левиафану. Левиафан может ее раздавить физически, но никогда не одолеет самого д у х а и с т и н ы – а ему-то вполне подходит корениться именно в горсти невидной. Т а к ведь не только теперь было. Легионы римские не меньшей силой государства были, а не могли овладеть свободой горсти.

Нет, Бог с ним, с государством. Чем от него независимей, тем и лучше. Православие давно обвиняли в слишком большом подчинении власти. Католики, обвинители, сами создали слишком уж священную власть, само католичество свое обратив во вселенское государство. Вселенское православие, русское, не московского провинциального покроя, только было начало «процветать» здесь на западе, но вот вдохновитель его повернул руль... Что же, кажется, плыть ему теперь в одиночестве – вдалеке знакомые для него края – Тула, Одоев, а там и Москва с канцеляриями и синодом, с обер-прокурором синода этого – воспоминания далекие. Были времена ведь, он в синоде заседал, и в Государственной Думе. Кроме национализма, не прежний ли, дореформенно-синодальный архиерей в нем проснулся? Опять под чью-то «высокую руку»?

Не знаю, как все выйдет. Никак не собираюсь осуждать инакочувствующего. Просто лишь отмечаю, как бы в летописи. Погибнет ли Сергиево Подворье или же выживет? Все равно, сердце наше останется – в России с церковью умученной, с ее исповедниками и страдальцами, а здесь с простором и новым

стилем вечного православия. Это православие может строить храмы только нищие, никогда не будет иметь пристанища прочного, его будут гнать. Если в некоторое время и вернется оно на землю русскую, то для того, чтобы и там отстаивать всегдашнее превышение духовно-церковного над государственным: независимость и свободу церкви.

14 марта

...Самое это милое «государство» – что за восторг кругом! Какое поклонение. Государство растет и пухнет на глазах наших, всякое преступление его оправдывается – особенно, если сильно государство и дела свои (бесчеловечные) ведет умно, успешно.

О, тогда «падом до ног»! Кланяются и еще поклонятся: вековая мудрость человечества.

Мудрость эту хорошо бы выбросить в пубельку, вместе с очистками картофеля, головками рыб.

2 апреля

Слушал русское радио. Исчисляли генералов, полковников и подполковников, отличившихся при взятии города. Казалось, переберут и капитанов, поручиков, фельдфебелей. Но до пролетариев не дошло. Ограничились барами. Как слащаво, как скучно! Почему так ужасно грустно? Ведь это не в первый раз. И всегда то же. Левиафан, Левиафан! Всегда от себя в восторге, всегда учит, всегда вещает. Я бы хотел горсточки скромности моего народа, смирения, поэзии, звуков небес... но должно быть до недолгой уже могилы все вот будешь слышать о танках, аэропланах, заводах, о разных «мускулистых руках», «отличенцах», «выдвиженцах», «героях труда». О махорка, о самогон и частушка! Ваши дни. Знаю, что и вам жить хочется, ну да, ну и живите, но если вы жизнь заполните...

«Мимо, читатель, мимо».

На небе тишина;
Таинственно луна
Сквозь тонкий пар сияет;
Звезда любви играет
Над темною горой;
И в бездне голубой
Бесплотные, летая,
Чаруя, оживляя
Ночную тишину,
Приветствуют весну.

...Вчера был печальнейший день, а подумать: у католиков Пасха! Серое небо, пустые улицы, после завтрака на них появляются «семейства» французские – облики тоски метафизической.

Старые папа-мама. Помоложе муж и жена, дети, онкли[1] и танты[2], все приодетые и все кучей, благопристойны, порядочны – не дай Бог! Но чего же видеть сучок в глазу брата? Вот мы с Верой тоже вышли, и приоделись, и чем мы лучше?

Позвонил по телефону к знакомой, она нездорова. Видеть еще нельзя. Хорошо, пойдем к Зинаиде. Тронулись. По дороге, на rue de Passy встреча: нахрамывая, ковыляет поэт, тем знаменитый, что однажды при жизни чуть было его не отпели, некролог появился. А он и доселе жив... – но в каком виде! Дай Бог долго прожить, но такой...

В третьем этаже дома в Пасси отворил преданный человек, опекун и о Зинаиде заботник.

– Нет, ее нельзя видеть. Второй удар был. Ни рукой, ни ногой почти что не двигает.

Несколько минут посидели в прежней ее комнате – ныне уже запустение. Нежилое! Картонки какие-то, пыль на этажерке. Старинные серые туфли, замшевые, на высоких каблуках, – когда-то и Вера такие носила – одиноко стоят на комоде. Рядом в комнате, три года назад, умер Мережковский.

Вечером, часу в восьмом, выхожу, как всегда, к Porte de St Cloud.

Сумерки. Небо в облаках, как осенью, знакомые сады с молодыми деревьями, здесь дети играли, когда бомбами был засыпан весь этот район. Сколько погибло... – и все ничего. Все прошло. По-прежнему бронзовый носорог в углу, нежная прозелень апрельская, желтенькие распустившиеся кустики, вдали красный многоэтажный дом с выбитым верхом: там в мансарде жила художница с птицами своими. Обожала птиц, студия ими кишела. Они все погибли – она успела спуститься вниз – но потом очень угрызалась, что оставила их погибать. Впрочем, пережила не надолго: этой зимой и сама скончалась в госпитале Бусико.

Среди туч вдруг отверстие, слабый и грустный свет. Точно кто пожалел нас. «Ну, не могу осветить так, как надо, чтобы сердца заиграли, но вот все же я свет, зеленоватый и уходящий, но свет».

О, нужна помощь! И хорошо, что есть кто-то, кто пожалеет. О, черные мысли бывают страшны.

---

[1] дяди *(фр.)*.
[2] тети *(фр.)*.

Возвращаясь, встречаю на лестнице старого капитана из верхней комнатки нашего дома. Худенький, едва ползет, говорит несвободно. «Ну, а здоровье как?» «Катастрофически. После удара было оправился, а сейчас опять хуже. Давление. Видеть стал плохо. Вчера в церкви стоял, не мог священника разглядеть».

Да, денек.

12 апреля

В метро с русскими офицерами. «Золотопогонники» – на погонах звездочки. Один постарше («капитан») потише, другой молодец как бы южного типа, темный, с живыми глазами, несколько дерзкими, полугерой, полу-Стенька Разин. Происхождения народного, это видно. Едут с укладочками-чемоданами «на пляс д'Итали».

«Что же, вам Париж нравится»? Капитан просто отвечает: «Нравится». Цыганок: «Да, город неплохой, разумеется. Прежде-то он был во всем мире первый, ну, а теперь с прогрессом техники, разумеется, наша Москва будет почище... Там метро-то какое, вы бы посмотрели!»

10 мая

1-го мая выпал в Париже снег. Он недолго лежал, а потом наступили жары. В промежутке Муссолини убили, вместе с Кларой Петаччи, его любовью. Любовь оказалась любовью: Клара пыталась закрыть его своим телом. Потом их повесили в Милане, как и других тридцать «сообщников», на площади Пятнадцати Мучеников, ногами кверху. Плевали, стреляли в них, устроили перед ними парад толпы. Потом, будто бы, тела Муссолини и Клары выставлены были в витрине магазина, за стеклом – одно на другом.

А затем, при большой уже жаре, подошла сдача Германии. Так что все кончилось: и пора! Пора. Сирены погудели в три часа убого, потом должны были работать колокола, и сколько могли старались, но никто ничего не услышал.

Флаги, толпы. Молодежь кричит и пытается петь. Лучше всего удается ей «смерть Петэну» – (на Больших бульварах). Вечером иллюминация. Из наших окон лучше всего фейерверки в Исси ле Мулино. Над Парижем жалкие ракеты. Шум, крик на улицах до 3 – 4 ч. ночи. Именно в четвертом часу, под дикий, безголосый вопль «Это будет последний и решительный бой», я и заснул. Шестилетний спектакль окончен. Боже, как тосковали мы в августе 1939-го года! И не напрасно. То, что посеяно

было в 17-ом году, что тогда первые плоды свирепости принесло, то теперь развернулось. Тогда было истребление одних, теперь ученики истребляли других и угоняли к себе в рабство собственных учителей. Потом учителя, оказавшиеся гораздо умнее учеников, соединившись со всем миром, со всеми танками, аэропланами, долларами вселенной, разгромили учеников. Проявили всегдашнюю свою и смелость и упорство, силу. Защищали сначала свою землю, где бесчинствовали ученики, потом вошли в землю учеников и там благополучно истребляют население. Многих (детей, женщин) убивают на месте, других вывозят рабами. Те будут работать на них, «восстановлять» разрушенное.

Все хорошо. Все очень хорошо. В виде репрессий за «вольных стрелков» целые города сносятся авиацией с лица земли, погребая население. Это делают уже западные люди, представители «христианской цивилизации». Все эти «христиане» находят вполне естественным, что за грехи и преступления власть имущих отвечают грудные младенцы, что кипящим фосфором можно заливать беременных женщин.

Таково милое состояние мира. Ну, впрочем, нашелся в Англии епископ и сказал в Палате (Лордов), что нехорошо быть зверями. Зверинец остался равнодушен. По озлоблению теперешнему, по свирепости людей – хорошо еще, что один нашелся! И что позволили сказать.

Как бы то ни было, вступаем опять в новый «эончик». Так называемый «мир»! Много ли даст он, немного ли, ясно одно: жить осталось немного.

М. О. ЦЕТЛИН

С Михаилом Осиповичем и Марией Самойловной я познакомился в самом начале революции. Они только что приехали в Москву из Франции кружным путем через Америку, Японию – в девятьсот семнадцатом году.

Москва тогда кипела. Большевики, меньшевики, эсеры, анархисты, имажинисты, футуристы, просто какие-то бандиты – всё варилось всё вместе. Было трагическое, было историческое, было и гнусное. И шутовское. Литература большая молчала. Те, кому так уже хотелось выскочить, что-то сорвать, лезли вперед – за силой и победителями.

В этой-то сутолоке, в каком-то литературном кафе нас и познакомили. Никак уже не подходил Михаил Осипович стилю крикунов, футуристических, размалеванных физиономий,

наглых имажинистов. Тихий и застенчивый человек европейского (в азиатчине Москвы революционной) вида, слегка прихрамывающий, с палочкой, негромко говорящий. Мало похоже, что он тоже был революционер, эсер, в 1906 году вынужденный бежать из Петербурга за границу и вернувшийся только с победой революции. Но его сразу можно было определить: поэт, писатель.

От первых встреч осталось лишь общее, изящное и милое ощущение – да, это в каком-то роде «свой», сотоварищ литературный, с ним быть и можно, и приятно. А потому я и начал посещать Цетлиных. Встречались мы и у Алексея Толстого. Все-таки, это было бегло. Из встреч тех больше запомнилась последняя, весной 1918 года.

Цетлины поселились где-то между Арбатом и Поварской. У Марии Самойловны родилась дочь, в доме младенец, но жили тогда в Москве еще просторно, и Цетлины собирали иногда по вечерам литературную братию. Вот в тот вечер много народу сидело за большим столом в столовой, очень яркий свет, шум, говор – ужин московский, и средь гама литературных гостей тихий хозяин за всем следит, угощает, подливает вина, успевает с каждым сказать несколько слов – бесшумно все это и приветливо.

Против меня сидел Алексей Толстой, зычно рассказывал, хохотал, и нельзя было не хохотать с ним – что за актер, что за дар комический! Марина Цветаева вертит папироску, нервно и хрупко, сыплет колкими и манерными словечками. Болезненного вида Ходасевич. Есенин – совсем юный еще паренек, русачок, волосы в скобку, слегка подбоченясь, круглый и свежий, даровитый, еще не пропившийся, не погубивший дара своего и себя. Изящно-таинственная Соня Парнок – с умными, светлыми глазами, русская Сафо. Эренбург. А со мной рядом совсем странный тип, молчаливый брюнет, волосатый, нерусского вида, он кутается (в бурку?) с видом Марлинского. Но нас никакой буркой не удивишь, мы видали в то время и людей в клоунских одеяниях, и с накрашенными щеками, и тихих безумцев, как Хлебников, называвших себя председателем земного шара. Помню, однако, что не было Маяковского, чему мог только радоваться. В доме культурном и литературном, где в задней комнате спала девочка, этот тип со скандалами своими мало был бы уместен.

Но ничего такого и не случилось. Есенин с Дункан еще не познакомился, остальные были вообще приличны. После ужина читали стихи. Марина Цветаева стрекотала острые и нервные свои строки, с такими же переломами, как сама, с таким же же-

манством, как всегда, – с еще свежими, иногда и пронзительными рифмами. Соня таинственно полураспевала сафические строфы – эта спокойно, скорее задумчиво, тоже покуривая папироску, но совсем по-другому, чем Цветаева (у той все рвалось и горело в руках). Страстно кричал свои стихи Эренбург (в то время сочинял еще разные «молитвы о России»).

Просили читать и Михаила Осиповича. Но он как бы смутился – «нет, нет, я сегодня не расположен...», и такой вид был у него, что не хочется выступать, выдаваться... – а вот так тихо, любезно угощать, говорить о литературе с соседом, не напрягая голоса, незаметно и «для себя».

Все это долго тянулось – по времени, но не по самоощущению. Зори конца мая и в Москве ранние. Утро того дня занялось, как ему полагается, нас застало веселыми, расходящимися от Цетлиных. В передней устроили мы с Толстым дуэль – скрестили трости и фехтовали, от избытка сил, молодости, еще не растраченной. Петухами налетали друг на друга, Алексей фыркал, как водяное чудовище, пыхтел, хохотали мы оба. Человек в бурке, сидевший за столом со мной рядом, по фамилии, как оказалось, Блюмкин, мрачно все в бурку свою кутался и молчал.

А потом вышли мы на утренний простор переулка московского, в золоте зачинающегося солнца, и (по легкомыслию своему) все еще ощущали себя в прежней, художнически-артистической богеме, в прежней Москве мирной, хотя какой уж был там мир!

И вот все прошло. Соня Парнок давно скончалась в Москве, ослабев сердцем от тяжелой жизни. Цветаева попала в эмиграцию, в Россию возвратилась – там и повесилась. Ходасевич умер в изгнании. Толстой вовремя переместился к победителям и вкусил, чего надо, но и он умер. Тихо, как жил, угас в прошлом году Михаил Осипович.

Но всех ранее погиб мой сосед в бурке. Правда, в июле того же года он убил германского посла в Москве графа Мирбаха. Я забыл уже для чего – но для чего-то это нужно было партии левых эсеров, к которой он принадлежал.

* * *

Передо мной автобиографическая запись, сухая и краткая: события, даты. Но она много дает. Видишь жизнь личную, чувствуешь даже эпоху. В 1882 году родился в Москве, в Сокольниках, мальчик Михаил Цетлин, в семье достаточной, а вернее богатой. Надо думать – мальчик болезненный, уже четырех лет тяжко хворал. Десяти лет первая встреча, первая скромная ре-

петиция того, что процветет в зрелости чревом инфернальным. Записано: 1892 год – первая высылка евреев из Москвы. И тут же опять – шесть месяцев в постели, болезнь, коксит. Потом обычная наша карьера: гимназия в провинции, на пороге юности возвращение в Москву, всем москвичам памятная гимназия Креймана. И опять коксит, и теперь странствия заграничные, по курортам, очевидно, для лечения. Возможность материальная была, и времена такие, когда виз не спрашивали.

Начинается наше столетие. Сразу же революция, тоже еще не настоящая. Михаил Осипович ею захвачен. Он эсер. Только не вижу, чтобы в кого-нибудь бросал бомбы. В него – можно было бросить. Слава Богу, ни в какие тюрьмы и каторги не попал, а под 1906 годом запись: «Поездка с М. в Петербург и бегство за границу». Как типично для времени! Сколько таких эмигрантов российских, интеллигентов, писателей, встречали мы в молодости, туристами разъезжая по Западу – еще собственной судьбы не ведая.

В 1910 году запись важная: «моя женитьба» – это и есть М., Мария Самойловна, а в 1912: «рождение Валечки» – и продолжается заграничная жизнь. Она разнообразна. Веве, Лозанна, Биарриц, Париж, Шамони, Шамби. И наконец то кругосветное путешествие, которое и привело в Москву. Но в Москву ненадолго. Трудно эсерам ужиться с большевиками. Уже под 1918 годом сообщается: «бегство в Одессу», а в 1919 – «возвращение за границу». И теперь уже навсегда.

* * *

В Париже встретились мы в 1924 году. Цетлины жили на rue de la Faisanderie (позже на rue Nicolo). Здесь был у них литературно-политический салон. Элита русская («звездная палата эмиграции», как говорили недоброжелатели). Тут можно было встретить Милюкова и Керенского, Бунина, Алданова, Авксентьева, Бунакова, Вишняка, Руднева, Шмелева, Тэффи, Ходасевича, позже и Сирина. Здесь я познакомился с Р. М. Рильке. Тут устраивались наши литературные чтения. Встречались мы теперь часто, и чем дальше шло время, тем прочней, спокойнее, благожелательней становились отношения наши. Нельзя было не ценить тонкого ума, несколько грустного, Михаила Осиповича – его вкуса художественного, преданности литературе, всегдашней его скромности, какой-то нервной застенчивости, стремления быть как бы в тени. Единственно, за что я упрекал его – что мало пишет. Действительно, была у него книга стихов, но давнишняя, да писал он рецензии в «Современных Записках» (дом Цетлина был как

бы главным штабом этого замечательного журнала). Между тем и обстановка и условия жизни к писанию располагали. Он мог писать не для заработка, отличная библиотека под рукой и т. п. Но вот, как неторопливо прихрамывал он где-нибудь на rue de la Pompe, опираясь на палочку, так же не торопился и в литературе и все будто стеснялся. Однако, в начале тридцатых годов выпустил «Декабристов», книгу отличную, живую и полную усердного знания и расположенности к эпохе[1]. А еще позже, перед самой войной, книжку стихов под давним своим псевдонимом Амари – «Кровь на снегу» (тоже о декабрьском деле).

21 июля 1939 года записал он, как бы в наставление себе: «Если Бог даст жизнь и даст мир миру – использовать оставшуюся жизнь для работы. Постараться выпускать каждый год по книге». Приложен и план – на двадцать лет вперед. Обширно. И Свинбёрн, и Мусоргский, и «Фантазия» опять о декабристах, и переводы, и народовольцы, и история еврейского народа, и дневник, и стихи... – и многое, до 1959 года, до 77 лет. А вот тогда – «если смерть не подумает обо мне много раньше, можно будет подумать о смерти».

Мира Бог миру не дал. От нашествия немцев Цетлиным пришлось в третий раз уезжать – все на запад, на запад... Но и там, основавшись в Нью-Йорке, Михаил Осипович литературы не бросил. Эти строки печатаются в им же созданном «Новом Журнале», сыне «Современных Записок». На любимое дело полагал он последние силы – сам писал, сам читал рукописи.

Вместо двадцати, Господь дал ему всего семь лет жизни. Из программы удалось напечатать лишь большой том «Пятеро и другие», не один Мусоргский, а вся могучая кучка – очень ценная и благородная книга. Она увенчивает достойно достойную жизнь. Беря ее в руки, лишний раз ощущаешь горечь разлуки. За ней долгая, чистая жизнь, затаенная и застенчивая, человека высокой культуры и тонкой выделки – истинного писателя, так до конца и оставшегося себе верным.

ВСТРЕЧА

Одна из первых книг, мною в Париже прочитанных – много лет назад, – был роман «Genitrix», Франсуа Мориака[2], автора тогда еще молодого, почти «начинающего». Он мне сразу понра-

---

[1] См. о ней подробнее в очерке Б. К. Зайцева «Декабристы».

[2] Ф. Мориак. Волчица (Genitrix). Перевод Г. Н. Кузнецовой. С предисловием Ив. Бунина. Издательство «Русские Записки». Париж, 1938, 117 с.

вился. Обликом своим, словом, фразой, всем художническим сложением – этого не расскажешь, как не объяснишь, почему одно лицо нравится, а другое нет. Значит, надо за ним следить – что он далее будет делать. Мориак шел ровно – уверенной поступью в литературе. Как полагается во Франции, трудился немало. Выпускал чуть не по роману в год – правда, романы его не объемисты, сжаты, но высокого духовного напряжения. Писатель католический, говоривший о последних судьбах человеческих, грехе, прощении, спасении или гибели – говорил он всегда с изяществом и суховатостью утонченного латинизма. Это врожденное. Худ и остроуголен как в писании, так и в жизни.

Известность его росла. Через «Therese Desqueyroux», «Ce qui etait perdu», «Le noeud des viperes»[1] все подъем, восхождение. Начинается слава. Мориак академик (что ему ничего не прибавило. Ни Стендаль, ни Бальзак, ни Флобер академиками не были). Круг читателей вырос, стали появляться о нем книги.

А мировая жизнь продолжалась. «Передышка» окончилась. Одной «великой» войны оказалось мало, пришла другая.

Мориак переживал ее тяжко – у себя в имении близ Бордо, в Ландах. (Как страдал под Руаном Флобер в 1870 году!) В доме Мориака, старинном, выросшем, как и сам он, из густой и благоуханной земли края бордосского, среди виноградников, сосен, – расположились немцы. А сам он был «резистант». Господь сохранил его и он дожил до счастливого освобождения Франции. Продолжаю считать его как-то «моложе» себя, но, конечно, он уже немолод, а главное, много пережил – и в поражении родины, и в освобождении ее. Как бывает с писателем *созревшим,* у него появилась потребность говорить *прямо о жизни.* Это не беллетристика и не проповедь. Но *голос души, совести.* Так было, в позднюю минуту жизни их, с Толстым, с Достоевским.

Два последние года внимательно читаешь неторопливые, тонкие, иногда сдержанно-насмешливые (в полемике), почти всегда горькие и благородные строки теперешнего Мориака – с каким блеском написанные! И как не шумно!

Это дневник души, связанный с жизнью родины. Это всегда некоторая труба, негромко, но чисто и одиноко взывающая к небу. Голос вопиющего в пустыне – вопиющего о чем? О человечности, духовности, сострадании и милосердии.

Милосердие! В мире, совсем утопающем в крови и насилии, кажется, что и слово забыто. Всеми, да и не всеми. Есть вот голо-

---

[1] «Тереза Дескейру», «То, что потеряно», «Клубок змей» *(фр.).*

са. Есть писатели, чья глотка не заткнута, кто своей родине, своему народу, да и urbi et orbi[1], могут говорить Истину. Не новую. О, она пришла в мир две тысячи лет назад, была им распята и ныне ежедневно распинается – Истиной же продолжает быть.

Всю жизнь мы ненавидели насилие и надругательство, зверство и казнь. Нам дано было непрерывное зрелище насилия. Достоевский стоял на эшафоте, отбыл каторгу. Толстой, в старости, возмущаясь казнями, писал: «намыльте веревку, захлестните на моей старческой шее», – все же в их время насилия и истребления были детской игрой рядом с тем, что *мы* видели на своем веку.

Из вопросов духа Мориак выбрал себе как бы специальностью милосердие. Оно его томит, жжет. Томит, как в ночи Ланд мучили шаги немецкого лейтенанта за стеной дома родного.

И вот встреча с писателем новая, не в искусстве на этот раз, а в иной, и не низшей области.

Предо мною его последняя, в день католической Пасхи, а в наше Вербное воскресенье, вышедшая статья. Единение народа в человечности – вновь милосердие: призыв к нему. Встреча пасхальная. Лучшего и не найти для таких слов.

Некий собрат по перу назвал Мориака в печати «пьяницей милосердия». Назвавшему есть чего постыдиться, названного украшает заушение. Опьянен милосердием – слава Богу. Значит, жив человек. Если есть те, кого преследуют за милосердие, значит, жизнь еще не зверинец, Христов Лик не до конца затемнен.

Русскому писателю, за которым стоит родная литература с вековым заветом сострадания и милосердия (с Пушкина, Гоголя, через Тургенева к Толстому, Достоевскому) – в дни Пасхи радостно особенно встретить все то же, давнее и вечно живое и юное, ибо истинное, у писателя страны латинской.

Да, Мориак, мы люди разных стран, разных народов, языков. Но наше великое счастье в том, что над нами стоит Вышний. Он дает руку. Он соединяет. Он делает так, что слова Ваши становятся мне ближе и родней, чем иные, сказанные на моем языке.

Да хранит Вас Господь. Продолжайте быть гласом вопиющего в пустыне – одинокой славой Вашей Родины.

ПИСЬМО ДРУГУ

Хорошо ли ты помнишь в Риме палаццо Киджи? И как, совсем молодыми, мы швыряли картошку в зеркальные окна По-

[1] городу и миру *(лат.)*.

сольского Дворца? – там сидели высокомерные австрийцы. Перед этим в Триесте и Вене обидели итальянских студентов. Мы заступались: русским всегда надо заниматься чужим делом.

Но было тут и другое. Италия нас полонила. Да, мы ей поклонялись. Отрицаешься ли ты этого теперь? Я – нет. Да и ты, конечно. Что в юности полюбили, с тем и уйдем.

Мы любили свет, красоту, поэзию и простоту этой страны, детскость ее народа, ее великую и благостную роль в культуре. То, что давала она и в искусстве, и в поэзии, означало, что «есть» высший мир. Чрез Италию шло откровение творчества.

Все это дело мира. Война не подходила такой стране. Древний Рим и завоевания – бред, нечего говорить о военной славе, ее добиваться. В ином сила Италии. И на наших глазах ей в ее военных делах не везло (да и не могло удаваться). В первой войне едва выгребла, да и то потому, что поставила правильно. Во второй вышло и вовсе плохо – во всех смыслах.

Помнишь ли ты июнь 1940-го года, с его пустынностью, тоской? Немцы совсем сидели у нас на шее... И Италия объявила войну! Тяжело, очень горько и очень уж неприкрыто. Но последствия всем известны. За безумный шаг страшная расплата. Нет, политика и война, империализмы, мечтания о богатстве и силе – не для этой страны. У нее есть другое.

Вот тогда, в наши юные годы, живя где-нибудь на via Belsiana в Риме или во Флоренции, в двух шагах от капеллы Медичи, как гордились мы тем, что живем в стране великой культуры. Великая культура есть великая человечность. Человечность уважает человека – даже и порочного, преступного. Бог дал жизнь. Бог дает смерть. Человек не волен над своей и над брата смертью... – Так-то мы и гордились тем, что живем в стране, где non c'e pena di morte (нет смертной казни). И правда, не было. Но ведь тут крепостное право отменили в 1289 году, а в XVIII веке знаменитый Беккариа выступил против смертной казни.

Со скамеек Московского Университета осталось у нас с тобой в сердце, что Беккариа этот был подхвачен Россией в том же XVIII веке, привился. Русское законодательство исключило смертную казнь. Это не значит, конечно, что вовсе не казнили. Жестокостей было немало. Находились обходы, политических иногда вешали (террористов) – что немало мучило наши юные с тобой годы: вспомни разных Каляевых, Балмашевых...

Но *идея* казни враждебна была русскому сердцу, доколе сердце это сохраняло христианскую закваску. (А она шла из глубины веков, иногда резко проявлялась: Владимир Мономах отвергал казнь в двенадцатом веке христианской Киевской Руси.)

На наших с тобой глазах, при самом начале *интеллигентской* революции, смертную казнь в России еще раз, начисто отменили (нашли самое подходящее время!).

Мы с тобой тогда не были уже так молоды, но по опыту жизненному – дети. Отдавались порыву чувств – ликовали.

Мне не стыдно за это ликование. Оно было кратко, шло из известной восторженности и наивности людей книжных, но источник его был чист.

Что потом было с казнью в России, ты знаешь. – Есть вещи, о которых тяжело вспоминать, особенно, когда они касаются страны родной. Как сказано у Данте нашего:

Не будем говорить о них,
Взгляни и проходи.

Остальное все на твоих глазах и случилось. Кровь миру понравилась. Много нашлось любителей истреблять классы, истреблять расу, в один миг испепелять города с людьми. Человечество себя показало. И все «с идеями», все «из высших побуждений».

Самое страшное: к этому уже привыкли. Все это хорошо, так и надо. Человек ведь ничто. Нечего с ним миндальничать. К стенке, к стенке.

И вдруг раздается другой голос. Услышал ли ты в деревенском своем уединении неожиданный голос Италии? Если нет, я сообщаю тебе его: итальянский парламент отменил смертную казнь!

В эту войну много горечи испила дорогая для нас с тобою страна. Тоже была залита кровью, тоже терпела террор – немцы показали дорожку, потом и свои обучились. Кровь и насилие, кровь и насилие... Но вот в некий момент говорится: довольно! Non c'e piu pena di morte[1].

Мы с тобой уже не те, что лет тридцать назад. Слишком многое видели, слишком многое пережили. Наивности в нас теперь мало. Знаем цену словам, но и все-таки... – «Наша» страна вспомнила вековое наследие. Не к лицу ей палачество. Это для других, кто попроще... Ты подумай только, мы не совсем одни. Мы, конечно, одиноки и не современны. Мы любим тишину, благообразие, свет, поэзию, доброту. Нас считают отсталыми – теперь нужно другое. Вокруг нас нет шума и жизненного успеха. Но представь, чем я больше живу, тем сильней убеждаюсь, что «отстал», собственно, мир. О, конечно, не от

[1] Нет больше смертной казни *(фр.)*.

нас с тобой лично. Но от Истины, имя которой дерзаем мы призывать.

Царствие Божие бесконечно выше программ, партий, «правого», «левого». Оно есть свет и любовь. Рядом с ним все «мирское» – отсталое.

Подумай, Италия-то! Non c'e piu pena di morte. Выйдет, не выйдет, но само дуновение-то... – нет, мы не так одиноки.

УТЕШЕНИЕ КНИГ

Пушкин был ранен. Его привезли домой, уложили. Он понимал, что умирает.

«Не желаете ли видеть кого из ближних»? – спросил Шольц.– «Прощайте, друзья»! – сказал Пушкин, обратив глаза на свою библиотеку.

Так рассказывает Жуковский. «С кем он прощался в ту минуту, с живыми ли друзьями или с мертвыми, не знаю».

С книгами, конечно, с книгами! Они верны были ему, с ними он жизнь прожил. Это не значит, что «с мертвыми». Пушкин прощался с живыми. Написавшие умерли – это неважно. Живой дух идет от настоящей книги: он живет. Пушкин был сам – жизнь, образ ее, слишком, быть может, стихийный: часы мук предсмертных возводили его горе. Первое, что коснулось, был дух книги. С этого началось. Кончилось необыкновенною исповедью священнику.

* * *

В минуты горечи и упадка кажется иногда: а вдруг лучшие книги прочитаны? Если есть с кем вести знакомство, так с прежними. А новое?

Лучшее, разумеется, знаешь. «Великое» новое вряд ли уж встретишь. Но уныние надо гнать. И друзья, кого жаль будет оставлять, неожиданно иной раз являются.

О. Сергия Булгакова знал я давно. Помню его еще в сюртуке, помню в Крыму до войны. Относился всегда уважительно, но спокойно. Тут в эмиграции прославилось его богословие – верю, но судить не могу. Отдельные книги, статьи читал с удовольствием и питательно. Проповеди слушал с большим уважением. В общем же чувствовалось, что здесь, в Сергиевом Подворье, он растет, завершается как-то. А после страшной болезни, потеряв голос, о. Сергий обратился в худенького, едва шепчущего и хрипящего русского батюшку, но вот уж, конечно, особенного, с «углублением»

необычным. Может быть и особенно замечательным, духовным и светоносным казался он именно во внешней своей немощи.

И вот он скончался. Теперь вышли в свет «Автобиографические заметки» его – книга просто о себе, от сердца к сердцу.

Шесть поколений священников! (А молодость начинал с Маркса, был профессором политической экономии и одно время безбожником). «Родина есть священная тайна каждого человека... ей свойственна также такая тихость и ласковость, как матери».

Городок Ливны, Орловской губ., где отец священствовал в кладбищенской церкви, строгая и высокая жизнь в православном быту, величайшая связь с церковью в переживании праздников, постов, радость и «неотме́нность» церковных служб...

Эта глава просто художество– и в ней чувствуешь уже огромный духовный темперамент, еще сдерживаемый. Можно не иметь ясного мнения о Софии – и быть взятым целиком этой плавной, насыщенной соками родины русскою речью, говорящей о Святой Руси. Дальше все и идет о его жизни: искусительный путь безбожия, возвращение, решение принять сан. Рукоположение в Троицын день во диакона в Даниловом монастыре в Москве. («Самым в нем потрясающим было, конечно, первое прохождение через царские врата и приближение к Престолу. Это было как прохождение чрез огнь, опаляющее, просветляющее и перерождающее»).

Некий «огнь» проходит и через всю книгу. Огнем была полна сама душа, и в большей даже степени, чем думалось. Он жег и неустанно гнал. Во всем ли прав писавший, или не во всем – в нем нет серого и серединного. Говорю прямо: такой силы переживания не ожидал. Касается ли он политики, описывает ли впечатление Айа-Софии, рассказывает ли о встрече с Сикстинской Мадонной, изображает ли страшные свои болезни – везде огненная душа. Могут быть и противоречия, и странные выражения, и преувеличения, но огонь души этой таков, что вот читающего опаляет. Для рационалиста книга эта «сумбурна». («Для Иудеев соблазн, для Еллинов безумие́» – ап. Павел).

Но излучает свет и огонь, огонь и свет, что дано только высоким душам. Это и есть «друг человека». Умер или нет автор, мне все равно: я читаю книгу и нахожусь в вечном царстве жизни. Это меня подымает и смывает пыль уныния.

* * *

В книгах есть иерархия: для развлечения, для забавы – мимо. Для искусства: радость творчества и совершенства – непременно возвышают. И есть книги – с ними предстоят в страшный час.

Старый нумизмат и археолог умирал в Москве от рака. Лежал в небольшом кабинете своем, с книгами, восковыми слепками монет, печатей. На стене портрет Пушкина – очень его любил.

Мучили боли. Но терпел, на ночь никого к себе не пускал, чтобы не видели страданий. Все читал одну книжку, небольшую, невидную, даже слегка потрепанную. Только с книжкой этой шли люди на смерть, на каторгу. Ее читал в тюрьме английский поэт, искупая грех. Блудница читает ее у Достоевского убийце.

Пушкин глядел на археолога со стенки, а тот все читал. Наконец и умер. «Иду туда, где свет», – так сказал на прощание близким. Так вычитал в книжке. «Не горюйте. Мне хорошо».

На маленьком Евангелии, не том, а другом, ее ежедневном, дочь его записала в Париже: «Мой папа на смертном одре велел читать 6-ю главу Луки Евангелиста».

ЗЕЛЕНЫЙ ХОЛМ

Первое лето во Франции, под Парижем – одинокое, в зелени среди вишен, слив, груш садов окрестных. Обстановка почти монастырская. Чистые, тихие дни! В них труд над «Св. Сергием Радонежским» – жизнь с древней, Святою Русью.

А на парижской возвышенности воздвигается в это время приют Преподобного – незабвенное дело митрополита Евлогия. Все шло как надобно. Зимой следующего года довелось читать из того же «Св. Сергия» – в соседстве белого клобука владыки – для того же холма-монастыря-академии: Сергиева Подворья.

Холм появился, стал крепнуть, украшался иконами и иконостасом, библиотекою, обрастал профессорами, студентами, складывал свою жизнь, свой стиль.

Божий дом входит в жизнь личную. Не заметишь, как начнешь привыкать к образу Преподобного у входа, к пологим ступеням, зеленому осенению каштанов, травке по взгорью, к немолодым домам и просторному храму с иконостасом Стеллецкого.

В хмурое мартовское утро, едва свет брезжит, беседа уединенная в пустой еще аудитории, с молодым иноком, только что с Афона вернувшимся – и зов Афона: вопреки и безденежью, и нерасторопности жизненной, тою же весной, ко всеобщему удивлению – Афон. Благословенный путь «по хребтам беспредельно-пустынного моря». Радость новооткрытой для себя Святой Горы.

И опять годы, новые странствия, новые книги, а зеленый холм равен себе, живет своей жизнью, притягивает и каждою с собой встречей дает нечто.

Приходилось бывать на нем и в торжественный день преп. Сергия, с архиерейским служением, словом митрополита, и на лекциях, и так просто. Позже – личная дружба, тихая келия – киот с иконами, все вокруг книгами на полках заставлено – богословие, патрология – портрет митрополита Филарета, Александра I, изображение Григория Паламы. Но и снимок Беато Анджелико, и знакомые книги об Италии.

Война, немцы, бомбардировки, треволнения... – и все тот же образ Преподобного у входа, лампадка перед ним, и все ничего: немцы обыски делали, бомбы кругом падали, да вот ни немцы не разорили, ни авиаторы не разрушили. Трудные были времена, и казалось иногда: выгребет ли Сергиево Подворье? Средств нет, от заморских друзей отрезано, не замерзли бы на холму своем монашествующие и профессора со студентами? – Но ведь так же бывало и в древние времена с обителью самого Преподобного. А в последний момент появлялась рука дающего. Явилась и тут. Выгребли, не погибли.

Бывали тягости и другие – неменьшие. Беспокойства, волнения, горести церковно-политические. Но и тут выжили. Облик, стиль свой – православия мирового в русской одежде – сохранили. Со Вселенским Престолом связь закрепили. Митрополита Владимира получили.

А внутри та же жизнь. Монастырские службы, хор с древними напевами, аудитории со студентами, вечно записывающими за профессорами.

Войны и истребления своим чередом, а молитва, труд мирный – своим. Так было, так будет.

Входишь в келию на Подворье, застаешь архимандрита за огромным томом, текст греческий, рядом латинский – какой-нибудь Климент Александрийский или Кирилл Иерусалимский, которого все равно никогда не прочтешь. Но кому надо – прочтет. А за стеной о. Сергий Булгаков. Может быть, он сейчас пишет тоже, или читает. А может быть, прогуливается со священническим своим посохом близ решетки парка Бютт Шомон, о чем-то раздумывая.

Во всяком случае, и в тишине и молчании, и в трудностях и скорбях жизнь идет здесь. Год за годом, на торжественный институтский акт собираются друзья, церковная интеллигенция Парижа, ученый профессор или монашествующий произносит речь по своей части. Несмотря на скудость печатания, все же выходят в свет обширные труды, защищаются диссертации.

На двух таких – и блестящих – архимандрита Киприана и архимандрита Кассиана – пришлось и присутствовать – с серд-

цем легким. Слава Богу, есть еще просвещение! Есть свобода, упорство, любовь к труду, дар научный. И вот, за «доктора богословских наук» – голубой эмалевый крест с Распятием в нем – на архимандричью рясу. Голубой цвет есть символ спокойствия и небесности. В творчестве и труде и есть благословенная тишина, свойственная людям горних мест.

Каждый год несколько студентов оканчивает институт. Немало пастырей выпустило уже Подворье. И время идет! Кого знал молодым, стали уже седеть. Вот бывший поэт, а теперь убеленный священник. Офицер, ныне монах. А вот и совсем юные, студенты с разных концов земли – может быть, будущие епископы.

Профессора, из своих же бывших студентов, уже есть. Есть и епископ – преосвященный Никон. Другого же епископа только что рукоположили в самом Сергиевом Подворье – Кассиана. О хиротонии его упоминаю отдельно – думаю, это некоторое событие в нашей церкви.

Слово при наречении (накануне) архим. Кассиан произнес смиренно, спокойно, с глубокой верой – и недвусмысленно. Сказано это ближайшим помощником и сотрудником митрополита Владимира: значительность заявления самоочевидна. «Духовная связь с церковью русскою не может быть нарушена». Свободою же своей церковь изгнанническая поступиться не может. Она хочет идти в русле вселенскости. «Православие шире России». Россия – великая его ветвь, одареннейшая, но младшая. Так что будущее служение свое епископское архимандрит мыслит в воздухе свободы и несвязанности с государством.

Самую хиротонию совершали на другой день – в великий зной дня св. Владимира. Вся густота, вся зелень каштанов по пути восхождения не ослабляла раскаленного сухого жара. «Хамсин», говорили бывавшие в Иерусалиме. Может быть, и хамсин, может быть, и Владимир Красное Солнышко, облик сияния и огня.

Служба шла три часа с половиною. Но во всем этом пекле не слабела радость. Начиная с самого митрополита, все радовались. Жарко и душно, и духовенство в тяжелых ризах измучено, но радость. Что-то, значит, пред нами открылось. Из дней Сергиева Подворья этот остался в душе особым светом, нечто палящее, но и укрепляющее – образ того, что не даром и не легко дается прикосновение к высшему.

Нелегко, все нелегко в жизни, все трудностию берется. Но при верном пути, под верховным благоволением – все благо. Может быть, предстоят этому холму еще тягости, даже вернее, что предстоят. Но как и раньше, все преодолеется глубоким, смиренным и крепким духом.

ЮБИЛЕЙ

Двадцать пять лет! Переехали границу вблизи Себежа, оглянулись на Россию – и прощай. По неопытности, легкомыслию считали, что ненадолго: год, полтора. Так прощались и в Москве с родными. Не навек, все понемногу изменится. Думали – к лучшему.

В Берлине ощущение свободы и Европы оказалось велико, хотя близкой никогда Германия не была. Но Берлин еще не эмиграция. Хотя жили среди эмигрантов, все-таки связь с Россией значительна. Постоянно оттуда приезжали и такие же, как мы, и полусоветские, и просто советские. С разными приходилось встречаться. Россия под боком и сами мы лишь вчера оттуда, выпущены «по болезни».

Прошел год, домой не вернулись. Вместо Москвы оказалась Флоренция, Генуэзское побережье и Рим. Это тоже не эмиграция. Это отголосок давнишнего, путешественно-художнического. Но и ненадолго, несколько месяцев. А затем Париж.

Каждому, кто въезжает в Париж из Италии, да еще зимой, кажется он сумрачным, серым, печальным. «Новая жизнь»? Да, вот это и есть новая жизнь. Началась эмиграция! Перешли за черту окончательно, одни там, тут другие. Крепко закупорено и надолго.

Так все и вышло. Чувство, что ты эмигрант, а не путешественник, появилось в Париже. Ты можешь желать чего угодно и думать о чем угодно, но ты должен прочно устраиваться – уезжать некуда. Ты дыши воздухом, какой есть, и за то будь еще благодарен.

Помню это время тайной подземной тоски. Все как будто идет и неплохо. Париж, чем больше его узнаешь, больше нравится. Ничем ты не связан, никто к тебе не пристает, требуя любви и поклонения. Можно писать и печатать что вздумается. И хорошо – бродить по прекрасным местам Парижа старинного, благородно-суховатого, изящного. И все-таки, все-таки...

Таковы, кажется, все эмигранты, с давних времен. Так отец наш, Данте Алигиери Флорентинец, первый эмигрант Европы, вечерами выходил и молчаливо, подолгу смотрел на солнце заходящее – там Флоренция.

А нам не удержаться на восток смотреть. Сколько смотрели, сколько дул оттуда ветер, летом ясность приносящий, зимой холод! Все казалось: а в конце концов ее увидишь. Что-то произойдет, так ли, иначе, восторжествует мир, свобода, человечность, можно будет и вернуться. Но Россия не приближалась. Ее жизнь шла, как ей назначено, путем безжалостным и беспощадным.

Наша – по ей данному закону. Шли дни, и мы трудились, медленно, изо дня в день складывая бытие свое. Не было оно блестящим. Бедность, полупризнанность, много тягот, для многих тяжелый крест. Мир и свобода не восторжествовали. Для тех, кто уходил сюда от насилия и несвободы, все осталось по-прежнему, несмотря на временные иллюзии. Возвращаться они не могут. Возвращаются сейчас те (немногие), кто все принял в России государственной. И пусть возвращаются.

Оставшиеся могут сказать так:

– Мы жили, как могли и умели. Разумеется, должны были выше, чище жить. За слабости свои, за будни, заблуждения перед Богом ответим. Что ошибались во многом, это учит скромности – не заноситься. Угадать жизнь трудно, предвидение мало кому дано. Но в то, во что раньше верили, продолжаем верить. Мир, справедливость и свобода, уважение к дитяти Бога – человеку, как были законом нашим, так и остались. Мы – капля России. Но в малом нашем мире можем все-таки сказать свободно, что правда это правда, ложь – ложь. Что насилие есть и всегда будет насилие. Что творчество вольное есть и всегда будет единственным творчеством. Что как бы мы нищи и бесправны ни были, никогда никому не уступим высших ценностей, которые суть ценности духа. С ними из России уходили, с ними здесь четверть века прожили, с ними и сейчас живем. Дай Бог стране нашей света и мира. Дай Бог, кому назначено, в некий час увидать ее, послужить ей на родной земле. Нам, старшим, на это мало надежды. Для нас Россия осталась больше в снах, иногда в выражении глаз русских, в косичках русских девочек, в запахе полей августовских и, главнейшее, в облике России духа, – во Святой Руси. А тоски подземной, поедавшей раньше, теперь менее.

Мир раздвинулся. Везде можно жить достойно или недостойно. И вот если недостойно живем, это страшно. Но это так же страшно было бы, если б физически находились мы и на земле русской.

РУСЬ В УМБРИИ

Умбрских гор синеющий кристалл...

Вяч. Иванов

«Над горами, вдалеке, лиловеет облако и под ним беззвучной сеткой висит дождь, изливающийся за десятки верст. А правее солнце, выбившись из облака, золотисто выхватило возвышен-

ность, где короной красуется далекая Перуджия, заволокнутая легкой дымкою, жемчужной».

Так, много лет назад, представлялась мне долина Умбрии из окна библиотеки в Ассизи. А на днях пришло письмо из Италии, где говорится:

«Вы помните губернаторский дом на горе в Перуджии и рядом «Grande Alberto Brufani», так вот с этой площадки мне показывали Ассизи. День был очень хороший, но гуляли тучки вдали – видно было, как Господь «дождил на праведные и неправедные», а на Ассизи в просвете между тучками упал сноп света солнечного, и так близко казался монастырь и селения...»

Тридцать семь лет назад из Ассизи был виден золотой сноп над Перуджией, теперь из Перуджии над Ассизи. Тогда Господь «дождил на праведные и неправедные», и одновременно виднелся дождь, а подальше солнце – велика, тиха долина Умбрии! – и теперь то же. Так было, так будет.

* * *

Письмо написал мне из Перуджии русский певец. Был он там не один, их четверо: «Вокальный русский квартет» – Денисов, Кайданов, Браминов, Пашутин. Выступали на празднествах города Перуджии с древним церковным нашим пением («Отче наш» знаменного распева, «Свете тихий» киевского, «Пасхальные песнопения» валаамского и др.). Киев, Валаам, на высоком холме Перуджии, у подножия которого этрусский некрополь, а дальше святая гора и городок Ассизи, разные Беттоны, Порциункулы, св. Мария Ангельская – вся колыбель францисканства. И наше родное – в воздухе Умбрии.

К нам доходил и доходит, и будет доходить несмотря ни на что, свет *их* Франциска. Но вот и они слушали, сначала со вниманием просто, а потом с умилением, а в конце и восторгом – с итальянской горячностью выражавшимся – слушали наши напевы, голос русской религиозной души (и русского понимания красоты). Сужу по печатным отзывам. В них говорится, наряду с похвалами художеству исполнителей, о «глубокой поэзии» этого народа, «возвышенно смиренной и могущественно мистической». Другой автор, рядом с высокой оценкой исполняемого, говорит и о «простой и смиренной утонченности» исполнителей. Вот, значит, в Перуджии, рядом с Ассизи, *смиренно* показывали наши певцы Русь Италии. Да, пора, пора! И настоящую. И в тишине. Слишком привыкли мы, за последнее время, к шуму, самовосхвалению. Бахвальство утомительно, невыносимо. Да к земле святого из Ассизи вовсе и не идет. «Какая страна, кроме Умбрии

наших святых, могла бы лучше понять музыку столь глубоко мистическую?» – говорится еще в ином итальянском тексте. А в другом месте сказано, что лишь народ, столько выстрадавший, как русский, мог создать это искусство. (И быть может, чтобы это сказать, надо самому тоже много перестрадать).

В том же перуджийском письме добавлено: «Здесь очень чтут святого, и народ под его заступничеством и его молитвами – очень хороший и красивый, ладный какой-то». Ну, вот, и слава Богу, что такой же осталась Умбрия, какой ее помню.

Вечером, на заре, выходя из Ассизи на прогулку, проходили мы тихими дорогами, среди виноградников, яблонь, оливок, при мелодическом перезвоне колоколов. И когда встречали крестьян, было такое чувство, что и эти простые, трудолюбивые люди, правда, ведь братья наши, хоть и верим на разных языках, да и вера не совсем одна. И почтительно друг с другом раскланивались.

Да, радостно узнать, что край святого все такой же, как и надо, и душа его отзывается голосу Руси вечной.

* * *

Певцы отпели свое в Перуджии и разлетелись. (Позже будут петь в Риме, Сицилии). Из них один и тотчас попал в Рим – дай ему Бог пред отъездом бросить монетку в фонтан Треви (чтобы еще раз в жизни увидеть Рим – таково там поверие).

А пока что ходил и бродил он по Риму и попал в собор св. Петра, там забрался на самую высь купола – снаружи. Сто лет назад Гоголь с Жуковским туда же подымались, рисовали: отлично рисовали, и всем хотелось записать – удержать прелесть Рима. А наш певец сел, как птица, в высоте, пред склонявшимся к Остии солнцем... («Вы знаете, какие краски бывают в небесах италийских и как этими нежными тонами Рим одевается, окрашивается сверху» – да, я знаю, хотя на куполе св. Петра никогда не был). – Вот он сел и там сидя «почти полным голосом» спел «Свете тихий».

ВНОВЬ О ПИСАТЕЛЯХ

В самом начале революции основался в Москве Союз Писателей. Точно не помню, сколько у нас было членов, но не так много, подбирали серьезно: надо иметь книгу, да еще представить ее для ознакомления (если автор новичок или малоизвестный). Покойный Юлий Исаевич Айхенвальд читал книги эти, докладывал нам в Правлении, – всегда мягко, к начинающим особенно сочувствен-

но. А Правление 21–22 гг. было такое: тот же Айхенвальд, Бердяев, Чулков, Шпет (философ), я и еще другие.

Мы жили между собой мирно, даже дружественно. Иногда Шпет подпускал шпильки, острил, подсмеивался над доставленной книгой, Айхенвальд, вынимая платочек безукоризненный, протерев им очки, негромким, приятным голосом говорил:

– Нет, почему же? Он пишет, как умеет, но все же прилично. Не Лев Толстой, но почему будем мы его обижать, отталкивать?

И чаще всего не отталкивали. А пристанищем нам служил дом Герцена, на Тверском бульваре, недалеко от памятника Пушкина. Хороший дом, особняк с садом. У Марины Цветаевой был отличный бюст Пушкина, наследие отца-профессора. Бюст этот почему-то долго стоял у меня в Кривоарбатском (во впадине его хранили мы миллионы, на которые можно было купить фунт масла, а с начала НЭПа бутылку вина). Этого Пушкина мы с Мариной отдали в дом Герцена, там он украшал книжный шкаф в комнате Правления.

Наши дела по Союзу такие: хлопоты и заботы хозяйственные о сочленах – пайки, выдачи дополнительно муки и т.п. Затем – путешествия к Каменеву или Луначарскому по части арестованных (иногда удавалось кое-чего добиться, – выцарапали Арсеньева, Ильина, Мазона: случаи, разумеется, не из «серьезных», скорей недоразумения). А затем устраивались и собрания литературные: малые – для своих, в самом доме Герцена, большие, парадно, в Политехническом Музее.

У себя на Тверском принимали мы предсмертного Блока.

После расстрела Гумилева Айхенвальд прочел о нем восторженный доклад. (О докладе этом Троцкий написал статью: «Диктатура, где твой хлыст?», но Юлия Исаевича не арестовали).

Так мы жили, и в жизни нашей «союзной» была одна странность – мы не обращали на нее внимания: власти дали нам дом, и бесплатно. Мы получали академические пайки (предмет зависти более обездоленных). Казалось бы, надо быть благодарным. Но благодарности не оказалось. Ходить к Каменеву и Луначарскому, торговаться о поблажках, приставать с тем, чтобы кого-то выпустили из узилища, – мы тут как тут. Но если бы Луначарский (или Каменев) вздумали войти в Союз, им бы сказали – надеюсь, не без смущения:

– Анатолий Васильевич (или Лев Борисович), невозможно.

– Почему? Я могу представить не одну книгу.

– Да, конечно... Но мы, знаете, за свободу литературы и печати. А вы против. Это нас разделяет. Нам даже устав запрещает принимать коммунистов.

Был ли устав такой утвержден или находился в сердцах наших, не запомню. Кажется, в суматохе 1918-1919 гг. его утвердили. Во всяком случае, мы с ним согласовались неукоснительно. И единогласно, с участием Н. А. Бердяева, провалили в Правлении кандидатуру Горького – в Петербурге о нем говорили как о возможном возглавителе обоих союзов, нашего и петербургского. Мотив – сотрудничество в несвободной печати. Каменев же и Луначарский в Союз наш входить и не пробовали.

* * *

Вспоминая то страшное время, много в нем видишь хорошего, как это ни странно.

Я уже говорил – жили мы, вольные русские писатели, между собой дружно, в сочувственности. С 1918-го года печататься стало почти невозможно. Чтобы существовать, служили в кооперативных «Лавках Писателей». Чтобы быть дальше от власти, стояли мы с Николаем Александровичем за прилавком, торговали книгами. «Про себя» писали, конечно. Выпускали книжечки рукописные – их коллекция сохраняется. Иногда удавалось напечатать что-нибудь в тощем частном журнальчике или отдельно. Так вышла моя книжечка «Данте и его поэма»[1]. К этому приблизительно времени относится книга Бердяева «Философия неравенства» – защита свободы, духовного аристократизма, страстные нападки на коммунизм[2]. Это, конечно, удачи случайные. В общем – молчание. Оно не могло радовать. Но мы жили в воздухе все же своем – просвещенных и независимых людей, единодушных и единочувственных, в воздухе свободы, *в своем кругу,* в сотовариществе, взаимной поддержке: на островке средь моря. *Мир начальства чужд и враждебен.* Вся сила физическая находилась «у них». В любой час могли они нас уничтожить. И это сплачивало. Мы стали – одно. Могли спорить о том-другом, но были для всех и вещи неколебимые, как бы священные: культура и гуманизм, «интеллигентность», вольность. Это давало силу, некий свет. Мы знали, что *за нами* правда. Об этом спора не могло быть. Могли спорить Бердяев с Айхенвальдом, ну, скажем, насчет Шопенгауэра. Но о том, можно ли печататься в «Известиях», разговора не вижу. Представить себе подпись Бердяева или Айхенвальда *там* – невозможно. От «collaboration» были мы тогда вовсе далеки.

---

[1] «Зайцев Б. К. «Данте и его поэма». – М., «Вега», 1922. 32 с.

[2] Если память не изменяет, главы печатались еще раньше, в журнале «Неравенство». Вышла в Берлине, в 1923 г.

Долго продолжаться это не могло. На верхах сообразили, наконец, что за заведение наш Союз. Да и сами мы люди неподходящие. Осенью 1922-го года за границу выслали целую группу писателей и профессоров: почти все Правление наше кроме меня: мне весной еще удалось оказаться в Германии.

Говорили, что это дело рук Троцкого (а, возможно, и Каменева). Оба они погибли трагически – Троцкий сам пролил крови немало, Каменев был интеллигент без кровеносного бешенства. Если верны тогдашние вести, Н. А. Бердяев должен поставить большую свечу за упокой раба Льва.

* * *

Украшает ли Пушкин книжный шкаф Союза Московского и теперь? Этого я не знаю. Не убежден, на моем ли месте заседает теперь Симонов, или в другом помещении? Что коммунистов теперь пускают туда, в этом уверен. Что нас с Николаем Александрычем не пустили бы, тоже уверен.

Многое знаю о людях того времени. Есть общеизвестное: Луначарский, вместе с которым любовались мы в ранней молодости во Флоренции Ботичелли, умер естественной смертью – слава Богу, что не убит. Каменева конец страшен, и он его не заслужил. Троцкий...

Non raqqioniame di lor,
Ma quarda e passa[1].

Погиб Юлий Исаевич Айхенвальд – трамвай задавил его в Берлине.

Впрочем, может быть, и избавил от Аушвица, газовой камеры. Айхенвальд был прямой, непоколебимый человек. Если что думал, так думал. Верил, так верил – никакой Троцкий и никакой хлыст не могли его сдвинуть. Не боялся и одиночества, непопулярности. Вечная ему память.

Осоргин и Чулков скончались – братски их вспоминаю. Шпет попал в ссылку, ослеп и умер там. Живы я да Николай Александрович Бердяев.

Вспомнил я о нем, и не так давно, на собрании здешнего Союза, где прошло невеселое размежевание по давней линии: свободы слова, мысли. Говорил Адамович, в духе Бердяева, –

---

[1] Они не стоят слов:
Взгляни – и мимо *(Данте) (ит.)*.

очень к нему близко. Рассуждение небезызвестное: свобода бывает простая и «трагическая» – свобода отказаться от свободы.

Я не очень внимательно слушал. Да, бывают на верхах жизни духовной случаи, когда от свободы отказываются: принимая монашество, например. Свободу приносят в дар Богу. Но приносить ее в дар Гитлеру или известно еще кому... Рассеянность продолжалась. Чувствовалось, что разговор идет не о философских определениях, а о разном ощущении жизни.

Потому-то и спорить не хотелось. Просто вспомнилось время Москвы, – время кучки, жившей в *своей* свободе, среди несвободы и убожества, просто *дышавших* свободой и человечностью и радовавшихся правде своей – след в душе ведь остался, – и не надо тогда никаких измышлений (как будто бы что-то оправдывающих).

Вечная память Айхенвальду.

СЛЕЗА РЕБЕНКА

Где ты был, когда
Я основал землю?

Кн. Иова

Балкон шестого этажа на бульваре Распай. Листва каштанов по бульвару, уходящему влево, тронута коричневатым. Над Парижем купол Инвалидов – смутно поблескивает золотом в осеннем небе. В садах через улицу некогда жил Шатобриан. Теперь ходят монашки, опекают каких-то убогих.

Эрна Дем, молодая веселая художница, с мужем Маркушей и Верой хохочет в столовой, за моей спиной, накрывая к обеду.

«Пройдет тридцать лет, все такой же бульвар будет и Инвалиды, но нас никого не останется, – ни меня, ни Маркуши, ни Эрны, ни Веры, рассказывающей им еврейский анекдот».

Стало жаль и себя, и близких. Что же, это бывает. Приходит, уходит. Через пять минут чокались уже с хозяином – вечность не уйдет, а мы продолжаем еще жить и несмотря ни на какие войны и нашествия садимся обедать.

Но к хозяевам милым вечность пришла раньше, гораздо раньше, чем померещилось на балконе... – всего через год. Как ко многим в то страшное время: заточение, вывоз в Германию – смерть.

«Сентябрьский свеженький денёк...» – помню его, очень помню. И на днях, на посмертной выставке погибших художников снова увидел и купол Инвалидов, и буреющую листву каштанов: с того же балкона и вид, гуашью, все той же живой и веселой Эрны.

– Какая грусть эта выставка, – сказала Вера, выходя на улицу, – точно панихида. Не могу забыть Эрны, Маркуши.

* * *

На тридцать лет вперед нечего загадывать. Но на тридцать назад прикидываю.

И вот зрелище (иное, или все такое же?).

Конец февраля 1917 г. Москва, Александровское училище. С лекции вызывают юнкера вниз – там в приемной сообщают, что убит в Петербурге Юра, близкий мой родственник. Только что выпущенный из Павловского училища, был он в тот день – первый день «бескровной» революции–дежурным по Измайловскому полку. Загородил дорогу врывавшейся толпе, тут же и был заколот.

Мать получила в провинции телеграмму о его смерти. Сестра, с нею жившая, закричала от ужаса. Но она сказала: «Кричать не надо». И выехала в Петербург.

Тело сына любимого нашла во дворе полка, в конуре. Он был наг, все сорвали с него и украли – весь пронзенный штыками, окостенелый в морозе.

Под улюлюканье толпы она похоронила все-таки его и возвратилась. В Москве я ее видел – маленькая, с огромными карими глазами, спокойная, как всегда. Только сказала:

– Значит, так Богу угодно было. Значит, так лучше. Плохо Господь не сделает.

А через много лет от сестры, вскрикнувшей при известии, узналось, что вернувшись она говорила еще: «Особенно я жалею убийц его. Что они сделали...» Добавила ли «с собой»? Этого я не знаю. Сама же она давно скончалась. Ее жизнь после смерти сына стала совсем монашеской – думаю, приняла она тайный постриг – скончалась в «ангельском образе».

* * *

С тех пор так вот мы и живем в тридцатилетней войне. Были и перемирия. Казалось временами, будто затишье. Но только казалось, – потому что далеко от родины и мало знали. Теперь знаем больше. Кровь не меньше лилась и в тридцатых годах, теперь не одних интеллигентов кровь, а и крестьян, разных колхозников, и рабочих, и беспризорных. Те же пытки, о коих уж лучше и не читать. Те же проклятые лагеря, каналы Беломорские на человечьих костях (Горький восхищался некогда «моральным воспитанием», которое там получают заключенные).

А потом подошел Гитлер со всеми своими прелестями – способный ученик. Все вывернул наизнанку, но по свирепости той же школы. И притом: «нет истины, все дозволено» – это насчет высшего, идейного. А жизненно, ученики с учителями на родственной утвердились морали: «что нам выгодно, то и хорошо. То и есть истина».

Мы же пережили и войну, и «нашествие иноплеменных», и все ужасы истребления неповинных – все эти Эрны, Маркуши, Оли, Мелитты съедались чудовищем за то, что принадлежали к неподходящей расе – как ни в чем неповинные Юры, и барские, и крестьянские, и мещанские, всякие гибли на родине нашей и продолжают гибнуть: за неподходящесть тоже. Да и вообще жертвоприношение в разгаре. Человек ничего уж не стоит. В минуту сожжена Хиросима, в двадцать минут Дрезден с живыми людьми. (Начнешь перечислять ужасы, среди которых живешь, не остановишься).

Вопль Иова не умолкает. Тысячелетний вопль звучит, «разумные» друзья дают разумные советы и ответы и научают, вплоть до жены, вовсе «разумно» посоветовавшей Иову от Бога отвернуться. Иов, как известно, не послушался. А Бог на разглагольствования эти дунул вихрем и возгремел: «Кто этот, помрачающий Промысл речами без смысла?»

И началось, и началось... Где ж человеку вопрошать Бога? Пиголице бездну? «Знаешь ли ты законы неба и можешь ли уставить порядок его на земле?» «Открылись ли для тебя врата смерти?» «Обозрел ли ты широту земли?» «Твоим ли велением подымается орел и вьет высоко гнездо свое?»

Невелик ты, человек, с Богом не спорь. Иов склонился. «Знаю, что Ты все можешь...» «Отрицаюсь и раскаиваюсь в прахе».

* * *

О слезинке замученного ребенка Жуковский сказал ранее Достоевского. Но не бунтовал и билета почтительнейше не возвращал. Вот вычитал в 47 году среди «происшествий»: ребенок скакнул с копны сена и напоролся на вилы, которых не видел. Они пронзили ему внутренности, и так как концы их загнуты, то нельзя было вынуть. Дитя скончалось в мучениях – за что они? Есть от чего помешаться. Но Жуковский спокоен (так же отнесся и к незаслуженным горестям собственной жизни). В его философии неколебимо смирение. То, что *кажется* нам бессмысленным, имеет смысл, только не открыт он нам.

Для этого нужна огромность веры. Ничем не смущаться – для каких-то неведомых нам целей Господь делает все к лучшему, хотя бы и облик (внешний) дел представлялся ужасным.

У Достоевского не было такой меры доверия. Не всегда мог он принять. Но всегда был именно брат наш, человек пестрый. Сердце его так же кровоточило и раздиралось, как наше. Истина выше, конечно. Но не всякому дано последнее спокойствие смирения.

...Троицын день, еще на всенощной в субботу «Радуйся, Царица...» А все воскресное богослужение – свет и радость, вся церковь в цветах, даже березки наши украшают стены, образа, иконостас. «Земля именинница» – удивительный праздник, вроде обручения с Природой, тварью, или венчание. Свет и в молитвах коленопреклоненных – моление за себя и за мир, и за скончавшихся, даже в аду сущих. Только сим светом и можем подкрепиться в печали нашей.

ПАМЯТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

Пятьдесят лет! Каретный ряд, дом Мошнина. «Царь Федор». «Чайка»... – Студенты, молодые дамы, разные барышни – все мы с азартом бегали смотреть Станиславского и Москвина, Книппер, Лилину. Радостно вспомнить горячность молодости. Новый спектакль – новая грань. Счет времени вели: *до* «Чайки», *после* «Дяди Вани».

Тогда не было синема, театр занимал не то место в жизни. Дело происходило «в душе». Вопрос развлечения, «как бы убить вечер», играл роль ничтожную. Нужно событие, потрясение. Так оно и выходило. Надо было, вернувшись домой, вновь переживать «Потонувший колокол» или «Одиноких», или «Трех сестер» – в юном кругу, за поздним чаем в воодушевлении сравнивать (кто играл лучше), спорить и, главное, восхищаться.

Если мы, все же столичные, так волновались, то что сказать о провинции? Учителя и учительницы, статистики, земские врачи, просто либералы тверские или нижегородские, попадая в Художественный театр, не хотели уж уходить. «Это все наше», – так можно было бы определить. Так молодая, просвещенная (или просвещающаяся) Россия принимала в сердце свое этот театр.

Он, правда, ни на что прежнее не походил. Малый театр в Москве превосходен, конечно. Ермолова, Ленский, Садовская – таких в Художественном не найти. Как не найти и такой стихии русского языка. Учиться ему можно было именно в Малом: послушать, хотя бы, московский говор Садовской.

Но для нас, молодежи тогдашней, Малый театр казался просто театром, хорошим, не больше. Так играют во всех театрах,

у Корша слабее, в Калуге еще хуже, но это все «обыкновенное». А в Художественном «необыкновенное».

По правде говоря, все и было особенное, начиная с простоты зала зрительного, сероватых скромных тонов, через медленно раздвигающийся как бы портьерный занавес с чайкою, тухнущий свет, звук гонга – и до отрывка жизни, куда вводились мы, тихо сидевшие в темном зале, а на сцене происходило не то, что полагалось в театре обыкновенном.

Вот первое представление «Чайки». Занавес раздвинулся, на сцене полутемно. Деревья, вдалеке озеро, под открытым небом устраивается любительский спектакль, появляются зрители, садятся спиной к публике. «Люди, львы, орлы и куропатки...» – Нина Заречная начинает свою декламацию.

Нам, юным, казалось все это замечательным. Пусть мы были юны. Но жизнь и история оказались за нас. «Странная» пьеса с «декадентским» монологом удержалась. Театр укрепился. Он вошел именно и в Россию, и в историю ее искусства. Завоевал не только шумную молодежь и восторженных провинциалов: со своей простенькой чайкой на занавесе стал частью культуры русской. О нем написаны книги, слава его огромна, мирная слава, безрекламная и потому прочная. Прочная по существу, в истории. Но в самой мгновенности театра, в невозможности объяснить, показать тем, кто не видел Станиславского, Книппер, Лилину или только что скончавшегося Качалова, – в этой «проходимости» театра есть, конечно, великая грусть. Это уж вне наших сил. Люди моего века видели и восхищались скромным, сдержанным и изящным художеством истинных художников – наше счастье, нам повезло. Наши дети могут нам только на слово верить.

Оркестровое исполнение, все основанное на правде чувств. Дух упорства и невидного энтузиазма художнического, не останавливающегося и пред сотнею репетиций, лишь бы предельно выразить пьесу. Глубокая честность, очень русская простота, нелюбовь к позе, ходулям и штампу – все это в связи с обаянием сценическим главных «лицедеев», которые как бы и не стремились стать лицедеями: вот некие беглые черты, ими пытаешься, как сквозь сон, оживить давнее очарование, приблизить к нему теперешнего человека.

Та эпоха, конечно, ушла. Ушел и героический Художественный театр. Он проделал еще долгий путь, отражал на себе смену литературных течений, вступил в полосу бурь и катастроф России, выжил и среди них, стараясь, насколько возможно, не терять лица, здравствует и поныне. Физически укреплен.

Внутреннюю же его жизнь отсюда нелегко видеть. Судя по тому, что было показано нам перед войной, когда театр приезжал сюда, дух упрощения и огрубления, воздух иной эпохи коснулся его немало. Иначе вряд ли могло и быть. Таланты, разумеется, есть. Но прежнего Художественного театра нет. Он ушел со своим временем и с «монахом от театра» Станиславским, с тем пафосом единства, свежести, восторженной преданности делу, какие были при его начале, осенялись и поддерживались в репертуаре Чеховым. Не зря на занавесе была чайка. Это театр Чехова, как Малый театр был театром Островского, как Comedie Francaise есть дом Мольера.

От той полосы Художественного театра мало что сохранилось даже в личном составе. Предпоследним только что ушел Качалов. Осталась Книппер, навсегда связанная с Чеховым и лично, и по театру. (Называющемуся теперь театром Горького!)

Называть можно как угодно, вспоминаешь же сейчас именно молодой Художественный театр, еще небогатый, без окладов и орденов, с энтузиазмом и свежестью, увлечениями и ошибками, но и радостью прохождения по нехоженым тропам. Орденов не было – театр сам был Орден, только не в том смысле. А давать ему русский народ того времени мог лишь невидимое животворящее: любовь. Этому всему полвека. Но счет лет только укрепляет. И кажется, в юбилейный час можно вспомнить тютчевские слова – он сказал их о Пушкине:

Тебя, как первую любовь,
России сердце не забудет.

<О ЖУКОВСКОМ. 4 ФЕВРАЛЯ 1942>

Время идет! Мы уже в «мирном» (будто бы) бытии, а давно ли еще была война, немцы, по вечерам тьма на улицах, алерты и бомбардировки? Развернул старую рукопись – вроде дневника: 4 февраля 1942 года, вскоре после смерти Мережковского. Вот как тогда чувствовалось: «Перечитываю Жуковского. Милый поэт.

Ты живешь в сияньи дня,
Ты живешь не для меня...

Голос тихий, иногда сладостный, простодушный, но мудрый. Жизнь, пронизанная печалью, но и примирением: вот кто настоящий «поэт покорности и примирения».

Старость Жуковского «вызрела» из всей его жизни. Тихо жил, тихо созрел, мудрецом умирал, 1852-й год. В феврале Гоголь умер, в апреле Жуковский – 2 апреля. Гоголя след с детских лет в сердце. Жуковский пришел много позже. Обоих люблю, хоть и силы их разные. Какие они письма друг другу писали! Вообще, что была за Россия! В ней сейчас пепелища, разоренье... все равно, дух вечен. Вечные голоса дойдут из-под ужаса, мрака. Смотришь на русскую книгу теперь с волнением и любовью. Ей ведь вверено сохранить, передать поколениям более мирным, счастливым истинный образ России. Гоголи и Жуковские за нас заступники. Если бы они живы были сейчас, я сказал бы им: «Старайтесь, ради Бога старайтесь, дорогие мои, побольше пишите! Это так нужно»! И сейчас мысленно обращаюсь к собратьям моим, современникам еще живущим, еще «на лире бряцающим» – тоже: бряцайте, пожалуйста, даже до последнего дыхания. Кто может, стихи, кто может, романы, все приемлется. Вот Мережковский – в своем особенном роде, но усердно трудился... И нравилось видеть, что этот хилый и сгорбленный старичок на восьмом десятке не складывает рук.

А Жуковский семь лет последних своих положил на «Одиссею». Кончил, и собственную поэму начал. Полуслепой работал, но работал. Дописать не удалось – ну что ж, это и есть писательская смерть: что называется, «на посту».

«Дай Бог каждому из нас кончить, как Жуковский. Но это надо заслужить».

* * *

Сейчас тон такой кажется очень взволнованным и повышенным. Но ведь была тогда война, катастрофа. Жили под огромным давлением, как бы и задыхаясь.

В такие полосы острей свет чувствуешь – в религии, в литературе. Ищешь его, и он помогает жить. Кто пережил в свое время революцию – помнит это. И для всех нас, в ожидании, может быть, и грядущих бед, внутренний путь один: «горé имеим сердца».

СЛОВО

«В бюро нашего пересыльного лагеря, где я помогаю в ожидании отправки в Австралию, пришел ворох документов из Киля; он был завернут в пеструю афишу английского солдатского театра и в порванную газету. Газета оказалась русской...»

Так начинается письмо ко мне из Германии[1]. Газета называлась «Русская Мысль». Автор, попавшийся на глаза страннику русскому, вот все тот же, что и эти строки пишет. Странник был поражен, разволнован: есть еще и писатели, и газеты – сочувственные ему по духу («и русская эмиграция, русский театр, лекции, консерватория, вечера...»).

На родине он потерял все (дело происходило в Латвии). «В 40-м году пришли большевики, через год немцы, а потом новая, вторая эмиграция, Германия, и когда кончилась война, то спрашивал себя с горечью – «Боже мой, куда же все делось?» Как в сказках – «оглянулся – смотрит, все пропало: нет ни стола, ни избы, а стоит он один ночью, посреди пустого поля». (В Германии кое-что русское есть, но это его не удовлетворяет).

Все потерял, но вот кроме души и сердца: главное, значит, сохранил. И вывез в странствие. Что любил и кого любил, с кем неожиданно для себя через слово встретился, того не могли отнять никакие завоеватели. Любовью к России, Москве, русской литературе, русскому писателю дышит это письмо – неведомого человека, но уж как-то своего. (Имя ему Алексей – имя глубоко, таинственно с Россией связанное).

Из Германии он на отлете – странствие продолжается, все та же бездомная и беззащитная русская доля. «Через несколько дней (много, если недель) Австралия, значит 25 000 километров от Европы: Бог знает, увидишь ли там вообще русскую книгу или газету». Но все же надеется. Прощаясь с давно знаемым, но лично неведомым ему писателем, говорит, что в Австралии думает все же найти русские книги и чьи надо писания.

Это очень возможно. Надежды его действительны. У слова есть тоже свое странствие, не такое голгофское, как у преследуемых и гонимых, но по-своему очень загадочное. По неугадываемым путям, подспудно и незаметно проникает оно в места, о которых и не подумаешь.

* * *

За несколько лет до войны получил я тоже письмо – из Америки, но откуда! – с крошечного островка близ Аляски, почти что с того света. Написал его инок, архимандрит Герасим. Никогда он в глаза меня не видал и не увидит. А переписка шла годы.

Замечательно место, откуда писал о. архимандрит. Оно требует особенной справки: место русской смиренной славы.

---

[1]Этого письма в архиве Б. К. Зайцева найти не удалось.

Лет полтораста назад, из Валаамского нашего монастыря на Ладоге было послано в Аляску, России тогда принадлежавшую, несколько монахов во главе с о. Германом – для просвещения алеутов.

Монахи вели там миссионерскую деятельность. Некоторые погибли мученической смертью (от язычников), Герман же выжил. Обратил в христианство множество бедняков-туземцев, помогал им, лечил и опекал, защищал от русских купцов-хищников. За сорок лет деятельности, кротостью своею и заступничеством за несчастных, любовию к ним снискал великую славу. Местные жители считали его за святого (может быть, со временем он и будет причислен к лику святых).

В положенное ему время скончался, погребен на этом самом островке. У могилы его часовня, а в домике у часовни как раз и жил мой о. Герасим, из Алексина родом – судьба после первой войны забросила его именно сюда.

«Надо мною вековые сосны и ели, всегдашний их шум, да еще волны океана бьют о берег и это тоже слышно. Я живу тут в одиночестве. Занимаюсь огородничеством, молюсь у могилы о. Германа да научился еще вышиванию. Это занятие тихое и для монаха полезное. В трех верстах, через пролив, материк. Я туда езжу, объезжаю приходы, справляю требы и продаю свое рукоделие – этим живу. А потом опять к себе на остров».

Нынешний мой сочувственник из Германии все вспоминает в письме Москву – Арбат, Плющиху, Девичье поле. С о. архимандритом оказались мы тоже земляками. Он из краев калужских, уроженец Алексина и так навсегда уж считает, что лучше, красивее Алексина на Оке ничего нет. Прислал из Аляски открытку: вид Алексина, сохранил его с 1912 года! А еще Калугу – Каменный мост, по которому гимназистом ходил я полвека назад.

Но как он узнал обо мне? Как собрался написать? Русский консул в Америке то ли завез ему, то ли прислал – уж не помню почему именно – мою книжку «Афон». А он сам на Афоне бывал, и монаха о. Петра, лодочника, калужанина родом, о котором упоминаю, знал лично. Раз Афон да Калуга, за нею Россия, лучше которой ничего он не знает, значит, я как-то ему и свой – и вот годы мы переписывались, сведенные Словом, все так же извилистыми, незаметными путями добравшимся куда надо, по волнам, по далеким морям, к могиле праведника, где русский инок смиренно вышивает крестиком, а сосны вековым гулом над ним гудят, да океан глухо и сыро бухает.

* * *

Вечер, Париж. В печке свистит предрождественский ветер. В витринах выставлены елочки, в хлопьях ваты. В больших магазинах дети заказывают подарки Пэр Ноэлю, подавая ему записки.

Может быть, в океане идет сейчас тот пароход, что увозит раба Божия Алексия за 25 000 километров в Австралию – идет, тяжело ухая носом, кормою вздымается, ложится с одного бока на другой в беспросветной мгле.

Может быть, и архимандрит Герасим вышивает под плеск волн все того же океана свои крестики, а может быть, его уж и нет в живых или пробрался он в Россию, в свой Алексин.

Так или иначе, но ко всем нам троим, да и вообще к миру, к тем, кого любим и не любим, знаем и не знаем, в этот ненастный вечер по особым волнам и в особом сиянии близится некий Младенец-Свет, сам первое Слово, даже тогда Слово, когда не говорит, ибо само появление Его и жизнь есть уже Слово.

А мы молчим, мы склоняемся. Из страшного мира, пылающего разрушением и злобой, только вот и глядим на Младенца, о котором поется: «Христос рождается, славите...»

ТЮТЧЕВ. ЖИЗНЬ И СУДЬБА

(К 75-летию кончины)

«...Как звезды ясные в ночи». Это стихи Тютчева. Да, звезды. «Любуйся ими – и молчи». Но стихи рождены жизнью. Тютчевские стихи и особенно изошли из его жизни и судьбы. Может быть, сама жизнь эта есть некое художественное произведение?

Ее начало озарено почти волшебно; роскошный дом имения Овстуг (Брянского уезда, Орловской губернии). Изящный, ласковый мальчик, очень одаренный, баловень матери. В доме смесь духа православного с французскими влияниями. – Так и всегда было в барстве русском. Говорили в семье по-французски, а у себя в комнате Екатерина Львовна, мать поэта (урожденная графиня Толстая), читала церковно-славянские часословы, молитвенники, псалтыри.

«Юный принц» возрастал привольно. Учился, но нельзя сказать, чтобы умучивался трудом – навсегда осталось широкое, вольготное отношение к работе.

Если уж говорить о дарах судьбы, удачах раннего его детства, то это будут две фигуры, по крови ему не родственные, но принявшие на свои руки его младенчество, юность: дядька и учитель. Хлопов и Раич.

Некогда крепостной Татищева, а затем отпущенный, Николай Афанасьевич Хлопов поступил на службу к отцу поэта. Был грамотный, богомольный, рассудительный человек. Пользовался полным доверием и уважением хозяев. Мальчику исполнилось четыре года, когда попал он в руки Николая Афанасьича – и долго продолжалась дружба, очень нежная, между барчонком – позже дипломатом, поэтом – и полурабом. За несколько лет до смерти с волнением вспоминает Тютчев, в письме к брату, о детски восторженной привязанности своей к Николаю Афанасьевичу.

Явное дело: все поздние его «бедные селенья», «смиренная нагота» России были даны уже с детства, почти с колыбели в облике этом. Николай Афанасьевич Хлопов есть просто сама народная и православная Россия, приблизившаяся к ребенку и дохнувшая на него всей кротостью и простотой своей.

Семен Егорович Раич тоже была Россия, но Россия высоко просвещенная. Не в себе лишь замкнутая, а в даровитости своей вбирающая весь мир – поэзии и культуры. Учитель не из обычных. Брат митрополита Филарета Киевского, ученый, отчасти и сам поэт. Человек возвышенной настроенности, бескорыстный, склонный к энтузиазму. Рим, Италия, вот что влекло его. Переводил Вергилия, Тассо, Ариосто. Через него Тютчев с отрочества полюбил горизонты более далекие, чем Овстуг, Брянск и Орел. Раич сделал из него отличного латиниста – и уж вот четырнадцати лет, за перевод в стихах из Горация, он становится членом Общества Любителей Российской Словесности в Москве. Какой успех! Какой триумф дома, у себя – первый и, кажется, последний в литературной жизни Тютчева.

В те времена счет годов шел быстрее: пятнадцатилетний мальчик, с блестящими, правда, способностями, готовился к вступлению в Университет (Московский). И вот первая встреча, тоже отчасти волшебная, с настоящим, уже знаменитым поэтом: отец повел его в Кремль, представлять Жуковскому.

«Малый двор», двор Великого Князя Николая Павловича находился тогда (в 1818 г.) в Москве. Жуковской при нем также. Тютчевы попали в Кремль как раз в минуту, когда у В. Кн. Александры Федоровны родился сын, будущий Император Александр II. Палили пушки, гудели колокола. Жуковский с бокалом шампанского, как близкий к царской семье человек,

из окна Чудова монастыря поздравлял народ. На молоденького поэта это произвело такое впечатление, что чрез пятьдесят пять лет, полу в параличе, пытался он вспомнить в стихах это раннее утро, «смиренную» келью «незабвенного Жуковского» в Чудовом монастыре, гул колоколов и салюты.

А тогда все еще было для него впереди: отлично учился, мог как равный рассуждать о литературе с Мерзляковым, выезжал в свет и уже начинал бесконечную, сложную и драматическую историю своего сердца, своих влюбленностей.

В 1821 году Университет окончен, в феврале 22-го он уже в Петербурге, служит в Коллегии Иностранных Дел, а в июне граф Остерман-Толстой, родственник матери, увозит его в своей карете за границу. Устраивает сверхштатным чиновником нашей миссии в Мюнхене. В той же карете, на козлах, уезжал с молодым барином домашний лар Тютчевых, Николай Афанасьевич Хлопов: Россия шла за поэтом на запад.

И пришла прочно, вселилась в немецкой квартире Тютчева в Мюнхене. Пока служил он в миссии, писал незрелые еще стихи и занимался романами, Николай Афанасьевич вел хозяйство, был сам и поваром, и опекуном. Готовил русские блюда, удивляя иностранных гостей, для себя устроил особый московско-православный угол с иконами и лампадками – с ним явился в Мюнхене тот русской язык, которого, кроме как у Хлопова, ни у кого там не было – биограф может дивиться, как это удалось Тютчеву так сохранить свою русскость и язык: но у Пушкина была няня, у Тютчева дядька.

Николай Афанасьевич переписывался из Мюнхена с Екатериной Львовной – рассказывал ей о сыне, который писал домой лениво, редко. К сожалению, письма Хлопова не сохранились. Только об одном осталась семейная память: оно касается юной графини Амалии Максимилиановны Лерхенфельд. («Я помню время золотое...»). Дядька сердито докладывал, что «Федор Иваныч изволили обменяться с ней часовыми цепочками и вместо своей золотой получили в обмен только шелковую».

Он прожил с поэтом до самой его женитьбы, в 1826 году, а потом уехал в Россию и через несколько лет умер, в доме Тютчевых же. Воспитаннику завещал замечательную Феодоровскую Икону Божией Матери – все придумал сам: по четырем углам иконы изображения святых, чьи дни знаменательны в жизни Тютчева. Например, в верхнем углу Апостол Варфоломей и надпись – день отъезда в Баварию (11 июня 1822, день св. Варфоломея). На Преподобного Макария выпадает какая-то таинственная история в Мюнхене. Николай Афанасьевич надписал:

«Генваря 19-го, 1825 года Федор Иваныч должен помнить, что случилось в Мюнхине от его нескромности и какая грозила опасность». Но в следующем углу св. Евфимий Великий с изъяснением: «20 Генваря, т. е. на другой же день все кончилось благополучно». А всему образу «Празднество Февраля 5-го; в сей день мы с Федором Ивановичем приехали в Петербург, где он вступил в службу».

И еще одна надпись, тоже на задней стороне иконы, посредине: «В память моей искренней любви и усердия к моему другу Федору Ивановичу Тютчеву».

Икона священно хранилась у поэта, в кабинете его, до самой кончины. «Моему другу, Федору Ивановичу Тютчеву»...

* * *

Роман с Амалией Лерхенфельд, от которого в литературе осталась драгоценность, в жизни Тютчева крупно не отозвался, ни Амалию Максимилиановну (которой было шестнадцать лет), ни его самого не сломил. Все это было очень юно и невинно. Ничего решительного не случилось, все само собою растаяло и испарилось, добрые же отношения остались навсегда. Амалия Максимилиановна вышла замуж, сначала за барона Крюднера, потом за графа Адлерберга. Жила в России, всегда Тютчеву была союзною державой. Это она привезла стихи его в Петербург в 36 году, она же хлопотала за него позже перед правительством – через Бенкендорфа. А совсем поздно, за три года до своей кончины, встретив ее в Карлсбаде уже немолодой женщиной, Тютчев написал ей нежные, не столь прославленные, как ранние, все же хорошие стихи. («...И то же в вас очарованье, и та ж в душе моей любовь»).

В 1826 году он женился в Мюнхене на г-же Петерсон, урожденной графине Ботмер, «представительнице старейшей баварской аристократии». Это уже судьба – двенадцать лет жизни вместе, три дочери, радость и горе, драмы и ревность (ревновали всегда Тютчева, его, а не он – участь в этом иная, чем Пушкина). Как и Амалия Максимилиановна, Эмилия Элеонора была красавица, видимо, и вообще очаровательная женщина, пылкого характера и сильных чувств. Его же, кроме нее, привлекали и другие. Он вообще, по природе своей, не мог быть верен – в разных обликах являлось ему «вечно-женственное» и прельщало. Привело же это в мюнхенской жизни к тому, что однажды Эмилия Элеонора пыталась на улице заколоться кинжалом. (Он сам признавался, что любит она его так, как «ни один человек не был любим другим».) Удивительна и в самом Тютчеве сила

чувства и переживания, несмотря на рассеянный, как бы веерообразный эрос: когда в 1838 году Эмилия Элеонора умерла, он поседел в одну ночь от потрясения. Но в это же время любил и другую, будущую свою вторую жену, тоже любовью трудной и драматической.

Эта другая была тоже германского происхождения, тоже аристократка, тоже вдова и тоже на четыре года старше его – баронесса Эрнестина Федоровна Дёрнберг-Пфеффель.

В 1837 г. Тютчев получил повышение по службе – его назначили в Турин, старшим секретарем посольства нашего при Сардинском дворе. Жена, Эмилия Элеонора, уезжала в Россию, он оставался один. Весной 1838 года она возвращалась из Петербурга на том самом «Николае I», на котором плыл юный Тургенев. Близ Любека на пароходе начался ночью пожар, недалеко от берега он и затонул. Эмилия Тютчева с тремя детьми мужественно вела себя на палубе, успокаивала детей, стоя у трапа, где внизу, сбоку бушевало пламя – они дожидались очереди спуститься в лодку. В этом показала себя много выше Тургенева. Но была уже здоровьем надломлена, возвращалась домой на новые тягости с мужем, потрясение нервное на море все-таки было большое – это ее и скосило. Тою же осенью Жуковский, тогда сопровождавший наследника, встретился в Комо с Тютчевым (позже – и на генуэзской Ривьере, в Киавари). Отозвался о нем так: «необыкновенно гениальный и весьма добродушный человек, мне по сердцу» – их пути всегда сходились, – но был удивлен, что вот так убивается он по умершей, «а говорят, любит другую». Не только «говорят», но на Эрнестине Федоровне Дёрнберг Тютчев довольно скоро и женился. По службе это обошлось ему дорого.

Он тогда жил в Турине. Венчаться приходилось в Швейцарии. Посланник отсутствовал, по летнему времени дел никаких, с браком по определенной причине надо спешить – Тютчев поступил решительно: не дожидаясь отпуска, запер посольство и самовольно уехал в Швейцарию.

Обвенчался благополучно и вовремя. Но службы лишился. Его просто уволили.

* * *

Не надо думать, что его мюнхенская жизнь только и заключалась в делах любви. Этот блестящий, высокообразованный молодой человек, по портрету нечто вроде юного Гёте, в тогдашнего покроя сюртуке, высоких воротничках и галстуке, с огромным лбом, прекрасными глазами и правильно вьющими-

ся кудрями много сил отдавал и другому: литературе, философии. Общение его – с людьми высокой марки. Шеллинг считал его «достойным собеседником» («...ein sehr ausgezeichneter Mensch, ein sehr unterrichteter Mensch, mit dem man sich immer gerne unterhält»[1]) – Шеллинг был тогда профессором Мюнхенского Университета и Тютчев, хорошо осведомленный в германской философии, не только с ним беседовал, но и спорил – обладая, очевидно, равносильным вооружением – нападал в особенности по православной линии.

В поэзии Гёте и Шиллер были близки ему, лично сошелся он с Гейне – по сближающей черте романтизма. И не только встречался, но и переводил из него – первые переводы Гейне на русский принадлежат Тютчеву. (Тютчев более зрелый и Гейне поздний мало, конечно, совместимы, но в мюнхенские времена это не удивляет.)

Главное же, начинал писать сам, и как следует. В начале двадцатых годов это еще «юношеское», но среди другого прекрасный перевод шиллеровской «Песни радости» – через шестьдесят лет знаменитый гимн этот в тютчевском одеянии переселится в «Братьев Карамазовых». Есть и из Гейне, но Лермонтов сосною своей затмил тютчевский кедр.

Рождение Тютчева – великого лирика – 1828 – 30 гг.: «Видение», «Сон на море» и другие вещи. Теперь явился в литературе нашей уже не ученик Раича, хотя бы и член Общества Любителей Словесности, а ни на кого, ни на что непохожий истинный и огромный поэт – в прозрениях природы, космоса, сердца, как и в напевах стиха далеко опередивший свое время.

Загадочна его художественная судьба.

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои...

Вот заповедь, от которой не отступил он ни на шаг. Так скрывать, так таить все свое самое драгоценное уж не знаю кто мог бы. Всматриваясь в его жизнь, поражаешься: но как же сам он относился к своему делу? Да, писал, в великой непосредственности, почти сомнамбулической, всегда в дыхании поэзии, волшебно преображая чувства, мысли... Что тут высокое творчество, сомнений нет. Но почему такая уж предельная от *всех* замкнутость? Себе и Богу? Художнику это чувство знакомо: Ты, Всевышний, судья мой. В Твоей вечности слабый мой голос,

---

[1] «...очень превосходный человек, очень образованный человек, с которым всегда интересно разговаривать» *(нем.)*.

малого Твоего создания, войдет, может быть, некоей искрой в нетленный мир и сохранится, хотя я и писал это *для себя*. Это понятно. Но не все в этом. Художник ведь *человек*. Он живет среди братьев, своих, и другой своей стороной, обращенной к людям, стремится внедрить в них создание свое. Кто из писателей не желает распространения своего слова? Сколько драм из-за трудности дойти до читателя! Не одно тут тщеславие: всякий, кто отдал жизнь литературе, считает свое дело важным, а, значит, ждущим ответного восприятия.

Поэт тютчевского размера неужто не сознавал, что его дело, хоть тихо и уединенно, но огромнейшей важности? Следя за днями его, получаешь впечатление: дипломат, философ, даже политик, утонченно трепетный человек, отзывающийся и на мир, на природу, на женское обаяние, блестящий острословный собеседник... – и *между прочим* пишет стихи... Так, будто бы для забавы, и значения им не придает. Где Пушкин, где профессия, труд невидимый, но упорный?

Вот возвращается он домой, в дождливый вечер, весь промокший. Дочь снимает с него пальто. Он говорит небрежно: «J'ai fait quelques rimes»[1] – и читает их. Она записывает. Это знаменитые «Слезы людские, о слезы людские...» Бог знает, не записала бы Анна Федоровна, может, они бы и не сохранились?

До 1836 года никто почти и понятия не имел, что вот есть такой поэт Тютчев. Мелочи появлялись в малоизвестных альманахах («Урания», «Галатея») и журналах (вроде «Молвы»). Камергер Федор Иванович Тютчев пописывал стишки. Но для службы это не важно, для жизни тоже. Надо было, чтоб сослуживец, князь Иван Гагарин заинтересовался писанием его. Амалия Максимилиановна отвезла стихи его в Петербург – через Жуковского и Вяземского они попали к Пушкину, издававшему тогда «Современник». Он напечатал их в своем журнале. Подпись: Ф. Т. – «Стихотворения, присланные из Германии».

Для чего давать свое полное имя? Пусть будет какой-то Ф. Т. «из Германии». Так продолжалось и дальше. Автор никакого внимания не обращал на свое детище. Оно жило подпольно, само по себе, и до времени мало известно. Кое-кто его ценил. Но за годы – ни одного печатного отзыва.

Дальше идет и совсем странное: с 1840 по 1854 г., за четырнадцать лет ни одного стиха вовсе в печати нет. А писал он теперь как раз больше всего и едва ли не лучше всего. «J'ai fait quelques rimes...» – завернется в плащ, как полумесяц таинствен-

---

[1] «Я несколько прослезился» (*фр.*).

ный где-то за облаками – с него довольно. Как тайный, бледный месяц... Даже не скажешь, Богу ли предложены его стихи, или он их стихийно-волшебно поет и ни о чем не думает – сейчас же забывает.

В 1850 году добрался до него Некрасов. Написал статью в «Современнике»: «Русские второстепенные поэты» – среди них Тютчев. (В известной статье Гоголя из «Переписки с друзьями» он рядом с Туманским и Плетневым. Знаменитыми считались тогда Пушкин, Жуковский, Лермонтов, Крылов и Кольцов). Некрасов Тютчева очень хвалит. Но и объясняет: «поэтическая деятельность г. Ф. Т. продолжалась только пять лет» (Стихи печатались в «Современнике» с 1836 до 1840 г.). «Не можем сказать наверное, печатал ли он или нет где-нибудь свои стихотворения прежде». Но кто же он сам? Некрасов старается убедить, что все-таки русский, хотя стихи присланы из Германии. Где живет? Жив ли еще? Пожалуй что и умер – «с тех пор это имя вовсе исчезло из русской литературы. Неизвестно наверное, обратило ли оно на себя внимание публики в то время, как появилось в печати; но положительно можно сказать, что ни один журнал не обратил на него ни малейшего внимания».

Так Некрасов писал в Петербурге, где в это самое время жил Тютчев, жил открыто, блистал в салонах, при всем том «добродушии», о котором говорит Жуковский, был более всего известен остроумием и острословием, далеко не так добродушным. Это дневная сторона его. А ночная, подземная: quelques rimes, тайных, никому почти неведомых, прокладывавших путь к бессмертию. Но не через академии. Ныне без Общества Любителей Словесности!

Для Некрасова же, его почитателя и хвалителя, Тютчева просто нет. Он растаял, куда-то исчез, испарился.

* * *

Испариться Тютчев не мог никуда. После истории с самовольной отлучкою из Турина некоторое время не служил, а потом и это наладилось. Летом 44-го года с Эрнестиною Федоровной и детьми навсегда возвратился в Россию, поселился в Петербурге. С него сняли опалу, вернули «служебные права и почетные звания». Назначен был состоять при государственном канцлере «по особым поручениям».

И вот этот европеец блестящий, дипломат, causeur, политик (как раз появилась его статья о России и Германии, очень замеченная)... – и поэт! – становится вновь «русским». Каждый год ездит в Москву, на лето в родной Овстуг. Тут в нем двой-

ное: и чувство к России, великое, мистическое. И всегдашняя напитанность западом – от него не отойдешь. С одного конца он славянофил. Хомяков, Аксаков считают его своим. Но представить себе Тютчева в мурмолке или боярском костюме... Европа сидела в нем так же прочно, как Николай Афанасьевич Хлопов.

Петербург даже нравился ему, но Петербург именно и был для него Европа, все то же общество русско-международное, «свет», дипломаты, министры, дамы, все тот же французский язык. Да и там север казался ему иногда «безобразным сновиденьем». И оттуда влек его юг, солнце, Италия.

Что же говорить о деревне! Сколь ни дворец в Овстуге, но вокруг первобытность. Он мог выйти в поле, в теплый летний вечер, неубранные еще крестцы ржи, горький запах полыни по межам, смиренный воз с навитыми снопами, мужик ведет лошадь степенно, воз поскрипывает и поле таким кажется златисто-безмерным, и другие возы, бабы, девки там где-то вдали двигаются беззвучно – все это очаровательно, в глубоко-мистическом духе свое и пронзающее... – но жизнь, как на необитаемом острове. Поля, леса, небо, смиренные люди полурабы, кто из них может прочесть две строки напечатанного? Где Шеллинг, Гейне, салоны, дамы? Где связь с центрами и политики и культуры? Без этого трудно ему было жить. Брянская глушь обладала своей прелестью, но долго выдержать в русской деревне, куда и газеты не доходили, он не мог.

По одному стихотворению 1849 года можно подумать, что и вообще к России он относился прохладно.

Итак, опять увиделся я с вами,
Места немилые, хоть и родные...

Оно кончается совсем печально:

Ах, нет, не здесь, не этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем –
Не здесь расцвел, не здесь был величаем
Великий праздник молодости чудной –
Ах, и не в эту землю я сложил –
Все, чем я жил и чем я дорожил!

Но вот как раз и тишина, некое убожество, безответность родины и народа – это волновало и умиляло *несмотря* на великолепный запад. В поколыхивании коляски, едет ли он где-нибудь около Рославля или под Овстугом – там-то вот и возни-

кает другое, всегда жившее в нем, «друге» Николая Афанасьевича Хлопова, жившее подспудно и неистребимо: и природа русская, и особая красота смиренной христианской души, души народа тогдашнего –

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа,
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

* * *

Как поэт к этому времени Тютчев созрел вполне – тайные прозрения в природе, чувство хаоса и трагедии мира, призрачности блистательного дневного бытия, предчувствие бурь общественных, очарование и мучительность любви – все это выразилось уже в главных своих частях (эросу, впрочем, предстояли еще завершительные, пронзающие звуки). Но творение было разбросано или по старым журналам, или по рукописным альбомам, просто в рукописях – находилось вообще в беспорядке полнейшем. Тютчеву пятьдесят лет, с фотографии мурановского музея глядит важный и строгий облик поэта-философа, с чуть германским оттенком, и у него ни одной книжки! Случай в литературе беспримерный.

С 48 года он служит старшим цензором в Министерстве Иностранных Дел, у него три дочери от первого брака, дети от второго – огромная семья, сложные и трудные отношения с женой, сильный интерес к политике и полное равнодушие к судьбе писаний своих. Как ранее Гагарин занялся ими, так теперь Тургенев выпустил книжку его стихотворений – в 1854 году. Труд собирания, а отчасти и редактирования выпал Тургеневу. Тютчев ничего не делал. Будто и не его стихи. Тургенев подправил кое-что, может быть, с согласия автора, а часть, вероятно, самовольно. Во всяком случае, Тютчев своею небрежностью задал задачу теперешним литературоведам: что тютчевское, что Тургенев подчистил.

Как бы то ни было, книжка вышла. Она окончательно привлекла к Тютчеву знаменитейших людей времени. Лев Толстой говорил, что без Тютчева нельзя жить и «для себя» ставил его «выше Пушкина». Достоевский, Тургенев, из меньшей братии Фет, Некрасов, Полонский, Аксаковы, Аполлон Григорьев – все стихами его восхищались. Но именно только элита. И художники. Критики все проморгали. Среди читателей его просто не знали – и так вплоть до Владимира Соловьева, в девяностых

годах вновь и окончательно открывшего и прославившего его – главным образом как поэта философского и мистического прозрения. (Сторону эроса Соловьев в нем обошел.) Русские символисты приняли и передали славу его в XX век, как провозвестника символизма.

Но в его собственной судьбе, в начале пятидесятых годов, как и в звуке писаний его, связанных с любовью, не все было закончено. Даже, пожалуй, сильнейшее и наступало.

В Смольном Институте учились две дочери Тютчева (от первого брака) Дарья и Екатерина. Тютчев бывал там. У инспектрисы Института, Анны Дмитриевны Денисьевой он познакомился с ее племянницей и воспитанницей Еленой Александровной – девушкой двадцати четырех лет.

До сих пор в списке тютчевских странствий сердечных имена иностранок: Амалия, Эмилия-Элеонора, Эрнестина – теперь появляется русская Елена. С ней входит и иной мир.

Раньше были великолепные графини в бриллиантах декольте, с гладкими буклями над ушами. Елена Александровна Денисьева, хоть и дворянка, но из мелких, отец ее служил даже в провинции исправником. Достаточно взглянуть на фотографию Елены Александровны: скромно одетая, в накидочке, причесанная, как причесывались в шестидесятых годах наши матери, интеллигентка с тяжким, нервным взглядом, болезненная, вспыхивающая, очаровательная в своей возбудимости и несущая уже в себе драму.

Тютчев встретился с миром Достоевского. Так могла чувствовать, действовать Настасья Филипповна, или первая жена Достоевского.

Ее взгляд соответствовал участи. Горе принесла ей эта любовь, быстро перешедшая в связь. Горе Эрнестине Федоровне, жене законной, с которой продолжал он жить – женщине холодноватой, выдержанной и сильной, крест свой несшей с достоинством. Горе взрослым дочерям его от первого брака, горе девочке Леле, дочери Елены Александровны. Ему самому тоже. Но это рок, ничего нельзя сделать. В его судьбу входило заклание молодой жизни, его грех, породивший высокие звуки поэзии. За поэзию эту заплачено кровью.

Общество не прощало Тютчеву, а особенно Елене Александровне «незаконности» их связи. Да еще у нее появились дети! Многие просто с ней раззнакомились, презрение и отчуждение над ней висели. А по Институту она была знакома с дочерьми Тютчева – вот и пришлось встретиться, например, при раздаче шифров. Как она чувствовала себя при этом!

И, конечно, казалось ей, что недостаточно он ее любит. Она все отдала – положение, доброе имя, вообще всю себя. Он продолжает жить с семьей. Живет, служит, пишет стихи. У него и литература – тоже соперница. Свой мир. А он должен так же утопать в ней, Елене Денисьевой, как она в нем.

Стихи его мало она понимала. Больше всего хотелось, чтобы в новом издании все и открыто было посвящено ей. На это он не пошел, вышла ужасная сцена, вполне из Достоевского.

Она была туберкулезная. Бурная жизнь, страдания сердца ускорили все, и в июле 1864 года, после четырнадцати лет связи с ним, она скончалась.

Весь день она лежала в забытьи,
И всю ее уж тени покрывали –
Лил теплый летний дождь – его струи
По листьям весело звучали.

И медленно опомнилась она –
И начала прислушиваться к шуму,
И долго слушала, – увлечена,
Погружена в сознательную думу.

И вот, как бы беседуя с собой,
Сознательно она проговорила:
(Я был при ней, убитый, но живой)
«О как все это я любила!»

Любила ты, и так, как ты, любить –
Нет, никому еще не удавалось.
О Господи!.. и это пережить...
И сердце на клочки не разорвалось.

Если бы из гроба видела она, как принял он смерть ее, может быть, больше поверила бы в его любовь – хотя ей вообще нужна была беспредельность: все или ничего.

Вот что говорит об отце и его положении в это время Анна Федоровна Тютчева, его дочь, жившая тогда в Германии. «Я причащалась в Швальбахе. В день причастия я проснулась в шесть часов и встала, чтобы помолиться. Я чувствовала потребность молиться с особенным усердием за моего отца и за Елену Д. Во время обедни также мысль о них с большою живостью снова явилась у меня. Несколько недель спустя я узнала, что как раз в этот день и в этот час Елена Д. умерла. Я виделась снова с отцом в Германии. Он был в состоянии, близком к помешательству...» И дальше: «Он всеми силами души был прикован к той земной страсти, предмета которой не стало».

Сама она дошла до горестной, страшной мысли, что Бог не придет на помощь его душе, «жизнь которой была растрачена в земной и незаконной страсти».

А трагедия продолжалась: приносился в жертву еще новый агнец. Леля, дочь Тютчева и Денисьевой, девочка лет пятнадцати, училась в известном петербургском пансионе Труба (она носила фамилию Тютчева, он узаконил ее). Однажды дама, мать сверстницы Лели по пансиону, спросила ее, как поживает ее мама – разумея Эрнестину Федоровну. Леля не поняла и ответила о своей матери. Недоразумение тут же выяснилось. На девочку это произвело такое впечатление, что она убежала из пансиона и сказала Анне Дмитриевне, что никогда больше туда не вернется. Заболела нервным расстройством. А за ним скоротечная чахотка, и она скончалась – в один день с полуторагодовалым братцем своим Колей.

Это прошло мимо литературы. Смерть матери прославлена в стихах. О гибели дочери нет ничего.

* * *

Так заканчивал свою жизнь удивительный человек Федор Иванович Тютчев, некогда юный принц Овстуга, баловень матери, мечтатель, не вмещавшийся ни в какие рамки, музыкант стиха, нарушавший современные ему каноны его, предвосхищая будущий, юный дипломат и великий победитель сердец женских. Silentium[1] и кипение страстей, созерцатель величья мира и душа непримиренная, душа Чистилища, человек верующий, но владеемый страстями, великий художник, как бы нехотя разбрасывающий богатства свои.

Ибсен на закате дней считал, что *проглядел* собственную жизнь (для искусства). Флобер вообще все отдал искусству, от всего по-монашески отказался. Тютчев был лирой, на которой сама стихия брала звуки, ей ведомые. Он лишь записывал – проносившиеся сквозь него дуновения.

И был предан стихии жизни. Эрос томил его до последнего издыхания. Благочестиво-духовная Анна Федоровна желала бы, чтобы отец победил духом, взошел на ступень надживненную. Этого ему не было дано. Ему было дано из своей жизни извлечь некий нектар чарующий, в виде созвучий, в тишине и безвестности собирать его, не гонясь ни за шумом и ни за славою. Шум не пришел и никогда имени этого не возмутит. Но пришла сла-

---

[1] Молчание *(лат.)*.

ва – поздняя и посмертная, благородная, настоящая золотая слава. В искусстве, к которому он относился как будто бы так равнодушно-небрежно, он оказался победителем – поздним, но прочным. Жизнь, которая будто волшебно улыбалась ему с раннего детства, несла за успехом успех, за одним женским сердцем другое, и третье... – и еще мы не знаем какое! – вот она-то и поднесла поражение. Кажется, это вроде закона: лирики побеждаются жизнью. Они слишком лунатичны и сомнамбуличны. Слишком стихиям подвержены, являясь верными арфами их. Жизнь Тютчева можно рассматривать как художественное произведение: имя ему драма.

Никитенко записал у себя в дневнике, в июне 1873 года: «Неделя прошла в борьбе со смертью. Тютчев сам вспомнил о священнике, но исповедываться не мог – язык ему не повиновался». Умирал он на руках Эрнестины Федоровны, сознавая всю тягость и трудность прожитого, всю ответственность души своей, «болезненно греховной», и в самые страшные минуты, уже разбитый параличом, видя смерть, держался за давнюю подругу – последнее утешение.

Все отнял у меня казнящий Бог:
Здоровье, силу во́ли, воздух, сон,
Одну тебя при мне оставил Он,
Чтоб я Ему еще молиться мог.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ МАРТА

На столе у меня книга, только что вышедшая: «Александр Блок», Мочульского. Год назад, 21 марта, Константин Васильевич скончался в Камбо, рядом с Пиренеями. Свой труд предшествующий («Достоевский») в печати видел (слабеющею рукою мог написать еще на экземпляре посланном: «...с бессмертною любовью»). «Блок» не застал его уже в живых. Кажется, он и корректур не правил: не было и малой радости немолодого писателя – в последний раз причесать, приодеть свое детище. Но книга прислана нескольким друзьям, по его распоряжению. Как бы завещание ушедшего, привет из иного мира.

Культура, знание, изящество писания – все это скромный, тихий Константин Васильевич. На его книгу глядя, вспоминаешь автора, вспоминаешь Блока, которого когда-то знал лично. О самой книге писать надо много, основательно, и писать будут. А сейчас наводит она на кое-что общее.

* * *

Жизнь так сложилась, что литература наша оказалась разрезанной: «здесь», «там». Нас горсть, там множество – и там отбор из могучей страны, там родина и стихия. (Однако же мы не боимся читать их книги, а им запрещены наши.)

Было б неправильно нам заноситься, кичиться. Да сколько знаю, высокомерия среди здешних писателей к тамошним не было никогда. Скорее обратное. Некоторым хотелось «засыпать рвы», говорить о «единой русской литературе» и т. п. Был даже случай – чуть не выпустили манифеста к тамошним: «нас отделяет от вас всего лишь небольшая черта» – слава Богу, не выпустили.

Время шло, рвы не выравнивались. Пожалуй, даже росли. Нельзя сказать, чтобы цвела здешняя литература, но тамошняя все сильней становилась «не-литературой». В школе можно задавать детям сочинения, но из заданного взрослым литературы не получишь.

В первые годы революции питалась литература еще во многом соками прежнего. Юность того поколения писательского прошла в ином воздухе, да и власть не так еще основательно расположилась в жизни. Но теперь все там стройнее – и страшней. Живого человеческого голоса все меньше слышно.

Именно «слышно». Ибо голос-то есть. Как только сможет, начинает говорить. Доказательство – та Россия, которая докатывается до Европы. Как только добирается до свободы, слова находятся. И для нас, старших, оказалось неожиданной радостью, что собственно *внутренней* разницы у нас с этой Россией не так много.

Но водораздел с Россией «за занавесом» существует, пока что наша словесность слиться с тамошней действующей не может и судьбы той и другой невеселы: там полное пожирание человека, господство какого-то антиискусства и антилитературы. Здесь отсутствие родины, недостаточность смены, вообще неестественность положения.

И все-таки... Вот как раз книга Мочульского заставляет вспомнить об одной струе писания здешнего, будто бы и довольно скромной, где именно и проявилась удача.

В России, особенно в первые годы революции, появилось немало исследовательских работ по литературе. Выпускались и отличные издания с комментариями («Academia», поэты пушкинского времени и др.). Вышло несколько романов, где действующими лицами являлись писатели – Пушкин, Грибоедов, Лермонтов. С тридцатых годов, при восхождении в Европе Гит-

лера, и позже, в военное время, вдруг расцвели Суворовы, Кутузовы, Багратионы, в лубочно-слащавом тоне (от которого замечательных людей можно возненавидеть). А. Толстой написал «Петра», стилизуя его под Сталина, – тоже в форме романа.

Каков бы ни был Толстой, но таланта, ему равного, нельзя указать в России, и это единственная, кажется, там вещь с биографическим замыслом, о которой можно говорить. Но и это роман. Жанр биографии там не процвел.

В эмиграции дело обернулось иначе. Взгляд очень многих оказался устремлен на фигуры мирные русской художественной духовной культуры. Распоряжений и заказов здесь не было, материально все это ничтожно и нищенски, но вот ряд писателей обратился душой или сердцем к тому истинному и прекрасному, что дала Россия. Литература, музыка, образы наших святых... Незаметно и сама собой создалась целая библиотечка биографий и агиографий. Исследовательских работ нет. Биографии обращены вообще к читающим. Характер их неодинаков. Есть монументальные, с перевесом научности, обилием материала и даже очерками эпохи, есть меньшего размера с преобладанием художнической стихии, артистической – кто как умеет, кто как хочет. Но некоторый памятник тому, что знали и любили, остается. Все-таки есть двухтомный Пушкин (Тырковой), «Освобождение Толстого» (Бунина), Державин (Ходасевича), Тургенев (мой), Гоголь, Вл. Соловьев, Достоевский, Блок – Мочульского, К. Леонтьев (Бердяева), Чайковский (Берберовой), Жуковский (мой), музыканты «могучей кучки» (Цетлина), Денис Давыдов (Шика). Кое-что и в агиографии – Св. Серафим Саровский (В. Ильина), Св. Сергий Радонежский (мой), Св. Александр Невский (Клепинина).

Из перечня видно, что писатели очень разные – и по складу, и по возрасту, и по дарованию – привлечены были Россией, каждый тем ее обликом, какой лично ему ближе, и каждый в меру сил свое внес – более заметное, менее заметное – в прославление духа родины. Ибо если кто-то пишет о жизни русского писателя или святого, или музыканта, это значит, что заранее признает он важность предмета и свое к нему любовно-почтительное отношение. Писание биографии есть нечто вообще смиряющее. Пишущий освобождается от себя, живет чужой жизнью, к которой всегда у него отношение «преклонения» – пусть даже и при известной пестроте облика изображаемого, «не иконном» подходе к нему.

Писатель очень привык с собою носиться. Биография же учит смирению.

Как бы там ни было, занятие это полезное. Думаю, не только для пишущих, но и вообще. Думаю, след оставляет.

Может быть, правда, так – издали, без надежды на встречу, эти записи о чистых и высоких делах родины как раз сильней привлекают? В этом, может быть, и есть внутренняя причина, почему так привился в эмиграции жанр биографии.

– Что вы там делали тридцать лет на чужбине?

– Да вот, что умели, писали... И свое, и дела, жизни отцов наших старались порассказать...

Подобие чувства летописца:

...Недаром многих лет
Свидетелем Господь меня поставил
И книжному искусству вразумил.

* * *

Константин Васильевич особенно подходил к этому роду писания. Ни стихами, ни повестями, ни романами не занимался, а писатель был тонкий и умный, сдержанный и тихий. Ничего шумного или «блестящего» не могло быть в его жизни, да и литературе. В иподиаконском стихаре, он смиренно читал в церкви часы и смиренно описывал дела, дни героев литературы нашей – Гоголя, Достоевского, Соловьева. В полуголодно-холодное время, при немцах, работал над Блоком, задумывал, собирал материалы о символизме, бесшумным, серьезным трудом украшая эмиграцию.

В годовщину кончины добром и любовью вспомнишь Константина Васильевича: рано сломила его жизнь – тягостями и невзгодами. А душу никто не сломил. Каким жил, таким и ушел, верный ратник литературы нашей.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ

...Славный вечер, сентябрь. Тишина, золото, прозрачность. На скамье в сквере под виргинийским явором в каемчатых белозеленых листьях читать неплохо. Вокруг бегают дети, мамаши упорно вяжут – иногда вскакивают, наводят порядки среди разных Жаков и Моник, Ивонн.

Чтение далеко от нехитрых забав детей. Все пишут о Югославии. Разные «наблюдатели» наблюдают и советуют «сохранять хладнокровие». Какие-то «дипломатические круги» что-то думают и ничего не говорят. А журналисты стараются угадать, что они думают.

Сербия, опять Сербия... – теперь называется она Югославией, но название дела не меняет. Странная, даже отчасти загадочная страна. (Есть наблюдение над историей ее: все противоположно, в судьбе, России. Когда у нас Киевская, блестящая Русь, сербы в затмении. У нас татарщина, они в силе. Мы от татар освобождаемся, у них Косово поле и стон под турками. И дальше в том же роде – до новейших времен: у нас революция, у них расцвет, объединение – Югославия.)

Но никогда нет с Россией вражды. Да и удивительно бы было: их спасали от турок, за них в четырнадцатом году пошли на Голгофу.

Но Россия, как и Сербия, бывает такая и этакая. «Осведомленные наблюдатели полагают, что все передвижения русских войск близ югославской границы являются лишь эпизодом войны нервов»... Однако, другие «круги» находят, что покончить с Югославией Россия решила не позже шести месяцев и это тревожно. И что тон русских нот очень похож на обращение Гитлера с поляками десять лет назад.

* * *

Что было в Европе десять лет назад, все помнят отлично. У маленькой человеческой жизни тоже есть свой горизонт, скромный объем виденного, испытанного.

Для нее август 39-го года это вот что: последнее мирно-артистическое странствие той жизни. Папские дворцы, Вильнев, художник Ангерран Шарантон, Мистраль, красота Прованса... – и там же прочитано о зловещем «союзе» двух друзей, от которого похолодело в сердце.

На вокзале в Арле отправляли уже «куда-то» мобилизованных. Но все еще верилось, что «обойдется». Как-нибудь и уладится, в последний день, как в 38-м году.

Теперь вера эта кажется наивной. Для политика и тогда, наверно, была наивной. Но какие же мы политики? Мы просто люди. И очень уж не хотелось еще раз влезать... («На наше поколение довольно: пережили одну войну, революцию...» – но человеческий счет не в счет).

В Париже застали волнение, ах как все было нервно. Сухие теплые дни, ветер, вздымающий пыль и бумажки с тротуаров, чувство тягостного напряжения... А потом белые афиши на стенах – общая мобилизация, кажется, в день нападения на Польшу. Какой-то маршал Рыдзь-Смиглый, которого считали страшным воякой, но что же он мог сделать со своей «гуса-

рией» против немецких танков? Геройски, бесполезно гибли. А 3-го сентября в 5 часов вечера Франция оказалась «в состоянии войны с Германией».

Не дай Бог вновь испытать тоску и тревогу, безвыходное томление тогдашнее. Мужчины молчали сумрачно. Женщины слабее и нервней – иногда «беспричинно» плакали. Вот действие души на тело: питались еще хорошо, а худеть начали катастрофически в первые уже недели. Опасности пока никакой. Но ужас предчувствовали, в этом не ошиблись. Только срок иной – много позже, чем ждали.

Было, конечно, и напрасное. Ложные ночные тревоги, загонявшие в подвал, паника с газовыми масками. Но ведь новый тип войны, ничего никто точно не знал, апокалиптический же дух чувствовали. Никто еще не налетал, а казалось – вот-вот налетит, каждый думал, что его-то именно и обстреляют. По вечерам темнота, патрули, наблюдающие за «щелками» света в окнах, разговоры о том, что кто-то дает световые сигналы с крыш немцам. А днем закрашивали стекла синим, клеили на них бумажные полосы – будто бы защищает при сотрясениях!

Газовые атаки... – страшная вещь. К счастью, ничего не было, кроме волнений. Можно, вспомнив, и улыбнуться. Люди с воображением думали, что непременно задохнутся в газах. Масок не хватало. Их стали готовить сами: вата, чем-то смоченная и пропитанная, сода, нечто вроде карнавального убранства на лицо – это и есть защита. (До сих пор сохранилась сода, закупленная для такого спасения). Появились «сигналы газовой атаки» – все это изучено было точно, по газетам. Однажды в подвале, при несостоявшемся налете, молодая чета надела уже маски эти доморощенные – и крестили друг друга, как бы прощаясь: а проезжал просто камион и гудел слишком «по-газовому».

Но прошло время, ничего будто не случалось. Ну что же это за война! Сидят друг против друга в окопах и даже не стреляют. «Drôle de guerre»[1] ! Назвали да будто и успокоились... Вот именно «будто».

Так было в сентябре 39-го года. А в сентябре 43-го было уже совсем по-другому. О drôle de guerre никто более не говорил. Война оказалась настоящей.

В этом 43-м и я, мирный обыватель Булони, человек далекий от войны, должен был быть убит 15-го сентября, на этой

[1] «Странная война» *(фр.)*.

самой скамейке сквера. Но милостью Божьей, а может быть и по молитвам чьим-то, ее избежал.

Был тоже отличный, погожий день, как и теперь.

Как и теперь, я нередко приходил вечерами, именно в эти часы сюда и читал, или просто сидел, смотрел. Собрался и 15-го, в седьмом часу. Но в последнюю минуту жена настояла, чтобы вместо нее я поехал в центр города к дочери, а она пойдет здесь поблизости около Porte St. Cloud. Я и поехал.

Около же семи и от сквера, и от скамьи, где я должен был сидеть, ничего не осталось. Все было выбуравлено бомбами. Ничего не осталось и от земляных убежищ, рухнула и грибовидная беседка. Жена отсиживалась в подвале больших домов на площади, рядом с пылавшим заводом. Возвращаясь домой, видела среди других окровавленных тел, как из-под упавшего гриба торчала рука женщины.

* * *

Но в конце концов все прошло. «Свидетели истории», мы видели невероятные зверства, свирепость, дикость собратьев наших по роду человеческому – иногда просто невообразимую. Приобрели опыт не из сладких. Убавилось сентиментальности, наивности. Ничем больше не удивишь. Все-таки выжили и оживаем, в основном же ничто не изменилось. Всегда была Истина – и осталась. Ее не поколеблешь истребленьями. Всегда был грех – он и остался, лишь теперь показан в исключительном виде.

Всегда был Промысел, и вел и ведет таинственными путями как жизнь единичную, так и народа, человечества. Не нам угадать путь его. Если сейчас ярче выступило апокалиптическое, то это нечто «вообще». Но не нам предсказать, столкнется ли маленькая и странная Югославия, вопреки всей своей истории, с могущественной Россией – тоже вопреки истории становящейся ей врагом. Произойдет это или нет, будет ли это началом нового коня бледного и кто погибнет, и оправдается ли и тут подмеченное соотношение судеб – этого мы не знаем. Но будет ли война или не будет, Нагорная проповедь не изменится и навсегда останется Истиной, а бесовское так и останется бесовским, может быть, лишь обильнее в жизни раскроется. Нам же, как всегда, будет предложен путь – Христов ли или «другого». И, как всегда, будем мы путаться, падать, совершать преступления... Нам, простым смертным, остается только желать того, чтобы не потерять облик человеческий. Будто бы и немного. Но времена страшные.

О ЛЕОНИДЕ АНДРЕЕВЕ

Река времен в своем стремленье
Уносит все дела людей...
Державин

...Для меня Андреев не просто русский писатель: друг и сочувственник юных лет. Не хочется ни оценивать его, ни переоценивать. А всего-навсего помянуть в тридцатилетие кончины.

Может быть, для него лучше, что ушел он до полного поднятия занавеса. «Красный смех» (японская война) показался бы ему теперь детской шуткой.

Впрочем, долго он никак не выдержал бы: слишком был нервен и одолеваем воображением, призраками, кошмарами. Теперешнее замучило бы его окончательно.

Вспоминаю его лучше всего молодым, когда он был очень красив, привлекателен и приветлив, вокруг Москва, разные дачные Царицыны, Бутовы.

Жива была еще Александра Михайловна, тоненькая и изящная его невеста (а потом жена, скоро скончавшаяся). Он жил тогда с матерью, Настасьей Николаевной, трогательной старушкой, считавшей его гением.

Вот как вспоминаю Андреева: я ездил к нему из Москвы летом сначала в Царицыно, потом в Бутово (по Курской дороге, не доезжая Лопасни, где жил в Мелихове Чехов).

Вечер, надо возвращаться. Дача с всегдашнею парусиной на балконе. Мы выходим. Он меня провожает на поезд. Идем в белеющей березовой роще. Май. Зелень нежна, пахуча. Бродят дачницы в светлых платьицах. Привязанная корова пасется у забора. Закат алеет, и по желтой насыпи несется поезд, в белых или розовеющих клубах. С полей привет, простор России. Мы же идем легко, быстро и говорим взволнованно. Вот он со мной на платформе – в широкополой артистической шляпе, в какой-нибудь синей рубашке с летящим галстуком, или в бархатной куртке. Возбужденные, темноблистающие глаза, папироса за папиросой... Он старше меня и уже известен. «Леонид Андреев», шепчут вокзальные бутовские барышни.

Поезд, вечерней зарей, летит в Москву. Смотришь в окно, переживаешь все вновь. Возвратясь, все о том же будешь думать: об этом тридцатилетнем человеке с прекрасными глазами. Пишет он больше об ужасах, и это, собственно, не наше хозяйство, но он так весь нравится, как никто. В нем нечто и зажигающее, подстрекающее: нервный ток, что ли? Или ощу-

щение, что это новое и свежее в литературе, та струя, к которой и сам начинаешь принадлежать? (Позже это назовут импрессионизмом).

* * *

«Жизнь человека» – первая из его пьес – шла и в Художественном, и в Петербурге у Мейерхольда. Дала автору много славы и совпала с несчастием его жизни: умерла Александра Михайловна. Он уехал на Капри, кошмарно переживал там горе, потом вернулся в Россию, метался между Москвою и Петербургом, вел жизнь бурную, сильно пил. В 1908 г. вновь женился. И переехал в Финляндию, там на Черной речке выстроил дачу – огромную, в стиле северного модерна. Называлась она «Аванс»: вся построена на авансы издательства «Шиповник».

Это был верх его славы. Портреты, интервью, поклонники, паломники. В Москве, когда он входил в ресторан «Прага», посетители вставали, аплодировали. Оркестр играл марш из «Жизни человека». Из Ростова-на-Дону и Пензы ему писали, что он равен Достоевскому, Шекспиру. Все это не могло не опьянять: да и натура у него была мягкая, мечтательно-славянская и легкоплавкая.

Но... – «судьба загадочна, слава недостоверна». Нечто предсказал Андреев о своей жизни в своей пьесе. Слава постояла-постояла на верхушке, поколебалась туда-сюда, да вдруг так же стремительно начала падать, как возносилась. Теперь уж из Таганрога и Бердичева писали не о Шекспире, а Бог знает что... Газетные вырезки полны были брани. Он писал еще бурно-патетические свои трагедии («Царь Голод», «Океан», «Самсон»), получал огромные гонорары, но слава пряталась.

Я видел его в последний раз в Москве, осенью 1915 г. Шла его пьеса «Тот, кто получает пощечины». Вряд ли это удача художническая. Но в ней есть нечто острогорестное, очень скорбное и едкое.

Тяжкая душа, израненная и больная, чувствовалась и в нем самом. Это иной был Андреев, не тот, с кем философствовали мы некогда на Пресне, бродили среди берез Бутова, Царицына. Надлом, усталость, тягостная раздраженность. Начиналась и болезнь сердца. Только глаза блестели иногда по-прежнему.

– Пьесу испортили. Сгубили. Главная роль не понята. Но посмотри, – он указал на ворох вырезок, – как радуются все эти ослы. Какое наслаждение для них – лягаться.

Прощаясь с ним, мы, немногие его друзья, не угадывали, что настоящего, живого Андреева, в бархатной куртке и с блистающими темными глазами, нам уже не увидеть.

* * *

Но мы и вообще ничего не понимали в судьбах собственных, да и родины нашей – и меньше всего думали, что придется навсегда расстаться с ней.

Андреева застала революция в Финляндии. Он ее переживал мучительно, ненавидел, выпустил последний вопль свой, S.O.S., к Европе и скончался, в сентябре 1919 года.

Через много лет, уже отсюда, нам с женой удалось побывать в Финляндии. Мы гостили в Келломяках и решили съездить на автомобиле на могилу Андреева.

Выдался прелестный день, как раз сентябрьский. Сосны, дачи, слева все виднее сиреневое море. Воздух чуть туманится. Приятны в него нисходящие, как в подводное царство, лучи солнца – северного, небогатого!

Машина сделала поворот, мы поднялись на изволок, дальше от моря: тут-то вот Черная речка. Здесь когда-то бывали мы... Поля, леса вдали, но виллы Леонида нет. Ах, вон фундаменты! Аллейка елочек сильно разросшихся – и голое место. Это и все, что осталось от виллы «Аванс».

Кладбище при небольшой церковке – пустынно и одиноко. Мы не нашли даже кладбищенского сторожа. Пришлось просто перелезать через ограду. Но все-таки, куда нужно, мы попали.

Да, тут упокоен Леонид. Могила его проста, благородна, но печальна: нет любящей руки, о ней заботящейся. Деревянный черный крест, без надписи. Никакой плиты. Вокруг кайма густого, невысокого шиповника – это устроено умно, памяти «Шиповника», где издавались наши книги.

Жена привезла с собой букет роз – стала раскладывать по земле могилы. Украсила ими и крест, вставляя стебли в трещины его. Крест хорошо расцветился темно-красным.

– Вот, все бунтовал, вызывал... а под Крестом все же упокоился!

И пока мы потихоньку копошились около могилы, набирая здешних цветиков, подбрасывая их Леониду, или просто сидя близ ограды и любуясь красотою, тишиной места, из тугих роз потекли по кресту капли росы: мы с собой привезли эту влагу, в глубине венчиков.

– Смотри, – сказала жена, – точно слезы. Ну, пусть это и будут слезы по тебе, Леонид.

Вдалеке сиреневело море. Тишина такая, будто кроме нас да этого креста ничего и вообще нет в мире.

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Давно пора сказать об этих местах, славных, скромно-старинно-благородных. Книжное государство. От Лувра к Шатле правобережное, от Сольферино до Нотр-Дам левый берег. Есть ли еще в мире такая выставка книг – двухкилометровая и почти непрерывная с каждой стороны? Ларьки букинистов! Как бы черта в самом гербе Парижа.

Летом мощно-зелены, но и с серебром в отливе, тополя над ларьками, как ласкают они зыблемой тенью! А весной бледно и нежно зеленеют, посыпая белым пухом всю окрестность. У ларьков сидят дамы, иногда вяжут, а то просто болтают. Владельцы же мужчины больше прохаживаются, или что-то разбирают в своих книгах, подклеивают, пишут цены. Среди них есть и любители литературы. Есть поклонник Леона Блуа. Есть литераторы – один выпустил книжечку о Quais[1].

Края эти особенно как-то открылись со времен немцев – странной, пустынной и печальной полосы Парижа. Может быть и потому, что они некое сердце города, латинский его корень. «Вы можете там сколько угодно драться и избивать друг друга, но мы – старая и духовная, умственная Франция, какими были, такими остаемся».

В полунищем, поверженном и затихшем Париже странствия по набережным были и отдыхом, и развлечением – отчасти ученьем. Если не купишь, то посмотришь, иной раз полистаешь, почитаешь.

Всяко бывало. Иногда, около Шатле, заставала воздушная тревога и дальний гул боя. Метро не ходит, надо или ждать, или пешочком... в направлении Булони. Раз весной, после довольно скверной ночи с непрерывным грохотом, бродя днем между Лувром и Шатле, вдруг увидал странного гостя: на прелестных тополях против Консьержери висел как бы огромный белоснежный парус. Собирались любопытные. – Парашют! Кто-то ночью спасался, спускаясь со сбитого аэроплана. Раненый, целый? Сена под парашютом спокойно протекала к Лувру и не говорила, выжил ли упавший. Или с тем же равнодушием, как и течет, поглотила она его.

* * *

Все-таки удавалось и покупать. Заранее установлена «зона безопасности» в цене. Сколь скромная! Но выше идти жутко. И за эту робость до сих пор иногда упрекаешь себя.

---

[1] набережной *(фр.)*.

Не купил! Не решился. Вижу трехтомную «Историю Флоренции», кто-то более смелый овладел ею. Или отличного Петрарку в двух томах...

Но особенно помнится один горький случай. Как сейчас вижу ларек левобережный, на quai St. Michel[1], тотчас за мостом. Было тепло, бледно-облачно и светло, даже слишком – утомляет глаза, в этом случае под тополями лучше, но тут нет их. Попалась книжечка писем...

Из предисловия оказывается: в одной из итальянских семинарий XVIII века учились два приятеля. Кончили ее, а пути оказались разные. Один пошел по церковной части, другой бросил все и увлекся цирком. Один стал знаменитым клоуном, другой епископом, кардиналом, наконец папой. Кажется, это был один из многочисленных Григориев.

Но дружба не прекратилась. Они и вообще не теряли друг друга из виду, благожелательность же и память о юных днях сохранилась и тогда, когда один обратился в наместника св. Петра, а другой размалевывал себе физиономию и в шутовском колпаке смешил публику Брешии, Милана.

Но вот это и все... – больше ничего не успел вычитать о них под июньским парижским светом с небеси. Не купил! А потом сколько раз проходил по этому же месту, искал, искал – нет, здесь уж так: из какой-то пучины вынырнула, предстала, хочешь взять – бери, а не хочешь, упустишь минуту, так не удивляйся: больше не увидишь. Завтра выставят другое.

Это касается тех книг, которых хочешь. Есть и иные. Они вечно преследуют, куда бы ни обратился. «Предал ли я Саррая»? – какой-то генерал, оправдывающийся пред потомством, так «выскакивал», то на правом, то на левом берегу, что увидишь его и расстроишься: «Да мне все равно, предавал ты или нет, уходи, пожалуйста...» Но на следующем перекрестке он опять тут как тут.

А «Болгарское искусство»? А «Бурная жизнь Мирабо»?

Ламартин стал внушать смешанное чувство – уважения к усидчивости («писали не гуляли») и некоей подозрительности: не вода ли все эти бесконечные тома? «История жирондистов» – почтенная вещь, четыре книги. А рядом «История Турции» – восемь томов, пройдешь пять минут – «История литературы», 22 тома (о чем угодно, вплоть до России и Тургенева...).

[1] набережной св. Мишеля *(фр.)*.

* * *

Но есть и великие броненосцы, наводящие трепет. Платон, Цицерон, Тит Ливий... мало ли еще что, не говоря уже о Расинах, Корнелях и Мольерах. Гиббон, четырнадцать томов – «Падение Западно-Римской Империи» – тут вспомнишь прежнюю Россию, наших усердных Павленковых и Солдатенковых, покорно издававших переводы знаменитостей.

Но Италии всегда везло у Шатле. Случай, или так уж полагалось? Книги немодные и недорогие. Отсюда приехали ко мне Боккаччио и Гольдони, Альфиери, Джованни Фиорентино и «сам» – Данте Алигиери Флорентинец. «Божественная Комедия», изданная в Париже по-итальянски, в 40-х гг. прошлого века, в переплете с золотыми разводами на корешке: reliure de l'epoque[1]. Для меня же эта книга оказалась если не эпохой, то восстановила прежнюю мою «эпоху» – перевода «Ада» (1913–1918 гг.).

В бурях войн, революций этот труд успокаивал и питал. Трижды находил он издателя, трижды войны и революции вмешивались – от издательств оставались щепки. Но рукопись, над которой сидел и в Москве, и в тульском Притыкине, удалось вывезти. Она постарела и пожелтела, формат бумаги теперь исторический, написана давним почерком, но жива. (Шесть веков назад уносил автор подлинник ее из Флоренции в мешке заплечном, пробираясь тайными тропами Казентина в изгнание.)

И вот бродяжничество по Quais натолкнуло на полузабытую работу. Подтапливая печку, можно было строку за строкой вновь сличить перевод с подлинником. Кое-что выправить, кое-где усилить певучесть, смелее сказать, вообще постараться улучшить. Это опять поддерживало, как и в дни Москвы. Так украсил мне Данте Алигиери целую зиму. Дай Бог здоровья букинистам Сены.

* * *

Нельзя отрицать: проходишь меж их ларей, как по некоему кладбищу. Кто-то думал, писал, ждал успеха, а может быть славы. Некоторые – сколь немногие! – ее получили. Но все умерли, остались их легкие, тоже столь тленные следы. Правда, некоторые еще живы – можно увидеть Мориака, Монтерлана, Моруа, но это единицы. В общем – упокоение ушедших, главнейше

[1] Переплет эпохи *(фр.)*.

литературы французской. Славные имена Бальзака и Флобера, Мериме, Бодлэра и Верлена, да и ряд других. Большие, малые, все лежат рядом, и сколько их, сколько! Франция, разумеется, литературнейшая страна, именно страна нашего цеха, и неудивительно, что мавзолей так обширен. И какое ж количество никому неведомых, может быть, раз блеснула надежда, а потом затолкали и пошли ко дну наши собратья в несчетной толпе писавших.

Затесались среди них и мы, русские (во французских переводах). Попадается Бунин, Алданов, Шмелев и я сам, Куприн. Когда даже жив и видишь в ларьке книги близких тебе и корешок собственной, то кажется, что уж это часть твоего прошлого, тоже скромное погребение среди тысяч могил.

Дважды я покупал сам себя – цена небольшая. Раз даже не удержался, сказал, что роман мой. Продавец не совсем понял. Пришлось объяснить – я-то вот и написал.

Он сперва не поверил. Верно, я показался ему выходцем с того света («un revenant»). Но потом убедился. Даже стал веселей и любезней. Из сочувствия уступил десять франков.

Да, приятные прогулки, их вспоминаешь с удовольствием. И назидательные. Конечно, есть нечто меланхолическое. Иногда чувствуешь как бы космическое одиночество (звездное небо ночью): огромный мир, благородная литература, культура Франции с героями и неудачниками – противостоишь этому один, неведомый, ни с кем не сливающийся, пришлец, иноземец. («Ибо странник я у Тебя, пришлец, как и все отцы мои»).

Ни звука на родном языке из писания твоего никто тут не услышит. А если бы и услышал, глазом бы не повел: своих достаточно, слишком даже много.

Зрелище необозримости труда и творчества, чужестранство, ощущение себя «последним», «с дорог и изгородей», «с улиц и переулков», все учит смирению.

Все проходит. Пройдут и эти славные набережные, и книги, и собратья, и сам ты. Но для чего-то дано говорить. Такова Воля. Ты очень ничтожен рядом с миром. Но в тебе тоже мир, и в нем искра. Смиряйся. И не унывай.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПИСЬМО

Иногда спрашивают – с оттенком упрека: «Почему мало пишете о современности? Мы живем в страшное время. Вокруг столько борьбы, страданий. Да и решаются, возможно, наши

судьбы. Как же не сказать о злободневном, остром... Или уж такая замкнутость, художническая брезгливость? Данте, Италия, Жуковский...»

Чувствуешь некоторое смущение. Конечно, надо бы быть «общественнее», «отзывчивей». Нет уж, какая там «башня из слоновой кости» – не башня, но, разумеется, радостней быть в воздухе света и красоты, чем спускаться в адские долины. В общем же: кому что дано. Петь можно то, что по голосу. И писать также. «Вот это» – мое, могу, а «вот то» не мое, ничего не выйдет.

Человеческое, однако, скорбное и страдальческое, это «мое» (а не внешняя политика или «перевыполнение плана»).

Вспоминая о том, что тысячи людей, а на родине нашей миллионы, сидят сейчас в тюрьмах, лагерях, «на горьких работах» – чувствуешь и неловкость, и вину. Рождественский гусь с яблоками... – а те, кто в это время ждет, что его «выведут в расход», или au poteau[1]? Или на гильотину? Или еще на какую виселицу? (В Англии, я читал, даже духовенство оправдывает казнь: так благолепно рассказано, что выходит – pendaison[2] почти даже приятное и уж, конечно, для преступников полезное времяпрепровождение. Тут возникает даже некая «народная гордость»: не встречал еще русского батюшку, с немодными длинными власами, который бы одобрял так нежно проклятую перекладину.)

Да, этим всем, на постройках разных «дорог», «каналов» подвизающимся, загнанным и затравленным, ждущим смертного часа, может быть, как освобождения, не до встречи Рождества, не до гусей с яблоками.

«Не могу молчать»... – помню, Толстой крикнул о казни. Его голос был слышен на весь мир. Помню, как меня самого, тогда юного литератора, он потряс (помню и странное письмо, которое ему написал: пожелал ему самому мученического венца как достойного завершения великой жизни. Все-таки не отправил. Выходило как-то, что желаю ему эшафота?).

Толстовский голос бывает раз в столетия, и я очень уважаю голоса даже скромные, малые, кто что-то объясняет иностранцам, например, о России. Или пытается действовать, как Руссо. Но смотрю на это со стороны. Смотрю и тоскую. С детства ненавидел насилие – с тем и умру. Всегда был с гонимыми против

---

[1] На столбе (виселице) *(фр.)*.
[2] Повесят *(фр.)*.

гонителей, с жертвами против палачей. Некрасова никогда не возносил, а вот строчка: «Уведи меня в стан погибающих» – с дальних лет бередит сердце.

Но что значит мой голос? И в действительной жизни *что* я могу сделать?

* * *

Современность пестра. Не из одних жертв состоит. Есть и удачники. Победители, боги, юбиляры. Одного такого тридцать лет знаем. Теперь ему стукнуло семьдесят. Мир воспламенился. Поезда с подарками, на родине гигантские изображения спускаются прямо с неба, поэты пишут, художники изображают, академики превозносят... – верно, еще при жизни поставят памятник, а потом, понемногу, возведут и в сан божественный (если уже не сделали).

Это приятная современность, без страданий и тяжелых чувств.

Следовало бы тоже откликнуться. Прославить или осудить, смотря по вкусам.

Но вот, не хочется. И всегда так было. Есть такие, что нагоняют скуку. Да не простую, а как бы мировую, или «метафизическую», что ли. Маркс, например. Я его пробовал в юности читать – да закаялся. Наверно, есть у него некоторая правда. Но нет ни света, ни воздуха, дышать в общем нечем. Питания нет! Да это еще были «теории». А теперешние, «последователи», юбиляры... Они могут быть внешне очень ярки, победоносны и кровавы и начинены «мировыми» словами, но на душу действуют опустошающе.

Есть в жизни то, что питает: луч солнца, звук песни, улыбка ребенка... – мало ли еще что! – от Божественного дыхания.

Этим живем. И это есть настоящая действительность. Прекрасное стихотворение так же всегда существует, как Господь. Музыка композиции у Рафаэля отражает Божество – и это всегда будет привлекать, животворить.

Как животворит скромный рождественский «вертеп», «creche», подаренный ребенку. В вертепе лежит Младенец, вечный Младенец, над которым склонилась Вечная Мать, и барашки, «осляти», львы, верблюды, волхвы идут к Нему с доверием и истинною любовью (они просто *поражены* этой любовью, сами не понимают *откуда*, но их ведет чувство: Бог! Не идол, Бог).

Ребенок с восторгом рассматривает подарок, он его любит и целует, тоже уж смутно чувствует, что это *священное*. Показы-

вает каждому входящему, беспокоится, как-то creche с Младенцем будет ночью спать, хорошо бы положить с собой в кровать, но трудновато, велико размером.

Младенец шествует по миру две тысячи лет, но всегда был и всегда будет. Люди, звери, цветы, звезды вечно склоняются перед Ним. Говорить о Нем и любить Его не устанет человечество.

А от страшных и скучных кошмаров, живущих призрачно, останется горсть пепла.

«Не будем говорить о них: взгляни, и проходи».

В БЕЛЬГИИ

За все благодарите.

Ап. Павел

В первый раз побывать на земле бельгийской довелось лет двадцать назад. В Антверпене происходил съезд Литературных Союзов. Наш Союз, эмигрантский, тоже участвовал.

Антверпен не очень понравился. Показался довольно топорным, сытым, купецким. Но все-таки: старая площадь, дома гильдий. Ратуша – память фламандского прошлого... И в Музее такой Рубенс, которого если и не полюбишь, во всяком случае, поразишься им.

Удалось съездить и в Брюгге. С молодости, по Роденбаху, мы считали его «Мертвым Брюгге». Лебеди, каналы, меланхолия, пустынность. Оказалось не совсем так. Никакой особенной меланхолии, до «северной Венеции» далеко, но действительно тишина, зелень, церкви, монастыри и художество первосортное. Здесь не Рубенс глава, а Мемлинг – тихий, благочестивый, задумчивый.

И всего меньше, на обратном пути, остался след от Брюсселя. Времени оказалось мало. Музей заперт. Мелькнула средневековая площадь, отельчик у вокзала (на несколько часов). И все удалилось.

* * *

Брюссель, однако, вернулся – на днях. Как нередко бывает, путешествие вышло случайным. Но вот и произошло. Нас, двоих русских, судьба привела вновь в Брюссель. Там мы несколько дней жили, читали писания свои, ходили, дышали, смотрели.

Впервые Бельгия открылась нам из окна вагона, в теплый мартовский вечер, с мягким солнцем, туманностью далей, с той

нежною, светло-весеннею зеленью по полям, что действует сверхфизически (точно намек на лучший мир. Это бывает иногда и в хрустале облаков закатных).

Ближе к городу, меньше полей, больше поселков. Сам Брюссель предстал в среднем, будничном роде. Мы видали немало мировых столиц, да и обольстительных городов юга – удивить трудно. Он, впрочем, и не собирался удивлять.

Главный город необширной страны, высококультурной, христианской и социалистической. Ничего поражающего, как не поражает ровный, слегка бесцветный пейзаж Бельгии. Все разумно, удобно. Всего в меру. Людей, уличного движения, благосостояния. Люди покрепче, чем в Париже, с сильной прослойкой фламандского – полнокровнее, тяжелее. Одеты добротно, но больше по-провинциальному. Довольно много студентов. Они носят особенные фуражечки.

Мы жили в юго-восточной, современной части Брюсселя. Тихо, невысокие дома, редкие почтовые ящики, труднодостаемые марки (надо идти на почту), очень мало кафе и гораздо трезвеннее, чем у нас.

Наш дом – трехэтажный особняк. Приветливая русская семья, где мы спокойно процветали. Комнаты не парижской высоты, все основательное, прочное, хозяйственное. Жутко только спускаться по крутой лестнице, так сияет, натерта: поскользнешься, сломаешь ногу.

У меня наверху, в большой комнате, было особенно тихо. Окно выходило в стену монастыря кармелиток. Над монастырем шпиль колоколенки с неизменным петухом, указующим ветер.

Мимо этого монастыря мы не раз проходили переулком – странное, замкнутое строение красного кирпича.

– Тут довольно много кармелитских монахинь, но вы никогда их не увидите. В церковь можно войти свободно и слушать мессу, но они так присутствуют, что как будто их нет. Самый строгий орден монашеский. Молчальницы, вроде траппистов.

Ночью звезды смотрели мне в окно, на утренней заре петушок отчетливо рисовался в небе на шпиле, и все мое пребывание в гостеприимном доме как бы разделялось на две части: внизу Россия, русские интеллигенты православной складки – то, что *мое*, в чем сам я и вырос. Там мы беседуем, пьем кофе, завтракаем... – Здесь, рядом с тихой моею комнатой, странный мир, отчасти чуждый, суровый, но и вызывающий безмолвное преклонение. «Отдаю себя в дар Богу». Кому чужд мистицизм, для

того это вовсе невнятно. Но и кому не чужд (но кто любит жизнь, краски, звуки, поэзию), в том все-таки зрелище жертвоприношения вызывает глубокую задумчивость.

* * *

Не знаю, было ли интересно нас слушать, когда мы читали, но нам приятно было находиться среди русских, видеть оживленные, иногда и взволнованные лица, говорить о великой русской культуре, о создателях литературы, музыки российской. О том, что было в России непреходящего, являвшегося тогда так скромно. (Вот уж дух рекламы, шума чужд был этим нашим «преждепочившим отцам и братиям»...)

Как могли, мы старались. Портрет Тургенева глядел со стены, а в антракте мы подписывали собственные книги, пожимали дружественно протягивавшиеся руки. Молодой человек, из числа новой эмиграции, с работ приехавший, чуть не обнимал нас, предлагая тотчас же «приветствовать». А позже, за ужином, пришлось слышать от русских из России, как подпольно читают там нашего брата (по листикам разбирая запрещенную книжку, прочитывая тайком по листикам и далее передавая студентам: чтобы незаметнее было).

В Бельгии и Брюсселе немало русских, недавно попавших сюда с Востока. Если бы дольше пожить, можно бы больше узнать от этой смены нашей о родине. Но жизнь быстротечна и надо спешить, спешить...

Мы читали, однако, и по-французски. Наши рассказы о причудливой, подневольной, небезопасной жизни писателей русских «за чертою», о самоубийствах, о высылках, удушении вольной литературы произвели на бельгийских студентов и барышень некое впечатление. Этого они не ожидали и были взволнованы. (Так нам потом передавали.)

* * *

На этот раз Музей брюссельский был открыт. Он оказался довольно замечательным – странно, что посещают его не так уж много. («Свое, наше! Успеется!») Действительно, главное в нем – фламандское искусство, «свое», но высшей марки.

На крутом берегу реки со средневековым городом св. Себастиан Мемлинга, привязанный к изящному дереву, задумчиво принимает полуобнаженным телом стрелы из луков, пускаемые равнодушными «мучителями». Все та же тишина и благообразие, даже в мучении и смерти, что и некогда в Брюгге, древний

благочестивый мир, которого ничем не поколеблешь. Рядом столь же непоколебимый Ван дер Вейден. А там Кранах – Германия, но какой прелести юная Венера, высокая, худенькая и легкая, совсем нагая, лишь в одном головном уборе. Снизу Амур смотрит на нее с ужасом-восторгом.

Какие портреты! Какие старушки, вяжущие кружева. Какие негры Рубенса! Милый смешной король Иорданса, сильно выпивший, раскрасневшийся на пиру, корона съехала набок... Брейгели, старший и младший, с неумирающею Голландией на темы Евангелия. Нет, очень хорошо. Слава Искусству.

...В день отъезда, распростившись с хозяевами, забрав чемоданчики, мы ушли в город. Вещи на вокзал, сами в старый город, еще побродить по Grande Place с рынком цветов, Ратушей, древними зданиями. Потолкались по узким улочкам вокруг, не обошлось и без младенца брюссельского – как бы домашнего лара, малого покровителя города: статуэтка его в закоулке пускает смешной фонтанчик. Побывали в Соборе св. Гудулы.

И вот снова Брюссель мелькнул мгновенно. В четвертом часу плавно, в покойном и мягком вагоне катили уж мы к Парижу.

Скромное путешествие кончилось. Неслись поля, леса, налетал дождь из хмурых туч, потом солнце слепило. Компьен, Шантийи, славный пейзаж Иль де Франса. Позади некий глоток воздуха, свежего и живого. Впереди же Париж.

Съездили – и домой, к близким, в свой угол, и слава Богу, что есть все это. Что живем, ходим, дышим и пишем. Что иной раз можем даже постранствовать.

СУДЬБЫ

I

«Вы, люди, звери и птицы! Я поднимаю стакан за одинокую ночь в лесу, – в лесу! За тьму и шепот Бога среди деревьев, за простые, нежные созвучия безмолвия, звенящие в моих ушах! За зеленую листву и за желтую листву! Я пью за звук жизни, за морду, фыркающую в траве, за собаку, обнюхивающую землю! За дикую кошку, припавшую грудью к земле и готовую ринуться на воробья во мраке, – во мраке! За короткую тишину в земном царстве, за звезды и за полумесяц, да, – за них и за него»!

Это из Гамсуна, «Пан»: записки лейтенанта Глана, лесного жителя. Лучшее, что написал Гамсун, остающееся навсегда. Книга нашей молодости: поэзия, любовь, природа, одиночество.

И пока сохранятся любящие поэзию, она будет читаться. (Но не доказано, что сохранятся).

Странную жизнь прожил человек, написавший «Пана». В детстве подмастерье у сапожника в Северной Норвегии, потом матрос, приказчик, вагоновожатый. Америка, возвращение в Данию и голод. Роман «Голод», написанный в Копенгагене, – сразу известность, а затем слава. Не только в Норвегии, но и в Европе: главнейше в Германии и России. Россию он знал и любил. Проехал всю ее, побывал даже на Кавказе. Любил Достоевского, считал, что народ наш особенный и замечательный. И Россия его полюбила. Читатели восторгались, писатели, критики – тоже. Художественный Театр ставил его пьесы. В 1920 г. Гамсун получил Нобелевскую премию. И даже во Франции, к литературе и вкусам которой никак он не подходил, стали выходить его книги.

Маленькую Норвегию, с фиордами, скалами, рыбным промыслом, прославили Ибсен и Гамсун – кому она интересна вне замечательной литературы? Ибсен был тоже одиночка, гордец и меланхолик, но жил и умер нормально, без особых историй – только написал пьесу (Доктор Штокман), где с народом сразился. Впрочем, сражение вышло довольно скромное, из-за каких-то купален в приморском курорте. (Сейчас пьеса вызывает улыбку.) Все это литература. Гамсун же на себе испытал «власть народа».

Он ровесник Чехову. Но жив и доселе, ему девяносто лет. Во время последней войны этот лейтенант Глан, диковатый, ни на кого непохожий нелюдим, жаждущий невозможной любви, поэт, «странник, играющий под сурдинку», вдруг взял да и посочувствовал немцам, даже присоединился к ним. Шаг, правда, на редкость нелепый. Что могло тут прельстить Глана? Те самые «массы», «народ», парады и маршировки, что всю жизнь он терпеть не мог. Правда, всегда ненавидел Америку, Англию, считал их торгашескими странами. Ненавидел и коммунизм. Но все-таки, все-таки... (Знающие его лично утверждают, что большую и печальную роль тут сыграли его домашние.)

Смертной казни в Норвегии нет. «Законно» поставить Гамсуна к стенке после ухода и поражения немцев не могли. Но какой-нибудь честный патриот Олаф Бондезен или Ярл Олафсон отлично мог пристрелить сумасбродного старика. Этого не случилось. Старик просто дожил до дней, когда книги его стали сжигать, – «Пан» пылал на костре вместе, наверное, с творениями Гитлера. Как передавали из Норвегии, книг его больше нет в библиотеках, его не читают, сам он подвергся отчуждению

полнейшему, бойкоту и всяческому заушению – это можно легко себе представить. Так что от кондуктора к славе, от славы в преисподнюю... – у каждого свой путь, это не нашего ума дело. А что Олафам мало дела до «Пана», это тоже понятно. Для них есть иное чтение.

II

Молодость Горького во многом сходна с гамсуновой.

Как и у Гамсуна – быстрое восхождение из низов, успех, слава Революцию подготовлял, она и пришла, но не дала полной радости: Горький менее восторгался, чем бы хотел. Яд Короленки (человеколюбие), близость с Чеховым, знакомство с Толстым и преклонение пред ним не прошли даром. Революция оказалась для него слишком кровавой. Палачи стесняли. В самом начале террора он многим помогал и спас не одного. Отношения с властью хладели. Дошло до того, что Горький уехал даже в Италию, жил и в Германии, ворчал на советское правительство. Но позже его затянули, все же, в Россию. Тут по-царски обставили, он первый писатель, у него чуть не дворец – все это делать они умеют.

К этому времени и относится позорная страница жизни его: ездил на север, осматривал лагеря ссыльных и умилялся, как там все чудесно устроено. (Горький всегда был сентиментален... даже склонен к слезам).

Дальше, однако, не так получилось гладко. Все-таки он стал мешать. К нему ездили иностранцы как к знаменитому писателю, он что-то лишнее говорил, опять за кого-то заступался и хлопотал, может быть, недостаточно унижался, одним словом, старик беспокойный, с гуманистическою прослойкой – совсем не по климату.

После писаний Троцкого, который был близок ко всему этому, не может уж быть сомнений, что его отравили (во время болезни), по распоряжению власти. Свалили на докторов, «судили» и расстреляли их, потом расстреляли чекистов, устроивших все это. И только верховный «друг Горького», по Троцкому – первоисточник отравы, оказался чист, бел и прекрасен. Все бесшумно наладил, всех уничтожил, «великого» же писателя любовно благословил на последнее путешествие.

...Да, странная судьба. Был Горький «буревестником», дождался бури. Был другом Чехова, прославившего Художественный Театр, – его переименовали в Театр Горького. Во время коллективизации, когда сотни тысяч крестьян погибали, жил

магнатом в Москве и до того дожил, что с ним самим распорядились, как и с теми на каналах, в тундрах и морозах, идиллическое бытие которых так растрогало его.

Нынче же, как страшный гробовой привет, убийцы издают в России полное собрание его сочинений. Но какое! Во скольких томах! Это они умеют делать.

ПАУСТОВСКИЙ

Года три назад мне попался небольшой советский рассказ – там описывалось, как автор в октябре едет на пароходе по Оке в деревню. На глухом полустанке сошел и со случайным спутником, в надвигавшемся вечере направился, пересекая остров, к другому рукаву Оки, там переправа. Но от открытых на реке шлюзов вода прибывает, островок начинает подтапливать, перевозчика нет. Темнеет. Положение тягостное. Зажигают стог, начинают кричать. Долго кричат, наконец, является лодка. Девушка с лесного берега их услышала и явилась спасать. Дальше получается хорошо. Писатель приводит спутника и девушку в заброшенную усадьбу, где живет старенькая рязанская библиотекарша Василиса Ионовна. Старомодный, милоприветливый мир. Девушка Даша, оказывается, давно ждала этого капитана Зуева, спутника. Рассказ оборван на сценке, где Даша, только что спасшая их обоих, от волнения и смущения роняет ведро в колодезь... – но ничего, все благополучно кончается. «Мы вернулись в дом. Тут уже горели лампы, стол был накрыт чистой скатертью и со стены спокойно смотрел из черной рамы Тургенев. Это был редкий его портрет, гравированный на стали тончайшей иглой – гордость Василисы Ионовны».

Принимаю вполне и Оку, и разлив, разные лозняки, перевозы, лес, Дашу, Василису Ионовну, а уж про Тургенева, на все повествование отсвет бросающего, и говорить нечего. Вообще отлично написано.

И вот за Паустовским начинаю следить. Оказывается, он не из шумных, а где-то сторонкой, в своем роде известный, все же в тени. Из большой его вещи автобиографической узнаю, что даже земляк он мой, обучался в Брянске, знает Калужский край, Мальцовщину, человек культурный, не из юных: был, вероятно, гимназистом, когда я начал печататься.

Сейчас передо мной его последняя книжка (1946 г.) «Новые рассказы».

* * *

Теперь уже не удивляюсь, но впечатление крепнет. Да, это изящный тип, наследник настоящей нашей литературы, к удивлению моему сохранившийся, каким-то проселочком и бредущий в страшном и бесчеловечном времени, и как раз *очень человечный*, как и полагается писателю русскому (на нашем писании ответственность, славные предки).

Что-то и бродяжническое есть в Паустовском, непоседливое – в духе бродяжничества «Записок Охотника». Хоть и не охотник, но также норовит в деревню, в леса, к каким-то озерам, лесникам, объездчикам, природе. Природу очень знает, любит. (Пишет о ней проще Пришвина.) Сколько разных растений, цветов, «древес»! Точно бы хочет сказать: «Ну, вы там, занимаетесь устройством человечества, а ведь есть и получше вещи, чудесные озера (один рассказ даже называется: «Собрание чудес»), удивительные леса, лесничие, умные старики из народа, мальчики, всем интересующиеся, иногда фантазеры и поэты (один так и сказал, около озера: «Давайте будем здесь жить!»), есть ведь благоухание трав и лугов, какой-то страшный челн, проросший цветами, древний мерин, которого жалеет конюх Петя».

Петя «жалеет» мерина – как несовременно! («Председатель колхоза – ну, знаете, этот сухорукий – хотел было отправить его к коновалу, снять шкуру, а я воспрепятствовал»).

В этом смысле Паустовский сам несовременен. У него всегда сочувствие, к слабости, старости, беззащитности. «Жалеть!» – это вовсе ни к чему. Ненавидеть надо.

А он склонен даже к сентиментальности. Это есть уж в начальном рассказе «Телеграмма» (и проходит через всю книжку).

Одинокая старушка, Катерина Петровна, дочь известного художника, угасает в заброшенной усадьбе. В Ленинграде у нее дочь Настя. «Ненаглядная моя... Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки...» Настя ее и любит, но занята своими делами, устраивает выставки художников, выступает на собраниях. Посылает иногда матери денег, но собраться приехать... – некогда все, некогда! – Наконец, сторож Тихон, с девчонкой Манюшкой, ухаживающей за умирающей, посылает телеграмму, – а приехать уже поздно. Чтобы утешить Катерину Петровну, Тихон сам сочиняет телеграмму: «Дожидайтесь, выехала, остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя».

– Не надо, Тиша! – тихо сказала Катерина Петровна. – Не надо, милый. Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку. («Милый», «ласка» – в трех строках два нежных слова, да еще: «добрый». Это Паустовский.)

Так в одиночестве она и умирает. В одиночестве остаются в другом рассказе майор Кузьмин и Ольга Андреевна, у которой на фронте нелюбимый, но любящий ее муж, а Кузьмин привозит ей от него письмо – направляясь в отпуск. Пароход запоздал. Кузьмин в час ночи приезжает в домик Ольги Андреевны в глухом городишке. Она его ласково принимает, поит чаем, письмо мало ей интересно. Тут вот и оказывается, что и он чего-то ждал всю жизнь, и она – некоей встречи, и будто что-то возникает, но... – скоро пароход должен отваливать. Кузьмину ехать дальше. В сумрачной предрассветной мгле она его провожает с обрыва по тропинке вниз к пароходу... Могло бы быть, да не случилось. Это уж вполне Чехов.

* * *

Вот она какая тихая и поэтическая Россия! Подумаешь, ничего нет ни страшного, ни грубого.

Не только замечательная природа, – все эти волшебные леса, озера, травы, цветы, благоухания, но и люди первый сорт. Не вижу неприятных. Героев особенных не замечаю, никаких чудо-богатырей и могучих доярок, но вот автору нравится описывать разных умных стариков в лесах, славных и любознательных мальчишек, трогательную в любви своей кружевницу Настю, смиренного стекольного мастера Васю, мечтающего отлить из хрусталя рояль. Некий же Лялин, в деревне, из лыка сплетает костюм, а писателю устроил переплет на книжку – из того же лыка.

Нельзя сказать, чтобы Тургенев, Толстой, Чехов не любили народа: пред народолюбием наших великих отцов мы, дети, лишь преклоняемся. Однако: те видели всю светотень жизни. Их диапазон широк, потому и картины сложны: есть такое, а есть и этакое.

Но те писали, как хотелось им и как видели, ни с кем, ни с чем не считаясь. Нынешнему писателю в России много трудней. К нему и подход труднее. Попробуй-ка, покажи «темные стороны». Чехов-то о Сахалине писал, а вот как Паустовский написал бы о каторге советской... Но если он пишет о России очаровательной, это ему позволят. И опасности нет, и книжка благополучно выйдет. Ибо эту очаровательность *мы, мы устроили*, теперь все у *нас* замечательно. А что там классики писали, это их дело. Тогда еще зла много было. А у нас зла не полагается – упразднили.

* * *

Что до тонкости, артистизма, наблюдательности Паустовского – спору нет: отличный писатель. Но вот насчет России...

дай ей Бог такой быть, как он изображает. Дай Бог. Только сомневаюсь, чтоб сейчас такой была.

Но тут возможно и защищать Паустовского. Ведь может же существовать писатель, которому просто *природно* не дано писать о зле. У Гоголя *природно* не выходили «светлые явления». Его друг Жуковский столь же органично не мог говорить о тьме и грехе. А если Паустовскому – художнически, артистически как раз ближе те люди и то в природе, что он изображает (я лично уверен в этом), то нельзя же к нему приставать с тем, чтобы он занимался несвойственным ему. Всякий настоящий художник знает: вот это «мое», а это чужое. Это «выйдет», а за *то* лучше не браться. Паустовский отлично может возразить:

– Знаю, что жизнь не совсем такова, как я ее изображаю. Но как поэт я выбираю из нее созвучное. А что отвратно мне, того не трону, это не «мое», не выйдет. Да и не настаиваю, чтобы вы по моему писанию судили о России. Я *себя* проявляю: свою любовь, свой выбор. И тут вы ничего со мною не поделаете, по вашей же, свободной, «индивидуальной» мерке.

Действительно, как ограничить право выбора? Ведь вот и я сам выбрал из советского писания как раз такого Паустовского, потому что он мне ближе. А отлично знаю, что другие – иные. Но писать мне интересно все-таки о нем, а не о каком-нибудь Панферове, Фадееве. И то, что останавливаюсь на нем, *не* значит, что советскую литературу считаю на него похожей.

Но вот тут положение «вольного» писателя благоприятней. Потому что он делает *по своей* воле, ни на кого не оглядываясь. Его трудней заподозрить. Хочу и делаю. А советский, даже если вполне искренен и действительно его влечет лишь «положительное», всегда подвержен сомнению. Поди, различи дозу искренности и необходимости у того же Паустовского.

Но во всяком случае – дай Бог ему здоровья и дожить до времен свободы. Для условий же подневольных книжка его еще весьма благородна.

И. И. ТХОРЖЕВСКИЙ

Дней лет наших всего до семидесяти лет.

Псалом

Вот настоящий импрессионист, природный: это у него в крови. На внешний мир быстрый и нервный ответ, а собственное бытие – ряд острых переживаний, отражений. Это и есть впечатлительность и «ответность», слегка женственное качество,

но и связанное с жилкой художнической. Оно называется импрессионизмом. Выражаться может и в жизни, и в творчестве.

Я не знал Тхоржевского в его молодые годы, петербургские. Но видел портрет того времени. Он изображен в камергерском мундире, еще худенький, с лицом нервным и действенным, возбудимым (польская кровь). Этот Тхоржевский – даровитый и живой, широко образованный, уже сотрудник министра Кривошеина. Работает по переводческому делу, и, видимо, очень удачно: тридцати лет, в генеральском чине, занимает видное место.

Как нередко в поколении нашем дед его был николаевских времен военным, отец уже адвокат, мать музыкантша, замечательная пианистка. Артистическо-литературная закваска Ивана Ивановича давняя: мать занималась не только музыкой, но и литературой, вместе с отцом переводила Беранже.

Сын, кроме изучения государственного права (кончил СПБ Университет, при котором и был оставлен), кроме службы (позже) в министерстве, тоже с ранних лет тяготел к литературе. Был, конечно, разносторонен и раскидист, на многое откликаясь, многим воодушевляясь, вряд ли особенно сосредоточиваясь на чем-нибудь. Ученая деятельность оказалась не по нем, вся натура его вопияла бы против этого. Затрудняюсь представить себе Ивана Ивановича и чиновником. Слишком он был и жив, и остр, жизнелюбив, горяч, непоседлив. Легко и быстро увлекался. Думаю, больше всего тянула его к себе сама жизнь – в ее формах прельстительных – любовь, искусство, даже азарт игры. Сюда входит и артистизм, от стихов и переводов из Гете, Омара Хайама, до некоего творчества у себя на службе. Вполне вижу его сочиняющим какой-нибудь проект по переселенческому делу, или пишущим манифест, речь для министра, даже для Государя. Это некий праздник. Но будни труда? Упорно и последовательно бороться за проект, проводить его, добиваться, даже просто изо дня в день с безразличием ходить на службу, ждать двадцатого числа... это на него непохоже.

Служба его, при всем блеске начала ее, продолжалась недолго. Но сил много. В живом воображении, горячей впечатлительности возникает и другое, этому «другому» опять будут отданы все силы. Подошла революция, белое движение. Теперь он с Врангелем, и тоже, конечно, увлечен, – судя по той нервности и горячности, с которыми говорил об этом много лет спустя, надо считать, что в то время отдавался борьбе без остатка.

«Российского» Тхоржевского знаю лишь по рассказам. Живого Ивана Ивановича, веселого, оживленного, всегда чем-нибудь увлекающегося, увидал только в эмиграции (и всегда

чувствовал к нему неколебимое расположение). С ним всегда было интересно, легко, как-то «весело».

Даровитость натуры, нервный заряд, острое переживание жизни, даже его смех – вдруг бурный хохот – все оживляло и располагало.

В начале войны принимал он близкое редакционное участие в газете «Возрождение». (Позже под его редакцией вышли первые четыре тетради журнала «Возрождение» – болезнь прервала эту работу.)

Политика очень его занимала. Он говорил о ней горячо, интересно, всегда оптимистично – жизнь не всегда подтверждала его предсказания.

При немцах занялся он главным своим литературным предприятием: пять лет отдал «Русской Литературе».

Странно было бы ждать от него «Литературоведения», научности. Слишком он был непосредственно даровит, несистематичен, не-упорен. Получилась огромная, очень занятно написанная книга очерков по русской литературе, начиная с Нестора-летописца и кончая живущими еще. Начитанность автора велика, но и тема огромна. Тема такова, что ей надо бы отдать жизнь. Александр Веселовский и отдал бы.

Тхоржевскому облегчил дело импрессионизм – всегда личное впечатление. Конечно, все это прихотливо иногда, «недоказуемо». Иногда пристрастно, часто спорно. Одно можно сказать: талантливо, а то и блестяще (вот бы вспомнить 4-х томную «Историю литературы» Пыпина, над которой мы в молодости засыпали от скуки! Над этой не заснешь).

Тхоржевский всегда высказывает личные мнения, ни с кем, ни с чем не считаясь. Школьного в книге нет. Это антипод учебнику. Он дает, правда, некоторые классификации направлений, но вполне произвольно. Когда читал вслух отдельные очерки, до выхода книги, приходилось иной раз спорить. Одних он пристрастно любил, других обходил, бывал и восторжен, и резок, не всегда справедлив. Но никогда не был *сер*. Всегда ярок. И думаю, лучше выходили у него второстепенные фигуры (Крылов, напр., отличный портрет).

Когда писал эту работу, находился в некоем увлечении, иллюзии. Ему казалось, что с Россией и ее судьбой дело обойдется неплохо. Привело это к тому, что советскую литературу он слишком выдвинул, на некоторых ее писателей возлагал особые надежды (это и было связано с надеждами на «эволюцию»... – знакомое настроение многих тогда).

Теперешнее, новое издание автор значительно переделал – текст его мне неизвестен, но и о направлении перемен слышал я от самого покойного. Уверен, что его увлекательная книга от этого только выиграет.

Но сам он от нас ушел. Как быстро, волнуясь, лихорадочно жил, так же внезапно, точно подстреленный из-за угла, пал в смертельном недуге – от волнений и споров (кровоизлияние в мозг). Первое нападение обошлось. Он как будто бы даже выздоровел. «Доктор сказал, что, если тихо буду жить, еще лет пять протяну». Но и двух не выжил. Жить же хотелось, хоть за библейскую черту (...«до семидесяти лет») он слегка и перешагнул. Хотелось в окончательном виде дать «Русскую Литературу» (это успел осуществить), хотел написать воспоминания. Частью семейные, частью о «блистательном С.-Петербурге», портреты-характеристики Столыпина, Витте, Кривошеина, из революционной эпохи Врангеля. К сожалению, написано всего две главы. Дочь покойного, Марина Ивановна Дель Рио, любезно показала мне кое-что из оставшегося. Текст ясно указывает, как блестяще, ярко было бы и последующее.

Но что говорить об этом. Его самого нет. Эти несколько строк – ему посмертный привет, горячей душе, раскидистой и непланомерной, но плодородной, как сама наша Родина. Вот ее он любил кровно, на каждой странице писания его это чувствуешь. – Мир и упокоение дорогому собрату.

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ ДРУГУ

Очень светлое утро, пред глазами куст роз, вокруг зелень, грушевые деревца сада, дальше дорога, виноградники, рощи, кое-где виллы и узкая полоска океана – туманно-синеющая нынче.

Это вид из моего окна, в одном из последних, на выезде, домиков Бретиньоля. Очень «деревня», скромная и нехитрая земледельческая Вандея, старинная и весьма католическая – в церкви по воскресеньям три мессы и все полно, приходят нарядные и торжественные, с ферм приезжают на велосипедах. Совсем близко от нас, уже средь виноградников, возвышается при дороге белая статуя Спасителя, благословляющего окрестные поля.

Это здесь принято. В самом Бретиньоле – огромное Распятие в глубине тупичка-проулка, такие же памятники веры и почитания повсюду разбросаны.

Здесь мы и процветаем – тихо, отчасти отдохновенно, отчасти и труднически: сколько в деревне можно успеть, написать!

Так всегда было в нашем деле, но кажется только Флобер мог всю жизнь высидеть в своем Круассэ, под Руаном. Да ведь он же и называл себя homme-plume, он же и был монашествующим в литературе, т. е. всю жизнь обратил в литературу: кроме нее ничего и не оставалось.

Будто бы мы и случайно попали сюда, и пустили даже некоторые корни (хозяева, коренные крестьяне вандейские, почти приятели наши). Но случайностей не бывает. Просто – скромное, простодушное и отчасти патриархальное место подходит, потому и пришло, потому и дано. (Но оставим в сторонке шуанов, историю и политику). – Все это не праздник, не Италия и ее прелесть, а скорей внешняя не-нарядность деревни русской моего времени. Было там, в сущности, много убогого, но вот что-то и трогало. Здесь, конечно, нет того внутреннего и таинственного соединения с родной землей, какое было в каширских полях. Все же и теперь, выходя пред закатом на прогулку по вандейским дорогам, ощущаешь что-то знакомое, напоминающее – да, вот среди притыкинских ржей и овсов так же бродил молодым литератором, и хоть там была и кровная связь, но и, как здесь, тоже глубокое одиночество.

На днях вышел такой малый случай: мы отправились по соседству раздобыть свежих яиц. В полуверсте старое имение, – мне никогда не приходилось бывать там.

Боже, какое запустенье! Большой дом двухэтажный, окна забиты, все наглухо заперто, по огромному двору бродят куры, каменные службы с циклопическими круглыми столбами разваливаются.

Мы постучали все-таки в дверь «барского дома» (или верней пристройки к нему). Отворила старушка, худенькая, с бесцветными, выцветшими глазами. Встретила приветливо – нас слегка знает. Вот она и живет тут всегдашним сторожем, в очень большой комнате с Распятием, безмерным камином, несколькими картинами на штукатуренных белых стенах. «Что же, этот дом очень старый?» – спросил я. Она улыбается. «Да уж не менее двухсот лет». «А вы сами давно тут живете?» «Я здесь родилась».

Наши с ней разговаривали, отбирали из корзиночки яйца. А я продолжал рассматривать окружение. Монументальная постель, на которой смиренным изваянием возляжет в некий день эта старушка, чтобы уже больше не встать. «Наша семья жила здесь более ста лет, отец, дед, все отсюда», – слышу я ее разговор. «В моем поколении нас было одиннадцать у родителей». «А теперь?» Она опять улыбается. «А теперь только я и осталась».

Заметил я крошечную лампочку-ночник: при нем она и работает в зимние вечера. «А часы у вас сильно отстали. На целый час»! «Нет, monsieur, не отстали. У нас ведь часы по солнцу».

Позже вывела она нас в сад, – помещичий сад, обнесенный каменною стеной. Перепутанные травы на заросшей дорожке, сплетшиеся ветви яблонь, одичавшие кусты смородины. Странный сад! Давно таких не видал, но и все место странно, однако, в этой старинной стране наверно таких много. Что сказать о том чувстве, какое остается в душе?

Сто лет уже дом этот необитаем. Все-таки было время, когда в нем и жили. Из окон второго этажа виден океан. Может быть, в гостиной звучали тут некогда, под женской рукой, клавесины. А может быть, в этом же доме медленно в одиночестве угасал какой-нибудь самодур с красным носом, заливавший жизнь крепкою водкой собственного вандейского производства.

Не могу ничего сказать. Просто не знаю. Как не знаю того, что осталось от дома моих родителей в каширском именьице, от моего флигеля рядом, где полвека назад пробовал я на бумаге свои юношеские силы. Недавно в Париже, разбирая старые письма, наткнулся на одно, давнего моего приятеля, от 1923 г. из Москвы. Этот приятель, со своею семьей, как и раньше бывало, после отъезда моего из России, проводил лето в Притыкине, откуда мать мою тогда еще не выселили.

«Что меня удивило в особенности, это что на лужайке в усадьбе, перед сенным сараем, лопухи и чертополох разрослись до такой степени, что, став среди них и подняв палку, я все-таки не достал верхушек». А в другом месте: «Крыша балкона, на котором, ты помнишь, мы по утрам пили чай с дедушкой, – крыша эта так провалилась в одном месте и перила так подгнили, что мы с Р. повалили ее совсем, чтобы не ушибло кого нечаянно».

Да, этот балкон, в теневой стороне, где отец по утрам пил чай, читая Щедрина и закладывая книгу спичкой, чтобы не забыть, где остановился, – вряд ли уж я забуду. Перечитывая сейчас Стендаля, с улыбкою вспоминаю, как на этих перилах сидя, сорок лет назад, мы до остервенения спорили с французским обрусевшим литератором о Стендале. Тогда перила казались надежны. Франко-русский интеллигент, физически слабый, с хромою ногою, но большим темпераментом, сидел на перилах прочно, поблескивал стеклами очков на широко расставленных глазах, не выпускал изо рта трубочки и, бледнея от волнения, на хорошем русском языке доказывал, что Стендаль был романтиком. Я с не меньшею яростью противоречил...

Все проходит, и постройка из дерева раньше кончается, чем каменная. Были позже еще сведения, что во флигеле моем, где я увлекался Соловьевым, писал свое, переводил позже Данте, устроили ветеринарный пункт, а потом избу-читальню. В «большом доме» – там было пять маленьких комнат – детскую колонию. (Если последнее верно, то и слава Богу). Но все и тогда было довольно ветхое. Так что теперь уж наверно ничего не осталось ни от дома, ни от флигеля. А пожалуй, что и от деревни при усадьбе: с этой весны, по словам мировой печати, небольшие деревни в России уничтожаются, а крестьян свозят в бараки при огромных колхозах, «агрономических фабриках».

Именьице принадлежало отцу, он купил его на сбережения долгой трудовой жизни – слава Богу, успел упокоиться еще на своей постели, в своем же доме.

Это Притыкино никогда не считал я своим. (Собственностью, а особенно уж земельной, вообще никогда не интересовался.) Никаких притязаний имущественных ни к кому у меня нет. Но все-таки, если бы чудом увидел я там, где многие годы прожил, просто пустое место, то радости бы ощутил не много.

Хотя... – все в порядке вещей. Удивительного (с одного конца) ничего нет, а с другого – все удивительно. В нашей маленькой, бедной жизни мы в начале совсем ничего не знаем, потом медленно, с годами, грехами, радостями, страданиями, нечто и начинаем прозревать, смутно и робко, и если до конца вообще ничего уяснить не можем, то все-таки в грандиозном ходе мировом и в своей замкнутой жизни уверяемся, что есть что понять, случая и бессмыслицы нет (при всей страшной видимости этого). Мы участники и свидетели той же гигантской мистерии, которая непрерывно вокруг нас разыгрывается, – и в области личной, и в судьбе народов и государств, и в судьбе тех светящихся миров, которые одинаково загадочны были как в июльские ночи Притыкина, так и в ночи Вандеи. Твоя собственная судьба так же по существу таинственна, как и во время твоей юности, но теперь только ты твердо знаешь, что она в верных руках, пред которыми и склоняешься. Никакие бедствия и никакие странности не кажутся уже странными. Если бы пятьдесят лет назад сказали тебе, что твоя родина при твоей жизни не будет уже называться Россией, а СССР, то тебе показалось бы это кошмаром и ты не поверил бы – мало ли что приснится!

Или если бы вдруг увидел себя самого с простотой и естественностью шагающим по вандейским дорогам, обсажен-

ным непроходимой живою изгородью, забредающим в дореволюционное иноземное поместье и поражающимся уже, что женщина родилась в том же месте, где ей умирать, – все это показалось бы тоже фантасмагорией. – Но вот не фантасмагория, а действительность, мельчайшая, может быть, частица некоей сверхчеловеческой постройки. Нечего тут мудрить, нечего гадать. Не ты строил, не ты зажигал жизнь – и в твоей душе и в вечном свете звезд. Значит, молчи, значит, все в порядке. Несмотря ни на что, все ко благу. Так говорит то же сердце.

ЛУННАЯ СОНАТА

Моей сестре

С высоты, вниз к эстраде, простирается воздушная дорога. Эстрада кажется небольшой, и рояль отсюда невелик – настолько далеко, что там будто особый мир, от нас, верхов этой огромной залы, отделенный раз навсегда. Оттуда можно только подавать сигналы.

В том мире в некую минуту из-за угловой завесы выходит знаменитый пианист во фраке – легкой быстрою походкой, как они все ходят. Плеск приветствий, сдержанный и прозрачный, как всегда в начале, встречает его.

У многих из нас особенное связано с Бетховеном – с ранних лет. Не просто это гениальная музыка, а часть жизни нашей, молодости и России. Должно быть, часть души.

Пианист искусно расположил исполняемое: в начале прохладнее, спокойно и без блеска (впрочем, он и вообще себя не подчеркивал, занимался больше Бетховеном). В первой сонате в отдельных только местах приоткрывалось волшебное бетховенское. Но дальше, в меланхолическом большом куске как бы траурного марша все вдруг выдвинулось. А потом началась Лунная соната.

* * *

На Рождество всегда почти бывает луна, не знаю, почему. И очень высоко подымается. Даже в парижской комнате, потушив свет, видя таинственно-сребристые ее узоры, как бы мистическую ткань, накинутую невесомо и сияюще на паркет, стену, книги, испытываешь загадочную радость. Есть в лунном свете тайна. И вот сидишь, следишь за медленно переползающим прямоугольником...

О если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые...

Ничто, конечно, не сравнится с Рождеством в России и деревне.

В небольшой гостиной отцовского дома в Каширском уезде, куда съезжаемся на праздники из Москвы, сестра усаживается за пианино. За окнами, в бездонной высоте, луна заливает и балкон, и полянку перед ним, ровно блистающую в снегу, переливающемся без конца золотыми, розовыми, синеватыми искрами. Вокруг старые липы, две сосны, на одну из них садится иногда ворон. А сейчас это все в таком серебре инея, так безмолвно, что если выйти на полянку, то будто и сам навсегда замолчишь.

Маленькие ручки сестры с детства знакомы. Из-под них в легендарные времена впервые услышан Бетховен – Эгмонт, Кориолан, сонаты. Эти ручки так трудны ей для больших аккордов, так мучили в Консерватории. Но сейчас, при двух лунных колоннах из обоих окон, на скромном пианино исполняет она Лунную сонату, а мы, два студента, ее муж и я, мы слушаем. Да, это не концерт. Это Бетховен в лунном снежном волшебстве зимы с жарко натопленными изразцовыми печами, Бетховен в глубине России, выходящий из-под нежных, уж овеянных печалью ручек, может быть, женственно-смягченный, приглушенный, получающий особую черту.

Когда после ужина идешь к себе во флигель, остолбенелая тишина поражает. Только снег поскрипывает под валенками. Все огромные березы стали до того плакучи в серебре риз, что едва не достают концом ветвей до сугробов. Синяя тень твоя безмолвна. И луна безмолвна. Мои звезды – здесь они мои – на своих местах, и Сириус не поддается, не затмевается в многоцветных своих огнях лунным блеском, как другие меньшие созданья в небе. Как оно раскалено морозом! И как колок, остр воздух, и как чувствуешь бездну в этих серебряных одеждах, в искрящихся саванах, в молчании, в далеком и навеки не понятном сверкании Сириуса сквозь заиндевелые ветви яблонь под окнами моего флигеля.

Я войду в него, знакомо скрипнет запираемая дверь, знакомо пахнет теплом натопленной печи, и лунные бело-синеватые кресты из окон с такою яркостью лягут на пол, что как будто и не зажигай лампы: все полно дымно-серебристым и волшебным светом.

* * *

Пианист заканчивает Лунную сонату. Круто вниз сходят человеческие головы – есть старые, есть молодые. Вот они собрались все и слушают. Тихо все. Это наш мир, мир бетховенский, и он жив еще – удивительно. Слушают благоговейно молодые, и они чувствуют.

Может быть, и сестра, которая не может уж исполнить на притыкинском пианино Лунную сонату, дрожащей ручкой повернет пуговку радио и услышит – слушает сейчас – те же звуки, что и сорок лет назад. И, может быть, в ее комнату ляжет из окна бледный луч парижской луны.

...Позже я читал большие похвалы пианисту. И было сказано, что Бетховена он давал не только трагически, а под разными видами.

Не знаю. Не могу судить. Но знаю, что есть «Ночь» Микель Анджело, есть «Божественная Комедия», есть Бетховен и Лунная соната. Это все есть. А другого – и очень многого – может быть, вовсе и нет. Только кажется, что есть.

ГОГОЛЬ

Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. – Дело мое – душа и прочное дело жизни.

Выбранные места из переписки с друзьями

Литературно Пушкин Гоголя сразу оценил, по первым же шагам. Но внутренно не раскусил. Сперва просто смеялся, потом, правда, призадумался. Даже загрустил над ним, но не до конца: слишком сам был здоров, жизнен, гармоничен – гоголевский мир ему неблизок. Для Жуковского Гоголь сначала только «Гоголёк», талантливый малоросс, которому он покровительствует, потом крупный художник, читающий на его субботах «Ревизора», еще позже – христианин и автор «Переписки с друзьями». (В это же, приблизительно, время Жуковской переводил Евангелие от Матфея, а Гоголь писал «Размышления о Божественной Литургии».)

Но как относился Жуковский к трагическому и дьявольскому в Гоголе? Не знаю. Жуковский далек был от всего этого – по-иному, чем Пушкин, но далек. Как христианин знал, конечно, о зле и дьяволе, но со стороны. О грехе и зле внутренний его

опыт был невелик. В молодости сам много писал о чертях, считался даже литературным «дядькой» их, но сказочно, по-детски, не изнутри, а декоративно. В Жуковском не было никакой мути, он очарователен своей чистотой, простодушием. «Что за прелесть чертовская его небесная душа» (Пушкин). Внутренно ничто его не мучило, не ужасало. Однако, вот он с Гоголем сошелся, и навсегда. Их сблизила религия и религиозное отношение к жизни, искусству. С Пушкиным тут разница. Для Пушкина человек – поэзия, предмет ее. Для Гоголя и Жуковского – Бог и поэзия. У Пушкина над искусством ничего нет. У Гоголя и Жуковского над искусством Бог, искусство лишь форма служения Ему.

Молодой Гоголь еще очень непосредствен, просто художник, любящий свою Малороссию, казаков (написанных громоподобно, в духе героев «Илиады»), разных «дивчат», южную красочность, напев южный, *красоту...* – правда, уже в раннем его художестве есть некая отрава, выглядывает подозрительно часто странный персонаж, не из веселых – в «Вечере накануне Ивана Купала» называется он Басаврюк.

Пушкин отнесся ко всему этому сперва благодушно: мало ли что черти, вон и Жуковский сколько занимался ими, а вышло вполне благополучно.

Но у Гоголя благополучия не получалось. Черти его оказались не фольклорными, не для забавы и увеселения кузнеца Вакулы, а гораздо посерьезнее.

К дьявольскому его тянуло с юных лет. Из-за простовато-сказочных хохлацких чертей глядело уже и другое – всемирное, страшное лицо.

Чем дальше шло время, чем больше рос Гоголь как художник и человек, тем облики этого лица более усложнялись, более отходили от сказки, принимали видимость «жизни», повседневности, свиных рыл всероссийских – Чичиковых, Хлестаковых, Собакевичей... мало ли еще кого! В какой-то момент и Пушкин спохватился, слушая Гоголя сказал: «как грустна ваша Россия!» Но «грустна», собственно, была не Россия. У самого-то Пушкина вовсе она не грустна, а жива и бодра. Пушкин ее никак не причесывал и не подделывал, она сама выходила живоносно, как живой и радостной вышла позднее у Толстого в «Войне и Мире». И над Пушкиным и над «Войной и Миром» радуга. Над великим гоголевским писанием радуги нет. И не зря главное его творение называется «Мертвые души».

В то время, когда писалось оно, Гоголь уже не был «Гоголь-ком» Павловска 1831 года, времени постоянных встреч с Пуш-

киным и Жуковским. В Риме, на Via Sistina (Strada Felice эпохи Гоголя), в доме, мимо которого и сейчас проходишь с благоговением, были написаны на раскладном столе скромной меблированной комнаты «Мертвые души» – в вечном Риме выставка гениальных русских уродств. Какая там радуга! Это «Ад» Данте. Темный мир в нем живет, потому и видит он и пишет жуткие облики с такой магическою силой. Однако и не одно *это* было в нем. Было и совсем противоположное: неудержимое, с годами росшее влечение к Богу и поклонение Ему. Тут-то и начинается его трагедия.

* * *

С юных лет уродливое, смешное и жалкое, как и страшное, поразительно удавалось Гоголю. Как раз это приносило успех. Но чем дальше шел путь, тем для этой души, знавшей дьявола, но до глубины потрясенной Богом, все труднее становилось жить. Нельзя упрощать, как делали наши символисты (впервые, однако, правильно подошедшие к Гоголю) – нельзя говорить *только*: «Гоголь и черт». Был ведь «Гоголь и Бог». К Богу влекся не только христианин в Гоголе, но и художник. Весь пейзаж Малороссии, все любование природой и людьми в раннем писании (один «Тарас» чего стоит, при всем его характере «для юношества»), все это – преклонение и восторг пред Божиим творением. Перечитывая «Рим» («Аннунциату»), видишь, сколько в нем *гимна* – красоте женщины, Италии, восхищения пред полупатриархальной жизнью Рима начала XIX века, любви к простому народу и юмора *очень доброго*.

Да и в самой натуре Гоголя были черты соответственные. Гоголь, якобы только и занимавшийся чертовщиной, любил детей, и дети его любили. Не только в ранней полосе, но и в зрелой, рядом с высшими, монашески-аскетическими устремлениями, он и в малом, повседневном часто проявлял привлекательнейшие черты. С Аксаковыми и Погодиными бывал высокомерен («друзья» не очень-то вообще его любили, да и он был труден с ними) – а вот с ямщиками, слугами был прост, острил напропалую и *благодушно*. В Калуге, совсем незадолго до смерти играл в шашки с купцами в торговых рядах. В Оптиной пустыни смиренно беседовал со старцами, а когда ехал в коляске из Калуги в Москву, то выскакивал из экипажа, с детской радостью срывал цветы. Любил бедных, нищих, – сколько раздавал из грошей своих! Да и сам прожил нищим и странником. Сестре писал: «Милая сестра, люби бедность!» И еще: «Нищенство есть блаженство, которого еще не раскусил свет. Но кого Бог удостоил отведать его

сладость и кто уже возлюбил истинно свою нищенскую сумку, тот не продаст ее ни за какие сокровища здешнего мира».

Человек пестр, сложен и запутан. Редко кто написан одной краской. С годами противоречия в Гоголе возрастали. К Богу приникал он все сильней, в художестве же все неотразимей изображал тьму. Становился будто пленником страшных сил.

Как густо написан «Ревизор»! Постройка дугообразна: с первого действия арка подымается, ровно, естественно, доходит до высшей точки и так же плавно, под звон колокольчика улетающего Хлестакова закатывается. Фигуры, – что говорить о них, – мы сжились с ними, а собственно, ведь это гротеск, начертанный чуть ли не гениально. Есть в нем, однако, и нечто глубоко-неосновательное, как бы раздражающее. Точно автор и дразнит, впадая местами в лубок, но и покоряет. Когда читаешь «Казаков» или «Первую любовь», этого чувства нет. Все ясно, верно, ничто не раздуто до болезненного, никаких двусмысленностей и никакой опасности провалиться.

В «Ревизоре» есть нечто и от наваждения. Наваждение с чиновниками, принявшими невероятного мальчишку за ревизора. Наваждение с критиками, принявшими все это за подлинную Россию. Наваждение с автором, post-factum, придумавшим глубочайший смысл произведению (ответ на Страшном суде). Сам читатель испытывает наваждение: гениально? А вдруг – пыль в глаза, не настоящее, обманное? Может быть, и меня обманули, как чиновников?

«Мертвые души» гораздо крепче, хотя Чичиков тоже довольно странного происхождения. Считать ли, что он мировой тип (облик пошлости повседневной, как и – с иным оттенком – Хлестаков), что в них-то Гоголь и поразил черта, посмеялся над ним, или брать менее планетарно, утверждая лишь, что в них влил он нечто тягостное и мучительное, в них распял некие свои черты («Я уже от многих своих гадостей избавился тем, что передал их своим героям...») – во всяком случае, в «Мертвых душах» достиг он предела художнической власти. Показал яркость и выпуклость, в некоей мертвенности стереоскопа, почти страшную. Чичиковы, Ноздревы, Собакевичи, Плюшкины и Коробочки созданы и показаны. Это мир вроде адского. Он дан в аспидных тонах. Герои его статуарно существуют, как в музее, как гробовые образчики человечества. Сила галлюцинации здесь родственна магии – имеет неблагодатный характер. Потому так неотразимо горестны «Мертвые души».

Горестны не одним тем, *что* изображено, но и тем, *как* изображено.

На том художническом пути, по которому шел Гоголь, кристаллизоваться крепче, чем в «Мертвых душах», созреть лучше – было уже невозможно... «Мертвые души» вершина его искусства, одновременно и его же могила.

* * *

Данте задыхался в своем «Аду». Но Вергилий повел его дальше, и как человека, и как поэта. На утренней заре, выходя из Ада, среди прибрежных, таинственных камышей Чистилища, Данте омыл задымленное лицо в вечных, прозрачных водах этого края и пошел дальше, посетив и Рай.

Гоголь много читал Данте в Италии и поклонялся ему. «Мертвые души» задуманы как бы по плану «Божественной Комедии» (возможно, что план этот явился не сразу, вырастал по мере движения труда): описание странствия через ад в миры высшие. В самом намерении этом есть уже некое сверхискусство, не пушкинский аполлонизм, а дело жизни, служение людям в области морально-религиозной и собственное спасение – в очищении.

Эта именно цель была и у Данте: вот здесь гибель, а там спасение. Данте считал, что и сам он чуть не погиб во грехах, но его спасла Беатриче (Любовь), давши в спутники Вергилия (Разум и Искусство) и осуществив странствие по трем царствам.

От жизни Данте, при всей скорбности ее изгнаннического удела, остается ощущение великой гармонии: человек жил, любил, страдал, грешил, ненавидел, годами создавал великое творение и, написав последнюю песнь «Рая», скончался. С Гоголем все получилось по-другому.

Беатриче у него не оказалось, Вергилия тоже. В плане духовном он одиноко борется за свое совершенствование. («Но лучшее из них (свойств), за которое не умею как возблагодарить Его, было *желание быть лучшим*». «Я люблю добро, я ищу его и сгораю им».) Неизвестно, чего именно он добился на пути аскетическом своей зрелости (эпохи «Мертвых душ»), переходя от крайней гордыни к крайнему самоуничижению и смирению. Но на пути художническом потерпел явную неудачу.

Второй том «Мертвых душ» должен был быть выходом из ада и оправданием России, как бы «оклеветанной» в первом. Тут-то и начались затруднения. Они оказались неодолимы. То, что удалось Данте, Гоголю не удавалось. Не только «Рая», но и «Чистилища» ему не дано было осуществить.

Высокую настроенность приходилось подгонять к делу неподходящему. Воплощать свои теперешние (глубоко христианские) состояния душевные художнически было не во что. Не являлось тех фигур, какие ему нужны были (ибо как художник он был назначен, в главнейшем, для изображения иного). Данте населил свои Чистилище и Рай обликами героев и святых. Гоголю же пришлось неудачно выдумывать. Он и выдумывал – разных Костанжогло и Муразовых, впадал в морализирование, неубедительно «обращал» к добру Чичикова, вводил какого-то добродетельного генерал-губернатора. Мог ли, при его художнических силах, быть этим доволен? (Когда раньше писал уродов, то *художнически* ими любовался. Без любования нет искусства. Но Муразовыми, Костанжогло, генерал-губернаторами любоваться он никак не мог: их просто не было).

До нас дошли только отдельные главы второй части «Мертвых душ». В 1845 году, недовольный ими, он сжег написанное. Но работы не бросил – временно только отвлекся, выпустил замечательнейшую «Переписку с друзьями», где рядом с гордыней, учительством, наивностями (даже почти нелепостями), есть гениальное – между прочим, впервые в литературе русской прямо указано открытое вхождение в мир *зла*. («Дьявол выступил уже без маски»...) «Бесы» Достоевского и страшная тьма современности в этой «Переписке» предчувствованы.

Книгу и самого автора травили как хотели. Жуковскому, старенькому Плетневу, да калужской губернаторше Смирновой (некогда блестящей фрейлине Россет) за неизменную и одинокую защиту Гоголя – да будет легка земля.

Эти последние его годы – сплошное мучение. Дело не только в том, что не удается произведение: он героически борется, работает над собой как бы в монашеской аскезе, считает, что неудача литературная есть следствие его греховности, совершает поездку в Палестину, чтобы у Гроба Господня обрести нужные творческие силы... – и изнемогает. Дело так поставлено, что неудача в творчестве связана с личной его духовной гибелью. Он выпустил в мир некие страшилища и несет за это ответ. Если не создаст светлого противовеса, то осужден.

* * *

В последней полосе писания самый стиль Гоголя сильно изменился. От прежней изобразительности мало что и осталось.

Ушла и насмешка, знаменитый гоголевский «юмор» (не считает ли он это теперь даже грехом? Как смеяться над другими, когда сам полон несовершенств?).

Если сравнить «Переписку», «Авторскую исповедь», письма последующие и «Размышления о Божественной Литургии» с прежним его писанием станет ясно, какова разница между Гоголем закатным и молодым. Он сам понимает, что стал другим и что нельзя упрекать его за то, что пишет он теперь по-другому. Да, его яркость, образность, краски Малороссии, «чуден Днепр при тихой погоде», как и шуточки, смех «Женитьбы» или «Коляски», навсегда ушли. Ушли и поразительные Ноздревы с Собакевичами. Он внедрен совсем в другой мир. Самое слово его одухотворяется. В нем нет уже ничего, бьющего в глаза краскою или рисунком. Все теперь ровнее, подернуто однообразным, серо-жемчужным налетом и полно гармонии. В его прозе всегда была музыка. Теперь она сдержанна и как бы под сурдинку, в полтона, но перо все поет. Замечателен этот дух стройности в «Размышлениях о Божественной Литургии» – он действительно отражает стройность и гармонию Богослужения. Удивительно еще и то, что писал это человек, потрясаемый тоской и неудовлетворенностью.

Ибо он продолжал упорствовать с «Мертвыми душами» и «оправданием» России. А из этого ничего не выходило, и весь внутренний ритм его, все теперешние качества как писателя совсем не отвечали задаче. Подходило это, может быть, для создания акафистов, религиозных гимнов, для житий святых или повестей, вдохновленных первохристианством.

Но на этот путь Гоголь не вступил. Неудача с «Мертвыми душами» все сильнее убеждала его, что он осужден и погибает. (Ужас гибели одно из слабейших мест в христианстве Гоголя: власть уныния, и вместо любви – страх).

Весною 1852 года Гоголь жил в Москве на Никитском бульваре, у гр. Толстого, в том доме Талызина, мимо которого с юности приходилось проходить с тем же замиранием сердца, как в Риме по Via Sistina, мимо дома с доской, где написал он первый том «Мертвых душ».

На Никитском бульваре, сто лет назад, в припадке тоски и отчаяния, Гоголь вторично сжег главы второй части творения своего. Вскоре затем и умер. Как будто бы побежденный. Но это лишь кажется так. Зрелая часть его жизни, страннической и бездомной до последнего часа, была вообще подвигом. Завершился подвиг этот терновым венцом – высшим знамением великих жизней, пусть и кажущихся неудачами.

ПОТОМСТВО ТУРГЕНЕВА

Передо мной старинная небольшая фотография, довольно бледная: почти во весь рост молодая девушка с русским лицом, невеселыми небольшими глазами. Плотно сжаты губы, довольно тонкие. Волосы с пробором посреди зачесаны назад, на затылке взяты в сеточку. Отложной воротничок, узкий корсаж и почти кринолином юбка – эпоха юности наших матерей, что-нибудь вроде шестидесятых годов. На обороте надпись почерком, напоминающим тургеневский: «П. И. Тургенева». Снято на rue Lafitte, в «rez de chaussee[1] с большим садом».

Карточка эта – старый Париж – подарок покойного А. А. Плещеева, с отцом которого, поэтом А. Н. Плещеевым, Тургенев был хорошо знаком.

Бледная тень на фотографии – дочь Тургенева Пелагея, «Полина», как ее звали в доме Виардо, «ma chere Paulinette» в письмах отца.

Она давно уже упокоилась на французской земле, в 1919 году. Где именно похоронена, не знаю.

А в нынешнем, 1952 году, в возрасте почти восьмидесяти лет, скончалась и ее дочь, внучка Тургенева, Жанна Брюэр-Тургенева (замужем не была). С ней ушел из Парижа и нашей жизни последний бесспорный след Тургенева.

* * *

«Chere Paulinette» родилась весной 1842 года, в России. Мать ее была швея в доме Тургеневых, Авдотья Ермолаевна Иванова. Отец – Иван Сергеевич Тургенев. Связь оказалась нехитрая, кончилась тем, что Варвара Петровна, мать Тургенева, изгнала из Спасского эту Дунечку. Тургенев устроил ее в Москве на Пречистенке, там жила она в квартирке из двух комнат, занимаясь рукоделием.

Как ни странно, появление маленькой Поли отозвалось сильнее в жизни отца, чем матери. *Навсегда* с дочерью оказался связан именно он – хотя и уезжал за границу, и жил в Петербурге, и к младенческим годам Поли отношения не имел.

Авдотью Ермолаевну выдали в Москве замуж, а Полю Варвара Петровна переселила в Спасское, но отнеслась к ней не так, как в свое время Марья Григорьевна Бунина к Васе Жуковскому (незаконному сыну собственного мужа): Поле жилось в Спасском очень плохо.

---

[1] На первом этаже *(фр.)*.

Если б Тургенев не был Тургенев, ему легко было бы пройти мимо греха молодости. Но он не прошел. И это оказалось «на всю жизнь».

В 1850 г., уже будучи близок с Виардо, приехав в Россию и увидев, как обращаются с его дочерью, сделал решительный, на его малодейственную натуру не похожий шаг: отправил девочку за границу, поселил в Париже у Виардо (о чем заранее с ней списался).

Русская Поля вошла во французскую семью, обратилась в Paulinette, училась во французском пансионе и забыла русский язык. Смутно помнила что-то вроде «хлеб», «вода».

Условия внешние были хороши, внутренние плохи. Не хватало главного для счастливого детства: любви. Она нелюбимой росла в доме Виардо и сама не любила ни Полину, ни ее дочерей. Глядя на ее глаза, подумаешь, что в них много и горечи, и подозрительности, сумрака, затаенных обид, а то и озлобленности. И чего-то вызывающего. Чуть-чуть дальше и начнется достоевщина.

Может быть, и сама она была не из приятных, но ее не спрашивали, устраивая ей жизнь. Свое положение полу-Сандрильоны в холодной французской семье понимала она отлично, особенно когда стала постарше. Отец у нее был и не забывал ее. Она его очень любила и ревновала к Виардо – и он ее очень любил, но отец этот особенный, какой-то заоблачный, полуприсутствующий, с ними не живший, то появлявшийся, то уезжавший – в Россию, в Рим, Англию. Виардо же ей вроде мачехи, и нелегкой.

В письмах Тургенева к дочери, вышедших здесь, в Париже (уже после моей книги о Тургеневе), открывается часть этого печального детства и юношеских лет.

Поучений отцовских, в тоне мягком, несколько прописном и назидательном, тут немало. В одном месте Тургенев заявляет, что слишком ее любит, считает частью себя самого и потому именно воздерживается от похвал – это будут похвалы себе. Благодаря такому остроумному обороту на ее долю выпадают преимущественно упреки.

Главное вертится вокруг «большой» Полины: как бы маленькая не задела большую. Для этого та chere Paulinette не должна быть так самолюбива, обидчива, не должна принимать столь близко к сердцу всякий пустяк. «Она забыла позвать тебя на прогулку, не такое уж это большое событие! Не подумала ли ты, что у нее есть другие дела, другие заботы поважнее этого...».

Но назидания мало помогают. Чем дальше идет время, тем отношения ее с Виардо и всем их домом становятся хуже.

Осенью 1856 г. Тургенев поселился, наконец, с дочерью и ее гувернанткой Иннис на rue de Rivoli. Полина Виардо постоянно бывала у них и держала себя хозяйкой. Со слов Жанны мы знаем, что Полина маленькая, ее мать, – тогда ей шел пятнадцатый год и она все понимала – не выносила этого стиля. Ее раздражало, что замужняя женщина, у которой есть свой дом, приезжает и распоряжается у них как хочет.

Позже, когда Тургенев перебрался в Баден, где поселилась Виардо, маленькая Полина, приехав, устроила такую сцену Полине старшей, что отец попросил ее (в письме) больше в Баден не ездить.

Старшая Полина младшую заглушала. Младшая же сохраняла к ней живую ненависть, и в Париже устроила себе собственную жизнь, друзей, знакомых. (Семья Николая Тургенева, декабриста. Г-жа Делессер, Трубецкие, Ольга Сомова – бывший флирт отца – и др.).

Отец же не переставал писать ей, и, по-видимому, теперь стало легче: Виардо далеко.

Но возникает для него новая забота – надо выдавать дочь замуж. Хлопочет он добросовестно, появляются разные «претенденты», Полина отказывает одному за другим, но дело подвигается безостановочно, и в конце концов она выходит за некоего Гастона Брюэра, директора стеклянной фабрики в Ружемоне, в провинции. Париж для нее кончается.

* * *

Помнила ли Авдотья Ермолаевна отнятое у нее дитя, долго ли помнила, страдала ли или скоро забыла, мы не знаем, все это кануло в океан народной жизни: таких Дунечек было множество.

Тургенев же один и его жизнь долго будет к себе привлекать... Для него дочь оказалась неким крестом – а то и расплатой. Счастья друг другу они не дали. Может быть, он действительно ее любил, а возможно – делал вид (пред самим собой), что любит, настраивал себя так, и висел над ним «долг». Это его «грех», надо терпеть, выносить упреки Виардо, вспышки дочери, увещевать ее, заглаживать и замазывать все в доме Виардо, ощущать вечную неловкость, неестественность положения. (В конце концов разрыв с Толстым произошел тоже из-за этой Поли. Известна бурная сцена в имении Фета – Толстому

вдруг показалась фальшь в рассказе Тургенева о воспитании дочери, Тургенев вспылил, и дело чуть не дошло до дуэли.)

Брак с Брюэром не оказался счастливым. Внутренней стороны тут мы не знаем, внешняя же известна: Брюэр в начале семидесятых годов разорился: Тургеневу спешно надо продавать в России имение Кадное, чтобы помочь.

Дело все-таки повернулось плохо, видимо, произошел разрыв, и Полине с маленькой дочерью Жанной пришлось скрываться в Швейцарии. Тургенев, сколько мог, помогал ей, но в то время жил уже в Буживале с Виардо, которая заполняла его, и он должен был думать о приданом Диди (Клавдии), дочери Виардо, а не о своей собственной дочери. В комментариях к письмам Тургенева Евг. Семенов полагает (не обвиняя Тургенева), что судьба брошенной Полины могла бы сложиться иначе, не будь отец ее подавлен Полиной старшей.

После его смерти, с 83-го года, она осталась совсем одна. По распоряжению Тургенева, Клавдия высылала ей в Швейцарию небольшие суммы при сухих сопроводительных записках...

Позже Полина перебралась в Париж, занималась воспитанием дочери своей Жанны. Даже французские тургеневисты не подозревали, что тут же, под боком, на rue du Bac, живет дочь Тургенева.

Бледная тень на фотографии тенью прошла и в жизни, незаметною и печальной, с детства и до старости одинокою. Не сказать ли даже – покинутой?

* * *

Лет двадцать назад, здесь же в Париже, явилась ко мне раз старая француженка, скромно одетая, типа гувернантки или вдовы, живущей на пенсию.

Но оказалась она не вдовой, а девицею Жанной Брюэр-Тургеневой, дочерью «маленькой» Полины, внучкой Тургенева. Пришла посоветоваться, как бы продать письма деда к ее матери. Помнится, дальше этого разговор не пошел. Думаю, что ушла она от меня разочарованная: ничего я не сумел толком посоветовать. Но другие нашлись, и в конце концов, насколько знаю, подлинники писем продала она (за гроши) Советам, а копии составили том, изданный Евг. Семеновым в изд. Mercure de France.

Больше не приходилось ее встречать. Сказать, чтобы в ней ясно чувствовался Тургенев, не могу. Все же родословие ее, судьба матери, собственная судьба – одинокой, без средств, старой женщины в Париже, – все это вызывало сочувствие.

Знаю о ней мало. Знаю, что дед почему-то хотел назвать ее при крещении Ivan, но французский священник справедливо воспротивился и назвали без всяких странностей Жанною. Что она находилась при матери и ухаживала за ней, когда та состарилась. Была музыкантшей и давала уроки. Поселилась в наших краях, на avenue Mozart, жила бедно и одиноко. Наш Союз Писателей иногда помогал ей – сколько мог! – жест скорее символический.

Этой весной, на той же, кажется, avenue Mozart, на нее налетел грузовик, сбил с ног. Через несколько дней она и скончалась в парижском госпитале.

Как нередко бывает, когда нельзя уже ничего вернуть, начинаешь раздумывать, даже и укорять себя: а если бы ближе подойти, больше помочь, больше и разузнать о Тургеневе – из семейных преданий. Может быть. Но вот уж так вышло, теперь не воротишь.

...Она закончила собой нерадостную линию тургеневского потомства, в самом корне которого лежало нечто неправильное и горькое.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Коряков Михаил. Освобождение души. Нью-Йорк. Изд-во им. Чехова. 1952.

В 1945 году на одном эмигрантском литературном вечере меня познакомили с капитаном Красной армии Коряковым, только что попавшим в Париж. Я пригласил его к себе, он стал бывать у нас.

И мне, и жене моей, давним эмигрантам и уже парижским жителям, было более чем интересно узнать ближе человека из России – притом молодого, не нашего поколения.

Что т а м? Каковы люди? Как думают, чем живут?

Нам казалось, что это совсем иной, новый мир, далекий, может быть и враждебный. Поймем ли мы друг друга? Сговоримся ли?

Молодой офицер сразу же удивил нас – скромной манерой держаться, естественным тоном, жаждой знаний и просвещения, интересом к литературе, искусству, Парижу – говорил он на том же классическом русском языке, что и мы (с легкой лишь примесью простонародных выражений и советских терминов). Даровитость, любознательность, жадность к жизни сразу почувствовались. Скоро выяснилось, что и сам он пишет. И к еще

большему моему удивлению первое же, что он мне принес – человек из «безбожной» страны – была статейка о художнике Нестерове. Мечтательно-задумчивыми произведениями этого Нестерова мы сами в юности увлекались, но... капитан Красной армии!

Привыкнув к нам и почувствовав, что мы хорошо к нему относимся, Михаил Михайлович, бывший студент Института философии, литературы и истории, стал свободнее приоткрывать внутренний свой мир.

Оказалось, еще в Москве некая трещина расколола его сердце. Первым динамитным патроном оказался как раз этот Нестеров со своими кроткими святыми. Студент попал на его выставку и, несмотря на то, что нарочно приставленный от партии «толкователь» объяснял Нестерова как пейзажиста, минуя мистику его и внутреннее содержание, Михаил Михайлович почувствовал в созерцательности, смирении, добром излучении нестеровских фигур иной, высший мир, мало похожий на окружающее.

Вечная история человеческой души. Сами мы (старшее поколение русских в эмиграции) единственное находили утешение и ободрение среди ужаса крови, казней, насилия революции – в церкви, церковной службе, Евангелии. Кто много страдал, для того религия открывается в особо сияющем виде.

Не думаю, чтобы очень страдал в то время Михаил Михайлович, все же вокруг была буря, пафос ненависти утомляет, живая душа начинает задыхаться – хочется иного, светлого.

И дальше... – не по его воле все так обернулось, что пришлось уже окунуться в ужасы войны, видеть почти поражение и проделать с армией весь обратный, тоже крестный путь до Дрездена.

Чем далее отходил он от Москвы, тем более вырастала трещина. Уже на Волыни испытал некое преследование за религию (заказал панихиду по скончавшемся митроп. Сергии, был осмеян за это и подвергнут взысканию в своей дивизии). Потом шла Польша – в Ченстохове душу его потрясла католическая святыня Ченстоховской Божьей Матери. Под Дрезденом видел лицом к лицу смерть (попал в плен. Немцы расстреляли всех пленных, он спасся чудом). В Силезии видел ужасы насилия *своих* же над побежденными и мучился в бессилии остановить зверства – обо всем этом рассказал с простотою и живостью, иногда со страшной убедительностью в книге «Почему я не возвращаюсь в СССР».

Все та же сила, что вошла в него после Нестерова, влекла дальше, на Запад, на Запад. Из Саксонии он пробрался в Париж – в той же жажде по-новому и духовно понять, принять

жизнь. В таком-то, примерно, состоянии и встретился он с нами – и другими русскими нашего настроения. Тут довольно скоро и стало ясно, что ему в Красной армии не усидеть.

Так оно и случилось. Он все дальше и дальше отходил – не от *России*, а от правящей в ней силы. У него слагалось мистическое чувство: он не зря в некоем потоке стремится на дальний Запад – ему назначено принести с собой истинную Россию, прославить ее и рассказать Западу правду о неправедной лже-России, возглавляемой безбожием.

Он ушел от советов и бежал в Америку.

* * *

Сейчас много появляется «книг-материалов» о России. Некоторые из них (Кравченко) очень нашумели, проникли в широчайшую публику и многое разоблачили. Но – во внешнем планс. Это политика, борьба, ничего духовного. Коряков пишет иначе. Я говорил уже о его первой книге. Вторая, сейчас предлагаемая, есть продолжение и дополнение первой – написана в том же духе. В ней та же живость и изобразительность, природный дар автора. Отличныс зарисовки народной солдатской России, попытка показать «советского человека», изобразить противоречия жизни советской («Бархатный сезон») и мрак насильственных мер в деревне («Весной на Кубани»). Но это не есть просто «разоблачение», критика в политическом плане: автор всегда метит выше.

В очерке «16 ноября» он возвращается к ранним своим, начальным переживаниям религиозным еще в России. – Критическая минута войны: немцы под самой Москвой, автор, в саперном батальоне, находится на передовых позициях у древнего Волоколамского монастыря... – святыни которого ему предстоит взрывать. Вот он опять, как перед Нестеровым, лицом к лицу с древним благочестием России, погибающим в схватке противоположных безбожий. Это новая рана души. Но и новый призыв к борьбе за возрождение *свободной* Родины – в свете высших духовных ценностей, в духе уважения к самоценному человеку: из чего и вытечет, сама собой, правильная политика социальная – не возвращение вспять, а разумная и человеколюбивая защита слабого от сильного, угнетаемого от угнетающего.

Даже для нас, русских, корнями уходящих в родную землю, в писаниях Корякова о России многое ново и утешительно – утешителен даже просто факт, что живая русская душа существует и тяготеет не к одним «комячейкам», но и к горнему.

Иностранцам же, кому Россия совсем мало понятна, иногда чужда и страшна, книга должна дать хороший материал для более глубоких и сложных суждений о Родине нашей. Дай Бог, чтобы через нее западный читатель ясней ощутил и слабое в ней и сильное, уяснил бы себе, что теперешняя Россия, при всех уклонах ее и падениях, не есть просто безликая и бездушная сила роботов. Все гораздо сложнее. Есть живое ядро, ищущее правды, света. Идет борьба. «Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей».

Наше сердце – с живой Россией, пусть сейчас и подпольной. Ее посланцу, ставящему себе цель благородную и высокую – помоги Бог.

СОЛОВЬЕВ НАШЕЙ ЮНОСТИ

Подумать только – сто лет, как родился Владимир Соловьев, более пятидесяти, как умер, – а мы привыкли считать его нашим современником. Вернее, впрочем, современником нашей юности.

Я никогда Соловьева не видел, но настолько облик его знаю, что как будто и был знаком. Всегда поражался красотой этого необыкновенного, таинственного лица, не совсем даже русского (хотя был он чистейшей русской крови). Не с индусским ли оттенком – магические глаза, рано поседевшая длинная борода, общее впечатление духовности и даже музыкальности. Плотский образ его выражал нечто очень глубокое, и сама плоть казалась облегченною.

В том кругу, где я рос, мало знали Соловьева. А я вовсе не знал при жизни. Смерти его, в 1900 году, совсем не помню, но как раз после смерти он мною и завладел. Умер, а книги остались. В них жизнь и его дух. Никто не навязывал мне Соловьева, он сам тоже не мог себя навязать. Я просто встретился с его писанием – кончилось тем, что собрание его сочинений поехало летом со мной в деревню, на зиму переезжало в Москву, в разные Николо-Песковские переулки, на Спиридоновку, в Богословский.

Чтение это было особенное: скорее жизнь в книге, жизнь с Владимиром Соловьевым. Окружающее обступало, годы были юношеские, когда надо что-то решать, что-то понять самое важное – о Боге, смысле всего, смерти, вообще о пути. Можно ли решить, или нельзя, а решить надо, во что бы то ни стало.

От времен гимназических остались какие-то обрывки («Вера есть уповаемых извещение...»), рясы провинциальных батюшек,

семь пар чистых и семь нечистых, двенадцать коробов... – Батюшки были довольно снисходительные. Получить двойку по Закону Божию трудновато, но и увлечь, даже просто заинтересовать они не могли. Надо сказать: мало доходила тогда религия до просвещенного круга. Православие, священники, молебны, «вкушения» с духовенством на Пасху и Рождество – деревенско-помещичий быт, и только. Интеллигент в лучшем случае терпел это. А собственно считал религию «для простых». «Нам» этого не нужно.

Архиереи в каретах, с мягкими, полными руками, в клобуках и орденах, распространяя сладковатый запах, нередко благодушные, ни на кого не влияли, надо отдать им справедливость.

* * *

Соловьев сразу почувствовался как светлый дух, с которым легко дышать. В построении своем охватывал он Вселенную, над которой сияет Бог. Мир, где мы живем, таинственно соединяется с Богом и устроен так гармонически и мудро, что внушает просто радость. Зло в нем бесспорно, но тонет в потоке света. Ибо источник всего и глава – Свет. Противиться ему нельзя, какие б ни были грехи, ошибки в действиях сотворенных.

Мир – Всеединство. Бог ему трансцендентен, но все в мире тайно и загадочно к Нему тяготеет: а Его Сын – связь.

Светлый дух говорит это словами ясными, иной раз художнически-увлекательными. Он сам поэт, все писание его озарено поэзией. Как устоять пред таким веяньем?

И не надо сопротивляться, напротив, надо отдаться. Творчество, наука, религия, искусство, культура, мораль – всему место. Ничто ничему не мешает, лишь бы не выделялось, не подавляло. Пусть не теснят друг друга, тогда все пойдет плавно и покойно, как течет великая река.

Это ранний Соловьев, очень радостный, очень победоносный. Трагедию мира не так еще чувствует, как позже. Но все придет, юное же идет к юному, для вступающего в жизнь соловьевское Всеединство. «Критика отвлеченных начал». «Чтения о Богочеловечестве» были блистательным введением в христианство, на пороге которого тогдашняя жизнь, да и собственное развитие, задерживали еще.

Думаю, а отчасти и знаю, что не только для безвестного студента-мечтателя, но и для других, людей философского и богословского склада, более серьезных, Соловьев оказался водителем. О. Сергий Булгаков прямо признавал миссионерство

Соловьева (для себя). А Бердяев, Франк, Эрн, о. Зеньковский? Время было переломное. Интеллигенция призывалась входить в Церковь. Она и вошла.

* * *

Среди братии литературной и моих сверстников два крупных имени Соловьеву подпали, в те же самые годы начала века: Андрей Белый и Блок. Влияние тут оказалось иным, чем в духовном пути о. Сергия, например.

В Соловьеве было различное, как во всякой сложной, глубокой натуре. Был и внутренний путь, думаю, трудный, может быть и мучительный. К концу жизни Соловьев далеко не такой, как в восьмидесятые годы. Но и в молодости была у него мистика женственного, вполне ли здоровая? По жизни он был аскет, но внутреннее, и двусмысленное, опьянение было. И все эти путешествия в Лондон, Египет, для встречи с Вечной Женственностью, на афонском языке назвались бы «прелестью» (ложное прельщение). Оставляют они впечатление почти болезненное.

Блок взял из Соловьева главнейше это. Стихи его о «Прекрасной Даме» появились в начале века. Но у Соловьева начало женственное все же вошло в его философскую систему – христианскую (отобразилось в Софии, Премудрости Божией). У Блока же из Прекрасной Дамы совсем ничего не вышло. Средневековая нота, правда, прозвучала (в романтической его пьесе), но все в общем превратилось в «Незнакомку»... – тут уж Соловьев ни при чем.

Андрей Белый времен «Симфоний» (т. е. тоже 1902 – 1903 гг.) очень подвержен был Соловьеву. В одной из этих поэм есть даже образ (фантастический) Владимира Соловьева – в волшебной крылатке проносится он на заре над Москвою. Но в христианство Соловьев Белого не ввел. В конце концов тот ушел в антропософию (а Блок просто уперся в «Двенадцать». О его записях касательно Спасителя и Апостолов лучше и не вспоминать).

И Белый, и Блок, вдохновляясь пророческой стороной Соловьева, ждали вначале каких-то особых откровений, явлений Божественного начала в образе женственности – получалось нечто вроде ложного культа Богоматери. Но они оба оказались созвучными с поздним Соловьевым в ощущении надвигающихся трагедий.

Все трое были поэтами. Поэтическим и мистическим чутьем улавливали приближение страшного мира (разлива зла. Первый ощутил его в нашей литературе Гоголь. Потом Достоевский).

Соловьев в зрелой полосе своей почувствовал некую мировую муть, что-то жуткое, встающее над человечеством. Казалась ему тут и «желтая опасность». Незадолго до кончины написал он «Повесть об Антихристе».

* * *

Вспоминая те годы, вижу тома сочинений Соловьева, в красных сафьяновых переплетах, в Каширском флигеле, вижу всегда лето и солнце, свет. Вообще всегда свет связан с Соловьевым. Предчувствий мировых у меня не было. Блок и Белый оказались зорче. Но мне просто открывал Соловьев новый и прекрасный мир, духовный и христианский, где добро и красота, знание мудро соединены, где нет ненависти, есть любовь, справедливость. Казалось, следовать за ним – и не будет ни национальных угнетений, ни войн, ни революций. Все должно развиваться спокойно и гармонически.

Конечно, только казалось так. Но вечная память и благодарность Соловьеву именно за юношеский подъем, может быть, за известное прекраснодушие. За разрушение преград, за вовлечение в христианство – разумом, поэзией и светом.

Страшные бездны не были еще обнажены, оттого и остались в душе бессонные июньские ночи над Соловьевым. Лампу можно уже потушить. Петухи поют. В комнате все светлее, и не заметишь, как сквозь ветви лип из большого сада «золотой приятель – солнце» положит лучи на подоконник. А они переползут к письменному столу и лягут на страницы Соловьева.

Встанешь, подойдешь к окну, растворишь. Какой воздух! Как все полно зеленоватого золота, света. Позвякивая косами, побалтывая брусками у поясов, переговариваясь, неторопливо выходят на покос косари. По седеющей от росы траве оставляют темный след. Солнце подымается все выше. Золота все больше.

ЖАРКИЙ ВЕТР

Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.
Матф. XI, 30

Ветер дул как раз с севера, холод наступал как раз с ветром, и на улицах и в подворотнях отлично замерзали «бескрышные». В тощих бараках со щелями и в фургонах простужались насмерть дети. Можно было подумать, что так все пойдет и дальше: Франция задремала над своим Парижем.

Не знаю, кто такой «аббэ Пьер». В книге «Les Saints vont en enfer»[1] я читал об одном священнике-рабочем, его тоже звали Пьер. Служа на заводе, он трудился среди низов, просвещая учением любви. Литургию совершал в кухне квартирки своей, ставшей прибежищем безработных, бездомных и отринутых. Кому трудно, все могли к нему идти. И наконец он ушел к углекопам, как бы спустился в самый горький, темный мир подземный, чтобы нести и их бремя: там когда-то проходило его детство.

Мне хотелось бы, чтобы тот Пьер оказался нашим, возвратившимся в Париж – в берете, плаще, с исхудалыми, заросшими бородой щеками, блестящими глазами и улыбкой привета.

Но это не важно. Важно, что вот этот, бесспорный, все-таки существует, раскинул в холода шатер свой на Montagne Ste Genevieve, палатку с одеялами и грелками, и вместе с сотоварищами – такими же неутомимыми, как он, – ночь за ночью скитался по Парижу, подбирая бескрышных, отогревая, подкармливая.

Нашлись союзники: дитя, погибшее от холода. Женщина, скончавшаяся в одну из первых ночей, – в великие морозы выгнали ее из какой-то прежней дыры, и она просто легла на тротуаре бульвара Севастополь, была найдена мертвой.

Безвинное дитя и безвестная женщина дали о. Пьеру как бы еще новое знамя – под одним, величайшим, он все время и шел, оно вело его, давало силу. Теперь прибавились жертвы.

Священник Пьер не может уставать – само бремя несет его. Ему нечего думать, выступая в собраниях, говоря всей стране по радио. Слова даются ему, как дается неутомимость – восемь ночей без сна, ничего, все, как надо. За ним высшая сила, она несет. Если бы и захотел остановиться, не сможет. Но он и не хочет. И не захочет. Он летит над старым-старым Парижем, столько раз заливавшимся кровью, столько грешившим, так склонявшимся к Вавилону, но по чьим улицам проходил и святой Венсан де Поль, подбирая убогих, нищих, лобызая прокаженных.

Отец Пьер всколыхнул вечную Францию. Были ведь и крестовые походы, и Людовик Святой, и пастушка из Домреми, взошедшая на костер за Францию, и смиренная девочка Бернадетта пред Лурдским гротом, удостоенная видения Богоматери, и святой кюре д'Арс, и маленькая Тереза. Много, много чего было, это нередко забывают.

И вот снова забил фонтан. Историческое или не историческое, войдет ли в историю или останется местным, все равно:

---

[1] «Святые хотят адских мук» *(фр.)*.

по существу то же. «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?»... «И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».

Соратники милостивого Петра так и называются: «compagnons d'Emmaüs»[1], по-русски вольно сказать «Еммаусские братья» – по пустынной вечерней дороге невидимо ведет их Спаситель, как и тогда, в малое селение Еммаус, где они узнали Его за скромной трапезой, «в преломлении хлеба».

Священник Пьер со своим бременем не может уж остановиться. Бремя не может его придавить, тайна тяжести – как раз легкость. Голос будит дремлющих и влечет. В несколько дней вырос о. Пьер в некую власть, никакими законами не предусмотренную. К нему ездят министры, подчиняются ему учреждения, префект изменяет правила государственные, радио Франции открывает ему волны. Он стал как бы народным трибуном, только не политическим. Помощь, помощь. Любовь и сочувствие.

Дрогнула Франция, будто такая расчетливая, накопляющая, равнодушная... – а вот прорвалось, значит, было чему прорваться. Полтораста миллионов франков, тонны всяких вещей, вереницы людей, дежурства, автомобили, этаж отеля, дары клошаров, дары и богатых.

Конечно, не кончится все это с холодами.

О. Пьер будет строить дома, отыскивать помещения, опекать дальше спасенных от стужи (их тысячи) – все своим трудом, своим горбом и любовью, все вдохновленное огненным дыханием – навстречу ледяному ветру ветр палящий.

«ДЕКАБРИСТЫ»

Все знакомое с детства: конец александровской эпохи, время Пушкина, появляющийся император Николай, его противники. В свое время Толстой начал роман о декабристах, как бы продолжение «Войны и Мира», но не кончил.

М. О. Цетлин написал не роман, а книгу живой истории. Написал довольно давно, теперь она переиздана (Нью-Йорк, «Опыты»). Читая ее вторично, через двадцать лет, не совсем так чувствуешь, как тогда. Нравится она даже больше. Простоту, изящество ее, беспристрастие, изобразительность ценишь еще

---

[1] «Еммаусские братья» *(фр.)*.

выше. Но и новое появляется. Это новое – печаль. Откуда она? Из иного ощущения жизни? Из пережитого?

Может быть. Рассказана здесь часть истории моей страны, значит, – истоков моей жизни. Мой собственный дед служил в той армии, которая родила декабристов. Именно у Константина Павловича, в Царстве Польском. Может быть, был знаком с Луниным.

Все это связано с нами. Не для меня одного, для нас всех «что-то» начинается с декабристов, кончается городом Парижем и его кладбищами.

* * *

Кого не прельщает и не ослепляет александровское время? Лев Толстой написал «Войну и Мир» так, точно крепостного права и не было никогда. «В каком бы веке вы желали жить в России?» – спросил я раз сотоварища по литературе. «В начале XIX, впрочем, при условии, что родился бы дворянином».

Это условие серьезное. И весьма разумное.

В том, что молодые русские офицеры, попав в 1913 – 14 гг. на Запад и пожив там, увидели нечто новое, вернулись не совсем прежними, удивительного ничего нет. Странно было бы обратное.

Но среди них были и такие, как Сергей Муравьев, кто и детство свое провел в Париже. Лишь в 1809 г. попал он на родину. Когда семья Муравьевых возвращалась домой, мать – достойная, религиозная женщина – сказала сыновьям: «Дети, я должна вам сообщить ужасную весть, вы найдете то, чего вы не знаете: в России вы найдете рабов!» Действительно, в Париже нельзя было купить камердинера или продать дворовую девку.

Вряд ли особенно радовало Сергея Муравьева, сделавшегося русским офицером, и то, что «победителей Наполеона колотят палками, шпицрутенами, фухтелями за то, что во время маршировки пошевелился хвост на кивере, что в строю заметно дыхание». Не весьма устраивал и других офицеров начальник, перед всей ротой плевавший в лицо солдату и требовавший, чтобы рота тоже заплевывала его.

Где-то вдали таинственный Александр, прежний кумир, в которого были чуть ли не влюблены, но вокруг Скалозубы, Аракчеевы, военные поселения. И вот возникает Союз Благоденствия, вначале довольно туманный, с целями нравственно-гуманитарными, потом Тайное Общество, Северное, Южное, политика, конституция, отмена рабства и по смерти Александра – 14 декабря, бунт.

Все естественно и все получилось неправильно, все «не вышло» и не могло выйти так, как хотели эти молодые люди – очень разные, некоторые замечательные, другие противные, но желавшие все же лучшей жизни. Пред всеми ними простиралась Россия, глухая и трогательная, где были и св. Серафим, и другие (неведомые) святые, и смиренные Каратаевы, и безответные бабы, но под железной рукой нового императора непоколебимо было еще племя Аракчеевых и Сквозников-Дмухановских, Собакевичей и других гоголевских насельников. Толстой дал великую поэзию того века, единственную во всем творчестве его. Но жизнь все-таки не была солнечным сиянием.

Все оказались правы «по-своему» и все несчастны. Правы, и даже очень, декабристы, желавшие того лучшего, чего нельзя было еще осуществить. Прав император Николай, законно защищая трон (для него «Россию»), жену, детей, себя. Нельзя сказать, чтобы он был сторонником рабства – позже много этим занимался, но недостаточно еще все созрело. Во всяком случае, в день 14 декабря ему было не до крепостного права. Императрица Александра до самого вечера не знала, будут ли они все живы. Нервный тик (лица) навсегда у нее остался. А мальчик Александр мирно рисовал географическую карту – и вполне мог погибнуть, как и вся семья.

Заговорщики вели себя редкостно по нелепости. В этом стоянии на Сенатской площади только Николай показал себя вождем. Но его сила была слепая и в конце концов вела к драме.

Ничего нет странного в том, что это все кончилось его победой и что летом 1826 года Сергей Муравьев, тот, кто не мог выносить зрелища истязаний солдат, висел с четырьмя «главарями» в балахоне на валу Петропавловской крепости. А победитель тосковал и молился. Но считал, что нельзя иначе.

* * *

Спокойно, разумно написал автор книгу русских бед, не сгущая, не преувеличивая ни в ту, ни в другую сторону.

Скорбное зрелище. Все как-то приходится не вовремя и не так, как бы надо. Может быть, и у других не все гладко. История всегда перечень преступлений и несчастий. Все-таки нам, кажется, особенно повезло. И притом это моя страна, я все в ней изнутри чувствую.

И эти русские молодые офицеры, плохие политики, не всегда мужественные, на допросах сбивавшиеся и выдававшие, но

живые люди и не казнокрады, и не Держиморды, попавшие все-таки на виселицу и в Сибирь, и жены их, бросившие в России детей и за мужьями летевшие, и те солдаты, что погибли и которых частью выдали на шпицрутены сами же заговорщики – все это одна печаль.

Печаль пришла и к победителю, но позже. Он держался долго, настал, однако, и его час. Декабристов он одолел. Жулики и казнокрады одолели и его в Севастопольскую кампанию. Рухнула вся система. «За последний месяц он много плакал, гордость его страдала невыносимо», – не весьма привычно видеть императора Николая плачущим, но вот так получается. И он, видимо, не хотел больше жить... «Простудившись, не захотел лечиться. Больной поехал в Михайловский манеж на смотр маршевых батальонов». «Почти сознательно шел к смерти».

«Умер он изумительно. Приобщился св. Тайн. Простился со всеми, для каждого нашел слово утешения, у всех попросил прощенья. Все это сделал просто, неторопливо, проникновенно».

Все в России особенное. Волконский, столько просидевший в Сибири из-за 14 декабря, «узнав о смерти царя, плакал навзрыд, как ребенок». А Оболенский «старался выставить себя страстным поклонником самодержавия». И неизвестно еще, не молился ли император Николай в свои последние торжественные минуты за души казненных им. Все может быть.

* * *

Жуковскому не было дано увидеть, как тот мальчик, что 14 декабря рисовал в Зимнем дворце географическую карту, совершит, возросши, величайшую реформу. Но не дано было и видеть на снегу растерзанное бомбой тело своего воспитанника, Освободителя крестьян.

А Россия шла своим путем. Как в бунте декабристов, как во всем девятнадцатом ее веке все делалось в ней «не так»: слишком рано или слишком поздно, или неудачно в исполнении. Многого Жуковский, слава Богу, не увидел. Зато мы увидели и продолжаем видеть.

Если смотреть на Россию взором здравого смысла, одного здравого, есть от чего содрогнуться. Но за здравым есть нездравый. Разгадать его не дано. В Промысел просто надо верить, как поверил в конце Иов. А это значит – всегда свое сохраняя и ничего не уступая, принять Крест, как предложенный для неизвестных нам, необозримых, но и высших целей.

МИЛЫЕ ПРИЗРАКИ

Чеховский сезон в Париже удался. Казалось бы, в городе Сартра, Монтерлана, Андрэ Жида, а на другом фланге Мориака и католиков, мало места скромной кашке полей российских. Правда, за Чехова в последнее время взялись товарищи – сначала в России, потом и здесь. Хорошо бы подать его как предшественника их. Вот, показал весь «ужас» прежней жизни, они пришли и поправили. Среди интеллигентов французских отличная установка для успеха.

И все же, думалось. Чехов мало подходящ к складу латинской души. Вышло, однако, иначе. Чехов поставлен в двух театрах, в обоих с успехом. И хотя оба отчасти авангардны, поставили они *не* в мажоре, как полагалось бы по авангарду, а в миноре, как и следует.

* * *

«Вишневый сад», предсмертное писание Чехова, начался с того, что ему мерещились белые цветущие ветви, как бы врывавшиеся в окна. Из этого все и вышло. Белый цвет-видение придает даже несколько ангельский характер первым же звукам пьесы («...О, мое детство, чистота моя!» «Ангели небесные не покинут тебя»).

В Художественном театре так и ставили: сияющее утро, ослепительная белизна цветения в окне.

Почему нет этого у Барро? Не знаю. Жаль, во всяком случае. Но вот французский режиссер и французские артисты правильно взяли тон произведения – «Вишневый сад» вышел истинным прощанием (каким он и был).

Когда 17 января 1904 года, в день св. Антония, Антон Павлович Чехов, на премьере «Вишневого сада», стоял еле живой на сцене, среди венков, приветствий, аплодисментов, Москва прощалась, конечно, и с ним, да и с целой эпохой. Это же прощание получилось теперь в Париже. Никакие «призывные» слова студента Трофимова, устремляющегося с Аней и человечеством к новой необыкновенно-прекрасной жизни, не сделали пьесу веселой или «бодрой».

На примере Раневской видно, как Чехов эластичен, растяжим и несет в себе общечеловеческое. У Мадлен Рено Раневская вышла не русской, все же получилось отлично. Главное в ней передано, и блестяще. Французская Раневская так же жизненна, добра и бестолкова, и недобродетельна, как русская. Дверь,

значит, открыта. Раневскую может сыграть итальянская, немецкая, английская актриса. Чехов оказался гораздо более международен, чем можно было думать. Та же история с Гаевым, Фирсом. Гаев превосходен, и это французский барин. Как и Лопахин – французский nouveau riche[1]. Варя и Аня вышли хорошо, даже по-русски (только у русских фигуры тяжелей).

Ни по-русски, ни по-французски ничего не получилось из Епиходова, Симеонова-Пищика и Яши. Сказать ли, что это слишком русское, непересаживаемое?

Итак, одни лучше могут играть, другие хуже, но в спектакле есть чеховское, веяние Чехова. Пред парижскими зрителями, в модном театре явилась немодная Россия и вызвала сочувствие. Наверно, были такие, кто удивлялся: «Им предлагают продать La Cerisaie[2] по участкам, и очень выгодно, lotissement[3], а они отказываются. Как глупо!» Все-таки публика была взволнована. Театр вздыхал и улыбался там, где надо. По-актерски говоря: «доходило». И хотя Чехов разумной своей стороной кой-где старался кольнуть бестолковщину русско-интеллигентскую, неразумная сторона говорила о близком конце, языком безмолвным, но и внятным. В меланхолии расставания – поэзия. К моему удивлению, французский театр даже сгустил ее и усилил.

* * *

«Три сестры» были написаны для Книппер, в самом разгаре романа с ней, пьеса как бы и вводила их в брак – поставлена была в январе 1901 г., а в мае они обвенчались. В книге своей о Чехове я несколько к ней прохладен. Рассуждения Вершинина о необыкновенно счастливой жизни «через двести, триста лет», слова Тузенбаха «теперь нет пыток, нет казней, нашествий» (в тогдашней России, действительно, не было), порывы Ирины «работать» на кирпичном заводе – этим разжечь трудно. В молодости я «Трех сестер» видел в Художественном Театре – и, конечно, вся сила спектакля в этих прощаниях навсегда, неудачах, несбывающемся счастье, в том удивительном сочувствии к обойденным и незадачливым, чем полон Чехов и что со сцены затопляет зрителя.

Искусство Художественного Театра дело особенное. Его высотой нельзя мерить французские спектакли. Знаю, что нельзя, все же невольно меришь. И не без жуткого чувства идешь смотреть питоевских «Трех сестер».

---

[1] выскочка *(фр.)*.

[2] Вишневый сад *(фр.)*.

[3] участки для застройки *(фр.)*.

Скромный театр и скромная труппа. Как все молоды! Показались они вроде тех, кого приходилось видеть в юности на репетициях студии Художественного Театра. Не знаю этих. Но наша художническая молодежь была и горяча, и возбудима. Энтузиасты, как и сам Станиславский, в первую очередь.

Молодые актеры и актрисы Студии способны были после первого представления до рассвета бродить по Москве, ожидая выхода газет с заметками. Могли случаться у женской половины истерики радости или отчаяния. Могли бросаться друг другу в объятия. На премьере «Чайки» две актрисы едва не упали за кулисами в обморок. «От всех пахло валерьянкой». Станиславский, уверившись в победе «Чайки», отплясывал за сценой дикую сарабанду.

Не очень вижу все это в Париже. Не то время и другой народ. Не вижу и в Москве сейчас таких – все стали разумнее. И крепче. Сомневаюсь, чтобы Compagnie Pitoëff[1] могла до рассвета бродить по Парижу после первого представления «Трех сестер». Но вот все-таки они всколыхнули в душе что-то давнее, милое – будто сам стал моложе.

«Сашу» Питоева в этой пьесе иногда упрекают за возраст: Вершинин должен быть старше. Его играл Станиславский и был, действительно, старше этого «Саши». Но ничего! Питоев мне очень понравился. И вовсе он не бессмысленно молод. Говорит свои детские фантазии с такой ясной светлой улыбкой, что понятным делается, почему он заговаривает Машу не одними только жалкими словами. В нем есть привлекательность. Для этой роли самое страшное, если в Вершинине нет обаяния.

Кто действительно моложе своей роли, это Татьяна Мухина. Конечно, чеховская Ольга, начальница гимназии, старше этой Мухиной, которую справедливо можно назвать Таней. (В Ялте была женская гимназия, Чехов свил там некое дружественное гнездо, кажется, даже читал у них. Во всяком случае, хорошо знал этот мир. Да и собственная его сестра Маша была учительницей.)

Таня Мухина, во всяком случае, оказалась прелестной. Вся ее простота, скромность, затаенная горечь неудавшейся жизни – все подано превосходно. Я сидел близко и видел отлично ее русские – огромные и выразительные – глаза, иногда блестели они, в них слеза, но в меру. Русский нос, рот, вся повадка, манера ходить и держаться, только говорит по-французски. Такая Ольга весьма заступается за женщину русскую, вымирающую породу

---

[1] Компания Питоева *(фр.)*.

нашей интеллигенции. Без всяких слов, «новой жизни», кирпичных заводов ходили они во время Чехова на голод, холеру, смиренно украшая собой жизнь.

Испанская Кармен Питоева – Ирина, в другом роде, очень хороша. В ней русской не чувствуешь, но испанский легкий огонь одушевляет ее и несет – испанская душа русской близка, только температура выше. И такая Кармен вносит свой испанский блеск в русскую мятущуюся девушку. Ее глаза сияли еще ярче, чем у Мухиной.

Кулыгина в Художественном Театре играл Вишневский, некогда товарищ Чехова по гимназии в Таганроге. Актер, обожавший себя и довольно-таки дубовый. У Питоева это Эмильфорк, в нем ни одной черточки нет русской, до такой степени *не* русский учитель, что дальше идти некуда. Длинное острое лицо с огромным носом, узкая вьющаяся фигура, походка волнообразная, удивительная – где в России мог быть такой учитель? Нигде, но вот и оказалось, что несчастный, нелюбимый, ограниченный и добро-трогательный муж Маши есть фигура «для всех». Оказался он трогательней и живее Вишневского, хоть и забрел в русскую пьесу из другого мира, – но общечеловеческую ноту роли дал прекрасно. Станиславский, играя в Москве «Мнимого больного» или кавалера в гольдониевской «Трактирщице», никак не был ни французом XVII века, ни итальянцем XVIII, а давал образы замечательные.

Доктор Чебутыкин премил, грим русский, опьянение французское. Весьма располагает.

* * *

Спектакль получился пронзительный и трогательный, сильней «Вишневого сада» и еще больше, кажется, доходил до зрителей. Во мне самом он повысил отношение к «Трем сестрам». Как неотразим Чехов! Никакие буревестники его закатных годов, никакие авангардности и никакие глупости, изрекаемые о нем, не заслонят главного в Чехове, с ранних наших лет в нем слышанного. Каким помню его в Ялте, на скамеечке перед ночным морем, в мягкой шляпе и пальто с поднятым воротничком, таким же оказался он и в «Вишневом саду», и в «Трех сестрах» на rue Clichy. Из них выступала русская жизнь и русские люди того времени. По авангардному взгляду надо бы было очернить их. Но этого не получилось. Получились два хороших французских спектакля, где показаны разные не сильные и не современные русские люди, с общечеловеческими основами, фантазеры,

непрактичные, часто незадачливые и неудачники, души, направленные в общем выше обыденщины, не достигающие и как бы побежденные. (Чехов всегда сочувствовал побежденным, а не победителям – не сознанный им самим христианский подход (к человеку и его судьбе). Эти люди мало могли сделать в жизни, приготовить кирпичей или заработать денег, но чем-то (собою попросту) ее и украшали. Не из одних же роботов и дельцов должна она состоять.

Особая еще черта «Трех сестер»: в пьесе много военных. В России мы мало обращали на них внимания. Но вот здесь, в Париже, у «Саши» Питоева оказался очень симпатичный смотр старой русской армии. Артиллерийские офицеры нашей молодости. (*Маша*... В нашем городе самые порядочные, самые благородные и воспитанные люди – это военные). Все эти Родэ, Федотики, Соленые, Вершинины и Чебутыкины никаких героев из себя не представляют, просто располагающие к себе бесхитростные, простодушные, часто несчастные люди, иногда с затаенной глубокой нежностью (Чебутыкин), без всякого хамства или жестокости. И нестяжатели. Как нестяжательна была Россия. («Бедность не порок»).

Квартирка Федотика сгорела в огромном пожаре.

Федотик (танцует). Погорел, погорел! Весь дочиста! (Смех).

Ирина. Что ж за шутки. Все сгорело?

Федотик (смеется). Все дочиста. Ничего не осталось. И гитара сгорела, и фотография сгорела, и все мои письма... И хотел подарить вам записную книжечку – тоже сгорела.

Федотики и Родэ, и Вершинины воевали потом, а еще потом были перебиты. От России, родившей Чехова, осталось ли что? «Погорел, погорел»! Может быть, последняя победа побежденных есть легкость отказа от гитары.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Соленый: В Москве два университета!

«Три сестры»

Этот Соленый прав: в Москве, действительно, было два университета – Старый и Новый.

Осенью начала этого века, в серенькой тужурке с золотыми пуговицами, в фуражке с синим околышем попал я в Московский Университет: бросил Горный Институт и в надежде на «горизонты» перебрался сюда.

Ходил именно в Старый Университет – благородное здание с колоннами по фасаду, поддерживали они фронтон, а выше над ними купол. Там актовый зал – довольно ветхий, а студентов набивалось много. Кажется, даже боялись, как бы не провалился пол.

С этой студенческой осени я стал как бы особенным гражданином Москвы. Москве подходили наши синие околыши. Зимой самые заядлые и «передовые» студенты ходили в папахах, с дубинками: обитатели всяких Козих, Патриарших прудов, завсегдатаи пивных на Тверском бульваре и носители «лучших стремлений человечества» («Бла-а-родно? – Браво!»).

В общем студенты подходили к Москве, легко вмешались в ее пейзаж. Москве они нравились. От нее кое-что заимствовали, ей свое придавали – некую черту простоты, бестолковости и бесшабашности.

К Университету отношение было более торжественное, вроде, как к храму науки. Храм не храм, но помню чувство приподнятости, повышенного тона, когда попадал на лекцию. И какие предметы! Философия права, история философии, даже римское право – это уже не сопротивление материалов. Надежды мои на Университет именно с «общеобразовательным» и связывались. Не техника, а чистая наука. Юному человеку казалось, что в ней-то и есть окрыляющее.

Павлу Ивановичу Новгородцеву именно вот за это – низкий поклон. Именно Новгородцев, новый в Старом Университете вносил одушевлявшее и подымающее. Он мне вообще нравился. Изящный, худой, бледноватый, с загадочными, мне казалось, глазами, разводил свой философский идеализм с таким благородством, в матовом блеске, что временами казалось – он над нами летит, в легком полуземном полете. Темные его глаза сияли мистически. Почти чудесна точность, плавность речи: серебряный поток, благородно сдержанный, без повышений и актерства и без балагурства. Голос приятный. И такое чувство, что нигде не запнется говорящий, на плавных коньках скользит по льду, по зеркальному льду. Записать речь – ничего не прибавишь и не убавишь.

Был блестящ и Кокошкин, элегантный и худощавый, с длинными тонкими усами, воздымавшимися в виде небольших дуг – концы их покачивались в такт речи. Отлично читал государственное право Алексеев, немолодой опытный знаток своего дела.

Все нравилось. Даже политическая экономия – Чупров со своим мужицким говорком. Даже римское право, читал его Хвостов. Этого боялись, на экзаменах он бывал строг. В нем не было метафизического, как в Новгородцеве (подходила эпоха

«Вех», «Проблем идеализма», заквасившая нашу молодость) – он был, напротив, несколько тяжел и властен, и без обаянья, но значителен. (Революции не поддался и покончил с собой).

Я жил тогда недалеко от Университета, на Кисловке. По Никитской ходил вниз мимо иконы св. Татьяны, покровительницы Университета – всегда пред ней теплилась лампадка. Ходил на лекции с удовольствием и вел юную, веселую московскую жизнь. Начинающаяся литература и любовь занимали в ней более места, чем Университет, понравилось там бывать. Записался даже на семинары по Канту. Там удивлял меня черноглазый студент Алексеев – очень смело, умно рассуждал он и спорил с профессором. И студент этот стал потом сам профессором, а еще потом, в новом Эоне бытия нашего, встретил я его в эмиграции. Если бы попал ныне в Женеву, вспомнили бы мы с Н. Н. Алексеевым эти семинары по Канту.

Экзамены проходили легко. Но чем дальше шло дело, тем меньше оказывалось в науках идеалистически-возвышенного, ближе подходила жизнь. Не философов и не поэтов здесь готовили, просто юристов. Пока что был я вполне добросовестен. Вероятно, на втором курсе, или на третьем, у приват-доцента Краснокутского взялся даже прочесть реферат: «История римского сената». Не могу не улыбнуться сейчас. Ну на что мне этот римский сенат? А тогда было другое. Время было другое. Жена подарила мне «Капитал» Маркса, и под народнический говорок Чупрова я читал даже этого сердитого бородатого старика – впрочем, дальше первой главы не ушел. А сенат... – я заодно готовился, все прочел и запомнил, что надо.

Весенний вечер. В небольшой аудитории собрались студенты, человек тридцать. Полный, оживленный Краснокутский, молодой еще и благодушный, расхаживает возле кафедры. Встретил меня любезно. – Да, пожалуйста, пожалуйста. Значит, исторический обзор? Прекрасно.

Я начал обозревать. Оратором никогда не был, но тут знал все на память, отвечал как урок. Долго жил Рим! Я не учел этих столетий, и по основательности своей выкладывал все, что знал. Студенты записывали. Краснокутский разгуливал взад-вперед на мягких подошвах, у него был такой вид, что вот, мол, как у нас поставлено!

Я же не унывал. Я говорил и говорил. А время шло. Студенты стали вздыхать, покашливать. У некоторых на лице появилось одеревенение, которое хочет сказать: «За что? Отпусти душу на покаяние!» Я этого не замечал. Не отпускал.

Наконец, Краснокутский вынул часы. В задних рядах кто-то всхрапнул. Я не дошел еще до половины Рима.

– Да, – сказал Краснокутский, – видно, что вы серьезно готовились.

Руки он держал скрещенными за спиной, на довольно широком заду. Задумчиво подбрасывал ими фалды.

– Но приходится считаться со временем...

«И в этот день мы больше не читали».

Прения были отложены. Я вдруг понял все, но, несмотря на юношеское самолюбие, не только не расстроился, а даже повеселел. К себе на Кисловку, где лежал у меня неоконченный рассказ, шел даже с облегчением, Римский Сенат остался в Старом Университете – и Бог с ним.

* * *

Время шло. Я носил серую тужурку с золотыми пуговица ми, сердце же уходило. Лекции я по-прежнему слушал. Но Новгородцев свое отчитал, надо было сдавать торговое право – им занимался Озеров, это уж вовсе другое.

Все-таки, я к зачету готовился. Но вяло.

Была снова весна, солнце, оттепель. Блестят лужи, кой-где детские воздушные шары – цветные пятна в воздухе. Ваньки, остатки ухабов на Моховой, толкотня на тротуарах.

Надо идти записываться на зачет. В голове больше стихи Бальмонта, выступление Андрея Белого, рассказик для «Нового Пути» (кончить его к сроку).

Однако, я шел в Университет явно с тем, чтобы записаться. В канцелярии было пусто. Мне сказали, что записываются теперь не здесь, надо пройти в Новый Университет. Всего-то через улицу, но мне это не понравилось. Еще меньше понравилось, что в Новом Университете собралась целая толпа – пришли с разных курсов, факультетов. Надо ждать.

Подождал, подождал и соскучился. Потолкался между студентами, вышел на улицу. Ни о чем особо не думал, глядел на блеск солнца в лужах, на кремлевские купола, на краснощеких курсисток в шапочках, важно бежавших по тротуару, и, вдохнув весеннего воздуха, сам пошел на Арбат дописывать свой рассказ.

В Университет более не собрался. Так все само собой и вышло. Он меня не обидел, я против него ничего не имел, но он от меня отвалился, как ненужный лист осенью с ветки. Просто вышел из моей жизни. Уважение к нему я сохранил, вспоминаю ранние свои дни с ним даже хорошо, но... – довольно. Ушел, и не надо.

* * *

Я тоже не был ему нужен. Его собственная жизнь продолжалась. Даже довольно бурно и совсем не в моем стиле: сходки, забастовки, «протестующее студенчество», «студенчество не уходит из Университета и объявило забастовку...»

Я занимался в это время уж другим, это другое привело на один вечер вновь в Университет – опять в Старый, с решеткой на улицу.

Недалеко от той самой канцелярии, где раньше записывались на зачеты, была небольшая аудитория. Низенькая и нехитрая. Тут помещалось Общество Любителей Российской Словесности, основанное в XVIII веке, – первым председателем его был Прокопович-Антонский, инспектор Благородного Пансиона, где обучался Жуковский. Жуковский, тогда еще ученик, вместе с товарищами своими рассаживал взрослых гостей на этих собраниях. Четырнадцатилетний Тютчев за перевод из Горация был выбран членом этого Общества.

В мое время председателем был А. Е. Грузинский, профессор филологич. факультета, издатель замечательного «Уткинского сборника» (письма невесты Жуковского и другие драгоценности нашей литературы).

В 1909 г. Общество избрало меня своим членом. По вековому обычаю вновь избранный должен был прочесть что-нибудь свое – нечто вроде литературного экзамена и как бы посвящение в орден.

Я тогда мало чувствовал именно эту традицию, многолетние стены, тени знаменитых отцов и дедов, как бы присутствовавших. Да и что знал о Жуковском, например?

Время было – не для преклонения пред былой славой литературы. Пригласил Алексей Евгеньич читать – хорошо, прочитаю. Приехал, привез недавно написанный в Риме рассказ, слегка волнуясь, одергивая сюртучок, прочитал его негромко, среди нескольких десятков старых профессоров, пожилых дам, литераторов (среди них был Иван Сергеевич Шмелев).

Сейчас, из чужой дали, сильнее ощущаешь традицию. Карамзин, Жуковский, Тютчев, Тургенев, Достоевский... – но тогда мало это нас воодушевляло.

И еще дважды вводил меня путь жизни в этот Университет, и опять веяние особого мира чувствую, вспоминая об этом.

Первый раз было это накануне войны. Приват-доцент Вышеславцев защищал диссертацию о Фихте. Мы сидели целой компанией, знакомые, приятели Вышеславцева – среди них и профессор Устинов, тоже Московского Университета.

На кафедре изящный и подвижной, нервный Борис Петрович, делая слегка танцующие движения руками, как бы поправляя что-то на костюме, то вынимая платочек, то вкладывая его, произнес сначала вступление, – а потом началась канонада. «Факультет», ареопаг старых профессоров, слушал. Один за другим выходили противоборствующие, указывали на неточности, с чем-то не соглашались, что-то одобряли, на что-то налетали, и как только очередной замолкал, Вышеславцев с такою же легкостью, точностью, как на теннисе, отбивал мячи, все в том же ритмическом движении. Это был настоящий турнир. Длился он четыре часа.

Мы сидели и слушали. Фихте – Бог с ним, – зрелище меня занимало художнически: и зрительно, и как показание дарований. Передо мной происходило такое, на что сам я совсем не был способен.

Вызывало оно изумление и почтение. А над всем высокий дух философии, творчества – не одни подробности, но идеи и свободная защита их.

В седьмом часу факультет, как суд, удалился для приговора, скоро и возвратился: Вышеславцев удостоен ученой степени. А через час, на обеде в роскошной квартире Устинова приветствовали мы его победу, чокаясь шампанским.

Позже много и дружески встречались с ним, – оба попали в эмиграцию, вместе были в Италии, вместе читали в Риме. А теперь, издали, могу только с грустью и любовью поклониться могиле его в Женеве.

* * *

Последние мои встречи с Московским Университетом тихие, библиотечные. Времена Новгородцевых прошли. Революция шумела. Я отсиживался еще в имельнице отца, иногда приезжал в Москву, в Университет за книгами. На этот раз в Новый Университет, в здание, примыкавшее к «Петергофу», меблированным комнатам и ресторану нашей молодости.

Библиотеки всегда были моими друзьями. Здесь, в Университетской, не было той благородной старины, как в Румянцевской. Новее и прозаичней, но само безмолвие, бесконечные шкафы книг, скромный Калишевский, из своего тихого кабинета управлявший всем, – это мне нравилось. Удивлялся и удивляюсь доселе, как это из сотен тысяч книг можно найти нужное. Но Калишевский делал отметки, служащий уходил и чрез несколько времени приносил Ириарта, или Кастильоне, или письма Елизаветы Урбинской. Итальянские и об Италии книги уез-

жали в Притыкино вместе со мной и мешочниками. Калишевский не боялся мне их доверить – не ошибся: все они возвратились в Московский Университет, у меня нет греха перед ним.

Недавно я видел новое здание Университета, на Воробьевых горах. Это нечто громадное, американского духа, с башней. Совсем другой мир. Рядом крошечными, бедными кажутся прежние Старый и Новый Университеты. Не знаю даже, существуют ли они как Университет, или там другое теперь.

Одно можно сказать: Соленый сейчас прав быть не может. В Москве или три Университета, или один. Только не два. Но проверить своими глазами не дано. Да и не надо, наверно: каждому его время, его юность и его уход.

ДЕЛА ЛИТЕРАТУРНЫЕ

1. Конкурс

Известные французские писатели – среди них Мориак, Моруа – выбрали недавно двенадцать лучших иностранных романов. Русскую литературу хорошо оценили. Три наших автора оказались лауреатами: Толстой, Достоевский, Чехов. Однако, Диккенс получил за «Большие надежды» 15 голосов, а Толстой за «Войну и Мир» – 14, Достоевский («Братья Карамазовы») – 13. Чехов никогда романистом не был. Ему дали за «Скучную историю» и рассказы 8 голосов. Это уже большинство, все же странно ставить нашего классика на одну доску с Хемингуэем. Но тут ничего не поделаешь: англосаксы заполонили конкурс.

Толстой считал Диккенса писателем «для юношества». (Кажется, сказано еще резче.)

Изобразительный дар Диккенса бесспорен, велик. Добрые намерения и чистая душа неоспоримы. Столь же неоспорима словоохотливость. И главное – внутренний примитив, дух прописи. Выше Толстого и Достоевского! Это значит возвращаться к детству – и только. Все мы зачитывались «Давидом Копперфильдом», «Домби и сыном» (правда, в спасительном сокращении). Но это было именно в детстве.

«Война и Мир», «Братья Карамазовы» вообще величайшие из романов, рядом с ними просто ничего нельзя поставить, их надо взять отдельно, как бы вне конкурса, а не равнять с Киплингами, Кафками, симпатичной Мансфилд.

Но тут начинается совсем странное. Катрин Мансфилд была очень мила, любила Чехова, писала элегические дневники, рано умерла. Романа ее «Гарден парти», получившего больше голо-

сов, чем Чехов, я не читал, но ее фигуру и литературное значение вижу ясно: все это такое же скромное, как и она сама. И вот «Гарден парти» получает 11 голосов, а Тургенев («Отцы и дети») – три. Можно говорить о том, что Тургенев больше поэт и лирик, чем романист, что «Отцы и дети» не лучший его роман (но чтобы оценить «Дворянское гнездо» надо быть русским) – все же... Мансфилд и Тургенев!

Когда судим судей, то отчасти их извиняет незнание языка. Англичан читают (почти все, думаю) в подлиннике, русских в переводе. Оценить по-настоящему, значит, для них труднее.

Одно из условий оценки было: 1850 г. – 1950-й. Пушкинская проза сюда не входит и «Мертвым душам» не хватило нескольких лет, чтобы попасть в состязание. Может быть, однако, Кафка обогнал бы Гоголя.

Что же все-таки делать, если надо выбрать непременно двенадцать? Откуда взять? У немцев, итальянцев, у испанцев что-то не видно. Франция дала бы своих Флоберов, может быть, Золя, Прустов, Мориаков, но романы должны быть чужие. Как будто выход один: некоторым сверхавторам добавить. Тогда получилось бы: Толстой – кроме «Войны и Мира», «Анна Каренина». Достоевский – «Идиот», «Бесы». Гамсуну непременно прибавить «Пана». (Это гораздо выше «Голода», включенного в лавры.) Но поэзия севера, Норвегии, «Пана» и героя его, капитана Глана, французским писателям далека. Как далек и светлый внутренний дух, обаяние (при всей старомодности и некоей сентиментальности) «Дворянского гнезда».

У нас «Пан» был переведен превосходно, полвека назад. Поляковым в «Скорпионе». Склад души норвежской, склад самой речи нам ближе, чем французскому человеку. Как и Гамсуну, близка была Россия, русская душа. Он и литературу нашу любил. Особенно Достоевского.

2. Памятник Толстому

5 июля в сквере на бульваре Сюше открыли памятник Льву Толстому – именно «открыли»: бюст работы Гюрджиана уже стоял среди зелени, с него сняли покрывало, и он предстал пред нами – задумчивый, глубокий, несколько смягченный Толстой, не такой крепкий и ветвистый, вековой, как отложился в сердце с детских лет. Несколько и мифический облик, может быть.

В Толстом Гюрджиана больше мягкости, он очень человечен – что же, при своем как бы суровом виде Лев Толстой никакой суровости не проповедовал. («А я говорю вам, не противь-

ся злому» – это он очень любил.) Один из ораторов даже отметил: Толстой и атомный век... Да, тот русский век, Толстого породивший, был далек от всяких истреблений.

Торжество вышло как бы семейное. Громадный облик заслуживает, конечно, иного размаха. Но отчасти так лучше. Семья в прямом смысле – потомки, внуки, но и более широкая семья пришла почтить – русская интеллигенция, пожилые дамы, скромно одетые, мы все, тоже неблестящие, уходящие, но нельзя сказать, что не помнящие родства: нет, очень хорошо помнящие, где наша истинная родина. Не надо быть во всем согласным с Толстым, есть в нем даже и такое, что вовсе чуждо и враждебно, все же, когда Моруа сказал пред памятником, что вот Толстой в конце жизни бросил и близких, и славу, и богатство, – сердце дрогнуло: да, р у с с к и й писатель! Моруа почтительно упомянул о «безумии» – уж, конечно, латинский не бросит.

Праздник вышел «без государства». Городской голова есть хозяин Парижа, он – самоуправление, он дал место, разрешил поставить бюст, сказал слово сочувственное – и дай Бог ему здоровья. Государство не было представлено. Тоже хорошо. Во-первых, Толстой и не очень-то обожал государство. Второе – это избавило нас от другого государства, которое заявилось бы непременно и угостило бы нас Толстым, приодетым под Ленина. Нет, все прошло достойно.

3. Из дневника

23 июля. «Собрался опять в сквер к Толстому. Вечер прекрасный, солнечно и нежарко. Полупустой Париж.

На открытии много было народу, впечатление беглое. Теперь хочется рассмотреть ближе, внимательней.

Толстой слит с глыбой мрамора, как бы выплывает из нее. Борода струится, наклон головы удачен, очень толстовский, лоб преувеличенно громаден, выдается над нижней частью лица. Знаменитые брови и совсем неудачный нос. Будто Гюрджиан постеснялся толстовского носа, очень русско-мужицкого, но так ему подходившего! Гюрджиан обобщил, «идеализировал». Получился некий всечеловеческий мудрец в знакомом облике. Мог быть и греческим философом. Такому нужен гармонический нос.

Над Толстым каштан, довольно большое дерево, кругом кусты. С расстояния, от скамейки, на которой сижу, бюст лучше. Очень выигрывает. И слава Богу, что стоит здесь. Больше чувствуется Толстой, именно Толстой, наш, такой, как жил в

Ясной Поляне, в Москве в Хамовниках. Когда-то, в юности, не без трепета случалось проходить мимо этого особняка с забором. Там Толстой! Само слово магическое. Есть такие слова, например, Синай. Но Толстого встретить, хоть и жили в одном городе, так и не пришлось.

Зато вот теперь сижу, смотрю на его «кумир». Это единственный памятник русскому писателю в Европе – стоял бюст Чехова в Баденвейлере, да во время войны немцы сняли.

Странно: в Толстом совсем не было мира и тишины. Он всю жизнь так и прокипел, промучился. Вряд ли «освободился». Но вот сейчас его памятник говорит о каком-то успокоении. И одиночестве. В чужом дальнем городе мраморный Толстой распространяет задумчивость.

Солнце ближе к закату. Тихо здесь, голубовато, золотисто. Беззаботно играют дети».

ФЛОБЕР В РОССИИ

«Собираюсь спросить у Тургенева, что нужно сделать, чтобы стать русским».

Так писал Флобер в 1871 году племяннице своей Каролине.

Немцы только что заняли Париж. Флобер был в ярости и отчаянии. («По-видимому, приближается конец света».) Францию он чуть что не проклинает тоже, как и немцев – надеется, впрочем, что вот гражданская война истребит многих, в том числе его самого. Так что и получается: единственный выход – обратиться к милому человеку, «immense Tourgueneff» чтобы превратиться в русского.

Бушевал он в Руане впустую. Ни в какого русского не обратился. История продолжала свой ход, в Париже возникла Коммуна. («Я был бы очень удивлен, если б Коммуна пережила будущую неделю») – просуществовала она, однако, не неделю.

Он ее ненавидел так же страстно, как и демократию и «массы». Своевременно (1880 г.) умер, русской революции не видел. Был бы крайне удивлен, если бы узнал за гробом, что и без «immense Tourgueneff» можно – если не стать русским – то получить венец от преемников тех самых коммунаров, конца которых ждал через неделю.

Действительно: прошло восемьдесят лет, венец возложен – именно в России. Флобер издан в количестве 1 500 000 экземпляров, на одиннадцати языках народов, населяющих Россию.

* * *

Из русских его современников только Тургенев сразу возлюбил Флобера – и лично, и как художника. Перевел «Юлиана Милостивого», «Иродиаду». Но только приоткрыл Флобера России. 80-е годы были слишком у нас глухие, провинциальные, отголоска настоящего быть еще не могло.

В девяностых, с появлением символизма, повеяло более европейским. Флобер попал в книгу Мережковского «Вечные спутники». Мережковский превознес его.

В моей юности Флобер в нашу элиту начал просачиваться. Переводы («Госпожа Бовари», «Саламбо») были еще ужасные, все же появились уже знатоки и поклонники Флобера (кн. А. И. Урусов). Высоко ценили его Бальмонт, Бунин, Чехов. К некоему моему удивлению и Горький. Настолько Горький ценил, что задумал издать «Искушение св. Антония» у себя в «Знании». Никакого созвучия у него с Флобером не было, весь духовный аристократизм, уединенность, как бы монашеский склад Флобера никак не идут «Буревестнику». А вот все-таки пред Флобером склонялся. (Возможно, конечно, что «Антонием» хотел и насолить «клерикалам» российским.)

Так ли, не так, осенью 1905 года, незадолго до Московского восстания, я получил приглашение к Горькому на завтрак – в связи с этим «Искушением св. Антония».

Горький занимал огромную квартиру на Воздвиженке, почти на углу Моховой (рядом с гостиницей «Петергоф»). Знаком я с ним был тогда более чем бегло, встречал несколько раз на «Средах» у Леонида Андреева.

Странная обстановка: в передней вооруженные типы, «дружинники», личная охрана Горького – будущие участники восстания, а пока оберегают писателя от возможного (или воображаемого) нападения «справа». Но во всем остальном то же, что у любого богатого московского адвоката. Большая столовая, нарядная горничная, отличный завтрак.

Хозяйкой была М. Ф. Андреева, тогдашняя его подруга, блестящая красавица, актриса Художественного Театра. Еще – кое-кто из домочадцев и неизбежный очередной писатель из народа.

Сам Горький, в блузе с ременным поясом, в сапогах, откидывая назад кислую прядь волос, держался приветливо, благожелательно. В окно виднелись тополя Архива Иностранных дел, московские галки летали в небе. Мария Федоровна любезно угощала, писатель из народа мрачно ел с таким видом, что он всему противоборствует в этом сытом мире, и если вкушает, то лишь из приличия.

Небольшие, умные глаза Горького на скуластом лице, были оживлены. Все протекало как следует, разговор литературный: о новых писателях, о символистах, о журнале «Вопросы жизни» – Горький всем этим интересовался, многое знал. Помню только одно разногласие: он нападал на Бердяева, я его защищал.

Завтрак решил дело с «Искушением св. Антония». Раньше предполагалось, что переводить будет Бунин, но он, видимо, отказался. Поручили мне.

* * *

С этим «Искушением» прожил я целый год. Мало сказать «переводил» – именно жил в нем. Все нравилось мне в этом произведении: фантазия, история, романтика, Египет, Вавилон, царица Савская, движение картин-видений пред св. Антонием, весь дух поэзии, вся горечь обозрения дел человеческих. Нравился сам язык, звон Флоберова слова, звук фразы – над этим я больше всего и бился. Даже полный, великолепный в естественности своей перевод Тургенева не вполне меня удовлетворял музыкально. Ведь Флобер почти пел свои фразы! (С великой, однако, сдержанностью и благородством – дешевки ни малейшей).

Чтобы лучше войти во всяких гностиков, Валентинов, Василидов, я засаживался в Румянцевском музее за Иринея Лионского, за словарь Миня, историю Церкви, читал о Египте, Вавилоне, Ассирии.

Зимой уезжал в Тульское именьице отца, там сидел в одиночестве над Флобером. Окно небольшой моей комнаты, с ковром на стене над тахтой выходило на открытый балкон. Летом он тонул в жасмине. Теперь, в декабрьские дни, метель завивала по нему белые змеи, он весь в тумане, на стекле окошка налипли снежные узоры, иглы, звезды, не хуже таинственных стран Флобера. Метель трясла немолодую крышу дома, дергала ставни, гремела ими. Из окна тянуло холодом. Ритмическою прозой надо было рассказывать о еретиках, блудницах, разных чудищах.

Иногда ночью я просыпался, под тот же зимний, пустынный ветер, в ужасе вскакивал с тахты: зажигал свечку, бежал к столу, смотрел в рукописи – вдруг да ошибся на пятой строчке!

Три раза перевод переписывался. Весь был испещрен поправками, вставками, зачеркнутыми словами. Он развил во мне нетерпимость к инакомыслящим. Неодобрений Флоберу я не допускал. «Между тем даже ближние мои и любимые находили, что перевод-то перевод, но «Искушение» вещь довольно скучная. Повторяли все то, что писалось и говорилось в свое время во Франции, когда книга вышла.

«Искушение» напечатали сначала в сборнике «Знания», а в 1907 г. отдельной книжкой, там же. Несколько позже появилось в альманахе «Шиповника», в моем же переводе «Простое сердце» (редкий случай Флобера смиренного, трогательного, почти нежного – «суровой нежностью»).

А затем «Шиповник» затеял собрание его сочинений. Оно осуществилось до войны, в хорошем, истинно литературном виде. «Госпожу Бовари» редактировал Вячеслав Иванов, «Воспитание чувств» – Бунин, «Саламбо» перевел Минский, «Искушение св. Антония» повторили мое. «Письмами» занялся Блок, для «Трех рассказов» взяли перевод Тургенева и мой. Кажется, не хватало только «Бувара и Пекюше» – помешала война и революция. Во всяком случае, за это издание «Шиповнику» низкий поклон.

* * *

И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

Пушкин

Пока вышло в России только «Воспитание чувств» и однотомник. На будущий год предположено собрание сочинений Флобера. Цифра в полтора миллиона появилась уже во французской печати. Откуда она взялась? На «Воспитании чувств» помечено: тираж полтораста тысяч. Но ведь это «русское» издание, «великоросское». А напечатано на одиннадцати языках. Украинцы, «нежные литвины» (так Бальмонт называл литовцев), эстонцы... – а там татары и киргизы, эскимосы, чукчи и якуты, «тунгуз и друг степей калмык». Всюду Флобер! Делать так делать. Чукчи так чукчи – пусть читают о гностиках.

Много ли начитают якуты, не знаю. Но что русские получат прекрасную литературу – только хорошо, слава Богу.

Шум, пропаганда, желание пустить пыль в глаза – это одно, но Флобер и сам за себя постоит. Взглянув бегло на «Воспитание чувств», вижу, что перевод неплохой. Ритм прозы флоберовой слышу. Написано: перевод А. В. Федорова. Вполне ли он новый, или Федоров этот пользовался прежним, под редакцией Бунина, не знаю. Но если и пользовался, то ничего. А уж про «Юлиана Милостивого» и говорить нечего. Флобер перебирал охотничьи словари для названий собак Юлиана. Тургенев сам был охотник и собак отлично назвал. Это все прямо может у него взять новый переводчик.

Одно тут загадка: для чего советскому правительству понадобился Флобер?

Одинокий, горестный, во всем разуверившийся, кроме своего искусства, ненавистник толпы и массы, монах литературы, художник высшего полета, истинно великий в уединении своем, любви к слову... – Это яд, опиум для народа. Он учит высшему благородству и свободе – личной и художнической. Флобер жил сам по себе, писал для себя, никому не подчинялся, никаких заказов не исполнял. Премий не искал, в Академию не пробирался. Странник в жизни, одиночка. Показывать *такого* русскому народу небезопасно. Но вот если его действительно читают или хотят читать, значит, растет влечение к подлинному. Ложь и крик надоели. Может быть, уже трудно сопротивляться? Дай Бог, чтобы было так. Русскому читателю, живой душе, дай Бог почерпнуть и усвоить то благородное, что есть в истинной литературе.

НОВЫЙ ГОД

Пришел в гости внук. Сидя за моим письменным столом, в сереньком изящном пиджачке, рисовал свои фантазии – цветными карандашами. Потом стал разбирать на столе всякое добро. Нашел адресную книжку. Но какую! Ему она не интересна. Его и на свете тогда не было. И у меня сколько времени пролежала – нынче почему-то оказалась здесь.

О, память сердца, ты сильней
Рассудка памяти печальной[1]

Андрей Белый, Арбат, Никольский переулок, д. Новикова. – Андреев Леонид – Териоки, Ваммельсуу. – Айхенвальд, Юлий Исаевич – Москва, Новинский бульвар, д. 32, кв. 9.

Дальше идет какой-то генерал-майор Андреев, с Остоженки. – Кто это? Так давно было! Но – из того же волшебного мира. Внук вызвал его своими цветными карандашами.

Генерал – случайность. А мир волшебный. Видишь знакомых, тех, что сопровождали молодость. Их много. Они ясно видны, лишь в радужном преломлении. Да, Айхенвальд, грустно-изящный, близорукий, в белоснежных манжетах, жил на Новинском бульваре, рядом с Маклаковым, наискосок от огромного дома Курносова, заключавшего Новинский бульвар. Там Валентин Кожевников издавал «Правду» – марксистский

журнал. В нем Бунин заведовал литературным отделом, я напечатал два юношеских своих рассказа – чего не бывает в жизни!

Известно, что половина русской литературы (серебряного века) – на букву Б. – Перелистывая книжечку, быстро дохожу до «них». Блок, Александр – Петербург, Офицерская, 57, кв. 21 – помню, несколько каменное лицо, светлые глаза, отложные белые воротнички над блузой. Такой и был он на этой Офицерской времен «Балаганчика» – поэт и обольщающий и ненадежный. Таким вижу его в летнюю петербургскую ночь, в ландо, с Чулковым и нами на Островах.

Длинный ряд – Балтрушайтис, Брюсов, кипящий Бердяев с разными «проблематиками», Бенуа – Александр Николаевич («Хозяйка гостиницы» в его декорациях в Москве у Станиславского. У нас завтракал, одобрял притыкинскую индюшку). Один из немногих живых книжечки – дай Бог ему здоровья.

На все буквы найдутся писатели, все собраны, все часть жизни. И почти все ушли. Вот еще Ремизов остался – и ему дай Бог в Новом году не унывать и трудиться, как всю жизнь трудился. (СПБ., Мал. Казачий, д. 9, кв. 34). С ним начинали вместе в легендарные времена Андреевых, Горьких, в той московской газете «Курьер», где литературой заведовал Леонид Андреев, печатался молодой писатель Бунин, а критикой занимался некто Шулятиков. Он сильно пил. Предание передает, что иногда, по вдохновению, укладывался спать в редакции на большом столе. Сам же был марксист-большевик. В книге «Галерея русских писателей» о Тютчеве отозвался так, что это странный поэт: иногда воспевает день, иногда ночь. Нельзя понять, за кого он? За свет, или за тьму? В общем, малосознательный.

В адресной книжечке нет Федора Сологуба. Точно этот уединенный Сологуб, писавший замечательные стихи (недостаточно оцененные) и прозу (нашумевшую и переоцененную, ныне забытую) – вот этот Федор Кузьмич прошел в жизни тенью, ни на кого непохожей и странно-летучею: даже адреса не оставил.

Его жена кончила самоубийством, бросилась в Фонтанку. Сам он умирал долго и тяжело (1927).

Подыши ж еще немного
Сладким воздухом земным,
Бедный, слабый воин Бога,
И уйди, как легкий дым.

Это предсмертные его стихи. Вечная память.

* * *

Занавес подымается – другая Россия (но Россия!). Паустовский, писатель русский, кому нельзя написать отсюда, но кого можно читать, и не только читать, но и одобрить. Вот эта «Беспокойная юность», его ранняя юность, время, когда мы были уже сложившимися писателями. Его юность была беспокойнее нашей. Кем только не был, где не служил, кого не видел! И контролёр трамвайный, и санитар-студент на фронте, и на Азовском море у рыбаков. Юношей видел и нас, старших, в Москве на чтениях. Упоминает сочувственно. Даже почти восторженно. Конечно, он из просвещенного слоя. Все-таки – ведь печатается в советской России. Мы всегда считались там белобандитами.

Знаю рассказы Паустовского. Последнее произведение его «Золотая роза». Присматриваясь к нему, вижу, что по складу души это как бы свой.

Откуда у него сострадательность? Мягкость и даже нежность? Почему жалеет людей? Природу любит – и хорошо знает, принимает поэтически. Когда говорит о горе человеческом, что-то звенит за словом. Да, чувствительная душа в мире советском.

Вот он описывает на войне Лёлю, сестру милосердия. 1915 год, осень, русская армия отступает в Польше. (Ничего издевательского над прежним миром. Военные как военные, врачи – из Чехова, все очень живо и без пропаганды).

Санитарный отряд, где эта Лёля и сам автор работают (влюблены друг в друга) – этот отряд направляют в деревню, там черная оспа. Попадают они как в ловушку. Выйти нельзя – боязнь заразить армию – больные просто умирают, им надо облегчать хоть последние дни, помогать (может, кое-кто и оправится) – «больше сея любве никто же имать...» – да, вот именно надо душу свою полагать «за други своя». Лёля и полагает. Они там трудятся, облегчают, возможно – и спасают. Но Лёля заражается сама. И умирает.

Как это написано – дай Бог всякому, только позавидуешь. Все верно, слова даны правильно и трогательно, действие ясно, стремительно. Все очень сдержанно и глубоко рыдательно. Нельзя читать без волнения о гибнущей молодости, неосуществленной любви. Все это тайна. За что? Почему? Стенания Иова не разрешают, но подводят к религиозному ее переживанию. Вряд ли у автора, у Паустовского, такое не разрешать. Его дело изобразить. (Таённо, у Чехова.)

Паустовский, однако, и не брался разрешать. Его дело изобразить. Он и изобразил.

Но вся нежность, и слеза, даже скрытая, вообще – жалость, для чего она в стране, где все веселы, бодры, счастливы и послезавтра устроят земной рай? Жалость, сочувствие – это «расслабление». Нынешний мир жёсток и жесток. Как бы еще с этим не влететь! В такое влетишь, что и вовсе окажешься несозвучным. А вот не влетает, и слава Богу, слава Богу. (Слишком мы мало знаем о России. И может быть недооцениваем тех, кому надоел барабан. Не удивлюсь, если и там оплакивают эту Лёлю – только в сердце, а не на партийных собраниях.)

* * *

Прямо передо мной, над портретом Чехова и под Распятием висят два крошечных нательных образк*а*: с русского солдата, павшего на фронте в ту войну, которую описывает Паустовский. Образки эти подарила мне тоже Лёля, но другая. Елена не Паустовского, а просто давняя приятельница всей нашей семьи. В августе 1914 года, юною девушкой, она гостила у тетки, в двух верстах от имения нашего. Постоянно у нас бывала, вся горела силою молодости и восторга. Вся была создана для порыва, отчаянно скакала на лошади – бурей влетала на двор усадьбы, кидалась на шею моей матери.

Спокойно усидеть в такое время она не могла. Очень скоро ушла на войну, сестрой милосердия. Да, такая ни перед чем не остановится. Под пулями одна вынесла из госпиталя раненого офицера, одна не побоялась. И Святой Георгий осенил ее своим Крестом. Там, на войне (куда только она не попадала!) – и завещал ей солдат эти образки. «Храните их», – говорила она, подарив их мне: «это Россия. Солдат у меня на руках умер».

Чашу с темным вином
Подала мне богиня печали.

Это ей чаша. Она вышла на войне замуж – через четыре месяца большевики расстреляли ее мужа в Киеве.

Изгнание, одиночество. В Париже мы снова встретились. Теперь так же восторженно обнимала она мою жену, как некогда под Каширою мать.

И вновь вышла замуж, и опять трагедия. На этот раз муж сам покончил с собой, а Елена захворала туберкулёзом.

И вот она в санатории, в дальнем Бриансоне, одна, совсем одна. Слишком далеко, навестить невозможно. Мы только писали ей. Ее письма были вулканичны. Мне и жене моей она на-

писала: «Вы – моя родина, и мой дом, и моя семья». Больше, правда, у нее никого и не было.

Подымаю глаза на образки под Распятием. «Хлынула кровь горлом и задушила ее», – рассказала мне позже француженка, ее знакомая по санаторию.

Может быть, это все та же Елена, что и у Паустовского, пламенная русская Елена, проходящая чрез нашу жизнь?

* * *

Новый год, Новый год! Всегда таинственно-печальное, загадочное он приносит. Одно ушло, другое наступает, и все – тайна.

Так было и в морозные ночи с луной, ослепительной белизной инея в усадьбе Притыкино, с лунными узорами на полу и стенах флигеля. ...«И острый Сириус блистал» – так вот осталось и теперь, в этом Париже, о котором во времена Притыкина и тогдашней Елены и в голову бы ничего не пришло. Но и теперь, как тогда, все осталось загадкой. Жизнь, будущее, судьбы наши.

Внук в сереньком своем костюмчике, кроме адресной книжки, подобрал на столе еще отрывной русский календарь на 56-й год. Повертел в руках, так и этак, потом отвернул последний листик – 31 января 1956 года и сказал спокойно:

– Деда, это ты.

Под отрывком там, действительно, моя подпись.

«Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолии, веселья и стремленья – это ты, Арбат...»

Да, это я написал, очень давно, еще в Москве, но уже в начале революции. «Улица св. Николая» – как бы поэма об Арбате – на Арбате этом было три церкви Святителя Николая. Взяв с полки книжку, вижу в ней и дальнейшее.

«И Никола Милостивый, тихий и простой Святитель, покровитель страждущих, друг бедных и заступник беззаступных, распростерший над твоею улицей три креста своих, три алтаря своих, благословил путь твой и в метель жизненную проведет. Расцветет мой дом, но не заглохнет».

Так казалось в 1921 году. Все смешалось, прежнее с новым, молодость времен Чехова с вихрями землетрясений, и что выйдет из всего этого, никто не знает. «Цвет революции красный, цвет культуры зеленый» – но зеленый есть и цвет надежды. Жив ли мой народ? Жива ли его душа? Зеленый луч, зеленый луч!

«А старенький седой извозчик, именем Микола, проезжавший некогда в санках рваных на клячонке по Арбату, немудрящий старичок, что ездил при царе и через баррикады, не боясь

пуль, и лишь замолк на время – он уже едет снова от Дорогомилова к Большому Афанасьевскому».

МЮНХЕН

Но мне легко, моя весна далеко.

Ив. Бунин

Вечер. За вагонным окном поля, лесочки Франции, тепло струится по коридору в мягком пестром ковре. Путников мало. В одном купе пожилая дама с нашивкой Красного Креста – это в Венгрию. В другом американский офицер.

Удивительно покойно идет вагон! Для Запада будто и непривычно. Где это было? Да, было. Давно, и не здесь.

Едем мы не из Парижа в Мюнхен, а из Москвы в Петербург. Тоже вечер. Обстановка скромней, домашней. Просто вагон второго класса, купе с подымающейся спинкой дивана. Николаевская дорога. В фонаре над дверью горит свеча, вагон мерно постукивает. Идет ровно, чуть только вздрагивает, как этот вот Orient-Express[1]. За окном русские поля, в синеватой мгле снега. Сижу под фонарем, читаю вслух новый свой рассказ, по рукописи: везу в Петербург. Слушатели в купе – Иван Бунин и моя жена.

Таково видение по дороге в Мюнхен, полувековое видение: был 1908 год. Мы с женой останавливались в Петербурге у Георгия Чулкова. Бунин в Северной гостинице у Николаевского вокзала. Я читал рассказ у Леонида Андреева, на Каменноостровском. Помню Федора Сологуба и Чирикова. Осенью того же года, направляясь из Москвы в Италию через Верону, мы провели три дня в том Мюнхене, куда теперь везет нас из Парижа, поколыхиваясь и постукивая, этот Orient-Express. Только Бунина нет.

Жена дремлет в купе. Я стою у окна. Пустынный вид, будто чуть тронутый луною. Какие-то леса, болотце. Вдруг по каналу два строя топольков, тоненьких, изящных. Ночь холодная. Изморозь, вроде снега, белеет. Нельзя сказать, чтобы Россия, но и на Запад непохоже. И то, что было полвека назад, и то, что сейчас есть, – все один призрак.

Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал.

---

[1] Восточный экспресс *(фр.)*.

* * *

Какое все чистое и изящное под Мюнхеном! Деревенские дома только что, будто, построены, оштукатурены, светлые, прорезаны темными накрест балками – как бы на них держатся. Садики, коровы, обработанные поля. Все очень мирно. Между тем совсем близко, из этого Мюнхена вышел на наших глазах некто, зажегший (и чуть не спаливший) Европу. Впрочем, вообще край «с историей». Станция Ульм. Неказистый городок, какие-то вывески, рекламы. Ни Декарта, однако, ни Наполеона. Как и в Аугсбурге не увидишь Лютера.

Вот, наконец, и Мюнхен. Начинается мюнхенское бытие – Мюнхен принял сырым и туманным днем, из автомобиля замелькали дома, улицы, парк... – Здесь мы когда-то были, но узнаешь ли что в этом городе, на три четверти сокрушенном, построенном заново? (Трудолюбием, силой, упорством жителей.)

Огромные комнаты нашего пансиона обставлены со старинной немецкой солидностью, но сам дом три дня горел в бомбардировке. Стены не дались. Остальное все собственными руками поправлено. (Мебель, картины заранее вывезли в деревню.)

Высокая, изящная наша хозяйка сама таскала камни, тяжести наверх. Рабочим помогали и студенты в свободные часы, и разные барышни немецкие.

В этом старинном городе, вновь возникшем из пепла, провели мы неделю – в русском мире, столь непохожем на мир нашей молодости. Все другое, все-таки связь не порвалась.

Огромный зал Дня Русской Культуры полон. Почти все, думаю, «оттуда», но в конце концов русская интеллигенция, только прошедшая через такое, что и сниться нам не могло.

В первом ряду духовенство, на эстраде рядом с вечно живым (и блестящим) Степуном совсем юный человек, только что из Восточной Германии. Веял ветер из Венгрии – да и из России: конечно, здесь передовые позиции.

Но политика политикой, а культура культурой – кроме литературного отделения вторая часть театральная: местными силами Островский, очень мило.

В корне же всего предприятия – Русская библиотека. Там пришлось читать через два дня, там библиотеку и видел.

И позавидовал. С парижской точки позавидовал. Наша Тургеневская рада была бы двум комнатам, да тех пока нет, а у В. Н. Крыловой, заведующей Мюнхенской библиотекой, десять их. Библиотека, собственно, вроде клуба – можно слушать лекции, играть в шахматы, заниматься фотографией и т. п.

Все это дело недавнее, книг не так много, пятнадцать тысяч (в Тургеневской, до увоза ее немцами, было сто), но и возрасты разные. Наша видела еще самого Тургенева, он давал деньги, устраивал утра литературные (и музыкальные) в ее пользу – распевала на них и Полина Виардо.

Но вот нечто еще о Мюнхенской библиотеке: она не только для Мюнхена. У нее двадцать восемь филиалов – книги рассылаются во многие места Германии.

Сидит русский человек в немецком городке или деревне. Ничего-то у него родного, все чужое. Бывает, что и поговорить не с кем.

Книга же не выдаст. Много оставили нам деды, отцы литературные, много написано настоящего, а то и великого. Читать русскому человеку по-русски есть что.

Если не ошибаюсь, до четырех тысяч иногородних питаются из Мюнхена. До сих пор ни одна книга не зачитана, не пропала в пересылках.

Дай Бог здоровья труждающимся над делом этим – и всем сочувствующим, извне помогающим.

Все зачтется: любовь, и преданность, и поддержка.

* * *

Где же здесь Bambergerstrasse?

Шофер не знал. Русские тоже не знали. И на плане не найти. А ведь была. Мы именно на ней останавливались тогда, в гостинице «Bambergerhof».

Может быть, улица-то и есть, да по-другому называется. Мало ли что было в Мюнхене нашей молодости, чего теперь нет. Был журнал «Simplicissimus», был литературный кабачок Кэтти Кобус – Андрей Белый там заседал. Были Бёклин, Штук со своими чудовищами. Элегантный Элиасберг, проповедник молодой русской литературы в Германии (и переводчик), принимал нас у себя в изящной квартире где-то около Нимфенбурга. Мюнхен считался передовым городом в искусстве, особенно в живописи.

Прожив жизнь, да еще во времена, как наши, ничему не удивишься. Конечно, то, что одни умерли, а вместо них явились другие и тоже скоро умрут, неудивительно. Но что на наших глазах один город ушел, а другой пришел (на его место) – уже не так просто понятно.

Война! Три четверти домов разрушено. Сколько людей погибло, кто считал? Поднялся на их костях новый мир.

Случайно, кое-где, куски прежнего. Со странным любопытством смотришь на конную статую короля, почему-то уцелевшую – ко-

роль в короне, как на детских картинках, на неподвижном коне едет себе неизвестно куда, вечно едет король в свою вечность.

В центре же и на окраинах совсем новое: таинственно журчат, гудят радиостанции. По-русски идут в эфир волны – осведомление, политика, жизнь Запада: прорыв китайской стены. Именно то, что не столь быстро, но, может быть, более верно подтачивает некий страшный мир, промывает подземные ходы, молекулярно меняет самые души. Теперь уж сомнений нет: в России слушают и слышат.

* * *

Предпоследний день. Завтра уезжаем. Тот же Orient-Express, так же поколыхиваясь, погромыхивая и дыша теплом в спальном вагоне, повезет нас из одной страны в другую – из одних чужих мест в другие, ставшие полусвоими.

Но пока еще день в Мюнхене наш. Утром выходим, идем краешком узкого, длинного парка – Английский парк. Легкая изморозь, узор ветвей тонок и серебрист. Что-то терпкое, острое в сизеющем воздухе. Более русское, чем в Париже.

Той Мюнхенской Пинакотеки, где мы некогда были, больше нет – все разрушено. Но картины вовремя вывезли. Они в другом месте, туда направляемся.

Музей этот обыкновенный, много таких видано. Но всегдашнее ощущение: свет, тепло, тишина. И какой-то высокий, блаженный мир. Дюрер, Тинторетто, Рубенс. В этом собрании видели мы некогда знаменитых «Апостолов». Так в памяти и остались они. Остальное сквозь сон, но вот эти апостолы... – завершение Дюрера. Он писал их не на заказ, подарил родине, городу Нюрнбергу, как бы завещанием: твердость и непоколебимость в вере. «Честный человек вертикален» – огромный диптих уже без всяких итальянских влияний, прямыми, могучими фигурами выражает непреложность. Юный Иоанн раскрыл Евангелие, читает. Петр держит свой тяжелый и зубчатый ключ... тоже вглядывается в Книгу, склонил вперед мощную лысую голову. Рядом, на другом изображении, Марк и ап. Павел так же могущественно недвижны. Павел держит огромный том, Священное Писание. Опирается на посох. Этот посох – сам дух прямолинейности и мощи. Удивительно горят глаза у Марка, но особенно у Павла.

Видение это вдруг, при входе в третью залу, появляется вновь. Да, это они, апостолы. Здесь все, как и было. Как было полвека назад, так и осталось. Бури прошли, город разрушился, мы на пороге, а это вот все неприступно, как Монблан в ти-

хий савойский вечер, как слова Евангелия. Царства проходят, власти сменяются, дома рушатся и возникают новые, люди умирают, а вот *это* все такое же.

Мы уедем завтра из этого города, от одних призраков уйдем к другим. Но не призраками жива жизнь. Об апостоле Павле мюнхенском сказано: «Кто раз видел его, никогда не забудет».

Вот это верно.

ПИСЬМО РЕМИЗОВУ

Вот и Ваше 80-летие, дорогой Алексей Михайлович. Больше полувека Вашего писания, полвека нашего знакомства.

Вспоминаю Ваш путь жизненный и литературный, дружественно обращаю к Вам сердце.

Помню первые наши встречи в Петербурге, в «Вопросах Жизни» (журнал занимал огромную квартиру, в одной половине жил Чулков, в другой Вы с Серафимой Павловной и была Ваша девочка Наташа, и однажды Мережковский с ней нянчился). Бердяев, Розанов. Вы сами – худенький, слегка горбясь, в очках, автор романа «Пруд». Очень мы были молоды. И теперь это время кажется легендарным – начало жизней наших литературных: у Вас в Петербурге, у меня в Москве. Но в Москве оба мы и начинали, в одном и том же «Курьере», при одном и том же Леониде Андрееве.

А потом сами те импрессионизмы, символизмы, под знаком коих началась наша молодость, стали историей, мы же – последними отзвуками тех времен.

Вы шли своим путем. Вам данным (нет «случая», каждому свое, у каждого свой крест, но не много нам дано понять). Путь Ваш – одинок, нелегок, всегда был, таким и остался: путь настоящего большого писателя «для немногих».

И вот вышло, что в Петербурге прошла жизнь древнего москвича, родственника протопопа Аввакума, жителя семнадцатого века русского – в оправе и окружении символизма нашей юности. В Петербурге зрелость, а корни в Москве, Вы москвич, с Земляного вала, из дома Найденовых, рядом сломом Орешниковых. Ваши корни вполне московские – узловатые, извилистые.

В России мы жили в разных городах, виделись мало. Эмиграция больше свела – Париж – особенно в эти последние годы. Мне нравилось заходить к Вам, нешумно беседовать. Весь Ваш склад и уклад жизненный, ни на кого непохожий хорошо знаю, и у Вас чувствую себя не в захолустье, – уголке большой русской культуры.

Возраст, не так уже много сил, слабое зрение, трудность написать письмо, трудность выйти на улицу – все дает особенный облик теперешней Вашей жизни. Но у Вас есть друзья и почитатели – верные. И литература над всем. Это последнее, что от Вас отойдет.

Чего пожелать Вам, к 80-летию Вашему? Плохого, конечно, уж не пожелаю – хорошего: мира, спокойствия, сил. И, зная Вас, из «жизненного» – чтобы увидели Вы напечатанной еще не одну Вашу книгу, вот как сейчас вышедшую: «Тристан и Исольд». (На экземпляре моей жене и мне присланном Вы написали: «моя прощальная книга» – пусть будет *не* прощальная.)

О ПАСТЕРНАКЕ

Помню его еще по Москве, в 21 – 22 гг. Большой, нескладный, несколько угловатый, с крупными чертами лица. Не весьма они правильны, но мужественны, слегка даже грубоваты – оставили в памяти хороший след: простоты, подлинности, чего-то располагающего к себе.

В стихах его тогдашних никакой простоты не было. Напротив, скорее хаос. Наворочены глыбы, а что с ними делать – и сам автор может не знает. Но все это рождено стихией, подспудным, не всегда находящим выражение. Отсюда некое косноязычие.

Сам он мне нравился как раз нескладностью своею и «лица необщим выраженьем». Напоминал чем-то и большого умного пса – весьма человечного. Держался скромно.

Иногда у нас, в Союзе Писателей, читала свои стихи Марина Цветаева – тогда очень правая, правее нас всех (Бердяев, Осоргин, Муратов, Айхенвальд и др.). Пастернак не читал. Принадлежал к более левому крылу писателей тогдашних, типа Маяковского. Но ко мне приходил. При большой разнице возрастов некие точки соприкосновения были. Касались они прозы, а не стихов. Он даже приносил кое-что из своих писаний, в рукописи. Про Урал, воспоминания детства на заводе – очень интересная проза, ни на кого непохожая, но совсем не заумная. Крупнозернистая и шершавая. И сам почерк ее широкий.

По-видимому, это и были главы из «Детства Люверс» – книга вышла в России много позже, я ее не читал и даже никогда не видел.

В 22 – 23 гг. встречался с Пастернаком и в Берлине. Впечатление было такое же, но встречи беглые. И тоже он принадлежал не совсем к моему литературному кругу. Как и Андрей Белый, уехал обратно в Россию, из моего поля зрения скрылся.

Долгие годы ничего я о нем не знал. Уже здесь, в Париже, прочел в однотомнике советском Шекспира его перевод знаменитых трагедий. Не зная английского языка, сужу по общему впечатлению: отлично переведено. (Этими переводами он в России и существовал. Печатался очень мало. Видимо, жил в сторонке и в одиночестве.)

Поздно пришла слава, но и то хорошо. Дай Бог Пастернаку мирно существовать в этом Переделкине, и чтобы никто не мешал, писать бы, что хочется. И здоровья дай Бог: есть сведения, что по этой части не все благополучно.

Роман – в том виде, как написан, – в России вряд ли возможен, даже после Сталина. Может быть, выбросят неприятные куски? Не знаю. Как-то не чувствую, чтобы Пастернак пошел на коренную переделку.

Западным журналистам, толкущимся у него и восторгающимся борцом, наверно, всего интереснее «политика». Что они понимают в художестве? И на что им нужна поэзия? Да для этого надо знать и русский язык. Европейский шум вокруг Пастернака поверхностен.

А что внутри происходит? Об этом говорят стихи в том же «Докторе Живаго». На евангельские темы! Что сказала бы Марина Цветаева, Маяковский? И «крайний левый фланг» литературы?

Да, но:

> Прекрасное свободно, оно медлительно
> И тайно зреет.

Вот и созрело. Совсем не так, как предполагалось. Прах – все эти «партии», уклоны, политика. Душа жила, томясь, долгие годы – годы тягостей и страданий. Можно жить очень «прилично» и томиться. Сытые не приходят к Евангелию. Оно обращено к алчущим. Оно и овладело миром потому, что не-сытых больше, чем сытых. Страждущих больше, чем ликующих.

Пастернак, конечно, нецерковен. Но к Евангелию его тянет. Спаситель уязвил его, и, будучи прежде всего поэтом, он отвечает трубным звуком. Торжественно, несколько, может быть, шумно и бурно. Таков его темперамент. Евангельской тишины, негромкого голоса и великой скудости слова нет. Напротив: раскидисто, вулканообразно. Зато нет капли слащавости, подстерегающей поэта, сюда направленного. А есть трогательность и оттенок величия. Никто до него не писал так об этом. Церковного человека могут смутить некие вольности –

вольности в поступи, манере держать себя перед Евангелием. Но искупается все большой искренностью, запрятанным благоговением. Рождено душой здоровой, рвущейся. На какой ступени находящейся – сказать трудно: но именно на «ступени».

«Рождественская звезда»... – пастухи, волхвы, Дева Мария, Младенец, звезда Вифлеема (все несколько русифицировано) – воспето в советской России! Голосом зычным, может быть, есть даже нечто от Державина? Но в Державине не было трогательности. А здесь так: колокольный звон, умиляющий сердце.

Много есть странного на свете. Вот у нас, в «свободном» русском мире, в зарубежье, кто так мажорно, бурно и с восторгом неприкрытым откликнулся на Евангелие? Труба эта раздалась в России.

ИЗГНАНИЕ

Чашу с темным вином
Подала мне богиня печали.

Бунин

Если не ошибаюсь, Союз Писателей в Москве помещается в том же доме Герцена, на Тверском бульваре (недалеко от памятника Пушкину), что и в 1921 – 22 гг. Айхенвальд и Бердяев, Осоргин, Шпетт, Эфрос, все мы там заседали в Правлении, иногда устраивали литературные вечера. Революция была уже победоносной, но нас еще не прижали. Удивительно это было. Айхенвальд прочел, например, нечто о Гумилеве, весьма похвальное, как бы надгробное слово по недавно расстрелянном поэте. Троцкий отозвался статьей: «Диктатура, где твой хлыст?» – и ничего ни Союзу, ни Айхенвальду не было. Времена, значит, еще младенческие. А позже Троцкий и Каменев устроили высылку заграницу всей этой группы писателей и ученых (1922 г.) – великое благодеяние для них.

Теперь много, наверно, изменилось даже во внешности дома Герцена, где некогда принимали мы полуживого Блока. Но может быть тот бюст Пушкина, что подарила мне Марина Цветаева (мы прятали в его пустоту советские деньги, почти ничего не стоившие), может быть, этот бюст, отданный мной Союзу, и посейчас стоит на книжном шкафу, с белых своих высот наблюдая за заседаниями Правления.

Если это так, то за последние дни гипсовый Пушкин не без изумления выслушал, как «единогласно» исключили из

Союза Бориса Пастернака. Повод удивительнейший. Получил Нобелевскую премию. А Союз (не Россия!) преспокойно выгоняет его за это на улицу. Печать советская называет деяние Пастернака позором, бесчестием, его самого Иудой, и что его ждет еще впереди – неизвестно. Что же: остался в России, испил с ней до конца чашу, сам не присоединялся к требованиям «смертной казни» для других, в горькой жизни написал отличную и глубокую книгу – своего «Доктора Живаго», а теперь над ним самим занесен меч и неведомо, чем все это кончится для него.

До Нобелевской премии его терпели. А теперь оказывается, что он чуть ли не враг народа – изгнан, изгнан...

Если моего Пушкина нет сейчас в Союзе, то другой, задумчивый, с памятника на Тверском бульваре смотрит на этот «Союз», на «единогласие» каменным взглядом:

Поэт! не дорожи любовию народной...
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум.

Во времена Пушкина это было значительно легче. Но вряд ли каменный взор изображает нечто иное, чем глубокое презрение.

НАШ КАЗАНОВА

Дни бегут за годами, годы
за днями, от одной туманной
бездны к другой.

Неизвестный автор

Очень давно, до войны, когда Тэффи жила еще на бульваре Гренелль, встретил я раз у нее молодого человека с приятным и ласковым лицом, очень живым и нервным, киевско-одесского оттенка. Он скромно со мной поздоровался.

– Александр Рогнедов, – сказала Тэффи, представляя его мне, поблескивая умными, насмешливыми глазами. – Если понадобится вам выступать в Корее или на Цейлоне, обращайтесь к нему. Он все может.

Рогнедов улыбнулся с таким видом, что ему ничего не стоит устроить чтение и на Суматре.

Ни в какие дальние края я не собирался, к импресарио был вполне равнодушен, но молодой киевлянин сразу мне понра-

вился. Понравился и канул в поток дней, того, что называем мы нашей жизнью.

Вынырнул он неожиданно, когда меньше всего о нем думалось – в Префектуре, где мы с женой выправляли заграничные паспорта и как типы нерасторопные что-то мялись, не знали, куда сунуться. Молодой человек мгновенно все уладил (всюду приятели и знакомые). Кончилось тем, что в его же машине очень скоро мы оказались на больших бульварах – жену мою завезли к приятельнице – сами же утешались у Виеля аперитивами. Их было немало. С этого и началась дружба.

Много лет она длилась. Общая любовь – Италия. Общность среды – литературный круг. В пестроте дней, навсегда ушедших, вижу в связи с Рогнедовым Бунина, Алданова, Тэффи, Вейдле и других – он всех знал, с некоторыми имел литературные отношения, всем интересовался, налету все хватал, и как натура художническая, склонная и к авантюре, жизнью упивался. Любил жизнь, обольщения ее и красоту, прелесть картин и пейзажей Флоренции, прелесть женских глаз, блеск ресторанов, путешествия по дальним и не очень дальним, но чудесным странам на букву И: Италия, Испания. Перелеты через океан, турне с певицей или знаменитым писателем по Бразилии, налет на Кубу. Трудно было усидеть на месте этому человеку. И невозможно жить без увлечений и фантазий – увлечения ли женщинами или невероятные предприятия – прием с посланниками (маленьких республик), обеды французских писателей и путешествия, путешествия... – «Странник я на Твоей земле», мог бы сказать этот неутомимый путник и неутолимый жизнелюб.

Дружески звали мы его Казановой. Но для Казановы по тогдашним временам поле деятельности – Европа. Для *нашего* Казановы ничего не стоило слетать в Венесуэлу, или свезти труппу на Формозу. Как у Казановы, вечные у него романы, будто он и «связан», в то же время всегда одинок, ибо казановические связи бренны, в некий же час все Казановы остаются один на один с Вечностью. Но пока жил, любил он и мишуру жизни. Как Казанова – любил карточные столы, азарт, рулетку. Казанова играл в венецианских ridotto – игорных притонах XVIII века. Как бы повторяя его, Казанова XX века последней, почти предсмертной своей удачей обязан Венеции: из отеля Даниэли написал мне торжествующее письмо: блестящая победа в казино, сотни тысяч лир. («А когда направился играть, было у меня всего двенадцать».) Успех оказался, конечно, кратким: очень скоро он все спустил и приехал в Париж, как всегда, налегке.

В письме из Венеции были, однако, и такие слова: «Пошел на часок в Academia насладился Карпаччио, Тьеполо и Беллини. Забрел в S. Zacharia, где преклонил колени пред Беллиниевской Мадонной, единственной женщиной, которой остался верен до последнего вздоха. Атмосфера шедевра этого удивительна. Все сосредоточились, ушли в глубокий внутренний мир. Вспоминается выражение Мальро: «Голос тишины». Благостное религиозное напряжение выразилось здесь в какой-то ощутимой тишине, нежно нашептывающей тайны неба. Ей беззвучно аккомпанирует на скрипке св. Цецилия, сидящая у подножья трона Богоматери.

«Я думал о вас, о близких ваших. Я помолился безгласно о всех вас и вышел на залитую солнцем площадь».

Александр Павлович был верующим, исповедывался и причащался. Ходил обычно к теперь тоже покойному епископу Иоанну на Сергиево Подворье. Вот это, вероятно, была картина! «Наш Казанова и наш «Бог-Саваоф». Этому-то утесу Православия и старого режима каялся современнейший перекати-поле, смиренно принимал укоризны за ветрености свои – «несть бо человек, иже не согрешит».

На рю Дарю нередко бывал он у литургии всегда почти в свои наезды в Париж.

Он появлялся нежданно, жил всегда в маленьком отеле у Мадлен – кажется, единственное место, где чувствовал себя дома. Так же неожиданно входил и к нам, с цветами для моей жены, или конфетами. Начинались бесконечные рассказы – президенты и артистки, знаменитые писатели, певицы так и летели вихрем к моей маленькой квартирке – и проекты новых странствий.

Несколько раз я отказывался, но наконец в 49 году «странное путешествие» совершилось: в Италию, и без всяких антреприз.

В Ницце все собрались: Казанова, мы с женой, да из Испании прелестная артистка синема, тихая, даже застенчивая Анита.

Оттуда проскочили в Италию. Все путешествие было какой-то прощальной молнией. Времени мало, денег тоже, мы захватили, однако, и Геную, и Венецию, и Флоренцию – места, связанные с молодостью нашей и светом ее.

Во Флоренции положение стало острым: касса пустела, впереди еще Рим. Я сказал Казанове:

– Снарядов не хватает. Отступаем. В строгом боевом порядке.

Он почти рассердился.

– Я вам говорил, что довезу до Рима. И довезу. Возил труппу лилипутов на Филиппинские острова, и мы не доедем до Рима!

Через час вернулся из банка, потряс пачкой лир, с победоносным видом.

– Вэра, – сказала Анита: – dites-lui, чтобы он не пошел в казино, а то проиграет.

Казанова элегантно поклонился.

– Ангел мой, во Флоренции нет казино – к сожалению!

Вечером мы были уже в Риме. Это и оказалось прощанием с ним – больше его не увидеть. Попрощались и с Вячеславом Ивановым. Он жил на том Авентине, таинственном холме нашей молодости, где тогда были какие-то огороды, в низине камыши, остатки циклопических стен Сервия Туллия. Теперь Авентин весь застроен, никакой таинственности. Не знаю, слышен ли из окон Вячеслава Иванова Angelus церкви Алексея Человека Божия, или заглушают его автомобили и скутеры своим шумом?

С Вячеславом Ивановым встреча была дружеская и грустная: он мог сделать по комнате всего несколько шагов.

– Сначала я читал в Университете, потом студенты ездили ко мне сюда, а вот теперь я и здесь не могу с ними заниматься.

Месяца через три он скончался.

* * *

А Казанова продолжал стремительно – безостановочный бег свой в жизни. В Мадриде выпустил остроумную книгу об Испании, от лица воображаемого американца-путешественника, там же издал огромный том международных авторов – тоже об Испании.

Наконец, в фантастических своих изысканиях решил, между двух турне в Америку, основать мировое Общество Друзей Флоренции, с целью способствовать ее монументам и благоденствию... – вообще без этого Общества она погибла бы. Председатель – знаменитый Беренсон, историк флорентийского искусства, эксперт с мировым именем по части картин, владелец виллы Tatti под Флоренцией, обладатель картинной галереи (с музейным Доменико Венециано!) и чудесной библиотеки в сорок тысяч томов, – все это рядом с Сеттиньяно, откуда Флоренция видна как на ладони.

Кого-кого не было в числе членов. От магнатов денежных, чрез знаменитых политиков, европейских писателей, до нас с Алдановым: мы тоже почетные члены Общества! Теперь-то уж дело в шляпе. Генеральный секретарь, конечно, Рогнедов.

Планы были гигантские, но удачи не оказалось. Общество просуществовало лишь в мечтах Казановы.

Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал.

* * *

Казанова исторический, на закате своей жизни (кажется, в Швейцарии), остановился как-то в той же гостинице, где жил одно время со своей любовью Анриеттой. Теперь один, постаревший, полубольной, он бриллиантом кольца нацарапал на оконном стекле:

«Et tu m'oblieras, Henriette».

Для нашего Казановы закат начался тоже с болезней и протекал в одиночестве. У него развилась болезнь сердца и припадки ее очень мучили. Но он не сдавался. Летал и ездил попрежнему и в Германию, и в Италию, и в Португалию. «Ну, умру в дороге, в вагоне или на аэроплане, не все ли равно?» Ходить за ним и оберегать его все равно было некому. Казановам не пристало обзаводиться близкими.

28 декабря он скончался в Лиссабоне. «Il repose a Lisbonne», – ответили из отеля, откуда должен был он вылететь в турне – чуть ли не по Южной Америке.

Склоняюсь пред его дальней могилой. Он не собирался перестраивать общество, добиваться счастья человечества. Не «стоял на посту» как «светлая личность». Просто был человеком ярким и живым, очень одаренным, добрым и своеобразным. Много взял от жизни, но немало и дал ей – как противовес всей будничной и бездарной ее части. Если есть «враг будней», то вот это именно он, со всеми его метаниями и фантазиями, украшающими жизнь. «Мир на земле, мир людям доброй воли...»

«РОВНО СТО ЛЕТ»

Передо мной фотография из норвежской газеты – величественная голова старика с большой, но «европейской» седой бородой (в меру), прекрасными глазами, задумчивыми и серьезными: облик философа, мудреца на закате жизни. Снято в последние его годы (так не похоже на портрет Гамсуна времен «Пана», «Виктории»!). Озаглавлено: «Снова Гамсун».

Портрет вложен в письмо из Осло. Там такие строки: «4 авг. 1859 года, ровно сто лет тому назад родился Кнут Гамсун, газеты полны воспоминаний о нем, устраиваются выставки, выходят новые издания его сочинений...»

Да, есть о чем вспомнить. Родился в крестьянской семье северной Норвегии, был подмастерьем у сапожника, бежал, стал

юнгой на корабле, был приказчиком, вагоновожатым. Побывал в Америке, всего испытал достаточно – и стал тем Гамсуном, которого знала вся Европа. Первый роман, прославивший его в Скандинавии и Германии, был «Голод» (1890) (вещь замечательная, ни на что непохожая по манере, силе и непосредственности).

В России первый перевод Гамсуна сделан был издателем «Весов» С. А. Поляковым – в начале этого века, «серебряного» русской литературы. Поляков перевел «Пана» – едва ли не лучшее произведение Гамсуна – своеобразным языком, передававшим острый и несколько причудливый стиль Гамсуна.

Писания норвежского поэта (и странника) пришлись России по сердцу – вначале ценили их немногие; потом продвинулся он шире. Художественный Театр ставил в Москве «Драму жизни», с успехом. Прошел он и еще дальше к читателям нашим в провинции: «Нива» дала собрание его сочинений, в приложении к журналу: это уже сотни тысяч. (У самого Гамсуна тоже было тяготение к России, и большое – он о России написал целую книгу. Достоевского оценил, когда его еще не весьма понимали на Западе.)

В ранней нашей молодости, в начале века Гамсун принадлежал к «новому», «молодому» движению в литературе, и для русской новой литературы был как бы сочувственным знаменем Запада. Символистом, собственно, не был – кое-где в пьесах есть, все-таки, тяготение к этому – но импрессионистом и поэтом несомненно. Им восхищались в первую очередь тогда молодые писатели, юные дамы московские (иногда терпя за это от пожилых некие заушения: «С сумасбродом своим носитесь...») – вообще поклонники его скорее богема, чем профессора, «Русские Ведомости» и толстые «честные» журналы.

Думаю, лучшие его писания – из первой половины жизни: «Голод», а потом «Пан», «Виктория». Все ушло в «песнь о любви». Любовь, природа, первозданность, странствия – в этом он неподражаем. Сколь гамсуновское даже название одной его вещи: «Странник играет под сурдинку». Всегда причудливая любовь, то жестокая, то нежная и неизбывная, любовь – стихия, живущая как бы помимо человека в человеке. Для людей положительных очень странный писатель (меньше всего понимаемый во Франции). Но в конце концов завоевал Европу. Литературная слава его блестяща, росла из года в год, все увенчано Нобелевской премией 1920 года. – И какой странный конец, совсем недавно!

«Вы, люди, звери и птицы! Я поднимаю стакан за одинокую ночь в лесу, в лесу! За тьму и шепот Бога среди деревьев, за простые, нежные созвучия безмолвия, звенящие в моих ушах! Я

пью за звук жизни, за морду, фыркающую в траве, за собаку, обнюхивающую землю!.. За кроткую тишину в земном царстве, за звезды и за полумесяц, да – за них и за него!» («Пан»).

И вот автор шепота Бога и нежных созвучий, одиночка, поэт, пантеист, бродяга вдруг посочувствовал гитлеровской военщине, гусиному шагу, «дисциплине», «организации», самовлюбленности и бесчеловечию.

Ему было уже за восемьдесят, когда в войне он внутренне оказался на стороне немцев и не скрывал этого. Что подтолкнуло его? Что могло соблазнить? Говорили о влиянии ближайшего окружения, семейного. Не могу судить. Знаю, что смолоду он не любил Америку и вообще англосаксов, знаю, что христианско-гуманитарной прослойки в нем никогда не было (она могла бы удержать) – но это не объяснения.

Для немцев, наверно, было и радостно, что вот такой значительный писатель выказал им сочувствие. Но норвежцы отнеслись иначе. Когда мировое представление кончилось, «Пан» запылал на костре – аутодафе одной из лучших книг столетия! Рвали, жгли, выкидывали в помойку и другие сочинения Гамсуна, самого же его судили. Возраст ли, слава, или все же культурность норвежская, к стенке его не поставили. Но позорили как хотели. Жил он как бы под домашним арестом, а было ему 85 – 86 лет. Его ругали, бросали в сад через забор всякую дрянь, тухлятину, устраивали под окнами кошачьи концерты, одним словом, насмеялись как хотели.

«Пан», и «Виктория», и «Голод», и «Странник играет под сурдинку» все-таки втайне жили. Их жгли и позорили, но кто-то и сохранял их, они существовали, как жило где-то подземно творчество, их создавшее, и вечная любовь, насыщавшая их.

А старик беззащитен. Его травить даже любопытно. Ату его.

* * *

В сгоравшей «Виктории» воспета вечная любовь, животворящая. Ею держится жизнь, несмотря ни на что.

«Но вот жена лишилась ног. Старая фру уже не могла ходить, ее пришлось катать в кресле на колесиках и старый муж сам катал ее. Однако, фру невыразимо страдала от этого несчастья и лицо ее покрывалось глубокими морщинами скорби.

Однажды она сказала:

– Я бы хотела теперь лучше умереть... Ты не можешь так любить меня, как прежде.

Но муж обнял ее, покраснев от волнения, и отвечал:

– Я люблю тебя больше жизни, люблю как в первый день, в первый час любви нашей, когда ты подарила мне розу. Помнишь? Ты подарила мне розу и посмотрела на меня. Роза благоухала, как и ты, и ты краснела как она, и я словно опьянел всем существом моим. Но я еще больше люблю тебя теперь, ты теперь прекраснее, чем была в юности, и сердце мое благодарит и благословляет тебя за каждый день, проведенный с тобою».

* * *

Время идет, время проходит. Суетное исчезает, вечное остается.

Газеты полны воспоминаний о нем, устраиваются выставки, выпускают новые издания сочинений, и горько думать, что последние годы его жизни были отравлены... Но все это называется драмой жизни. Или даже трагедией. А истинная слава остается. Посмертная – самая прочная, самая достоверная.

Снова Гамсун...

БЫЛОЕ

Мы сами утешены тем,
что и нас некогда вспомнят.

Мерзляков

Книга довольно теперь уже редкостная, «Словарь членов Общества Любителей Российской Словесности». Название скучное, а книга интересная. Издана в Москве в 1911 году, к столетию со дня основания при Московском Университете этого Общества: некий обзор русской литературы за сто лет, с особенной, конечно, точки – в соотношении с участием писателей в Обществе. Даются биографические сведения, библиография произведений. Писатели очень разной цены: великие (эти *все* вошли), средние, малые, ныне и вовсе неведомые. Но какой-то парад, шествие теней, получается. И именно загробное, только не в Аду, как у Данте с Вергилием, встречающих там поэтов древности, а просто в былом. И не только Пушкина, Гоголя, Толстого, Тургенева и Достоевского – встречаешь здесь и других. Все же золотой век русский из страницы в страницу проходит через всю книгу, славный смотр наших отцов.

Об очень значительных сведений биографических мало – все и так должны знать про Пушкина или Толстого. Но о меньших есть, не длинно, добросовестно. То же и с библиографией: о прославленных мало – один Пушкин занял бы целую книгу.

Но есть разные интересные черточки косвенно, как бы из биографии.

Еще в 1815 г. дядя Пушкина, Василий Львович, прочитал лицейское стихотворение Пушкина в заседании Общества, потом читал в 1817 г., но сам Пушкин не был еще тогда выбран не только в члены, но и в сотрудники Общества. Действительным членом избрали его лишь в 1829 г., и довольно неуклюже: одновременно с врагом его Булгариным (в «Московских Ведомостях» назвали Пушкина и Булгарина «корифеями» нашей Словесности!).

Вяземский настаивал, чтобы Пушкин от такого избрания («постыдного», как он выразился) отказался. Тот не отказался, но когда, позже, секретарь Общества Погодин просил его принять участие в трудах Общества – т. е., конечно, выступить с чтением, – уклонился. Сослался на то, что Булгарин в то же самое время «единогласно был забаллотирован в Английском клубе» (петербургском), «как шпион, переметчик и клеветник». Погодин очень огорчился, но Пушкина не переубедил.

Рано пробуждался в те времена у некоторых поэтический дар! Не только Пушкина-мальчика читались в обществе произведения, но и Тютчева пятнадцатилетнего Мерзляков тоже читал стихи, а через месяц Тютчев избран был в сотрудники («член соревнователь»). Пятнадцатилетний соревнователь! Но как будто тогда вообще было более раннее развитие: в 15 – 16 лет поступали уже в университет. Зато действительным членом Тютчев оказался только в 1859 году. (Очевидно, из-за временного закрытия самого Общества.)

По всему видно, что тогда Общество считалось выдающимся учреждением. Так оно и было, конечно. На его заседания являлись виднейшие писатели, профессора, ученые, дамы высшего круга общественного (довольно много было членов из ученого духовенства и монашества. Вплоть до знаменитого митрополита Москов. Филарета. Затем протоиерей, доктор богословия, А. В. Горский и др.).

Само избрание оценивалось очень высоко, митрополит Филарет (тогда, в 1818 г., еще еп. Ревельский) благодарит Общество в самых изысканных выражениях. В 1833 г. Гоголь пишет Погодину, что получил извещение о «вписании меня недостойного в члены О-ва Л.Р.Сл.; труды которого без сомнения слышны в Лондоне, Париже и во всех городах древнего и нового мира». Дальше приносит чувствительную благодарность самому Погодину и просит его «изъявить ее благородному сословию». Лондон и Париж – это

из той же области гоголевской, что и ширина Днепра, через который вряд ли перелетит птица, но что вес Общество имело тогда большой – бесспорно.

В первой половине столетия, при имп. Николае I, произошел какой-то перерыв в деятельности Общества, не знаю в точности причин, но вот при Александре II, в начале 1859 года, Общество опять выдвинулось чрезвычайно. Подумать только: были избраны Лев Толстой, Тургенев, Тютчев и Фет.

Мало того, что Толстой избран, он произнес в следующем же заседании речь в защиту чистого искусства! Да как же могло быть иначе с тогдашним Толстым, тотчас же по избрании предложившим Фета (его и выбрали 11 февраля).

Председатель собрания Алексей Степанович Хомяков ответил Толстому речью о важности «идейного» искусства. Позже читался в обществе отрывок из «Анны Кареннной» – после чтения отправили подписанную всеми приветственную телеграмму. Вообще Толстой того времени и сам посещал Общество, и всячески благодарил за знаки внимания и уважения (с 1885 г. он почетный член – прислал для сборника Общества «Три притчи»).

Что сказал бы о своей вступительной речи, об этом «чистом искусстве» Толстой поздний, мимо дома которого в Хамовниках не без трепета проходили мы, возвращаясь поздним вечером со «Сред» у Сергея Глаголя, в начале этого века, Толстой – автор статьи «Что такое искусство?..»

* * *

Случались, разумеется, и курьезы. Мерзляков, профессор Московского университета, один из основателей Общества, в присутствии Жуковского, сидевшего за тем же зеленым столом, прочел нечто против гекзаметров самого Жуковского, к великому ужасу председателя Антонского, который по окончании повел обоих к себе, подхватив под руки, и не выпустил до тех пор, пока они не помирились и не расцеловались (помириться с Жуковским было нетрудно).

Странным кажется и то, что членами Общества были: Е. С. Некрасова, домашняя учительница, и И. С. Некрасов, из духовного звания, но нет поэта *Н. А. Некрасова*. (Из знаменитых писателей нет только его и Лермонтова. Но тот слишком рано погиб.)

Думаю, высшей точкой жизни Общества был 1880 год, открытие памятника Пушкину. Речи Тургенева и знаменитая речь Достоевского были произнесены именно на заседании О.Л.Р.С. в Университете.

Маленькая нелепость случилась и тут, но вряд ли дошла до публики. Достоевского забыли известить, что он член Общества, – все это потонуло в громе аплодисментов и восторгов, изливавшихся на него. Но он-то не считал себя членом Общества! Мелочь, рисующая чем-то прежнюю Россию: богатую великими дарами и бедную секретарями. (После речи его тотчас же избрали почетным членом Общества.)

* * *

Во время моей молодости, в воздухе символизма, импрессионизма и всяческого модернизма, О.Л.Р.С. не играло уже той роли, как прежде. В молодежи считалось оно чем-то университетски-профессорским, несовременным и скучноватым, как «Русские Ведомости». Мы, начинающие, больше занимались настоящим и будущим, чем прошедшим. Пример: 50-летие со дня кончины Гоголя и Жуковского, в 1902 г., было отмечено Обществом: торжественное собрание, выставка книг, портреты обоих писателей (Жуковский умер через полтора месяца после Гоголя) – и вот ничего этого не помню, очень мало и говорили об этом, хотя председателя тогдашнего, проф. А. Е. Грузинского, я встречал на наших «Средах» у Андреева, Телешова и Сергея Глаголя. (Позже, в 1909 г., когда открывали на Пречистенском бульваре памятник Гоголю, Общество выступало заметнее, но тогда я сам уже был членом его, и на всех торжествах присутствовал.)

Из тогдашних писателей многие были членами Общества. Леонид Андреев, Бунин, Вересаев, разумеется, Чехов и Горький. Немало и менее известных (а ныне вовсе неведомых). Символистов и «декадентов» меньше, все-таки числились Мережковский, Бальмонт, Брюсов и даже сверстник мой Андрей Белый (больше из-за того, что москвич, «наш», сын московского проф. Бугаева. А вот Блока не было).

Собственное мое избрание, в 1907 году, прошло для меня незаметно. Отозвалось в душе очень мало – интересно было другое.

Но свое вступительное чтение хорошо помню, несколько позже, в 1909 году. Так полагалось: новичок должен произнести речь или прочесть что-нибудь свое.

Мы только что вернулись из Италии, я привез из Рима рассказ «Сны». Его и читал, в старом здании Университета, в старинной аудитории, низенькой, с толстыми стенами, небольшими окнами, но обжитой, скромной и «порядочной» какой-то, как ненарядны, но основательны, прочно-интеллигентского тона были и слушатели – верней слушательницы, больше немо-

лодые дамы просвещенного круга, профессора. Из писателей помню И. С. Шмелева, тогда еще не члена Общества – его выбрали позже. Молодежи почти никого.

* * *

Ровно полвека прошло с тех пор. То, что вызывало тогда так мало внимания, теперь, из чужой страны, в жизни, фантастически изменившейся, кажется совсем другим. И вот, наткнувшись случайно на список ушедших, на краткие хотя, но все же указания о жизни их, деятельности, испытываешь волнение. Девятнадцатый век русской литературы! Как бы оживает нечто. Некая цепь является нашей культуры, со звеньями золотыми, немеркнущими. Кому сколько было дано, все трудились в деле мирном и возвышенном. Одни скромно ушли, другие прославили нашу Родину, и их посмертно издают теперь по всему миру, изучают во всех университетах Европы и Америки. Но все – труженики достойной нивы.

Грандиозное кладбище. И Общества давно нет, и сочлены в могиле. Разве может это не волновать последнего оставшегося в живых?

ПАСТЕРНАК О СЕБЕ

«Русская мысль» начинает на днях печатать «Автобиографический очерк» Пастернака. Излишне говорить о блестящем таланте автора – «Доктор Живаго» прошел по всему миру триумфально. Слава писателя заслужена – долгой жизнью в искусстве, в воздухе независимости (в одной из несвободнейших стран мира!), заслужена упорством и духовной честностью поэта, до зрелых лет сохранившего удивительную живость духа, некую метафизическую «молодость». (Давно сказала о нем Анна Ахматова: «В Пастернаке навсегда останется юность» – и угадала).

В «Автобиографическом очерке» с простотой и скромностью говорит Пастернак о своих молодых годах. Есть как бы и пропуски, не все и не обо всем можно говорить в условиях его жизни. Но заметки эти дают воздух той «фактической» молодости, в коей он возрастал. Москва того времени, культурно-интеллигентский дом, отец художник-портретист, близкий к Толстому, его изобразитель и иллюстратор «Воскресения».

Мать – отличная музыкантша. С детства мальчик в высоком окружении – отец близок с Толстым, в доме бывает цвет московского просвещенного круга, поэзия, живопись, музыка

сами собой вливаются в душу. (Одно время Борис Леонидович собирался даже стать музыкантом. Но поэзия взяла верх.)

Гуманитарно-христианский дух впитывался бессознательно. Где-то на горизонте и Владимир Соловьев, и Скрябин.

Юные годы самого Пастернака прошли под знаком очень левых литературных устремлений. Отголоски этого сохранились и в «Докторе Живаго». Но с годами от имажинистско-футуристических увлечений он отказался, сам сейчас строго судит хаос юных своих писаний. «В годы основных и общих нам всем потрясений я успел, по несерьезности, очень много напутать и нагрешить. Как странно и непоправимо грустно, что не одну Россию, а весь «просвещенный мир» постиг этот распад форм и понятий в течение нескольких десятилетий».

Суд его над собой чрезмерно строг. Никогда не был он «несерьезен», всегда, конечно, увлекался, а в молодости неукротимы были хаотические силы естества – к зрелости улеглись, и вместо Маяковского и желтых кофт появилась «Рождественская Звезда» и «Гефсиманский сад» – в стихах, а в прозе – «Доктор Живаго», где в обновленных серебряным веком формах, далеких от литературного передвижничества, перекинулся новый и неожиданный мост к золотому веку нашей литературы, девятнадцатому.

Мост этот – в том духе человечности, каким проникнут роман. Человек – образ Божий, и это важнее того, каких он мнений, левых или правых. Конечно, коммунисты, проклиная Пастернака всячески, не могут простить ему, что он выше пропагандных поделок. Но такая выпала уж ему доля – быть одиноким, молчаливым борцом за свободного человека. И самому – быть истинно человеком, т. е., зная свое высокое происхождение, сознавать и свои недочеты и промахи. С детства еще запал ему в душу облик Толстого, того Льва Толстого, который до старости не мог забыть прегрешений своей молодости.

«Автобиографический очерк» приоткрывает дверь. За этой дверью – первые жизненные шаги будущего первостепенного писателя.

КОНЧИНА ПАСТЕРНАКА

Передо мною письма Пастернака, – его размашистый, широкий почерк, его всегда летящая и молодая душа, порыв, полет, Ахматова была права: сказала, что он вечно будет молод. А смерть все-таки пришла, захватила в самом расцвете. В письме

от 28 мая 1959 г. пишет он: «И только этот баснословный год открыл мне эти душевные шлюзы» (возможность общения с Западом – он писал о «Фаусте» в Штутгарте, по-немецки, вел переписку с Гейдельбергским Университетом, из Лондона предлагали ему написать о Рабиндранате Тагоре, и т. п.). Да, «баснословный» год. Нобелевская премия, «Доктор Живаго», мировой успех, слава на Западе, глумление и издевательство на родине. Исключение из Союза Писателей, невозможность получить премию в Стокгольме, даже вынужденный отказ от нее! Какие-то издатели наживаются, а он сидит в своем Переделкине и, вероятно, еще Бога благодарит, что не находится в Тундрах Севера.

Но и «баснословный» этот год так недолог! «Вкушая, вкусих мало меду и се аз умираю». Последнее его письмо – 11 февр. 1960 года – день его рождения. Письмо полно энтузиазма, любви, полно и жажды творчества. Он пишет теперь пьесу. Я знал об этом и писал ему о трудностях формы, желая всяческого успеха. Он отвечает: «Но Вам, лично Вам, хочется мне сейчас... клятвенно пообещать и связать себя этой клятвой, что с завтрашнего дня все будет отложено в сторону... работа закипит и сдвинется с мертвой точки».

Работа закипела, но и болезнь закипела. И вот передо мной не письма, а фотография: Борис Леонидович в гробу, то спокойное, неземное выражение лица, какое бывает у умерших. Намаялся, наволновался! А теперь вечный покой. Цветы, супруга его стоит, сын, очень его напоминающий. И на руках, вероятно в открытом гробу, как принято было в России еще в моем детстве-юности, по-деревенски, понесут его на небольшое кладбище близ той церковки, которую он видел из окна своего и куда иногда ходил.

Вот так он и ушел от нас. В четверг его похоронили. Чувство одиночества еще усилилось. Как о писателе не могу сейчас говорить о нем. Просто склоняюсь перед прахом с волнением и любовью. «Упокой, Господи, душу усопшего раба Бориса».

УХОД ПАСТЕРНАКА

В конце 1959 года Пастернак задумал писать пьесу. «Пожелайте мне, чтобы ничто непредвиденное извне не помешало ходу и, еще очень отдаленному, завершению захватившей меня работы. Из поры безразличия, с каким подходил я к мысли о пьесе, она перешла в состояние, когда баловство или попытка становится заветным занятием или делом страсти». В февральском

(60-го г.) последнем письме он пишет об этом новом своем замысле: «Но Вам, лично Вам хочется мне сейчас свято и клятвенно пообещать и связать себя этой клятвой, что с завтрашнего дня все будет отложено в сторону... работа закипит и сдвинется с мертвой точки».

Работа наверно и закипела, а судьба вела свою линию. Не знаю, успел ли он написать эту пьесу, но жизнь катилась к концу с той же стремительностью, с какой летят строки его писем, с какой всегда летела его душа. Есть жизни медленные, спокойно развивающиеся, есть катастрофические. К Пастернаку не шла никакая медленность и плавность. Весь он был полет и стремление, и изменение, и молодость. Ахматова давно и правильно о нем сказала, что он до конца пребудет юным. Да, он и остался, несмотря на возраст.

Я в Москве мало его знал. Однажды, в 22 году, он принес мне отрывок своей прозы. Мне его проза понравилась и тогда (и сам он понравился): написано было крепко, мужественно, никаких вычурностей, но вполне своеобразно, крупнозернисто и ни на кого не похоже. Это тем более странно, что в те времена, по пылкости своего характера и влечению к «новому», он увлекался даже футуризмом и дружил еще с Маяковским.

Потом надолго я потерял его из вида. Настоящая встреча – заочно – произошла только теперь, в эпоху «Доктора Живаго». Тут обнаружилось: не только бурность, но и глубина оказалась в нем. Долгий, скрытый, тайный внутренний путь проделал он за годы революции. «Царство Божие внутрь вас есть», и произрастает, как зерно горчичное. Будто бы незаметно, а меняет. Этот Пастернак был уже другой. Этому Маяковский уж никак не подходил. Со свойственной ему страстностью он даже ужаснулся – его ранние метания показались ему теперь чуть не преступными. «Я успел, по несерьезности, очень много напутать и нагрешить». «Грех» у бывшего приятеля Маяковского! Но вот оказывается – чуть не самобичевание (какой возврат к золотому веку русской литературы!).

Теперь не мир крикунов, а Христов мир приоткрылся ему. Чтобы написать «Доктора Живаго», надо было много пережить и перестрадать. То, что накоплялось в душе, излилось в этом замечательном произведении, романе поэта, а не объективного романиста, бытописателя эпохи. Пастернак неизменно присутствует в нем лично, иногда заставляет героев своих говорить явно по-пастернаковски, но сам он настолько крупен, горяч, заразителен, что покоряет вполне (я вторично прочел весь роман вслух – он выдерживает, не тускнеет и не умаляется).

Не думаю, чтобы мировой успех романа зависел только от политики. Даже сквозь переводы нечто дошло до иностранной интеллигенции, покорило, а потом уже повело за собой массу (восторженные статьи, радио и т. п.).

Сам Пастернак назвал в письме ко мне год Нобелевской премии «баснословным». Это и было так, конечно. И отвечало доброму вулканизму его натуры. Ему суждено было в жизни лететь, и он летел, со всем своим творчеством, планами, надеждами. Были, конечно, надежды сказать что-то в иной форме – пьесы, драмы. И казались надежды эти вполне осуществимыми. Его видели этой зимой в Переделкине, передавали, что он был бодр, очень оживлен, всем интересовался, произвел самое лучшее впечатление. («Только в движениях его была некоторая осторожность, точно он боялся за свое сердце».) А в общем очень, очень подходил к пейзажу русскому: лес, белочка, прыгавшая по соснам, стряхивая снег, простор.

И вот оказалось все столь быстролетным. Как бы «расплата» за гром мировой славы в этот «баснословный» год. «Расплата»... – но он ничем не провинился, напротив, вознес русскую литературу, имя русского писателя.

Не нам понять тайны судеб, но к полету Пастернака все же идет и уход внезапный, в самом расцвете.

Лицо его в гробу прекрасно. Да и весь путь открытого гроба из дому, на руках близких, мимо родных русских лесов, в сопровождении толпы молодых, простых русских лиц, и русский мостик деревянный над ручьем – по нему медленно движется процессия – все это превосходно и трогательно. Все говорит о глубокой связи с родной землей, родным народом.

Уход Пастернака горестен. Еще одиноче становится. Но и еще ясней, что не все укладывается в повседневную трехмерность. Есть нечто, выводящее в вечность и в высший мир света. Быть может, смерть, особенно такого, как вот он, особенно приоткрывает окно: само лицо Пастернака в гробу говорит о нетленном, вечном.

<СТАРЫЕ – МОЛОДЫМ>

Быть может, позволительно тем, кому не увидеть уже «все небо в алмазах», т. е. «старшим», пожелать чего-то русской ищущей и горячей, даже в блужданиях своих, молодежи.

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение...» Это не только для молодежи – это для всех: «в человеках благоволение». Значит: доброе расположение.

Юноши, девушки России, несите в себе Человека, не угашайте его! Ах, как важно, чтобы Человек, живой, свободный, то, что называется личностью, не умирал. Пусть думает он и говорит своими думами и чувствами, собственным языком, не заучивая прописей, добиваясь освободиться от них. Это не гордыня сверхчеловека. Это только свобода, отсутствие рабства. Достоинство Человека есть вольное следование пути Божию – пути любви, человечности, сострадания. Нет, что бы там ни было, человек человеку брат, а не волк. Пусть будущее все более зависит от действий массовых, от каких-то волн человеческого общения (общение необходимо и неизбежно, уединенность полная невозможна и даже грешна; «башня из слоновой кости» – грех этой башни почти в каждом из «нашего» поколения, так ведь и расплата же была за это), – но да не потонет личность человеческая в движениях народных. Вы, молодые, берегите личность, берегите себя, боритесь за это, уважайте образ Божий в себе и других и благо вам будет.

Вы, молодые писатели родины, вступающие на наш путь, оглядывайтесь на великих отцов ваших, создавших истинную славу России: на золотой наш литературный век, на облики Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова – художников вольного слова, открытого всем сердцем, ибо братски открыты были их сердца. Ни указки, ни палки! Вольное излияние, обуздываемое лишь самим собою, проверяемое, обрабатываемое (не щадя сил, подобно тому, как работал Толстой над «Войной и миром», Гоголь в Риме над «Мертвыми душами»). В тишине, незаметности возрастало великое, на раскладном столе римской комнатки Via Felice писались эти «Мертвые души», за гроши продавал Достоевский мировые свои вещи до прихода мировой посмертной славы.

Любите наше дело. Если вы писатели, для вас главное – любить писание, и самим над ним и мучиться, и радоваться, ни с кем, ни с чем не считаясь.

Вот мои слова к вам, неведомые сотоварищи, неведомое юношество России. Никаких открытий, ничего необычайного. Но есть правда, хоть и известная, а повторять ее следует.

Посылаю эти слова в чувстве благоволения, не как поучение какое-то, а как братское обращение старшего.

«ВОСЕМЬДЕСЯТ СТУПЕНЕЙ»

За это последнее время я получил очень много приветствий, иногда весьма трогательных, всегда полных благожелания. Чувствую себя в долгу перед теми, кто словом и делом выказал мне сочувствие, привет, иногда даже и более горячие чувства. Не имею возможности всем ответить в отдельности, потому позволю себе самым сердечным образом поблагодарить и здешних, и заморских друзей – волна благожелания очень поддерживает и дает некую бодрость.

«Восемьдесят ступеней», сказано в одном письме. Число, конечно, немалое, и повод, чтобы взглянуть, хоть и очень бегло, на собственную жизнь, и на жизнь родины.

Поколение мое юностью своей захватило еще мирный мир – или казавшийся мирным (в нем скоплялись, конечно, силы взрыва: войн, революций, крови).

Мы, русские, принадлежавшие к среднеинтеллигентскому, отчасти богемскому литературному кругу, росли в воздухе искусства, видели много красоты, поклонялись Италии и ее свету, но во многом были детьми, недостаточно знавшими низы жизни и мало ими интересовавшимися. Хотелось написать что-нибудь – рассказик, повесть (не для счастья человеческого, а так, бездумно, для собственного удовольствия), съездить еще раз во Флоренцию, в Москве посидеть с Буниным в ресторане «Прага». Ничего жертвенного или там героического.

А жизнь страны шла своим путем, да и всей Европы своим – в 14-м году и началась катастрофа. Мир вступил в полосу неслыханных бедствий. Низы показали себя. Но и мы за что-то ответили – за слишком легкую, беззаботную жизнь (это и есть покаянная нота «Золотого узора» моего: может быть, недостаточно выраженная, во всяком случае недостаточно замеченная).

Нечего говорить: какие бы мы ни были, мы все-таки много перестрадали, и самое зрелище крови, убийств, насилий навсегда осталось в душе раной. Погибали близкие, молодые, чаще всего безответные – безвинно. Горестно вспоминать о том времени. Но ужасы, беды тех лет, показавших зверя в человеке, показали зато, в стенаниях души, и высший, немеркнущий мир Спасителя, Евангелия, мученической Церкви в особо ослепительном, как бы Фаворском свете. Это – выше искусства и поэзии (но настоящему художеству дает луч света своего).

И вот, так или иначе, через одни двери или через другие, оказались мы здесь. Жили, трудились, кто как умел, старались хранить святыни, вынесенные из пылающей Трои: религию, чело-

вечность, свободу. Годы шли. Много соратников ремесла нашего литературного ушло, из моего поколения остаешься чуть не один. Что сказать, когда вся жизнь позади? От горя и испытаний никуда не уйдешь. Они неизбежны и ведут к неизбежному.

Но про самую жизнь скажу все же прежнее: рядом с ужасом есть в ней и свет, и любовь, и тишина. Они поддерживают и укрепляют. И они исходят из мира высшего. Не было бы в жизни смиренных и кротких, любящих и несущих себя другим, возможно, увидели бы мы зверинец. Но видим пеструю, с тенями и светом, таинственную картину мироздания, понять которую нам не дано, но на каждого из нас возложено – вносить в нее хоть каплю добра.

Когда человек молод, окружен молодыми, живет стихийно, в мажоре, он менее замечает страдание и беду. Старость восстанавливает равновесие. Может быть, даже сгущает тени. Видишь почти что одно страдание, горе, смерть. Знаешь, что все это неизбежно и неслучайно, и все-таки равнодушным остаться не можешь.

Вот и хочется послать некое братское радио, сигнал сочувствия и сострадания всем страждущим, болезнующим, одиноким, в тюрьмах и заключении томящимся, всем озлобленным и несчастным, потерявшим надежду и ропщущим – как бы слиться хоть на минуту со всем племенем бедствующих. Да подаст им Господь силы и облегчения, веры, надежды и любви.

НЕПРЕХОДЯЩЕЕ

I

Я давно знал, что Тургенева в России много читают. Даже очень много. И всегда радовался, что вот такое «настоящее», без крика и барабанов, доходит до души моего народа.

Есть мнение – в высшей элите России теперешней, – что сейчас Тургенев даже очень там нужен, более чем другой какой классик XIX века. Почему? Потому что незаметным образом, но неотвратимо, вносит обликом своим и писанием дух высокой культуры, необходимой для входящего в жизнь умственную человеческого множества (прежде немого). Можно Тургенева больше ценить или меньше, но нельзя оспаривать благородства его фигуры, голубоватой тишины его писания, рыцарского отношения к женщине, родства с Петраркой в переживании любви.

Думаю, что советского читателя тянет к Тургеневу прелесть иного мира, чем повседневность (доярки, колхозы, «догоним и

перегоним» и т. п.). Доходит и веяние поэзии, самопроизвольно сочащейся из его писаний. Уверен и в том, что высокий мотив любви очень многим близок, молодым – особенно женским сердцам. Лиза Калитина весьма мало похожа на комсомолку, но есть у меня чувство, что многих юных, а может быть и комсомолок, трогает она, в ней ощущают они, пусть бессознательно, дальнюю сестру. Да, это из другого, «устарелого» мира, совсем даже ушедшего. Склад жизни изменился, а звук души остается. Через столетие тихая, грустная и прозрачная свирель Тургенева отзывается в нынешней русской душе, казалось бы, полной спутниками, Гагариными и мировым коммунизмом.

Сейчас печатается в России новое издание сочинений Тургенева, в двадцати восьми томах – тринадцать томов писем. Первый из этих томов у меня есть. Издание Академии Наук. Письма с детских лет до 1850 г. Почти половина книги – примечания и объяснения. Издано превосходно. Труда, любви к делу и автору – уйма. (Когда я тридцать лет назад писал «Жизнь Тургенева», были известны всего 4 – 5 томов его писем.)

Незадолго до нынешнего было простое издание, в одиннадцати томах. Триста тысяч эти расхватали тотчас. Все-таки, перед подпиской на новое академическое призадумались. Ведь только что вышло то, прежнее. Не насыщен ли рынок? А это в двадцати восьми томах, научное... Все же рискнули. И в короткое время 220 тысяч подписки.

* * *

«Та мартовская ночь запомнилась хорошо. Случилось четыре события: был небывалый 32-градусный мороз, подписка на Тургенева, открытие ГУМа и расстрел Берии». (Очерк из советской жизни Аллы Кторовой.)

Вот в какую компанию попал Тургенев! Что такое ГУМ, я по невежеству своему не очень знаю – подозреваю кое-что, но не уверен. Насчет мороза и Берии уверен. Расстреляли его после смерти Сталина, так что похоже, что подписка была именно на 28-томное издание.

Как некогда за билетами в Художественный Театр или на Шаляпина, тут в три часа ночи советские девушки «Ленка» и «Алка» стоят в очереди «к Тургеневу», на жестоком морозе. Солянка, хвост, их номера три тысячи пятьсот с чем-то. Мерзнут, но ждут. Из дому прибегает искать «домработница» Нюрка. «Осатанели вы, девки, ну, прямо осатанели. В такой-то мороз чтоб шалью не покрыться, да вторых штанов с валенками не надеть». Нюрка эта – они называют ее «домрабыня» – при-

носит им вещи, становится в очередь на их места, а их гонит в парадную: «Переобуйтесь».

Все это прелестно. И то, как она их ругает – «всю зарплату на книжки тратят», а «полон дом книжек энтих», «барахла», – и то, что «осатанелых девок» гонит домой, а сама к «барахлу» стоять будет, и то, что другие осатанелые тоже стоят на морозе «к Тургеневу».

На обложке первого тома писем отличный портрет Тургенева – изящный старый барин, очень красивый, выхоленный, спокойно сидит в кресле. Может быть, у него скоро будет припадок подагры, но пока он величественно прекрасен, добр и покоен. И если бы ему сказать, что почти через сто лет восторженные девушки вовсе не из «Дворянского гнезда» (да не одни девушки, были в очереди и из нашего, мужского, сословия) будут на морозе предрассветном ждать...

– «Осатанелые девки».

Ничего подобного он и представить себе не мог. Да и как представишь? Нигде, кроме России, «такого» произойти не могло. Если бы чудом, сквозь могильный мрак, мог увидеть это Иван Сергеевич Тургенев...

II

В 1913 году мой друг, знаток и любитель Италии П. Муратов, подбил меня взяться за «Божественную Комедию».

– Ты переведи прозой, строка в строку... ну, знаешь, прозой ритмической... не ямбы, конечно, или хореи... а ведь у прозы есть свои ритмы, сложнейшие. Знаешь, это лучше выйдет, чем терцинами. И к тексту ближе и дух дантевский лучше передастся. А я напишу вводную статью и примечания. Издатель есть – К.Ф. Некрасов.

Убедил. Я Данте всегда очень превозносил. Со страхом Божиим и засел за перевод.

Все вышло не так, как предполагалось. Началась война. Муратов сразу на войну ушел, артиллерийским прапорщиком. Тут не до Данте.

Мой черед воевать еще не пришел, но в Москве жить литературой стало уже трудно, я отступил в именьице отца, на заранее приготовленные позиции.

В деревенской тишине Данте выплыл величественно. На моем письменном столе стоял его бюст, он глядел на меня каменным взором, а я работал над «Адом», ежедневно – словари, Дантевская энциклопедия, Краус, Скартаццини, чего только не было.

Подошла революция, а я все сидел над Данте. Что за власть такая его оказалась надо мной? Бушевала война, потом революция, страшные вещи, кровь, насилия, трагедия в нашей семье... – а он все глядел на меня загробно. Я не мог от него отделаться. Но он и помогал жить. Были очень тяжелые времена, мы вечно находились под угрозой, случалось прятаться, потом опять возвращаться, но из бюста его на моем столе, как и из итальянского текста, исходило нечто непреходящее, подымавшее, тянувшее вверх.

Я переводил «Ад» пять лет. Из Притыкина он переехал в скромной рукописи, испещренной поправками, в Москву, из Москвы в 22-м г. ушел на Запад, в Париже во время немецкого владычества и англо-американских бомбардировок спускался в подвалы, но выходил невредим. Еще год я проверял строчку за строчкой перевод, и опять прикосновение к великому поддерживало в убожестве. Умер Муратов, умер Некрасов, первый довоенный издатель, – не успев издать. Умер Гржебин – второй издатель, тоже не издавший, скончалась уже здесь Т. С. Конюс-Рахманинова, у которой было в Париже издательство «Таир», – и она собиралась Данте издавать, но издательство закрылось. А вот рукопись цела, теперь вся набрана и сверстана, много листов напечатано и как будто осенью выйдет.

Тут вспоминаю Пастернака. «Ни разу не позволяли мне предпосылать этим работам (переводам. – Б. З.) собственных предисловий» (28 мая 1959 г.). Я оказался счастливее. И предисловие, и примечания – все мое.

– Значит, ваш перевод лежал сорок три года? – говорит собеседник.

– Да. И еще все-таки посмотрим, когда выйдет. А знаете, сколько ждал автор? Я-то что: только переводчик. Да, автор...

Мережковский считал Данте патроном и покровителем всех изгнанников – это и верно. Верно, что Данте был полунищим в чужих краях, пешком уходил через Казентин подальше от Флоренции, неся в суме за плечами песни этого самого «Ада». В списках «Ад» знали (немногие) еще при жизни поэта. В конце ее, обосновавшись несколько в Равенне, он кончил «Рай». («Чистилище» написано в промежутке). В 1321 г. умер, окончив этот «Рай» (как Достоевский: кончил «Братьев Карамазовых» и умер). Но «Чистилища» и «Рая» уже почти никто не знал при его жизни.

«Божественной Комедии» пришлось ждать Гутенберга. Лишь в 1478 г. была она напечатана в Венеции – издание, если не ошибаюсь, Альдо Мануция, великая редкость теперь и ценность великая.

Данте погребен в Равенне. А «Божественная Комедия» выдержала после его смерти до наших дней четыреста изданий в одной Италии.

* * *

Он родился в 1265 году. В 1965 году будет ему семьсот лет. К великому моему удивлению, в России готовят к этому сроку полное собрание его сочинений.

– И трактат «De Monarchia»?

– Ну, что же, это все так давно было.

Вряд ли «Алки» и «Ленки» будут стоять на морозе в очереди к Данте. Но то, что великого христианского поэта издают в стране, где власть считает христианство врагом...

ПУТНИКАМ В РОССИЮ

К вам, молодым, едущим посетить Родину, эти строки старого, выросшего в *той* России и отчасти знающего *эту*.

Вы жили в воздухе Запада, может быть, и родились здесь, но вы русские.

Вы будете в новой, теперешней России, выросшей из страшной катастрофы – будете видеть новое. Одно, может быть, вам понравится, другое – нет, но хотелось бы, чтобы о прежней докатастрофной России вы хоть немножко более были осведомлены.

Что такое Россия XIX века? В отношении литературно-духовном Поль Валери ставит ее рядом с древнегреческим расцветом и итальянским Возрождением. Но в более общем плане: нечто гигантское, противоречивое, где рядом с высочайшей культурой уживалась и великая бедность и непросвещенность. Страна, лишь в 60-х гг. отменившая рабство, но введшая такие суды, которым Европа могла завидовать.

В восьмидесятых годах, в детстве моем деревенском, я был еще окружен откликами крепостного права и некоего патриархального мира. Няньки мои видели крепостничество. В народе – некая и наивность, и малограмотность – в общем необъятное поле, на котором уже начинала трудиться интеллигенция: земство, учителя, учительницы, врачи. Во времена Чехова (90-е гг.) все это сильно росло, и сам Чехов, как *русский писатель* кроме литературы неизменно служил народу – как врач и общественный деятель. А Толстой? Борьба с голодом? Но все это делалось скромно и без всякой рекламы. Вот именно так же, без

крика и пропаганды, давала Россия великую литературу, музыку, религиозно-философское движение начала этого века, в сопровождении движения литературного («серебряного»). На уровне ином, тоже без самовосхваления, незаметными сельскими учителями и учительницами, земскими врачами, рядом с великими писателями вносила Россия свое, посильное, в дело культуры и просвещения народа. Культура эта росла. Проникало православие и в интеллигенцию. На моих глазах многое менялось. На моих глазах, после многих колебаний власти, народ получил, пусть несовершенное, все же представительство, зачатки европейского строя в политике. Власть делала свои ошибки. Была несчастная японская война, было 9 января с Гапоном и бессмысленной стрельбой, было упрямство в отстаивании пережитков, все же Россия неудержимо шла вперед – и в просвещении, и экономически. Перед войной 14-го года в центральных губерниях почти осуществлена была всеобщая грамотность, а сельское хозяйство и промышленность росли гигантски.

Не думайте, что прежняя Россия была просто варварской, полудикой страной. Да, на окраинах дичь, в столицах тонкий слой очень высокой культуры, а в общем смесь просвещенности с хаосом, искусства с революционным подпольем, религиозности и религиозно-философских исканий с чиновничеством от религии – молодой, могучий, ищущий народ, стоявший на пути правильном: культурной эволюции. Ей мешали косность власти и яростность революционного подполья. А потом подошла война 14-го года (есть мнение, что она вызвана была Германией и кайзером из опасения роста России). То, что произошло после войны, остановило мирное развитие. Все пошло по-другому – трагически.

Россия до войны была, конечно, не какой-нибудь сладостной идиллией, но совсем и не тем, чем пропагандно изображают ее теперешние властители. И одно можно сказать: при всех ее (наших!) грехах, в прежней России не было наглости – это бесспорно, на всех уровнях ее культуры и государственности. Россия была скромна. Иной раз даже чрезмерно.

Вы с волнением, конечно, увидите русские края, вас, конечно, будут обрабатывать и вбивать вам в голову, что *все* сделано *новою* властью. Хорошо бы не поддаваться рекламе. Будут щеголять отделкой метро московского, даже Соборами – как будто они их строили. Много расчистили фресок, но не ими фрески писаны. А что снесен храм Христа Спасителя, чей позлащенный купол виден был за десятки верст от Москвы, как купол св. Петра в Риме, про это никто вам ничего не скажет. Что нет Су-

харевой башни, нет Иверской часовни, куда несли русские люди свою беду и слезы, где молились, подкрепляя общением с высшим миром силы свои, – обо всем этом молчок (или презрительная усмешка: все дело в ракетах, спутниках и т. п.).

Недавно мне подарили монографию об Андрее Рублеве. Советское издание, великолепно сделанные снимки. Вводная статья не упоминает, что Рублев нравился Марксу и Ленину (а вот «Божественную Комедию» подкрепили все-таки Энгельсом – очень одобрял! – дали путевку в жизнь переводу Лозинского). Статья о Рублеве обыкновенная, толково написанная. В России есть знающие искусствоведы, любящие свое дело, как и литературоведы.

Тираж этого Рублева... 10 тыс. экз. Значит, главнейше (если не исключительно) для заграницы. «Своим» книги и не понюхать, а перед иностранцами щеголять очень приятно. Даже Рублевым щегольнуть, прославленным иконописцем (врагом, собственно) – ну, что же, пусть иностранцы думают, что «мы» и культурны, и веротерпимы.

Во времена моей молодости, довоенной, мы читали и получали все иностранные книги и газеты. Россия не боялась Запада, хотя политический ее строй был не западный. Теперь увидите вы на этой выставке в Москве *один* экземпляр «Матча» – с портретом Гагарина на обложке! Выставлено будет под стеклом, как икона, а прочесть, что в «Матче» этом написано, нельзя. Не дозволено.

Менее всего дозволено *самому* думать и чувствовать. Все надо делать по указке и «плану». Знаю, что многим, очень многим просвещенным людям в России это не нравится, и верю, что не всегда будет так. Уже сейчас трещины есть и взаимное просачивание, общение растет. Нельзя вечно держать великую страну за колючей проволокой и вечно бояться Запада. Но все это идет медленно. Вы, молодые, может быть и увидите нечто.

Пишу строки эти не как «поучение», а как дружеское обращение. Знаю, что в России много есть хороших и душевных людей, и как бы хотелось, чтобы вам удалось установить с ними связь культурную и духовную. И как хорошо было бы, если бы вы не забывали о великой, вечной России, где многое переделано, в некоторых областях достигнуто (технике, напр.), но ее основная сила, незыблемая как творения Рублева, да останется: творчество в скромности. Хорошо было бы, если бы вы не поддавались крику и самовосхвалению загонщиков, а глазами трезвыми и с сердцем, полным

любви к Родине, отличали бы драгоценное от мусора, вечное и великое от наглого обмана.

О, вей, попутный ветр,
Вей тихими устами
В ветрила кораблей.

Это из Батюшкова. В ветрила ваших кораблей. Из дальней глуби русской поэзии идет это вольное напутствие в вашем волнующем странствии. Несите на Родину Европу русскую. Выносите из русской земли нечто, как снопик скромный овса с могилы Пастернака.

А крики, самохвальство и ложь – да минуют вас. Будьте к ним глухи.

ТРИ КОМЕТЫ

(Слово на Пушкинском вечере)

Шестнадцатый век, восемнадцатый, девятнадцатый. Три века, три в них кометы, неизвестно откуда взявшихся, в Вечность унесшихся. Кометы живописи, музыки, поэзии. Рафаэль, Моцарт, Пушкин – наш Пушкин, русский, мы и собрались сегодня поклониться третьей этой комете: сто двадцать пять лет тому назад Пушкин скончался.

Общая и бесспорная всех троих черта: залетность. И почти одинаковая длина жизни – краткой! Моцарт – тридцать пять лет, Рафаэль – тридцать семь, Пушкин – тридцать восемь. Есть общее и в трагичности судеб, но у каждого свой оттенок. Есть общее и в художестве, но каждый – особенный, неповторимый.

Рафаэль молод – казалось бы, вечно молод, старым его не видишь: блестящ, красив, знаменит. Его любят папы и кардиналы, дамы знатные и простые трастеверинки. Богат, мирен, мягкого нрава. Воздушно-мягки, нежны и творения его. Будто все ему улыбается, весь мир приветствует, и под всем этим... «Но помни, смертный...» Да, внезапно, какая-то болотная лихорадка – голос рока. Несколько дней – и нет его. Улетел туда же, откуда явился. Только прах в Пантеоне римском. «Но помни, смертный...»

На рю Франсуа Мирон в Париже есть старинный дом, на стене внутреннего двора барельеф – изображен Моцарт. В этом доме жил он мальчиком, уже давал концерты. Так нечто инфантильно-божественное и в музыке его сохранилось. Какой-то вечно-священный младенец, сходят к нему райские звуки, столь же

невесомые, как фигуры апостолов и мудрецов в «Афинской школе» Рафаэля (Ватикан). Но младенец этот вовсе не так беззаботно блестящ, как Рафаэль. Напротив, болезнен. Туберкулез снедает его, жизнь нелегка, никакого блистания Рафаэлева, тесно с деньгами, тяжко с женой, сильно его угрызающей. И тоже безвременная кончина и воистину трагические похороны: холод, метель, и один-единственный человек за гробом, да и тот не дошел до могилы, так выла метель. Гения похоронили одни могильщики.

Наконец, тот, кто вот вызвал на мгновение великие тени. Вот и наш Пушкин, тоже тайком похороненный в дальнем монастыре, – один Александр Тургенев провожал его! Тоже рано, еще отроком прогремел в Лицее, двадцатилетним юношей прославился («Руслан и Людмила»), все время шел потом в гору как художник, при колебаниях славы, но все же быстро обогнал современников – Жуковского в том числе, Баратынского и других меньших. Как Моцарт, Рафаэль, тоже как бы с неба свалился, слил в себе Запад и его культуру с извечно русским, с некоей Ариной Родионовной символической и создал целую новую литературу, открыл собой блистательный XIX век нашей словесности – этот век сравнит позже Поль Валери с золотым веком Греции и Итальянским Возрождением, и все летя, летя. В Пушкине есть полет, это не гётевская мерная поступь – о, тот чувствовал, что его путь долог, он кометой не был, а у Пушкина как бы предчувствие краткости – он был упорный и «взыскательный» художник, не баловался своим изумительным инструментом, выверял, менял, вычеркивал, – но был всегда в полете.

Очень многим отличался от двух других комет. При всей воздушности и легкости стиха был внутренне драматической натурой, опьяняли его страсти. Он был очарователен по уму, открытости душевной, блеску всего существа, но в нем сидели и семена будущей гибели. Не вижу ни Рафаэля, ни Моцарта на дуэлях – и не по одному тому, что другие времена были: сами они другие натуры. Представить себе Моцарта, вызывающего на дуэль! Рафаэль тоже не подходил для такого дела. А Пушкин не однажды вызывал сам... – вплоть до последней своей дуэли... Вообще трагическое сильней чувствовал Пушкин и был мужественнее, чем Рафаэль и Моцарт. Моцарт был верующим католиком, Рафаэль и Пушкин – полуязычники, полухристиане. (Пушкин в юности написал «Гавриилиаду», но предсмертная его исповедь потрясла самого священника.) Рафаэль как бы замыкал собой Возрождение, Пушкин открывал великий век. И удивительно: век христианнейшей литературы открыл поэт как

будто аполлинически-языческого склада. Но вот был в нем яд, отравлявший его язычество. Язычество не знало покаяния, а Пушкин знал.

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

(Толстой считал это замечательнейшим произведением. Но полагал, что для себя лично должен сказать: «...строк позорных»). Не за это ли так возлюбил Пушкина и Достоевский? Всеотзывность, всеотзывность... – отлично, но вряд ли за это можно так преклониться Достоевскому. А вот что «...милость к падшим призывал» – это уж опора и как бы даже заповедь для Достоевского. Это его мир. Но что вместилось это в таком полуафриканском, полуфранцузском (по культуре), а в конце концов великорусском Пушкине – загадка.

Загадкой остался он и для иностранцев. «Почему русские так превозносят этого поэта? В нем совсем нет «восточного», ame slave[1], как в Достоевском и Толстом? Для нас он что-то как бы известное уже, не экзотическое».

Тут, кажется мне, две причины: зерна того, что произросло позже в других великих наших писателях, были, конечно, в Пушкине. Все же главное в нем – чистое художество, творение ради творения. И удивительный инструмент. Но чтобы оценить это, надо, во-первых, по-настоящему воспринимать *чистое искусство*, второе – надо знать русский язык. Тут Рафаэлю, Моцарту больше «повезло». Их язык всемирен. Глаз и слух – для всех. Все могут в подлиннике оценить и живопись и музыку, в подлиннике ее воспринять. Пушкина надо переводить. Его много переводили и переводят. Есть отличные переводы (на итальянский – Ло Гатто и Вячеслава Иванова «Евгения Онегина»), – но прелесть пушкинского стиха невозможно дать на чужом языке.

Рафаэль и Моцарт – для всего мира. Пушкин – главнейше для русских. Или для иностранцев, вошедших в стихию русского языка (Ло Гатто, например).

Но тем более мы, русские, должны держаться за свою славу, за своего гения. Так оно и получается. Кажется, никого из писателей наших не любили в России так безоговорочно, чисто, светло, как Пушкина.

---

[1] славянская душа *(фр.)*.

Этот гость, залетевший к нам, повернувший всю нашу литературу, так и остался – более чем на столетие – неким сияющим столпом, ведущим за собой Россию.

УШЕДШЕМУ

В России мне не приходилось встречаться с о. Василием (он не был тогда священником и лекции читал не в Москве). И в эмиграции помню его еще штатским, на 10, boul. Montparnasse, где обитала тогда УМСА. Там выступал живописный Бердяев, Вышеславцев элегантный и о. Сергий Булгаков.

Многое говорилось, не помню точно о чем, но о «божественном», разумеется.

Василий Васильевич Зеньковский был вот какой: в очках, в сером костюме, приветливый и благосклонный, от слов его, от улыбки, всего существа исходило некое благоволение.

Оно прочно сидело в нем. Он и сам ученый, профессор, автор книг разнообразных (не мне судить о них, по существу, но то, что я читал, глубоко серьезно и как-то внутренно честно. Это чувствуется). Книги... – мало ли все мы, писатели, пишем книг, этим в сословии нашем не удивишь, а вот направленность к людям, сердцам человеческим, к молодежи – этого я у нашего брата мало встречал – у философов ли, поэтов, беллетристов – и сам дару такому завидую и ценю его высоко.

У о. Василия именно это и было. Его к людям тянуло, и не затем, чтобы навязывать им что-то, а чтобы передавать свет, знания, благодать. Но для этого надо иметь душу преемницу, душу передатчицу, вот тогда будет общение. Видимо, всегда влекло к этому Василия Васильевича Зеньковского, профессора, писателя и педагога в сереньком костюме. Неудивительно, что, будучи всегда христианином, он в некую минуту из профессора христианской философии, психологии обратился в священника о. Василия, в рясе и с крестом на груди. Ряса не помешала ему впоследствии написать ни «Апологетику», ни недавно вышедшего «Гоголя», ни разное другое, но она еще приблизила его к человечеству, на природную его склонность наложила особый, высшемистический оттенок. Вот он исповедует перед причастием, он должен ободрять, укреплять, утешать – тут особенное поле его делания. И это чувствуют. Сразу почувствовали в нем «пастыря доброго». Мягкость, сочувствие, излучение какого-то природного оптимизма, человечность – как нуждается в этом несущее крест человечество!

А когда говорил о. Василий в храме – всегда кратко, просто и содержательно – речь его доходила особенно.

Неудивительно, что он так сросся и с Русским Студенческим Христианским Движением – Р.С.Х.Д. Молодежь – его поле. «Вышел сеятель сеять» в юные души – он, глава всего Движения (одной из немногих надежд эмиграции). Глава не только формально, но душою и сердцем. Это чувствуют, разумеется, юноши, с разных концов Франции и Европы съезжающиеся на съезды, чувствуют, что они в верных руках. «Я по-настоящему у себя дома именно в нашем Движении», – сказал он мне как-то. Не сомневаюсь, что и для «них» он был неким краеугольным камнем. Настоящий, духом и телом пастырь.

Эти последние годы жизнь моя так сложилась, что о. Василии постоянно, с огромной внимательностью и неутомимостью, несмотря на годы свои и немощи, приезжал по утрам к нам со св. Дарами, причащать жену мою и меня. Иногда получал я небольшие записочки от него, что приходится несколько отложить из-за нездоровья. Но потом все наверстывалось, и этот старый, больной человек всегда входит с улыбкою и оживлением в наш дом, принося с собой Свет Христов. «Я встаю в шесть часов утра, и несколько работаю сначала...», говорил он. Так вот и начинался его труднический, во многом подвижнический и аскетический день.

Но настал час, когда ему самому, врачу духовному, пришлось отдаться в руки врачей плоти. Он оказался в госпитале – Божон. Шли слухи в нашем мирке, что дело серьезно. Так оно и оказалось.

Когда мы с дочерью навестили его в маленькой – все же отдельной – комнатке огромной «врачебной фабрики» за Porte Clichy, это был уже не тот о. Василий, который на моей квартирке говорил нам с женой, держа Чашу, вечные слова: «Пийте от нея вси, сия есть кровь моя Нового Завета...» Пред нами теперь полусидел, полулежал худенький, маленький человек, с трудом произносивший несколько слов. Но глаза его стали больше и красивее.

Нельзя сказать, чтобы он был заброшен, одинок в беде. За ним верно ходили и Н. К. Рауш, Т. И. Смоленская, И. Б. Чеснокова, О. С. Субботина и А. В. Морозова.

Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.

Мы обнялись на прощание и поцеловались – ему не так легко было и приподняться. Я знал, что это уже в последний раз.

Так оно и вышло. И в положенный день, в церкви на Olivier de Serres, земно поклонился я уже праху его в гробу.

«Вечная память...» пел тогда хор. Он правильно пел. Да, вечная ему память.

ДНИ

<Записи 15, 17, 19 марта 1963>

15 марта

Только что вычитал у Некрасова (не старого, а теперешнего): советский памятник Гоголю так не нравится, что он старается даже не проходить мимо него, лучше уж выбрать другой путь.

В 1909 г. открывали мы прежний памятник (работы Н. А. Андреева). Были торжественные заседания, речи, прием в Думе, шампанское всю ночь, весь блеск и ширь тогдашней Москвы.

Николая Андреевича Андреева я хорошо знал, сам позировал ему для бюста, он и маску мою сделал, очень изящную и тонкую. Был он сильный, бородатый с рыжизной человек, молодой и жизнерадостный, у него в огромной студии около Арбата, залитой светом, весело было сидеть на вращавшемся помосте, а он поворачивал его так и этак, чтобы удобнее было видеть и сбоку, и затылок, и лоб.

Этот мажорный человек сделал, однако, Гоголя *не* мажорным, а в духе того, как в литературе тогдашней его изображали (Мережковский – «Гоголь и черт») – Гоголь сгорбленный, измученный, сидит, ничего нет победоносного и величественного в его фигуре. На барельефах вокруг изображены его создания – для Тараса Бульбы образцом взял скульптор журналиста Гиляровского, всей Москве известного «дядю Гиляя».

Не могу сказать, чтобы тогда памятник имел особый успех. Его находили слишком сумрачным. Но работа серьезная, и никак нельзя было укорить в банальности.

Для революции памятник этот, в начале Пречистенского бульвара у Арбатской площади, совсем, разумеется, не годился. Его сняли и отправили в «запасный фонд» (хорошо еще, что не уничтожили). Гоголю же поставили новый. Я в Москве не был с 22 года, и памятника этого не видел. Но по фотографии это – типичная советская пошлость на тему: «Жить стало весело, жить стало хорошо». Гоголь изображен «добрым молодцем», может быть это и стахановец. Такой выработает «больше нормы», и вообще этот нарядный приказчик зовет всем обликом своим «вперед, за мной, в борьбу со тьмой».

Время шло. Тот Гоголь, скромный, сгорбленный, прозябал в пыли задворок, но вдруг взял да и выехал. Не знаю, случилось ли это еще при жизни Николая Андреевича, или он так и не увидел его вновь на улице Москвы (самого-то Андреева мы никогда больше на этом свете не увидим).

Вероятно, стараниями знающих и культурных людей (их совсем не мало в России!) – художников, искусствоведов, может быть и писателей нешаблонных, прежний Гоголь был извлечен из ссылки, водворен – очень удачно – на Никитский бульвар.

Там, на левой стороне (если идти от Арбатской площади), есть «дом Талызина», старинный особняк покоем, кажется, двухэтажный, несколько вглубь от бульвара, пред ним довольно большой палисадник, решеткою отгороженный от бульварного проезда. В этом доме доживал Гоголь страдальческий свой век, здесь в 1852 году и скончался. Здесь некогда Тургенев посетил его – Гоголь считал Тургенева главной надеждой молодого поколения литературного. Это был уже Гоголь андреевский, а не сталинский.

Теперь андреевского Гоголя поставили в палисаднике перед фасадом дома Талызина – очень умно, интимно, скромно – как бы последняя могильная память, надгробная. Пусть так – и отлично. Пусть «тот» Гоголь для одних, этот для других.

Некрасов идет дальше нас, современников создания Гоголя андреевского. Может быть, он и прав. Он говорит, что если обходить этот памятник от правого плеча к левому, то почувствуешь сначала Гоголя молодого, автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки», еще «веселого», только слегка насмешливого, а потом откроется поздний, мучительный, трагический – вероятно, Некрасов говорит о расположении барельефов, – трагический в неразрешенном мистицизме своем, в порывах к свету при неудачном воплощении светлых образов, и *удаче* низменного, блестящей галерее уродов почти бесовских. (О мистицизме я говорю, а не Некрасов. Он, вероятно, даже слова «мистицизм» употребить не может: как бы не попасть в психиатрическую клинику.)

17 марта

В клинику не в клинику, но вот, оказывается, всем троим, побывавшим в Париже, дома за этот Париж попало. Кру-Кру просто рассердился. На Некрасова не из-за памятника, а так вообще, слишком и он, и Вознесенский, Паустовский, Евтушенко оказались здесь в благожелательном воздухе и сами же этот климат создавали (как будто тоже слишком приветливы к Ев-

ропе – даже не угадаешь, не легко, значит, знать, н а с к о л ь к о тебе позволено быть любезным).

Я не был ни на одном из их выступлений, но отзывы, до меня дошедшие, почти сплошь положительны. Вознесенского, как и Некрасова, совсем не знаю, Паустовского давно знаю сочувственно, Евтушенко кое-что читал. Мне кажется, очень даровитый молодой писатель, лирические его вещи иногда просто хороши, а «боевые», в духе Маяковского, – никуда. (Произведение насчет финского съезда молодежи, где советские провалились, – дешевый, грубый балаган с бранью. Он также был бы нелитературен, если б автор ругал не финнов, а советских в угоду финнам).

Конечно, отстоять с е б я в советской России трудно.

Однако, Пастернак отстоял и от Маяковского отошел. Упрекать «отсюда», из безопасного от снарядов места, никого нельзя – там все под обстрелом. А мы, здешние писатели, хоть полунищие, без дач и автомобилей, но скорей счастливые нищие: нам никто в рот не смотрит, ничего приказать нельзя. Пиши, как хочешь, какой тебе Богом дар дан.

Конечно, надежды наши художнические, да и просто культурные, направлены в сторону России. Не вечно же будет там так! Не будет довоенного, но и теперешнее не удержится. Мы, старшие, ничего не увидим. Дай Бог увидеть молодежи, и тамошней, и здешнёй, – а здесь довольно много именно милой русской молодежи, серьезной и просвещенной («Свет Христов просвещает всех...»). Но ведь и там вся надежда на молодежь. Только там есть уже и пострадавшие из молодежи этой – за свое вольнодумство. Ни Евтушенко, ни Некрасов, ни Вознесенский пока не пострадали, и уж не знаю, чего желать им: кажется, того, чтобы, не пострадав, все же медленно, но неуклонно буравили они серость советскую, разрыхляли почву для будущего. Вот Некрасов побывал в Италии, захватив с собой «Образы Италии» Муратова, и написал, что это замечательная книга. Могло ли это случиться десять лет назад?

«Судьба загадочна, слава недостоверна» – сказано почти две тысячи лет назад (Марк Аврелий).

И вот всемогущего некогда диктатора выбрасывают из кремлевского мавзолея, а скромный русский писатель Муратов, образец высокой культуры, вдруг появляется из «сени смертной» под пером советского писателя.

19 марта

Опять вспоминаю Пастернака, его летящий почерк с длинным росчерком, выдающий летящую и неугомонную душу и некую д л и н н у ю в о л н у писаний.

Не только в почерке, но и в писании дыхание огромное (как у певца с большим голосом).

Он некое наваждение мое. Может быть, я и надоедаю с Пастернаком своим, но вот, оказывается, я не один. Эти все молодые тоже Пастернака чтят. Похороны его носили чуть не национальный характер. На вокзалах московских расклеены были летучки: «приходите на похороны Пастернака» – и приходили, даже из провинции приезжали. Милиция срывала эти летучки, они через час вновь появлялись. Разгоняли и приехавших, но случалось, что и толпа разгоняла милицию. Похороны вышли торжественные, но писателей на них было пять человек. Небезопасно! Все-таки, пять нашлось.

Прощай, лазурь Преображенская
И золото второго Спаса,
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.

Да, вот «судьба загадочна»: вкусил мировой славы, претерпел грубейшие заушения на родине, и умер. (Называл он это время «баснословным годом».)

Некрасова с Пастернаком (литературно) не сравниваю, и вообще слишком мало его знаю как писателя. Но 8 марта, на «встрече» с интеллигенцией советской, над Некрасовым тоже была произведена «гражданская казнь». После речи «хозяина» партийно-тренированное стадо ревело по адресу Некрасова: «Позор!»

Что будет дальше, неведомо. А пока точки соприкосновения в судьбах с Пастернаком есть.

Чего пожелать этим молодым писателям, только еще вступающим в жизнь? Некоторые уже приняли терновый венец – теперь он называется не концлагерем и стенкой, а психиатрической клиникой. Желать тернового венца отсюда, из мест безопасных, не так-то удобно. Но пресмыкательство и низкопоклонство тоже ужасно. И дешевого успеха с дачами и огромными заработками ценой услужения тоже не пожелаешь.

Дай Бог младшим собратьям за рубежом такого изменения жизни в стране российской, чтобы не было надобности ни в подхалимстве, ни в терниях.

Тем, кто *уже* страждет, – братское сочувствие. Находящимся в упоении легкого успеха – серьезности и осторожности. Дело литературное требует труда и любви к самому делу. Легко ничто не дается. Ни литература, ни жизнь. Пастернак прошел долгий путь, от ранних буйств чрез многие,

конечно, горести – до Гефсиманского сада. От буйств в зрелости совсем отказался, чуть даже не проклял их. Но у него была внутренняя жизнь, не легкая, зато значительная. Она и сделала его значительным. (Достоевский сказал юному Мережковскому, когда тот пришел к нему за напутствием в литературу: «Молодой человек, чтобы писать, страдать надо».)

«Не единым хлебом жив будет человек» – такое название книги у «них» уже было. Это показательно. Довольно «догоним и перегоним», «строек» и стахановцев, «перевыполнения плана». Пора и о душе подумать. В духе любви к миру высшему и к своему ближнему.

ДНИ

<Записи 12, 13, 17, 21 мая 1963>

12 мая

Опять Чехов, опять. Сопровождает с юношеских лет, наверно, уж до могилы не расстанешься.

Все эти «Хмурые люди», «Пестрые рассказы» (ранние его вещи) пришли жарким летом, в нижегородской глуши, на диване огромного дома директорского в Балыкове – явились пятнадцатилетнему человеку, да так и поселились в душе, не собираются уходить, а за собой привели потом и другие его писания, еще высшие.

В то время на бирже литературной Чехов стоял рядом с Потапенко, чуть выше Мачтета и Баранцевича. Теперь, более чем чрез полвека, имя его – мировое. Конечно, иностранцы больше знают театр Чехова, чем шедевры его нетеатральные («Степь», «В овраге», «Архиерей»). Да и русские больше театр.

«Архиерей» – «предсмертное» Чехова. Думал он о нем и копил свое золото, которое потом выложил, – пятнадцать лет (а в рассказе двадцать страничек). Напечатан был «Архиерей» в «Журнале для всех» покойного Миролюбова и прошел незамеченным. Помню, он мне понравился. Но и я лишь позже вознес этого «Архиерея» как следует. (Бунин очень высоко ценил его.) Для тогдашней же «публики», восхищавшейся Горьким и Скитальцем (1902 – 3 гг.), это было не по зубам. Скажите, пожалуйста, изображает какого-то одинокого, ученого преосвященного Петра, очень сочувственно, трогательно даже, но никакого протеста, ничего прогрессивного... Кому это интересно? («Успокаивался преосвященный Петр,

только когда бывал в церкви»). Вполне реакционно. В такое время, когда

От Смоленска до Ташкента
С нетерпеньем ждут студента.

Вот Горький другое дело. «Гордо реет буревестник, черной молнии подобный», «Человек – это звучит гордо».

«Такое» нравилось. А «Архиерея» и сейчас мало знают. Как мало знают и мало ценят подземный христианский родник Чехова, глубоко спрятанный и скрытый позитивистом доктором Чеховым. А у него в душе были катакомбы. Иной раз, думаю, и его самого смущавшие – вернее, смущавшие наружный, разумно-рационалистический слой его существа. «Верить» считал он «неинтеллигентным» – такое было время. Но и сейчас, как две тысячи лет назад, чистейшее христианство в катакомбах-то и ютится.

13 мая

Теперь охотно пишут о Чехове, прославляют его и в советской России. И не только Ермилов. Недавно прочитал я у Чуковского очень много о Чехове (в кн. «Современники»). Он Чехова просто обожает. Это мне очень понравилось. В противность прежней критике («нытик», «неврастеник»), он возводит его в «деятели» – уж очень даже получился «деятель»!

Конечно, Чехов был и сильный человек, и человеколюбивый, и очень много делал добра. Боролся с голодом в деревне, и с холерой, и на Сахалин ездил из-за каторжников – замечательные черты писателя именно «русского». Все-таки... – если б он не был художником и поэтом, все это отошло бы в тень.

У Чуковского есть выражения: «гигант», кажется, и «великан», – вот это Чехову совсем не подходит. Ничего от Микель-Анджело, Бетховена или Толстого в нем не было. Он и обаятелен именно своей «будто бы» незаметностью: скромный полевой цветок, но такой, какого не забудешь. Гиганты при этом не носили пенсне, не покашливали, как бы стесняясь своего кашля, и не протестовали, когда фамилию их напечатают жирным шрифтом в списке других писателей.

Во всяком случае, приятно было читать о Чехове у Чуковского – из-за любви его, хотя главного, что я люблю у Чехова, он не затронул. Положим, в условиях российских теперешних многого и нельзя было затронуть. Попробовал бы Корней Иваныч написать, что все духовные лица у Чехова изображены более чем привлекательно, начиная с преосвященного Петра в

«Архиерее» чрез о. Христофора Сирийского в «Степи», до смешливого дьякона в «Дуэли», спасающего Лаевского и простодушием своим побивающего самоуверенность фон Корена. Или попробовал бы упомянуть о необычайной сцене («В овраге»), когда Липа со скончавшимся младенцем на руках, возвращаясь домой из больницы, встречает ночью мужиков у костра, спрашивает: «Вы святые?» – «Нет, мы из Фирсанова». Почему ей показалось, что старик у костра «святой»? Потому что горе возвело ее в высший мир, таинственный мир Бога и Евангелия. Она уже не так все воспринимает. Над ней венец страдания.

По линии студента из Ташкента и «человек – это звучит гордо», в повести этой надо восторгаться изображением мерзости кулаческой, хищнической жизни разных Цыбукиных, фабрикантов Хрыминых и т. п., а не смиренно-прекрасным обликом Липы, несущей в себе – жутко даже сказать – черты евангельские. «Блаженны кроткие». Не могу без глубокого волнения читать и другую сцену из той же повести – это в самом конце, когда Липа возвращается с работы, вечером, и встречает свекра своего, старого Цыбукина, бывшего «кулака», а теперь выгнанного на улицу, нищего и голодного («три дня не ел», говорят про него) – выгнала его та самая сноха Аксинья, которая в слепой ярости обварила кипятком младенца Липы.

Липа и сама теперь полунищая. На вечерней заре возвращается с матерью и другими бабами – нагружали кирпич на станции. Но поет, идет и поет, тоже как-то особенно.

«...Когда старик поравнялся с ними, Липа поклонилась низко и сказала:

– Здравствуйте, Григорий Петрович!

И мать тоже поклонилась. Старик остановился, и ничего не говоря, смотрел на обеих; губы у него дрожали и глаза были полны слез. Липа достала из узелка матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть.

...Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились».

Вот, словом «крестились» и заканчивается таинственная драгоценность Русской Литературы, произведение «материалиста» (не иконописца ли?) Антона Чехова.

17 мая

Теперь очень модно подчеркивать в Чехове, что вот в 80-е гг. был он «безыдейным», а к концу жизни «идею» нашел и это очень хорошо. Хорошо, конечно, найти идею, но неплохо быть и просто прекрасным художником, пронизывающим людей ис-

кусством, хотя бы идеи, как схемы, и не было. Правда, сам Чехов тосковал в те годы по идее и преуменьшал себя, считая отсутствие ее недостатком. Правда и то, что к концу жизни он придумал себе некое успокоение («надо работать», «жизнь через триста лет будет невообразимо прекрасна» и т. п.).

Но тут-то и начинается подвох.

«Идея» (в этом случае вариант поздне-толстовский) несколько подмораживает «Мою жизнь». В «Трех сестрах» идейная Ирина, стремящаяся «работать» (на телеграфе!), Тузенбах благонамеренный, Вершинин – охлаждают и подсушивают, а не возносят пьесу. В «Вишневом саду» «честный» студент просто скучен, последний (если не ошибаюсь) рассказ Чехова «Невеста» один из самых бледных – все из-за той же «идеи».

А вот «Степь». 1888 год. Просто степь и степь. Никто не собирается спасать человечество, никаких трехсот лет для достижения счастья, а просто степь южнорусская, мальчик, которого везут «в учение», дядя его, священник о. Христофор, евреи в корчме, возчики на подводах, грозы ночные, старик Пантелей, но... – чистейшая поэзия. Она и наполняет душу читающего, увлажняет и возвышает. То же самое, но еще совершеннее выраженное, – в «Архиерее», рассказе «В овраге» – эти оба рыдательнее, и оба светлые, светлостью чувства, любовью и сострадательностью христианскою (оба изнутри более христианские, чем «Степь»).

Вот и путь Чехова: интеллектом он все ближе к «прогрессу», «передовой интеллигенции», а подземно, душою совсем к другому (вовсе притом не отрицающему улучшения жизни), но забирающему гораздо глубже. Это противоречиво, но жизнь не так-то схематична. Жизнь сложна, и человеческое существо сложно и противоречиво, Чехов – не церковный человек. А предсмертно любил слушать пение монашек в Новодевичьем, скромно прислонясь к стенке. У себя в Мелихове пел иногда в церкви, удивляя этим благомыслящих интеллигентов, и с любовью изображал православное духовенство – кажется, ни в одном русском писателе не нашло оно такого защитника, как Чехов.

В вопросах вечных: Бог, смерть, судьба, загробное – зрелость не принесла ни ясности, ни решения. Как был он двойствен, так до конца и остался. «Нужно веровать в Бога, а если веры нет, то не занимать ее места шумихою, и искать, искать, искать одиноко, один на один со своей совестью». В годы Ялты на вопрос, верит ли в бессмертие души, отвечал, что не верит, а через несколько дней с таким же упорством говорил: «Бессмертие – факт. Вот погодите, я докажу вам это». Ни того, ни другого доказать,

конечно, не мог. Но все равно стоял высоко. Гораздо выше телеграфа, «надо работать» и «трехсот лет».

21 мая

У меня есть книжка советского писателя Ермилова о Чехове. На странице 252-й сказано: «Чехов был одним из любимейших писателей Ленина». А моей рукой приписано: «Жаль». Ну, слава Богу, до Ленина не дожил. А то получил бы, пожалуй, орден Ленина.

Неприятно было узнать, что этот злобный азиат с русской фамилией любил Чехова.

ДНИ
<АХМАТОВА>

Requiem aeternam
dona eis Domine

Полвека тому назад жил я в Москве, бывал в Петербурге. Существовало тогда там, не помню – где именно, артистическое кабаре «Бродячая собака». Какой-то темный закоулок, грязный двор, неказистая входная дверь чуть ли не в подвал – и сразу свет, столики, эстрада и все «наши» (более или менее наши). Неукротимый Борис Пронин (помощник режиссера Худож. Театра в Москве), Кузмин, Блок, Городецкий, Добужинский, Гржебин... и много еще народу в таком роде. Эстрада, пианино, за ним иногда Кузмин со своими песенками, разные артисты, декадентская девица Паллада – так прозвали ее почему-то в Бродячей Собаке – и Кузмин сочинил о ней стишки: «Не забыта и Паллада в очарованном кругу, Ей любовь одна отрада...»

Шум, гомон, разумеется, вино. Как бы то ни было, место злачное и в своем роде даровитое. Дух артистизма и некой распущенности, пожалуй, упадочной. Но такое уж было время.

В один из приездов моих в Петербург, в 1913 году, меня познакомили в этой Собаке с тоненькой, изящной дамой, почти красивой, видимо, избалованной уже успехом, несколько по тогдашнему манерной. Не совсем просто она держалась. На мой, более простецко-московский глаз, слегка поламывалась. Имя ее я знал, и она меня знала. Читал я ее мало, и она, наверное, меня не читала. Была она поэтесса, входившая в наших молодых кругах в моду – Ахматова.

Видел я ее в этой Собаке всего, кажется, раз.

* * *

На днях получил из Мюнхена книжечку стихотворений, 23 страницы, называется «Реквием». На обложке: Анна Ахматова. Да, та самая. Развертываю – портрет (Рисунок Сорина, 1913 г.). Конечно, она. И как раз того времени. Худенькая дама с тонкой и довольно длинной шеей, нос с горбинкой, изящное, остроугольное лицо, челка элегантная на лбу, сзади огромное устройство волос. Говорят, она не любила этот свой портрет. Ее дело. А мне нравится, и именно такой помню ее в том самом роковом 13-м году. Но стихи написаны позже, и тогда не могли быть написаны: это уж революция (и не «Двенадцать» Блока, которые он моей жене обещал никогда *больше не читать*).

Эти стихи Ахматовой – поэма, собственно. (Все стихотворения связаны друг с другом. Впечатление одной цельной вещи.) Дошло это сюда из России и печатается «без ведома и согласия автора» – заявлено на 4-й странице, перед портретом. Издано «Товариществом Зарубежных Писателей». (Списки же «рукотворные» ходят, наверное, как и Пастернака писания, по России как угодно.)

И вот «Вступление».

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад,
И ненужным привеском качался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки.
Звезды смерти стояли над нами.
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

Да, пришлось этой изящной даме из Бродячей Собаки испить чашу, быть может горчайшую, чем всем нам, в эти воистину «Окаянные дни» (Бунин).

Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей...
Как трехсотая, с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своею слезою горячею
Новогодний лед прожигать.

А случилось «с жизнью твоей» то, что расстреляли мужа, потом забрали сына, сослали и – «семнадцать месяцев в тюремных очередях Ленинграда».

Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.

Я не выл, но что такое стенка, о которую бьются головой матери, да и отцы – знаю, *очень хорошо* знаю. Крепкая стенка, но как будто утоляет боль. Книжку Ахматовой воспринимаю поэтому не только литературно: кровавыми слезами сердца. Достаточно их было.

Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой.
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
Все перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек
И долго ль казни ждать.

Я-то видел Ахматову «царскосельской веселой грешницей» и «насмешницей», но Судьба поднесла ей оцет Распятия. Можно ль было предположить тогда, в этой Бродячей Собаке, что хрупкая эта и тоненькая женщина издаст такой вопль – женский, материнский, вопль не только о себе, но и обо всех страждущих – женах, матерях, невестах, вообще обо всех распинаемых?

Хотела бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.
Для них создала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.

В том-то и величие этих 23 страничек, что «о всех», не только о себе.

Опять и опять смотрю на полупрофиль Соринской остроугольной дамы 1913 года. Откуда взялась мужская сила стиха, простота его, гром слов будто и обычных, но гудящих колокольным похоронным звоном, разящих человеческое сердце и вызывающих восхищение художническое?

Воистину «томов премногих тяжелей». А вот заключительные звуки (все в себе, все сдержано... – и еще сильнее).

РАСПЯТИЕ

Не рыдай Мене, Мати,
во гробе сущу

I

Хор ангельский великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто меня оставил!»
А Матери: «О, не рыдай Мене».

II

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

1940 – 1943.

Написано двадцать лет назад. Останется навсегда безмолвный приговор зверству.

ТУРГЕНЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Помню ее с очень давнего времени: 1924 год, rue de Val de Grâce, нехитрый дом, неблестящее помещение. (Латинский квартал, недалеко купол Val de Grâce). Внутри все полно русско-интеллигентского духа и книжности. За высокою стойкой библиотекарши – худенькая Л. В. Шейнис и другая, тоже худощавая, но высокая, М. П. Котляревская. Спокойные и даже довольно строгие. Огромный бюст Тургенева в читальной, небольшой комнате – всегда там некие бородатые личности что-то просматривают.

За библиотекаршами, в глубине еще комнатки, и все это настолько полно библиотечным добром, что собственно воздуха мало, все поглощено литературой.

Впечатление общее: *набито* книгами и даже довольно удивительно, как в небольшой квартире могло умещаться сто тысяч томов.

Тургенев белым гипсовым бюстом глядел на все это и мог быть доволен: детище его процветало. Книг много, подписчиков тоже, читают нарасхват – и все это уже историческое, часть истории русской эмиграции и часть русской культуры. Восходит к 1875 году, когда Герман Лопатин, эмигрант тогдашнего

русского Правительства, вместе с близкими ему, решил основать в Париже постоянную Русскую Библиотеку: в 1874 году в Париж хлынула волна молодежи из Цюриха, где было гнездо тогдашнее русское. На эту молодежь сделан был из Петербурга нажим, угроза, пришлось рассасываться – кто в Париж, кто в Женеву, Берн.

Никакая эмиграция богатой не бывает. Устроить Библиотеку хорошо, но на какие средства? И откуда взять русских книг, хоть бы для начала?

Тут-то и оказалось, что на rue Douai живет Иван Сергеевич Тургенев, российский посол от Литературы Русской в Париже, мировом центре Культуры и Просвещения. За него и взялись. И плодоносно. Этот блестящий, седовласый облик благообразного барства просвещенного, вообще-то никому в поддержке не отказывавший, сразу откликнулся. Дал и книг, устроил и музыкально-литературное утро в пользу Библиотеки. 15 февраля 1875 года прочел на нем свой рассказ «Ходатай». Пела Полина Виардо, читал Глеб Успенский. Выступала пианистка Есипова, впоследствии знаменитость. Присутствовал русский посол кн. Орлов.

«Утро» прошло отлично. Тургенев постарался, много билетов заранее было разослано, чистый сбор 2000 франков, по тем временам немало.

Машина заработала.

* * *

Началась долгая, колеблющаяся, но непрерывная жизнь Тургеневской Библиотеки. Принадлежала она Обществу, тому кругу русскому в Париже, который читал и чем-то интересовался. Волны сменялись. То висело все на волоске – вдруг «зачитали» все журналы, вдруг оказывается, что нечем платить за квартиру... – но пока жив Тургенев, Pere Noel, он и вывозит. Одно время стал чуть ли не банкиром Библиотеки.

Все-таки, понемногу жизнь книгохранилища этого выравнивается, упорядочивается. В 1883 г. Тургенев скончался, Библиотека же продолжала существовать. Быт не совсем обычный, но эмиграция есть эмиграция: в Париже русские жили бедно, случалось, что не только читали и зачитывали книги, но и ночевали бесприютные в самой Библиотеке. Она меняла помещение, но все в Латинском квартале, то rue Cousin, то Glaciere, то Val de Grâce. Правление выбирали подписчики и члены Общества, поэтому и называлась она, кроме Тургеневской, еще и Общественной.

История – и Франции, и Европы вообще, отзывалась на ее жизни. В 1914 г. многие пошли добровольцами во француз-

скую армию (Шейнис, многолетний председатель, Золотарев, член Правления – этот погиб на фронте). В 1917 г. при Временном Правительстве в России многие из бывших эмигрантов уехали домой. Библиотека чуть не погибла. Но выдержала все-таки, а в 1925 году в Сорбонне торжественно справлялся ее 50-летний юбилей.

* * *

В XX веке число книг все росло, абонентов также. В 1925 г. подписчиков было 2000 (новая волна эмиграции, теперь уж из России большевистской). К концу тридцатых годов книг было уже до ста тысяч. Беллетристика, история, отличный подбор журналов русских – еще Тургенев расшевелил Стасюлевича, тот стал высылать из Петербурга бесплатно «Вестник Европы». Были и редкости, вроде №№ «Колокола» Герценовского.

Незадолго до последней войны – огромная удача с помещением: город Париж предоставил Библиотеке целый этаж старинного особняка (дворец Шуазеля), на r. de la Bûcherie недалеко от Notre Dame – все на левом берегу Сены. Тут уж можно было расположиться просторно, и читальня отличная, бюст Тургенева видел уже не тесноту Val de Grâce, а огромные комнаты, и в глубинах книги не «набиты», а удобно устроены на полках. Библиотека Герцена – из Ниццы – целиком вошла в Тургеневскую и Библиотека Высшей Русской Школы М. М. Ковалевского, и подписчиков много, но... – опять война. В некоем роде еще более страшная. В 1940 г. Париж занят немцами. Библиотека беззащитна. В конце концов, как и Польская Библиотека, она соблазнила «победителей», ее просто похитили, море ящиков с книгами увезли в Германию.

* * *

Гибель Библиотеки переживалась чуть не как личное горе. Но все меняется, все проходит. Наступила минута, когда победители оказались побежденными. Тогда стало возможным требовать возмещения за похищенные книги. Взяла одна Германия, гитлеровская, расплачивалась другая, нормальная.

И вот кучка интеллигентов российских, прямо ли, косвенно ли связанных с прежней Библиотекой, зашевелилась.

Председательницей оказалась Л. В. Шейнис, та самая, вдова многолетнего Председателя Правления прежней Библиотеки, та, что годы сидела за библиотечной стойкой на rue de Val de Grâce. В ее маленькой комнатке около Обсерватор-

ских аллей и собирались «верные». Эта скромная комнатка, скромная худенькая старушка и несколько русских эмигрантов и составили ту ячейку, которой удалось, в конце концов, поднять и поставить на ноги Библиотеку – возрожденную. Много проявлено было бескорыстного упорства в хождении по министерствам, прежде чем удалось выхлопотать денежное возмещение из немецкой контрибуции. Несколько лет тянулись хлопоты, бесконечные справки, документы, описи прежнего состава книг. Могло казаться, что и конца-краю этому не будет. Но наконец, упорство и любовь к делу, если не сказать энтузиазм, взяли верх. Средства получились. (Выдача их строго регламентирована потребностями.) Из комнатки близ Обсерваторских аллей выросла новая ветвь, новый зачаток замечательной Библиотеки. (Небольшая часть прежних книг все же сохранилась, благодаря отзывчивости и участию Школы Восточных языков.)

Подтянулись и некоторые прежние читатели, основалось опять Общество Тургеневской Библиотеки. Купили помещение – квартиру на rue de Valence, 11, в районе Гоблэн, вновь на левом берегу. Стали усиленно покупать книги. И наконец, Библиотека открылась.

Время течет, время не останавливается. Много уносит и вносит многое. Теперешняя Библиотека мало похожа на прежнюю. Дверь отворяется снаружи кнопкой электрической. Внутри еще кнопки. Квартира просторная, с иголочки, это не rue de Val de Grâce, но и не то, что во дворце Шуазеля. И не сто тысяч томов. Началось с совсем небольшого, теперь уж порядочно, двадцать тысяч. Забота и преданность тех, кто непосредственно ведает делом, те же, но подписчиков пока не столько, что раньше. Но вот новое: чуть не половина читающих и «поддерживающих» – французы, изучающие русский язык и литературу, культуру. Своего рода экуменизм, не в религиозной, а светской области. Но ведь вообще русская прививка в великом Париже существует, малое, бедное племя русское на чужбине протачивает в разных местах свои норы – сколько появилось теперь православных французов, есть даже священники французы, сколько ходит и на rue Daru, и в Сергиево Подворье, и недавно совсем грандиозно присутствовало на Собрании против гонения на Православие в России!

Теперь в Тургеневской Библиотеке есть и курсы русского языка для иностранцев, и несомненно, французское участие в жизни Библиотеки будет расти.

* * *

А библиотека все же русская. Тургенев был русский, русские в Париже не должны свою Библиотеку забывать, иначе может она и зачахнуть. Средства на ее ведение выдают осторожно, главнейше на покупку книг – их сейчас уже вчетверо больше, чем при возобновлении Библиотеки после разгрома. Но оплата труда работающих там, вообще текущие расходы – это должна сама Библиотека покрывать. Да и на приобретение книг кредиты подходят к концу.

Дело ясное: Тургеневскую Библиотеку должна поддерживать и русская эмиграция. Меценатов теперь не видно, но подписчики и читатели есть, их число растет, и пусть побольше растет. Пусть русские люди в Париже не забывают, что на rue de Valence, 11, есть весьма русское культурное гнездо, связанное с именем Тургенева, а через него – и со всей российской культурой.

По вторникам, четвергам и субботам всегда можно туда прийти, почитать, получить книги на дом и не разориться от этого, Библиотеку же посильно поддержать.

Будем надеяться, что эмиграция не даст заглохнуть мирному и просветительному делу.

ДНИ

<Записи 11, 13, 20 ноября 1964>

11 ноября

День для Франции памятный. Конец войны. Вот полвека и прошло! Франция победила, героически вынесла испытание четырехлетнее. Если бы Россия вынесла... Много, тоже очень много страдавшая, но не додержавшаяся. Если бы вынесла... – но что гадать, «судьба загадочна». А все же думается, ход истории нашей был бы иной.

Пожалуй, на Францию самая тяжкая роль и выпала, едва она не надорвалась. Как бы то ни было, уложила в землю свою и за землю свою, за свободу и независимость, цвет своей молодежи и *не* молодежи, военной и не военной, призванной только для войны, некадровой.

Подумать, четыреста писателей погибло, среди них в первые же дни Пэги – одно из украшений духовной культуры Франции. А «вообще» потери – малоизвсстных и безвестных – что-то около двух миллионов.

Вспоминаю родину в эти дни. Ее крест. Тоже страшный. Потери людьми тоже громадные.

Мы с женой и крошечной дочерью сидели в Тульской губ., в Притыкине отцовском, за сотни верст от фронта (моя очередь пришла позже, в 1916г.). А тогда просто жили во флигеле, лихорадочно читали газеты – их ежедневно привозил молочник наш со станции. Мучились за гибель Самсонова с армией, радовало взятие Перемышля, в сентябре трепетали за Париж. Сестра моя уже оплакивала его, просто плакала по-настоящему. Я не плакал, но войну переживал остро. Убитые, раненые – жена ездила в соседний лазарет к раненым, и я ездил, но она ухаживала за ними, работала, а от меня толку было мало, привозил им коечто, а работать не работал. Писал во флигеле своем, переводил Данте – это было убежище.

На стенах нашей спальни висели лубочные картинки с «текстом» внизу, вроде такого:

Да за дали, да за Краков
Будем пятить стадо раков.

Если не ошибаюсь, «творчеством» этим занимался Маяковский, а граф Толстой, Алексей, мой тогдашний приятель, полетел тотчас же, и конечно, выгодно, сытно, как все делал, – на фронт корреспондентом, расписывал всякие чудеса про наших «чудо-богатырей». Был почти тогда «Боже Царя храни», такое время. Позже воздвигал монумент Сталину («Петр I»).

Как все это было давно, и как не угадывали мы тогда ни своих судеб, ни судьбы родины! Значит, прав был Марк Аврелий со своей «загадочностью судьбы».

А сейчас по улице прошли французские комбатанты с музыкой, как всегда в этот день. Вспомним и мы погибших и страдавших, и своих, и чужих. Сколько перемучилась Европа за это полустолетие!

Молчание. И тихое устремление к душе, скорбное и сострадательное. Дай Бог, дай Бог, чтобы вышли мы, наконец, из полосы этих истреблении и избиений.

13 ноября

Одинокие всегда привлекали. Потому, наверно, близки особенно были Данте, Флобер, Тютчев.

Однажды, не так давно, пришла из Италии книжечка – сборник поэтически-философских «басен». Автор мне неизвестен был – Джованни Кавиккиоли. Удивила и книжечка – очень умная и

тонкая, и письмо. В нем указывал поэт, что перед каждой Пасхой прочитывает несколько страниц из «Афона» моего (по-итальянски, конечно). Представить себе «современного» писателя, интересующегося Афоном! Вот, однако, нашелся. Живет около Модены (северн. Италия, в городке Мирандола, откуда родом был знаменитый гуманист XV века Пико делла Мирандола. Пишет стихи (любит четверостишия, quartine), дальним, одиноким Афоном под Пасху питается...

Я ему, конечно, ответил, поблагодарил. А время шло себе и шло. Наступил наш, 64-й год. И вот на днях получил я из Турина книжечку вроде альбомчика. «Passero solitario» – «Одинокий дрозд». Это собрание ненапечатанных еще четверостиший Кавиккиоли. В первом же из них говорится о том, как схожи судьбы их, человека и одинокого дрозда, и в конце-то концов оба – «дети одного и того же Бога».

В книжечке карточка, там брат его предлагает стихи эти *в память* Джованни Кавиккиоли (13 янв. 1964). Я не сразу сообразил. Но потом письмо из Рима, уже от русской литературной дамы, давней моей доброй знакомой. Оказывается, Кавиккиоли уже скончался именно 13 января 64 г. «Один из лучших поэтов-писателей Италии, – пишет г-жа Синьорелли, – его творчество прошло почти бесследно среди шумной жизни наших дней. Человек в высшей степени деликатный, он не делал ни шагу, чтобы привлечь внимание на себя. Вячеслав Иванов очень любил и ценил его». Мне проф. Ло Гатто тоже хорошо о нем отзывался. Но вот что поделаешь: «одинокий дрозд». И правда, как мало писание его подходит для мира техники, машин, атомных бомб. Залетел в железный мир, и почти никто его не услышал. Посмертно услышат ли? Тоже неведомо. Гоголь когда-то говорил, что истинная слава – посмертная. Разумеется, это верно.

Чистая, как свет, рука
Будет раскапывать твой прах,
И что осталось от тебя нетленного
Возвратит в целости.

(Четверостишие Кавиккиоли).

На это отвечает Марк Аврелий, загробный, почти двухтысячелетний:

– Судьба загадочна,
слава недостоверна.

20 ноября

Не все дрозды одинокие. Бывают и шумные. Впрочем, тогда это, может быть, и не дрозды.

Нобелевская премия всегда некий шум. Бунин был довольно одинокий писатель (не Максим Горький), но, получив премию, временно прошумел и в печати, и в жизни. (Один «стрелок» требовал у него 500 франков за «топор Петра Великого, подлинный, с приложением сертификата и государственной печати». Другой – матрос – был скромнее: 50 фр. и «Бог поможет Вам получить и в следующем году Нобелевскую премию».)

Пастернак за эту премию получил великий благовест на Западе и дикое облаивание в России. Были организованы митинги, он получал море ругательных писем, и один тип на одном митинге сказал, что он «хуже свиньи». (Никто ни строки, притом, не читал из этого «Доктора Живаго» – его в России и поныне нет.) А премия, за которую с размаху Пастернак поблагодарил шведов, так в Стокгольме и осталась: ему пришлось «добровольно» (!) от нее отказаться. (Выбор такой: уезжай, получай, но назад не пустим, а семья в России останется.) И вот «Доктор Живаго» существует чуть не на всех языках мира культурного, кроме России – премию же дали именно за «Живаго».

Но бывает и наоборот. Пастернак охотно бы получил премию, да не позволили. А Сартр только что получил и живет в свободной стране, никто не может ему приказать. Он же сам говорит: «не желаю».

Спору нет. Писатель известный. Не могу о нем распространяться, мало знаю – помню, давно когда-то стал читать его роман – сразу попал на вкусное описание дурных запахов, рвоты, всякой вообще гадости. Больше и не читал. О философии его – это уж не по моей части. Знаю только, что атеист упорный.

Почему отказался? Если бы принял, видите ли, это связало бы его духовную свободу. Значит, мол, принадлежу к западному буржуазному миру. Но с советами он тоже не в ладах. Однако обиделся, что не дали в свое время Арагону, а Пастернаку дали. У каждого свой взгляд. Но думать, что Пастернак, всю жизнь проживший в России, всю жизнь трудившийся литературно, зарабатывая хлеб насущный, – что он представитель «буржуазного» мира, это...

Сартр должен Бога благодарить, что живет в стране, где никто не приказывает ему, и он может поступать как хочет. Впро-

чем, Бога он терпеть не может, но вот Бог его терпит и даже дал ему известность, в некоторых кругах «славу». Но

Чистая как свет рука
Будет раскапывать твой прах...

Она-то и разберет,

Что осталось от тебя нетленного.

Останется ли от Сартра нечто, нет ли?
Вновь из дали веков выступает облик Марка Аврелия:

– Судьба загадочна,
слава недостоверна.

СЕМЬ ВЕКОВ
<ДАНТЕ>

Года четыре тому назад московский ученый сказал мне:

– В 1965 году мы выпустим полное собрание сочинений Данте по-русски.

– И трактат «De Monarchia»?

Он улыбнулся.

– И трактат «De Monarchia».

– Но ведь это монархическое.

– Ну, знаете, так давно было...

Действительно, давно. Данте Алигиери Флорентинец родился в 1265 году – юбилей семисотлетний. А что на Родине моей собираются почтить его, да еще в таком виде – очень порадовало. Говоря по правде, этого трактата о Монархии никогда я не читал и не собираюсь читать – конечно, все дело в «Божественной Комедии» и ранних лирических стихах («Vita nuova» – стихи и проза, поклонение Беатриче).

Издадут ли, посмотрим. «Божественную Комедию» недавно перевел Лозинский и она вышла в России. Переведена терцинами, как в подлиннике, виртуозно, но уж очень изысканно, первозданной простоты, силы дантовского слова осталось мало.

«De Monarchia» в свое время имела большой смысл. Италия вся разодрана была на мелкие государства – республики, тирании, все равно. Вечные войны. И внутренние (гражданские – одна половина населения выгоняла другую), и внешние, «государства» эти дрались между собою непрерывно. Жизнь, разу-

меется, ни на что не похожая. Отсюда стремление у очень многих – если не у большинства: пусть Некто, Властелин, кто угодно, только объединил бы все это, успокоил, кончились бы войны. Данте, позже Петрарка мечтали об этом – вот где корни «De Monarchia». Ждать пришлось долго. Только Гарибальди, революционер и воин, через шесть веков добился Виктора Эммануила и Кавура, объединения Италии. Вот тогда-то и появились по всем почти городам Италии памятники Данте: великий поэт и символ Единой Италии.

* * *

Великий поэт и фантастическая судьба. Юноша, изящный, мечтательный, стихи о Беатриче (соседка, флорентийка), и друзья – молодые поэты «dolce stil nuovo» – он и сам был «нового направления». Но и сила внутренняя в нем, воля, действенность. Кроме поэзии некое тяготение к общественности. В 35 лет посланник Республики Флорентийской в Сан Джиминиано. Затем один из шести приоров (члены Высшего Совета, правящего городом). И в 1302 году, когда враждебная партия одолела – «Черные» против «Белых» – изгнанник. Да какой! Если попадется на родной земле, «сжечь огнем, так, чтобы умер» – подписано Канте де Габриэлли да Губбио, «подеста» Флоренции (печально прославился этот Канте: только и знаем мы о нем, что приказал сжечь Данте).

А у того были написаны первые песни «Ада» из «Божественной Комедии». И вот пешечком, тайком, из Флоренции, через горы Prato Magno – дымящиеся в сумрачных вечерних облаках, когда смотришь на них из-за Арно, от Сан Миниато – чрез горы эти и бежал одинокий нищий, бывший посланник, приор, ныне путник с котомкою за плечами. В котомке этой первые песни создания, выдержавшего после смерти странника в одной Италии, до наших дней, четыреста изданий – постоянно переиздается «Божественная Комедия» и постоянно переводится.

Данте – «Патрон всех изгнанников», сказал Мережковский. И действительно, первый эмигрант христианской Европы. И какого роста, какая предлежала ему жизнь! Правда, не заграницей, на земле той же Италии, север которой исходил он чуть не своими ногами: нечто среднее между учителем и приживальщиком у мелких итальянских властителей. Но на Флорентийскую землю нельзя ступить: там всякий гражданин имеет право поступить с ним и имуществом его «по своему желанию» (он вне закона). Ему можно только откуда-нибудь издали, на вечерней заре,

с чужой земли, с чужой скамьи смотреть на горы Prato Maqno, за которыми лежит его Флоренция (любимая, жестокая).

Конечно, закалился, стал еще суровее за годы эти. Но писал непрерывно, кончил все три части – «Ад», «Чистилище», «Рай» Божественной Комедии (Божественной она названа позже). Давнишнее уподобление: «Ад» – скульптура, «Чистилище» живопись, «Рай» музыка. Из всех трех больше всего мне всегда нравилось «Чистилище». Есть в нем обаяние юности Данте, нежная легкость очертаний и фигур, но написано рукою зрелою, многострадальной. Беатриче не забыта. Она главная внутренняя пружина всего, возведена в сан Премудрости. Это она, находясь в Раю, так все устроила, что ему, прежнему ее обожателю, но грешному и побораемому страстями, удалось пройти чрез все три загробных царства, чтобы познать Истину и спастись.

Что писать о Божественной Комедии! О ней столько написано, что сам великий знаток Данте – Скартаццини как бы захлебнулся в эрудиции и с горечью замечает, что не существует даже пока общей Дантовской библиографии, а есть только по отдельным странам (относится это к концу XIX века).

Но вот облик скитальца загадочного, в юности обаятельного, позже сурового и даже страшного, так и стоит перед глазами, а как сам он жуток и велик со своими тремя царствами – гибели, искупления и блаженства – так бессмертно и слово его, веками звучащее слово из котомки бродяги, прихлебателя и учителя.

* * *

Его писанию, жизни его прошло семьсот лет. Сколько трудов, любви, почитания было ему отдано за шесть столетий, и продолжает отдаваться! Тут есть некое волшебство, но благодатное: околдовал этот нищий человечество. Словом своим, жизнью, судьбою.

Да позволено будет и мне припомнить, и на своей жизни бегло означить печать этого существа.

* * *

Началось со Флоренции 1904 года, первой встречи с Италией. Собственно, я тогда почти ничего не знал о ней. Но как город этот сразу ударил и овладел, так и семисотлетний его гражданин Данте Алигиери Флорентинец. Не могу точно вспомнить, но наверное знаю, что он поразил сразу – профилем ли своим, легендой, некиим веянием над городом.

Так началась болезнь, называемая любовью к Италии, несколько позже и к самому Данте. Да, я взялся его переводить.

Предприятие грандиозное. Тогда, в 1913 году, может быть не совсем ясно это представлял себе, но оказалось именно так. И теперь, через много лет, могу только благодарить судьбу, что когда-то в Москве друг мой Муратов сказал мне:

– Боря, ты будешь переводить «Божественную Комедию» – ритмическою прозой, строка в строку, а я напишу введение и комментарии. (Не написал.)

Так началась моя жизнь с Данте. К этому времени итальянским языком я уже несколько владел, а упорства в работе всегда было немало.

Вот и пошел в путь со странным и великим спутником за плечами – годы он сопровождал меня. Годы первой войны, в уединении Тульском, годы революции, все за тем же письменным столом с бюстом Данте на нем – подарок помещицы соседки – в громе и крови революции. Дважды приходилось бросать все, скрываться на время, но на столе все стоял белый гипсовый Данте, все смотрел безучастно-сурово, с профилем своим знаменитым, во флорентинском колпаке, на возню дальнего потомка русского вокруг его текста.

– Что удивляешься, будто говорил: думаешь, я не знаю, как тайком уходить из города от врагов? Вот ты прячешься в лесу у мельницы, а я пересек Prato Magno и Казентин и все-таки написал свое. И ты старайся. Старайся, старайся.

Я и старался. Но и моя очередь пришла. Жить в деревне нельзя уже было, рукопись ушла со мной в Москву – не в котомке, а в чемодане, но ушла. Никогда я с ней не расставался. Ушла и в Берлин, Италию, наконец в Париж.

Тут новые испытания претерпела. В сороковых годах нашествие иноплеменных. «Ад» был давно уже кончен, но еще не издан. В тяжелые одинокие дни как бы осады вновь выплыл он на поверхность, вновь утешал, как в дни революции и террора. «Свое» не пишется, да и печатать негде. Обратимся к вечному. Странно сказать: Ад утешает! – но именно так с Адом литературным и вышло. Вновь, строчка за строчкой пересмотр и сличение, поправки, словари, колебания. Когда сирены начинают выть, рукопись забирается, сходит вниз, в подвалы с хозяином, близкими. Ну что же, «Ад» в ад и опускается, это естественно.

Минотавров, Харонов здесь нет, но подземелье, глухие взрывы, сотрясение дома и ряды грешников, ожидающих участи своей – все как полагается. С правой руки жена, в левой «Божественная Комедия» и опять тот, невидимый, многовековой и гигантский,

спускается с нами в бездны, ему знакомые. Но он держит. Пусть вздрагивают, всхлипывают женщины, теснясь к мужьям, он неизменен и он как бы опора. Все это видел, прошел и вышел.

Ураган пронесся, вновь свет и день, восхождение на гору Чистилища – не так высоко, пятый этаж и вновь все то же: печка, словари, рукопись.

И еще годы, и общий вихрь войны уходит, и время не останавливается, и ровно через полвека после того, как в Москве она зачата, книга выходит в свет в Париже, изящно и благообразно изданная, будто и не видела ни войн, ни революций и ни странствий, ни чужих бомб.

«Данте Алигиери». «Божественная Комедия». – «Ад».

* * *

Еще один перевод, средь бесконечного их ряда. И как мало отвечает это «современности». Кто может и кто будет жить творчеством средневекового гиганта? А все-таки находятся такие – верю – будут находиться и трудящиеся над ним и печатающие и даже – редкостные обитатели планеты – книгу приоб ретающие.

Много их или мало – одно важно: семисотлетний странник продолжает странствие. Вот он вновь введен в Россию – и Бог знает, может быть, в загадочной стране нашей находит и найдет даже больше сочувственников, чем здесь.

Так ли, иначе, над всей сумятицей, муравейником человеческим веками стоит облик непререкаемый. Выше его только Евангелие и Библия. Пусть в грозности средневековой иногда жуток он, но дух величия, надмирности, спускавшейся и в мир, остающейся, однако, выше мира, это некий маяк. Жизнь наша идет, все мы проходим и уходим, он же непоколебим.

Надо быть благодарным, что не одна суета владеет нами.

«УХОДЫ»

«Я был счастлив и стал несчастным, я был богатым и стал бедным, у меня была семья и теперь я одинок. Но быть несчастным лучше, чем быть счастливым, доля бедняка завидней доли богача, а одиночество – это высшая свобода».

Так начинается роман Я. Н. Горбова «Все отношения»[1].

---

[1] Горбов Я. Н. Все отношения. Париж, 1964.

Вот «русское» начало, русские слова! Трудно слушать их и принять западному человеку, да и советскому властителю, а уж «лучше быть несчастным, чем счастливым» – не намек ли на призрачность бытия нашего вообще (лишь тень оно некоего «инобытия») – совсем против «здравого смысла».

Действие происходит во Франции. Повествующий о жизни своей – и он главное лицо – русский, инженер. Остальные не русские. Своеобразие книги и в том, что сквозь русский глаз говорится о западной жизни и людях Запада. Но без всякой эмигрантской обывательщины. Провинциализма в книге нет. И дело не столько в изображении Запада, сколь в судьбе основной фигуры.

Вкратце так: сын инженера мальчиком попадает из-за революции за границу. Родители умерли, его поддержал дальний родственник, богатый человек. Высшее техническое образование, успехи, директор фабрики, а потом и владелец ее. Женится на случайно встреченной молодой, очень милой француженке. Семья, богатство, любовь, все как следует. Но на горизонте мрачная полудьявольская тень отчима этой Мари, Леопольда Аллота. У Мари «прошлое», связано оно именно с этим отчимом, ныне ей ненавистным...

Все-таки, несмотря на тень, на недоговоренность некую, жизнь их идет «хорошо». Мари любит его, он и ее и детей тоже любит – все, казалось бы, благополучно. Появляется еще такая Зоя, опять Аллот, махинации около Зои, разные переплеты. Но вот в некий момент инженер этот преуспевающий (чувствуя под собою, однако, зыбучие пески?) все бросает и скрывается в Бретани. Самый уход довольно удивителен и отлично написан. Подошел к киоску, надо было купить журнал, взял его, положил деньги и, не дожидаясь сдачи, ушел – «в никуда». «Тронул ли мою душу какой-нибудь неизвестный луч? Сжала ли его чья-то рука? Или, наоборот, после того, как долго сжимала, – отпустила? Зажегся ли вокруг меня только мне одному видный свет? Или, наоборот, какую-то область моей души охватила тьма? Перестал ли я двигаться по пути, бывшему моим с мгновения моего рождения, и перешел в иное измерение, на иную орбиту? Или, после долгих блужданий, вернулся снова на предназначенную мне тропинку?»

Во всяком случае, «зажегся свет». Тропинка его не мещанское благополучие, семья, богатство, покой и сытость, а другое. Конечно, полного покоя уже и не было. Аллот влил свой дьявольский яд. Вообще какой-то мрачно-колдовской «подтекст» сопровождает движение романа и создает ему совсем особенный, ни на кого не похожий облик. Инженер «попроще» не

ушел бы, отделался бы как-нибудь от этого Аллота и наладил бы жизнь с женой, да и с шоколадной фабрикой не расстался бы. А этот вот, не дождавшись сдачи в киоске, под действием какого-то «луча» взял да и преломил жизнь.

Происходят разные перипетии в жизни его, узнается еще многое страшное об Аллоте этом и Зое (которая любит инженера, а замуж выходит за Аллота). В провинции еще одна милая француженка Заза, соседка по гостинице – но и от нее он уходит. Оставив львиную долю состояния семье, сам он поселяется на юге, у моря, в полуразвалившейся часовне. Все и всех бросил.

Произведение одинокое и весьма своеобычное. Никаких влияний литературных – ни русских, ни французских, не вижу. Нечто целое и стихийное, из духа, плоти и крови автора, потому и в сознании укрепляется, занимает место в душе. Книга, резко выделяющаяся (вверх) из писания среднего.

* * *

Одинокий роман вызвал воспоминания давние, очень далекие, просто из другого мира. Вспомнился собственный рассказ, более полувека назад написанный. В связи с горбовским произведением перечитал его. Он называется «Изгнание». Размер невелик, звук прозы совершенно другой, но в теме родственное есть. Тоже «уход».

Повествуется тоже от первого лица – молодой московский человек просвещенного круга, кончает университет, женится на Анете некоей, тоже благоустроенной, красивой и хозяйственно-толковой. Подходит предреволюция 1905 года. Как либералы тогдашние, они участвуют в банкетах разных, водят знакомство с революционерами, Анета с кем-то встречается, бывает на явках, но молодой адвокат с некиим уклоном к мечтательности (нельзя сказать, чтобы автору удалось написать настоящего «помощника присяжного поверенного» – скорее это переодетое из литературного мира лицо). Как бы то ни было, и ему, и его знаменитому «патрону» приходится бежать за границу. По тем наивным временам дело довольно легкое. И вот в Париже начинают они новую жизнь, открывают какое-то бюро юридическое, Анета заводит приемы, все отлично.

От горбовского этот странный адвокат отличается тем, что еще с Москвы несколько уязвлен Евангелием. Никаких темно-дьявольских сил в рассказе нет. И Аллота нет. Тон ясный, даже довольно прозрачный. Но разрешение сходное.

Оборот с Анетой несколько иной; он как-то от нее отходит внутренне, она оскорблена сначала, а потом сближается с благополучным синдикалистом французским. Муж уходит, как и у Горбова, «в никуда». Сначала со знакомым старичком-французом, бывшим коммунаром, ныне полубродягой, по Провансу (пешком), а дальше... странничество, Евангелие, Россия– что Бог пошлет.

Повествование тоже весьма русское. Если угодно, тоже довольно фантастическое, при внешней благопристойности.

Но французский писатель вряд ли взялся бы и за горбовскую тему, и за эту.

* * *

А был в России еще писатель, величины уже мировой. Ни о каких уходах не писал. Наполеона из России выгнали, одни князья умерли, другие графы остались, бывшая Наташа Ростова благополучно разводит потомство от Пьера Безухова. В «Анне Карениной» Левин тоже удачно хозяйничает в своем имении и тоже Китти народит ему достаточно детей, но с самим автором, на девятом десятке лет жизни, происходит нечто, о чем в романах своих он не говорит.

Толстой сам сыграл удивительное лицо из романа. (По мнению одного французского писателя, Толстой в жизни оказался героем Достоевского.)

Как бы то ни было, но в полутьме раннего осеннего утра, крадучись, навсегда ушел из Ясной Поляны, от богатства, славы, поклонения всесветного. Разумеется, была и личная драма – ужас жизни в нелюбви, почти вражде и разладе с той Китти или Наташей, которую в молодости любил с силой толстовской. Но и не одно это. Великое противоречие жизни барской с его же собственным учением, не-барским, опирающимся одним концом на Евангелие, хоть и по-толстовски перекроенное и искаженное, однако сытость не весьма одобряющее. (Сам он жил очень скромно, все же в доме были лакеи, повара, кучера...)

Недавно Мориак назвал Толстого величайшим романистом всех времен – назвал правильно (хотя мог бы прибавить и Достоевского). Но вот сам Мориак не писал, насколько знаю, ни о каких уходах, и не вижу его самого, навсегда уходящего из той жизни, в которой он прожил. Он и христианин, католик, а не ушел бы.

Это «Европа». А у нас – Русь.

ДАВНЕЕ. ПУТЬ-ДОРОГА

Вере Алексеевне Зайцевой

Мы это были или не мы – шестьдесят лет назад садившиеся на вокзале в Москве в вагон третьего класса, на Варшаву – а там Вена, Венеция, Италия. Наверно, мы, скопившие четыреста рублей, собиравшиеся на деньги эти объехать всю Италию. Один – студент, другая – молодая дама, его жена. Влекло что-то неодолимое. Не знали мы ни языка итальянского, ни литературы страны этой, но вот что-то об Италии просочилось и отравило. Вынь да положь! Вне здравого смысла, вполне наудачу, на гроши, все-таки полетели.

Варшава была грязная, в дождь. В Вену попали на рассвете, отоспались, были у св. Стефана, в кафе выпили венского кофе – в невероятном обрамлении сбитых сливок. А на другой день сели утром в вагон – на Венецию. Тут почти сразу начался новый мир. Земмеринг! Горы, ущелья, чего мы никогда не видели. Весело что-то болтали, жена ахала, восхищаясь. Я тоже.

Вблизи оказался в вагоне немолодой спутник. Скромно одетый, неторопливо покуривавший. Иногда чуть улыбался. И вдруг к нам обратился по-русски:

– В первый раз заграницей?

Конечно, угадал. И по всему облику нашему сообразил, что богемные мы какие-то типы, неосновательные. Был спокоен, благожелателен.

– А куда едете ?

– Сначала в Венецию, а потом во Флоренцию, Рим, Неаполь.

– Вот так так... – он слегка фукнул и опять улыбнулся.

– Немало.

Знакомство началось. Оказалось, он тоже в Венецию. Ровный, слегка насмешливый, но и сочувственный. То, что оказался сенатором из Петербурга, не произвело никакого впечатления. Разговорились мы с ним очень скоро.

– Я Венецию довольно хорошо знаю. Каждый год беру отпуск, всегда в Венецию. Раз тридцать побывал. Вот увидите, что за город.

Горы шли рядом с нами, леса, пропасти, речки бесились по крутым склонам. На большой станции ели мы сосиски, запивали пивом. Спутник во всем помогал и руководил. Мы для него были вроде детей.

И когда поздно вечером ввалились в Венецию, сразу устроил в отельчик у вокзала, на канале.

– Ну, кой что посмотрите завтра. Два дня... Я здесь сколько бывал, по месяцу, а не могу сказать, что Венецию вполне знаю. Тут каждый дом и камень что-то значат.

Фамилии его я не помню. А может, он и не называл ее? Для чего, собственно, нам ее знать, и ему наши имена – случай свел и в потоке бытия навсегда разъединил. Все-таки, на минуту соединил. Именно на Италии: у него многолетней, а у нас еще на заре. Но он чувствовал, что мы пленники этой страны. Только мы еще в будущем главнейше, а он уж заканчивает.

Вспоминаю о нем, как о посланном не случайно. Он вводил нас в Италию и от него шел ток преклонения.

* * *

Что сказать о Венеции? О ней столько оказано, ничего не прибавишь. Все Сан Марко, и Дожи, а каналы, дворцы, закоулки чудесные, и гондольеры так нас перебудоражили, что два дня мы были, как полоумные. Но вот это и есть жизнь. Не прозябание, а восторг, полет.

Сенатор наш с нами не ходил, довел только до Пьяцеттты.

– Ну, теперь разбирайтесь сами.

Мы и старались, и разбирались, да не очень. Все эти чудеса просто владели нами. А раз-другой все-таки с ним встретились. Он и сам жил в нашем отельчике – одет скромно, не броско, но видно, что порядочный. Мы вызывали в нем некую усмешечку, скорей сочувственную. Как будто нравилось смотреть с высоты возраста своего и познаний на восторженность юно-московскую. (На «петербуржца» был мало похож. И меньше всего на сановника.)

Два дня быстро прошли. Ранним утром некий вихрь вынес нас на Флоренцию. Вихрь этот состоял из очень маленького treno omnibus, на каждой станции остановка. Соседи по вагону – крестьяне итальянские с загорелыми лицами, на которых светлей голубые глаза. И когда снимет он шляпу соломенную, с большими полями, лоб много более щек. В ухе иногда серьга. Толстые итальянки, тоже загорелые, с корзинками, откуда вдруг закудахтает курица.

Начальники станций в красных фуражках.

– Смотри, смотри, как у нас!

Но наши начальники станций не кричали, помахивая флажками какими-то:

– Rimini, Ravenna, Faenza si cambia[1].

Дома я знал, что в Туле можно пересесть на Сызрань или продолжать путь на Харьков, величественные швейцары потрясали колокольчиками и зычно выкрикивали, а тут, при позна-

---

[1] Пересадка *(ит.)*.

ниях моих итальянских, казалось, что кроме Фаэнцы есть еще город Сикамбия, куда тоже можно заехать.

Сикамбию эту сделали в Болонье и поплелись ко Флоренции. Тут подсели к нам две молоденькие, черномазые синьорины, худенькие, веселые. Через несколько минут начался разговор. Они несколько слов по-французски, жена столько же по-итальянски, остальное жестами, смехом, сочувствием. Синьорин поразило, конечно, что мы, иностранцы, в таком поперечном купэ третьего класса заштатного поезда. И вообще все, видимо, поразило. Разговор не умолкал. Они щебетали теперь и по-итальянски, через пятое на десятое что-то улавливалось, и вблизи Флоренции они были даже друзьями с женой, обменялись адресами, обещали писать друг другу. Синьорины – из Корреджио, «синьора» из Москвы («Mosca! Mosca!» – для них это край тоже полуволшебный). Италия и Россия! Ведь они несколько лет потом обменивались письмами. Из Корреджио открытка в Москву, из Москвы ответ в Корреджио.

* * *

Венеция поразила как чудо – она и есть одно из семи чудес. Но для меня – сбоку. Для сенатора – внутри, для давнего, милого художника Первухина, каждое лето проживавшего в ней трудовые зимние гроши – внутри. (Он для Венеции, собственно, и учительствовал в Школе Живописи и Ваяния.)

Флоренция – дело другое. Если б верил я в переселение душ, то сказал бы, что некогда проживал во Флоренции. Это мой город. Treno omnibus с синьоринами втащил нас домой, на вторую родину. Это сразу почувствовалось. На родину тащил чемоданчики наши facchino с вокзала в допотопный Alberqo Nuovo Corona d'Italia, где встретили нас как своих, возвратившихся из дальнего странствия. С высоким худым Lazzaro Guerra, хозяином, мы были где-то знакомы, с жилистой немолодой Нанетой, горничной, тоже.

Тут все свое. И рынок рядом (с «благоуханиями»), и cinquanta cinque centesimi, из-за которых спорят на базаре, и капелла Медичи в Сан Лоренцо, рядом, где «Ночь» Микель Анджело (всегда напоминавшая засыпающую мою жену), и Собор, и Уффици с Боттичелли и другими разными хорошими людьми. И даже Данте, тогда мне почти неведомый, но над всем градом моим плывущий в виде Духа, на всех почти перекрестках встречаемый в надписях из «Божественной Комедии». И все эти колоколенки, и башня Palazzo Vecchio – некое знамя над Флоренцией, и безводная, но священная река Арно, простира-

ющаяся у ног ее, а за ней с холма Сан Миниато непреходящий вид на Флоренцию, и те горы Prato Madno, через которые пешком уходил Данте с поэмой в мешке за спиной – сурова была тогда к нему эта Флоренция, ныне низко ему кланяющаяся. А при жизни и обожал он ее и ненавидел.

Все тут наше. Кто от России, от Москвы может отказаться? Молоко матери зря не проходит. На нем вырос, с ним и уйдешь. Но в те дни, 1904 года, город Флоренция появился как запредельная родина. Рядом с Данте и Боттичелли, с Беато Анжелико и Донателло в нее входит и кабан со струйкой воды из морды на рынке, и скромный ресторанчик Маренго в двух шагах от Albergo нашего и офицеры итальянские в голубовато-серых плащах, с огромными мирными саблями, там же завтракающие, и черненький быстроходный Джованни, cameriere.

– Pronto! Subito!

И вот он уже подает, полулетя, двум чудаковатым иностранцам bistecca con patate и мчится далее к офицерским плащам, а собака их выпрыгивает в окно прямо на улицу. Ничего, невысоко.

Если спросить его (как умеешь), кто мы такие, он остановится, хитровато-умно взглянет и улыбнется:

– Artisti.

Все наше.

* * *

«Рим самый трудный, медленный город Италии. Как творение очень глубокое, с таинственным и трагическим оттенком, он не сразу даст прочесть себя пришельцу». «Рим не для молодости. Но человек, видевший уже жизнь, знающий ее цену, знакомый с горем...», «тот Рим полюбит любовию ясной, с оттенком грусти».

Так писал я через пятнадцать лет после первой с Римом встречи, и от слов своих не отказываюсь и теперь. За пятнадцать лет после первого налета нам с женой удалось дважды жить в Риме месяцами. Он приоткрыл нам тогда свою загадочную душу.

А в то первое, доисторическое посещение (несколько дней!) мы скользнули только по нем. Собор св. Петра, Ватикан... – прохладно. Кажется, сильнее всего дошли катакомбы св. Каллиста, трогательность их подземная, тихий свет, голос мучеников и верных– идет он из-под земли вот уж две тысячи лет, нет ему ни преграды, ни остановки.

И с погодой не повезло. Было серо, дождливо, эта сырость находила созвучие в самой комнате нашей – огромной, несколь-

ко затхлой, со старой, усталой мебелью – за три лиры снимали мы ее у швейцарки какой-то, на шестом этаже (но тогдашние сердца наши и ноги все легко преодолевали). Ни Пинчио, ни виллу Дориа Памфили, или Аппиеву дорогу, даже как следует Палатин и Форум мы, собственно, и не видели, а уж про Кампанью, окрестности и говорить нечего.

Ночь в вагоне на Неаполь, все в таком же тесном купе, с открытым окном, откуда теплый ветер врывался – жена дремала у меня на плече – в углу юноша тихонько целовался с итальяночкой своей, а в окно лился воздух мареммы, болот Понтийских, знаменитых своими лихорадками.

Этого годы не стерли. Но слава Богу, лихорадкою не заразились, на заре попали в новый край: итальянско-эллинизированный и по южному шумный.

* * *

Неаполь, Помпеи, Везувий промелькнули в пестроте красоты, гомоне мальчишек на грязных улицах, развешанном на веревках тут же белье, в крике ослов, величии скульптур греческих в Музее, нежных очертаниях окрестностей, таинственном дымке Везувия, безмолвии Помпеи – великого и горестного кладбища многовековою жизнью своей претворенного в поэзию.

И мы так разыгрались в Неаполе, что пробрались даже на Капри. Крошечный пароходик доставил нас туда, и тут нам показалось, что мы в некоем вполне волшебном мире. Волшебный – верхний этаж, нижний мило-обыденный, с детским.

В ресторанчике спрашиваю себе молока. Camerîere не совсем понимает. Синьору угодно молока к кофе? Нет, к завтраку (о, Притыкино в стране Улисса!). Первый раз видит camerîere иностранца, желающего к pollo arrosto, рису и сыру – молока. Но покорно приносит заказанное и покорно пьет скиф козье молоко. Не весьма нравится, что поделаешь. На Капри отличное вино, а коров нет. Одни козы.

В это время мальчишечка, лет шести, из семьи соседей по столику, простых итальянцев, вдруг соскакивает, бежит в уголок комнаты, садится орлом, расстегнув штанишки, и тут же все совершает, что ему нужно. Camerîere менее этому удивляется, чем моему молоку. Берет спокойно совочек с песком, засыпает следы, и все в ресторане сочувственны.

– Piccolo bambino... Маленький ребенок. Что с него возьмешь?

Утром выходим на прогулку. Подымаемся на гору, не так уж она и высока, но над всем Капри господствует.

Выше человечьего жилья (тогда Капри было скромным городком) – безлюдие, великая пустынность. Земля сухая и скалистая, только белые анемоны на ней.

Тут я проявил упорство. Жена устала карабкаться. «Не хочу выше! Не могу!» «Нет, пойдем!» Что поделать, подняться надо, это зов, перед ним не устоишь. «Давай руку, помогу!» И своего добился. Полурассерженную, усталую, чуть не насильно, но взволок.

Мы оказались на площадке дикой, нам открывшей Божий мир. Круг тихих, сиреневеющих вод! Там легкие берега Италии, россыпь Неаполя, дальше Везувий, такой будто мирный и благодушный, с темной струйкой, однако, над ним, а вокруг – три четверти горизонта – небо над нежной синевою морей. Древнее море, Одиссея видавшее. Там, налево, конечно, Африка, может быть ее и увидишь, но если и не увидишь, показана тебе краса Божьего творения. Это образ Вселенной. В кругообразном виде отражение всемирности. Великой тишины и покоя.

Мы сидели тут долго. Жена отдохнула, перестала жаловаться, даже развеселилась. Охотно собирала анемоны. Как а я, была в некоем опьянении.

* * *

Этим закончилось наше юное обручение с Италией. Много раз потом мы бывали в ней. Союз оказался на всю жизнь. И через многие годы прошла она светом, счастьем.

КНИГИ, КНИГИ...

«Первую любовь» впервые прочитал я так давно, что даже жутко становится: ребенком, в прошлом веке. От волнения с четверть часа бегал по аллеям парка, чтобы успокоиться.

Одной из лучших вещей Тургенева она осталась на всю жизнь. Да и сам Тургенев больше всех писаний своих любил именно ее.

Сейчас в России выходит превосходное издание Тургенева – пятнадцать томов сочинений, тринадцать писем. Море примечений, сведений, разночтений. Море неизвестных раньше писем. (Когда я писал о Тургеневе, было известно писем всего 3 – 4 книги.) Дай Бог здоровья трудникам над Тургеневым.

Повесть вышла в 1860 г. Замечательны отзывы о ней «столпов» тогдашней критики. Писарев честно сознался, что «не по-

нимает характера Зинаиды» (героини. Он и в Пушкине ничего не понимал. Считался «кумиром молодежи»). Добролюбов увидел в Зинаиде «нечто среднее между Печориным и Ноздревым в юбке». Аполлон Григорьев по-другому написал, по-человечески, но считался вообще на задворках.

И вот прошло сто лет. Повесть давно прославлена, переведена на разные языки. Писаревым и Добролюбовым восхищаются лишь советские примитивы. Все в порядке. Но вот теперь в Париже выпущен французский телефильм «Первая любовь», по Тургеневу. Я его не видел. И смотреть не собираюсь. Видевший и написавший о нем *по-русски* вынес впечатление о Зинаиде: «очень похоже, что она садистка». Действительно, «очень похоже». И на Зинаиду, и на Тургенева. До «такого» даже Добролюбов не додумался. Впрочем, в те «детские» русские времена садизмами мало интересовались.

Теперь дело другое. Надо перцу подсыпать. Не знаю точно, как ухитрились подсыпать в прозрачно-юную повесть садизм, но вот русский теперешний человек вынес же такое впечатление?

Кое-что видно из отчета его. Как-то так получилось, что ребяческие забавы Зинаиды (игра в фанты с поклонниками) поданы под маркиза де Сада. «Она велит одному из своих кавалеров, капитану Нирмацкому, лечь на живот, а еще одному поклоннику, поэту Майданову, стать на Нирмацкого и читать стихи». (Явное доказательство «извращенности» Зинаиды). У Тургенева: «Ей пришлось, между прочим, представлять «статую» – и она с пьедестала себе выбрала безобразного Нирмацкого, велела ему лечь ничком да еще уткнуть лицо в грудь». Никак она стать на него и не могла, – вероятно, поставила ему ногу на спину – вообще, все это были забавы, для сегодняшнего глаза наивные и почти смешные, но вот подите же, получается впечатление «садизма». И булавкой колола Лушина тоже в шутку, и мальчику влюбленному предложила спрыгнуть с оранжереи вовсе не из-за сладострастной радости видеть его боль. (Сама же и испугалась, смутилась взбалмошности своей и как бы в раскаянии поцеловала его.)

Но вот для публики нынешней, для улицы, это неинтересно, надо «подать» Тургенева под другим соусом.

Русские же литературоведы трудились на совесть. Только в писании своем ни разу не упомянули, нравилась ли «Первая любовь» Марксу и Энгельсу – это единственно, в чем могу их упрекнуть. А то я боюсь: вдруг не нравилась? Что мне тогда делать?

* * *

Этторе Логатто, давний, испытанный друг России и культуры нашей. Еще в 1923 году, молодой тогда профессор, редактор журнала «Russia», устроил он в Риме выступление группы русских философов, писателей, ученых под флагом Istituto per Europa Orientale. Бердяев, Франк, Вышеславцев, мы с Осоргиным, проф. Новиков, Чупров (младший). Муратов тоже, но читал несколько позже. Для Рима просвещенного это оказалось отчасти событием. Северные медведи, русские эмигранты, съехались из разных стран Европы, чтобы рассказать о духовной жизни Родины, каждый по своей части – читали по-французски и по-итальянски. «Политического» тут ничего не было. Но для слушателей – молодежи, интеллигенции итальянской, профессоров, писателей много нового и неизвестного. Были приемы, помню Пиранделло у соотечественницы нашей О. И. Синьорелли, Прецциолини и других – из русских же участников всего этого дела в живых остались только «Гектор Доминикович», как звали мы Логатто, да я.

И вот все эти сорок с лишним лет отдал Логатто, профессор Римского Университета и ныне ученый с европейским именем, трудам о русской литературе и духовной культуре.

Особенным его любимцем оказался Пушкин. В огромной личной библиотеке Логатто пушкинское занимает главное место. Удивительно при этом, как человек родом из Неаполя – правда, прожил жизнь с русской женой – так врос в Россию, что иной раз кажется: не ближе ли ему Россия, чем сама Италия? Отлично говорит по-русски. Литературу нашу знает лучше, чем любой из нас. Дочь его «Анюта», которую в тогдашний приезд видел я чуть не в пеленках, теперь профессор русской литературы и языка в том же Римском Университете, говорит по-русски так, будто родилась в Тульской губернии близ Ясной Поляны. (Этим обязана она главнейше, конечно, матери, покойной Зое Матвеевне, вывезшей с Родины превосходный русский язык.)

Замечательно упорство и многосторонность «русской» деятельности Логатто. Вот в моем книжном шкафу скромный журнал «Russia», 1923 г. Там перевод из Ахматовой, рядом мой рассказ, Лесков, Щедрин – но это еще мелочи. Начинается затем Пушкин – чтобы никогда уже не кончиться! Перевод на итальянский «Евгения Онегина», дальше огромное предприятие – «История русской литературы». Это, кажется, capolavoro, основной труд. У меня всего три итальянских тома его: с древних времен, кончается Пушкиным. Но идут годы, писание растет. Дошло до семи томов (по-итальянски). До советской молодой литературы.

Но автору все хочется еще писать о России. Не только о литературе ее. Вот книга «Vecchia Russia» – Соборы, Кремль, Новгород, Ростов Великий, Троицко-Сергиева Лавра. И того мало. Великолепно изданная книга «Миф Петербурга» – десять глав о Петербурге (Петр Великий над всем главенствует, но и возлюбленный Пушкин, и Невский проспект, и здание Эрмитажа, и позднейшее, связанное с Петербургом, вплоть до «Двенадцати» Блока с иллюстрациями Анненкова и Дмитриевского). Логатто бывал в Петербурге и что-то покорило его в нем, но главное тут, видимо, Пушкин. Думаю, под покровом его все и родилось.

Пушкин вообще пронзил неаполитано-русского Логатто навсегда. Это некое наваждение его. Про перевод «Евгения Онегина» уже упоминалось. Но перевел он и вообще чуть не всего Пушкина. Что сказать: в двух томах «Все прозаические произведения», «Все поэтическое и драмы». С какой любовью, знанием дела! А еще кроме того – огромный труд о самом Пушкине – 1959 год. И «между делом» – «Демон» Лермонтова, «Снегурочка» Островского. Поразительная производительность и как бы одержимость Россией: в 52 г. два тома «История русского театра». «Итальянские артисты в России» – три тома.

И все-таки главным его произведением остается «История русской литературы». Только что вышел французский перевод, с 5-го итальянского издания. Теперь огромная панорама русского творчества дана на мировом языке – плод долгих лет жизни, чтений, обдумывания судеб нашей словесности, начинания с глубокой древности до времени самоновейшего.

Я никак не историк литературы. Ученой и объективной оценки давать не собираюсь, краткие же замечания о монументе почти в тысячу огромных страниц имею смелость высказать.

Дело начинается с очень давних времен – раньше «Слова о полку Игореве». Киевская, Московская Русь проходит скорее как введение, эпоха Петра, восемнадцатый век Екатерины II с Державиным, – тут для автора больший простор, на который окончательно выводит его любимый Пушкин. С Жуковского и с него начинается XIX век, которому (по справедливости) отведены чуть не три четверти труда. Прославлены достойно облики великих романистов наших Толстого и Достоевского, и вокруг гирлянда не столь грандиозных, но замечательных, а частию – как Гоголь – и гениальных.

Дух повествования у Логатто спокойный, но не сухо-педантичный. Писал ученый, но и живой человек. Все время старается он быть объективным, и ему это в общем удается, но

никак он не машина, и что очень сейчас ценно: нет предвзятости. Литература прежде всего. Советские оценки, критика и даже литературоведение так замучили нас указательным перстом, навязчивостью и желанием вдолбить, что свободная книга свободного писателя, руководимого только любовью и интересом к своему предмету, очень освежает, оставляет особоблагоприятное впечатление.

Переходом от XIX к XX веку и самим нашим веком автор занимается тоже очень пристально. Нельзя сказать, на стороне ли он движения «от реализма к неоромантизму», на стороне ли символистов или молодой советской литературы, но о всех говорит тоном сочувственного историка. Парадоксов или странностей нет. Нет и крайностей «личной» оценки. Можно не соглашаться с некоторыми оттенками его суждений о писателях. Но это мелочи.

В общем труд выдающийся. Весьма сомневаюсь, чтобы на других европейских языках существовал такой монументально-эрудитский и вместе с тем человечный, внутренне проникнутый любовью к России труд, как эта «История русской литературы» Логатто. Без всякого крика и надрыва, в вооружении огромных познаний, он дает целую панораму российского зодчества литературного.

Русский человек, любящий свою культуру, может только почтительно поклониться автору.

* * *

И еще книга, второй том тоже грандиозного предприятия, артельного, на этот раз русских авторов: «Краткая Литературная Энциклопедия». «Краткая» названо скромно, в одном втором томе, недавно в Москве вышедшем, более тысячи страниц. Начинается с буквы Г, кончается буквой З. «Гаврилюк – Зюльфигар Ширвани». Значит, будет еще несколько томов и тысяч страниц.

По невежеству своему ни Гаврилюка, ни Зюльфигара имен никогда не слыхал. (Зюльфигар этот родился в XII веке, был, конечно, «против социальной несправедливости». Гаврилюк наш современник, тоже светлая личность. Какие они были *писатели* – Бог весть).

В этом томе «краткой» Энциклопедии, кроме инородцев Империи Российской, попадаются и люди иностранные – небезызвестные: Данте, Гете, Гюго, Гамсун (без портрета, уступлен Гаврилюку). Горький, даже и Достоевский. Гомеру дали несколько строк.

По размерам предприятие это планетарное. Трудился чуть не батальон участников. Впечатление такое, что на каждого писателя есть свой литературовед.

Но что резко отличает Энциклопедию эту от книги Логатто, – предвзятость, и не простая, а какая-то «квадратно-гнездовая» (советское выражение – не из этого труда). Про Гаврилюка и говорить нечего: кроме портрета поместили и фронтиспис книги: полицейский прежних времен «избивает» светлых личностей. Но и вся книга под таким знаком. (Горькому дали больше места, чем Достоевскому – не за то, конечно, что «На дне» выше «Братьев Карамазовых».)

Думаю, и в самой России надоело такое навязывание. В предисловии сказано, что насчет первого тома поступили даже критические замечания об оценках «некоторых писателей декадентов».

Еще одно впечатление: обилие инородческих писателей. На той же странице, где Данте, подряд идут: Данько, Дар, Дара, Дарвеза Ахунд. Начиная с 627 до 643 страницы нет *ни одной* русской фамилии. Буква Д особенно благоприятна для Азии (или полу-Азии). На шестнадцати страницах шестнадцать восточно-нерусских писателей и несколько труднопроизносимых слов, объясняющих особенности их стихосложения и т. п.

Иной раз кажется, что просто Великороссию, давшую все же мировую литературу, затерли азербайджанцы, татары, калмыки, чуть ли не чукчи. Про украинцев и говорить нечего. Конечно, каждому хочется, чтобы «и у нас что-то было» – это естественно. Все же не до бесчувствия.

Знаний, труда на создание справочника такого положено очень много, даже уж слишком много. Хорошо бы, если б в дальнейшем было больше объективности, меньше духа политики и подземной пропаганды. Русская литература и сама за себя постоит.

НА ВЕСАХ

Не помню, когда именно начал читать Толстого. Во всяком случае, не в этом веке, раньше. Книги его водились в нашем доме с незапамятных времен, раннего моего детства. Маленькие книжки – собрание сочинений – на тонкой бумаге, томов тринадцать. Издание неказистое, строчки просвечивали местами, переплетено в Жиздре, переплетики в бумаге «под мрамор». Но в книжечках было все толстовское, что надо. Главное же «Война и мир».

Достоевский вошел тоже на заре, в Калуге, когда гимназистик некий таскал в скучнейшую гимназию ранец за плечами, форменную шинельку чуть не до пят и ненависть к латыни. В сумрачные осенние дни домика на Никольской и явился Достоевский – тоже еще ранний: «Униженные и оскорбленные» (мы говорили тогда «униженные»...) такой же сумрачный, как и осенние утра, когда надо идти в гимназию. Сумрачный, но уже пронзительный. Мелодраматичный, но владевший, детскую душу потрясавший и разными «Неточками Незвановыми». Это не ante, apud, ad, adversus...

Время же шло, жизнь менялась, «детство, отрочество и юность», взрослость, писательство – а два Эльбруса все спровождали, плыли рядом, но не как чужие горы: как живые существа. Меняя очертания, сильней входя одними сторонами своими, вытесняя другие. Долгое странствие, через всю жизнь. Хочется теперь подсчитать, проверить. – Частию уж подведено, не со вчерашнего дня. «Война и мир», «Братья Карамазовы». Ни у того, ни у другого выше этого ничего нет. И в мировой литературе выше нет. Толстой написал «Войну и мир» взрослым, конечно, но «на половине странствия нашей жизни», во всяком случае, здоровым, крепким. Достоевский отправил эпилог «Карамазовых» за два месяца до кончины. Так Данте кончил «Рай» в Равенне (1321 г.), да и умер. В 1910 г. и Толстой скончался, а «Война и мир», «Братья Карамазовы» продолжают великое свое хождение по душам.

Что больше? С другими сравнивать нечего. Нет соперников. Но между собой? На одной чашке весов «Карамазовы», на другой «Война и мир». Кто перетянет? Чья чашка хоть медленно, но и решительно пойдет вниз?

Перечитал, в последний раз. И приговор. Уже без апелляции.

* * *

Насчет «Войны и мира» было некое колебание: года три назад все четыре книги вслух мною прочитаны. А сколько раз про себя читал раньше? – Все же перечел.

И хорошо сделал. Все опять новое, живое, вновь свежее. Ведь чуть не наизусть знаешь, как Багратион «неловким шагом кавалериста» вел под Шенграбеном тот «шестой Егерский», атака которого «обеспечила отступление правого фланга». И знаешь, и опять читаешь, будто не читал и будто написано это вчера, а не сто лет назад. И всех милых Тушиных, Тимохиных, скромных героев, тоже насквозь знаешь, а вот они новые и живые вновь вынырнули, как князь Андрей и толстяк Пьер, и худень-

кая Наташа и княжна Марья и чудачище старый Болконский, все давние знакомые и никто не надоел и все свежи.

Яснополянский человек со львиным именем так подстроил, что через сто лет не можешь оторваться от призраков, им таинственно воплощенных. Небывшее обратил в бывшее, нас всех прехитро обманул.

Всем известно толстовское лицо: мужицкий нос, брови мохнатые, огромнейшая борода. (Не всегда, конечно, так было. Но и когда «Войну и мир» писал, все же лицо «сурьезное»). Но отчего же так получилось, что во многих местах является у читателя улыбка, ясная, улыбка любви и сочувствия, освещающая рядом стоящие главы о страшных делах жизни: войне, убийствах, смерти? Улыбка – и странно о Толстом сказать: почти умиленная. Там, где простые люди, где солдаты, где Тимохин и Тушин, где юная Наташа – сперва ребенок шаловливый, потом томящаяся по любви девушка (бродит по дому и бессмысленно твердит: «Мадагаскар»). Это место творения вообще волшебное: влюбленность, езда на тройках на Рождество, деревенский маскарад, подрисованные усики у Сони-гусара – страницы у всего Толстого единственные по колдовству. Вот вам и «трезвый» Толстой! Чего-чего в нем не было. А описание охот? Доезжачий Данило, крепостной графа Ростова, чуть не замахнувшийся нагайкой и словесно «обложивший» барина, прозевавшего лисицу?

Но тут новая загадочность: ни крепостного права, ни языка того времени в романе нет, а всему веришь. Опять великий обман.

Пьер Безухов, князь Андрей – внутренний мир автора той поры его. Равно и Платон Каратаев. Все трое тоже вполне живые и – по-разному – даже трогательны. Сцена, когда в Мытищах приходит к князю Андрею, смертельно раненому под Бородиным, Наташа – незабываема. (А Толстой очень за нее боялся. Не выйдет ли сентиментально. – Напрасно боялся. Но на то он и великий художник, чтобы строгим быть к себе.)

Однако, уже в этих трех фигурах (мужских) есть опасный намек. Намек на философствование. Толстой знал за собой слабость: рассуждения (в дальнейшем – одержимость ими). Но не избавился от нее. С годами наоборот, она усилилась. «Война и мир» начата была проще, непосредственней, называлась «1805 год». Но ведь писалась годы, разрослась в эпопею. Как великие творения составляла жизнь внутреннюю автора, в возрастании своем и открыла дверь мудрствованию. Явилась «философия войны», «роль личности в истории» – надо сказать: все по-толстовски новое и острое, и нутряное, шедшее наперекор обще-

принятому. Чем далее, тем больше. Здание частью и перестраивалось. Наполеон явился – вы его считаете гением, а я сделаю центром насмешек и хулы. А вот Кутузов и народ, стихия, по таинственным законам действующая, – истинные герои. Страстность не знает тут предела. Но это уж Толстой, его характер и неудержимый темперамент. Философия так философия – несись неукротимая тройка.

Бородинский бой – апофеоз народного геройства, в то же время драгоценность искусства. Пожар Москвы, Пьер, собравшийся убить Наполеона, расстрел близ Девичьего Поля (воображаемых «поджигателей»), отступление, смерть Каратаева, партизаны – сплошь шедевры.

Но на этом «отступлении» силы, даже гигантские, ослабевают. Четвертый том «Войны и мира» – некоторая усталость. Вновь замечательны разговоры солдат. Гибель Пети Ростова – двадцать пять золотых страниц. («Денисов не отвечал; он подъехал к Пете, слез с лошади и дрожащими руками повернул к себе запачканное кровью и грязью, уже побледневшее лицо Пети.

«Я привык что-нибудь сладкое. Отличный изюм, берите весь» – вспомнилось ему. И казаки с удивлением оглянулись на звуки, похожие на собачий лай, с которыми Денисов быстро отвернулся, подошел к плетню и схватился за него».)

Дальше в романе идет – вновь местами прекрасно, но рассуждения все растут. В описании войны попадаются странички, почти или просто «заимствованные» у историка.

Конец охлаждает. Все постарели, потолстели. У Наташи «часто видно было одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно. Видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка». Являются детские пеленки с желтыми пятнами – нечто от Ясной Поляны и Кити Левиной. Думаю, вряд ли нравилось это Софье Андреевне Толстой (хотя она была гораздо глубже и трагичнее «этой» Наташи).

Дальше идет у Толстого уже «карамазовский безудерж»: эпилог в сорок пять страниц опять рассуждений. Написано языком Толстовским, ни на кого, конечно, не похожим в первобытной своей силе, но в общем невыносимо.

* * *

«Братья Карамазовы» не для юности. Для самого автора были они венцом прощальным и читать их надо в зрелости.

Это завершение пути, завещание натуры гениальной, прошедшей через Ад. Чистилище и, смею надеяться, к Раю приблизившейся. Сколь разные с Толстым закаты жизни, в ко-

торой они и не встретились ни разу. Мало даже известно, как относились друг к другу как писатели. Помнится, Достоевский высоко ставил «Анну Каренину», но и раздражался: барин писал это, в тысячном имении, о долгах и платеже за квартиру не думая. О Толстом не знаю достоверно, то ли он начисто отвергал «Братьев Карамазовых» (прочел сто страниц и бросил), то ли прочитал вновь, уже предсмертно, все – и поразился. Прочно одно мне известно: в более раннее время (до «Карамазовых»), лучшим у Достоевского считал «Записки из Мертвого дома» – по «здравому» смыслу понятно: наиболее из Достоевского «близкое к жизни», без фантастики и особого вулканизма.

Но без настоящего вулкана нет полного Достоевского, «Мертвый дом» – Достоевский, но не весь. Более сильные вулканы потрясали его позже, всю зрелую жизнь потрясали – в «Братьях Карамазовых» обузданы они – крепко ли? – но обузданы. Данте в скитальчестве своем постучался однажды на вечерней заре в ворота монастыря и на вопрос привратника: «чего тебе надо?» ответил: «Мира».

Мира очень надо было и Достоевскому. (Как и Толстому, конечно, но ему было еще трудней.)

Достоевский же, в бурных метаниях и скитаниях своих, в опыте человекобожества – Раскольникова, Кириллова – зла, подполья, всяких Ставрогиных и Свидригайловых, пришел в конце концов, к «вратам Обители», к той самой Оптиной, которую и обессмертил в «Карамазовых» (и до которой Лев Толстой так и не достучался, как-то заробел пред ней в страшные последние свои дни).

«Толцыте и отверзится». Достоевский долго метался, но стучал яростно, и достучался. Старость его оказалась мирною. В Анне Григорьевне своей нашел он мир домашний (бежать от семьи не пришлось), в Православии нашел мир духовный.

Но горе не отходило. Только горе это и благодатно. Весной 1878 г., когда начал он «Карамазовых», у него умер трехлетний сын Алеша. Он его обожал. И страдал ужасно, еще и то мучило, что сын умер от припадка эпилепсии – отцом, как будто, переданной (так, по крайней мере, думал Достоевский).

Тут вот и пришла помощь. С молодым философом Владимиром Соловьевым уехал он в Оптину – дело рук Анны Григорьевны, вечная ей память. Там был у старца Амвросия (о нем некогда, в раннем детстве, почтительно рассказывала мне няня – мы жили в шестидесяти верстах от Оптиной). В Оптиной этой видел Достоевский и «верующих баб» вроде моей няньки, там «Братья Карамазовы» получили живое, огненнос свое креще-

ние, имя умершего младенца перешло на младшего из Карамазовых, любимца Достоевского – Алешу. Свет Оптиной озарил сиянием своим роман.

А озарять и преодолевать было что. Только Оптину Пустынь, только благословение любви и высшей правды можно было противопоставить карамазовщине и смердяковщине, черту Ивана Карамазова. В самом же начале романа в сцене «примирения» (якобы) Федора Павловича с сыном, старец Зосима вдруг в ноги кланяется этому буяну и беспутному Дмитрию – к великому удивлению всех. Много позже только выясняется, что «не ему кланяюсь, страданию его будущему кланяюсь» – безвинной двадцатилетней каторге, ожидавшей Дмитрия.

Достоевский сам на каторге побывал. «Вкушая вкусих мало меду», но великое страдание и великие последствия дало. Без Голгофы личной Достоевского ни Раскольников, ни Дмитрий не явились бы. И вот там, в «Мертвом доме», встретил он некоего Ильинского, безвинно осужденного за убийство. Веселый, бодрый, он и оказался будущим Дмитрием Карамазовым. (Но его через несколько лет все-таки освободили – настоящий убийца нашелся.)

В «Карамазовых» убил отца не Дмитрий, а незаконный сын, лакей Смердяков. Темой отцеубийства пронизан, однако, весь роман – у Дмитрия в душе все же было намерение. В последнюю минуту «по молитве матери» не убил. Отцеубийство – страшная тень, как от ужасной птицы, над всем тут реет. И опять что-то из личной жизни Достоевского. Никакого отца он не убивал, но его собственный отец тоже был вроде Федора Павловича. Овдовев, дни кончал в именьице своем Даровое, Веневского уезда, в пьянстве и разврате. Крестьяне (крепостные!) в конце концов убили его.

(Позволяю себе маленькое отступление. Детство мое прошло недалеко от Оптиной, в молодости жил я долго в имении моего отца в Тульской губернии. «География» Карамазовых более чем близка мне. Знаменитое по роману село Мокрое находилось в четырех верстах от нас, «Чермашню» много раз слышал. «Даровое» от нас было верстах в тридцати).

А в романе вышла потрясающая история убийства Федора Павловича. Рядом с гигантскими вопросами Бога и дьявола, веры и неверия, тайны зла и страдания (за безвинную «слезинку ребенка» «почтительно билет возвращаю»), поразительный «криминальный» роман. С какою изобретательностью, волнующим интересом пишет Достоевский об убийстве старого Карамазова, сколько сил и страниц отдает самому преступлению,

и следствию, и суду даже, речам прокурора, защитника. Тут он просто как дома – и все фантазией овеяно, и во все веришь. И Смердякова насквозь чувствуешь, и Грушеньку, даже самую неудачную фигуру романа Катерину Ивановну (тут только «воздух» безумных женщин Достоевского, но не воплощено никак). Менее воплощен и любимец Достоевского Алеша. (Хотя глава «Кана Галилейская» необычайна.) Старец Зосима проходит светлым полуземным видением. Но как «это» воплотить? Дантовский «Рай» скорее музыка – но Данте был поэт. Достоевскому музыка не подходит.

Вулкан же бьет во все стороны: свет, и тьма, и суд, и восторг, и мелодрама, и рыдание Снегирева над телом Илюшечки, и «речь на могиле» – все необыкновенный букет, по частям можно подкапываться и придираться, а получилось нечто небывалое ни в нашей, ни в мировой литературе.

* * *

Вот и сравнивай, взвешивай. Перечитав теперь, приходишь к мнению, кажется, окончательному: не к чему взвешивать. Столько все разное, что на каждое – свои весы. Все же некие замечания сделать хочется.

Чего нет в «Карамазовых»? – Улыбки читателя, радостной и трогательной. Есть и рыдательность, и трагедия, и катарзис, как в трагедиях полагается – высшее духовное очищение в любви. Но вот улыбки сочувственной на простого милого человека, вполне живого и трогающего своей плотской теплотой – этого как раз нет. Человек – плотски-духовное существо. Это не животное и не идея, а таинственное их соединение. Этого как раз мало у людей Достоевского. Сам он жизнь страстно любил, но вот природы, например, никогда не описывал (значит, не чувствовал). Все «клейкие листочки» Ивана Карамазова, и Алеша, целующий землю и как бы чрез нее окончательно приходящий к вере («Кана Галилейская»), все это чисто духовное. Толстой с Пьером Безуховым, князем Андреем и Каратаевым за этой высотой угнаться не может, но непосредственного обаяния, телесно-душевного, толстовских людей из «Войны и мира» в «Карамазовых» нет. Выше, но и отвлеченней. Иван Карамазов – я его совсем не вижу, он не воплощен (черт кошмара его воплощен больше), клейкие листочки для меня слова, это Достоевский говорит, а не он сам. Алеша более чем мил, но все же стилизован.

«Война и мир», «Братья Карамазовы» – соперников им нет, лежат на весах оба, гири огромные, а весы покачиваются себе,

ни та чашка, ни эта перевесить не может. И возможно, посмеиваются про себя: «Вот, выдумал что взвешивать. Не согнулось бы коромысло. А затея твоя ни к чему».

ДНИ
<О КАМЮ И ВЕЙДЛЕ>

По-русски только что вышла ранняя книга Камю L'Etranqer. Перевел ее Г. В. Адамович – очень хорошо. (Названо «Незнакомец».) С обложки глядит лицо Камю, несколько алжирского типа, но очень располагающее – умные и добрые глаза, легкая улыбка, мелко курчавые волосы.

Он и сам родился в Алжире и все, что написал в книге, в Алжире происходит.

Написал сухо, кратко, без всяких штук и очень страшно. Читателем Камю овладевает – покоряет горечью безысходной. Адамович прав, говоря в предисловии, что не зря писал, не «так себе», а действительно нужно было что-то выложить.

Можно быть выдающимся писателем, но даром власти над читателем не обладать. Камю обладает. Да и тема его жуткая. Но она часть души автора. Своими как бы протокольными, сжатыми фразами и содержанием своим книга держит читателя крепко.

Жил-был в Алжире некий молодой человек Мерсо. В восьмидесяти километрах от города, где он работал, умерла у него мать, в старческом доме. Телеграмма. Он туда едет, но неохотно, как-то вяло. Мать будто и любил, а ведет себя странно-равнодушно. И вообще весь какой-то лунатический.

Похоронил мать, вернулся, прозябает скромно и незаметно – соседи по отельчику, неглубокая связь с Марией некоей, нехитрые отношения с двумя-тремя знакомыми, той же среды, что и он. Все буднично, покойно, а под спокойствием этим...

Приятель ссорится с какими-то арабами, Мерсо тут совершенно ни при чем. И ссора кончена, и арабы ушли, а один остался лежать на пляже, а Мерсо бредет, под знойным солнцем, и араб этот раздражает его, что ли, да еще нож у него блестит противно – Мерсо совершенно бессмысленно стреляет в него, так же равнодушно, как хоронил мать. Собственно, ни с того ни с сего. Не сопротивляясь, не желая нападать. Убивает.

Арест, тюрьма. Все время некое внутреннее оцепенение. Даже нельзя сказать, сознает ли он ужас содеянного. Так, марево. Ни то ни се. Главное, как будто, жара, усталость... – и нелепый Рок, ведущий в бездну и к абсурду.

Вот Камю очень поклонялся Достоевскому. Но с Раскольниковым у этого Мерсо ничего общего нет. Какие там ницшеанские дерзания (раньше Ницше) алжирского служащего! Идей-то вообще ни малейших. И о совести говорить с ним бесполезно. Но он не противен. Что-то есть между строк такое, что к нему даже и располагает (может быть беззащитность, детская безответственность какая-то перед судьбой?). Но и полюбить такого трудно – впрочем, как и Раскольникова.

Раскольникову Соня читает Евангелие (потрясающие страницы). Мерсо, думаю, о Евангелии и не слышал, и та Мария, довольно милая, с которой у него связь, не смиренная жертва-блудница Достоевского, а просто служащая, без всякой Голгофы, и тоже, наверно, никакого Евангелия никогда не читавшая.

Конечно, когда является тень Достоевского, все рядом съеживается окончательно, в булавочную головку. Камю не виноват, что он не гений. Написал хорошо, как умел, не всем же быть гениями.

Не могу утверждать, но... сам-то Камю читал ли когда-нибудь Евангелие?

Следователь у него очень странный (не в воображении ли автора только и существующий?). Этот с Евангелием пристает к Мерсо, раздражает его. Не вижу я таких следователей. На суде прокурор подчеркнуто-неприятен, явно автору хочется кольнуть «существующий порядок» (есть, конечно, за что кольнуть). Мерсо держится нелепо и лунатично, точно во сне, в дурном сне, кошмаре. Объяснить ничего не может – почему, за что убил. Боялся араба? Ненавидел его? – Просто жарко очень было. Солнце виновато. И одиночество, беззащитность моральная, отверженность. Нет в душе ни любви, ни нелюбви, так какой-то фантазм, ведущий, однако, к драме. Если б не блеснул нож под нестерпимым солнцем, может быть и не убил бы? А может – все-таки застрелил бы.

С позиции «дважды два четыре» все получается просто и здравомысленно: а, убил, ну и подавай собственную голову. Есть между свидетелями защиты и простые, не умеющие сказать, но ч т о - т о за внешностью чувствующие. «Несчастие, да, это, конечно, несчастие», говорит такой Селест, но присяжным, тоже нехитрым людям, тоже ничего больше объяснить не умеет. Мария просто падает и рыдает. А на горизонте все та же мать, к кончине которой отнесся он так «равнодушно». Вот и готовая картина: холодный, бездушный человек, чудовище среди нас, порядочных людей, именно «чужой», бессмысленный и опасный.

Приговор – гильотина. До казни повествование не доведено – завершается встречей со священником в камере. Священник молодой, очень привлекательный, добрый, искренно хочет что-то сдвинуть в душе Мерсо (хотя кажется мне, что уж за одно то, что он «священник», есть у лаического автора камень за пазухой).

Ничего не выходит. Все наоборот. (Еще бы: «священник»!) Он преступника только раздражает, тот почти выгоняет его из камеры. Никакой руки, даже братской, не принимает, остается со своим отчаянием и одиночеством.

Воздух в книге столь без кислорода, что и помимо ужаса казни – вообще-то дышать нечем. Безводная пустыня, Мерсо безводный. Духота, жар в камере и в книге. В «Братьях Карамазовых» осужденный не убийца приемлет Крест свой, а Иван со «слезинками ребенка» кончает безумием. У Камю с его добрыми глазами тоже никакого выхода, томится и сам он, а выхода нет, и не дождался его.

Собственная судьба Камю – ранняя гибель в бессмысленной катастрофе в расцвете сил, славы и таланта – как бы проекция в жизнь этой «абсурдности», которая его мучит. Человек с добрыми глазами и наверно благородным сердцем все хотел бы разрешить *разумно*, человечно, и всегда в пределах трех измерений. Ничего не выходит. На одном разуме и гуманности, без чувства тайны и отдания ей себя далеко не уедешь. Разве по разуму можно понять, почему на человека выдающегося, глубоко искреннего и настоящего писателя налетает – ни с того ни с сего – на дороге Смерть?

* * *

Есть на свете Алжир, и пусть будет. Бог с ним. Всякому жить хочется. Но, к счастью, не один у нас Алжир. Есть и другое. Например, Италия. А в Италии этой Венеция.

На заре века нынешнего и на нашей заре встретили мы с женой в этой Венеции петербургского сенатора, скромного старого человека (встреча случайная). Он смотрел на нас, как на детей. «В первый раз? На три дня? Небогато». И рассказал, что тридцать лет каждую осень ездит в Венецию, «но все-таки не могу сказать, хоть и живу в ней и с ней, что вполне знаю ее».

Позже на той же Пьяццетте встречали мы художника, приятеля нашего по Москве. Его жизнь в том состояла, что зимо́й он преподавал в Училище Живописи и Ваяния, жил с женой скромнейше, к лету подкапливал деньжонок и все их проживал в Венеции. Милый человек Константин Константинович Первухин! Энтузиаст, разговорщик, в Венецию влюбленный раз

навсегда, распоряжавшийся здесь как дома, со всеми знаком, вечно писал на утренней заре S. Maria della Salute. Вот почему-то она его особенно пронзила. Но пронзал и любой мальчишка венецианский, и любой камерьере, и во всех кафе он свой человек, многолетний, siqnor Costantino, и всех он похлопывает по плечу, все считают его своим – чужеземный, но и домашний лар Венеции. Вот тебе и венецианец с Козихи! Флоренция, Рим – бывал, конечно, но без них может жить, а без Венеции...

Все это фигуры стародавние. Уже история. И следа почти нет.

Но вот явился еще новый энтузиаст, слава Богу здравствующий, в ином вооружении познаний и известности, но не менее опьяненный.

«Похвала Венеции» Вейдле – большая статья, а в сущности гимн, объяснение в любви.

Так вышло, что эту «Похвалу» я прочитал одновременно с «Незнакомцем» Камю. Вот это два мира! И настоящее противоядие – так поданная Венеция. Да, несмотря на Алжир, Мерсо, есть в жизни воздух, свет, жемчужные тона, благоволение и благовестие, Беллини с незабываемой Мадонной (драгоценный Джиованни Беллини), San Zaccharia с удивительным своим фасадом, Сан Марко, Большой канал и Дворцы, милый Карпаччио и великий Тинторетто, и вся таинственная златовоздушная дымка Венеции, все дыхание Божества в ней – это вовсе наперекор всем Камю и Мерсо. Не только идет наперекор, но как-то смывает, незаметно уносит и убогих алжирцев, и знаменитого автора, «Нобелевского лауреата», Камю-Мерсо куда-то «в подворотню», куда Вейдле чуть не отправил известного французского писателя, сказавшего ему на съезде Пенклуба в Венеции, что «этому городу не хватает одухотворенности».

Дело происходило как раз около San Zaccharia, где в церкви старый Беллини с Мадонной своей один достаточно говорит за всю Венецию, вознося ее к Престолу.

Удивительно и радостно видеть, как такой спокойный, казалось бы «научный», «тяжеловооруженный» (оплит по-гречески) Вейдле воодушевился и загорелся Венецией да и всей лагуной. Как хорошо, что дыхание света и красоты так его взволновало и он так читателя взволновывает этим потоком света! Француз, которого он изничтожил, вовсе не был каким-то варваром, или Мерсо. Наоборот, сам знаток искусства, и с некоего конца даже прав: общепринят взгляд на Венецию – как на блеск внешний, жемчуга красок, роскошь прелестных женских тел (Тициан, Джиорджионе, некое ренессансно-избыточествующее язычество, поклонение прелести земной).

Вейдле ничего этого не отрицает. Но в Венеции нашел и пронзился и «гораздо высшим», не так бьющим в глаза, но великим. Да, это как бы город пиров (одна «Кана Галилейская» Веронезе чего стоит! – она на мельницу француза, рассердившего Вейдле). Но Тинторетто! Scuola di S. Rocco, милый Карпаччио, недосягаемый Беллини (Джиованни), как и загадочный Джорджионе, из какой жемчужной тишины, сияния Венеции, взяли они свое надмирное, возводящее к вечному и непостижимому в этом городе, казалось бы, созданном для «вкушения» земных благ?

Вейдле совершенно заполонен Венецией, она в него вошла, как и сама лагуна, все эти островки Мурано и Торчелло, все вместе вызывает в нем такой подъем, такую грусть при расставании, точно Венеция живое существо, и это волнение его передается – сочувствуешь ему, еще раз хочется взглянуть, попрощаться.

«Попрощаемся с лагуной. Темней она теперь, черно-зеленей, чем на том маленьком холсте у Гуарди. Другой час, поздний, прощальный час. И другой век... О чем это я? Ни о чем. Час хоть и поздний, хоть и темней лагуна, но вода и небо, как и там, почти одного тона и так же сливаются в одно. В двойном объятии этом спит Венеция»... «Единственная и единая. Пусть такой и пребудет. Завтра всю ее, далекую-близкую, преходящую и вечную, закрыв глаза, вспомню, увижу, сохраню, возьму с собой».

* * *

Когда-то в юности писал и я в этом духе о Флоренции. «Тебе, Флоренция! Тебе, таинственная родина души...» И слава Богу, что так чувствовал. И слава Богу, что у Вейдле есть пред чем склониться, что восславить.

Араб убит, Мерсо казнен, Камю задавлен. А ведь это наши братья.

ПЕРЕЧИТЫВАЯ БУНИНА

Захотелось перечитать «среднего» Бунина, не очень раннего (с романтическим еще оттенком) и не позднего, более успокоенного, эмигрантского.

«Деревня» написана в 1909 г. С юных лет я Бунина высоко ценил как художника. И побаивался и любил. Эту «Деревню» читал он нам до печати, еще в рукописи, в темноватой комнате квартиры Муромцевых, родителей его жены, Веры, в Скатертном переулке. Из всей комнаты запомнилась коробка с гильза-

ми для папирос на столе да просыпанный на черную клеенку рыжий табак. Как везде, где Иван жил, было неуютно, и такое впечатление, что вот приехал человек в гостиницу какого-нибудь Ельца или Каширы, проживет два дня да и уедет.

Слушали мы, кажется, вечера два, если не три – вещь большая и в писании Бунина считавшаяся поворотной: от одной полосы к другой. Слушатели были: две Веры, его и моя, Юлий – брат Ивана, да Пушечников, племянник.

Нельзя сказать, чтобы «Деревня» эта имела у нас успех. Помнится, Юлий бормотал что-то сочувственное, а другие помалкивали. Где она потом была напечатана, не помню, но вызвала шум. Народники упрекали за мрак изображения, односторонность подхода. Марксистам нравилось, что русская деревня «никуда», вот они все наладят.

Много лет спустя, уже после Нобелевской премии, в Грассе, Иван сам разгромил эту «Деревню» в выражениях не совсем, лояльных (на что был великий мастер), правя корректуру сочинений своих для «Петрополиса»[1]. («Писатель с мировым именем написал такое...» – раздался вопль из кабинета внизу.)

Я не вопил, но вещь эту никогда не любил. И теперь пробовал перечитать, но...

И перечитывать стал другие вещи, несколько более поздние. Названия все знакомые, но оказались и некоторые «открытия». То ли по-другому воспринял, то ли не все читал в свое время, но дохнуло большим художеством и подземной какой-то, орловской силой, которая в елецком Иване сидела и влекла его к народу, пейзанам, du prostoi, кого он и громил одной частью своей души, но и сам был плоть от плоти этого «народа», хоть и гордился древним родом Буниных, записанным в шестой дворянской книге (самой знаменитой).

Все эти повествования – «Суходол», «Сто восемь», «Ночной разговор» (страшная вещь), «Хорошая жизнь», «Веселый двор», «Игнат» – глубоко горестны, даже трагический налет на них. Дело не в одном быте крестьянском, темном и глухом во многом, но и в горьком взоре, коим смотрит на жизнь автор. (Это личное, некий внутренний фонарь, и делает то, что писания Бунина не «очеркизм», а художество, не фотография, а преломление в душе художника: действительность плюс душа). Будто он и в сторонке, ничего не н а в я з ы в а е т, а выходит так, что ему подчиняешься.

---

[1] Лучшее собрание его сочинений.

В чем-то народники были и правы: мрак сгущен. Я сам детство провел в деревне и приятели мои были разные Савоськи и Масетки, и Анютки, и толстопузый от черного хлеба Роман-пастушонок. Бабы прибегали иногда к матери моей, как в крепость под защиту от пьяных мужей, или за лекарствами, – но никаких зверств и ужасов я не помню, а было это в конце прошлого века, в губернии Калужской. Во взрослом состоянии, уже в Тульской губернии, в шестидесяти верстах от Ясной Поляны, помню крестьян вполне мирных, а дети сплошь грамотные. Конечно, наша жизнь (вовсе не роскошная) казалась им как бы с другой планеты, и в неравенстве этом был исток дальнейшего, трагического.

Но у Бунина все решительно горестно. «Захар Воробьев», могучий, странный человек, которого всю жизнь не покидало чувство одиночества – («Есть еще один вроде меня... да тот далеко, под Задонском»). Но «тот» (видимо, Тихон Задонский, святой и праведник) именно «далеко», а Захар есть Захар, и кончается тем, что просто выпивает он в один день две «четверти» водки и погибает. Бунину, конечно, что-то в нем и нравилось (его собственный отец недалек был в некоем роде от Захара), но сентиментальность не его мир, и Захар гибнет бессмысленно под рукой недрогнувшего (внешне) художника. В «Ночном разговоре» гимназист присутствует на гумне просто при рассказах убийц. «Хорошая жизнь», «Веселый двор» – все названия иронические – вторая вещь несколько растянута (как всегда, у Бунина медленный темп повествования, рассказ обрастает зрительными образами), но внутренняя печаль его неотразима, как и в «Хорошей жизни». «Игнат» – сумрак трагический, безысходный. И только в «Суходоле» смиренная Наталья, бывшая крепостная, от лица коей и ведется повествование, есть некий просвет – тихое сияние смиренья: это, конечно, двоюродная сестра Лукерьи из «Живых мощей» Тургенева, заступница за Россию грешную, за всех нас грешных, как и Лиза Калитина. Бунин редко бывает к трогательности склонен, но тут не удержался. В чем-в чем, но в сентиментальности писание его упрекнуть нельзя. Зато, когда прорывается у него трогательное, слащавым оно быть не может: чистый родник из скалы суровой.

Небольшого рассказа «Сто восемь», кажется, никогда я не читал. Его воспринял с некоторой улыбкой, чуть не родственно. Правда, старичок этот, по прозвищу Таганок, на двадцать с лишним лет старше меня, но у меня, слава Богу, нет такой снохи, которая бы меня била, как его (да и вообще никакой снохи, и жизнь не совсем так сложилась), все же я к нему отнесся как-

то по-особенному. Этот Таганок был известен в округе долголетием своим. И вот учитель Иваницкий заходит к нему, хочет расспросить про целый прожитой век. Ничего не выходит. Таганок смирен, слаб, не выжил из ума, летом живет в шалаше у конопляника, спит в розвальнях полуразломанных, чекмень под голову вместо подушки, но свободно, снохи рядом нет, попрекать и бить некому. А питаться можно корочкой хлеба да водицей. Описан Таганок превосходно: видишь, слышишь безответного этого человечка... «Длинные волосы, уцелевшие вокруг его темной головы, белы и легки, как ковыль. Легка и бела и косая борода его. Лицо еще темнее головы. Желтоватые, выцветшие, налитые слезами глаза ничего не выражают, кроме не то покорности, не то грусти».

Учитель пробует расспрашивать о прошлом – толку мало. «Француза-то? – спокойно говорит он. – Это какой в Москву приходил? Нет, не помню. Так, только находят иной раз как звук какой...»

Все-таки помнил, как вывозили их в Белев продавать (вероятно, во времена Жуковского). «Осерчал барин на нас, на ребят... Ну, и отправил одиннадцать голов... Ну, привезли нас на базар, поставили друг с дружкой... Мы, было, дюже оробели, да не сошлось чтой-то дело. А за меня хорошо, полтораста пять давали...».

Жизнь чудесная. Воображаю, как воспринимают это сейчас в России, в многотысячном тираже Бунина. Да и здесь, хоть мне за Таганком не угнаться, тоже «довременным» кажется это стояние. А написано о нем в 1911-12 гг. «Ну, молили раньше мужики, чтобы барину Бог смерти дал... А я, бывало, скажу: «Напрасно вы его сбываете. Не сбывайте – хуже будет. Так оно и вышло... Да...».

Ничего толком из этого Таганка не удалось учителю выудить. Хочет ли он еще пожить? «Пожил бы... И пять годов одолел бы. Да через пять-то годов...

И легонько вздыхает.

–Через пять-то годов вошь съест. В ней главная причина. А то пожил бы».

* * *

Все это написано в 1911 году. Иван жил тогда на Капри, рядом с Горьким. А мы с женой в Риме. Перед ним была божественная синева Неаполитанского залива, перед окном нашего пансиона, на самом верху Via Veneto – стена Аврелиана, за ней вилла Боргезе знаменитая. Я не знал, что на райском Капри пишет Иван

такие горько-российские вещи. А вот ему нравилось и хотелось. Максиму Горькому тоже, наверно, очень нравилось, но ему особенно и потому, что деревню русскую он терпеть не мог.

Как странно меняется и идет жизнь! Мог ли тогда Иван подумать, что его (замечательно написанные) вещи будут победоносно выходить в советской России после революции, о которой никто из «нас» тогда и не думал (разве что Горький) и которую Иван, по пришествий ее, возненавидел зверски. Мог ли я думать, в пансионе Francini, правя корректуры «Ватека», присылавшиеся мне из Москвы, что этот мой перевод изысканнейшего и блестящего произведения Бекфорда, английского эстета, писавшего и по-французски языком Шатобриана и Вольтера (в современной одежде), – что книжка эта будет через 56 лет перепечатываться в моем переводе, как сообщают из России, на моей родине, которую я покинул 46 лет назад? Да, много удивительного и неожиданного в жизни.

* * *

Несколько позже, но тоже еще до революции, написал Иван и две выдающиеся свои вещи «Сны Чанга» и «Братья». Но это несколько из другого его репертуара.

При всей своей стихийной русскости, чрезвычайном богатстве языка родного (особенно народного), при striчувственном восприятии природы, да и вообще Космоса, предельной любви к жизни, этому «драгоценному сосуду», который вот-вот возьмет смерть (а отсюда и предельная боязнь-ненависть к смерти), при всем этом в нем сидело – тоже органическое, не книжное, тяготение к Индии, буддизму. Самого Будду он весьма почитал, не был ли Будда ему даже ближе, чем Христос?

Побывал он со своей Верой в Индии, на Цейлоне был, к переселениям душ относился сочувственно, об Индийском океане писал удивительно. («Бунин, – говорил некогда Бальмонт, горделиво выпрямляя грудь, – в вас есть душа корабля».)

Оба эти рассказа – «Сны Чанга» и «Братья» – как раз азиатская нота у Ивана –оба удались на славу.

Чанг – собака, купленная русским капитаном в Китае и потом всю жизнь ето сопровождавшая. И капитан пил, и Чанга своего поил, и Чанг дремал – полупьяный, да и трезвый – все равно в некиих полумечтах. Мир казался ему сном. Вот в этих сновиденьях, наяву, в диких бурях на океане, загадочной (где-то вдали) и трагической любви капитана к жене авоей, изменившей ему в дальней Одессе, – это тоже кажется сном, в этой «майе» бога Мару и проходит нехитрое действие произведения

(одного из лучших у Бунина). Дело не в опьянении. Вся наша жизнь под тонким покровом как бы сна. И очарователен сон, и грозен. Но за ним – бездна таинственная, и как Бунину свойственно – тут уж ни с какими Буддами не считается он – глубоко горестная. Ада нет, но и о свете ни намека.

Этого Чанга читал нам Иван тоже в Москве, но в другой обстановке и в самом начале революции: 1918 г. Вскоре уехал в Одессу и на Запад, а читал где-то на Молчановке, у Алексея Толстого, а слушали: моя Вера, да Алексей Толстой, да Эренбург.

«Братья» – тоже нечто перворазрядное. Но там уже сплошная экзотика. Дело происходит на Цейлоне. Старый рикша умирает от истощения и усталости, но не перестает любить свою семью, вопреки завету «Возвышенного», призывавшего к отречению от земной любви. Не избегает, однако, этой земной любви и юный сын его, тоже рикша, и тоже в изнеможении катающий в своей колясочке сытых англичан (а другого способа передвижения нет, и сам Иван ездил на рикшах этих). Сын любил тоненькую девушку, сингалезку, как и он, но богатые иноземцы переманивают, соблазняют ее – те самые, кого он же и возит. И сын этот, случайно узнав, что невеста перекуплена белыми «братьями», добывает себе смертоносную яростную змейку, подставляет ей ладонь.

Оба мира – сытые и богатые англичане и убогие (но люди!) сингалезы – все написано замечательно, как и сам Цейлон, его запахи, райски-полоумная в жаре краса, одинаково томящие ароматы, звезды, океан, одинаково над всеми веющая тень «Возвышенного», все обвитое трагедией краткого и страстного человеческого бытия. Белые ли, темные ли, все по существу «братья»: только одни используют других (и насколько Бунин здесь на стороне темных!), но всех ждет одна участь, и тот самый англичанин, что так равнодушно чуть не загонял совсем своего рикшу, в тоске бежит, наконец, с этого Цейлона по океану, не менее загадочному, чем «земной рай».

Весь рассказ окутан глубокой грустью, какой-то «мировой», и дал Ивану простор для проявления почти колдовской изобразительности. Да, этот кровно елецкий человек, в некотором роде воплощение «русскости», с богатейшим набором русских словечек (не всегда печатных) – легко и непроизвольно входит в юного сингалеза, будто сам родился на Цейлоне. И, действительно, неизвестно, кто кому «брат» – он ли рикше, или сингалез, в конце концов, тем же англичанам, которые хоть и сыты и на Цейлоне противны, но тоже люди, тоже не только торгуют, но живут, любят, страдают и умирают, как и все, и даже разводят ту же теософию, в коей живут рикши.

«Сны Чанга» и «Братья» попали не ко времени. Моды на них нет. Да на такое писание моды и не бывает. В этом есть и хорошее: долговечность.

О ГОРЬКОМ И О БЫЛОМ

Дальние времена, конец прошлого века. На страницах «Русской Мысли», толстого ежемесячника московского, среди повествований разных дам выплывает имя: Максим Горький. «Супруги Орловы», разное другое. Правда, «Море смеялось» уже тогда, «Буревестник» возникал, – все же новый писатель был особенный, «из низов», чуть ли не босяк и писал по-своему, ни на кого не похоже. Его сразу заметили. Помню, мне самому, гимназисту, эти «Супруги Орловы» очень понравились. Резко отличался он от дам, честных народников, Боборыкина. Не могу сказать, чтобы был «моего романа», как Чехов, все же, все же...

Странно свела нас в 1905 г. жизнь, бегло столкнула, но вот след остался. Горький быстро выдвинулся, был почти уже знаменит. Странность же состояла в том, что объединились мы (минутно) на совсем неподходящем человеке – Флобере. То, что Бунин высоко ценил Флобера, не удивительно. Я им тоже увлекался. Но при чем тут Горький? Не могу понять доселе. А вот вышло, что мы трое оказались поклонниками – притом, одного из неблагодарнейших произведений Флобера, «Искушение св. Антония». Удивительно, как мог Горький, не зная французского языка, оценить музыку флоберовской прозы?

Как бы то ни было, издательство «Знание», только что возникшее, где главой был Горький, заказало мне перевод «Искушения». С юношеским жаром, зачитываясь в Румянцевском музее писаниями о гностиках, работал я над этим «Искушением» года полтора. И мучился, и переделывал, все, как полагается при энтузиазме.

Осенью 1905 года, незадолго до московского вооруженного восстания. Горький пригласил меня к себе завтракать. Это и была первая, более или менее основательная встреча с ним (раньше бегло встречался у Леонида Андреева, но тогда незаметно).

Жил Горький в 1905 г. на Воздвиженке, почти на углу Моховой, против Архива Мин. Иностр. дел.

Большой дом, хорошая лестница. Звоню, отворяет нарядная горничная. Все это не удивительно, но в первый раз вижу, что в передней вооруженные люди, не в военной форме, в каких-то папахах. Из коридора выглядывают тоже типы с маузе-

рами. (Это была «личная охрана», опасались, что устроят погром черносотенцы.)

В большой светлой столовой завтрак как завтрак, «все, как у людей», и без маузеров. Хозяйка – красавица М. Ф. Андреева, артистка Худож. Театра (гауптмановская Раутенделейн из «Потонувшего колокола») – она близка была тогда с Горьким. Несколько социал-демократов знакомого облика, вроде тех, что и у нас с женой бывали на Арбате.

Горький – очень оживленный, внимательный и приветливый как хозяин. Все честь честью. Горничная в фартучке подавала, черносотенцы не являлись, маузеры утешались на кухне. Завтрак прошел очень благожелательно. Из литературных разговоров помню только, что Горький нападал на Бердяева, тогда еще тоже начинающего. А я его (как умел) защищал. Но все в меру. Ярости никакой с обеих сторон.

В декабре восстание состоялось. Я не видел его. Некая Рука всегда отводила от событий. Незадолго до поднятия занавеса, ни о чем не думая, кроме «Искушения св. Антония», я уехал в деревню доделывать последние его главы. Первая же глава революции (или генеральная ее репетиция) обошлась без меня, как и следующие – и ничего от этого не потеряла.

«Искушение» появилось в XVI сборнике «Знания»» а отдельно в «Знании» же, в 1907 году.

* * *

Я несправедлив, конечно. Но себя трудно переделать. Не виноват Горький, что родился таким, а не этаким. Но в облике его было нечто глубоко плебейское, мне не нравилось. Тут дело не в происхождении. Чехов – сын крестьянина, а ничего «этого» у него не было. И ни поз, ни блуз, ни фраз. Ни вызова и «гордо реет буревестник».

Сколь ни был «горд», однако, буревестник не переставал учиться, овладевать и ремеслом нашим, и вообще пополнять образование – в этом было даже нечто трогательное. Но внутренне все более отходил к пропагандному, подходящему для социал-демократов. Стихия и бездумность, друзья поэзии, удалялись. Ильич приближался. В это время, десятилетие перед войной и новой трагической эпохой, Горький в литературе на втором плане. «Серебряный век» литературы русской – тут ему неуютно. Он и Россию покинул, обосновался на Капри. Что именно печатал, точно не помню, но второстепенное, более унылое. Философов напечатал тогда статью «Конец Горького». Говорил о художнике. Был ли он прав? Пожалуй, это зависит от того, в

какой степени считать, что «начинался». Несправедливо было бы сказать, однако, что никак, и позже написал ведь «Дело Артамоновых» и «Детство». Все же позднейшее возведение его в Папу Римского от литературы («социалистический реализм», «велиний мастер слова», «Великому русскому писателю» – надпись на памятнике в Москве) – это все смехотворно.

У Чехова (в письмах, если не ошибаюсь) сказано, что Горький как фигура, облик, останется надолго, но не как художник. По-моему, очень верно сказано.

Фигурой Горький был действительно выдающейся и роковой для русской жизни, впрочем, и для себя самого. Был и дарованием литературным одарен, но в скромной дозе. Сколь убог «Буревестник», столь неоспоримо, что сам он, без литературы, вестником бури и трагедии явился. Не по своей воле. Так ему назначено было: Судьба.

На Капри вокруг него (кроме Бунина) кишели мелкие социал-демократы, разные начинающие писатели, некоторых он провозглашал талантами, но ничего из этого не выходило. (Нина Берберова спрашивает его – гораздо позже: любит ли он Гоголя? – М-м-м-да, конечно. Достоевского открыто ненавидит. «Читали Огурцова? – спросил он меня тогда же. Нет, я не читала Огурцова. Глаза его увлажнились: в то время на Огурцова он возлагал надежды. Таинственного Огурцова я так никогда и не прочла».) Говоря по правде, и я не удосужился.

Загадка для меня – тогдашняя «дружба» Бунина с Горьким. Бунин в те годы тоже на Капри жил, они постоянно виделись. Насколько Бунина знаю (а знаю хорошо), его все почти в Горьком должно было отталкивать. Горький, правда, восхищался им, как художником. Всякого это подкупает. А при особом самолюбии Бунина и недооценке его в тогдашней публике и совсем понятно. Так продолжалось до войны. Тут оба оказались в России. Тут дружба начала рассыхаться, как и с Леонидом Андреевым, кончилось все враждой открытой с обоими.

В годы военные я жил в деревне, новая встреча с Горьким произошла уже во время революции.

Тут проявились лучшие его черты. Когда пришла буря, которую сам же и призывал, вначале он восторгался, вдруг что-то дрогнуло в буревестнике. Кровь, насилия революции потрясли. Давняя линия русской души и литературы выдвинулась – недаром в молодости встречался в Нижнем с Короленко, почитал Чехова. Проснулся «русский» писатель, сочувственник страдающим и погибающим. Как бы ни относиться к Горькому, его гуманитарные заслуги первых лет революции бесспорны... (Хоть и

почитал он Дзержинского...). Многих просто спас заступничеством своим на «верхах». Не останавливала и принадлежность к Императорской фамилии. Вел. Кн. Гавриил Константинович ему обязан жизнью (и покойной своей жене, добравшейся до Горького, добившейся его заступничества).

К этому времени относится моя вторая встреча с ним, очень на первую не похожая.

Тут уж не завтрак, а дело.

На всякий случай я запасся тяжелой артиллерией. Сопровождала меня к Горькому его первая жена, Е. П. Пешкова, с которой он разошелся, но уважать и считаться с нею не перестал. Была она достойным человеком. Скромная, типа курсистки, левая, конечно, но не из бешеных (хотя тоже Дзержинским восхищавшаяся!). В то время была главой Красного Креста.

В автомобиле этого Креста катили мы к Горькому по улицам Москвы, не помню уж, где он тогда жил. Но помню, что летели быстро и над нами вился по ветру, трепетал и вытягивался флаг милосердия на автомобиле. Мало это все подходило к Москве тогдашней, автомобиль же мчался, флаг все вился.

Как и всегда, Горький жил в огромной квартире. Но значительно был иной. И постарел, и сгорбился, и стал мрачен. Видимо, принял нас через силу. Сумрачно прохаживался по комнате, засунув руки за пояс. Блуза, те же сапоги, колючие рыжеватые усы... Я ему был теперь совсем чужой, Екатерина Павловна что-то бывшее, может быть, некогда и дорогое, а сейчас дальнее... он был сух с нами и никак не приветлив. Но шли мы к нему не за любезностями. Обе стороны соблюдали вооруженный нейтралитет. Свидание было недолгое. Горький все сделал, о чем просили. В душе отправлял нас, наверно, в места не столь отдаленные, но позиции своей не менял: помощь.

* * *

Когда в 22 году очутился я в Берлине эмигрантом. Горький тоже жил в Германии. Эмигрантом он не был, но с советским правительством в чем-то разошелся, попал как бы в оппозицию и великодержавно выехал за границу. Странным образом, время выдалось как раз некоего смягчения (ненадолго, конечно) режима, т. н. «НЭП», но все равно: не желаю больше с вами, вольный казак («человек, это звучит гордо»).

В Берлине позиция его была особая. С нами, эмигрантами, он не общался, на литературных собраниях в кафе на Nollendorfplatz не бывал, но и в просоветском «Накануне», сколь помню, не участвовал. Единственно, с кем встречался, – с Алек-

сеем Толстым, который как раз к «Накануне» прицеливался, с нами же еще не порывал.

Летом я с семьей жил на Балтийском побережье, недалеко от Штеттина, в местечке Мисдрой – Алексей Толстой там же. (Мы были одно время довольно близки в Москве, еще до революции). Теперь он говорил мне: «Ты, Борька, дурак. И Вера тоже. Вы при всяком режиме будете нищими». Сам он дураком не был, что жизнию своей и доказал.

Херингсдорф небольшое поселение близ Мисдроя, тоже на берегу Балтийского моря. Там Горький в это время и обитал. Толстой часто к нему ездил и как-то подбил меня.(Это была моя ошибка.)

В ненастный хмурый вечер мы и отправились. Горький сам походил тогда на этот вечер. Вряд ли его радовало наше прибытие. О Толстом он знал, конечно, что того занимает выпивка и хороший ужин, меня и не ждал, и я вообще ему ни к чему. Собственно, и он был мне ни к чему, а вот так вышло, по моей растяпости.

Кажется, что и сам он чувствовал себя неуютно: с теми, кого всю жизнь ждал, с ранних лет приветствовал, будто ничего сейчас не выходило, и от них он уехал. С теми, к кому приехал, тоже невесело.

Очень мало мне дал этот вечер. Не было даже и цели, как тогда в Москве с Екатериной Павловной. Просто явились незваные, ужинали. Толстой выпивал, грохотал, хохотал с Максимом-младшим. Максим-старший хмурился, покручивал усы, иногда через силу улыбался.

Буря на улице разыгралась – осенний вихрь балтийский. Нас оставили ночевать. Все было в порядке и благопотребно, вилла просторная, кровать удобная, но въезжал я на другой день в свой Мисдрой, в скромную дачу фрейлейн Пуст, где мы снимали три комнатки, где ждали жена и дочь, – с чувством облегчения и отчасти виновности. Для чего было ездить?

* * *

Больше Горького я вообще не видел. В 23-м году мы уехали сначала в Италию, оттуда в Париж. Горький еще некое время пробыл в Германии, издавал журнал, где литературным отделом заведывал Ходасевич, затем в Сорренто перебрался – так прошло несколько лет. НЭП кончился. Ленин умер, облик Джугашвили все яснее и кошмарнее восставал над Россией. И тут Горький вдруг заскучал по родине, в конце двадцатых годов окончательно перебрался домой. Можно себе представить, с

каким восторгом власть имущие его встретили. Знаменитый писатель, что-то за границей на «нас» ворчавший, снова с нами!

Как сам он себя чувствовал, я не знаю. Не думаю, чтобы хорошо. Трудно себе представить более неудачное время для возвращения. Начиналось многотысячное (если не сказать, миллионное) истребление крестьян, концлагери были переполнены, надвигалась ежовщина (и уже истребление «своих»).

Здоровье самого Горького было неважно. Туберкулез, видимо, развивался. Не знаю точно, продолжал ли он заниматься «Всемирной Литературой», которой много отдавал сил раньше, когда Блок еще был жив и существовали последние остатки культурного слоя России. Теперь за Горького взялись по-другому.

Со своей джугашвилиевской точки зрения поступали правильно. «Ну, вот, знаменитый писатель болеет, кашляет, к нему являются иногда иностранные корреспонденты, он им что-то говорит, не совсем для нас подходящее, отрыжка интеллигентщины. Потом эти вечные ходатайства, заступничества. «Всемирная Литература». А тут у нас революция, коллективизация, борьба с врагом внутренним. Надо использовать его покрепче. Говорят: концлагери, концлагери... и за границу проникает. Пусть сам посмотрит, как мы строим Беломорский канал, вот и увидит. Человека там перевоспитываем!

Так все и вышло. Его отправили на Беломорский канал, где погибали тысячи на страшных работах, в страшной жизни. Но ему втерли очки, не знаю, как уж, потемкинскими ли деревнями, или по-другому, только написал он все, что нужно. Может быть, даже плакал от умиления (был крайне сентиментален). Да, выходило, что и перевоспитывают, и преуспевают, и все в порядке. Тишь да гладь... Хорошо, что Толстой, Чехов, Короленко были уже в могилах. Но и там, говорят, можно перевернуться.

* * *

Много лет назад читал я воспоминания Троцкого. Не все, но касательно Горького. Сильно запомнилось, горестно. Както так выходило, что пред Джугашвили не совсем он очистился Беломорским каналом. Старые русские человеколюбцы и из могил будто дурно на него влияли. «Несозвучно» времени. И вот – по Троцкому («у нас в Кремле все это отлично знали») – устроено было дьявольски: через Ягоду, тогдашнего начальника чеки, врачам было предписано ускоренное лечение Горького. Выбор такой: или тебя «ускорят», или повинуйся.

Ускорили. Горький покорно скончался (1934 г.). Джугашвили же пришел в ярость – угробили лучшего его друга! Яго-

да, тот самый, что подписывал мне с семьей паспорта на выезд за границу, – этот Ягода тоже оказался ускорен. Не дешево обошлось и докторам. Дмитрий Дмитриевич Плетнев, лечивший меня от тифа в *22* году, в этом 34-м тоже в тартарары спустился – кажется, где-то в ссылке и скончался, – за Горького.

Недавно попалась мне фотография: писатели московские моей молодости, группа. Леонид Андреев в поддевке и сияющих сапогах в первом ряду, заодно и Шаляпин, тоже в сияющих, интеллигентский Чириков, красавец Телешов, а во втором ряду – Горький со Скитальцем. Горький улыбается так благодушно и приветливо! И так резнуло в сердце: вот Судьба! Куда улыбка эта делась? Куда завела жизнь? Дала и славу, и богатство, и «почет», но нет улыбки. Вместо нее – Беломорский канал, а самому – на прощание – чаша с цикутой.

PRO DOMO SUA[1]
(ИЗ ДАВНЕГО)

Однажды, больше полувека назад, в Москве зашел ко мне «Патя» – так звали мы Павла Муратова, друга нашего – и говорит:

– Вот, Боря, замечательная книга «Ватек», Бекфорда. Такой был англичанин, XVIII века, чудак отчасти, фантазер... но какой писатель!.. Посмотри.

И дал мне книжку небольшую, по-французски: «Ватек».

– Что ж это, перевод? Ведь он же англичанин был?

– Да... но по-французски писал отлично. Классическая проза. «Арабская сказка», ну, не совсем сказка... Долго была под спудом. Малларм**э** открыл... провозгласил во Франции...

Я взял, прочел. Сказка! Так в подзаголовке указано, а это мрачная фантастическая история, восточная. Глубокого смысла. Погоня необузданного халифа Ватека за всемогуществом при помощи сил дьявольских, гибель в царстве Эблиса, врага рода человеческого и самого Бога.

Как написано! Вещь замечательная, что говорить.

---

[1] В защиту своего дома *(лат.)*.

– Ну, видишь... Хм-м... – да, вот что: переведи ее на русский, я напишу предисловие, Константин Федорович[1] издаст. Он уж согласен.

Так оно и обернулось. Я писал тогда свое, но «Ватек» этот мне понравился, и я за него взялся.

Некрасов дал аванс, подоспели другие авансы, мы закатились с женою в Рим, где зиму 1911–12 гг. и провели.

В незабываемом этом Риме, незабвенной зимой, получал я уже из Москвы корректуры «Ватека». Жили мы как птицы небесные, ни о чем не думая, ничего впереди не предчувствуя.

Поселились в пансионе Фланчини, на углу via Veneto u via Porta Pinciana. Попали в квартал нарядный, даже аристократический. Окна комнаты моей выходили на стены Аврелиана, в третьем веке обнес он ими Рим. Плющ вился по древней коричнево-розовой мелкой кладке. В двух шагах ворота – в виллу Боргезе.

Через улицу от нас эти невысокие стены, за ними зелень парка Боргезе, где некогда Лукулл, в своем дворце, закармливал гостей неплохими обедами. Много же позже, в шестом веке, стены эти никак не пропускали готов, осаждавших Рим. Оборонял его Велизарий, знаменитый полководец византийский. И защитил. Ни с чем ушли эти готы. А сейчас, накануне трагедий родины своей, правил тут корректуры «Ватека» русский литератор.

У ворот в парк Боргезе стояли веттурины с поджарыми лошадьми, ожидая иностранца («una lira, signora, una lira! una lira![2]» – подымали высоко палец, за лиру, мол, можешь исколесить весь Рим). В час завтрака матроны приносили им из дому «в рассуждении чего бы покушать» и, конечно, arroser винцом, каким-нибудь Castelli romani. Тут настроение подымалось. Начинались диспуты (каждый итальянец оратор), жестикуляция – извозчичий парламент. А лошади неторопливо жевали – к мордам их подвешены мешочки с разным добром.

Из Москвы же приплывали в пансион Франчини корректуры, уплывали с поправками обратно.

* * *

Прошли годы. Войны, революции – то, о чем меньше всего думали мы в Москве, в Риме над «Ватеком», над возраставшей

---

[1] Некрасов, племянник поэта. У него было издательство в Москве.
[2] Одна лира, синьор, одна лира! Одна лира! *(ит.)*.

рукописью «Дальнего Края». И вот гром, гроза, трагедия – не до литературы. «Бескровная», за ней кровная. Москва сменилась Берлином, Парижем, началась эмиграция. «Vita nuova»[1]. С прежним все кончено. Но литературной жилки не зажать.

В дни немецкой оккупации скромное было развлечение: бродить по набережным Сены, выуживать кое-что у букинистов, нести домой. Оттуда появилась «Божественная комедия», давнее ее издание, жизнь Данте – Бальбо, Декамерон, хроника Anonimo Fiorentino, да мало ли еще чего. Среди них небольшая книжка: все тот же «Ватек», издание Некрасова, Москва, Рим, жена, Муратов. Мирно водворился он на книжной полке жития эмигрантского. И опять пошли годы. Иногда показывал его друзьям, как редкость, но вот уж и ни жены не стало, ни Муратова, ни Некрасова. Рим незыблем, но теперь недосягаем. Вряд ли существует пансион Франчини пред стеной Аврелиана.

Пути жизни загадочны. Кто мог подумать, что через пятьдесят шесть лет после московского издания, через четверть века после скромного одиночного появления на набережной, вновь явится этот «Ватек»... не у букиниста парижского, а в Москве пятидесятитысячным тиражом. И как некогда в Рим корректурами, так теперь приплыл самотеком, уже в готовом виде (корректуру в Москве делали, к изданию этому я никак не причастен).

Кроме «Ватека», в книге московской еще две вещи современных ему писателей Уолпола и Казота. Все авторы – представители «преромантизма», предшественники Байронов и Шатобрианов. Названа: «Фантастические повести». Издание научное, под редакцией академика Жирмунского, со статьями, примечаниями, библиографией. Книга большая. Про «Ватека» сказано: перевод Бориса Зайцева. И в библиографии отмечено – перевод мой, вступительная статья «Пати», издат. К. Ф. Некрасова, Москва, 1912 г.

Все совершенно точно.

* * *

Одно былое тянет за собой другое, тех же времен, тоже воскресающее.

Добрая душа разыскала в архивах справку и прислала из Москвы. Справка вызывает улыбку. Тот же год 1912-й, но касается романа – того самого, что писал я рядом с «Ватеком».

Оказывается: 54 года назад, во время первой войны, Московский К-т по делам печати привлекал меня к суду по 129-й статье

---

[1] «Новая жизнь» *(ит.)*.

Уголовного Уложения, за роман «Дальний Край», только что тогда вышедший (несколько позже «Ватека»).

Что роман был изъят из обращения, я знал. Но уголовщина! Первый раз слышу. За «антиправительственные» выпады. Роман этот я писал как раз во времена «Ватека» – в Москве, в Риме, в Кави на лигурийском побережье под Генуей. А что собирались тянуть меня на цугундер, узнал впервые теперь. Вот была бы картина! Синявский императорских времён.

...«27 сентября 1914 г. Москов. Комитет по делам печати постановил наложить арест на книгу Бориса Зайцева «Дальний край» и возбудить против виновных по настоящему делу судебное преследование». (Т. с., насколько понимаю, и против издателя.) Сообщено в тот же день Ярославскому губернатору, Москов. Градоначальнику, Прокурору Судебн. Палаты и т. д. На другой день экстренной телеграммой Градоначальникам, всем приставам: «Предлагаю немедленно конфисковать в кн. магазинах... кн. Бориса Зайцева «Дальний край». – Адрианов. (Кажется, это был москов. Градоначальник.)

Но это же ancien regime[1].

«18 ноября 1914 г. Прокурор Москов. Окружн. Суда известил Комитет по делам печати, что определением Москов. Судебной Палаты от 5 ноября 1914 г. утверждено заключение прокурорского надзора о невозбуждении уголовного преследования по поводу издания книги под заглавием «Дальний Край» и арест, наложенный Комитетом по делам печати на эту книгу, тем же определением Судебной Палаты снят».

Старики этой Палаты рассудили, не волнуясь, не тревожа губернаторов и градоначальников:

– Ну, чего там по пустякам кашу заваривать, ну, брыкнул какой-то литератор в романе– да ведь все знают, что сочинители врут – а мало ли нас и в Думе ругают, посерьезнее люди, чем этот... Лисицын, или Зайчиков, как там его?.. Процесс начинать, либералы подхватят, вой подымут на всю Россию в газетах. Только рекламу создавать литератору.

И разошлись завтракать.

Да, другой мир. Он ушел, свое отжил, восстанавливать его нельзя. А по-советски хаять невозможно (умному человеку).

Но чем дольше живешь, тем больше видишь в этом «новом» мире щелей, трещин. Дай Бог им крепнуть. А культуре настоящей расцветать, распространяться.

---

[1] Старый, устарелый порядок *(фр.)*.

ОТКРЫТИЕ

А я, по-прежнему смиренный,
Забытый, кинутый в тени,
Стою коленопреклоненный
И, красотою умиленный,
Зажег *вечерние огни.*

А. Фет

Несмотря на «шепот, робкое дыханье, трели соловья», Фет всегда казался несколько тяжеловесным, неуклюжим. Не располагала и наружность. Небольшие, острые, будто косящие слегка глаза, огромная и тоже не из приятных, странной формы, борода. Таким Фет вывезен в душе из России, так здесь он оставался. (Не говорю уже о переводах из латинских классиков – это громыхание телег по тульскому проселку).

И вот теперь – просьба из Ясной Поляны написать нечто для готовящейся о нем книги, отзывы русских писателей, если правильно понял.

Взял с полки небольшую книжку – избранные стихотворения Фета, берлинское издание Ефрона уже времен эмиграции – и диву дался. Положим, первое, чем книга открывается («Измучен жизнью, коварством надежды...») – всегда побеждало: где найдешь такой гимн Творцу (пантеистический) и всему мирозданию («... прямо смотрю я из времени в вечность, и пламя твое узнаю, солнце мира!»). Но и дальше, дальше... Редактор оговаривается, что выбрал казавшееся ему лучшим – и правильно сделал этот Л. М. Сухотин.

Конечно, Фет очень неровен, и путешествие по полному собранию его стихотворений отчасти подобно езде в экипаже по дороге с колдобинами. Аполлон Григорьев, в свое время, это отметил. Да и Никольский, спустя полвека, писал: «Сам Фет порой печатал и повторял в изданиях пьесы, об отсутствии которых не пришлось бы жалеть ни ему самому, ни его почитателям». (Предисловие к изд. А. Ф. Маркса.)

Сухотин выбрал из 900 стихотворений 156 и оказался прав. Дал лучшее, самое яркое.

Конечно, с годами меняешься, по-другому воспринимаешь (да и предложено теперь отборное, а знали мы Фета именно по Марксу), все же был я и несколько смущен: как же так проглядеть, дать такого маху?

И вот сельский хозяин века минувшего, может быть и прижимистый, выгодно, не по любви женившийся, открыл целиком душу. Она оказалась в полном несоответствии с наружностью носителя и его обыденной, «дневной» жизнью.

С одной стороны, философский, некий горестно-пантеистический полет, в первом стихотворении даже грандиозный, но и далее не слабеющий. В книге несколько подразделений: «Творчество», «Мелодии», «Природа», «Любовь», «Жизнь сердца».

Есть и природа, разумеется, и мелодии, но всего более поражает, что чуть не через всю книгу проходит «горечь стона любви» (если можно так выразиться). Память о чем-то прекрасном, сердце смертельно ранившем, но ушедшем, не осуществившемся. В биографии – ранняя любовь, брошенная из-за земных выгод, до конца преследующая укором, и более поздняя, видимо, неразделенная (или недоразделенная?). Внешне жизнь мирно-семейная, благополучная, дружба с Тургеневым, охота, хозяйство... А в душе, когда нет тетеревов и яровых орловских, свой мир, – таинственный, глубоко горестный (особенно к концу: «Вечерние огни»). Вот тебе и «искусство для искусства»! Для Добролюбовых и Шелгуновых, Скабичевских совсем неподходяще. А Толстой, Тургенев понимали. Но и они к концу отошли.

Странное, замечательное качество книги: будто нет особого блеска и очарованья в с л о в е, *пении* стиха (как у Пушкина), а над читающим власть полная. Исходит из строк этих некая покоряющая сила, в них и поэзия, и судьба. Нечто входит в тебя, одолевает. Самое важное для него, а оказывается и для тебя. И меня не спрашивают, хочу я или не хочу подчиняться. Просто овладевают. Каким излучением это достигается? Бог весть. Загадка. Впрочем, загадка и вообще-то, что такое истинная поэзия?

И вот Фет – трагический певец! Неожиданное открытие. (Говорю о себе. Другим, может быть, давно это известно.)

Не без жути читаешь некоторые стихи с датой 1892 года – возможно, за месяц или несколько дней до отчаянного вопля и перерезанного горла.

Некогда уладил он чуть было не состоявшуюся дуэль Тургенева с Толстым. Теперь не мог спасти собственную жизнь от собственной руки и бритвы.

ПАУСТОВСКИЙ

Несколько лет назад, не помню, в каком советском журнале, прочел я рассказ – небольшой, но меня удививший. Никаких «парнишек», «ребят», «хватит» – просто настоящий русский язык.

Охотник заблудился в лесу и забрел в какой-то домишко, где его приютила старая дама, у которой на стене висел портрет Тургенева. Где же доярки и перевыполнение плана? Их не оказалось. Просто охотник переночевал и распростился дружески с хозяйкой. Он любит лес, природу, Россию. Только и всего. А написавший сумел передать расположение к себе и своему писанию... неизвестно чем, некиим невидимым дыханием облика своего – это и есть таинственное в искусстве, то, чему нельзя научиться и научить этому нельзя: если есть у тебя – скажется, если нет, насильно не устроишь.

Потом об авторе я почти забыл. Но он был жив и стал передо мной являться – имя его в печати мелькало, а настал день, когда и книгу его я прочел – «Повесть о жизни»: это окончательно показало писателя, настоящего, пишущего для себя, как ему нравится, а не как приказывают, писателя одаренного, умного и спокойного, в спокойствии своем иногда очень трогательного (смерть Лели, сестры милосердия в войне 14-го года), но не сантиментального. Напротив, сдержан, мужествен, изобразителен. То, что я читал, больше автобиографическое, но попадались и прелестные маленькие рассказы – «Старый повар» (не лишено некоего волшебного элемента), казалось бы, автору, далекому от мистицизма и религии, мало свойственного, но вот поди ж ты... Или итальянский рассказ, тоже у нас в «Русской Мысли» перепечатанный – Рим, вблизи виллы Боргезе, душная ночь, старый астматик, вышедший из отеля подышать свежим воздухом – встреча с японочкой какой-то. Можно бы назвать «Ночной разговор», но название другое. Просто, живо, горестно написано. Оттого и доходит.

В 1962 г. он был в Париже. Общие знакомые привезли его ко мне, мы сидели вечером в небольшой моей квартирке, под иконами моей жены мирно беседовали – и то же впечатление, что от писаний: сдержанный и умный, и глубокий человек. Никаких острых тем не трогали. Да если бы и тронули, вряд ли особая разница оказалась бы во взглядах. Расстались дружественно, обменялись книгами с автографами соответственными.

Два года назад дочь моя с мужем, в странствии по России, была у него в Москве, нашла сильно ослабевшим и полубольным. Не знаю, писал ли он уже что-нибудь. Но что заступался за преследуемых молодых писателей, знаю. И это снова особо располагает к нему.

А вот третьего дня вычитал, что он скончался. Если б мог, послал бы в Москву венок на могилу.

Мир праху. Мир праху достойного, настоящего писателя.

<О БУНИНЫХ>

И засинеет даль воспоминанья...
Ив. Бунин

Давно мне известная, а сейчас случайно попавшаяся книга Веры Буниной о муже, и древний том собрания его сочинений – приложение к «Ниве» – вот что несколько взбудоражило меня, даже и взволновало, как невозвратное и, по молодости, дорогое.

Тут писания Бунина ранние. Очень давно читал я небольшие – рассказы не рассказы – скорее лирико-поэтические вещицы в прозе, всегда очень нравившиеся. Но когда это было! И странно-живо все ушедшее.

Оказалось, что самые мои любимые произведения «раннего Бунина» помечены 1901 годом – как раз и для меня «роковым»: вступление в литературу. Но дело не во мне, а в нем. Несколько небольших его произведений 1901 года объединены общим настроением, не совсем даже близким его зрелости и вообще бурной и страстной его натуре. Да и названия будто не из его репертуара: «Скит», «Туман», «Тишина». Но вот отлично удались, и молодость его с некоего конца (может быть, лучшего даже) вполне отображают. Не всегда Бунин был автором «Деревни», «Петлистых ушей», «Ночного разговора» и других мрачных и страшных рассказов.

Вот «Осенью», например. Вечер, гости, около одиннадцати «она» встала – «Ну, мне пора», и мельком взглянула на «него». Оба ушли, взяли извозчика и поехали к морю (дело происходит в Одессе), сошли к нему, сидели на берегу. «Я целовал похолодевшее от морского ветра лицо, а когда она села на камень, стал перед ней на колени, обессиленный радостью». В сущности, это и все. Потом уехали. Но *как* написано! «Редкие голубоватые звезды мелькали между тучами над нами и небо понемногу расчищалось»... «Я целовал платье на ее коленях, а она смеялась сквозь слезы и обнимала мою голову, я смотрел на нее с восторгом безумия, и в тонком звездном свете ее бледное, счастливое и усталое лицо казалось мне прекрасным, как у бессмертной».

Подписано: 1901 год. И как раз недавно вычитал я, что Чехову именно эта вещица и не понравилась. Он предпочел ей «В цирке» Куприна. Куприн, видите ли, хорошо знает жизнь цирка. Не оспариваю. Но далеко кулику до Петрова дня. И, при всем многолетнем моем преклонении пред Чеховым, с этим его мнением согласиться не могу. Даже оно удивляет.

Рассказ «Скит». Дело вовсе не в монашестве. Просто караульщик в избушке, в лесу, у озера. Высокий, молчаливый, некогда николаевский солдат, ныне одиночка. И жена, и дети – все померли.

«Мелитон, – спросил я с юношеской простодушностью, – правда, что тебя сквозь строй прогоняли?

– Правда-с, – ответил он кратко».

Кратко, а может быть и «кротко»? Но автор этого слова Мелитону не дал, думаю, из художнической сдержанности: чувствуй, мол, сам, что этот скромный человек с музыкальным именем Мелитон, столько в жизни перенесший, воистину кроток в своей избушке у светлого озерца – подчеркивать это незачем. (В нашей литературе есть и другой Мелитон, у того же Чехова, в прелестном рассказе «Свирель».)

А юный Бунин еще раз – зимою – заехал к своему Мелитону. Заглянул снаружи в полузамерзшее оконце, старик стоял и молился, чисто вымытый, благообразный. Приезжий зашел в избу. На этот раз Мелитон даже «нежно улыбнулся». Разговор зашел о грехах.

«– Какие же у тебя грехи, Мелитон?

– Грехи у всякого есть, – сказал он со вздохом, кротко и серьезно. – На то и живем-с, чтобы за грехи каяться».

Здесь автор решился сказать «кротко», а не «кратко» – все уже подготовлено, стесняться нечего. А на прощанье, когда Мелитон вышел на мороз в одной рубахе провожать и приезжий сказал ему, чтобы шел в избу, как бы не простудился, то «смиренно» ответил: «Ничего-с!»

Чем не валаамский старец Николай, у которого, в крохотной избушке, тоже у озера, побывали мы с женой в 1935 году? Но тот был небольшой, худенький, с кроткими глазами. На рассвете, на литургии в лесной церковке рядом с жильем его, мы исповедовались и причащались у приплывшего на лодке о. Феодора, о. Николай пел на клиросе – слабым голоском. А потом угощал у себя в домике чаем. Сел на краешке лавки. «Да вы как следует, о. Николай. А то вы такой смиренный»... «Я-то смиренный? Я даже очень гордый». Все улыбнулись.

Вот, когда читал «Скит», вспомнилось это далекое, Валаам, удивительные его старцы.

* * *

Из книги Веры не видно, что такое был для Бунина этот 1901 год. Насколько я понимаю, он уже разошелся с первой женой. Так ли, иначе, в нем сгустились мотивы тишины, покоя,

восприятия мира торжественно-безбрежного, то, что можно назвать пантеизмом под углом спокойствия и умиротворения – с религиозным оттенком. Есть это и в «Тумане», в «Тишине», в «Соснах» (тут еще извечный голос смерти).

Туман, захвативший корабль в море и остановивший его, – это как бы безмолвное, но всемогущее Божество, спорить с ним бесполезно: надо просто стоять на месте, гудками давая знать о своем присутствии, чтобы путник-сотоварищ не налетел на тебя в непроглядной этой молочной мгле.

В «Тишине» легкий туман над Женевским озером рассеивается под утренним солнцем. Голубая гладь, тихий, едва доносящийся из глубины гор звон колокола в деревенской церкви – два приятеля, вместе путешествующие, плывут в лодке по озеру. «Сладко было слушать его, сидеть с закрытыми глазами и чувствовать ласку солнца на лице и мягкую прохладу от воды.

– Мне кажется, что я когда-нибудь сольюсь с этой предвечной тишиной, в преддверии которой мы стоим»...

Вот душевная настроенность тогдашнего Бунина. Продолжается она, в несколько ином тоне, и позже. После юных метаний и романов, неудачной первой женитьбы, соединил он свою жизнь с Верой Николаевной Муромцевой, «окончательной» его женой – с ней прожил до самой смерти. С ней совершил путешествия – в Палестину, потом в Индию, на радость и утешение литературе.

Оба путешествия удались на славу, первое – под знаком христианства, второе – буддизма.

Много позже, уже в эмиграции, Вера Бунина писала моей жене, давней, еще до Ивана, своей приятельнице:

«Чудо Фавора меня всегда глубоко трогало, но вполне я долго его еще не понимала. Когда мы проезжали мимо этой горы в наше свадебное путешествие, то Ян[1] что-то очень проникновенно говорил о том, что там совершилось».

Но не только он говорил о Фаворе. Написал очаровательную страничку «Роза Иерихона», ею открывается и по ней названа вся книга рассказов и стихотворений, вышедшая гораздо позже, в 1924 г., в Берлине (уже эмиграция). Эта страничка всегда была радостью Веры: и заслуженной.

«...В цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому Бог судил быть моей спутницей до гроба, совершил я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во святую землю Господа нашего Иисуса Христа».

---

[1] Так она называла всегда мужа.

(Трудно вместить, что та же рука написала «Деревню», «Игната», «Петлистые уши». Впрочем, уже много позже, после Нобелевской премии, держа корректуру собрания сочинений, Иван при мне зверем выскочил из кабинета своего в Грассе и непечатно обругал самую эту «Деревню»). Непростой был он человек. Более чем непростой.

Индия, Цейлон, где побывал несколько позже, тоже с Верой, дала литературе нашей два шедевра: «Сны Чанга» и «Братья». Эти «Сны» он читал нам вслух у Алексея Толстого, до печати, в самом начале революции, перед отъездом из Москвы в Одессу. Слушали: Толстой, Эренбург, моя Вера и я. (По-теперешнему – компания странная). Но рассказ есть рассказ. Собственно, уже выходит из полосы раннего Бунина, все же корни его в той довоенной поездке с Верой в Индию. Оттуда же вышли «Братья» – и там, и тут веяние Азии, даже она как бы колыбель.

Странная вещь: этому без конца русскому человеку («Старых предков я наследье чую...»), орловско-елецкому дворянину, гордившемуся древностью своего рода, чрезвычайно созвучны и благодетельны оказались экзотические страны, океаны («Воды многие»). Бальмонт сказал ему совсем по-бальмонтовски: «Бунин, в вас есть душа корабля». Восток, Азия, но и Капри, где перед войной 14-го года прожил он довольно долго в дружбе с совсем неподходящим ему Максимом Горьким. На этом Капри написал «Господина из Сан-Франциско», вещь прославленную (и справедливо), вещь «международную» и на тему для всех поэтов мира: о смерти, бренности жития земного.

* * *

Бунин долго жил, много писал, много отличного написал.

В моей собственной жизни его роль большая. И хочется более вспоминать о молодых годах – моих совсем юных, его постарше, но все-таки это молодой Бунин, изящный, элегантный, где-нибудь в «Праге», «Литературно-Художественном Кружке», у красавицы Любочки Рыбаковой, подруги моей жены, в 1902 году. Веселая и беззаботная молодежь, богема, разные Зиночки и Катеньки, романы, начинающие писатели, разные «мистические анархисты» или кружок Телешова, Леонида Андреева, Сергея Глаголя «Середа», где постоянно бывал и Иван Бунин, и Юлий, брат его. Вот тогда и прочел я впервые «Осенью», «Сосны», «Песнь о Гайавате» (Лонгфелло – перевод Ивана), и разное другое, что всю жизнь сопутствовало. Даже и теперь, всколыхнутое, кажется более «настоящим», чем текущее.

А время шло и тогда. На предпоследней странице книги своей Вера Бунина пишет: «4 ноября 1906 г. я познакомилась по-настоящему с Иваном Алексеевичем Буниным в доме молодого писателя Бориса Константиновича Зайцева, с женой которого, Верой Алексеевной, я дружила уже лет одиннадцать»... «И никакого предчувствия у меня не было, что в этот вечер наметится моя судьба». Да, шла к нам скромная барышня Вера Муромцева, а дальше стала Верой Буниной и через 46 лет приняла последний вздох мужа.

Всей жизни не перескажешь – ни Грасса милого, где столько мы гостили позже у Буниных на «Бельведере» ихнем, в свете и благоухании Прованса, в безоблачно-дружественных отношениях, ни Пюжета, тоже провансальского, куда приехали к нам раз Вера с Иваном, ни восторженно-бурных «нобелевских» дней с выступлениями, чествованиями, молебнами, ресторанами.

А о горестном конце жизни Ивана, годах болезней и увядания просто не подымается рука и писать. Горько сказать, но уходил он неприкаянным и непримиренным, в ожесточенности внутренней, в разрыве с давними друзьями. Но две Веры не покинули друг друга.

Упокой, Господи, его душу.

REQUIEM

Ей было сорок три, Ольге Самыловой, жене Самылова Михаила, профессора Лондонского Университета. Сама она магистр, тоже преподавала – оба филологи. Душой оба столь молодые, что мы, друзья, называли их просто Оля, Миша.

Родилась Оля в Риге. Ломоносовскую гимназию пришлось из-за войн и революций бросить – трудное бегство на Запад, начало скитаний. Гамбург, окончание русской гимназии в каком-то немецком городке Менхенгофе. Гамбургский университет, там изучала она испанский, французский, древне-французский. А потом «Летящая по волнам», 38-дневное странствие эмигрантское: из Триеста в Суэц, Индийский океан – Новая Зеландия, за Австралией. Город Веллингтон. Все это с родителями, она совсем молоденькая. Мечтала и о балете, да еще и Бог знает, о чем, о Моцарте, музыке. Но тут не до мечтаний. Надо жить. «Тяжело работала в госпитале для хронических больных, по контракту, как и все новоприбывшие».

Продолжала и учиться в Ун-те тамошнем, изучала русскую литературу, да и французскую. Служила в Университетской Биб-

лиотеке. В 1951 г. получила степень Bachelor of Arts в Веллингтонском Университете. Училась в Новой Зеландии два года, а потом, вновь по океанским просторам, но теперь на Север, все с родителями, перебралась в Канаду – русская эмигрантская Одиссея. В Торонто написала и защитила диссертацию по литературе русской – магистерскую. В Торонто и встретилась с молодым профессором, тоже филологом, нашим будущим «Мишей» Самыловым. Вышла за него замуж. Новая жизнь, Vita Nuova, но с прежними странствиями и посуху, и по «волнам беспредельно-пустынного моря».

В Париж «Оля и Миша» попали весной 1958 года. Тут мы и встретились и подружились. К Италии любовью заразили их отчасти и мы с покойной женою. Отсюда покатили они в Рим, Флоренцию, Венецию, Равенну и окончательно стали «нашими», духовно-подданными чудной страны.

А потом начались их блуждания по Университетам, связанные с ученой карьерой Миши. Оля тоже работала и в учебном деле, и в домашнем: поддерживала мужа, утешала, подбадривала («главной радостью для нее было доставлять радости близким, да и ближним»).

По Университетам колесили они, как бы залетными гостями, немало: читал он в Станфорде (Калифорния), Итаке, Беркли, три года в известном Иельском Ун-те в Нью-Хэвене. Но тянуло в Европу, ближе к Италии.

Оля была особенная. Нечто и детское, в лучшем смысле, и прозрачно-смиренное жило в ней, как и в Мише. Очень они подходили друг к другу. По его мнению, она «сочетала жизнерадостность с некоей детской мудростью» – да, он прав. Бог и смерть, «все укладывалось в какую-то гармонию» – объяснить это трудно, как не расскажешь словами музыкального произведения. Музыку любили оба. Моцарта особенно. Он вообще сыграл роль в их жизни.

«За несколько недель до болезни слушали мы одно из поздних произведений Моцарта... – она сказала мне: «Моцарт уже чувствовал смерть и вечность, эта музыка уже оттуда, из Царства Небесного, и это немного страшно, так как мы боимся незнакомого, но все мы должны чрез это пройти, и будем этому рады».

Тут добавила она фразу, удивившую его.

– У тебя останется Моцарт.

Почему только у него? Она была тогда еще совершенно здорова, молода...

Но в этой жизнелюбивой и «человеколюбивой» женщине жило, очевидно, некое предвосхищение иного мира и особое отношение к смерти. Она любила молитву св. Франциска: «Благодарю тебя, Господи, за сестру нашу смерть телесную, для всех

смертных неизбежную». А Моцарт писал отцу: «Я уже несколько лет как подружился со смертью, этим истинным, лучшим другом человека, и ее вид меня не страшит, а успокаивает. И я благодарен Богу, что Он подарил мне счастье и возможность видеть в ней ключ к истинному нашему блаженству».

Женщины более чутки, чем мы. Она была еще совсем здорова, но уже ощущала «близость»... (в моей жизни тоже пример: «Я скоро умру» – хотя была совершенно здорова, но вот ночью, в тишине... Так все и вышло).

В 1965 г. служебно-кочевая жизнь их кончилась. Мишу, как знатока древнеславянских языков, Лондонский Университет избрал на постоянное, теперь уж не гастроли: он получил кафедру, Оля занималась со студентами.

Но некое бродяжничество, паломничество по святым местам Европы продолжалось. Где-где не побывали они, начиная, конечно, с Италии, там особенно. Испания и Португалия, Австрия – не раз в Зальцбурге: не пропускать же фестивалей Моцарта.

А за всеми успехами и усладами жизненными какой-то подкоп под Олю продолжался, до поры до времени незаметный, а потом разные нездоровья – ну, мало ли что, пустяки. Но они нарастали. «Знала ли, догадывалась ли о своей болезни? Нас[1] она только укрепляла, поддерживала. Уже больная, настояла на поездке в Рим. Через пять дней пришлось вернуться».

Тянуло, значит, попрощаться с Италией. Все понятно. И останавливались-то они близ Trinita dei Monti, в пансионе против Hassler'а, у Испанской лестницы знаменитой, где альбанки продают цветы (мне ли не знать благословенных мест молодости и счастья).

«Плакала она три раза – в церкви S. Silvestro, в пансионе у Monte Trinita и в такси перед отлетом. С Италией расставалась. Но на пути домой, уже в аэроплане, мечтала о том, чтобы завести к старости хижину где-нибудь около Урбино или Ассизи.

Осуществить это не удалось. Как таинственный посетитель Моцарта, смерть явилась к ней неожиданно, не спрашиваясь, 1-го апреля 1969 года, ровно через тридцать лет после кончины старшей ее сестры – в тот же день месяца. Конечно, была Оля уже больна и находилась в клинике. На другой день операция. Но она бодра, дружественно разговаривала с соседками. Прихода загадочного незнакомца на этот раз не ощутила. Он нажал педаль, все внезапно остановилось.

---

[1] Мужа, мать.

Занималась эта чистая душа литературой, любила музыку, Италию, была странницею изгнанническою, любила «близких, но и ближних».

У гроба плакали ученики-студенты. Уход ее отзывает горестным некиим хрустальным звуком. Музыка может выразить его в торжественно-органным излиянии. Слову же трудновато.

ПОХВАЛА КНИГЕ

– Что особенно близко человеку?

– В детстве – мать.

– Позже?

– Жена.

– А вообще, кто сопровождает? Чуть ли не с пеленок, чуть ли не до могилы?

– Книга.

– Не всякая, но согласен. И действительно, с ранних лет.

* * *

Вечер. Столовая в барском доме, в деревне. Висячая лампа над обеденным столом, сейчас еще на накрытым. В узком конце его отец, веселый, причесанный на боковой пробор, читает детям вслух. По временам, когда очень смешно (ему), останавливается, вытирает платком негорькие слезы, увеселяющие, читает дальше. Мы, дети, тоже хохочем. Из-за чего, собственно? Но веселый ток идет от книги, и от отца. Написал все это какой-то Диккенс. В допотопном рыдване (у нас тоже есть в этом роде), неведомый мистер Пиквик, с товарищами-учениками – разные Топманы, Снодграсы куда-то едут, чего-то ищут. Собственно, трудно понять, почему это так забавляет нас (милый, смешной и забавный мир приоткрывается). Благодушный фантасмагорист Пиквик, чрез любимого отца, входит в дом наш, разливает свое приветное веяние.

Смех наш детский, но зажег его Диккенс с полу детской своей душой. А проводником оказался отец, подходящего внутреннего склада.

Много позже, когда никого из тогдашних слушателей, кроме меня, не осталось в живых (не говоря уже об отце), взрослым попал я в Лондон. Русский приятель повел в ресторан, где-то в Сити, по виду неказистый и скучноватый. Но не в биржевых дельцах, не в ростбифе и джине превосходных оказалось тут для

меня дело. Над входной дверью, на притолоке, маленькая фигурка-скульптурка: полный благодушный человек, старомодный по виду, будто приглашает:

– Милости просим!

– Это ресторан, – сказал приятель, – где бывал часто Диккенс. А фигурка над дверью – мистер Пиквик.

Вот где встретились! После Устов, захолустья калужского конца прошлого века...

Выпили джину за Диккенса. Но не в последний еще раз встретился он. Еще через годы – совсем в другом роде. В Париже, у постели тяжко больного близкого человека. Тут уже не до смеху. Но по странному совпадению, Диккенс пришел и в начале жизни, и в конце. Без детского смеха теперь и без Пиквика.

За два года прочел я вслух жене всех Копперфильдов, Твистов и другое разное, очень много. Диккенс был для меня уже не тот, веселый устовский, а замечательный английский писатель, простодушный и чистый, во многом «для юношества» (но не теперешнего), очень изобразительный и трогательный – на больную действовал хорошо. И я чувствовал в нем союзника – пусть Толстой пренебрежительно морщится. А Жюль Верн? Для детей, конечно, Царство ему Небесное («Смелее, – кричал лорд Гленерван. – Смелее, – повторяла его молчаливая супруга») – и все они, на борту своего парохода, ищут какого-то Айртона, заброшенного на пустынный остров кораблекрушением. И милый Паганель, рассеянный французский географ, с ними...

Капитана Немо («Таинственный остров») ждешь, как подарка, каждую субботу (приложение к «Задушевному слову» – какое название!). Бежишь встречать почтальона со всех четырех ног. Это власть.

Над ребенком, но и над взрослыми, не остыть ей, только в иные края литературы перемещается она.

Тургенев раньше других приходит: «Первая любовь» дает первые опьянения и отроку, и позже взрослому. А там «Дворянское гнездо». (Лиза Калитина жила в Орле напротив дома моего дяди.)

Толстой распростирает свой шатер огромный позже, туда вмещаются и Пьеры, и Болконские, Наполеоны и Кутузовы, Багратионы и Ростовы со своей Наташей. Это уже демиургическое, не «для детей и юношества». И под кровом своим держит тебя этот гигант сколько хочет. Сопротивляться бесполезно, да и нет желания. Напротив, обаяние непрерывно.

Достоевский «настоящий» приходит всех позже. Конечно, и во втором классе калужской гимназии, таща хмурым утром

ранец в унылые арестантские роты по имени «классическая гимназия» (ante, apud, ad, adversus... собьешься, можно двойку получить), вспоминаешь «Бедных людей», «Униженных и оскорбленных», вчера вечером читанных... – но до «Идиота», «Бесов», «Братьев Карамазовых» еще далеко, еще годы жить, чтобы воистину родной литературой возгордиться, ни на какую ее не променять. Можно быть великим почитателем и Данте, Гете, но своего не отдать.

* * *

И вот еще имя, только всплывшее по-настоящему – в какие поздние годы! Ребенком держал в руках книжечку в переплете – перелистаешь, там какие-то мельницы ветряные, рыцарь на коне с копьем летит на них (непонятно– почему, но забавно), этот же рыцарь этим же копьем угрожает стаду баранов – на обложке надпись «Дон Кихот». Любопытно, конечно, но что-то странное, полусмешное. Полоумный рыцарь, все твердит о какой-то Дульцинее Тобосской, куда-то стремится, чего-то ищет, кому-то хочет помочь, защитить, и ничего, кроме смешного, неприятного, у него не выходит. Все же в детской душе вызывает он некое сочувствие. От взрослых слышишь – «Дон Кихот», «Дон Кихот», тоже смесь улыбки с одобрением.

Из ребенка человек взрослым становится, и «Дон Кихота» знает только по переложению, сокращенному для детей.

Но оказалось, есть перевод и для взрослых, г-жи Ватсон. Начинается чтение... да ведь это просто скучно!

Не могу теперь судить, то ли это был неполный перевод, то ли сам не дорос, только «Дон Кихот» так и остался под замком. Кроме всемирного имени – ничего.

И вот жизнь проходит, без «Дон Кихота». Краешек остался еще, и на книжной полке таинственно появляется «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Два тома, по пятисот страниц. Так и не понял, откуда появились. Подарок? Но чей, когда?

Все равно, решил попробовать. Не без опасения. Вдруг опять застрянешь. Издание советское, 56-го года. Перевод Любимова.

Тут идальго за себя постоял. Написано более трехсот лет назад, а держит, не отпускает. Смесь великого с детским, все воплощено, да, это Испания XVII века, все живое, начиная со священного безумца, всем жаждущего помочь, прикрыть любовью, найти Дульцинею для преклонения перед ней – пусть смеются над ним, он себе шествует, ни на кого не глядя, да и на трудности не обращая внимания. Важен подвиг, важна Дульцинея. Великая жизнь – в ней почти что всегда неудача, а пред Высшим сплошная заслуга.

И милый оруженосец, этот с детства знаком, Санчо Панса, ловкач и стяжатель, но и фантасмагорист, верит в остров какой-то и свое там губернаторство (обещанное хозяином!), рыцаря своего обожает, несмотря на все бесчисленные нелепости его (говорит чуть не сплошь пословицами. Переводчик отлично со всем этим справился).

Сервантес писал «Дон Кихота» долго, с большим перерывом между первой и второй частью. Первый том сильно отличается от второго. Почувствовал ли, что пишет мировую вещь? Не казалось ли поначалу, что выйдет просто забавное, для развлечения кардиналов, герцогов и герцогинь – покровителей? Не знаю. И недостаточно знаю жизнь этого Сервантеса де Сааведра. Знаю, что в морском бою при Лепанто потерял он руку, попал в плен к маврам, годы прожил почти рабом в Африке. Сколько видел людей! И какой опыт жизненный. Это все в книге сказалось. И страдания пережитые сказались. Вторая часть сдержаннее, глубже, мудрее. Меньше смешного в Дон Кихоте, он грустнее, задумчивей, тише. И как-то еще значительней. Возвращается в дом свой деревенский внешне неудачником, внутренне победителем, ибо не жалел себя, все делал для других – сирых, слабых и беззащитных, а если жизненно ничего не вышло, то это уже участь натур орлиных.

Книга «Дон Кихот» обладает таким свойством: незаметно, но чем дальше, тем больше, подымает она, просветляет и облагораживает. Прочитав несколько страниц, закрываешь ее с улыбкой чистой, выше обыденного. Будто ребенок тебя приласкал, но ребенок особенный, в нем чистота, музыкальность и нечто не от мира сего. Да, почти всегда улыбаешься, именно той улыбкой, о которой наверно не думал автор.

* * *

Хвала книге, от смиренной «для юношества», но настоящей, до великой, для всего человечества. Так ли, иначе, и та и другая владеет в мечте, фантазии, вводит в мир свой, особый – и чем выше он, тем след навечней. Хвала тем, кто выводит из обыденности, раздвигает жизнь и по-истинному обольщает.

С ТОЛСТЫМ

Не могу сказать, сколько именно раз перечитывал «Войну и Мир». Началось это с юных лет. Маленькие были книжки, бумага тонкая, печать слегка просвечивала. Переплетчик жиздринский обклеил Толстого «мраморной» бумагой по переплету. Тогда казалось ничего себе, по-теперешнему убого.

Но дело не в переплетах, а в том, что переплетают. «Анну Каренину» ребенком я не читал, а «Войну и Мир» знал и подтверждал собою более позднее наблюдение: мужчины читают и войну, и мир, женщины преимущественно мир.

Своя правда у них есть. Конечно, никогда я не уступлю Шенграбенского боя, Аустерлица, Бородина, смерти Пети в партизанском набеге. Но нередко великое повествование здесь прерывается размышлениями, философствованием, мирная же жизнь – все эти Наташи, Сони, Пьеры, княжны Марьи с братцем кн. Андреем – просто завладевает сердцами, очаровывает не только женщин – и ничем не прерывается. Просто показывается.

Читалась «Война и Мир» и в Калуге, в гимназические годы, позже в Москве, еще позже в Париже. Теперь в последний наверно раз перечитано это произведение, едва ли не величайшее в мировой литературе. Оно и создано, чтобы сопутствовать человеку до могилы. От него не откажешься, не отобьешься, если бы и захотел. Оно всегда перед тобой.

Странное, между прочим, чувство еще испытываешь, читая «Войну и Мир»: будто делаешь важное и полезное дело. Для кого *значительно*, чтобы я читал? Удивительная вещь: будто так и *надо* читать, не только для себя, но и для других. Это облагораживает, укрепляет.

* * *

Когда Толстой начинал «Войну и Мир», были это едва ли не лучшие годы его жизни (взрослой). Любовь, семья, стихийная мощь. Может быть, не совсем был он и человеком, а существом особым, полуприродным, гигантом, которому надо расходовать внутренние силы – иначе взорвали бы они его. Почему он занят началом русского XIX века, наполеоновскими войнами, я не знаю, но они его задели, как и все то время, по-особенному. В душе разное бродило, но вот он остановился не на декабристах, а на барстве русском александровских времен и войне 1805 года. Не думал, вероятно, что из этого получится эпопея. Писать же начал с увлечением. И тотчас проявились основные его черты: преклонение перед простыми, скромными людьми, героями на-

стоящими, но незаметными, всегда имеющими христианскую подоплеку. Еще нет Платона Каратаева, но позже и он появится. А скромный, выпивающий, с красноватым носом капитан Тушин, бесстрашно, без пехотного прикрытия палящий батареей своей по Шенграбену. Или ротный Тимохин, неожиданно, без приказания, но по собственному почину атакующий французов, собирающихся обойти наш левый фланг, – уже вот они, подвижники невидные, в первом томе, начатом в самое неподходящее время, 60-е годы российские. Тут освобождение крестьян, гласные суды, «эмансипация», Добролюбовы, Чернышевские, и вдруг некий граф Лев Толстой расписывает о чем-то несовременном и несообразном. Писали о нем и хвалебное, но и такое несусветное, что трудно поверить, – будто это «ряд возмутительных грязных сцен» (Навалихин какой-то), или Шелгунов, известный критик: «Еще счастье, что гр. Толстой не обладает могучим талантом...» «Если бы придать ему силу Шекспира или даже Байрона, то, конечно, на земле не нашлось бы такого сильного проклятия, которое бы следовало на него обратить». Считал он, что и вообще роман будет очень скоро забыт, но просчитался: к нему самому, Шелгунову, надо продираться теперь через непроходимые заросли, а Толстого чтит весь мир.

Сам же этот граф Толстой, так разволновавший проницательного Шелгунова, ломил напролом и сам не знал, что засел за работу такого масштаба, которого не знала русская литература.

Как бы там ни было, беспримерный труд проходил более чем удачно. Конечно, знаменитое «Ты им доволен ли, взыскательный художник?» действовало и тут. Софья Андреевна без устали переписывала вновь и вновь, с поправками, добавлениями, сокращениями.

И не зря трудилась. Получается не «литература», а нечто овладевающее, магическое, будто сами вы в 1805 году и знакомы с резвою девочкой Наташей и знаете брата ее, гусара Николая Ростова, и даже вместе с ним скакали к мосту, за которым австрийцы неслись, чтоб зажечь его раньше, чем враги до него доскачут и займут берег реки.

Тут небольшое отступление. Этот мост по-особенному запомнился на чужбине.

В первый эмигрантский мой год пришлось давать уроки (частные) во французском лицее в Париже – русского языка и литературы. С одним из учеников, красивым, спокойным юношей, как раз мы читали про этот мост. Все было основательно и добросовестно. Когда я сказал: «Ну, на сегодня будет...» – он

посмотрел на меня сонными голубыми глазами и сказал: «Et tout le livre dans ce genre la?»[1] – Таким тоном, будто более скучного ему никогда не приходилось читать.

Это было сорок пять лет назад. Тогда «Войну и Мир» не ставили еще в синема.

* * *

Толстого я всегда боялся. Мы жили с ним в одном городе, Москве. Мог я встретить его на улице, но ни разу не встретил. На литературных собраниях он не бывал.

Чехова я знал немного, любил и почитал, но синайского в нем не чувствовал. А насчет Толстого всегда казалось: остолбенеешь – не просто московского писателя из Хамовников встретил, а носителя скрижалей некиих.

В Москве существовало в начале века замкнутое литературное содружество «Середа» – по средам собирались мы у Телешова, Леонида Андреева, Сергея Глаголя, читали свои новые вещи. Сергей Глаголь, критик художественный, жил почти рядом с Толстым. Несколько раз в году, после чтения автором чего-нибудь вроде «Василия Фивейского» или «Жизни человека», после хорошего ужина выходили мы группами по несколько человек от «Сергеича».

Был у нас красивый и очень бездарный старый писатель с серебряной бородой – весьма склонный к Бахусу. Быть может, им и заливал свое литературное неудачничество. Около полуночи выходил от Сергеича не совсем твердо. Борода его серебрилась рядом с порозовевшим лицом еще ярче.

Путь наш, пока найдешь извозчика, всегда мимо особняка Толстого.

Дом – ничего особенного. В небольшом саду, двухэтажный, никакой парадности. Таких в Москве много. Но было в нем нечто и особенное. Тут жил Толстой.

Проходя мимо дощатого забора, засматривались мы – вон во втором этаже скромный огонек лампы: не пишет ли что-нибудь свое, особенное, синайское? (Все это, конечно, фантазия: комната его была в нижнем этаже, мы это отлично знали...).

Как-то раз вышло все же, что я загляделся на лампу эту, может быть, больше обычного. Серебряная голова приблизилась ко мне.

– Чего смотришь? Думаешь, вы с Леонидкой лучше можете написать?

---

[1] «И все книги в этом жанре?» *(фр.)*.

И ткнул пальцем в направлении огонька.

– Не-ет, братцы, далеко кулику до Петрова дня!

– Да я вовсе и не думал...

– Не думал, не думал. Знаем мы вас... не думал...

Тихий «поэт из народа» подошел к нему и взял под руку.

– Едем, едем, тут и извозчик есть на углу.

Это были последние годы Толстого. В России подземно бурлило, революция росла, но втайне. Эсеры убивали губернаторов, военно-полевые суды действовали вовсю. Смерть с обеих сторон.

Толстой написал знаменитое «Не могу молчать» – письмо правительству насчет смертной казни. Тут по молодости и нервности я чуть не сделал величайшей глупости. Именно: сидя у себя в Притыкине, в восьмидесяти верстах от Ясной Поляны, сочинил Толстому письмо. Кажется, даже жена не знала. Все втайне. В письме этом, восторгаясь Толстым, выражал желание, чтоб он сам пострадал за высокие свои чувства, «чтоб на Вашей старческой шее захлестнулась петля» – предлагал из Притыкина принять венец мученический.

Написал... – оставалось только отправить. Адрес его я знал, но не в адресе дело. Предлагать смерть отсюда, из тихого флигеля, знаменитому писателю...

Бог помог. Письма я не отправил. (А сейчас не без любопытства перечитал бы его.)

* * *

Некогда Мережковский написал замечательную книгу о Толстом и Достоевском. Схематично, как почти всегда у него, но в главном верно: «Тайновидец плоти», а Достоевский «Тайновидец духа».

Все же не одной плоти тайновидцем был Толстой. Знал и понимал и другое. Конечно, видимое и осязаемое любил, может быть, и по-язычески. Но и неосязаемое и невидимое (духовное) знал.

Это начинается с любви. Странно сказать, сколь большое место занимает в «Войне и Мире», этой (как будто) военно-политической эпопее, любовь. Бурно-фантастическая и кипящая у Наташи, скромная и верноподданная у Сони, благоговейно-мистическая у княжны Марьи – все это женские любви. Но и мужские есть, осложненные другою жизнью и другими вопросами, – князь Андрей, Пьер к Наташе, «средний» Николай Ростов, даже Долохов и Денисов – все проходят, соответственно характерам, через Любовь. (Замечательны Святки, поездка на тройках вечером к соседней помещице, таинственная луна, ряженые, черные усики у Сони, нарисованные углем, загадочность всего и звук любви над всем. Это – бриллиант литературный.)

А тоска (любви) по отсутствующему князю Андрею у Наташи, когда бродит она по дому в полоумии некоем, дает прислуге нелепые приказания и бормочет бессмысленно «Мадагаскар» – тоже драгоценность и тоже не скажешь, что плоть. Некая волшебная фантасмагория.

В Толстом вообще далеко не одно плотское. Откуда взялся в «Анне Карениной» человечек, постукивающий по рельсам, являющийся в самые важные и трагические минуты, отстукивающий смерть? Или последняя встреча кн. Андрея с Анатолием Курагиным на перевязочном пункте Бородина?

Оба смертельно раненные. «Враги». Князь Андрей всюду Курагина искал по России, не мог найти (чтобы убить), а вот тут, ни о чем не думая, перед надвинувшейся смертью – нашел. Но оба умирают.

В этом третьем томе, с Бородинским сражением, слилось замечательное «военное» с удивительным общечеловеческим и божественным.

Это том, где появляется в транспорте русских пленных солдат Платон Каратаев, настоящий победитель – по-евангельскому «Последние да будут первыми». Он из линии княжны Марьи, только не князь, а полубольной праведник русский из народа (огромная сторона Толстого *в нем,* только без графства). Истинный христианин, истинная любовь к людям, миру, всему живому – собачке, его сопровождающей, – одна она и «пропела» над ним reguiem, когда французский солдат пристрелил его, как ослабевшего и неспособного идти дальше с партией. Она завыла над праведником, а солдат бросился догонять партию, бледный, с сознанием злого дела, содеянного над беззащитным.

Да, кроткий Каратаев – настоящий победитель. Побеждает он силой любви и благоволения. Это, собственно, и есть подоплека «Войны и Мира», а не насмешки над Наполеоном и разными диспозициями Вейротеров. Воистину тут столкновение «Войны» и «Мира». Кесарева со Христовым.

* * *

Я не изучал рукописей «Войны и Мира», говорю не как литературовед, а как читатель. Произведение, нередко прерываемое рассуждениями и философией, оставляет такое впечатление, что создавалось оно стихийно. Начиная его, автор неясно видел, чем именно и как оно закончится.

И даль волшебную романа
Через магический кристалл
Еще неясно различал.

И слава Богу, конечно. Оно росло в нем, как огромный дуб из желудя. Вышел сначала «1805-й год» – просто один том, но автор не был опустошен, *главное* в нем еще сидело. Если бы все ограничилось одним томом, получилось бы замечательное введение и только. Но писание разрасталось. Аустерлица недостаточно, и мало бесконечного неба над тяжелораненым князем Андреем, лежащим на спине и ощущающим (может быть, в первый раз) Бога и вечность, с которыми он охотно вступил бы в неравный бой, но вот именно теперь не вступает.

Толстой отдал второй том почти целиком миру. Война далеко за сценой, в третьем же, где Бородинское сражение, она господствует. Но не зря трудился автор над этим произведением и столь усердно переписывала вариант за вариантом Софья Андреевна; так сбалансировал Толстой в этих двух томах войну с миром, что ни та, ни другая часть не преобладает. Нигде (кроме мелких вставочек-рассуждений) нет у читателя чувства: «этого не следовало бы». Сумасшедшее увлечение – очень короткое – Наташи Курагиным, чуть было не испортившее ее жизнь, и многое другое, касающееся Пьера и его дел и плена в горящей Москве.

Какая сила! Пьер, Пьер, огромный, добрый, нелепый фантасмагорист. Но и князь Андрей... Тяжело раненный под Бородиным, умирая в Мытищах, говорит:

«Любить ближних, врагов своих». «Все любить – любить Бога во всех проявлениях». Сцена встречи ночной князя Андрея с Наташей, оказавшейся в одной с ним партии беженцев, когда Москва пылала и там орудовали уже французы, – эта сцена могла выйти сентиментальной и мелодраматической. А вышла украшением книги.

Можно много привести незабываемого и бриллиантового из первых трех томов. Но и великаны устают.

Это я говорю о четвертом томе. В первых трех Толстой захлебывался от стихийной своей мощи. Но не всегда же захлебываться. Именно так в томе последнем.

* * *

В нем тоже есть свое превосходное. Оно вкатывается как бы по инерции из первых трех, и касается больше людей, их жизни даже в военной обстановке, чем самой войны, истребительни-

цы жизни. Во второй же части тома решительно перевешивает военное, вернее, рассуждения о войне. Это много слабее.

Собственно сама война и тут местами незабываема. Сцена партизанского набега, где гибнет Петя Ростов (судьба! Только что совершил он опаснейшую рекогносцировку, и через несколько часов настигла его шальная пуля) – это написано с той силой, живостью и трогательностью, как лучшие страницы книги. Да и предсмертие князя Андрея, Наташа, княжна Марья...

Но не только предел сил в четвертом томе. В сущности, его конец – первая часть эпилога, через семь лет (1820 г.). Княжна Марья со своими «лучистыми глазами» замужем за Николаем Ростовым, Наташа – за Пьером, и последняя сцена – возвращение Пьера из Петербурга – сводит их всех в гостиной Лысых Гор. Разговоры отличны, но Наташу жаль. Юное обаяние ее уходит. Где «Мадагаскар», поэзия, юные влюбленности? Интересы детской, кормление (у нее уже трое). Где волшебные святки, охота с борзыми, пляска у дядюшки? Теперь она хозяйка дома и глава семьи. Пьер, несмотря на громадность свою, в доме ничто. Вот он приехал с большим опозданием – за что Наташа и прохватила его, – но интересы его в столице, он и задержался там явно из-за декабристов. И тут развивает масонско-декабристский дух, хоть и завуалированно. Опять все отлично написаны, и еще новый человек – сиротка Николенька Болконский, сын князя Андрея. Он восторженно слушает Пьера – почти готовый будущий насельник Сибири.

Собственно, это и все. Вторая часть эпилога... Одни рассуждения. И никто их не читает. И не в них слава Толстого. А слава у него настоящая, несмотря на писания современных ему критиков. Что бы ни писали о нем, он шел себе напролом, как некое чудище гигантское, ломая чащу, ни с кем не считаясь. Правильно поступал. Не с Шелгуновыми же или Пятковскими считаться.

БЫЛОЕ, МЕЛОЧИ

Начало века. В литературе очень забурлило: действительно, другое время.

В Петербурге «Новый Путь», «Религиозно-философские собрания», Мережковский, Гиппиус. В Москве «Весы» с Брюсовым. В Петербурге, по существу далеком от всего «такого», линия неохристианская, в Москве «древлее благочестие», и покровители самоновейшего, блины, несклоняемая «Москва-река»

и дьяволизм Брюсова. Журнал его декадентский «Весы», хозяин Брюсов, экип сотрудников преданный: «мрачный как скалы Балтрушайтис», «нежный как мимоза Поляков» (не знаю, сколь нежно, но немало деньжонок выложил он на эти «Весы», и хорошо сделал, гораздо лучше, чем пропить со свитой в Большом Московском).

Андрей Белый, не совсем к «Весам» подходящий, но верноподданный, Эллис – полубезумный, сверхпреданный, готовый растерзать неподходящего тут же, в дверях редакции. Разумеется, были и непокорные, из молодых иного толка. (Никого из них уже нет в живых, исключая, может быть, Александра Койранского, давно погрузившегося в дебри Америки и оттуда голоса не подающего).

Саша Койранский – милый человек, даровитейший дилетант: поэт, художник, театральный критик. Если жив и дойдут случайно строки эти – дружеский привет, как бы с того света. – Живой, острый, независимый, – этот в придворные не годится.

Вспоминаю некоторые шутливые писания того времени, иногда не без яду. Тот же Саша сочинил о Брюсове:

Седеет к октябрю сова
И мощь когтей слабеет.
Слабеют когти Брюсова,
Но сам он не седеет.

Поклясться не могу, но, действительно, седым или седоватым Брюсова не помню. Рифмы же первой и третьей строки редкостны. А содержание таково, что и мимо редакции «Весов» Койранскому проходить было, на мой взгляд, небезопасно.

* * *

Открылся в Москве и еще модернистский журнал «Перевал», при издательстве «Гриф». В «Грифе» этом вышел первый сборник, Блока, «Стихи о Прекрасной Даме». Все это двигал и редактировал мой приятель Сергей Соколов, поэт, в литературе «Сергей Кречетов». Тут не было ни мрака «Весов», ни военной диктатуры.

Издавался и Бальмонт, были сочувственные отношения с Буниным. Белый печатался иногда – и молодежь типа Койранского, Муратова, Александра Брюсова (брата Валерия – впоследствии известный археолог). Печатал и я некоторые очерки свои итальянские – это было как раз время (блаженное) моей встречи с Италией. Мы с женой только Италией (внутренне) и жили. Гриф печатал мою «Сиену», «Флоренцию», но Филиппо Липпи или

Боттичелли мало его привлекали. Ему нравился грандиоз и демонический. Сам он был здоровый, крепкий, без всякого демонизма, жизнерадостный адвокат, ставший поэтом-модернистом. Человек по природе простодушный, хотел быть вроде Брюсова. Слава Богу, это не удавалось, несмотря на то, что в кабинете у него был светильник в виде загадочного дьявольски сияющего глаза.

«Гриф любит пышные декадентские наименования», – говорил он про себя, а меня упрекал за то, что я мало их употребляю. «Ну что у тебя «кривоногий Гришка» – то ли дело Рим, Велизарий, Стилихон»... И меня, чтобы приподнять, называл Стилихоном.

В древнеримский pendant[1] он обратился у меня – так я его окрестил – в Нигидия Фигула, скромного персонажа времен Цицерона. Не весьма нравилась ему эта кличка.

Бунин был больше на периферии, не помню, чтобы участвовал в «Перевале» (разве одно-два стихотворения). Но Гриф его встречал у нас на Спиридоновке, ездили мы все вместе и в Литературный Кружок и к Яру. К модернизму Иван никакого отношения не имел, но со мной, женой моей, давней подругой его жены, был в отношениях добрых. И он, и Гриф бывали у нас среди молодежи, тех же Койранских, Муратовых, Ходасевичей, Муни и др. – Гриф с новой своей женой Лидией Рындиной (из театра Незлобина), Иван со своей Верой.

Как раз к этому времени – 1910 г. – его выбрали в Академию. Торжество было великое. Конечно, «Прага», Литературный Кружок, банкет, шампанское, приветствия, чоканья... Очень весело и интересно. Кажется, больше всех радовался брат Ивана, Юлий, редактор «Вестника Воспитания» из Староконюшенного переулка – скромный, славный интеллигент российский, наставник и руководитель младшего, неукротимого брата Ивана.

Вот тут Гриф нечто и сочинил злободневное. Помню только две строчки:

Иван Бунин знаменит,
За ним Юлий семенит.

* * *

Юлий Алексеевич ходил, действительно, мелкими шажками, ноги у него короткие, подрос животик, но в меру, и весь он

---

[1] Век, времена *(фр.)*.

был вообще мера и здравый смысл. (А когда началась первая война, он заплакал и сказал: «Ну, теперь все пропало!»).

В Москве выходила газета «Русские Ведомости» – либеральный здравый смысл, ни больше ни меньше. Юлий в ней не писал, но сам был воплощением «Русских Ведомостей». (И что же: это были высокопорядочные люди, гениальностью не обладавшие, но... – побольше бы таких.)

Мы, молодые того времени, все-таки к «Русским Ведомостям» не подходили. Кажется, только Осоргин, Михаил Андреевич, писал у них из нашей братии. Но жил он в Риме, итальянский их корреспондент.

Италия же была еще от интеллигенции широкой в стороне, интересовала меня, жену мою да Муратова («Образы Италии»). Запад влиял чрез Париж, как и полагается «мировому светочу». Литературные влияния шли не через Тоскану. Поэзия же жизни и красота – сочились из Флоренции. Надо сказать правду: в этом мы с Муратовым пробивали некую брешь – в провинциализме.

* * *

Бальмонт, наш сосед по Арбату, привел к нам человека из Парижа.

– Вера, – обратился он к моей жене, – это поэт Макс Волошин, нежная душа и завсегдатай монпарнасских кафе, друг Метерлинка и знакомый Модильяни. Он обнаружит перед вами свою поэтическую сущность.

Знакомый Модильяни оказался грузным, добродушным и лохматым человеком в пенсне на широкой ленте, очень бородатый (раз навсегда заросший чащею непроходимой), вида, действительно, богемного (т.е. нам подходящего, только марка его не Арбат, а Монпарнас).

Все это было очень давно, я не помню, чем именно он обнаружил свою поэтическую сущность (кроме одного стихотворения о поезде). Все время как бы аккомпанемент:

Так и звучит это
　　　　　ти-та-та, ти-та-та...

Не могу сказать, чтобы наивность очень уж прельщала, но гость понравился.

В некий момент Бальмонт вынул книжечку, стал читать и прочел втрое больше парижского Макса. Друг же Метерлинка стал временно обитателем Москвы, посетителем Литературно-

го Кружка и гостем нашей богемы. Так как был и художником, нечто, как говорил Гриф, «изрисовывал» сам, то объявил в Литературном Кружке лекцию о Репине, разгромил его как хотел, во всем своем монпарнасско-модильянском вооружении.

Он жил и в Москве, а потом на юге, в Крыму. Там ходил в каком-то хитоне и оброс некоей колонией сочувственников – полупророк, получудак. Секты, впрочем, не основал, но по-видимому недалеко было от этого. Здесь застала его революция. Он позицию занял промежуточную: ни белый, ни красный. По натуре человек добрый, в те страшные дни многих спас. Думаю, чудачеством своим и непонятностью на «них» действовал. Общего террора и потоков крови при занятии Крыма красными остановить, конечно, не мог, но что в силах было – делал.

Я своими глазами этого не видал, но считаю за несомненное. Несомненна для меня и судьба этого человека. Собственно в литературе оставил он не так много, но, как фигура, от забвения уцелел. В воспоминаниях о нем всегда дух сочувствия.

Разумеется, и подсмеивались над ним. Привожу полуэпиграмму на него Грифа. Она прохладновато-насмешлива. Но думаю, это зависит от того, что написана еще во времена не трагические. Если бы Гриф укрывался от палачей в Крыму, видел Волошина в другой обстановке, по-другому бы и написал.

Вот несколько строк из нее – впечатления от вечера в Москве дореволюционной.

Мастодонтен и взъерошен,
Киммерийские стихи –
Бог прости его грехи –
Декламировал Волошин.

* * *

Малые обломки ушедшего. Но из них жизнь слагается. Пережившему их многое дорого такое, чего не увидит «гордый взор иноплеменный...»

Тютчев разумел иностранца, но тут можно считать и русского, только другого поколения или другой среды. Все равно: пришлось жизнь прожить в среде литературной, делить ее судьбу. А судьба была особенная. Вот мы жили, писали, любили, страдали и восхищались, а пришло время, пришло и изменилось все сразу. Мы не могли писать так, как хотели, и жить так, как хотели. Многое прервалось. Кто уцелел, кто погиб, кто приспособился.

Можно сказать так: старшее поколение писателей почти сплошь ушло в изгнание. Некоторые считают, что это исход небывалый. Чрезмерно: целый народ уходил из Египта.

– Бывалый или небывалый, но на Западе основал целую общину свою, и вот прожила она полвека. Об эмиграции русской готовится целый огромный труд (коллективный). Здесь же заметка беглая «Своими глазами». И вот можно сказать: во многом и здесь повторилось прошлое.

Партии, группы, сочувствия, полемика. Все как полагается. Не в таком размере, конечно, как раньше. Все-таки среди малых дел и неяркой жизни странная это горсть, эмиграция русская, по всему миру развеянная, жила, думала, говорила, как хотела, палки над ней не было.

«Люди жили, любили, страдали и умирали». Были и уходили – без особых слов.

СУДЬБЫ
<ГУМИЛЕВ>

Август 1921 года невеселый был для нашей литературы. Умер Блок, тосковала Ахматова, и самое страшное: был расстрелян Гумилев.

Об этом узнал я, сидя с другими писателями и «общественными деятелями» московскими на Лубянке в Чека. Трагического в сидении не было. Сначала нам разрешили образовать Комитет для сбора пожертвований – на Волге был голод, – потом внезапно всех арестовали на заседании и с Молчановки мгновенно доставили на Лубянку: боялись, что мы проберемся мимо власти к разным Нансенам, Гуверам и другим «не наши м» (по Москве же ходил уже слух, что подготовляется «нами» новое, не большевистское правительство – под прикрытием борьбы с голодом).

Мы этим голодом не воспользовались и не собирались пользоваться, правительства не готовили. О гибели Гумилева узнали как раз в тюрьме.

Сказать правду, нас тогда ничем удивить было нельзя.

Грустно, жаль Гумилева, но над каждым меч. «Сегодня ты, а завтра я». У меня убили уже племянника, застрелили на этой Лубянке пасынка – юных офицеров, которые ничего никому не сделали, ну, так, на всякий случай... А там и моя очередь.

Гумилева я никогда не видел, как поэта знал мало. Поклонником особым не был. И вот прошло пятьдесят без малого лет.

Было нас в камере человек, приблизительно, тридцать. Теперь двое-трое остались в живых, но печатное слово долговечней – кое-что сохранило. В последнем «Вестнике Р.С.Х.Д.» напечатано стихотворение Гумилева, предсмертное, как раз тех дней. Как будто смотрит он из окна Петропавловской крепости.

Считаю, что стихи эти многим войдут в сердце:

В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Проплывает Петроград.
И горит над рдяным диском
Ангел твой на обелиске
Словно солнца младший брат.

Я не трушу, я спокоен,
Я моряк, поэт и воин
Не поддамся палачу.
Пусть клеймит клеймом позорным,
Знаю – сгустком крови черным
За свободу я плачу.

За стихи и за отвагу,
За сонеты и за шпагу,
Знаю, строгий город мой
В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Отвезет меня домой.

Стихотворение меня преследует. В нем есть некое наваждение – оно сильней меня. Не я его властелин, оно мною владеет. Да и вообще это не совсем тот Гумилев, каким раньше казался. В комментариях Н. Струве (в том же «Вестнике») сказано, что в тюрьме Гумилев читал Евангелие и Гомера.

Гомер не удивляет. Но Евангелие... Казалось бы, к облику Гумилева («я моряк, поэт и воин...») мало идет. Но вот, значит, было тяготение и сюда, хоть и подспудное. В последнюю, грозную минуту пришел Христос, раньше потаенный, ныне явный, и пронзил.

Каравеллою крылатой
Отвезет меня домой.

Куда именно? Струве как будто слегка колеблется. («Дом у Гумилева многозначен»). Но не на Гороховой же и не на Фонтанке – слишком торжественно путешествие. Рука сама подымается. Но и Струве теперь поможет. «Отчий, вечный дом», говорит он.

Чувствую некую вину пред Гумилевым. Недооценивал его. В мирной, более или менее спокойной жизни не только «акмеистом» был, очевидно, он, с оттенком авантюриста, пожирателя жизни и мгновенных ее утех, путешествий, встреч, женщин. Подошел страшный час, он встретил его даже глубже, чем «моряк, поэт и воин»: «Дом», хоть и прикровенно, не был ему чужд. Почем знать? Может быть, даже влек. Вот, в конце концов, и привлек.

* * *

Передо мной «Русская Мысль». Большая статья, чуть не во всю страницу. «Как длинно»... Начинаю читать – через силу. Но читается. И чем дальше, тем больше тексту подпадаешь. Автор – не писатель, это «документ» из России теперешней. Пишет простой человек, на литературу не претендующий. Но нельзя сказать, чтобы на Истину не претендовал.

Крестьянский мальчик, по фамилии Козлов, ранние свои годы отдал странному занятию: воровству, бандитизму (видимо, мелкому). Половину времени в тюрьме, концлагерях, половину на воле. Жизнь эта в конце концов его изводит. Нет ни цели, ни надежды. Хоть топись. Тоска ужасная. Все же не вешается и не топится.

Странный аккомпанемент жизни его: сектанты. Эти не за воровство, а за то, что по-своему в Бога веруют. Жизнь такая же, как у него, но они бодры. Даже отчасти довольны. (За Истину терпят.)

Козлов этот заводит знакомство с ними. Другой мир. Исповедуют Христа, в своем уверены, хоть в неволе, а внутри спокойны, даже светлы. Маркса будто и не обижают, но вот именно *как будто*. Поклоняясь Христу и считая его высшей Истиной, Маркса отодвигают на задворки. Как же иначе? Христос проповедовал «не убий», Маркс... – что говорить, все было на наших глазах. Тут и произошло удивительное: бывший воришка и беспутник к двадцати годам бытия своего смиренно входит в свиту Победителя духовного. От прежнего отчаяния и беспросветности ничего не осталось – приобрел самое главное, самое для человека нужное.

К двадцати годам, отбыв последний срок, домой вернулся (неузнаваемым). Вскоре женился. Но теперь все другое. Проповедовал, устраивал у себя собрания религиозные. Стал одним из вожаков христианской секты. Власти терпели его сперва – 7 лет. Появились дети. Жизнь домашняя видимо налажена –

начались аресты. Опять ссылки – на год, на три. В промежутках съезды. Он на виду, выделяется. Не только у Чеки, но и у своих: выбирают его на посты видные, в делегации к властям, в президиумы своих съездов. Так и получается: внутренне он вполне тверд и даже счастлив, прежней тоски нет, но спокойной жизни тоже нет. И документ, из которого заимствую, – письмо к самой верхушке власть имущих – полно простоты и кротости.

Внешне в его жизни все под ударом, внутренне он тверд и ясен, ничем его не возьмешь: у него высшая защита. Столько человек перенес и так светел. Великая Сила с ним. Прильнул к ней якобы нехитрый человек – стал недосягаем. Нет и тоски прежней. Всепрощение.

* * *

Что общего между известным поэтом Гумилевым, воином, странником, Дон-Жуаном, человеком отчасти надменным, – и неведомым уркой Козловым, обратившимся позже в Савла, Христом пораженного?

Будто и нет общего, но оно как раз есть. Состоит в том, что оба, по-разному, неся в себе зерно Христово, в горькие минуты прильнули к Нему. Думал ли Гумилев, во времена «Аполлона» и акмеизма своего, что окажется, в некую минуту, братом безвестного Козлова, ведомого только судьям советским? А вот вышло так.

Оба по-разному, но испытали касание Христа. Гумилев остался верен себе, перед неминуемой и близкой смертью все же стихи пишет и военное дело вспоминает... («За стихи и за отвагу, за сонеты и за шпагу...»), пред тенью смертной от дела своего не отказывается: вот-вот «она» возьмет, а он пишет стихи. (И какие! Будто вызов. «Я сильнее тебя».)

Козлова судьба будничней. А по существу та же. Юношей, искупая по тюрьмам грехи, сошелся с гонимыми за веру. Лагерные тюремщики думали, что перевоспитают его, обратят в бравого марксиста. Вышло, что в заточении нашел он нечто другое, рядом с чем Марксы кажутся букашками. На воле у него жена, дети, изба в деревне. Отбыв срок, возвращается к своим, но за проповедь христианскую вскоре опять узы. Опять он не умолкает. Отбыв срок, вновь на свободе, опять устраивает молитвенные собрания. Вновь лагеря.

Пути разные, но по духу есть родственное. Гумилев не проповедник. Но и не гнущийся. («Не поддамся палачу».) Рыцарственный тип проповедничества, пусть и полусознательного. «Сгустком крови черным» стал раньше Козлова, но так же *своего* не отдал.

Козлов жив, но оба, по-разному, поражены тем же Христом, о котором Гумилев раньше (хоть и было предрасположение) вряд ли думал, вел шумную, бурную петербургскую жизнь. Козлов тоже не думал, когда занимался делом своим вовсе уже невысоким. Оба оказались в одной ладье, к одной цели несущей – у Козлова как будто сознательней воспринимаемой.

ДНИ

Гимназист второго класса живет в Калуге, с сестрой и кузиной, на Никольской, недалеко от гимназии, огромного кораблевидного здания, одним боком выходящего на Никитинскую, другим на Никольскую (улицы сходятся под углом).

Каждый день, кроме воскресенья, таскается туда одиннадцатилетний гражданин в шинели чуть не до пят (ранец за спиной), разные премудрости классические вроде ante, apud, ad, adversus – древние предлоги – с покорной ненавистью зубрит, как стихи. И что ждало впереди, в этой скучной полутюрьме треугольной. Учитель русского языка вечно говорил вместо почва – почвá, его так и звали почвá. Безобидный старик с бородкой узкой – Козел, безобидно долдонил: «Владимир Святой, вот это как, крестил киевлян в Днепре, вот это как...».

Про латиниста лучше не вспоминать. Сухой, злой старик с холодными глазами. Особую радость доставляло ему: на два часа после уроков останешься в гимназии, без обеда.

И оставались, сидели, скучали. Дома ждали уроки на завтра, все скучное и ненужное, но неизбежное. Ante, apud, ad, adversus... А и в убогой жизни есть согревающее: милая сестра, милая кузина – все прошлое, все ушедшее, но действительно бывшее, сейчас в душе живущее: любовь все переживает.

И еще одно, казалось бы, странное: полурастрепанная, но довольно толстая книжка «Сочинения Ф. М. Достоевского». Вот это тайный приют, о нем даже сестрам не говорится. Фантастическое убежище от курьеров арифметики, друг другу навстречу едущих, и непременно к завтрашнему дню надо установить, где же именно они встретятся.

Но возраст еще невелик, сил немало, курьеры встретятся, неправильные глаголы будут побеждены и вот все-таки Достоевский останется. Конечно, не Достоевский «Идиота», «Бесов», «Братьев Карамазовых», а попроще, молодой, сентиментальный, восторженный – «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные» и другое, им современное. Детскому сердцу понятное, близкое. Тот

Достоевский, что без особых сложностей детскую душу ухватывал, завладевал ею, потрясал, как впоследствии будет потрясать шедеврами непревзойденными. Но тогда, в раннем, было другое: он как будто со своей силой чувства и некой прямолинейностью защитник их, от каменной, неизбежной жизни. Вот он растворяет двери– куда? Ребенок этого знать не может, но в какой-то высший мир, которого в этой Калуге со знаменитым калужским тестом и латинской грамматикой нет и быть не может. Высший мир открывает не калужский даже архиерей, приезжающий иногда в гимназию и сам пишущий стихи (их раздают даром гимназистам. О неурожае, например. Но никто их не читает.)

Грустно стало земледельцам
И богатым всем владельцам
Общая печаль была.

Архиерей этот очень тихий и смирный человек. Кажется, кроме убогих стишков ничем себя не ознаменовал. (Никто, конечно, к нему с Достоевским не приставал. Но и стишков не читали).

* * *

Козел медленно, лениво (как все делал) расхаживает вблизи кафедры. Надоело ему ставить тройки и четверки. Хочется размять ноги, да и поговорить с учениками.

Оглядывает их медленным взором. Одни что-то читают (вероятно, зубрят латынь), другие шепчутся, в глубине некто пускает мыльные пузыри, радужные, многоцветные. Таинственно, бесплотно они летят в сторону Козла.

На самой дальней парте, у стены, хромой, серьезный ученик Каверин, подперев голову руками, читает– нечто, к Козлу никакого отношения не имеющее.

Козел обращает на него внимание.

– Каверин!

Услышав имя, тот вскакивает, будто со сна, обводит класс близорукими глазами. – Ну, вот это как... скажи, кто был этот ... ну, Наполеон?

Подсудимый недоволен. Оторвали от интересного чтения – «Дети капитана Гранта» Жюль Верна.

Обычно в таких случаях, если ученик Зайчик вблизи, шепчут: «Зайчик, подсказывай!» – и дело устраивается. Но сегодня он именно далеко.

Каверин неглупый малый, и что ему интересно, то знает. Но тут он в тумане весь. Еще в океане около Австралии, с лордом Гленарваном. Поправляет рукой волосы, глухо выпаливает:

– Наполеон? Царь израильский.

Хохот. Даже Козел улыбается.

– Ну уж это ты того... это как. Слишком. Император был, французский. Москву взял. Да недолго в ней усидел. И со всей своей храбростью, вот это как, быстро оказался на острове Святыя Елены, пленником. Да, вот и оказался. Пленником. На острове Святыя Елены. Там, на юге, около Африки. Вот куда попал.

Все проходит. И гимназия, и Козлы, и царь израильский. Давно брошено все это. Достоевского не выбросишь. Не таков он, чтоб его выбрасывать. Только передвинулся хронологически. Не ранне-романтически сентиментальный, а великий поздний.

Пришло время, гимназию сменил университет, а Калугу – Москва. Гимназическую куртку – студенческая тужурка. И несчастных курьеров, все собирающихся встретиться, – лекции московских Златоустов.

И знакомые другие, и сам другим начинаешь заниматься – литературой. Рядом с красавцем молодым Леонидом Андреевым появляется худощавый, изящный Бунин. По иронии судьбы, он заведует в 1903 – 1904 гг. литературным отделом «Правды». Печатал и я там кое-что свое, подрабатывал и корректурой. С Буниным вместе бывали в «Праге» (ресторане интеллигентском), Литературном Кружке (клуб очень тогда известный).

И вот раз, в скромных «номерах» на Пречистенке, где жил тогда Иван Алексеич, зашел у нас разговор о Достоевском (я знал уже тогда и Раскольникова, и «Идиота»).

Собираясь в Литературный Кружок, Иван Алексеич приглаживал щеткой на голове своей волосы – пробор носил боковой, элегантный, как и вообще изящен был.

– Да, дорогой мой, Ставрогин этот фигура огромная. Ни на кого в нашей литературе не похож. Огромная. И демоническая.

Я тогда читал Мережковского «Толстой и Достоевский», книгу замечательную. Достоевский входил теперь глубже, чем во времена «Униженных и оскорбленных». Мнению Бунина, застегивавшего на себе сюртук от Доссе, я не удивлялся. Так и надо было, считал. Конечно, Ставрогин есть Ставрогин. Что же тут спорить.

Конечно, и тогда Толстой ближе был Бунину, чем Достоевский, но когда оба мы прожили не краткие жизни, Иван Алексеевич Достоевского возненавидел. Правду сказать, все философии Достоевского и его сложные, путаные, иногда развратно-уголовные, иногда богоборческие, иногда почти святые люди так же далеки Бунину, как бунинский мир, явно не безумный, природно-здравомысленный, был бы далек Достоевско-

му. Не помню точно, как Бунин Достоевского именовал, но с яростью, силой и меткостью слова русского, от простонародья крестьянского к нему идущего (там есть и «стерва», и другие драгоценности).

Дело кончилось тем, что ничего не изменилось. Бунин остался выдающимся русским писателем, Достоевский писателем мировым и непревзойденным.

* * *

Толстой написал «Войну и Мир» и «Анну Каренину» в средние свои, зрелые, но не старческие годы. И на этом как бы остановился.

Жить ему оставалось еще долго и написал он некоторые замечательные вещи, но ничего равного (даже приблизительно) прежнему. Гигантом по-прежнему остался, и прожить ему предстояло много лет, занимаясь довольно нехитрой, домашнего производства философией, за которой темперамент и мощь чувствовались, конечно, но...

Достоевского судьба иная. Толстой прожил 82 года, Достоевский 60. В 50 лет Толстой почти все художническое свое и сказал. Достоевский, вот такой кипучий, бурный, только с 40 лет, собственно, начал («Преступление и Наказание»). Чрез «Бесов», «Идиота» к «Карамазовым».

Удивительно, как неторопливо, наперекор эпохе и всем Шелгуновым, Писаревым и другим подобным, двигался этот колосс по пути художества, будто по лестнице всходил от «Преступления» до «Карамазовых» – дальше идти некуда уж было, да и незачем. «Братья Карамазовы» замечательно увенчали жизнь Достоевского. Лишь Иван несколько недовоплощен, но он тонет в удачах соседних (Смердяков один чего стоит!).

Едва успевает Достоевский после речи знаменитой, на открытии памятника Пушкину, дописать великую свою вещь, как из нашего мира его уводят. «Довольно! Теперь нечего тебе тут делать». Это называется «на посту».

ПРИМЕЧАНИЯ

МОЛОДОСТЬ – РОССИЯ

Впервые – в сб.: Зайцев Б В пути Париж. Возрождение, 1951.

С 6 *В 1900 году студентом Горного института...* – В Петербургском горном институте Зайцев учился один год в 1900 – 1901.

«Русское богатство» – литературный, научный и политический журнал, издававшийся в 1876 – 1918 гг. (в 1914 – 1917 гг. выходил под названием «Русские записки»). Основан Н.Ф. Савичем в Москве, но в середине 1876 г. издание перенесено в Петербург.

С. 7. *«Курьер»* – газета политики, литературы и общественной жизни; выходила в Москве с 6 ноября 1897 по 4 июня 1904 г. В «Курьере» состоялся писательский дебют Зайцева: 15 июля 1901 г. здесь был напечатан его лирический эскиз «В дороге». В дальнейшем газета напечатала еще шесть его рассказов.

«Русские ведомости» (1863 – 1916) – московская ежедневная газета.

С. 8. *«Дни нашей жизни»* (1908) – пьеса Л. Н. Андреева, в которой нашли отражение воспоминания автора о своей студенческой поре в Московском университете (в 1897 г. он окончил юридический факультет, где позже учился и Зайцев).

С. 9. *Начинал в «Курьере» скромно – судебным репортером...* – Л. Н. Андреев известность приобрел судебными репортажами, которые в «Курьере» печатались под псевдонимом Джемс Линч. Но однажды он получил задание секретаря редакции И. Д. Новика написать какую-нибудь пасхальную историю в номер, посвященный празднику Христова Воскресения. В дневниковой записи Андреева 25 сентября 1898 г. читаем: «Баргамот и Гараська»... после некоторого утюженья, отнявшего от рассказа значительную долю его силы, был принят, но без всякого восторга, что казалось мне вполне естественным, ибо сам я о рассказе был мнения среднего». Однако уже на следующий день Андреев и в суде, куда он явился за очередным репортажем, и в редакции услышал слова, ошеломившие его. «Рассказ – украшение всего пасхального номера. Там-то его читали вслух и восхищались, здесь о нем шла речь в вагоне железной дороги. Поздравляют меня, сравнивают с Чеховым и т. п. В три-четыре дня я поднялся на вершину славы». С этого времени рассказ «Баргамот и Гараська»

становится хрестоматийным, им почетно открываются почти все сборники избранной прозы Андреева.

С. 9. .. *печатал и Ремизова, тоже только что начинавшего.* – А. М. Ремизов 8 сентября 1902 г. дебютировал в «Курьере» стихотворением «Эпиталама. Плач девушки перед замужеством» (под псевдонимом Н Молдаванов). Здесь же были напечатаны его переводы с зырянского, а 22 сентября – стихотворение «Осенняя песня».

. *рассказ «Волки»... перепечатали в альманахе кружка «Среда» и меня самого туда приняли* – Рассказ «Волки» был издан в коллективной «Книге рассказов и стихотворений» (М.: Изд книжного магазина торгового дома «Курнин и комп.», 1902), в котором приняли участие Л. Андреев, И. Белоусов, М Горький, А. Куприн и др. «средовцы».

С. 10. *Но это Синай* – Синай – пустыня и гора в Аравии, известная тем, что здесь Иисус Христос впервые обнародовал Закон Божий. Отсюда Синай – синоним проповедничества и олицетворение закона. Апостол Павел произносил это слово как синоним рабства, считая его несовместимым с понятием той свободы, которую Христос предоставляет каждому верующему.

С. 11. .. *революция... ему же и поднесет кубок с отравой?* – По одной из версий Горький был отравлен по распоряжению Сталина.

С. 12. *...уж лучше улизнуть в Литературный кружок.* – Литературно-художественный кружок, основанный Н. Н. Баженовым (см. Указатель имен), впервые собрался в октябре 1899 г. на Кисловке в доме Игнатьева (см. очерк Зайцева «Литературный кружок» в т. 6 нашего собрания).

.. *можно было видеть сражающихся за зеленым сукном Достоевского и Толстого: сыновей.* – Очевидно, имеются в виду Федор Федорович Достоевский (1871 – 1921), ставший видным специалистом по коневодству, владельцем известной в Петербурге скаковой конюшни, и Сергей Львович Толстой (1863 – 1947), автор мемуаров об отце «Очерки былого», в которых рассказывает и о своих посещениях Литературно-художественного кружка.

С. 13. *Некоторые называли даже начало века «русским Ренессансом».* – См., например, у Н. А. Бердяева: гл. «Русский культурный ренессанс начала XX века» в книге «Самопознание» и гл. «XX век: культурный ренессанс и коммунизм» в книге «Русская идея».

Первою же книжкой «Шиповника» оказались как раз мои «Рассказы»... – Изданный в 1906 г. только что возникшим «Шиповником» первый сборник Зайцева (обложка М. В. Добужинского) сразу попал в центр внимания критики и был напечатан еще трижды – в 1907, 1908 и 1916 гг. В нем опубликовано девять рассказов, среди них рецензенты выделили как лучшие «Тихие зори», «Священник Кронид», «Деревня» и «Миф». Первыми среди рецензентов были В. Я. Брюсов и З. Н. Гиппиус.

Писатели, художники «Мира искусства», поэты. – Объединение художников русского модерна «Мир искусства» возникло в конце 1890-х гг. (официально в 1900 г.) в Петербурге на базе кружка Александра Николаевича Бенуа и Сергея Павловича Дягилева. В него вошли Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, А П. Остроумова-Лебедева, К. А. Сомов. Затем присоединились И. Я. Билибин, И. Э. Грабарь, К. А. Коровин, Б. М. Кустодиев, Н. К. Рерих, В. А. Серов и др. Выставки проводились до 1904 г. Объединение издавало в эти же годы (при со-

трудничестве писателей-символистов) журнал «Мир искусства». Активная работа кружка возобновилась в 1910 – 1924 гг.

С 14.. *сестра его, тихое и безответное существо* – Сестра Ф. Сологуба, его близкий друг и помощница Ольга Кузьминична Тетерникова (1865 – 1907). Умерла от наследственной чахотки. Памяти сестры Сологуб посвятил драму «Победа смерти».

...это называлось «на Башне»... – «Башня» – литературный салон Вяч. И. Иванова и его жены Л. Д. Зиновьевой-Аннибал (в их квартире на углу Таврической и Тверской улиц на шестом этаже, увенчанном круглой башней (подробно см · Кобак А., Северюхин Дм. Башня // Декоративное искусство. 1987. №1).

С. 15 *Два года назад я навсегда попрощался с ним в Риме ..* – См. об этом в нашем изд.: Зайцев Б. Далекое. Вячеслав Иванов (т. 6 Мои современники).

...вербовались в «огарки». – «Огарки» – это присловье, относящееся к талантливым выходцам из народа, вошло в обиход после выхода в свет одноименной повести Скитальца (1906).

С. 16. *«Умбрских гор синеющий кристалл...»* – Из стихотворения Вяч. И. Иванова «Красота» (1902).

Писал пьесу, необычайно мрачную и казавшуюся замечательной. – Речь идет о пьесе «Пощада», которую Зайцев писал в деревне Притыкино в 1914 г. и в этом же году опубликовал в альманахе издательства «Шиповник» (№ 23).

С. 17. *Те же писания мои, которые помещены тут, за этим введением...* – В сборнике «В пути» (1951), изданном к семидесятилетию Зайцева (он предварялся этим предисловием), были помещены рассказы «Странное путешествие», «Авдотья-смерть», повесть «Анна» и «Вандейский эпилог».

СТАТЬИ, ЗАМЕТКИ
(1906 – 1924)

ЗАМЕТКИ О ХУДОЖЕСТВЕ. I. НОВЫЙ РАССКАЗ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА

Журнал литературы и искусства «Зори». М., 1906. 27 марта. № 7.

С. 21. *«Правда»* – ежемесячный журнал искусства, литературы, общественной жизни, издававшийся В. А. Кожевниковым с 1904 по февраль 1906 г. Зайцев опубликовал в нем рассказы «Мгла» и «Сон».

С. 23. *Карлейль уже написал раз (про сожжение Иоанна Гуса)...* – Имеются в виду знаменитые лекции Томаса Карлейля «Герои, почитание героев и героическое в истории» (1840), трижды изданные в переводе на русский (в 1891, 1898 и 1908 гг.). Карлейль пишет: «Огонь – короткий разговор. Бедный Гус: он пришел на Констанцский собор, заручившись всевозможными обещаниями относительно своей личной безопасности и приняв всевозможные меры предосторожности; он был человек серьезный, непричастный мятежному духу; они же немедленно бросили его в подземную каменную тюрьму, которая имела «три фута в ширину, шесть в вышину и семь в длину», они *сожгли* его, чтобы никто в мире не мог слышать его правдивого голоса; они удушили его в дыму и огне. Это было не хорошо сделано!» (Карлейль Т. Теперь и прежде. М., 1994. С. 109).

ЗАМЕТКИ О ХУДОЖЕСТВЕ. II. НОВЫЙ РЕАЛИЗМ И СБОРНИК «ФАКЕЛЫ»

Зори. 1906. 17 апр. №9/10.

С 23 *«Факелы»* – три сборника, изданные в 1906 – 1908 гг. под редакцией Г И. Чулкова.

.. содержащая произведения молодых писателей из «Вопросов жизни». – «Вопросы жизни» – литературно-общественный журнал, пришедший на смену закрытому «Новому пути» (1903 – 1904), издавался в 1905 г. (вышло 12 номеров). Зайцев опубликовал в этом журнале рассказы «Океан», «Хлеб, люди и земля», «Священник Кронид».

Вилье де Лиль-Адан в романе «Eve future» . – «Ева будущего» (1886) – известный роман французского символиста, воспевающий романтическую мечтательность.

Проприэтеры (*лат.*) – в знач : собственники, предприниматели.

С 24 . *в жанре «Сборников Знания»* .. – Культурно-просветительное издательство «Знание» (1898 – 1913), выпускавшее с 1903 по 1913 г. одноименные сборники, было основано в Петербурге группой во главе с К. П. Пятницким. В 1902 г совладельцем книгоиздательского товарищества стал М. Горький. В «Знании» объединялись в основном писатели-демократы

...вспоминается «Стена», от которой так далеко ушел за последние годы этот крупнейший талант – О сложной символике своего раннего рассказа «Стена» (газ. «Курьер». 1901. 4 сент. № 244) Л Н Андреев высказывался так: «Для тех, кто чувствует стену, которую на каждом шагу строит действительность, мои объяснения не нужны. А тем, кто стены не чувствует или беззаботно торгует падающими с нее камнями, мои объяснения не помогут» (интервью «Биржевым ведомостям». 1902. 13 нояб. № 310).

С. 25. *...мировоззрение монистическое...* – Монизм (от *гр* monos – один, единственный) – учение, согласно которому все многообразие мира исходит от одного первоначала, в противоположность дуализму, признающему два независимых начала, и плюрализму, основывающемуся на множественности начал.

«ГОРЕ ОТ УМА» НА СЦЕНЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

Журнал свободной мысли «Перевал». М , 1906. Нояб. № 1. Рецензия на премьерный спектакль Московского Художественного театра, состоявшийся в 1906 г. Комедия А. С. Грибоедова на сцене этого театра шла и в дальнейшем.

С. 26. *...нельзя безнаказанно быть превосходным Тригориным и Фамусовым.* – Тригорин – персонаж пьесы Чехова «Чайка». Фамусов – герой комедии Грибоедова «Горе от ума». Эти роли в спектаклях МХТ играл К. С. Станиславский.

НАШ ПРИВЕТ М. ГОРЬКОМУ

Еженедельный иллюстрированный журнал «Заря». М., 1914.2 февр. № 5 (в подборке писательских приветствий Горькому в связи с его возвращением в Россию из эмиграции).

УДОБНОЕ И ПРЕКРАСНОЕ

Журнал искусства и литературы «София». М., 1914. 2 февр. № 5.

<СЛОВУ – СВОБОДА>

Однодневная газета «Слову – свобода». М.: издание Клуба московских писателей. 1917. 10 дек.

<О ТУРГЕНЕВЕ>

Коллективный сб «Тургенев и его время» (в подборке заметок «Художники слова о Тургеневе»). Вып 1 М ; Пг : ГИЗ, 1923

С 30. *...«категорию тургеневского», о которой правильно заметил Ю. И. Айхенвальд* . – Вот так передает «категорию тургеневского» Айхенвальд. «Можно отвергнуть Тургенева, но остается именно тургеневское – та категория души, та пленительная камерная музыкальность, которой он сам вполне не достиг, но счастливая возможность которой явствует из его же творений Сладкий запах лип, и вообще эти любимые тургеневские липы, и старый сад, и старинный ланнеровский вальс в истоме «незаснувшей ночи», и «особенный, томительный, свежий запах русской летней ночи», и в ее тенях невидимый, но милый Антропка, которого тщетно кличет звонкий голос брата, и те жаворонки, что на крылья своих уносят росу и ею орошают свои ликующие песни, самый воздух утра пронзая музыкой, и все эти сирени и беседки, освещенные тургеневской любовью, и пруд из «Затишья», и тихая Лиза в тишине монастыря, и усадьба, теперь испепеленное дворянское гнездо, над которым в наши дни грустно склоняется седая тень Тургенева, и, как душа всему этому, фея усадьбы, молодая девушка, та, которая некогда чаровала воображение русских юношей и под заветным именем все той же Лизы, или Елены, или Маши, или Наташи будила чистейшие видения идеализма, – все это духовно не умирает, и с ними и постольку не умирает и Тургенев. Он уходит в прошлое, но прошлое не смерть Над ним реет благодарность за все, что он дал нашей молодости...» (А й х е н в а л ь д Ю. И. Силуэты русских писателей. Тургенев Вып. 2. Цит. по изд : М.: Республика, 1994. С. 262).

С. 31. *...над вымыслом слезами обольюсь.* – Из стихотворения Пушкина «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье . »; 1830).

ТЕНИ БЛАГОСТНОЙ

Однодневная газета Комитета академических театров помощи голодающим. М., 1922. 28/29 мая. Очерк посвящен памяти В. Г. Короленко, скончавшегося в Полтаве 25 декабря 1921 г.

С. 32. *...святая бедность, некогда начертанная девизом в сердце у Франциска из Ассизи...* – Следуя примеру Иисуса Христа, исповедовавшего бедность как добродетель, Франциск Ассизский (см. Указатель имен) возвел идею бедности в свой жизненный идеал и учредил орден нищенствующих монахов – францисканцев.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ
(1925 – 1939)

ПУШКИН В НАШЕЙ ДУШЕ

Ежедневная газета «Дни» (под ред. А. Ф. Керенского). Берлин. 1925. 8 февр. № 686.

С. 35. *Некое неполное довольство Пушкиным проявил и Владимир Соловьев.* – Имеется в виду статья выдающегося поэта, философа и богослова Вл С. Соловьева «Судьба Пушкина» (впервые с сокращениями· Вестник Европы 1897. № 9), вызвавшая полемику (А. Ф. Кони, Д. В. Философов и др.). Критикам Соловьев возразил в статье «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина», которая также подвела итоги юбилейных торжеств, посвященных 100-летию со дня рождения поэта (Вестник Европы. 1899. № 12)

С. 36. *...рисуют морду «выходящего из моря зверя с семью головами* . – Апокалипсис Святого Апостола Иоанна Богослова, гл. 13, ст. 1: «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами, на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные».

С. 37. *...«ризу светлую свою».* . – Из стихотворения Пушкина «Арион» («Нас было много на челне...»; 1827) У Пушкина «И ризу влажную мою ».

Не для житейского волненья .. – Из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» (1828).

С. 38. *Фиоритуры* (*ит.* цветение) – в музыке украшение мелодии трелями, звуками краткой длительности и т. п.

. .*тот сонет, который завещал Тургенев «зарубить на носу» всем пишущим* – В речи на Пушкинском празднике 6 (18) июня 1880 г. Тургенев говорил о сонете «Поэту» («Поэт! не дорожи любовию народной...»; 1830). Выражения «зарубить на носу» в речи Тургенева нет.

С. 39. *...живи один Дорогою свободной...* – Из стихотворення Пушкина «Поэту».

Сапа – траншея.

С. 40. *Восстань, пророк, и виждь и внемли...* – Из стихотворения Пушкина «Пророк» (1826).

СТРАННИК <ДНЕВНИК 1925 – 1929 гг.>

Дневниковые записи «Странник» публиковались в газете «Дни»: Берлин; Париж, 1925, 15, 21 нояб., 17, 20 дек. № 854, 859, 881, 884, 1926, 14 февр., 28 марта, 20 июня, 19 сент. № 930, 966, 1033, 1111; в газете «Возрождение»: Париж, 1929, 12 мая – 9 июня. № 1440 – 1468. Печ по изд.: Зайцев Б. Странник. Пб.: Scriptorium, 1994. В этой книге записи дневника 1925 – 1926 гг. воспроизведены по авторской рукописи. Автографы записей 1929 г. в архиве писателя не сохранились и публикуются по газетному тексту, просмотренному автором.

С. 40. *...после тишины, пустынных гор Вара...* – В 1925 г по приглашению своих друзей В. Б. Ельяшевича (см. Указатель имен) и его жены Зайцев с семьей отдыхал в их имении в Пюжет, близ аббатства Торонэ, в департаменте Вар.

С. 41. *Прочел статью о Львове...* – Статья К. Ельцовой «Сын отчизны. На смерть князя Львова» опубликована в журнале «Современные записки» (Париж, 1925. №25).

Как посмеялись бы разные лавочники: Эррио, Болдвины... – Эдуард Эррио (1872 – 1957) – в 1924 – 1925 гг. премьер-министр Франции. Стэнли Болдуин (1867 – 1947) – в 1923 – 1929, 1935 – 1937 гг. премьер-министр Великобритании.

В «Иллюстрированной России» напечатали снимок... «ливадийский исполком». – Фоторепортаж из трех снимков «В Ливадийском дворце» был напечатан 1 августа 1925 г. в парижском журнале русских эмигрантов «Иллюстрированная

Россия» (1924 – 1939), № 24. В их числе – снимок «Ливадийский исполком – на отдыхе», вызвавший обвинения в подделке («Парижский вестник», 22 августа 1925 г). «Иллюстрированная Россия» 15 сентября в № 27 вынуждена была опубликовать документальное опровержение этого обвинения просоветской газеты (заметка «Ливадийский Исполком на отдыхе, или «Парижский вестник» за работой»). Фотографии были предоставлены советским агентством Russ-Photo Более того, этот снимок С. Красинского был напечатан в московском журнале «Прожектор» 15 июля 1925 г. в № 13 (59) под рубрикой «Трудящиеся на курортах» с подписью: «Рабочие-текстильщики Иваново-Вознесенского района в Крыму». В этом же номере журнал опубликовал статью критика А. Воронского «Вне жизни и времени (Русская зарубежная литература)», которую «иллюстрировали», соответствуя шельмующему духу текста, карикатуры Б. Ефимова на И. А. Бунина, А. И. Куприна, Д. С. Мережковского и И. С. Шмелева.

С. 42. *Я начал собирать – вырезки, снимки, выражающие... наше время.* – В семейном архиве Зайцева сохранилась тетрадь, названная писателем «Остров»; в ней собраны вырезки 1924 – 1927 гг. из русских, французских и немецких газет. Одна из вырезок – из газеты «Наш мир» (3 августа 1924 г.) с подписью: «Люнион, член V конгресса Коминтерна, представитель французских колониальных негров, отдыхающий на древнем троне русских царей в Кремле» (перепечатка из московского журнала «Прожектор»).

...лица знаменитого дипломата, похожего на клубного шулера – Вырезка из газеты «Paris-Suar» за 26 октября 1924 г. с фотографией Х. Г. Раковского (1873 – 1941), представителя СССР во Франции в 1925 - 1927 гг., репрессированного в 1937 г.

С. 43. *Прошлым летом живя в Со, под Парижем...* – 14 января 1924 г. Зайцев с женой Верой Алексеевной и одиннадцатилетней дочерью Наташей сняли трехкомнатную квартиру в городке Со под Парижем, на ул. Баньо (Bagneux), 80. В рассказе «Цветик белый», посвященном Наташе Зайцевой, Н. А. Тэффи, как бы отвечая на вопрос, почему Зайцевы поселились не в Париже, пишет:

«Наши друзья Z. (Зайцевы. – *Т. П*) живут за городом.

– Там воздух лучше.

Это значит, что на плохой воздух денег не хватает».

...прочел одну русскую книжку, Бориса Грифцова... – Мемуары Б. А. Грифцова «Бесполезные воспоминания» (Берлин, 1923).

...когда вылезаете из Нор-Сюд... – Нор-Сюд – в двадцатые годы частная железная дорога в Париже.

С. 47. *...жарятся на решетке св. Лаврентия.* – Лаврентий – святой мученик, архидиакон епископа Римского Сикста II; в 258 г. во времена гонений на христиан при императоре Валериане сожжен на железной решетке. Его мучениям посвящен цикл фресок Фра Анджелико в Ватикане.

Св. Серафим пятнадцать месяцев простоял на пне, прежде чем начал поучать. – О Серафиме Саровском (см. Указатель имен) рассказывают, что он три года провел в полном молчании, а тысячу дней и ночей простоял на камне и молился, совершая духовный подвиг столпничества.

С. 48. *Митра* (*гр.* головная повязка) – головной убор в облачении высшего христианского духовенства; у православных архиереев – круглой формы, нередко украшается жемчугом, драгоценными камнями, эмалью.

С. 48 *«Кири элейсон»* (*гр* Kyrie eleison – Господи, помилуй) – первая часть католической мессы. В русской православной церкви этот греческий текст поется только во время архиерейского богослужения.

С. 50 *Лупанары* (лупанарии) – публичные дома античности (*лат.*).

Ротонда – знаменитое кафе русских литераторов в Париже, на пересеченье бульваров Монпарнас и Распай. И. Д Сургучев посвятил этому кафе роман «Ротонда» (Париж, 1928)

...скачущим Филиппом у Веласкеза. – Имеется в виду конный портрет короля Испании Филиппа IV (1606 – 1665), созданный в 1624 г. Веласкесом.

С 51 *..взглянув на рю Фальгьер, вдруг ощутил: и у меня, «безродинного», все-таки есть угол ..* – В угловом доме на ул. Фальгьер и Беллони, 2 (ныне д'Арсонваль) Зайцевы поселились в августе 1924 г. В этой четырехкомнатной квартире до них жил К Д. Бальмонт с семьей, переехавший в Капбретон. Позднее две комнаты здесь заняла Н А Тэффи.

Эписри (*фр.* epicerie) – бакалея

Ажан (*фр*) – полицейский.

С. 57 *Старец Зосима* – персонаж из романа Достоевского «Братья Карамазовы».

С. 58. *И с отвращением читая жизнь мою...* – Из стихотворения Пушкина «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день ..»; 1828).

С. 59. *...во мглу Астапова Толстой бежал.* – О бегстве Л. Н. Толстого из Ясной Поляны, «из дома от барской жизни», см. подробно. М а к о в и ц к и й Д. П. Уход Льва Николаевича. В. кн.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. М., 1978. С. 426 – 440.

Мизерабль (от *фр.* miserable) – убогий, незначительный, жалкий.

С. 62. *когда Ландрю казнили ..* – Ландрю – маниакальный убийца женщин, персонаж нескольких фильмов.

С 63 *И сливы сладкое мученье* – Из романа Пушкина «Евгений Онегин», гл. 2.

С. 65 *...на углу вижу надпись: rue Claude Lorrain* – Здесь с марта 1926 до февраля 1932 г. жили Зайцевы.

...идет за стенами жизнь – Филемона и Бавкиды? – В античной мифологии Филемон и Бавкида – благочестивые супруги, которым боги даровали безмятежную жизнь и возможность умереть в один день и час, после чего превратили их в дуб и липу. Счастливой чете посвящены десятки произведений литературы и искусства, в том числе оперы Глюка, Гайдна, Гуно, картины Рубенса, Рембрандта.

С. 69 *Ариэль крылом коснулся ..* – Ариэль (*евр.* – Божий лев) – в каббале водяной дух; у Шекспира в романтической драме «Буря» (1612) – дух воздуха.

«Я тебя постоянно здесь вспоминаю .» – Из письма сестры Зайцева Татьяны Константиновны, в замужестве Буйневич, жившей до 1929 г. в Москве с матерью Татьяной Васильевной.

С. 71. *.. я второе лето живу у друзей в провансальском имении.* – Имеется в виду имение Пюжет В. Б. и Ф. О. Ельяшевичей.

С. 73. *...русской поэтессы .. чьи «Подвальные очерки» только что довелось мне прочесть.* – Предисловие Зайцева к книге очерков А. Герцык «Подвальные дни» опубликовано в рижском иллюстрированном литературно-художествен-

ном журнале «Перезвоны» (Светлый путь. Памяти А. Г. 1926. № 25). В «Перезвонах» Зайцев с октября 1925 по 1929 г. заведовал литературным отделом.

С. 76. *Грасс* – в этом городке на юге Франции снимали виллу «Бельведер» И. А. и В. Н. Бунины, у которых в 1926 г. гостил Зайцев.

С. 78. *Прибыла в октябре целая партия профессоров, литераторов, высланных из России.* – 30 сентября 1922 г. в Штеттине причалил пароход «Обер-бургомистр Хаксн» с первой партией изгнанников – ок. 70 москвичей и казанцев, а 18 ноября пароход «Пруссия» доставил в Германию 44 петроградцев. 19 ноября они прибыли в Берлин (см об этом подробно· Хоружий С. Философский пароход. Как это было. Литературная газета 1990. 9 мая. № 19/5293 и 6 июня. № 23/5297). В числе высланных были выдающиеся мыслители Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Н О. Лосский, С. Л. Франк, Л. П. Карсавин, И. А Ильин, Ф. А. Степун, И И. Лапшин, П А Сорокин, историки А. А. Кизеветтер, С. П. Мельгунов, А В Флоровский, публицисты и писатели М. А. Осоргин, А. С. Изгоев, Ю. И. Айхенвальд и др. Высланные считали главными виновниками этого «превентивного милосердия» Троцкого и Зиновьева Но документы свидетельствуют: вдохновителем беспрецедентной расправы был Ленин.

С. 79. *Паласты* (от. *фр.* palace) – роскошные гостиницы, отели.

. .*портреты ведетт синема* (*фр.* vedette-cinema). – В знач.: портреты звезд кинематографа.

«Буби-копфы» (*нем.* Bubikopf) – юноши с женской прической.

Дреебух (*нем.* Drehbuch) – киносценарий.

С. 84. *...не Москва ли именно сейчас Верден этой борьбы?* – В районе Вердена в 1916 г. произошли ожесточенные бои между германскими и французскими войсками, в которых обе стороны понесли огромные потери.

С. 90. *...сожалею, что не был в Брюсселе...* – В Брюсселе и Антверпене Зайцев побывал в октябре 1929 г. как участник съезда писателей.

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ

Дни. 1926. 4 апр. № 972. Рецензия на книгу Н. А. Бердяева «Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли» (Париж. 1926).

С. 91. *...годы проведший в Константинополе...* – Леонтьев с 1963 до 1971 г. находился на дипломатической службе на Ближнем Востоке.

Он «евразийский» тип, Тамерланова косточка. – Тамерлан (Тимур; 1336 – 1405) – среднеазиатский государственный деятель, полководец, эмир Самарканда с 1370 г.

Нагорная проповедь – проповедь Иисуса Христа о блаженствах, произнесенная на горе Курн-Хаттин. Содержание проповеди изложено в Евангелиях: от Матфея (гл. 5 – 7) и от Луки (гл. 6).

С. 92. *Он считал слишком «розовым» Достоевского...* – Относя Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского к представителям «розового христианства», Леонтьев поясняет: «За последнее время стали распространяться у нас проповедники того особого рода, одностороннего христианства, которое можно позволить себе назвать христианством «сантиментальным» или «розовым»... Об одном *умалчивать*, другое *игнорировать*, третье отвергать совершенно, иного *стыдиться и признавать святым и божественным* только то, что наиболее приближается к чуждым православию понятиям европейского утилитар-

ного прогресса, – вот черты того христианства, которому служат теперь, нередко и бессознательно, многие русские люди и которого, к сожалению, провозвестником в числе других явился на склоне лет своих и гениальный автор «Войны и мира» (Страх Божий и любовь к человечеству. Собр. соч. Т. 8. С. 154)

С. 92. *разошелся с Соловьевым за некоторое его сочувствие демократизму.* – 19 октября 1891 г. Вл. С. Соловьев (им Леонтьев всегда восторгался) выступил в Московском психологическом обществе с рефератом «Об упадке средневекового созерцания», глубоко возмутившим Леонтьева тем, что философ допустил возможность «смешения христианства с демократическим прогрессом», а это, по его мнению, является «логическою и связною проповедью Сатаны Соловьева» (см.: Письма К. Н. Леонтьева к Анатолию Александрову. Письмо от 31 октября 1891 г. Сергиев Посад, 1915. С. 125).

«Все вначале просто, потом сложно. .». – Леонтьев К. Византизм и славянство Собр. соч. М., 1910. Т. 5. С. 193 – 194

«Тому же закону подчинены и государственные организмы . ». – Там же. С. 196 – 197.

С. 3. *«Россию нужно подморозить».* – У Леонтьева: «...надо подморозить хоть немного Россию, чтобы она не «гнила» (Леонтьев К. Собр. соч. Т. 7. Передовые статьи «Варшавского дневника». 13 марта 1880 г. С. 124)

. *.Человек по вкусам времен Малатесты и Борджиа...* – Малатеста и Борджиа – итальянские аристократические семейства, представители которых особенно возвысились в XIV – XV вв.

...в зрелости принявший в Оптине тайный постриг. – Леонтьев принимает тайный постриг в Предтечевом скиту Оптиной пустыни 23 августа 1891 г., а 12 ноября он скончался.

«Матерь Божия Рано! Рано умирать мне!» – Из письма Леонтьева В В. Розанову от 13 – 14 августа 1891 г.

С 93. *Рукописи эти – роман «Река времен».* – «Река времени» – цикл из шести романов Леонтьева о России, начиная с эпохи Отечественной войны 1812 г.: «Заря и полдень» (с 1812 по 1830 г.), «Записки херувима» (1848 – 1853), «Мужская женщина» (1853 – 1857), «В дороге» (1859 – 1862), «От осени до осени» и «Глинский, или Два полковника» (1861 – 1865).

«Знаете ли вы, – пишет он Александрову...» – Из письма от 24 – 27 июля 1887 г.

«Как я счастлив, о Боже!..» – Из романа Леонтьева «Египетский голубь».

ИВ. БУНИН. СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

Ежемесячный общественно-политический и литературный журнал «Современные записки». Париж, 1927. №30.

С. С. ЮШКЕВИЧ (1869 – 1927)

Современные записки. 1927. № 31

ТОЛСТОЙ. ЗАМЕТКИ

Орган русской национальной мысли «Возрождение». Париж, 1928. 9 сент. № 1195.

С. 100. *...у пророка Сикстинской капеллы...* – Сикстинская капелла – памятник итальянского искусства эпохи Возрождения: одна из домовых церквей пап в Ватикане. Построена архитектором Дж. де Дольчи при Сиксте IV в 1473 – 1481 гг.; стенная живопись («Страшный суд») и роспись потолка выполнены Микеланджело; фрески, изображающие сцены из жизни пророка Моисея и Христа, созданы Боттичелли, Гирландайо, Перуджино, Росселли и др.

В. КОРЧЕМНЫЙ. ЧЕЛОВЕК С ГЕРАНИЕМ

Современные записки. 1928. №35.

ВИНОГРАДАРЬ ЖИРОНДЫ

Возрождение. 1930. 29 нояб. № 2006 (Дневник писателя).

С. 109. *Епитрахиль* – в облачении священников и епископов широкая лента, надеваемая на шею.

ЛЕОНОВ И ГОРОДЕЦКАЯ

Возрождение. 1931. 29 июня. № 2248 (Дневник писателя).

С. 109. *...в Московском Союзе писателей.* – В 1921 г. председателем Союза писателей в Москве был избран Зайцев.

...на публичные чтения в Дом Герцена они приходили... – Дом Герцена – в Москве, на Тверском бульваре, 25.

С. 110. *Все же эти романы написаны до пятилетки.* – Первая пятилетка (пятилетний план экономического и социального развития) в СССР началась в четвертом квартале 1928 г.

С. 111. *...по нравам это спартанец или римлянин типа Катона.* – Спартанцы – жители Спарты, древнегреческого полиса Лакедемон, отличавшиеся суровым образом жизни (в постоянной боевой готовности). Катон Старший (см. Указатель имен) – политический деятель Древнего Рима, консерватор, ратовавший за возврат к прежней строгости римских законов, правил и обычаев. Считал главным врагом Рима Карфаген и, как гласит предание, свои выступления в сенате консул постоянно заключал словами «Карфаген должен быть разрушен».

...в тоне «Илиады»... – Т. е. в эпическом тоне поэмы Гомера «Илиада».

...вспомнил бы «Карамазовых»! – «Братья Карамазовы» – роман Достоевского.

С. 112. *...митрополит Вениамин, удостоившийся мученического венца...* – Митрополит Петроградский и Ладожский Вениамин (см. Указатель имен) 5 июля 1922 г. Петроградский губревтрибунал приговорил его к расстрелу. В 1990 г. реабилитирован, в 1992 г. Архиерейским собором причислен к лику святых.

...(имажинисты, ранний Есенин). – С. А. Есенин вошел в группу имажинистов в 1919 г. со своей программой «Ключи Марии». «Имажинизм был формальной школой, которую мы хотели утвердить, – писал Есенин в своей последней автобиографии. – Но эта школа не имела под собой почвы и умерла сама собой, оставив правду за органическим образом <...> В смысле формального развития теперь меня тянет все больше к Пушкину».

ВОЙНА

Возрождение. 1931. 29 августа. №2279.

С. 116. *Трапписты* – монахи католического ордена, соблюдавшие строгие правила по образцу восточного аскетизма. Орден основал в 1636 г. де Ранее, аббат французского цистерианского монастыря Ла-Трапп. Трапписты, расселившиеся в Швейцарии, Польше, Пруссии, России, всюду подвергались преследованиям.

С. 117. *Крипта* (*гр.*) – часовня под алтарем в церквах; служила первоначально склепом святых мучеников в катакомбах.

ДЕЛА ЛИТЕРАТУРНЫЕ

Возрождение. 1931. 31 дек. № 2403 (Дневник писателя)

С. 120.. *статья об эмигрантской литературе эмигранта Слонима* – Имеются в виду «Заметки об эмигрантской литературе» М. Л. Слонима, опубликованные в 1931 г. в журнале «Воля России» (№ 7/9). Статья, провозгласившая «конец эмигрантской литературы», вызвала острую полемику и возмущение нападками Слонима на писателей русского зарубежья старшего поколения. О судьбе литературы изгнанников высказались помимо Зайцева Г. В. Адамович, В. Ф. Ходасевич, З. Н. Гиппиус, А. В. Амфитеатров, А. М. Ремизов и др.

<ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ЛЕНИНЕ?>

Сб. «Числа». Париж, 1932. № 6. На анкету отвечали М. А. Алданов, Н. А. Тэффи и др.

КАЗНЬ

Возрождение. 1932. 25 сентября. № 2672.

С. 125... *все свои ut консекутивы позабыл* – Ut консекутивы – упражнения гаммового звукоряда музыкального алфавита, начинающегося с ноты до (ут).

. *«Казнь Тропмана» – проклятие казни* – И. С. Тургенев 7 января 1870 г. присутствовал на обряде подготовки убийцы к казни и на его гильотинировании. «Я не забуду этой страшной ночи, – написал он тогда же П. В. Анненкову, – в течение которой «I have supp'd full of horrous» («Я досыта наглотался ужасов» – *англ.*) и получил окончательное омерзение к смертной казни» (Т у р г е н е в И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Т. 11. М., 1983. С. 397). Очерк-воспоминание Тургенева «Казнь Тропмана» (1870) был переведен на многие европейские языки.

«Не могу молчать... намыльте веревку, затяните на моей старческой шее». – Толстой в статье «Не могу молчать» (1908) пишет: «Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье), надели на меня, так же как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак и так же столкнули со скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю».

С. 126. *Вместе с Плещеевым и другими стоял на Сенной, на эшафоте...* – В приговоре, по которому Достоевский вместе с другими членами кружка М. В. Петрашевского (1819 – 1867) был отправлен на эшафот, говорилось. «...за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева, – лишить <...> чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием» 22 декабря 1849 г. Достоевский вместе с другими приговоренными стоял на Семеновском плацу в ожидании казни, однако в последний момент пришел новый приговор Николая I четыре года каторги и пожизненно в солдаты Писатель провел в Сибири десять лет.

...скажет у него «Идиот» об этом «правосудии» кровавом слова потрясающие. – См ч I романа Достоевского «Идиот», где князь Мышкин, в частности, говорит: «Убивать за убийство несоизмеримо ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу, или как-нибудь, непременно надеется, что спасется, до самого последнего мгновения . А тут всю эту последнюю надежду, с которой умирать в десять раз легче, отнимают *наверно*, тут приговор, и в том, что наверно не избегнешь, вся ужасная-то мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете . Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать!».

С. 127. *Чехов пытался изобразить в Лопахине грядущего хама, большевика.* – Лопахин – купец из пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад» (1903). Революционера увидели в Лопахине еще современники Чехова. Один из них, студент В. Барановский из Казани, написал автору· «Вы ставите вопрос, что называется, ребром, прямо, решительно и категорически предлагаете ультиматум в лице этого Лопахина, поднявшегося и сознавшего себя и все окружающие условия жизни, прозревшего и понявшего свою роль во всей этой обстановке. Вопрос этот – тот самый, который ясно сознавал Александр II, когда он в своей речи в Москве накануне освобождения крестьян сказал между прочим «Лучше освобождение сверху, чем революция снизу». Вы задаете именно этот вопрос: «Сверху или снизу?» И решаете его в смысле «снизу». И далее. «Вашу пьесу можно назвать страшной, кровавой драмой, которая, не дай Бог, если разразится. Как жутко, страшно становится, когда раздаются за сценой глухие удары топора!! Это ужасно, ужасно! Волос становится дыбом, мороз по коже!..» (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Т. 12. М., 1986. С. 502 – 503).

С. 128. *Керенщина! Сантименты!* – В 1917 г. А. Ф Керенский отменил смертную казнь, что многими было воспринято как решение сентиментальное.

Н. А. ТЭФФИ. АВАНТЮРНЫЙ РОМАН

Современные записки. 1932. № 49.

ЖИЗНЬ С ГОГОЛЕМ

Современные записки. 1935. № 59.

С. 131. *Так описывает современный писатель первую встречу ребенка с Гоголем.* – Зайцев цитирует свой роман «Заря» из автобиографической тетралогии «Путешествие Глеба» (см. т. 4 нашего изд.).

С 133 *Рисунки Боклевского* – Художник-иллюстратор П. М. Боклевский издал несколько «гоголевских» альбомов литографий и рисунков «Галерея

гоголевских типов. «Ревизор» (1858), «Бюрократический катехизис Пять сцен из «Ревизора» (1863), «Типы из поэмы «Мертвые души» (1895) и др.

С. 133 *«Гоголь и черт» называлась книга Мережковского* – Эта книга Д С Мережковского (1906) издавалась также под названиями «Судьба Гоголя. Творчество, жизнь и религия» (1903), «Гоголь. Творчество, жизнь и религия» (1909).

«Испепеленный» – статья Брюсова. – «Испепеленный К характеристике Гоголя» – доклад, прочитанный В Я. Брюсовым на торжественном заседании Общества любителей российской словесности 27 апреля 1909 г. (к 100-летию со дня рождения Гоголя).

Сколько бранили при жизни Гоголя за его язык, неправильности, грамматику. – Н А Полевой (и с ним были согласны Н. И. Греч, О И Сенковский и др) назвал язык Гоголя «собранием ошибок против логики и грамматики» (Русский вестник 1842, № 5 – 6. С. 41). Однако Белинский, отмечая, что, действительно, язык Гоголя «нередко грешит против грамматики», но зато «у Гоголя есть нечто такое, что заставляет не замечать небрежности его языка – есть слог».

С 134 *По тому же тихонравовскому изданию* – Под ред акад Н. С. Тихонравова в Москве в 1889 – 1896 гг. вышло первое научное издание сочинений Гоголя в 7 т. (т. 6 и 7 вышли под ред. В. И Шенрока).

«Тараса Бульбу» Гоголь .. перелил в новые, обширнейшие формы. – Гоголь работал над «Тарасом Бульбой» с 1833 до 1842 г. По сравнению с первым изданием в книге «Миргород» (1835) в окончательной редакции 1842 г. повесть увеличилась почти вдвое и обрела высокие качества народно-героической эпопеи (Белинский: «Если в наше время возможна гомерическая эпопея, то вот вам ее высочайший образец, идеал и прототип»).

«О существе русской поэзии». – Эта глава книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» называется «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность».

С. 135 *...он четырех шенроковских томов не одолевает.* – Имеется в виду четырехтомник под ред. В. И. Шенрока «Письма Н. В. Гоголя». СПб., 1901.

С. 136. *Поражаешься, как Пушкин нашел эту печальнейшую повесть... только смешной.* – Пушкин 3 декабря 1833 г. в дневнике записал «Вчера Гоголь читал мне сказку: «Как Иван Иванович поссорился с Иваном Тимофеевичем», – очень оригинально и очень смешно» (в записи неточность: повесть называется «Как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем»).

С. 137. *Наваждение с автором, post-factum придумавшим глубочайший смысл произведению...* – В 1846 – 1847 гг. Гоголь написал две редакции «Развязки «Ревизора» (опубл. посмертно, в 1856 г.).

С. 138. *Некогда Полевой полагал, что «искусству нечего делать с «Мертвыми душами», являющими «упадок дарования прекрасного».* – Эта рецензия Н. А. Полевого о «Мертвых душах» опубликована в «Русском вестнике», 1842, № 5 – 6. Здесь же рецензент уничижительно отзывается и о гоголевском отрывке из повести «Рим» («Аннунциата»): «Мы не знаем ни в русской, ни в других литературах ничего, что выражало бы так хорошо то, что называется *галиматьею. Рим* г-на Гоголя какой-то набор риторических фраз, натянутых сравнений, ложных выводов, детских наблюдений».

С. 139. *«Собрание всех возможных гадостей» ощущал он в своей душе.* – В кавычках слова из гл. XVIII «Выбранных мест из переписки с друзьями» (тре-

тье письмо из «Четырех писем к разным лицам по поводу «Мертвых душ»), где Гоголь говорит: «Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунулся видней всех моих прочих пороков, все равно как не было также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность, но зато, вместо того, во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу».

С. 141. *...представители Церкви тоже его не поняли (арх. Иннокентий).* – Архиепископ, проповедник и духовный писатель Иннокентий (в миру Иван Алексеевич Борисов; 1800 – 1857) свое мнение о «Выбранных местах из переписки с друзьями» в 1847 г. выразил в письме к М. П. Погодину, который познакомил Гоголя с этим отзывом (см.: Литературное наследство. Т. 58. М., 1952. С. 825).

(Старенькому Плетневу, да калужской губернаторше Смирновой... да будет легка земля!) – П. А. Плетнев и А. О. Смирнова-Россет были в числе немногих, горячо поддержавших Гоголя и его «Выбранные места из переписки с друзьями». 1 января 1847 г. Плетнев извещает Гоголя: «Вчера совершено великое дело: книга твоих писем пущена в свет. Но это дело совершит влияние свое только над избранными; прочие не найдут себе пищи в книге твоей. А она, по моему убеждению, есть начало собственно русской литературы» (Переписка Н. В. Гоголя. В 2 т. Т.1. М., 1988. С. 271). А 11 января 1847 г. из Калуги Гоголю пишет Смирнова: «Книга ваша вышла под Новый год, любезный друг Николай Васильевич. И вас поздравляю с таким вступлением, и Россию, которую вы подарили этим сокровищем. Странно! Но вы, все то, что вы писали доселе, ваши «Мертвые Души» даже, – все побледнело как-то в моих глазах при прочтении вашего последнего томика» (Русская старина. 1890. № 8. С.282).

С. 142. *«Не оживет, аще не умрет», – говорит апостол.* – Цитата из Первого послания к Коринфянам Святого Апостола Павла (гл. 15, ст. 36): «Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет», т. е. зерно, разлагаясь, умирая, дает новые всходы, рождает жизнь.

И... – опять сжег. Но уже тогда умер сам. – Гоголь сжег рукопись второго тома «Мертвых душ» за 10 дней до смерти, в ночь с 10 на 11 февраля 1852 г.

С. 143. *...замечательное его предсмертное произведение «Размышления о Божественной литургии».* – Эта книга Гоголя, оставшаяся незавершенной и не имевшая названия, была впервые опубликована П. А. Кулишем в 1857 г. (он же дал ей название).

С. 145. *...читая «Женитьбу»...* – Здесь Зайцев пересказывает воспоминания В. А. Соллогуба о чтении Гоголем комедии «Женитьба»: «Я помню, что он читал ее однажды у Жуковского в одну из тех пятниц, когда собиралось общество (тогда немногочисленное) русских литературных, ученых и артистических знаменитостей. При последних словах: «Но когда жених выскочил в окно, то уже...» он скорчил такую гримасу и так уморительно свистнул, что все слушатели покатились со смеху» (цит. по кн.: Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 77 – 78).

...играл в шашки с купцами в торговых рядах. – См. об этом воспоминания А. О. Смирновой в записи П. А. Вискозатого: Русская старина. 1902. № 9. С. 488 – 489.

С 145 *..выскакивал из экипажа, с детской радостью срывал цветы.* – Князь Д А Оболенский, который однажды ехал с Гоголем из Калуги в Москву, вспоминает. «Утром, во время пути, при всякой остановке выходил Гоголь на дорогу и рвал цветы, и ежели при этом находились мужик или баба, то всегда спрашивал название цветов; он уверял меня, что один и тот же цветок в разных местностях имеет разные названия и что, собирая эти разные названия, он выучил много новых слов, которые у него пойдут в дело» (Гоголь в воспоминаниях современников С. 547).

«Милая сестра, люби бедность!» – Из письма Гоголя к сестре Елене Васильевне от 14 июня 1851 г.

«Нищенство есть блаженство ..» – Из книги «Выбранные места из переписки с друзьями» (гл. XXIII. Исторический живописец Иванов).

ПАМЯТНИК ПУШКИНУ

Однодневная газета «День Русской Культуры». Париж: изд. Союза русских писателей и журналистов, Комитета помощи писателям и ученым, Русского академического союза и др. 1926. 8 июня (сокращенный вариант). Републикация с изменениями и дополнениями: Возрождение. 1937. 6 февр. № 4064. Печ по этому изд

С 146. *Вознесся выше он главою непокорной...* – Из стихотворения Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836).

..когда Пушкин с женою жил на Арбате. – На Арбате Пушкин и Наталия Николаевна жили после венчания с 10 февраля до середины мая 1831 г. в доме Е Н. Хитрово (1798 – 1858) Здесь (Арбат, 53) ныне находится мемориальный музей Пушкина

Туда же водили детей в «Детстве и отрочестве». – Имеется в виду трилогия Толстого «Детство» (1852), «Отрочество» (1854) и «Юность» (1857).

На нем трагическая Клара Милич назначила свидание Аратову. – Эпизод повести И С Тургенева «Клара Милич» (опубл. 1883).

Ушли шестидесятые годы с наивными попытками Пушкина развенчать. – До сих пор остается малоисследованной, по-советски тенденциозно рассмотренной тема о спорах вокруг наследия Пушкина, которые начались с времен Белинского. Он, как известно, более других сделал для того, чтобы Пушкин был признан национальным поэтом России, но он же – и автор опрометчивых, тенденциозных суждений, вызванных его увлеченностью политической потребой дня: «Время опередило поэзию Пушкина и большую часть его произведений лишило того животрепещущего интереса, который возможен только как удовлетворительный ответ на тревожные, болезненные вопросы настоящего» (Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. М., 1981. С. 287). Отсюда понятно, почему вслед за «первым критиком России» на Пушкина («свергнуть с пьедестала!» – Д. И. Писарев) ополчились «шестидесятники»: и революционные демократы, особенно Писарев (в статьях «Пушкин и Белинский», «Схоласты XIX века»), и «реакционные славянофилы», например В. И. Аскоченский, позволивший себе о Пушкине беспардонно сказать такое: «Кумир, которому поклоняются многие и весьма многие... не из чистого золота, а из глины» (Позвольте сметь свое суждение иметь! // Домашняя беседа. 1860. 9 июля № 28. С. 349 – 355)

С. 146. *И в детской резвости колеблет твой треножник.* – Из стихотворения Пушкина «Поэту».

Что чувства добрые я лирой пробуждал... – Из стихотворения Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»

.. *читал он «Последнюю тучу рассеянной бури».* – Стихотворение Пушкина «Туча» (1835), как сообщала «Неделя», «привело всех в неописуемый восторг», а стихотворение «Вновь я посетил...» (1835) публика заставила Тургенева читать на бис семь раз.

С. 147. *...торжества коронации последнего русского императора.* – Коронация Николая II состоялась 14 мая 1896 г. Во время коронационных торжеств 18 мая на Ходынском поле в Москве произошли трагические события – давка при раздаче подарков, в которой погибло 1389 чел.

. *с японской войной вошел в наш век...* – Имеется в виду неудачная для России война с Японией 1904 – 1905 гг.

С. 148. *...Епиходовых тех времен...* – Епиходов – персонаж пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад» (1903 – 1904).

Тот Страстной монастырь... уничтожили. – Это случилось в начале 1930-х гг., когда Тверская улица и Пушкинская площадь подверглись реконструкции Ныне на месте монастыря – кинотеатр «Россия».

Хвалу и клевету приемли равнодушно... – Из стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»

.. *автора «Черни».* – В стихотворении Пушкина «Поэт и толпа» (1828) диалог ведут Поэт и Чернь.

Подите прочь! – Какое дело... – Из стихотворения «Поэт и толпа».

ПОБЕДА ПУШКИНА

Однодневная газета «Пушкин. 1837 – 1937». Париж, 1937. Июнь.

О ЛЕРМОНТОВЕ

Возрождение. 1939. 24 нояб. № 4211. Печ. по републикации: Литературная Россия. 1989. 13 октября. № 41.

С. 151. *В минуту жизни трудную...* – Первая строфа стихотворения «Молитва» (1839).

И звуков небес заменить не могли... – Последние строки стихотворения «Ангел» («По небу полуночи ангел летел...»; 1831).

Тифлис объят молчаньем, // В ущелье мгла и дым. – Из стихотворения Лермонтова «Свиданье» (1841).

ДНИ. 1939 – 1972

ДНИ <ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ 1939 – 1945 гг.>

Печ. по изд: Зайцев Б. Дни. М.; Париж: YMCA-Press; Русский путь. 1995 (здесь впервые составитель А. К. Клементьев опубликовал полный текст дневниковых записей 1939 – 1945 гг. по авторской машинописной рукописи – третьей редакции текста). В записях (по авторским примечаниям к ним) рас-

крыты имена и фамилии некоторых из лиц, обозначенных в тексте инициалами. В угловых скобках публикуются дополнения, сделанные автором в машинописной рукописи; в квадратных скобках – разночтения второй рукописной редакции текста с первой.

Варианты первых четырех записей были впервые опубликованы без названий под рубрикой «Дни» в газ. «Возрождение»: I. <О Провансе> – 29 сент 1939, № 4203. II. <О войне> – 13 окт. 1939, № 4205. III. <Сергиев день> – 17 нояб. 1939, № 4210. IV. <Весна 1940 года> – 24 мая 1940, № 4237. Варианты других записей публиковались: V. Под заголовком «Посещение (Из книги «Дни»). Июнь 1940» – в сб. № 2 Объединения русских писателей во Франции «Встреча». Париж, 1945. VI. Варианты записей, датированные 11 апр., 14, 24 авг., 11, 27 дек. 1941 г.; 4, 14 февр., 21 марта, 7 сент. 1942; 28, 29 июля, 8 сент. 1943, – в журнале «Возрождение». Париж, 1950. № 10.

Из дневниковых записей, опубликованных в книге «Дни», оказались исключенными тексты, напечатанные в журнале «Грани» (Мюнхен, 1957, № 33) под названием «Дни. Из парижских записей 1944 г.». Публикуем эти записи в хронологической последовательности.

С. 159. *(Аппиевой дороги здешней)...* – Аппиева дорога – «царица дорог» в Древнем Риме, сохранившаяся до наших дней (ныне параллельно древней идут новые магистрали). Эта первая вымощенная камнем дорога была построена в 312 г. до н. э.; она соединила столицу с южными провинциями. Вдоль Аппиевой дороги делались захоронения с мавзолеями и надгробиями.

Бенедиктинское аббатство Монмажур, X века. – Одно из многочисленных аббатств последователей итальянского проповедника Бенедикта Нурсийского, основавшего в 530 г. католический монашеский орден.

Гид, похожий на Мариуса или на Тартарена... – Персонажи трилогии А. Доде «Тартарен из Тараскона».

...знаменитая мельница Альфонса Додэ... – Имеется в виду серия лирических очерков Доде «Письма с моей мельницы» (1869).

...ферма, где проходило действие «Арлезианки»... – «Арлезианка» – драма Доде. На сюжет пьесы французский композитор Жорж Бизе (1838 – 1875) написал музыку к одноактному балету «Арлезианка» (1872).

С. 161. *Это ведь «наш» святой, свой, народный.* – Николай Мирликийский (Николай Угодник; 260 – 343) – один из самых почитаемых православных святых; епископ г. Миры в Ликии, прославившийся многими чудесными деяниями. Его память церковь чтит дважды: 9 (22) мая и 6 (19) декабря.

...все из «труждающихся и обремененных». – См. Евангелие от Матфея, гл. 11, ст. 28: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас».

...Апостола, которого «три раза били палками, однажды каменьями побивали»... – Имеется в виду апостол Павел, проповедническая деятельность которого встречала яростное сопротивление язычников (см.: Библия. Деяния Св Апостолов, гл. 13 – 28). Апостол был предан мученической смерти вместе с апостолом Петром.

...Гельцер танцует в честь Бельгии. – Екатерина Васильевна Гельцер (1876 – 1962) – балерина Большого и Мариинского (с 1896 г.) театров. В 1910 г. была на гастролях в Брюсселе, а также участвовала в «Русских сезонах», организованных С. П. Дягилевым в Париже (1907 – 1913).

С. 162. *Литературный Кружок* – имеется в виду московский Литературно-художественный кружок Н. Н. Баженова (см. Указатель имен).

С. 165. *У колодца Иаковлева Иисус сказал Самарянке...* – См.: Евангелие от Иоанна, гл. 4. Цитата из ст. 14.

«Сергиев день» – день памяти Сергия Радонежского, отмечаемый 25 сентября (8 октября).

С. 171. *Роденбах это символизм, романтизм начала века. Портрет его на обложке книги «Мертвый Брюгге».* – «Мертвый Брюгге» (1892) – символистский роман Жоржа Роденбаха (см. Указатель имен).

...как Жуковский (по Грею) сельское кладбище. – Жуковский выполнил два перевода элегии Грея «Сельское кладбище»: в 1802 и 1839 гг.

С. 172. *Мадонны Мемлинга!* – Имеются в виду триптих «Богоматерь со святыми» (1468) и диптих «Богоматерь с донатором Мартином ван Ньивенхове» (1487) нидерландского живописца эпохи Раннего Возрождения Ханса Мемлинга.

С. 173. *...церковка Константина и Елены (эти имена мне дороги, ты знаешь: и по нашей семье, и через Веру).* – Константин Николаевич – отец Зайцева; Елена Дмитриевна Орешникова (ум. в 1934 г. в Москве) – мать его жены. Церковь святых Константина и Елены в Кламаре была построена в имении князей Трубецких под Парижем. Настоятелем храма был архимандрит Киприан, духовник Зайцева и его друг (см. Указатель имен и очерк в мемуарах «Далекое»).

С. 177. *Наташа* – Н. Б. Зайцева-Соллогуб, дочь писателя.

С. 178. *...Италия объявила войну.* – Италия вступила в войну на стороне Германии 10 июня 1940 г.

С. 181. *«Живый в помощи Вышняго».* – Из Псалтиря, псалом 90, ст. 1.

С. 186. *«И равнодушная природа красою вечною сияет».* – Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных» (1829). У Пушкина: «И пусть у гробового входа // Младая будет жизнь играть, // И равнодушная природа // Красою вечною сиять».

С. 189. *«Элегия» Массно, исполняет Шаляпин.* – Входившая в репертуар Ф. И. Шаляпина популярна «Элегия» Жюля Массне является частью его музыки к античной поэме Ш. Леконта де Лиля «Эринии».

С. 191. *Вчера похоронили Мережковского.* – Д. С. Мережковский скончался 7 декабря 1941 г.

С. 192. *Принесли новые его книги, по-французски – «Паскаль», «Лютер».* – Входящие в трилогию «Реформаторы» биографии-эссе вышли посмертно в Париже на французском языке тремя выпусками: «Лютер» (1941), «Паскаль» (1941) и «Кальвин» (1942). На русском языке изданы: Брюссель, 1990; Томск. 1999.

«Пишу о маленькой Терезе». – Последнее произведение Мережковского биография-эссе «Маленькая Тереза» (1940) впервые издано: Анн Арбор, Мичиган: Эрмитаж, 1984 (вступ. статья, коммент. Темиры Пахмусс).

...хотелось и в Иисуса Неизвестного проникнуть, и движение Духа в Церкви понять... – Религиозно-философское исследование Мережковского «Иисус Неизвестный» вышло в 2-х т.: Белград, 1932 – 1934. Философской концепции Третьего Царства Духа Мережковский посвятил свой эссеистско-исследовательский цикл «Лица святых от Иисуса к нам»: «Павел – Августин» (1936),

«Франциск Ассизский» (1938), «Жанна д'Арк» (1938), а также двухтомный труд «Данте» (1939).

С. 198. *...читал книгу Уолтера Патера «Воображаемые портреты».* – «Воображаемые портреты» английского прозаика Уолтера Патера в переводе П. П. Муратова и с его предисловием выходили дважды – в 1908 и 1916 гг.

С. 204. *...как Рим горел при Нероне.* – Сильнейший пожар в Риме разразился в 64 г. Из 14 районов столицы империи 10 были уничтожены огнем. Император Нерон, чтобы отвести павшие на него подозрения, обвинил в поджоге христиан, и с этого времени в Риме начались на них гонения.

С. 205. *...знаменитый мой друг...* – И. А. Бунин.

С. 209. *И еще два романа – за двадцать лет.* – Имеются в виду романы «Золотой узор» (1926) и «Дом в Пасси» (1935). Однако Зайцев не включил в этот список еще два произведения романного жанра: беллетризованное жизнеописание «Жизнь Тургенева» (1932) и первую книгу тетралогии «Путешествие Глеба» – «Заря» (1937).

С. 210. ...французская «Анна». – На французском языке повесть «Анна» вышла в Париже в 1931 г. (в переводе Людмилы Савицкой), а в 1937 г. – на английском одновременно в Лондоне и Нью-Йорке (в переводе Натальи Даддингтон).

...начинает партию шахматную ходом h2 – h4 и все-таки ее выигрывает. – В шахматах начинать партию ходом типа h2 – h4 – значит поступать вопреки дебютным правилам.

Ставрогин, Кириллов, Петр Верховенский – герои романа Достоевского «Бесы» (1871 – 1872).

С. 211. ...бабушка из «Обрыва» была права, обучая Райского смирению. – Эпизод из романа И. А. Гончарова «Обрыв» (18).

...этому ряду «волшебных изменений милого лица». – В кавычках – из стихотворения Фета «Шепот, робкое дыханье...»

С. 212. *Квартет посвящен русскому послу в Вене графу Разумовскому.* – Бетховен посвятил А. К. Разумовскому (см. Указатель имен) три квартета (ор. 59, так называемые «квартеты Разумовского»), а также 5-ю и 6-ю симфонии.

С. 213. А. и Н. – Андрей Владимирович и Наталья Борисовна Соллогуб.

Архимандрит К. – Киприан.

В – Вера Алексеевна Зайцева.

С. 214. *...оттенок агапы, трапезы любви...* – Агапе (*гр.* любовь) – одно из основных понятий в христианской литературе. В противоположность эросу, т. е. любви сладострастной, агапе означает любовь деятельную, одаряющую, а также является специальным термином для обозначения вечерней трапезной любви у ранних христиан. В I в. она носила характер общей трапезы в форме богослужения и была тесно связана с тайной вечерей, а во II в. стала самостоятельным культовым обрядом. В 343 – 344 гг. Лаодикийский синод запретил проведение агапе. Считается, что прообразом агапе был греческий эранос (товарищеский пир в складчину).

С. 215. *«...между Гавром и Шербургом произошла высадка».* – С этой высадки десанта 6 июня – 24 июля 1944 г. США и Великобритания открыли «второй фронт» против фашистской Германии (Нормандская десантная операция).

Начался «новый эон» жизни нашей. – Эон – век, эпоха (*гр.*).

С. 217. *Эти дни были сорок лет назад.* – Имеются в виду дни 1904 г., когда Зайцев и Муратов вместе совершили путешествие в Италию.

С. 223. *Левиафан* – в библейской мифологии морское животное, которое упоминается то как крокодил, то как гигантский змей или чудовищный дракон, над которым Бог одерживает победу, демонстрируя свое могущество.

С. 224. *...пойдем к Зинаиде.* – Речь идет о З. Н. Гиппиус.

...опекун и о Зинаиде заботник. – В. А. Злобин (см. Указатель имен).

М. О. ЦЕТЛИН

Новый журнал. Нью-Йорк, 1946. № 14.

С. 230. *...удалось напечатать... большой том «Пятеро и другие».* – Эта книга литературных портретов русских композиторов (Глинки, Балакирева, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, Даргомыжского и др.) вышла в 1944 г. в Нью-Йорке. М. А. Алданов, рецензируя книгу Цетлина, поставил ее в один ряд (по художественной значимости) с романами-биографиями Зайцева.

ВСТРЕЧА

Орган русских секций французской конфедерации тружеников христиан «Русская мысль». Париж, 1947. 19 апр. № 1. Заголовок рукописи: «Похвала милосердию». Печ. по изд.: Зайцев Б. Дни. М.; Париж: YMCA-Press; Русский путь, 1995 (текст рукописи).

С. 231. *...он был «резистант».* – «Резистант» (*фр.*) – участник Сопротивления.

С. 232. *...«намыльте веревку, захлестните на моей старческой шее».* – См. примеч. к очерку «Казнь».

ПИСЬМО ДРУГУ

Русская мысль. 1947. 24 мая. № 6 (с уточнениями по рукописи). Предположительный адресат письма – П. П. Муратов, с которым Зайцев в начале века много раз ездил в Италию (оба написали о ней книги).

С. 233. *...в XVIII веке знаменитый Беккариа выступил против смертной казни.* – Имеется в виду трактат Чезаре Беккариа (см. Указатель имен) «О преступлениях и наказаниях» (1764), переведенный на многие европейские языки и получивший высокую оценку Вольтера, Дидро, Гельвеция и др. По их мнению, в трактате особенно сильна аргументация против смертной казни.

УТЕШЕНИЕ КНИГ

Русская мысль. 1947. 14 июня № 9 (с уточнениями по рукописи).

С. 235. *.. здесь, в Сергиевом Подворье, он <Булгаков> растет...* – С. Н. Булгаков (см. Указатель имен) с 1925 г., со дня основания в Париже Православного Богословского института (Сергиева подворья), становится его руководителем и главой кафедры догматического богословия.

С. 236. *Теперь вышли в свет «Автобиографические заметки» его...* – Эта исповедально-мемуарная книга Булгакова издана посмертно в Париже в 1946 г. Вошла (с сокращениями) в его сб. «Тихие думы» (М.: Республика, 1996) под названием «Автобиографическое».

А молодость начинал с Маркса... – Имеются в виду прежде всего сборник Булгакова «От марксизма к идеализму» (1903) и работа «Карл Маркс как религиозный тип» (1906).

С. 236. *«Родина есть священная тайна каждого человека...»* – Этими словами начинается очерк Булгакова «Моя родина» из «Автобиографических заметок».

Можно не иметь ясного мнения о Софии... – София (*гр.* мудрость, знание) – философское понятие-мифологема, одно из центральных в трудах русских религиозных философов С. Н. Булгакова, Вл. С. Соловьева, П. А. Флоренского и в поэзии русских символистов.

«Самым в нем потрясающим было ..» – Из очерка «Мое рукоположение» («Автобиографические заметки»).

С. 237. *Старый нумизмат и археолог умирал в Москве от рака.* – Имеется в виду Алексей Васильевич Орешников (1855 – 1933), хранитель Исторического музея в Москве (1887 – 1933).

ЗЕЛЕНЫЙ ХОЛМ

Русская мысль. 1947. 16 авг. № 18.

С. 237. *...труд над «Св. Сергием Радонежским»...* – Летом 1924 г. Зайцев работал над житийной повестью «Преподобный Сергий Радонежский», ставшей первой книгой в новом парижском издательстве: YMCA-Press, 1925.

...незабвенное дело митрополита Евлогия. – Имеется в виду Сергиево Подворье, основанное в Париже митрополитом Евлогием (см. Указатель имен).

...«по хребтам беспредельно-пустынного моря». – Из «Илиады» Гомера.

С. 239. *Хиротония* (*гр.*) – рукоположение, христианский обряд возведения в священнический сан.

...в великий зной дня св. Владимира. – Память св. Владимира отмечается 15 (28) июля.

ЮБИЛЕЙ

Русская мысль. 1947. 3 сент. № 22. Заметка о печальном юбилее – 25 лет назад Зайцев с семьей навсегда покинул Россию.

С. 240. *«Новая жизнь» («Vita Nuova»)* – «малая книга памяти», которую Данте посвятил своей умершей возлюбленной Беатриче. Это его юношеское произведение в стихах и прозе считается первым в Европе психологическим романом и лучшим сборником лирических стихотворений высокого Средневековья.

РУСЬ В УМБРИИ

Русская мысль, 1947. 25 окт. № 28.

С. 241. *Умбрских гор синеющий кристалл...* – Из стихотворения Вяч. И. Иванова «Красота» (1902).

«Над горами, вдалеке...». – Из очерка Зайцева «Ассизи» (см. т. 3 нашего изд. С. 538).

ВНОВЬ О ПИСАТЕЛЯХ

Русская мысль. 1947. 13 дек. № 35.

С. 244. *О докладе этом Троцкий написал статью «Диктатура, где твой хлыст?»* – Статья Л. Д. Троцкого (под псевдонимом «О») опубликована в

«Правде» 2 июня 1922 г. Заканчивается обращением к диктатуре взять хлыст и «заставить Айхенвальда убраться за черту, в тот лагерь содержанства, к которому он принадлежит по праву – со всей своей эстетикой и религией». Осенью этого же года Айхенвальд с большой группой философов, писателей, ученых был выслан из России в вечное изгнание.

С. 246. *Луначарский, вместе с которым любовались мы в ранней молодости во Флоренции Боттичелли...* – Зайцев с женой и будущий советский нарком Луначарский (см. Указатель имен) с первой женой Анной Александровной (урожд. Богдановой; 1883 – 1959) во Флоренции вместе были в мае 1907 г.

Погиб Юлий Исаевич Айхенвальд... – Айхенвальд, страдавший сильной близорукостью, трагически погиб 17 декабря 1928 г. в Берлине, попав под трамвай. Зайцев посвятил ему очерк-некролог, который был опубликован 22 декабря 1928 г. в парижской газете «Возрождение» (см. т. 6).

Шпет попал в ссылку, ослеп и умер там. – Сведения неточны. Г. Г. Шпет (см. Указатель имен) в ноябре 1935 г. был арестован и сослан в Енисейск. 27 октября 1937 г. вторично арестован и через 19 дней безвинно расстрелян.

СЛЕЗА РЕБЕНКА

Русская мысль. 1948. 9 июля. № 65 (с уточнениями по рукописи, озаглавленной «Меланхолия»).

С. 247. *Эрна Дем, молодая веселая художница, с мужем Маркушей и Верой...* – Художники Эрна и Марк Вольфсон – друзья Зайцевых. Эрна – автор скульптурного портрета писателя. Вера – жена Зайцева Вера Алексеевна.

«Сентябрьский свеженький денек...» – Первая строка стихотворения А. Белого «Былому» (Париж, 1907).

С. 248. *...убит в Петербурге Юри, близкий мой родственник.* – Юрий Буйневич – сын сестры писателя Татьяны Константиновны Зайцевой (в замужестве Буйневич). Зайцев в феврале 1917 г. заканчивал учебу в Александровском училище (см. мемуары «Москва» в т. 6).

С. 249. *Вопль Иова не умолкает.* – Подвергшийся суровым испытаниям, Иов проклинает день, в который он родился (Книга Иова, гл. 3. ст. 1 – 26).

ПАМЯТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

Русская мысль. 1948. 29 окт. № 81 (с уточнениями по рукописи).

С. 250. *Каретный ряд, дом Мошнина.* – Здесь состоялись первые спектакли Художественного театра в 1898 г.

...вновь переживать «Потонувший колокол», или «Одиноких», или «Трех сестер»... – «Потонувший колокол» (1896) и «Одинокие» (1891) – драмы Г. Гауптмана. «Три сестры» – пьеса А. П. Чехова.

С. 252. *Тебя, как первую любовь...* – Из стихотворения Ф. И. Тютчева «29-е января 1837».

<О ЖУКОВСКОМ. 4 ФЕВРАЛЯ 1942>

Русская мысль. 1948. 10 нояб. № 83 (с уточнениями по рукописи).

С. 252. *Ты живешь в сиянье дня...* – Из стихотворения Жуковского «К Эмме» (1819; перевод с отступлениями из Ф. Шиллера).

С. 253. . *Жуковский семь лет последних своих положил на «Одиссею».* – Жуковский работал над переводом «Одиссеи» Гомера с 1842 по 1849 г. Гоголь, заявив, что «появление «Одиссеи» произведет эпоху», далее пишет: «Вся литературная жизнь Жуковского была как бы приготовлением к этому делу. Нужно было его стиху выработаться на сочинениях и переводах с поэтов всех наций и языков, чтобы сделаться потом способным передать вечный стих Гомера, – уху его наслушаться всех лир, дабы сделаться до того чутким, чтобы и оттенок эллинского звука не пропал.. Зато вышло что-то чудное. Это не перевод, но скорей воссоздание, восстановленье, воскресенье Гомера» (Выбранные места из переписки с друзьями. Гл. VII. Об Одиссее, переводимой Жуковским).

СЛОВО

Русская мысль. 1949. 7 янв. №100 (с уточнениями по рукописи).

С. 254 *Архимандрит Герасим* (Шмальц; 1888 – 1969) – миссионер, настоятель православных приходов на Аляске. Зайцев много лет переписывался с ним.

ТЮТЧЕВ. ЖИЗНЬ И СУДЬБА (к 75-летию кончины)

Литературно-политические тетради «Возрождение». 1949, № 1.

С. 256 *«Как звезды ясные в ночи».* – Из стихотворения «Silentium!» («Молчание!» – *лат* ; 1830).

С. 258. *«Я помню время золотое...»* – Первая строка стихотворения без названия (1833), написанного Тютчевым к десятой годовщине своего знакомства с Амалией Максимилиановной Лерхенфельд (см. Указатель имен). Вариант этой строки («Я вспомнил время золотое») поэт повторяет через много лет в стихотворении «К. Б.» («Я встретил вас и все былое...»; 1870), ставшем популярным романсом и также посвященном Лерхенфельд-Крюднер (поэт случайно встретил ее в курортном Карлсбаде: «И то же в вас очарованье, // И та ж в душе моей любовь»). Их дружба-любовь длилась более полувека.

С. 259. *...двенадцать лет жизни вместе, три дочери...* – В 1826 г. Тютчев женился на вдове русского дипломата Элеоноре Федоровне Петерсон, урожд. графине Ботмер, матери четырех сыновей. В замужестве с Тютчевым она родила трех дочерей: Анну (в 1829), Дарью (в 1834) и Екатерину (в 1835).

Эрнестина Феодоровна Дёрнберг-Пфеффель – вторая жена Тютчева, удочерившая Анну, Дарью и Екатерину. Венчание состоялось 17 июля 1839 г. В 1840 г. у Тютчевых родилась еще одна дочь – Мария, в 1841 – сын Дмитрий, в 1846 – сын Иван Сохранилось около 500 писем Тютчева к Эрнестине Федоровне.

С. 260. *...возвращалась на том самом «Николае I», на котором плыл юный Тургенев.* – Пожар на пароходе «Николай I» случился в ночь с 18 на 19 мая 1838 г. Катастрофа вызвала у первой жены Тютчева нервное потрясение, сведшее ее в могилу. Через 45 лет после трагического события, 5 июня 1883 г., Тургенев продиктовал Полине Виардо по-французски очерк-воспоминание «Un incendie en mer» («Пожар на море»). Это было вызвано необходимостью, несмотря на тяжелую болезнь, развеять давние слухи о его якобы малодушном поведении во время пожара

С. 261. *Шеллинг считал его «достойным собеседником»...* – Тютчев познакомился с немецким философом Фридрихом Вильгельмом Шеллингом в Мюнхене в конце 1827 – начале 1828 г. и был его собеседником почти 15 лет.

С. 261. *Есть и из Гейне, но Лермонтов сосною своей затмил тютчевский кедр.* – Знакомство Тютчева с Гейне состоялось в начале 1828 г. в Мюнхсне К этому времени он уже был автором перевода (между 1823 – 1826 гг.) гейневского стихотворения «На севере мрачном, на дикой скале // Кедр одинокий под снегом белеет...», ставшем знаменитым в вольном переводе Лермонтова «Сосна» («На севере диком стоит одиноко...»; 1840).

Молчи, скрывайся и таи... – Первые строки стихотворения Тютчева «Silentium!» («Молчание!» – *лат.*).

С. 262. *Это знаменитые «Слезы людские, о слезы людские...»* (1849) – Стихотворение, ставшее романсом (музыку написали Г. И. Кушелев-Безбородко, П. И. Чайковский, А. Т. Гречанинов, Р. М. Глиэр, Н. К. Метнер и др.).

Подпись: Ф.Т. – «Стихотворения, присланные из Германии». – Это были 24 стихотворения Тютчева из 90 привезенных И. С. Гагарину в мае 1836 г. А. М. Лерхенфельд-Крюднер. Гагарин переписал из тетради лучшие, на его взгляд, стихотворения и передал их П. А. Вяземскому для Пушкина. Они были опубликованы в 1836 г. в двух номерах пушкинского журнала «Современник» (одно стихотворение – «Два демона ему служили...» – не было пропущено цензурой).

С. 263. *В известной статье Гоголя из «Переписки с друзьями» он рядом с Туманским и Плетневым.* – Имеется в виду глава XXXI «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность», где Гоголь включил тогда еще мало кому известного Тютчева в число поэтов, которых «возбудил на деятельность Пушкин».

...как раз появилась его <Тютчева> статья о России и Германии, очень замеченная... – Статья «Россия и Германия» (1843).

С. 264. Хомяков, Аксаков считают его своим. – Славянофилы А. С. Хомяков и И. С. Аксаков (муж дочери Тютчева Анны; в 1874 г. он издал книгу о поэте) признали Тютчева «своим» не сразу. В славянофильских изданиях печатать его начинают только после статьи Н. А. Некрасова «Русские второстепенные поэты» (Современник, 1850, № 1), в которой впервые было заявлено, что стихи Тютчева «принадлежат к немногим блестящим явлениям в области русской поэзии», в одном ряду с Пушкиным.

Итак, опять увиделся я с вами... – Первые строки стихотворения Тютчева без названия (1849).

С. 265. *Эти бедные селенья ..* – Первая строфа стихотворения Тютчева без названия (1855).

...Владимира Соловьева, в девяностых годах вновь и окончательно открывшего и прославившего его. . – Имеется в виду статья Вл. Соловьева «Поэзия Ф. И. Тютчева» (Вестник Европы, 1895, № 4).

С. 266. *Так могла чувствовать Настасья Филипповна, или первая жена Достоевского* – Настасья Филипповна – героиня романа Достоевского «Идиот» (1868). Первая жена Достоевского – Мария Дмитриевна Исаева, урожд. Констант (1825 – 1864).

С. 267. *Весь день она лежала в забытьи...* – Стихотворение Тютчева без названия (1864).

С. 269. *Все отнял у меня казнящий Бог...* – Стихотворение, написанное Тютчевым в феврале 1873 г., незадолго до кончины (он умер 18 июля), и посвященное жене Э. Ф. Тютчевой (к сорокалетней годовщине их первой встречи).

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ МАРТА

Русская мысль. 1949. 8 апр. № 126. Печ. по воспроизведению текста рукописи в кн. «Дни».

С. 272. *...Недаром многих лет // Свидетелем Господь меня поставил // И книжному искусству вразумил.* – Из трагедии Пушкина «Борис Годунов».

ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Русская мысль. 1949. 14 сент. № 171. Печ. по воспроизведению текста рукописи (в кн. «Дни»).

О ЛЕОНИДЕ АНДРЕЕВЕ

Русская мысль. 1949. 14 окт. № 180.

С. 276. *Река времен в своем стремленье ..* – Первые строки стихотворения без названия Г. Р. Державина (1816).

Жива была еще Александра Михайловна... – Жена Л. Н. Андреева А. М. Виельгорская (Велигорская; 1881 – 1906) умерла от послеродовой горячки 10 февраля 1906 г., родив второго сына Даниила Леонидовича (1906 – 1959), ставшего выдающимся поэтом и мыслителем. В 1947 г. он был вместе с семьей арестован и осужден на 25 лет за... покушение на Сталина. Автор ныне широко известных книг стихотворений и поэм «Русские боги» и философско-поэтического трактата «Роза Мира», созданных в основном в заключении.

Он жил тогда с матерью, Настасьей Николаевной... – Ан. Н. Андреева, урожд. Пацковская (1851 – 1920). Писатель посвятил матери пьесу «К звездам», а в автобиографической пьесе «Младость» вывел ее под именем Александры Петровны Мациевой. О том, как относился Андреев к матери, свидетельствует его надпись на т. 1 Полн. собр. соч.: «Матери моей с глубочайшим уважением и любовью, с величайшей благодарностью. Если я хорошо в этих книгах пишу о всех матерях, то это посвящается Тебе, мамочка, и если я – автор, то Ты, меня много раз родившая, снова и снова своей любовью дававшая мне жизнь, есть автор автора. И вся честь Тебе. Твой с неизменной любовью. Леонид Коточка. 27 января 1914 г.»

С. 277. *«Жизнь человека»... шла и в Художественном, и в Петербурге у Мейерхольда.* – Опередив МХТ, В. Э. Мейерхольд 22 февраля 1907 г. поставил драму Андреева «Жизнь Человека» в петербургском театре В. Ф. Комиссаржевской. «Это – можно с уверенностью сказать – лучшая постановка Мейерхольда», – отметил Блок. Премьера «Жизни Человека» в МХТ состоялась 12 декабря 1907 г. в постановке К. С. Станиславского и Л. А. Сулержицкого. «Успех огромный...» – записал в книге протоколов спектаклей Станиславский.

В 1908 г. вновь женился. – Вторая жена Андреева – Анна Ильинична, урожд. Денисевич, в первом браке Карницкая (1885 – 1948): мать Саввы Леонидовича (1909 – 1970; в будущем артиста балета), Валентина Леонидовича (1912 – ?) и Веры Леонидовны, в будущем автора автобиографической дилогии «Дом на Черной речке» и «Эхо прошедшего» (М., 1986).

С. 278. *...выпустил последний вопль свой, S.O.S., к Европе...* – «То, что ныне по отношению к истерзанной России совершают правительства союзников, есть либо предательство, либо б е з у м и е» – так начинается очерк «SOS», страстный призыв Андреева остановить «Хаос и Тьму» в России, вызванные войной.

Очерк был опубликован многими изданиями: в газете «Общее дело» (Париж 1919. 22 марта – на французском языке; 24 марта – на русском), в брошюрах с рис. Н. К. Рериха на обложке (в Выборге, Гельсингфорсе, Варшаве, Берлине), листовками в переводах на английский, голландский, чешский и другие языки. Однако многие из этих изданий Андреев уже не увидел: он скоропостижно скончался 12 сентября 1919 г.

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Русская мысль. 1949. 18 нояб. № 190.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПИСЬМО

Русская мысль. 1950. 6 янв. № 204. Печ. по воспроизведению текста рукописи в кн. «Дни».

С. 284. *«Уведи меня в стан погибающих».* – Из стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час».

В БЕЛЬГИИ

Русская мысль. 1950. 7 апр. № 230.

С. 285. *За все благодарите.* – В Первом послании Апостола Павла к Фессалоникийцам говорится: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите» (гл. 5, ст. 16 – 18).

ИЮНЬ 1940 (ПИСЬМО ДРУГУ)

Русская мысль. 1950. 7 июня. № 247 (см. «Записи»)

СУДЬБЫ

Русская мысль. 1950. 12 июля. № 257.

ПАУСТОВСКИЙ

Русская мысль. 1951. 4 апр. № 333.

И. И. ТХОРЖЕВСКИЙ

Возрождение. 1951. Май – июнь. Тетрадь 15 (под рубрикой «Памяти ушедших»).

С. 294. *«Дней лет наших всего до семидесяти лет».* – Из Псалтиря. Псалом 89, ст. 10.

С. 296. *...пять лет отдал «Русской Литературе».* – Двухтомник Тхоржевского «Русская литература» вышел двумя изданиями: в 1946 и 1950 г., вызвав полемику. «Книга богата по содержанию, – пишет Ф. А. Степун, – жива по языку и мысли, и читается с неослабным интересом» (Возрождение. 1952. Тетр. 20). Отрицательно отозвались о книге И. А. Бунин и Г. П. Струве.

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ ДРУГУ

Русская мысль. 1951. 27 июля. № 366 (с уточнениями по рукописи).

ЛУННАЯ СОНАТА

Русская мысль. 1952. 4 янв. № 412 (с уточнениями по рукописи).

С. 301. *«Лунная соната»* – 14-я фортепьянная соната, один из шедевров Людвига ван Бетховена (1770 – 1827).

С. 302. *О, если правда, что в ночи...* – Первые строки стихотворения Пушкина «Заклинание» (1830).

...впервые услышан Бетховен – Эгмонт, Кориолан .. – Произведения Людвига ван Бетховена: «Эгмонт» (1810) – увертюра к трагедии Гете; «Кориолан» (1807) – увертюра к трагедии немецкого драматурга Генриха Иосифа Коллина (1772 – 1811).

С. 303. *...знаю, что есть «Ночь» Микель Анджело...* – «Ночь» – одна из лучших скульптур во флорентийской капелле Медичи, созданная Микеланджело Буонарроти (1475 – 1564). Дж. Вазари о «Ночи» сказал: «Перед нами не только спокойствие спящей, но и печаль и уныние того, кто потерял нечто почитаемое и великое» (В а з а р и Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: В 5 т. Т. 3. М.: Искусство, 1970 С. 251)

ГОГОЛЬ

Русская мысль. 1952. 5 марта. № 429. В этом номере газеты, посвященном 100-летию со дня смерти Н. В. Гоголя, опубликованы статьи «Гоголь и его судьи» проф В Н. Сперанского, «Два «Ревизора» В. Ф. Зеелера, стихотворение «Гоголь» Н. Н. Туроверова и др. материалы. Зайцев был включен в состав юбилейного комитета, в который также вошли С. М. Лифарь, В. И. Поль и Е Н. Рощина-Инсарова.

С. 304 *...«как грустна наша Россия!»* – Гоголь приводит эти слова Пушкина в гл XVIII «Выбранных мест из переписки с друзьями» («Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»).

С. 305. *...нельзя говорить только: «Гоголь и черт».* – Зайцев полемизирует с Мережковским, автором статьи «Гоголь и черт».

«Милая сестра, люби бедность!» – Из письма Гоголя к сестре Елене Васильевне от 14 июля 1851 г.

С. 306. *Когда читаешь «Казаков» или «Первую любовь»...* – «Казаки» – повесть Л Н. Толстого. «Первая любовь» – рассказ Тургенева.

(«Я уже от многих своих гадостей избавился тем что передал их своим героям...»). – Из гл. XVIII «Выбранных мест из переписки с друзьями». Зайцев и далее цитирует эту книгу Гоголя.

С. 308 *...совершает поездку в Палестину...* – Гоголь ездил в Иерусалим в феврале 1848 г.

С. 309. *Весною 1852 г. Гоголь жил в Москве на Никитском бульваре, у гр. Толстого...* – Ныне это дом № 7а на Суворовском бульваре, во дворе которого установлен знаменитый памятник Гоголю (здесь умершему) скульптора Н А. Андреева. Хозяин этого дома Александр Петрович Толстой (см Указатель имен).

ПОТОМСТВО ТУРГЕНЕВА

Русская мысль. 1952. 17 сент. № 485 (с уточнениями по рукописи).

С. 310. *Передо мной старинная небольшая фотография ..* – Фотопортрет дочери И. С. Тургенева Пелагеи Ивановны, подаренный Зайцеву А. А. Плещеевым, писатель передал в дар Пушкинскому дому (Институту русской литературы). Фото было опубликовано в «Тургеневском сборнике». II. (М; Л.: Наука, 1966. С. 325) С благодарностью Зайцеву.

А в нынешнем, 1952 году... скончалась и ее дочь, внучка Тургенева... – Жанна Брюэр-Тургенева (1872 – 1952) была человеком разносторонне одаренным: писала стихи и романсы, владела несколькими языками (преподавала английский, французский и немецкий). С Тургеневым переписывалась в 1882 – 1883 гг. (6 его писем к ней опубликованы в т. XIII Полн. собр. соч. и писем И. С. Тургенева в 28 т. Л., 1968).

...отнеслась к ней не так, как в свое время Марья Григорьевна Бунина к Васе Жуковскому. – Поэт В. А. Жуковский был внебрачным сыном Афанасия Ивановича Бунина и пленной турчанки Сальхи.

С. 311. *...положение полу-Сандрильоны.* – Сандрильона – Золушка во французских сказках.

...в письмах Тургенева к дочери, вышедших здесь, в Париже... – Имеется в виду издание: S e m e n o f f E. La vie douloureuse d'Ivan Tourgueneff. Paris, 1933. Роман-биография Зайцева «Жизнь Тургенева» был издан в 1932 г.

С. 312. *Семья Николая Тургенева, декабриста. Г-жа Делессер, Трубецкие, Ольги Сомова...* – Русские парижане, входившие в круг близких знакомых И. С. Тургенева: декабрист Николай Иванович Тургенев (1795 – 1884), его жена Клара, урожд. Виарис (1814 – 1891), дочь Александра (Фанни; 1835 – 1890), Валентина Делессер, урожд. графиня де Лаборд (1806 – 1894), князь Николай Иванович Трубецкой (1807 – 1874), его жена Анна Андреевна, урожд. графиня Гудович (1819 – 1882).

...выходит за некоего Гастона Брюэра... – Виктор Гастон Эжен Брюэр (1835 – ок. 1895) – управляющий стекольной фабрикой в Ружмоне, владельцем которой был зять В. Делессер.

...разрыв с Толстым произошел из-за этой Поли. – См. об этом подробно: Ф е т А. А. Воспоминания: в 3 т. Т. 1. М., 1890. С. 370 – 374. Ссора из-за пустячного повода чуть было не обратилась в дуэль и прервала навсегда контакты двух великих людей России. После ссоры Тургенев, словно одумавшись, пишет 27 мая 1861 г. Толстому: «.. увлеченный чувством невольной неприязни, в причины которой теперь входить не место, я оскорбил вас без всякого положительного повода с вашей стороны и попросил у вас извинения. Происшедшее сегодня доказало поутру ясно, что всякие попытки сближения между такими противоположными натурами, каковы ваша и моя, не могут повести ни к чему хорошему; а потому тем охотнее исполняю мой долг перед вами, что настоящее письмо есть, вероятно, последнее проявление каких бы то ни было отношений между нами» (*там же.* С. 372).

С. 313. *...думать о приданом Диди (Клавдии).* – Клавдия Виардо (1852 – 1914) – художница; в 1874 г. вышла замуж за Жоржа Шамро (1845 – 1922).

...как бы продать письма деда к ее матери – Больше трехсот писем Тургенева приобрел у Ж. Брюэр Государственный Литературный музей в Москве (все они опубликованы в двух Полн. собр. соч. и писем И. С. Тургенева в 28 и 30 т.).

ПРЕДИСЛОВИЕ

В кн: Коряков Михаил. Освобождение души. Предисловие. Нью-Йорк. Изд-во им. Чехова, 1952. Михаил Михайлович Коряков – публицист. Участник Великой Отечественной войны; в 1946 г. стал «невозвращенцем». Печатался в «Новом журнале», «Возрождении», «Мостах» (очерки «Афиногенов и Пастернак», «Есенинщина» и советская молодежь», «Литературная Москва», «Из дневника публициста» и др.). Автор книг «Почему я не возвращаюсь в СССР» и «Живая история. 1917 – 1975».

С. 316. *Некоторые из них (Кравченко) очень нашумели...* – Виктор Андреевич Кравченко (1905 – 1966) – инженер, после Великой Отечественной войны в эмиграции; автор книги «Я избрал свободу» (на рус. яз. 1950, на других языках вышла раньше). В 1949 г. Кравченко подал в суд против парижской газеты «Lettres Fracaises», пытавшейся вместе с другой прокоммунистической прессой уличить его во лжи (для этого на суд была прислана даже бывшая жена Кравченко). Однако вопиющие факты, приведенные в книге, нашли в суде подтверждение, и «невозвращенец» процесс выиграл.

СОЛОВЬЕВ НАШЕЙ ЮНОСТИ

Русская мысль. 1953. 27 февр. № 532.

С. 317. *«Вера есть уповаемых извещение...»* – Этой теме посвящена гл. 11 Послания святого апостола Павла к Евреям. В ст. 1 сказано: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».

С. 318. *«Критика отвлеченных начал», «Чтения о Богочеловечестве» были блистательным введением в христианство...* – «Критика отвлеченных начал» (1880) – докторская диссертация Вл. С. Соловьева, посвященная критическому анализу философских учений конца XIX в. и основным принципам «философии всеединства». «Чтения о Богочеловечестве» (1877 – 1881) – философский труд, посвященный теме Софии, воплощающей идею «божественного единства», как «идеальное совершенное человечество, вечно заключающееся в цельном божественном существе, или Христе».

С. 319. *..путешествия в Лондон, Египет, для встречи с Вечной Женственностью.* – Об этих странствиях Соловьев написал поэму «Три свидания» (1898), в которой рассказывает о мистических встречах с «Подругой Вечной» в Москве, Лондоне и Египетской пустыне.

...на афонском языке. – Т. е. на языке монахов монастыря св. Пантелеймона на Афоне (Греция).

Стихи его <Блока> *о «Прекрасной Даме» появились в начале века.* – Сб. А. А. Блока «Стихи о Прекрасной Даме» вышел в Москве в 1904 г.

...отобразилось в Софии, Премудрости Божией. – Учение о Софии – центральное в философской системе Соловьева, «единство истинное, не противополагающее себя множественности, не исключающее ее, но... все в себе заключающее» («Россия и вселенская церковь». М., 1911. С. 303 – 304).

...в романтической его пьесе... – Имеется в виду «Роза и Крест» (1913) Блока.

...превратилось в «Незнакомку». – «Незнакомка» – персонаж одноименных стихотворения и пьесы (1906) Блока.

С. 319. *Андрей Белый времен «Симфоний»*. . – Имеются в виду лирико-драматические повести Белого, написанные ритмической прозой: «Северная симфония» (1-я, героическая, 1900, опубл. в 1904), «Симфония» (2-я, драматическая; 1901, опубл. в 1902), «Возврат» (3-я симфония; 1902, опубл. в 1905), отрывки из неоконченной «четвертой симфонии» (альманах изд-ва «Гриф», 1903) и примыкающая к «симфониям» повесть «Кубок метелей» (1908).

В одной из этих поэм есть даже образ (фантастический) Владимира Соловьева. – Соловьев является автору в симфонии «Драматической » (в ч. 2 и 4).

Антропософия – религиозно-мистическое вероучение о нравственном самоусовершенствовании; антропософы поклонялись не Богу, а обожествленному человеку. Основатель антропософии – немецкий мистик Рудольф Штейнер (1861 – 1925), организовавший в 1913 г. «Всеобщее антропософское общество».

О его <Блока> *записях касательно Спасителя и Апостолов лучше и не вспоминать* – Речь идет о дневниковых записях Блока от 5 – 11 января 1918 г., посвященных книге Э. Ренана «Жизнь Иисуса»; здесь же поэт делает наброски своей пьесы об Иисусе Христе, в которых библейские события и лица предстают в кощунственном отображении.

С. 320. *«Желтая опасность»* – так Соловьев называет предполагаемую им неизбежность столкновения христианства с исламом и другими восточными религиями (см. стихотворение «Панмонголизм», 1894 и «Три разговора»; 1900).

«Повесть об Антихристе» (1900) – одно из последних произведений Соловьева, входящее в книгу «Три разговора», в которой, как он поясняет, рассмотрен «вопрос о борьбе против зла и о смысле истории с трех различных точек зрения – религиозно-бытовой, культурно-прогрессивной и безусловно-религиозной».

. .*«золотой приятель – солнце»*. – Из рассказа Зайцева «Миф» (1906).

ЖАРКИЙ ВЕТР

Русская мысль 1954. 12 февр. № 632

С 321. *...пастушка из Домреми, взошедшая на костер за Францию.* – Имеется в виду Жанна д'Арк (см. Указатель имен).

...смиренная девочка Бернадетта пред Лурдским гротом.. – Как гласит легенда, во французском г. Лурде в 1858 г. произошло чудо: благочестивой девушке Бернадетте Субиру, дочери мельника, в пещере явилась Божия Матерь, сказав: «Я – непорочное зачатие». Тогда же возле пещеры открылся источник, признанный чудодейственным и исцеляющим. С той поры Лурд посещается тысячами паломников.

Маленькая Тереза (1873 – 1897) – святая Тереза Лизьеская, монахиня кармелитского монастыря, героиня одноименного философско-биографического эссе (1940) Д. С. Мережковского.

С. 322. *«Еммаусские братья»* – два ученика Христа; в Евангелии от Луки (гл. 24, ст. 13) рассказывается, как на пути в Еммаус (Эммаус, местечко вблизи Иерусалима) они встретились с таинственным странником, который оказался воскресшим Христом

«ДЕКАБРИСТЫ»

Русская мысль. 1954. 12 мая № 657 (с уточнениями по рукописи).

С. 323. *...у Константина Павловича, в Царстве Польском.* – Великий князь Константин Павлович (1779 – 1831) был с 1814 г. наместником Царства Польского.

...Сергей Муравьев, кто и детство свое провел в Париже. – Декабрист С. И. Муравьев-Апостол детство провел в Гамбурге, затем до 1802 г. воспитывался в парижском пансионе Хикса.

Где-то вдали таинственный Александр, прежний кумир... – Александр I – император России, в правление которого победоносно завершилась Отечественная война 1812 г.

...но вокруг Скалозубы... – Скалозуб – персонаж комедии Грибоедова «Горе от ума».

С. 324. *Каратаев Платон* – персонаж из «Войны и мира» Л. Н. Толстого.

Сквозник-Дмухановский – городничий из комедии Гоголя «Ревизор».

Собакевич – помещик из «Мертвых душ» Гоголя.

С. 325. *Держиморда* – полицейский из «Ревизора».

Волконский, столько просидевший в Сибири... – С. Г. Волконский 10 лет провел на каторге в Сибири и 10 лет в ссылке. Вслед за ним в Сибирь самопожертвенно последовала его жена Мария Николаевна (1805 – 1863), дочь героя Отечественной войны 1812 г. генерала Н. Н. Раевского.

Жуковскому не дано было... видеть на снегу растерзанное бомбой тело своего воспитанника... – Жуковский умер в 1852 г. Его бывший ученик император Александр II, осуществивший отмену крепостного права, был убит террористами-народовольцами в 1881 г.

В Промысел просто надо верить, как поверил в конце Иов. – См.: Книга Иова, гл. 42, ст. 5 и 6: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле».

МИЛЫЕ ПРИЗРАКИ

Русская мысль. 1954. 17 дек. № 720.

С. 329. *Станиславский, играя в Москве «Мнимого больного» или кавалера в гольдониевской «Трактирщице»...* – К. С. Станиславский осуществил постановку «Мнимого больного» Мольера в 1913 г., а «Хозяйку гостиницы» Карло Гольдони в 1914 г.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Русская мысль. 1955. 26 янв. № 731.

С. 331–332. *...эпоха «Вех», «Проблем идеализма», заквасившая нашу молодость.* – Религиозно-философские и публицистические сборники о русской интеллигенции «Проблемы идеализма» (под редакцией П. И. Новгородцева; 1902) и «Вехи» (1909) вызвали сенсационную, долго не утихавшую полемику (только с марта 1909 по февраль 1910 – 218 статей о «Вехах» в 80 газетах и журналах). Авторами статей выступили Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, М. О. Гершензон, А. С. Изгоев, Б. А. Кистяковский, П. Б. Струве, С. Л. Франк и др. Большинство из них в 1922 г. были изгнаны из России в эмиграцию, где с ними встречался Зайцев.

С. 332. *Если бы попал ныне в Женеву, вспомнили бы мы с Н. Н. Алексеевым...* – Правовед, философ и публицист Н. Н. Алексеев (см. Указатель имен) после

освобождения Югославии восстановил свое российское гражданство, но после ухудшения отношений между СССР и Югославией вновь эмигрировал и поселился до конца своих дней в Женеве.

С. 333. *«И в этот день мы больше не читали».* – Неточная цитата из «Божественной Комедии» Данте («Ад». Песнь 5). Эта строка в переводе Д. Минаева: «В тот день уже мы не читали». Эту же строку Зайцев перевел так: «В тот день мы больше не читали». Здесь Франческа да Римини рассказывает о том, как она с Паоло читала книгу о возлюбленном королевы, рыцаре «круглого стола» Ланчелоте и «о первом появлении нашей любви».

...рассказик для «Нового Пути»... – В общественно-политическом и литературном журнале «Новый путь» (1903 – 1904) Зайцев в 1904 г. опубликовал три рассказа: «Скопцы» (№ 7), «Тихие зори» (№ 11) и «Деревня» (№ 12).

.. пройти в Новый Университет. – Новым университетом назывался бывший дом Пашкова на Моховой, 18, выстроенный архитектором В. И. Баженовым. Николай II в 1832 г. выкупил это здание и передал университету.

Ушел, и не надо. – Зайцев числился студентом юридического факультета с 1902 по 9 марта 1907 г.

С. 334. *Общество Любителей Российской Словесности* – литературно-научное общество при Московском университете, созданное в 1811 г. Его первый председатель – Антон Антонович Прокопович-Антонский (см. Указатель имен).

Четырнадцатилетний Тютчев за перевод из Горация был выбран членом этого Общества. – Это событие случилось через шесть дней после того, как 22 февраля 1818 г. на заседании Общества А. Ф. Мерзляков прочитал стихотворение Ф. И. Тютчева «Вельможа. Подражание Горацию».

...замечательного «Уткинского сборника». – В «Уткинском сборнике» (М., 1804) впервые увидели свет письма В. А. Жуковского к Н. И. Тургеневу, А. П. Киреевской, А. П. Зонтаг, королю Пруссии Вильгельму IV, а также письма Маши Протасовой (в замужестве Мойер), племянницы Жуковского (в нее поэт был безнадежно влюблен) и ее матери Е. А. Протасовой.

В 1909 г. Общество избрало меня своим членом. – В «Словаре Общества Любителей Российской Словесности 1811 – 1911» (М., 1911) значится, что Зайцев был избран действительным членом Общества 15 декабря 1907 г.

С. 335. *...как в Румянцевской.* – Румянцевский музей образован в Москве в 1852 г. на основе коллекций и библиотеки Николая Петровича Румянцева (1754 – 1826), министра иностранных дел. Музей был закрыт в 1925 г.; его художественные фонды переданы в другие музеи, а библиотека стала частью нынешней Российской государственной библиотеки (РГБ).

Итальянские и об Италии книги уезжали в Притыкино вместе со мной... – Зайцев много раз бывал в Италии, изучал ее культуру и искусство, восторженно писал о ней (см. его книгу «Италия»). В апреле 1918 г. он вместе с П. П. Муратовым, А. К. Дживелеговым, Б. А. Грифцовым стал основателем в Москве Studio Italiano («Итальянского общества»).

ДЕЛА ЛИТЕРАТУРНЫЕ

Русская мысль. 1955. 5 авг. № 786.

С. 339. *Синай* – гора, на которой пророк Моисей получил десять заповедей Иисуса Христа, написанных на двух каменных плитах.

ФЛОБЕР В РОССИИ

Русская мысль. 1955. 10 нояб. № 819. Первая ред. очерка: Возрождение. 1930. 11 мая. № 1804 (под рубрикой «Дневник писателя»).

С. 339. *...в Париже возникла Коммуна.* – Парижская Коммуна провозглашена восставшими парижанами 18 марта 1871 г., после поражения Наполеона III во франко-прусской войне (император позорно сдался в плен вместе со 100-тысячной армией).

С. 340. Перевел «Юлиана Милостивого», «Иродиаду». – Переводы И. С. Тургенева повестей Г. Флобера «Легенда о св. Юлиане Милостивом» и «Иродиада» опубликованы в «Вестнике Европы», 1877, № 4. Начиная с 1880 г. переводы включались в собрания сочинений Тургенева (вплоть до последнего в 30 т. Полного собр. соч. М.: Наука, 1982. Т. 10).

Флобер попал в книгу Мережковского «Вечные спутники». – Имеется в виду книга Д. С. Мережковского «Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы» (Пб., 1897). Первым – «пробным» – очерком будущего цикла жизнеописаний считается сразу замеченный критиками «Старый вопрос по поводу нового таланта», посвященный А. П. Чехову (Северный вестник. 1888. № 41). В этом этюде ясно определилась та творческая манера Мережковского, которой он станет руководствоваться, создавая свою знаменитую книгу. Чеховская новеллистика помогла ему понять, что «ум наш слишком охотно погружается в подробности, для нас – в мелочах микроскопических, не уловимых обыкновенным глазом, таится самая сущность, душа предмета». Портреты русских и зарубежных классиков, созданные Мережковским, новаторски отличались именно этим качеством: вниманием к неожиданным и всегда новым, отысканным усердием и талантом писателя деталям, фактам, эпизодам, играющим в судьбах его героев вовсе не второстепенную роль. Более того, тенденциозный, субъективный выбор и подбор «деталей», озаренный личностным миропониманием писателя-мыслителя, превращали этюды в «маленькие исследования», по определению З. Н. Гиппиус. Зинаида Николаевна вспоминает, что «Вечные спутники» много раз переиздавались и сборниками, и серийными выпусками (по типу серии «Жизнь замечательных людей» издателя Н. Ф. Павленкова), а «в последние годы перед войной 14-го года книга была особенно популярна и даже выдавалась как награда кончающим средние учебные заведения». Помимо хорошо известных русских классиков сборник «Вечные спутники» увлекательно рассказывал о Марке Аврелии, Плинии Младшем, Монтене, Сервантесе, Кальдероне... «Написано блестяще, сухо, сдержанно, – отмечает Зайцев в очерке «Памяти Мережковского. 100 лет», – и очень по-другому, чем писали тогдашние писатели в толстых журналах. (Провинции никогда не было в Мережковском. Один из первых проветрил он восьмидесятые-девяностые годы, символисты доделали, маловато осталось от Скабичевских, да и Михайловский стал историей.) Проветривание связано было с тем, что Мережковский внутренне воспитывался уже и на Европе – в образе ее истинной культуры, – а доморощенности в нем никакой не было».

С. 341. *Царица Савская* – легендарная царица Сабейского царства. В Библии рассказывается о том, как она, услышав о славе Соломона, явилась к нему в Иерусалим, чтобы загадками испытать царя, и была изумлена его мудростью (Третья Книга Царств, гл. 10, ст. 1 – 13).

Чтобы лучше войти во всяких гностиков, Валентинов и Василидов... – Основатели одной из самых известных гностических школ в Риме Валентин (ум. в 160 г. на Кипре) и Василид (жил в Александрии во II в.) – философы-гностики.

С. 341. *Словарь Миня* – очевидно, имеется в виду «Теологическая энциклопедия», а также комментированное издание в латинской (220 т.) и греческой (161 т.) сериях творений отцов церкви (от II до XV в. включительно), осуществленное в 1844 – 1866 гг. французским аббатом Жаком Полем Минем (1800 – 1875). Каждая книга сопровождалась монографическими статьями об авторах и предметными указателями. Всего им издано около 2000 объемистых томов.

С. 342. *...«Шиповник» затеял его* <Флобера> *собрание сочинений.* – Издательство З. И. Гржебина «Шиповник» в 1913 – 1915 гг. предприняло издание полного собрания сочинений Флобера, но выпустить удалось только пять томов.

...не хватало только «Бувара и Пекюше» – помешала война. – «Бувар и Пекюше» (1881) – неоконченный роман Флобера.

НОВЫЙ ГОД

Русская мысль. 1956. 26 янв. № 852 (с уточнениями по рукописи).

С. 343. *Пришел в гости внук.* – Внук Зайцева – Михаил Андреевич Соллогуб (р. 1945), ныне профессор Сорбонны и Московского университета. Второй внук писателя – Петр Андреевич (р. 1948).

О, память сердца! Ты сильней // Рассудка памяти печальной... – Первые строки стихотворения К. Ф. Батюшкова «Мой гений» (1815).

Там Валентин Кожевников издавал «Правду» – марксистский журнал. – «Правда» – ежемесячный журнал искусства, литературы, общественной жизни, издававшийся В. А. Кожевниковым с 1904 по февраль 1906 г. В этом журнале напечатаны два рассказа Зайцева – «Мгла» (февр. 1904) и «Сон» (апр. 1904).

С. 344. *Бенуа... «Хозяйка гостиницы» в его декорациях у Станиславского.* – А. Н. Бенуа сотрудничал с Московским Художественным театром в начале 1910-х гг. «Зимний сезон 1913 – 1914 гг., – рассказывает художник, – у меня прошел в Москве, где я был главным образом поглощен своей постановкой «Хозяйки гостиницы» («La Locandiera») Гольдони. Если я скажу, что для этой пятиактовой, но все же не Бог знает какой длинной комедии пришлось произвести (того требовала обязательная тщательность постановок в Московском Художественном театре) сто двадцать пять (!) репетиций, если я прибавлю, что я был не только автором декораций, но и постановщиком-режиссером, то станет ясно, до какой степени я весь ушел в эту работу, увенчавшуюся полным успехом» (Бенуа А. Мои воспоминания. М.: Наука, 1990. С. 524).

Подыши же еще немного... – Неточно цитируются строки, которыми начинается и заканчивается стихотворение Ф. Сологуба без названия: «Подыши еще немного // Тяжким воздухом земным...». Написанное 30 июля 1927 г., за четыре месяца до мучительной кончины (поэт умер 5 декабря), это стихотворение считалось последним. Однако выявлены еще два стихотворения, написанные позже, 1 октября: «Согласятся все историки...» и «Предо мной обширность вся» (они опубликованы в кн. «Неизданный Федор Сологуб». М.: Новое литературное обозрение, 1997). Приведем последнее:

Предо мной обширность вся.
Я, как все, такой же был.
Между прочим родился,
Между прочим где-то жил.

Повстречалась красота, –
Между прочим полюбил.
Не придет из-под креста, –
Между прочим позабыл.
Ко всему я охладел.
Догорела жизнь моя.
Между прочим поседел,
Между прочим умер я.

С. 345. *«Беспокойная юность»* (1955) – ч. 2-я автобиографической эпопеи К. Г. Паустовского «Повесть о жизни»; ч.1-я «Далекие годы» (1945), ч. 3 «Начало неведомого века» (1957), ч. 4-я «Время больших ожиданий» (1959), ч. 5-я «Бросок на юг» (1960) и ч. 6 «Книга скитаний» (1963).

«Золотая роза» (1956) – повесть Паустовского о литературе, о «прекрасной сущности писательского труда».

С. 347. *...И острый Сириус блистая.* – Из стихотворения И. А. Бунина «Сапсан» (1905).

«Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной...» – Начальная фраза рассказа Зайцева «Улица св. Николая».

МЮНХЕН

Русская мысль. 1957. 7 февр. № 1014 (с уточнениями по рукописи).

С. 348. *Иль только сон воображенья...* – Из стихотворения Пушкина «Фонтану Бахчисарайского дворца» (1824).

С. 350. *...литературный кабачок Кэтти Кобус – Андрей Белый там заседал.* – О кабачке Катти Кобус А. Белый рассказал в последней книге мемуарной трилогии «Между двух революций» (1935): «Симплициссимус» был местом сбора художников из «Симплициссимуса» (журнала), а стал – местом сбора богемы. . Еще в 1923 году я нередко в Берлине слыхал: «Как! И вы там сидели? Так мы – земляки!» Иллюстрированный сатирический еженедельник «Симплициссимус» был основан в 1896 г.

С. 351. *Мюнхенская Пинакотека* – художественные музеи европейской живописи и скульптуры XVIII – XX вв. (Новая Пинакотека) и живописи эпохи Возрождения (Старая Пинакотека).

ПИСЬМО РЕМИЗОВУ

Русская мысль. 1957. 6 июня. № 1078.

О ПАСТЕРНАКЕ

Русская мысль. 1958. 29 марта. № 1192.

С. 353. *Помню его еще по Москве, в 21 – 22 гг.* – Сын Пастернака Евгений Борисович об этом пишет так: «С Зайцевым Пастернака познакомил еще в Москве Б. Пильняк, весной 1921 года он принес ему показать «Детство Люверс», которое тот высоко оценил. На прощанье Зайцев пожелал Пастернаку «написать что-нибудь такое, что он бы полюбил», и эта счастливая по простоте формулировка потребности в художестве, – писал Пастернак 10 января 1923 года

Полонскому, – стала внутренним импульсом начала работы» (П а с т е р н а к Е. Материалы для биографии. М , 1989. С. 374 – 375).

С. 353. *...главы из «Детства Люверс».* – Повесть «Детство Люверс» впервые опубликована в альманахе «Наши дни» (М., 1922. Кн. 1), затем вошла в книги «Рассказы» (1925) и «Воздушные пути» (1933).

В 22 – 23 гг. встречался с Пастернаком в Берлине. – В Берлине в гостях у Зайцева Пастернака застал В. Л. Андреев после его совместного выступления с Маяковским в кафе «Леон», а также в кафе Ландграф, где по воскресеньям собирались А. Белый, В. Ф. Ходасевич, П. П. Муратов, Р. О. Якобсон, И. Г. Эренбург, В. Б. Шкловский и др.

С. 354. *...стихи в том же «Докторе Живаго». На евангельские темы!* – «Стихотворениями Юрия Живаго» (их 25) Пастернак закончил свой роман «Доктор Живаго»; восемь из них посвящены библейским темам: «На Страстной», «Август», «Рождественская звезда», «Чудо», «Дурные дни», «Магдалина-I», «Магдалина-II», «Гефсиманский сад».

ИЗГНАНИЕ

Русская мысль. 1958. 1 нояб. № 1285.

С. 356. *«Поэт! не дорожи любовию народной...»* – Цитата из стихотворения Пушкина «Поэту».

НАШ КАЗАНОВА

Русская мысль. 1959. 3 февр. № 1325 (с уточнениями по рукописи).

С. 359. *Попрощались и с Вячеславом Ивановым.* – Вяч. И. Иванов скончался в Риме 16 июля 1949 г. (см. очерк о нем в т. 6. Мои современники).

Иль только сон воображенья // В пустынной мгле нарисовал... – Из стихотворения Пушкина «Фонтану Бахчисарайского дворца» (1824).

«РОВНО СТО ЛЕТ»

Русская мысль. 1959. 25 авг. №1412 (с уточнениями по рукописи, озаглавленной «Столетие Гамсуна»).

С. 361. *...он* <Гамсун> *о России написал целую книгу.* – Кнут Гамсун в России был осенью 1899 г. Писатель посетил Петербург, Москву, побывал в городах Закавказья. В 1903 г. издал путевые заметки «В сказочной стране».

«Русские ведомости» (1863 – 1918) – политическая и литературная газета, издававшаяся в Москве.

БЫЛОЕ

Русская мысль. 1959. 29 окт. № 1440 (с уточнениями по рукописи).

С. 365. *...Толстой – автор статьи «Что такое искусство?»...* – Трактат Л. Н. Толстого «Что такое искусство?» был опубликован в журнале «Вопросы философии и психологии» в ноябре – декабре 1897 г. и январе – феврале 1898 г. Трактат привлек всеобщее внимание субъективным взглядом на произведения

мировой классики. Толстой пишет: «Только благодаря критикам, восхваляющим в наше время грубые, дикие и часто бессмысленные для нас произведения древних греков: Софокла, Эврипида, Эсхила, в особенности Аристофана, или новых: Данте, Тасса, Мильтона, Шекспира; в живописи – всего Рафаэля, всего Микеланджело с его нелепым «Страшным судом»; в музыке – всего Баха и всего Бетховена с его последним периодом, стали возможны в наше время Ибсены, Метерлинки, Верлены, Малларме, Пювис де Шаваны, Клингеры, Бёклины, Штуки, Шнейдеры, в музыке – Вагнеры, Листы, Берлиозы, Брамсы, Рихарды Штраусы и т. п., и вся эта огромная масса ни на что не нужных подражателей этих подражателей».

ПАСТЕРНАК О СЕБЕ

Русская мысль. 1959. 8 дек. № 1457.

С. 367. *...отец художник-портретист, близкий к Толстому...* – Леонид Осипович Пастернак (1862 – 1945) – живописец, книжный график, иллюстрировавший произведения Л. Н. Толстого. Один из учредителей Союза русских художников. С. 1921 г. в эмиграции.

С. 368. *Одно время Борис Леонидович собирался даже стать музыкантом.* – В «Охранной грамоте» Пастернак вспоминает: «Больше всего на свете я любил музыку, больше всех в ней – Скрябина. Музыкально лепетать я стал незадолго до первого с ним знакомства. К его возвращенью (из-за границы. – *Т. П.*) я был учеником одного поныне здравствующего композитора (Р. М. Глиэра. – *Т. П*). Мне оставалось еще только пройти оркестровку. Говорили всякое, впрочем, важно лишь то, что, если бы говорили и противное, все равно, жизни вне музыки я себе не представлял» (Пастернак Б. Собр. соч: В 5 т. Т. 4. М., 1991. С. 154).

«В годы основных и общих нам всем потрясений...». – Цитата из письма Пастернака к дочери Зайцева Н. Б. Зайцевой-Соллогуб от 29 июля 1959 г. (опубл. в кн.: Ивинская О. В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком. Париж, 1978. С. 329).

КОНЧИНА ПАСТЕРНАКА

Вестник РСХД, 1960, № 57.

УХОД ПАСТЕРНАКА

Литературно-художественный и общественно-политический альманах «Мосты». Мюнхен, 1960. № 5.

С.369. *«Пожелайте мне, чтобы ничто непредвиденное извне не помешало ходу работы».* – Из письма Пастернака Зайцеву от 4 октября 1959 г. Речь идет о пьесе «Слепая красавица», над которой работал Пастернак, но завершить не успел.

<СТАРЫЕ – МОЛОДЫМ>

Коллективный сб. «Старые – молодым». Мюнхен: Изд-во Центрального объединения политических эмигрантов из СССР (ЦОПЭ), 1960, 1962, и в кн.: Зайцев Б. Голубая звезда. Сост. О. Н. Михайлов. Тула, 1989.

С. 372. *«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».* – Евангелие от Луки, гл. 2, ст. 14.

«ВОСЕМЬДЕСЯТ СТУПЕНЕЙ»

Русская мысль. 1961. 18 марта. № 1657.

С. 373. *...покаянная нота «Золотого узора» моего...* – «Золотой узор» (Прага, 1926) – второй роман Зайцева.

НЕПРЕХОДЯЩЕЕ

Русская мысль. 1961. 19 сент. № 1736.

С. 375. *Лиза Калитина* – героиня романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» (1859).

Очерк из советской жизни Аллы Кторовой. – Зайцев цитирует очерк А. Кторовой «Домрабыня. Сцены московской жизни», опубликованный в № 7 за 1961 г. литературно-художественного и общественно-политического альманаха «Мосты» (Мюнхен, изд-во Центрального объединения политических эмигрантов из СССР – ЦОПЭ). Этот номер посвящен 80-летию Зайцева. Алла Кторова – писательский псевдоним Виктории Ивановны Кочуровой, в замужестве Шандор. Коренной москвичке в 1958 г. удалось первой, выйдя замуж за американского летчика, вырваться за «железный занавес» и поселиться в США. Она – автор 15 книг.

С. 376. *...Дантевская энциклопедия, Крауе, Скартаццини.* – Трехтомную «Дантевскую энциклопедию» (Милан, 1896 – 1905) создал Дж. Скартаццини. Франц Ксаверий Краус (1840 – 1901) – немецкий католический богослов и археолог; автор монографии «Данте» (1897).

С. 377. *«Ни разу не позволяли мне .. собственных предисловий».* – Из письма Пастернака от 28 мая 1959 г.

«Божественной Комедии» пришлось ждать Гутенберга – т. е. ждать изобретения книгопечатания. Иоганн Гутенберг (между 1394 – 1399 или в 1406 – 1468) в середине XV в. напечатал первую книгу в Европе – Библию.

...издание, если не ошибаюсь, Альдо Мануция... – Альд Мануций Старший (ок. 1450 – 1515) – итальянский издатель, типограф, ученый-гуманист эпохи Возрождения. Основатель издательской фирмы Альдов в Венеции (1494), просуществовавшей около 100 лет. Его дело продолжили сын Паоло (1512 – 1574) и внук Альд Младший (1547 – 1597). Среди изданий Мануциев – немало шедевров книгопечатного искусства.

С. 378. *И трактат «De Monarchia»?* – Политический трактат Данте о разделении церкви и государства «Монархия» (1312 – 1313) вошел в том «Малые произведения» (М.: Наука, 1968. Серия «Литературные памятники»).

ПУТНИКАМ В РОССИЮ

Вестник РСХД. Париж; Нью-Йорк, 1961. № 61.

ТРИ КОМЕТЫ. (Слово на Пушкинском вечере 6 мая)

Русская мысль. 1962. 19 мая.

С. 381. *Трастеверинки* – жительницы римского квартала Трастевере на правом берегу Тибра.

С. 382. *...наш Пушкин, тоже тайком похороненный в дальнем монастыре.* – Поэт был тайно вывезен из Петербурга и похоронен в Святогорском монастыре, на могильном кладбище Ганнибалов-Пушкиных (с. Михайловское в Псковской обл.).

С. 382. *...он был... «взыскательный» художник...* – См. в стихотворении Пушкина «Поэту»: «Всех строже оценить умеешь ты свой труд // Ты им доволен ли, взыскательный художник?»

С. 383. *И с отвращением читая жизнь мою...* – Последняя строфа стихотворения Пушкина «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день...»; 1828).

УШЕДШЕМУ

Вестник РСХД. Париж; Нью-Йорк, 1962, № 66/67.

ДНИ <ЗАПИСИ 15, 17, 19 МАРТА>

Русская мысль. 1963. 13апр. № 1981.

С. 386. *...вычитал у Некрасова (не старого, а теперешнего)...* – В. П. Некрасов (см. Указатель имен).

...сам позировал ему <Н. А. Андрееву> *для бюста...* – Бюст Зайцева, выполненный Н. А. Андреевым, хранится в Третьяковской галерее.

С. 387. *«Дом Талызина»* – московский дом А. П. Толстого на Суворском бульваре, 7а, где скончался Гоголь.

С. 388. *Вот Некрасов побывал в Италии, захватив с собой «Образы Италии» Муратова...* – Об этом написал Виктор Некрасов (см Указатель имен) в одном из путевых очерков. Трехтомник П П Муратова «Образы Италии», многократно издававшийся, посвящен Зайцеву.

С 389. *Прощай, лазурь Преображенская ..* – Из стихотворения «Август», входящего в роман Пастернака «Доктор Живаго» (Ч. 17. «Стихотворения Юрия Живаго»).

С 390. *«Не единым хлебом жив будет человек» – такое название книги у «них» уже было.* – Имеется в виду роман Владимира Дмитриевича Дудинцева «Не хлебом единым» (журнал «Новый мир», 1956), подвергшийся разносу тенденциозных критиков: по указке властей они увидели в книге очернение действительности.

ДНИ <ЗАПИСИ 12, 13, 17, 21 МАЯ>

Русская мысль. 1963. 20 июня № 2010.

С. 391. *...у Чуковского очень много о Чехове (в кн. «Современники»).* – Имеется в виду книга «Чехов» (1957), много раз издававшаяся, в том числе в его сборнике «Современники. Портреты и этюды» (М., 1963).

ДНИ<АХМАТОВА>

Русская мысль. 1964. 7 янв. № 2096 (с уточнениями по рукописи).

С. 394. *«Бродячая собака»* (1911 – 1915) – литературно-артистическое кабаре-театр в Петербурге (Михайловская пл , 5), основателем и режиссером-распорядителем которого был Борис Константинович Пронин (1875 – 1946), актер МХТ и драматического театра В. Ф. Комиссаржевской.

...декадентская девица Паллада .. Кузмин сочинил о ней стишки... – Паллада (Палладия) Олимповна Богданова-Бельская (1885 – 1968), урожд Старынкевич, в замужествах также Падди-Кабецкая, Дерюжинская и Гросс – поэтесса и актриса; в 1910-е гг. была хозяйкой литературного салона и популярным

завсегдатаем кабаре-театра «Бродячая собака». Ей, утонченной и артистичной, посвящали свои стихи М. Кузмин, И. Северянин, Г. Иванов, Б. Садовской и др.; она – прототип героини романа Кузмина «Плавающие-путешествующие» и повести О. Морозовой «Одна судьба».

С. 396. *Хотела бы всех поименно назвать...* – У Ахматовой: «Хотелось бы всех поименно назвать...»

С. 397. *Хор ангельский великий час восславил...* – У Ахматовой: «Хор ангелов...»

ТУРГЕНЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Русская мысль. 1964. 21 мая. № 2154 (с уточнениями по рукописи).

ДНИ <ЗАПИСИ 11, 13, 20 НОЯБРЯ 1964>

Русская мысль. 1964. 17 дек. № 2244.

С. 401. *...«Судьба загадочна».* – Из афоризма Марка Аврелия «Судьба загадочна, слава недостоверна».

С. 402. *...моя очередь пришла позже, в 1916 г.* – Зайцев был призван в армию и направлен на учебу в Александровское училище в Москве, которое он окончил в 1917 г., незадолго до октябрьского переворота.

Позже воздвигал монумент Сталину («Петр I»). – «Петр I» – незавершенный исторический роман А. Н. Толстого, над которым писатель работал с 1929 по 1945 г.

С. 403. *...прочитывает несколько страниц из «Афона» моего (по-итальянски, конечно).* – Книга странствия Зайцева «Афон» (1928) на итальянском языке (в переводе Ринальдо Кюфферле) вышла в Милане в 1933 г.

С. 404. *Пастернак за эту премию получил... дикое облаивание в России.* – Б. Л. Пастернаку в 1958 г. за роман «Доктор Живаго» была присуждена Нобелевская премия, однако партийные власти вынудили писателя отказаться от нее. Тогда же последовали многие десятки публикаций в газетах и журналах, в которых люди, не читавшие роман, яростно его обругивали. «Доктор Живаго» в СССР впервые издан в 1988 г. Нобелевский диплом был вручен сыну писателя Е. Б. Пастернаку только в 1990 г.

Он же (Сартр) *сам говорит: «не желаю».* – Сартр отказался от Нобелевской премии (1964), поскольку Нобелевский комитет до этого по политическим мотивам не присудил премию Луи Арагону.

СЕМЬ ВЕКОВ <ДАНТЕ>

Русская мысль. 1965. 6 февр. № 2266 (с уточнениями по рукописи).

С. 405. *И трактат «De Monarchia»?* – «Монархия» – политический трактат Данте.

«Божественную Комедию» недавно перевел Лозинский... – М. Л. Лозинский создавал свой перевод «Божественной Комедии» в 1939 – 1945 гг.

С. 406. *...Гарибальди... добился Виктора Эммануила и Кавура, объединения Италии.* – Вождь Рисорджименто, итальянского народно-освободительного движения, Джузеппе Гарибальди, добившись победы, привел к власти в 1861 г. первого короля объединенной Италии Виктора Эммануила II (1820 – 1878) и премьер-министра его правительства Камилло Бенсо Кавура (1810 – 1861).

С. 406. *...молодые поэты «dolce stil nuovo»...* – «Дольче стиль нуова» (*ит.*: «Сладостный новый стиль») – итальянская поэтическая школа куртуазной лирики конца XIII в., объединившая поэтов Г. Гвиницелли, Г. Кавальканти, молодого Данте и др.

...«Черные» против «Белых»... – Имеются в виду гвельфы (сторонники римских пап), разделившиеся в борьбе за власть в Италии XII – XV вв. на Черных («партия» феодалов) и Белых («партия» богатых горожан).

С. 407. *...великий знаток Данте – Скартаццини...* – Дж. А. Скартаццини – автор трехтомной «Дантевской энциклопедии» (Милан, 1896 – 1905).

С. 408. *Минотавров, Харонов здесь нет, но подземелье...* – В греческой мифологии Минотавр – чудовище-человекобык; Харон – перевозчик покойников в подземном царстве мертвых Аиде.

«УХОДЫ»

Русская мысль. 1965. 1 апр № 2289 (с уточнениями по рукописи).

С. 411. *Вспомнился собственный рассказ...* – Рассказ «Изгнание» впервые опубликован в «Вестнике Европы», 1911, № 12.

ДАВНЕЕ. ПУТЬ-ДОРОГА

Русская мысль. 1965. 24 апр. № 2299.

С. 417. *...в стране Улисса.* – Улисс – латинская форма имени Одиссея, древнегреческого царя острова Итака, героя поэмы Гомера.

КНИГИ, КНИГИ ..

Русская мысль. 1966. 24 февр. № 2430 (с уточнениями по рукописи).

С. 418. *Писарев честно сознался, что «не понимает характера Зинаиды»...* – Это «признание» о героине рассказа Тургенева «Первая любовь» княжне Зинаиде Писарев сделал в статье «Писемский, Тургенев, Гончаров».

С. 419. *Он и в Пушкине ничего не понимал...* – С позиций антиэстетизма Д. И. Писарев в 1860-е гг. в серии статей развернул кампанию по ниспровержению не только пушкинского наследия (по его мнению, «имя Пушкина сделалось знаменем неисправимых романтиков и литературных филистеров». – «Пушкин и Белинский»; 1865), но и Гете, Бетховена, Моцарта, Рафаэля, Рембрандта, Вальтера Скотта, Купера, Дюма.

Добролюбов увидел в Зинаиде «нечто среднее между Печориным и Ноздревым в юбке». – Цитата из статьи Добролюбова «Луч света в темном царстве».

Аполлон Григорьев по-другому написал, по-человечески... – Ап. Григорьев в «Критическом обозрении» отметил: «...читают с трепетом наслаждения «Первую любовь», хоть в ней ничего нет ни обличающего, ни поучительного – ничего, кроме порыва, благоухания и поэзии» (Светоч. 1861. № 1).

...поданы под маркиза де Сада. – Т. е. в духе сексуальных извращений, которыми полны романы маркиза де Сада (см. Указатель имен).

С. 420. *...журнал «Russia», 1923 г. Там... мой рассказ.* – Рассказ Зайцева «Смерть» в переводе Этторе Ло Гатто опубликован в итальянском журнале «Russia» в № 1 за 1924 г.

С. 420. *...огромное предприятие – «История русской литературы».* – Этот многотомный труд Ло Гатто создавал с 1928 по 1942 г., дополняя его в дальнейшем новыми главами (7-е изд вышло в 1990 г.). Справедливо считается, что Ло Гатто более, чем кто-либо другой, открыл итальянцам русскую литературу и культуру.

НА ВЕСАХ

Русская мысль. 1966. 21 мая. № 2467 (с уточнениями по рукописи).

С. 424. *...детскую душу потрясавший и разными «Неточками Незвановыми».* – «Неточка Незванова» – роман Достоевского.

...«детство, отрочество, юность». – В кавычках название трилогии Л. Н. Толстого.

...«на половине странствия нашей жизни»... – Этой строкой начинается «Божественная Комедия» Данте («Ад» в переводе Зайцева, Песнь первая).

С. 427. *В Анне Григорьевне своей нашел он мир домашний...* – А. Г. Достоевская, урожд. Сниткина (1846 – 1918) – жена Ф. М. Достоевского; автор «Дневника» и книги «Воспоминания» (1925).

С. 429. *«Кана Галилейская»* – название главы в романе Достоевского «Братья Карамазовы».

ДНИ <О КАМЮ И ВЕЙДЛЕ>

Русская мысль. 1966. 4 авг. № 2499 (с уточнениями по рукописи).

С. 431. *Раскольников* – герой романа Достоевского «Преступление и наказание»

С. 434. *«Тебе, Флоренция! Тебе, таинственная родина души...».* – Цитаты из очерка Зайцева «Флоренция» (см. т. 3).

ПЕРЕЧИТЫВАЯ БУНИНА

Русская мысль. 1967. 6 июля. № 2642.

С. 435. *«Петрополис»* – кооперативное книжное издательство, основанное 1 января 1918 г. в Петрограде. С 1924 г. – в Берлине. В 1937 г. «Петрополис» издал роман Зайцева «Заря» из его тетралогии «Путешествие Глеба».

С. 438. *...правя корректуры «Ватека»...* – Арабская сказка У. Бекфорда «Ватек» в переводе Зайцева вышла в 1912 г. В 1967 г. этот перевод запрещенного и не издаваемого в России Зайцева был включен в сборник «Фантастические повести» (серия «Литературные памятники»).

О ГОРЬКОМ И О БЫЛОМ

Русская мысль. 1967. 9 нояб. № 2669 (с уточнениями по рукописи).

PRO DOMO SUA (ИЗ ДАВНЕГО)

Русская мысль. 1968. 20 апр. № 2683.

С. 446. *Pro domo sua* (В защиту своего дома) – так называлась речь, которую произнес возвратившийся из изгнания Цицерон, в которой великий ора-

тор античности потребовал признать незаконным постановление о конфискации его дома.

С. 447–448. *...над возраставшей рукописью «Дальнего края».* – «Дальний край» – первый роман Зайцева (М.: изд-во К. Ф. Некрасова, 1915).

С. 448. *«Бескровная», за ней кровная.* – Имеются в виду Февральская революция 1917 г. и события после октябрьского большевистского переворота.

...жизнь Данте – Бальбо, Декамерон... – Граф Чезаре Бальбо (1789 – 1853) – историк; в 1848 г. министр-президент Сардинии. Автор книги «Жизнь Данте» (1839). «Декамерон» – сборник новелл Дж. Боккаччо.

ОТКРЫТИЕ

Русская мысль. 1968. 16 мая. № 2687.

С. 450 *А я по-прежнему, смиренный, // Забытый, кинутый в тени...* – Из ответного послания А. А. Фета «Полонскому» (1883), посвятившего ему стихотворение «Вечерние огни» (так Фет назвал свои последние сборники: вып. 1 – 4; 1883, 1885, 1888, 1891).

«Шепот, робкое дыханье, трели соловья...» (1850) – Знаменитое стихотворение Фета, вошедшее во все хрестоматии русской поэзии.

С. 451. *Для Добролюбовых и Шелгуновых, Скабичевских совсем неподходяще.* – Названы критики, искавшие в поэзии социальности, отклика на политическую потребу дня, от чего Фет, певец красоты человека и его возвышенных чувств, был очень далек.

.. за месяц или несколько дней до отчаянного вопля и перерезанного горла. – Последние годы Фета прошли в борьбе с недугами. По одной из версий, он пытался покончить жизнь самоубийством.

ПАУСТОВСКИЙ

Русская мысль. 1968. 25 июля. № 2696.

<О БУНИНЫХ>

Русская мысль. 1969. 17 апр. № 2734.

REQUIEM

Русская мысль. 1969. 5 июля. № 2741 (с уточнениями по рукописи).

С. 459. *Как таинственный посетитель Моцарта...* – Имеется в виду «человек в черном», посетивший Вольфганга Амадея Моцарта (1756 – 1791) незадолго до его смерти и заказавший композитору «Реквием».

ПОХВАЛА КНИГЕ

Русская мысль. 1970. 2 апр. № 2784.

С. 461. *...прочел я вслух жене всех Копперфильдов, Твистов ..* – Имеются в виду романы Ч. Диккенса (1812 – 1870) «Дэвид Копперфилд» и «Приключения Оливера Твиста».

С ТОЛСТЫМ

Русская мысль. 1970. 1 окт. № 2810 (с уточнениями по рукописи).

С. 465. *...знаменитое «Ты им доволен ли, взыскательный художник?»* – Из стихотворения Пушкина «Поэту» («Поэт! не дорожи любовию народной»; 1830)

Софья Андреевна – жена Л. Н. Толстого Софья Андреевна (1844 – 1919).

С. 466. *...после чтения автором чего-нибудь вроде «Василия Фивейского» или «Жизни Человека»...* – Л. Н. Андреев многие из своих произведений до публикации читал друзьям и кружковцам «Среды», в том числе повесть о сельском священнике, поднимающем бунт против Бога, «Жизнь Василия Фивейского» (1904, с посвящением Ф. И. Шаляпину) и драму «Жизнь Человека» (1907), вызвавшие острые споры.

С. 467. *Некогда Мережковский написал замечательную книгу о Толстом и Достоевском.* – Имеется в виду неоднократно переиздававшаяся книга Мережковского «Л. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество» (1901 – 1902).

С. 469. *И даль волшебную романа...* – Неточная цитата из романа «Евгений Онегин», гл. 8, строфа L. У Пушкина:

И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал.

БЫЛОЕ, МЕЛОЧИ

Русская мысль. 1971. 4 марта. № 2832.

С. 470. *«Религиозно-философские собрания»* – имеются в виду собрания Религиозно-философского общества, основанного Д. В. Философовым (председатель), Д. С. Мережковским, З. Н. Гиппиус и др. в 1901 г.

С. 471. *...модернистский журнал «Перевал», при издательстве «Гриф».* – Владельцем издательства символистов «Гриф» (1903 – 1914), выпускавшего книги, одноименный альманах (4 выпуска в 1903 – 1905 и 1914 гг.) и «журнал свободной мысли» «Перевал» (1906 – 1909), был поэт Сергей Алексеевич Соколов (1878 – 1936). Он печатался под псевдонимом Сергей Кречетов (в мемуарах, например у А. Белого, часто вспоминается под прозвищем «Гриф»). Зайцев в «Перевале» опубликовал рассказ «Молодые», рецензию «Горе от ума» на сцене Художественного Театра» и «Письма из Италии». В эмиграции Соколов основал берлинское издательство «Медный всадник».

С. 472. *Стилихон Флавий* (ок. 365 – 408) – римский полководец и государственный деятель.

.. в Нигидия Фигула, скромного персонажа времен Цицерона. – Нигидий Фигул – древнеримский грамматик и ученый, друживший с Цицероном. Умер в ссылке (изгнан Цезарем) в 45 г. до н. э. Автор сочинений по естествознанию, а также писал о религиозных прорицаниях и об истолковании сновидений.

СУДЬБЫ <ГУМИЛЕВ>

Русская мысль. 1971. 23 сент. № 2861.

С. 475. *...и самое страшное: был расстрелян Гумилев.* – Н. С. Гумилев 3 августа 1921 г. был арестован и 27 августа «как явный враг народа и рабоче-крестьянской революции» расстрелян вместе с 61 участником так называемого «таганцевского заговора». Вот что записал об этом 8 февраля 1968 г. П. Н. Лукницкий (1900 – 1973), настойчиво, с 1920-х гг., добивавшийся реабилитации Гумилева: «1-й заместитель Генерального прокурора СССР (М. П. Маляров. – *Т. П.*), после рассмотрения поданного мною заявления о посмертном восстановлении имени Гумилева и после изучения «дела» Н. Г., затребованного из архивов КГБ в прокуратуру, а также представленных мною материалов сказал мне: «Мы убедились в том, что Гумилев влип в эту историю случайно... А поэт он прекрасный... Его «дело» даже не проходит по делу Таганцевской Петроградской «боевой организации», а просто приложено к этому делу. Маляров также сказал мне, что «состав преступления» Н. Г. настолько незначителен, что «если б это произошло в наши дни, то вообще никакого наказания Н. Г. не получил бы...» (Лукницкая В. Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л., 1990. С. 265). Попутно – о нравах того времени: по свидетельству С. П. Лукницкого, его отца-ходатая, известного писателя, ветерана Гражданской и Великой Отечественной войн, прокурор Маляров принимал «положив на стол ноги, отдавая походя подчиненным распоряжения» (*там же* С 267).

...проберемся мимо власти к разным Нансенам, Гуверам . – Норвежский исследователь Арктики Фритьоф Нансен (1861 – 1930) в 1920 – 1921 гг был верховным комиссаром Лиги Наций по делам военнопленных и одним из организаторов помощи голодающим Поволжья. Герберт Кларк Гувер (1874 – 1964) в 1919 – 1923 гг. возглавлял «АРА» («ARA», сокр. от *англ.* American Relief Administration – «Американская администрация помощи»), которая также оказывала содействие России в ее борьбе с голодом в Поволжье. Гувер в 1929 – 1933 гг. стал 31-м президентом США.

С. 476 *В последнем «Вестнике Р.С.Х.Д. напечатано стихотворение Гумилева, предсмертное* . – Вестник РСХД. Париж, 1971 № 98.

С. 478. *обратившимся позже в Савла, Христом пораженного?* – Савл – имя апостола Павла до его обращения в христианство. О том, как гонитель христиан Савл стал учеником Христа и страстным проповедником его вероучения, повествуется в Библии: Деяния Апостолов, гл 9.

.. Гумилев, во времена «Аполлона»... – «Аполлон» (1909 – 1917) – литературно-художественный журнал, выходивший в Петербурге под редакцией С. К. Маковского. Объединял символистов, позднее – акмеистов. В нем печатались И. Ф. Анненский, Вяч. И. Иванов, В. Я Брюсов, А А Блок, Н. С Гумилев и др.

ДНИ

Русская мысль. 1972. 6 янв. № 2876 (последняя прижизненная публикация Б. К. Зайцева).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Наш алфавитный аннотированный Указатель основных имен является рзделом примечаний, в который вынесен необходимый мнинимум сведений о лицах, упоминающихся в текстах данного тома В указатель не включены имена эпизодичесские и многие из общеизвестных

Авксентьев Николай Дмитриевич (1878–1943) – общественно-политический деятель, публицист, мемуарист Член ЦК партии эсеров, в 1917 г министр внутренних дел Временного правительства С 1918 г в эмиграции. Соредактор парижского журнала «Современные записки» (1920–1940)

Адамович Георгий Викторович (1892–1972) – поэт, критик, переводчик С 1923 г. в эмиграции во Франции Автор книг «Одиночество и свобода» (1955), «Комментарии» (1967), статей и рецензий о Б К Зайцеве.

Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928) – критик-импрессионист, переводчик, автор знаменитого трехтомника «Силуэты русских писателей» (шесть раз переиздававшегося), в котором один из лучших очерков посвящен Б К. Зайцеву

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) – публицист, поэт, общественный деятель, журналист-издатель Его главный историко-литературный труд, неоднократно издававшийся, – книга «Федор Иванович Тютчев» (1874)

Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860) – публицист, критик, поэт, историк, лингвист, один из вождей славянофилов Сын С Т Аксакова.

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859) – прозаик, поэт, публицист, автор знаменитых книг «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» (1852), «Семейная хроника» (1856), «Детские годы Багрова внука» (1858), «История моего знакомства с Гоголем» (1880)

Алданов (наст фам Ландау) *Марк Александрович* (1886–1957) – прозаик, драматург, публицист русского зарубежья.

Александр I Павлович (1777–1825) – император России с 12 марта 1801 г

Александр II Николаевич (1818–1881) – император России с 19 февраля 1855 г

Александра Федоровна (наст имя Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина; 1798–1860) – дочь короля Пруссии Фридриха Вильгельма, с 1817 г. жена великого князя Николая Павловича, будущего императора России

Алексеев Александр Семенович (1851–1916) – профессор, декан юридического факультета Московского университета.

Алексеев Николай Николаевич (1879–1964) – в 1912–1917 гг. профессор правоведения в Московском университете, публицист. В эмиграции один из активистов евразийского движения, во время второй мировой войны участник Сопротивления. Автор трудов «Основы философии права» (Прага, 1924), «Евразийцы и государство» (Париж, 1928), «Теория государства» (Париж, 1928), «Пути и судьбы марксизма» (Париж, 1936) и др.

Альфьери Витторио, граф (1749–1803) – итальянский поэт и драматург, создатель национальной трагедии классицизма.

Анджелико Беато (собств. Фра Джованни да Фьезоле; ок. 1400–1455) – итальянский живописец эпохи Раннего Возрождения; представитель флорентийской школы.

Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) – прозаик, драматург, публицист, заведовал отделом в газете «Курьер», где опубликовал 15 июля 1901 г. первое произ-

ведение Зайцева – этюд «В дороге» Зайцев – автор нескольких мемуарных очерков об Андрееве.

Андреев Николай Андреевич (1873–1932) – скульптор, график, театральный художник; автор памятников в Москве Н. В. Гоголю (1909), А И Герцену и Н. П Огареву (1922), А Н Островскому (1929), а также скульптурного портрета Зайцева

Андреева Александра Михайловна, урожд Велигорская (1881–1906) – первая жена Л. Н. Андреева, мать будущего писателя Вадима Леонидовича (1902/1903–1976), умерла от послеродовой горячки, родив второго сына Даниила Леонидовича (1906–1959) – будущего выдающегося поэта и мыслителя, который в 1947 г. был вместе с семьей безвинно арестован и осужден на 25 лет за .. покушение на жизнь Сталина.

Андреева Анна Ильинична, урожд Денисевич, в первом браке Карницкая (1885–1948) – вторая жена Л Н Андреева, мать Саввы Леонидовича (1909–1970, артиста балета), Валентина Леонидовича (1912–?) и Веры Леонидовны, автора автобиографической дилогии «Дом на Черной речке» и «Эхо прошедшего» (М , 1986).

Андреева (в замужестве Бальмонт) *Екатерина Алексеевна* (1867–1950) – переводчица, знаток европейской и русской поэзии Автор книги «Воспоминания» (1997)

Андреева (наст фам. Юрковская, в первом браке Желябужская) *Мария Федоровна* (1868–1953) – актриса (с 1898 по 1905 в МХТ), вторая жена М Горького В 1919 г. вместе с Горьким и Блоком участвовала в создании Большого драматического театра в Петрограде В 1931–1948 гг директор московского Дома ученых

Аракчеев Александр Андреевич (1769–1834) – государственный деятель, с 1810 г председатель военного департамента Государственного совета и фактический руководитель государства С 1817 г. возглавлял управление военными поселениями.

Ариосто Лудовико (1474–1533) – итальянский поэт, автор поэмы в октавах «Неистовый Роланд» (1516).

Арсеньев Николай Сергеевич (1888–1977) – философ, богослов, культуролог, литературовед. В 1919 г дважды арестовывался С 1920 г в эмиграции

Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927) – прозаик, драматург, публицист, автор самого популярного в начале XX в романа «Санин» (опубл. 1907), вызвавшего судебные преследования автора в нескольких странах Европы за порнографию, которой, как выяснилось, в книге не было Произведения Арцыбашева обрели скандальную известность за художественную смелость, показавшуюся современникам эпатажно чрезмерной в изображении мира интимных человеческих чувств В эмиграции – соредактор варшавской газеты «За свободу!», в которой регулярно печатал «Записки писателя», изданные в двух томах (1925, 1927).

Аттила (ок. 434–453) – могущественный царь гуннов, возглавивший походы в Восточную Римскую империю, Галлию и Северную Италию.

Ахматова (наст. фам Горенко, в замужестве Гумилева) *Анна Андреевна* (1889–1966) – поэт.

Бабель Исаак Эммануилович (1894–1940) – прозаик, драматург. Известность писателю принесли сборники новелл о Гражданской войне «Конармия» (1926) и «Одесские рассказы» (1931) Безвинно подвергся репрессии.

Баженов Николай Николаевич (1857–1925) – профессор-психиатр, организатор Литературно-художественного кружка в Москве Автор книги «Психиатрические беседы на литературные и общественные темы» (1903).

Балмашев Степан Валерианович (1881–1902) – эсер-террорист, застреливший министра внутренних дел Д. С. Сипягина. Повешен.

Балтрушайтис Юргис Казимирович (1873–1944) – поэт, переводчик, театральный деятель, дипломат. Один из основателей издательства «старших» символистов «Скорпион» В 1921–1939 гг. – полномочный представитель Литвы в СССР, с 1939 г в Париже

Бальмонт Е А. – см. Андреева-Бальмонт

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) – поэт, критик, эссеист, переводчик, один из вождей русского символизма С 1920 г в эмиграции

Баратынский Евгений Абрамович (1800–1844) – поэт

Барро Жан Луи (1910– ?) – французский актер и режиссер. В 1940–1946 гг в «Комеди Франсез», затем создал собственную труппу

Батюшков Константин Николаевич (1787–1855) – поэт, глава анакреонтического направления в русской лирике

Бедный Демьян (наст. имя Ефим Алексеевич Придворов, 1883–1945) – поэт, автор стихотворных фельетонов, басен, песен.

Беккариа Чезаре (1738–1794) – итальянский просветитель, юрист, публицист, решительно выступавший против применения пыток и смертной казни Автор знаменитого трактата «О преступлениях и наказаниях» (1764)

Беклин Арнольд (1827–1901) – швейцарский живописец-символист, автор знаменитой картины-аллегории «Остров мертвых» (1880)

Бекфорд Уильям (1760–1844) – английский прозаик, автор фантастической повести «Ватек Арабская сказка», переведенной Зайцевым и изданной с предисловием П П Муратова.

Беллини Джованни (ок. 1430–1516) – итальянский живописец венецинской школы, автор картин на религиозные и мифологические темы

Белоусов Иван Алексеевич (1863–1930) – поэт, прозаик, переводчик, автор мемуарных книг «Воспоминания» (1926), «Ушедшая Москва» (1927), «Литературная среда Воспоминания. 1880–1928» (1928), «Писательские гнезда. Дома в Москве и подмосковные усадьбы, где родились, жили и умерли известные русские писатели» (1930)

Белый Андрей (наст имя и фам. Борис Николаевич Бугаев, 1880–1934) – поэт, прозаик, литературовед, мемуарист, теоретик символизма Автор книг лирической прозы «Северная симфония» (1-я, героическая; 1900), «Симфония» (2-я, драматическая; 1901), «Возврат» (3-я симфония; 1902), «Кубок метелей» (1908), романов «Серебряный голубь» (1909), «Петербург» (1913–1916), «Котик Летаев» (1917), «Записки чудака» (1922), сборников философско-культурологических исследований «Символизм» (1910) и «Арабески» (1911), «Мастерство Гоголя» (1934), трехтомника мемуаров «На рубеже двух столетий» (1930), «Начало века» (1933) и «Между двух революций» (1935), а также сборников стихов.

Бенкендорф Александр Христофорович, граф (1781 или 1783–1844) – государственный деятель, генерал от кавалерии. Участник подавления восстания декабристов С 1826 г. – шеф жандармов и главный начальник Третьего отделения.

Бенкендорф К. А. (1880–1953) – граф, автор мемуаров «Half a Life; The Reminiscences of a Russian Dentleman» (London, 1954).

Бенуа Александр Николаевич (1870–1960) – живописец, график, художник театра, теоретик и историк искусства, художественный критик, один из основателей (вместе с С. П. Дягилевым) художественного объединения «Мир искусства» (1900–1924) и одноименного журнала (1898–1904) в Петербурге. Автор книг «Возникновение «Мира искусства» (1928), «Жизнь художника» (1955), «Мои воспоминания» (ч 1–5, 1980) С 1926 г. в Париже.

Беранже Пьер Жан (1780–1857) – французский поэт, мастер песенного жанра

Бердяев Николай Александрович (1874–1948) – один из самых известных философов, критиков и публицистов Серебряного века и русского зарубежья, в 1922 г. выслан из России.

Беренсон Бернард (1865–1959) – американский историк искусства Основная работа «Живописцы итальянского Возрождения» (1952, рус. пер.–1956).

Бестужев-Марлинский Александр Александрович (псевд Марлинский, 1797–1837) – прозаик, критик, поэт, автор романтических повестей и рассказов. Творческая деятельность прервалась участием в восстании декабристов Был приговорен к смертной казни, замененной 20-летней каторгой В 1829 г переведен рядовым на Кавказ, где погиб в бою при высадке десанта на мыс Адлер.

Блок Александр Александрович (1880–1921) – поэт, критик, публицист; один из вождей русского символизма, высоко оценивший дебютные произведения Зайцева

Блуа Леон (1846–1917) – французский писатель.

Блюмкин Я. Г. – эсер-террорист, убивший 6 июля 1918 г. Вильгельма Мирбаха, посланника Германии в Москве.

Богров Д Г. – убийца П. А Столыпина, председателя Совета Министров России

Бодлер Шарль (1821–1867) – французский поэт, предшественник символизма Автор известного сборника «Цветы зла» (1857)

Боккаччо Джованни (1313–1375) – итальянский прозаик, гуманист Раннего Возрождения. Автор сборника новелл «Декамерон» (1350–1353, опубл. 1470) и книги «Жизнь Данте Алигьери» (ок. 1360, опубл 1477)

Боклевский Петр Михайлович (1816–1897) – художник-иллюстратор, работавший в жанре сатирического портрета литературного героя; автор принесших ему известность альбомов иллюстраций к произвдениям Гоголя, А. Н. Островского, П. И. Мельникова-Печерского и др.

Борджиа Чезаре (ок. 1475–1507) – правитель Романьи, сын римского папы Александра VI (одного из самых порочных и безнравственных), с которым создавал в Средней Италии государство с абсолютной властью, не брезгуя ради этой цели никакими средствами

Боттичелли Сандро (наст. имя Алессандро Филипепи, 1445–1510) – итальянский живописец эпохи Раннего Возрождения, автор рисунков к «Божественной Комедии» Данте.

Брандес Георг (1842–1927) – датский критик, историк литературы и публицист, автор статей о русских писателях (Тургеневе, Достоевском, Толстом, Горьком)

Брейгель Питер Старший (или «Мужицкий»; ок. 1525 и 1530–1589) – нидерландский живописей и рисовальщик, мастерски сочетавший фантастический гротеск, лиризм и эпичность.

Брейгель Питер Младший (прозван Адским; 1564–1635) – живописец, автор картин на исторические библейские сюжеты. Сын Брейгеля Старшего.

Брейгель Ян (прозван Цветочным; 1568–1625) – художник-миниатюрист, автор пейзажей и ландшафтов из Священного писания Сын Брейгеля Старшего

Брейгель Ян Младший (1601–1678) – последователь отца, Брейгеля Цветочного

Бриан Аристид (1862–1932) – в 1909–1931 гг. неоднократно назначался премьер-министром и министром иностранных дел Франции. Славился как яркий полемист и оратор. Лауреат Нобелевской премии мира (1926).

Британ Илья Александрович (псевд. Глеб Сорин и др ; 1885–1941) – поэт, прозаик, драматург, публицист, юрист В 1923 г. выслан из России. В 1941 г. арестован в Париже фашистами и расстрелян как заложник.

Брюсов Александр Яковлевич (1885–1966) – поэт, археолог, брат В. Я. Брюсова

Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924) – поэт, прозаик, драматург, критик, литературовед, переводчик, литературно-общественный деятель, один из вождей и теоретиков русского символизма Инициатор и руководитель ведущих органов символистов – издательства «Скорпион» (1899–1916) и журнала «Весы» (1904–1908), основанных С А Поляковым Брюсов – автор первой рецензии на дебютный сборник рассказов Зайцева, которая заканчивалась сбывшимся предсказанием « Вправе мы будем ждать от него прекрасных образцов лирической прозы, которой еще так мало в русской литературе» (рецензия опубликована в т. 1 нашего собрания)

Бугаев Николай Васильевич (1837–1903) – профессор математики, декан физико-математического факультета Московского университета, отец А. Белого

Будда – имя, под которым вошел в историю Сиддхартхе Гаутаме (623–544 до н. э), основатель одной из трех (наряду с христианством и исламом) мировых религий – буддизма.

Буйе Луи (1822–1869) – французский поэт из кружка «Парнас». близкий друг Г. Флобера.

Буйневич Т. К. – см Зайцева Т К.

Буйневич Юрий Михайлович (1894–1917) – сын сестры Зайцева Татьяны, офицер Измайловского гвардейского полка, зверски убитый в первый день Февральской революции Зайцев посвятил его памяти стихотворение в прозе «Призраки» (1917).

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) – философ, экономист, религиозный деятель, священник с 1918 г. В 1922 г выслан в эмиграцию

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859) – прозаик, журналист; издатель газеты «Северная пчела», журнала «Сын отечества» и др

Бунаков - см. И И Фондаминский

Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) – поэт, прозаик, переводчик, лауреат Нобелевской премии. Ближайший друг Зайцева.

Бунин Юлий Алексеевич (1857–1921) – публицист, литературно-общественный деятель; один из основателей и бессменный председатель литературного кружка «Среда» (1897–1916), директор Литературно-художественного кружка (с 1910) Брат И А Бунина

Валери Поль (1871–1945) – французский поэт.

Вандервельде Эмиль (1866–1938) – бельгийский социалист, в 1914–1937 гг. – член правительства Бельгии В 1922 г. приезжал в Москву на судебный процесс над партией левых эсеров в качестве их защитника.

Ватто Антуан (1684–1721) – французский живописец и рисовальщик.

Вейден – см. Рогир ван дер Вейден.

Вейдле Владимир Васильевич (1895–1979) – критик, историк искусства, публицист. В эмиграции с 1924 г. В 1925–1952 гг. преподаватель, профессор христианского искусства в парижском Богословском институте. Автор книг «Умирание искусства. Размышления о судьбе литературы и художественного творчества» (1936), «Безымянная страна» (1968), очерка о Зайцеве.

Веласкес (Родригес де Сильва Веласкес; 1599–1660) – испанский живописец

Велизарий (505–565) – полководец императора Восточной Римской империи Юстиниана I.

Вениамин (в миру Василий Павлович Казанский; 1873–1922) – архиепископ Петроградский и Ладожский, митрополит с августа 1917 г; с 26 января 1918 г. на-

стоятель Александро-Невской лавры 5 июля Петроградский губревтрибунал приговорил митрополита к расстрелу Реабилитирован в 1990, причислен к лику святых в 1992 г

Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861–1928) – популярная беллетристка (по отчетам библиотек, в начале 1910-х гг вышла по спросу на первое место) Особенно известен был ее романный цикл о людях искусства в шести книгах «Ключи счастья» (он был экранизирован в 1913 г Я Протазановым и В Гардиным)

Вергилий Марон Публий (70–19 до н э) – римский поэт, автор героического эпоса «Энеида» о странствиях троянца Энея – высшего достижения римской классической поэзии

Вердер Карл (1806–1893) – немецкий философ-гегельянец, его лекции И. С. Тургенев слушал во время своего «доучивания» в Берлинском университете в 1839–1840 гг Тургеневские записи лекций Вердера по философии Гегеля хранятся в Пушкинском доме (ИРЛИ)

Вересаев (наст фам Смидович) *Викентий Викентьевич* (1867–1945) – прозаик, литературовед, поэт-переводчик, автор «Воспоминаний» (1936)

Верлен Поль (1844–1896) – французский поэт-символист

Веселовский Александр Николаевич (1838–1906) – филолог, историк и теоретик литературы; автор фундаментального исследования «В А. Жуковский Поэзия чувства и «сердечного воображения» (1904)

Виардо Мишель Фернанда Полина, урожд Гарсиа (1821–1910) – французская певица и композитор, друг И. С. Тургенева

Вилье де Лиль-Адан Филипп Огюст Матиас (1838–1889) – французский прозаик и драматург, один из самых талантливых представителей символистской прозы; автор знаменитого сб «Жестокие рассказы» (1883)

Виньи Альфред Виктор де (1797–1863) – французский поэт-романтик, драматург

Витте Карл (1800–1883) – немецкий юрист и переводчик, знаток итальянской литературы, в 1862 г издал комментированный перевод на немецкий язык «Божественной Комедии» Данте

Витте Сергей Юльевич (1849–1915) – граф, государственный деятель, 1903 - 1906 гг председатель Кабинета министров, Совета министров Автор трехтомных «Воспоминаний»

Вишневский Александр Леонидович (1861–1943) – один из основных артистов МХТ (с 1898 г)

Вишняк Марк Вениаминович (1883–1975) – политический деятель, публицист, журналист, юрист, эсер Один из ведущих руководителей главного журнала эмиграции в Париже - «Современные записки» (1920–1940) и журнала «Русские записки» (1937–1939)

Воейкова Александра Андреевна, урожд Протасова (1795–1829) – племянница В А Жуковского, жена поэта, критика, издателя Александра Федоровича Воейкова (1779–1839)

Вознесенский Андрей Андреевич (р 1933) – поэт, публицист, мемуарист

Волконский Сергей Григорьевич (1788–1865) – декабрист, генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 г и заграничных походов 1813–1815 гг; награжден высшими орденами России. В 1826 г. приговорен в каторжные работы на 20 лет Амнистирован в 1856 г

Волошин (наст фам. Кириенко-Волошин) *Максимилиан Александрович* (1877–1932) – поэт, критик, художник, переводчик

Вольтер (наст имя Мари Франсуа Аруэ, 1694–1778) – французский прозаик и философ-просветитель

Врангель Петр Николаевич (1878–1928) – барон, один из главных руководителей белого движения в Гражданскую войну, генерал-лейтенант (1918). В 1918–1919 гг: в Добровольческой армии и Вооруженных силах Юга России, в 1920 г главком т н Русской армии, при нем создано «Правительство Юга России» С 1920 г эмигрант В 1924–1928 гг организатор и председатель антисоветского «Русского общевоинского союза» (РОВС)

Врубель Михаил Александрович (1856–1910) – живописец

Вышеславцев Борис Петрович (1877–1954) – философ, социолог, критик, публицист В 1914 г защитил диссертацию «Этика Фихте» В 1922 г выслан из России. Профессор Богословского института в Париже. Автор трудов «Проблемы русского религиозного сознания» (Берлин, 1924), «Этика преображенного эроса» (Париж, 1931), «Вечное в русской философии» (Нью-Йорк, 1955), «Философская нищета марксизма» (Франкфурт-на-Майне, 1957).

Вяземский Петр Андреевич, князь (1792–1878) – поэт, критик, мемуарист, автор «Записных книжек»

Гагарин Иван Сергеевич (1814–1882) – князь, дипломат, служивший с Тютчевым в Мюнхене и подружившийся с поэтом. Уехав в Петербург, он увлеченно занялся сбором стихов Тютчева Гагарину мы обязаны тем, что многие тютчевские творения не были утрачены Более двух десятков из них он отдал для публикации в пушкинский журнал «Современник» (1836) В 1843 г Гагарин покинул Россию, принял католичество и вступил в орден иезуитов

Гагарин Юрий Алексеевич (1934–1968) – летчик-космонавт, совершивший 12 апреля 1961 г первый в истории человечества полет в космос

Гамсун (наст. фам Педерсен) *Кнут* (1859–1952) – норвежский классик, лауреат Нобелевской премии (1920)

Ганецкий Иван Степанович (1810–1887) – генерал-адъютант, участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг, комендант Петербургской крепости

Гауптман Герхардт (1862–1946) – немецкий драматург, прозаик, глава немецкого натурализма Лауреат Нобелевской премии (1912)

Германова (Красовская) *Мария Николаевна* (1884–1940) – актриса МХТ в 1902 – 1919 гг.

Герцен Александр Иванович (1812–1870)

Герцык (Лубны-Герцык, в замужестве Жуковская) *Аделаида Казимировна* (1874–1925) – поэтесса, прозаик, переводчица, критик, автор мемуаров «Мои блуждания» (1915), книги «Подвальные очерки» (Рига. Ж-л «Перезвоны». 1926 № 25–27, здесь же предисловие Зайцева «Светлый путь Памяти А. Г») Сестра Евгении Казимировны Герцык (1878–1944), переводчицы, критика, автора книги «Воспоминания» (М , 1996).

Гессен Иосиф Владимирович (1865–1943) – публицист, адвокат; лидер партии кадетов, депутат Государственной думы; рдактор газеты «Речь. В эмиграции издал многотомный «Архив русской революции» (1921– 1937) и мемуары «В двух веках» (1937) и «Годы изгнания Жизненный отчет» (1979) Один из основателей (вместе с А. И Каменкой и В Д Набоковым) берлинской газеты «Руль» (1920–1931) и издательства «Слово»

Гëте Иоганн Вольфганг (1749–1832) – основоположник немецкой литературы нового времени

Гиббон Эдуард (1737–1794) – английский историк, автор 14-томной «Истории упадка и разрушения Римской Империи» (1776–1788)

Гиляровский Владимир Алексеевич (1853–1935) – прозаик, автор очерков книг «Трущобные люди» (1887), «Москва и москвичи» (1926) и др.

Гиппиус Зинаида Николаевна, в замужестве Мережковская (1869–1945) – поэт, критик (под псевд Антон Крайний), прозаик; выдающийся представитель «старших» символистов Автор рецензий о книгах Зайцева Дом Гиппиус и ее мужа Мережковского был и в России, и в эмиграции центром литературной жизни

Глаголь (наст. фам Голоушев) *Сергей Сергеевич* (1855–1920) – врач, художник, публицист, театральный критик. Автор книг «Художественная галерея Третьяковых», «И. И Левитан, его жизнь и творчество», «Очерки по истории искусства в России» и др «Душа» кружка «Среда» «Жизнь его была полет сумбурный», - вспоминал Зайцев

Гойя Франсиско Хосе де (1746–1828) – испанский живописец и гравер

Гоголь Николай Васильевич (1809–1851)

Гольдони Карло (1707–1793) – классик итальянской драматургии.

Гомер – легендарный древнегреческий эпический поэт, который считается автором поэм «Илиада» и «Одиссея».

Гончаров Иван Александрович (1812–1891) – прозаик

Гораций Квинт Гораций Флакк (65–8 до н э) – римский поэт

Городецкая Надежда Даниловна (1901–1985) – прозаик, литературовед, теолог, журналист, доктор философии В эмиграции с 1919 г В 1924–1934 гг. в Париже. В 1956–1968 гг преподавала русскую литературу в Оксфордском университет (Англия)

Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967) – поэт-акмеист, прозаик, драматург, переводчик Громко заявил о себе первой же книгой «Ярь» (1906), вызвавшей ажиотажный интерес (восторженные отклики К И Чуковского, Вяч. И. Иванова и др) Его акменстской «программой» стал сборник стихов «Цветущий посох» (1914)

Горский Александр Васильевич (1814–1875) – протоиерей, доктор богословия, профессор и ректор Московской духовной академии Автор исследования «Описание славянских рукописей московской синодальной библиотеки» и др. трудов.

Горький Максим (наст имя и фам Алексей Максимович Пешков; 1868–1936).

Гославский Евгений Петрович (1861–1917) – прозаик, драматург, поэт, участник «Сред»

Грей Томас (1716–1771) – английский поэт, представитель сентиментализма.

Гржебин Зиновий Исаевич (1877–1929) – издатель, художник-график, один из основателей петербургского издательства и альманаха «Шиповник» (1906–1918) и Издательства З И Гржебина в Берлине, в которых печатались многие произведения и книги Зайцева, в том числе его собрание сочинений.

Грибоедов Александр Сергеевич (1790 или 1795–1829)

Григорий Палама (1296–1359) – инок Афона, митрополит Солунский; отличался ревностным служением православию, за что был причислен к лику святых

Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899/1900) – прозаик, автор «Литературных воспоминаний» (1892–1893)

Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864) – поэт, литературный и театральный критик, автор романсов «О, говори хоть ты со мной », «Цыганская венгерка» и др

Грифцов Борис Александрович (1885–1950) – критик, искусствовед, литературовед, переводчик.

Грузинский Алексей Евгеньевич (1858–1930) – филолог, переводчик, педагог С 1886 г преподавал на Высших курсах Герье и в Московской консерватории, с 1911 г – профессор Московского университета В 1907–1930 гг – председатель Общества Любителей Российской Словесности

Гуарте (Huarte, Guardia) *Хуан* (1520–1580) – испанский мыслитель и врач

Гужон Жан (ок. 1510 – между 1564–1568) – французский скульптор эпохи Возрождения.

Гумилев Николай Степанович (1886–1921) – поэт, критик, переводчик, один из ведущих акмеистов Первые сборники стихов «Путь конквистадоров» (1905), «Романтические цветы» (1908) и «Жемчуга» (1910) – книги символиста, навеянные глубоким чувством к А А. Ахматовой и ей посвященные По ее словам, «он поверил в символизм, как люди верят в Бога». Однако в 1911 г Гумилев выступает основателем и лидером (вместе с Городецким) нового течения в поэзии – акмеизма. Первой акмеистической книгой стал его сборник «Чужое небо» (1912) Он также автор «Писем о русской поэзии» (1910–1917). Осенью 1920 г был вовлечен в «таганцевский заговор» (см В Н Таганцев) и 24 августа 1921 г приговорен к расстрелу

Гус Ян (1371–1415) – идеолог чешской Реформации Осужден церковным собором в Констанце и сожжен

Гюго Виктор Мари (1802–1885) – классик французского романтизма

Гюисманс Шарль Мари Жорж (1848–1907) – французский прозаик-натуралист

Гюрджян Акоп Маркарович (1881–1948) – армянский скульптор, в 1906–1910 гг учился в парижской академии Жюлиана и посещал мастерскую О Родена С 1921 г снова в Париже, где создал памятник Л Н Толстому

Дамиан – патер Дамиен (Дамьен, 1840–1889) – французский миссионер, поселившийся на одном из островов Гавайского архипелага в колонии прокаженных

Данте Алигьери (1265–1321) – итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка, автор шедевра мировой литературы – поэмы «Божественная Комедия» (Зайцев перевел ее первую часть – «Ад»)

Декарт Рене (1596–1650) – французский философ, математик, физик и физиолог.

Денисьева Анна Дмитриевна – инспектриса Смольного института благородных девиц, в котором учились дочери Тютчева Дарья и Екатерина

Денисьева Елена Александровна (1826–1864) – последняя любовь Тютчева.

Дёрнберг-Пфеффель – см. Э. Ф Тютчева

Дживелегов Алексей Карпович (1875–1952) – литературовед, театровед, автор трудов по искусству и литературе эпохи Возрождения

Джойс Джеймс (1882–1941) – ирландский писатель-авангардист, автор романа «Улисс» (1922), первого произведения литературы «потока сознания».

Джорджоне (наст имя Джорджо Барбарелли да Кастельфранко; 1476–1510) – итальянский живописец, представитель венецианской школы в искусстве Высокого Возрождения

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) – партийный и государственный деятель; с 1917 г. председатель ВЧК и нарком внутренних дел в 1919–1923 гг, с 1924 г председатель ВСНХ СССР

Диккенс Чарлз (1812–1870) – классик английской литературы

Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) – критик, публицист

Добужинский Мстислав Валерианович (1875–1957) – график, живописец, театральный художник, оформитель спектаклей, книг (в том числе Зайцева) и журналов «Мир искусства», «Золотое руно», «Аполлон».

Доде Альфонс (1840–1897) – французский прозаик; автор трилогии «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона» (1872–1890)

Доменико Венециано (до 1410–1461) – итальянский живописец эпохи Раннего Возрождения, представитель флорентийской школы

Донателло (собств Донатоди Никколо ди Бетто Барди, ок 1386–1466) – скульптор, представитель флорентийского Раннего Возрождения

Достоевская Анна Григорьевна, урожд Сниткина (1846–1918) – мемуаристка; автор «Дневника» и «Воспоминаний» Жена Ф М Достоевского

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881)

Дубельт Леонтий Васильевич (1792–1852) – генерал, с 1839 г – управляющий III отделением собственной его императорского величества канцелярии Оставил по себе недобрую память жестокими расследованиями

Дункан Айседора (1877–1927) – американская танцовщица, много раз гастролировавшая в России; вторая жена С А Есенина (с 1922 г)

Дымов Осип (наст имя Иосиф Исидорович Перельман, 1878–1959) – прозаик, драматург, журналист С 1913 г. - в США

Дюамель Жорж (1884–1966) – французский прозаик, поэт, драматург, литературовед, врач по профессии. Член Французской академии.

Дюрер Альбрехт (1471–1528) – немецкий живописец, рисовальщик, гравер, теоретик искусства Основоположник искусства немецкого Возрождения Автор серии гравюр на дереве «Апокалипсис» (1498), картины «Четыре апостола» (1426) и др

Дягилев Сергей Павлович (1872–1929) – театральный и художественный деятель; один из создателей (вместе с А. Н Бенуа) художественного объединения «Мир искусства» и соредактор одноименного журнала. Организатор «Русских сезонов» (с 1907) – выставок русской живописи, оперных и балетных спектаклей и концертов за границей (в основном в Париже) Создатель труппы «Русские балеты Дягилева» (1911–1929) Умер и похоронен в Венеции

Евлогий (в миру Василий Семенович Георгиевский, 1868–1946) – выдающийся церковный деятель русской эмиграции; в 1921–1946 гг. митрополит Западноевропейских Русских Церквей Один из основателей Русского Богословского института в Париже (Сергиевской Духовной академии) См о нем книгу Путь моей жизни Воспоминания митрополита Евлогия, изложенные по его рассказам Т Манухиной. Париж. YMCA-Press, 1947.

Евтушенко Евгений Александрович (р. 1933) – поэт, прозаик, переводчик.

Екатерина Сиенская (1347–1380) – святая католической церкви, монахиня доминиканского монастыря; приняв обет девства, предалась суровым постам, самобичеваниям и молитвам. Во время чумы 1374 г. самоотверженно служила больным. Автор «Книги божественного учения, или Диалоги о провидении Божием» (1378) и 373 писем, являющихся важными документами эпохи папства Урбана VI.

Елизавета Урбинская, урожденная Гонзаго (1471–?) – жена герцога Гвидобальдо Монтефельтре, покровительствовавшая искусствам.

Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854–1933) – прозаик, публицист, по образованию врач; автор «Воспоминаний за 50 лет» (1929).

Ельцова К. – см. Е. М. Лопатина.

Ельяшевич Василий Борисович (1875–1956) – правовед, историк, экономист, в эмиграции – профессор гражданского права Парижского университета.

Ельяшевич Ирина Васильевна – дочь В. Б. и Ф. О Ельяшевичей.

Ельяшевич Фаина Осиповна – жена В Б Ельяшевича. В имениях Ельяшевичей, в Ла-Пюжетт и в Бюсси-ан-От, гостили Зайцевы летом 1925, 1926, 1940–1943 гг. Дом и все владение в Бюсси-ан-От профессор Ельяшевич впоследствии подарил русским монахиням – «в память покойной жены» (Зайцев), ныне это православный монастырь Покрова Божией Матери

Ермилов Владимир Владимирович (1904–1965) – критик, литературовед, автор конъюнктурно-догматических статей о проблемах соцреализма и книг «А П Чехов» (1949), «Драматургия А П Чехова» (1954) и др

Ермолова Мария Николаевна (1853–1928) – трагедийная актриса, с 1871 г в Малом театре

Есенин Сергей Александрович (1895–1925) – поэт, активно участвовавший в литературной жизни Серебряного века, определявший своим творчеством развитие и утверждение в поэзии пушкинского начала. В 1919 г вошел в группу имажинистов со своей программой («Ключи Марии», 1918). «Имажинизм был формальной школой, которую мы хотели утвердить, – писал Есенин в своей последней автобиографии – Но эта школа не имела под собой почвы и умерла сама собой, оставив правду за органическим образом < > В смысле формального развития теперь меня тянет все больше к Пушкину».

Есипова Анна Николаевна (1851–1914) – пианистка и педагог, профессор Петербургской консерватории.

Жалю Эдмон (1878– ?) – французский прозаик-модернист и литературный критик.

Жанна д'Арк, Орлеанская дева (ок. 1412–1431) – народная героиня,возглавившая в Столетней войне (1337 –1453) борьбу французского народа против английских захватчиков. В 1429 г освободила Орлеан, но попала в плен к бургундцам, выдавшим ее англичанам. Враги обвинили ее в ереси и сожгли на костре Католической церковью причислена к лику святых (1920)

Жид Андре (1869–1951) – французский прозаик, поэт-символист Лауреат Нобелевской премии (1947)

Жуандо Марсель (1888– ?) – французский прозаик-модернист.

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) – поэт, переводчик. Зайцев написал о нем роман-биографию «Жуковский» (1951)

Зайцев Константин Николаевич (1849–1919) – отец Б. К. Зайцева, инженер, видный деятель промышленности, управляющий крупнейшими предприятиями центральной России. В последние двадцать лет возглавлял в Москве металлургический завод Гужона (с 1922 – «Серп и молот»)

Зайцева Вера Алексеевна, урожд Орешникова (1878–1965) – жена Б. К. Зайцева

Зайцева Надежда Константиновна, в замужестве Донзель (1878–1959) – сестра Б К Зайцева, ее муж Морис Донзель перевел на французский язык роман Зайцева «Золотой узор».

Зайцева Татьяна Васильевна, урожд. Рыбалкина (1844–1927) – мать писателя

Зайцева (в замужестве Буйневич) *Татьяна Константиновна* (1875–1936) – сестра писателя.

Зеньковский Василий Васильевич (1881–1962) – религиозный философ и теолог, священник с 1942 г Автор статьи

Злобин Владимир Ананьевич (1894–1967) – поэт, критик, публицист, мемуарист; с 1919 г литературный секретарь, наследник З Н. Гиппиус и Д С. Мережковского, секретарь литературного кружка «Зеленая лампа» (1927–1939).

Золя Эмиль (1840–1902) – классик французской литературы; создатель серии из 20 романов «Ругон-Маккары, Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи» (1871 - 1893)

Зуров Леонид Федорович (1902–1971) – прозаик, с 1929 г – личный секретарь и наследник архивов И. А Бунина.

Ибсен Генрик (1828–1906) – норвежский писатель, классик мировой драматургии.

Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) – поэт, драматург, филолог-классик, критик, теоретик символизма.

Ильин Владимир Николаевич (1891–1974) – философ, богослов, литературовед, критик, публицист, композитор, музыковед С 1919 г. в эмиграции

Ильин Иван Александрович (1883–1954) – философ, правовед, культуролог, публицист, критик. Автор многих трудов, издающихся ныне издательством «Русская книга» (вышло 11 томов).

Ириарте Шарль Эмиль (1832–1896) – французский историк, литературовед, искусствовед; автор книг об Италии (одна из самых популярных – «Жизнь знатных венецианцев», 1874, 1883, 1885)

Ириней Лионский (ок. 130–202) – церковный деятель, писатель-богослов; автор труда «Обличение и опровержение лжеименного знания» (известного под сокращенным названием «Против ересей») Погиб мученической смертью во время гонений христиан при Септимии Севере.

Кавиккиоли Джованни (?–1964) – итальянский поэт

Казанова Джованни Джакомо (1725–1798) – итальянский писатель; автор знаменитых «Мемуаров» (т 1– 12) о своих любовных и авантюрных приключениях.

Казанский В П. – см. Вениамин.

Казот Жак (1719–1792) – французский прозаик, поэт Казнен как заговорщик-роялист.

Калишевский Антон Иеронимович (1863–1925) – историк литературы, педагог, библиограф; с 1908 г заведовал библиотекой Московского университета

Каляев Иван Платонович (1877–1905) – эсер-террорист, убивший бомбой в 1905 г. великого князя Сергея Александровича. Повешен.

Каменев Лев Борисович (1883–1936) – большевик, занимавший высокие посты в СССР; репрессирован Сталиным. В одни годы с Зайцевым учился на юридическом факультете Московского университета.

Каменский Анатолий Павлович (1876–1941) – прозаик, драматург, киносценарист; один из представителей (вместе с М П. Арцыбашевым) «эротического» течения в литературе Серебряного века. В 1930 г. эмигрировал, но через пять лет вернулся и в 1937 г был арестован. Погиб в Ухтижемлаге.

Кант Иммануил (1724–1804) – родоначальник немецкой классической философии.

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) – историк, прозаик; основоположник русского сентиментализма. Основной труд – «История государства Российского» (т. 1–12; 1816–1829).

Карлейль Томас (1795–1881) – английский публицист, историк и философ, проповедовавший в своих знаменитых лекциях теорию «культа героев», истинных творцов истории.

Карпаччо Витторе (ок. 1455 – ок. 1526) – итальянский живописец; представитель венецианской школы Раннего Возрождения.

Карташев Антон Владимирович (1875–1960) – богослов, историк церкви; в 1917 г. обер-прокурор Святейшего Синода. После октябрьского большевистского переворота был арестован; в январе 1919 г. бежал за границу. С 1925 по 1960 г. – один из основателей и профессор Свято-Сергиевского Богословского института в Париже. Автор многих богословских трудов.

Кассиан (в миру Сергей Сергеевич Безобразов; 1892–1965) – церковный деятель и историк религии. С 1922 г. в эмиграции. Участник первых съездов Русского студенческого христианского движения (РСХД). С 1926 г. – профессор, с 1947 г. – ректор Сергиевского Богословского института в Париже и епископ Катанский В начале 1950-х гг. выполнил новый перевод Нового Завета.

Кастильоне, граф де Бальдассарре (1478–1526) – итальянский писатель эпохи Возрождения; автор знаменитого трактата в диалогах «Придворный» (1513–1518), ставшего кодексом идеального царедворца На русский язык трактат переведен другом Зайцева П. П. Муратовым.

Катон Марк Порций Цензорий, прозванный Старшим (234–149 до н. э) – консул в Древнем Риме, писатель, ратовавший за возврат к прежней строгости законов, правил и нравов. Автор сохранившегося трактата «О земледелии».

Кафка Франц (1883–1924) – австрийский прозаик-модернист.

Качалов (наст фам Шверубович) *Василий Иванович* (1875–1948) – актер МХТ с 1900 г.

Керенский Александр Федорович (1881–1970) – государственный и политический деятель, юрист, публицист. С марта 1917 г. министр юстиции, военный и морской министр, министр-председатель (с июля) Временного правительства, верховный главнокомандующий. С 1918 г. в эмиграции Редактор газеты «Дни» (Берлин, Париж 1922–1932), журнала «Новая Россия» (Париж, 1936–1940).

Киплинг Джозеф Редьярд (1865–1936) – английский прозаик и поэт.

Киприан (в миру Константин Эдуардович Керн; 1899–1960) – архимандрит, в 1936–1960 гг. профессор Богословского института в Париже.

Киреевская (во втором браке Елагина) *Авдотья Петровна* (1789–1878) – мать братьев Киреевских И. В. и П. В., лидеров славянофильства.

Кирилл (315–386) – проповедник, аскет, архиепископ Иерусалимский.

Клепинин Дмитрий Андреевич (1899–1941) – священник и общественный деятель; расстрелян фашистами за укрывательство евреев.

Климент Тит Флавий – пресвитер александрийской церкви, писатель конца II – начала III в.

Книппер-Чехова Ольга Леонардовна (1868–1959) – актриса МХТ с 1898 г Жена А П Чехова и первая исполнительница ролей в его пьесах.

Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) – историк, социолог, профессор Московского университета Автор мемуарных очерков об И. С. Тургеневе.

Коган Петр Семенович (1872–1932) – критик, историк литературы, переводчик; автор многотомников «Очерки по истории западноевропейской литературы» (1903–1910) и «Очерки по истории новейшей русской литературы» (1908–1911),

где одна из лучших глав – «Зайцев Молитвенное настроение в поэзии Зайцева Он – поэт радости Эпитеты Любовь Смерть Светлое в печальном» (т 3, вып 1 Современники М , 1910 С 174–182)

Кожевников Валентин Алексеевич (1867–1931) – инженер-путеец, редактор-издатель журнала «Правда» (1904–1906), газеты «Книговедение» и при ней еженедельника литературы и искусства «Зори» (1906) В его изданиях сотрудничал Зайцев.

Койранский Александр Арнольдович (1884–1968) – поэт, художник, литературный, художественный и театральный критик.

Кокошкин Федор Федорович (1871–1910) – юрист, публицист, лидер партии конституционных демократов (кадетов). В Московском университете преподавал государственное Убит матросами-анархистами

Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842) – поэт.

Константин Павлович, великий князь (1779–1831) – второй сын императора Павла I, участник Италийского похода А. В Суворова, командовал гвардией в Отечественной войне 1812 г Наместник Царства Польского.

Копельман Соломон Юльевич (1881–1944) – художник; основатель (вместе с З И Гржебиным – см.) и главный редактор петербургского издательства «Шиповник» (1906 - 1918), в одноименных альманахах которого печатался Зайцев

Корнель Пьер (1606–1684) – французский поэт и драматург-классицист.

Коровин Константин Алексеевич (1869–1939) – живописец, театральный художник.

Короленко Владимир Галактионович (1853–1921) – прозаик, публицист; с 1895 г. соредактор петербургского журнала «Русское богатство»

Корш Федор Адамович (1852–1932) – драматург, переводчик, владелец популярного театра в Москве

Кранах Лукас Старший (1472–1553) – немецкий живописец и график.

Краснокутский Василий Александрович – юрист, приват-доцент Московского университета

Крестинский Николай Николаевич (1883–1938) – дипломат, в 1921–1930 гг. был полпредом в Германии Репрессирован Сталиным.

Кречетов Сергей – см С А Соколов.

Кривошеин Александр Васильевич (1857–1921) – в 1908–1915 гг министр земледелия, управляющий Дворянским и Кредитным банками Руководил проведением Столыпинской реформы С 1920 г в эмиграции

Крылов Иван Андреевич (1769–1844) – баснописец, драматург, журналист

Кузмин Михаил Алексеевич (1872–1936) – поэт-акмеист, прозаик, критик, драматург, переводчик, композитор.

Кузнецова Галина Николаевна (1900–1976) – поэт, прозаик, мемуарист, с 1927 по 1942 г жила в Грассе в семье И А. Бунина Автор книги воспоминаний «Грасский дневник» (1967).

Куприн Александр Иванович (1870–1938) – прозаик, публицист, критик. С 1919 г. в эмиграции; в конце мая 1937 г вернулся в СССР

Курсинский Александр Антонович (1873–1919) – поэт; один из ранних символистов.

Ленский Александр Павлович (1847–1908) – актер, режиссер, педагог; с 1876 г. в Малом театре.

Леонов Леонид Максимович (1899–1994) – прозаик, драматург, публицист.

Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) – философ, прозаик, литературовед, публицист.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841).

Лерхенфельд Амалия Максимилиановна (1808–1888), в первом браке – баронесса Крюднер, во втором – Адлерберг; сводная сестра императрицы Александры Федоровны Ей Ф И Тютчев посвятил несколько стихотворений, в том числе - «К Б» («Я встретил вас – и все былое ..»; 1870), ставшее популярным романсом.

Лилина (наст. фам. Перевощикова) *Мария Петровна* (1866–1943) – любимая актриса А. П Чехова в МХТ; с 1889 г. – жена К. С. Станиславского (ей он посвятил свою книгу «Работа актера над собой». «Посвящаю свой труд моей лучшей ученице, любимой артистке и неизменно преданной помощнице во всех моих театральных исканиях».

Ло Гатто Этторе (1890–1983) – итальянский славист, друживший с Зайцевым и др писателями русского зарубежья, автор семитомной «Истории русской литературы» и мемуаров «Мои встречи с Россией» (М., 1992).

Лопатин Лев Михайлович (1855–1920) – философ, психолог; профессор Московского университета, редактор журнала «Вопросы философии и психологии»

Лопатина (псевд. К. Ельцова) *Екатерина Михайловна* (1865–1935) – прозаик; сестра Л М Лопатина После 1917 г. в эмиграции во Франции.

Лоррен Клод (1600–1682) – французский живописец, рисовальщик и гравер, мастер «идеального» пейзажа.

Лукулл Луций Лициний (ок 117– ок 56 до н. э) – римский полководец Один из самых богатых людей своего времени После отставки поселился в Риме, где устраивал пышные приемы («лукулловы пиры»)

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) – критик, публицист, драматург, с 1917 г. нарком просвещения.

Лунин Михаил Сергеевич (1787/88–1845) – декабрист, подполковник. Участник Отечественной войны 1812 г и заграничных походов Осужден на 20 лет каторги

Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) – князь, помещик, депутат 1-й Государственной думы В марте – июле глава Временного правительства В 1918–1920 гг возглавлял Русские политические совещания в Париже.

Людовик IX Святой (1226–1270) – король Франции, идеал рыцаря-христианина. В его правление достигли расцвета культура, искусство, церковь, завершено строительство храма Парижской Богоматери, основана Сорбонна.

Лютер Мартин (1483–1546) – деятель германской Реформации, выступивший против основных догматов католической церкви. Переводчик Библии на немецкий язык Основатель лютеранства, крупнейшего направления протестантизма.

Мазон Андре (1881–1961) – французский филолог-славист.

Малларме Стефан (1842–1893) – французский поэт-символист, критик, филолог.

Мальро Андре (1901–1976) – французский прозаик, философ и государственный деятель

Мамонтов Савва Иванович (1841–1918) – предприниматель, меценат, театральный деятель, режиссер, либреттист, переводчик. В своем подмосковном имении Абрамцево в 1870–1890 гг устроил мастерские для художников, где работали В М Васнецов, И. Е Репин, В. Д и Е. Д Поленовы, В. А. Серов, М. А Врубель, К. А Коровин, М. В Нестеров. В 1885 г. основал Московскую частную русскую оперу, сыгравшую новаторскую роль в совершенствовании русского музыкального театра.

Марлинский А. А. – см. Бестужев-Марлинский.

Мартынов Николай Соломонович (1815–1875) – майор в отставке, убийца Лермонтова.

Массне Жюль (1842–1912) – французский композитор, создатель лирических опер «Манон» (1884), «Вертер» (1886), «Таис» (1894), «героической комедии» «Дон Кихот» (1910), в которой заглавную партию исполнял Ф. И. Шаляпин.

Махалов (псевд Разумовский) *Сергей Дмитриевич* (1864–1942) – драматург, публицист, критик, театральный деятель. Один из учредителей «Книгоиздательства писателей» в Москве.

Мачтет Григорий Александрович (1852–1901) – прозаик, поэт

Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) – крупнейший поэт русского модерна. Дебютировал стихами «Ночь» и «Утро» в алманахе «Пощечина общественному вкусу» (1912), здесь же подписывает манифест кубофутуристов и вскоре становится во главе всего футуристического течения в литературе Серебряного века.

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940) – режиссер-новатор, актер МХТ (с 1898), театральный деятель. Необоснованно репрессирован

Мемлинг Ханс (1440–1494) – нидерландский живописец эпохи Раннего Возрождения

Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874–1934) – государственный и партийный деятель СССР; с 1926 г. возглавлял Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ), ведавшее охраной государственной безопасности.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) – прозаик, поэт, публицист, драматург, религиозный мыслитель Один из зачинателей русского символизма, издавший сборник стихов «Символы» (1892) и теоретическую работу «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893) Автор известных трилогий «Христос и Антихрист», «Царство зверя», дилогии «Рождение богов. Тутанхамон на Крите» и «Мессия», беллетризованных исследований «Наполеон», «Иисус Неизвестный», «Данте», книг «Л. Толстой и Достоевский», «Вечные спутники», «Грядущий хам», «Тайна Запада» и др.

Мерзляков Алексей Федорович (1778–1830) – критик, теоретик литературы, поэт, переводчик, педагог.

Мериме Проспер (1803–1870) – французский прозаик, драматург, переводчик.

Мерсье Дезире Жозеф (1851–1926) – бельгийский философ-неотомист, архиепископ (с 1906) и кардинал (с 1907), организовал благотворительную помощь эмигрантам из России, в том числе стипендии русским студентам Лувенского университета (Бельгия).

Метерлинк Морис (1862–1949) – бельгийский драматург, поэт-символист, критик, автор шедевра мировой драматургии – драмы «Синяя птица», впервые поставленной в 1908 г. на сцене МХТ. Лауреат Нобелевской премии (1911).

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – историк, публицист, политический деятель; один из основателей партии кадетов, председатель ее ЦК и редактор центрального органа «Речь» (до 1917 г); министр иностранных дел в первом составе Временного правительства. В Париже – председатель Союза русских писателей и журналистов (1922–1943; его сменил на этом посту Зайцев), редактор влиятельной эмигрантской газеты «Последние новости», с которой до 1927 г. сотрудничал Зайцев

Минский (наст. фам Виленкин) *Николай Максимович* (1855–1937) – поэт, философ, публицист, драматург, переводчик.

Мирабо Оноре Габриель Рикети (1749–1791) – граф, деятель Великой французской революции, сторонник конституционной монархии. С 1799 г – тайный агент короля.

Миролюбов Виктор Сергеевич (1860–1939) – оперный певец (в 1892–1897 гг. пел в Большом театре), с 1898 по 1906 г возглавлял «Журнал для всех». С 1910 г –

редактор горьковских сборников «Знание» и журнала «Современник» (вместе с А В. Амфитеатровым).

Мистраль Фредерик (1830–1914) – провансальский поэт Лауреат Нобелевской премии (1904)

Михайловский Николай Константинович (1842–1904) – публицист, социолог, критик, теоретик народничества В 1892–1904 гг. – редактор журнала «Русское богатство»

Модильяни Амедео (1884–1920) – итальянский живописец.

Мольер (наст. имя Жан Батист Поклен; 1622–1673) – французский комедиограф, актер, реформатор сценического искусства.

Мопассан Ги де (1850–1893) – французский прозаик

Мориак Франсуа (1885–1970) – французский прозаик, поэт, драматург, литературовед Лауреат Нобелевской премии (1952)

Моруа Андре (наст имя Эмиль Эрзог, 1885–1967) – французский прозаик, мастер беллетризованных жизнеописаний (Шелли, Байрон, Бальзак, Тургенев, Жорж Санд, Дюма-отец и Дюма-сын, Гюго)

Москвин Иван Михайлович (1874–1946) – актер МХТ с 1898 г

Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791) – австрийский композитор, дирижер, а также виртуозный клавесинист, скрипач, органист

Мочульский Константин Васильевич (1892–1950) – историк литературы, критик С 1919 г. в эмиграции. Автор очерка «Б. К. Зайцев» (1926) и книг «Владимир Соловьев. Жизнь и учение» (1932), «Духовный путь Гоголя» (1934), «Достоевский. Жизнь и творчество» (1947), «Александр Блок» (1948), «Андрей Белый» (с предисловием Зайцева; 1955), «Валерий Брюсов» (1962)

Муни (наст. имя и фам Самуил Викторович Киссин; 1888–1916) – поэт. Застрелился в Минске, где находился на военной службе. Близкий друг В. Ф. Ходасевича, написавшего о нем мемуарный очерк (в книге «Некрополь»).

Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1795–1826) – подполковник Черниговского пехотного полка, декабрист Один из основателей Союза спасения (1817–1818) и Союза благоденствия (1818–1821) Повешен 13 (25) июля вместе с П. И Пестелем, К. Ф Рылеевым, М П. Бестужевым-Рюминым и П Г. Каховским.

Муратов Павел Павлович (1881–1950) – искусствовед, историк, прозаик, литературный и художественный критик, драматург, публицист, переводчик. Автор неоднократно издававшейся книги «Образы Италии», посвященной Зайцеву, с которым Муратов дружил с начала века

Мусоргский Модест Петрович (1839–1881) – композитор.

Муссолини Бенито (1883–1945) – фашистский диктатор Италии в 1922–1943 гг. Был захвачен партизанами и казнен.

Мюллер Герман (1876–1927) – один из лидеров социал-демократической партии Германии; в 1919–1920 гг. – министр иностранных дел, затем рейхсканцлер.

Набоков Владимир Владимирович (псевд Сирин; 1899–1977) – прозаик, поэт, драматург, критик, переводчик.

Незлобин (Алябьев) *Константин Николаевич* (1857–1930) – актер, антрепренер, режиссер; основатель Театра Незлобина в Москве (с сентября 1909 г., режиссеры К. А. Марджанов и Ф. Ф. Комиссаржевский) и филиала в Петербурге (с 1911)

Некрасов Виктор Платонович (1911–1987) – прозаик; автор повести «В окопах Сталинграда» (1946), зарубежных очерков «Первое знакомство» (1958), «По

обе стороны океана» (1962), «Месяц во Франции» (1965), вызвавших критические нападки партийных властей и приведших к так называемому «делу Некрасова». После многочисленных допросов Некрасов в 1974 г. эмигрировал. В 1975–1982 гг. возглавлял журнал «Континент».

Некрасов Константин Федорович (1873–1940) – книгоиздатель (издал в 1915 г. первый роман Зайцева «Дальний край»). Племянник Н. А. Некрасова.

Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877) – поэт, прозаик, издатель журналов «Современник» и «Отечественные записки».

Нерон Клавдий Друз Германик Цезарь (37–68) – римский император с 54 г. Традиционно считается жестоким тираном, первым гонителем христиан.

Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942) – живописец, автор полотен на религиозные темы: «Пустынник» (1888–1889), «Видение отроку Варфоломею» (1889–1890), «Великий постриг» (1897–1898) и др.

Никитенко Александр Васильевич (1804–1877) – историк литературы, мемуарист, журналист, цензор.

Николай Павлович, великий князь – см. Николай I.

Ницше Фридрих (1844–1900) – немецкий философ, филолог, эссеист.

Новалис (наст. имя Фридрих фон Харденберг, 1772–1801) – немецкий поэт-романтик и философ.

Новгородцев Павел Иванович (1886–1924) – философ, правовед, социолог, с 1904 г. профессор Московского университета, с 1906 г. – директор и профессор Московского Высшего коммерческого института; один из основателей и лидеров конституционно-демократической партии, депутат I Государственной думы. Под угрозой ареста и расстрела бежал в 1920 г. за границу. Автор многих трудов, в том числе трижды переиздававшейся книги «Об общественном идеале» (1917).

Новик Исаак Данилович (1861–1924) – автор воспоминаний «Л. Н. Андреев. Первые шаги его литературной деятельности» (Вестник литературы, 1919, № 12).

Новиков Михаил Михайлович (1876–1965) – профессор-биолог, с 1917 г. – ректор Московского университета. В 1922 г. отправлен в изгнание. Один из организаторов Русского народного университета в Праге (1923).

Оболенский Евгений Петрович (1796–1865) – декабрист, приговоренный в вечную каторгу. Амнистирован в 1856 г.

Озеров Иван Христофорович (1869–1942) – экономист, профессор финансового права в Московском университете, член Государственного совета.

Омар Хайям (ок. 1048 – после 1122) – персидский и таджикский поэт, математик и философ.

Опекушин Александр Михайлович (1823–1886) – скульптор, автор памятников А. С. Пушкину в Москве (1880), М. Ю. Лермонтову в Пятигорске (1889) и др.

Орешников Алексей Васильевич (1855–1933) – историк, археолог, нумизмат, хранитель Исторического музея с 1887 по 1933 г.

Осоргин (наст. фам. Ильин) *Михаил Андреевич* (1878–1942) – прозаик, публицист, критик, переводчик, мемуарист. С 1906 по 1916 г. – корреспондент московской газеты «Русские ведомости» и журнала «Вестник Европы» в Италии. В 1921 г. по просьбе Е. Б. Вахтангова перевел в стихах пьесу Карло Гоцци «Принцесса Турандот», которая принесла славу и ему, и режиссеру, и театру. В 1922 г. выслан из России (см. об этом его очерк «Как нас уехали»; 1932). Автор романов «Сивцев

Вражек» (1928), «Свидетель истории» (1932), «Книга о концах» (1935), «Вольный каменщик» (1937)

Осоргина (Бакунина) *Татьяна Алексеевна* (1904–1995) – историк (исследовательница русского масонства), библиограф Третья жена М А Осоргина (с 1924) Редактор библиографии Б. К Зайцева (сост Рене Герра, Париж, 1980) Одна из составителей и редакторов библиографического издания «Русская эмиграция Журналы и сборники на русском языке 1920 – 1980 Сводный указатель статей» (Париж, 1988)

Остерман-Толстой Александр Иванович (1770–1857) – граф, генерал от инфантерии Один из полководцев в Отечественной войне 1812 г, герой Бородина и битвы под Кульмом (здесь потерял руку)

Островский Александр Николаевич (1823–1886) – классик русской драматургии

Павленков Флорентий Павлович (1839–1900) – книгоиздатель, в конце 1880-х гг начал издавать серию «Жизнь замечательных людей» (200 биографий) Завершил свою деятельность выпуском однотомного иллюстрированного «Энциклопедического словаря» (1899)

Панферов Федор Иванович (1896–1960) – прозаик, редактор журнала «Октябрь»

Парнок Софья (наст. имя Софья Яковлевна Парнах; 1885–1933) – поэт, переводчик.

Пастернак Борис Леонидович (1890–1960) – поэт, прозаик, переводчик Лауреат Нобелевской премии (1960) С 1920-х гг был знаком и дружески переписывался с Зайцевым, который написал о Пастернаке более десяти статей и очерков

Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968) – прозаик. Объясняя романтическую окрашенность своих книг, родственную лиризму Зайцева, Паустовский писал: «Романтическая настроенность не позволяет человеку быть лживым, невежественным, трусливым и жестким В романтике заключается облагораживающая сила» (Собр соч · В 6 т Т 1 М , 1957. С. 9)

Первухин Константин Константинович (1863–1915) – живописец, график, педагог

Петерсон Элеонора – см Э Ф. Тютчева

Петрарка Франческо (1304–1374) – итальянский поэт, родоначальник гуманистической культуры Возрождения; автор лирического дневника «Канцоньере» («Книга песен») – сборника сонетов, канцон, секстин, баллад, мадригалов на жизнь и смерть своей возлюбленной Лауры.

Пешкова Екатерина Павловна (1876–1965) – первая жена М Горького (с 1896). После переворота 1917 г. возглавляла Московский Политический Красный Крест, через который Горький пытался спасать (некоторых спасал) безвинно осужденных.

Пико делла Мирандола Джованни (1463–1494) – итальянский мыслитель и гуманист эпохи Возрождения. С 1488 г. входил во флорентийский кружок Лоренцо Медичи

Пильняк (наст фам. Вогау) *Борис Андреевич* (1894–1938) – прозаик, ставший жертвой сталинских репрессий.

Пинтуриккьо (наст. имя Бернардино ди Беттоди Бьяджо; ок 1454–1513) – итальянский живописец, представитель умбрийской школы Раннего Возрождения; создатель росписей в апартаментах Борджа в Ватикане.

Пиранделло Луиджи (1867–1936) – итальянский поэт, прозаик, драматург.

Платон (428 или 427–348 или 347 до н. э) – древнегреческий философ, основавший в Афинах свою школу - платоновскую Академию, которая объединяла его

последователей до середины VI в. н. э. и была возобновлена в эпоху Возрождения флорентийским философом Фичино.

Плетнев Петр Александрович (1792–1865) – поэт, критик, издатель, профессор русской словесности Петербургского университета, а с 1840 г. – его ректор Дружил с Пушкиным и Гоголем После гибели поэта редактировал его детище – «Современник». По поручению Гоголя издал его книгу «Выбранные места из переписки с друзьями»

Плещеев Алексей Николаевич (1825–1893) – поэт, в 1849 г. вместе с Ф. М Достоевским и другими членами кружка Петрашевского стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни, которую в последний момент заменили каторгой и ссылкой в солдаты. Один из первых заметил и высоко оценил талант А. П. Чехова (из их переписки сохранилось 60 писем Чехова и 53 письма Плещеева).

Плещеев Александр Алексеевич (1858– после 1935) – театральный критик, автор мемуаров «Что вспомнилось Актеры и писатели» (СПб, 1914). Сын поэта А Н. Плещеева

Погодин Михаил Петрович (1800–1875) – историк, прозаик, драматург, публицист; издатель журналов «Московский вестник» (1827–1830) и «Москвитянин» (1841–1856).

Полонский Яков Петрович (1819–1898) – поэт, прозаик.

Поляков Сергей Александрович (1874–1948) – переводчик, владелец московского издательства «Скорпион» (1900–1916), выпускавшего журнал «Весы» (1904–1909) и альманах «Северные цветы» (пять выпусков в 1900–1904 и 1911 гг).

Потапенко Игнатий Николаевич (1856–1929) – прозаик, драматург

Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954) – прозаик; создатель лирических произведений, в которых философски осмысляется жизнь человека и природы. Автор многотомных «Дневников».

Прокопович-Антонский Антон Антонович (1762–1848) – писатель, профессор естествознания в Московском университете, первый председатель Общества любителей российской словесности и инспектор Благородного университетского пансиона, где в 1797–1800 гг. учился В. А. Жуковский Общество закрыто в 1930 г

Пронин Борис Константинович (1875–1946) – актер МХТ и драматического театра В. Ф. Комиссаржевской, режиссер-распорядитель и основатель знаменитых литературно-артистических театров-кабаре в Петербурге «Дом интермедий» (1910–1911), «Бродячая собака» (1911–1915) и «Привал комедиантов» (1916–1919).

Пруст Марсель (1871– 1922) – французский прозаик; автор новаторского романного сериала «В поисках утраченного времени», в котором жизнь человека изображается как «поток сознания»

Пушкин Василий Львович (1766–1830) – поэт, переводчик Один из учредителей Общества любителей российской словесности при Московском университете, староста кружка «Арзамас», членом которого стал и его племянник А С Пушкин

Пушкина Наталия Николаевна, урожд Гончарова (1812–1863) – жена А. С. Пушкина, во втором браке (с 1844 г) Ланская.

Пятковский Александр Яковлевич (1840–1904) – критик и публицист; сотрудник журналов «Современник» и «Отечественные записки», автор пренебрежительных суждений о многих произведениях Л. Н. Толстого (см.: Современник, 1865, № 4. С. 323–329).

Раич Семен Егорович (1792–1855) – поэт, знаток и переводчик античной и итальянской поэзии, магистр словесных наук Московского университета Издатель альманахов «Новые Аониды» и «Северная лира», журналов «Галатея» и «Русский зритель». Домашний учитель Ф И Тютчева и в семьях сестер отца поэта -А Н. Надоржинской и Н Н Шереметевой Преподавал словесность в Университетском благородном пансионе, где учеником его был М Ю Лермонтов Раич в своей «Галатее» из номера в номер в 1829–1830 гг. печатал стихотворения Тютчева.

Разумовский Андрей Кириллович (1752–1836) – граф, позже князь, дипломат, меценат, скрипач, выступавший в Вене в квартете под руководством Бетховена. Великий композитор посвятил русскому дипломату несколько произведений

Расин Жан (1639–1699) – французский драматург, поэт, представитель классицизма.

Рафаэль (собств Раффаэлло Санти; 1483–1520) – итальянский живописец и архитектор Высокого Возрождения, оказавший огромное воздействие на европейскую живопись

Рахманинов Сергей Васильевич (1873–1943) – композитор, пианист, дирижер. В эмиграции с 1917 г. Жил в основном в Нью-Йорке.

Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957) – прозаик, драматург, критик, публицист, переводчик. В эмиграции с 1921 г.

Рильке Райнер Мария (1875–1926) – австрийский поэт, прозаик, эссеист, драматург.

Ропшин В – см Б В. Савинков.

Рогир ван дер Вейден (ок. 1400–1464) – один из крупнейших живописцев раннего нидерландского Возрождения.

Рогнедов Александр Павлович (? –1958) – импресарио в Киеве и Париже.

Роденбах Жорж (1855–1898) – бельгийский прозаик, поэт; видный представитель европейского символизма.

Рубенс Питер Пауль (1577–1640) – фламандский живописец, глава школы живописи эпохи барокко.

Рублев Андрей (род. ок. 1360–1370, ум в 1427 или 1430) – древнерусский живописец; один из создателей московской школы иконописи.

Руднев Вадим Викторович (1879–1940) – публицист, издатель; член ЦК партии эсеров. В апреле 1919 г. эмигрировал в Париж Один из основателей и редакторов журнала «Современные записки».

Руссо Жан Жак (1712–1778) – французский прозаик, поэт, драматург, философ.

Рындина Лидия Дмитриевна (наст. фам. Брыкина; 1883 – 1964) – актриса; вторая жена С. А. Соколова (см. Указатель имен).

Сабашников Михаил Васильевич (1871–1943) – основатель (вместе с братом Сергеем Васильевичем; 1873 –1909) Издательства Сабашниковых (1891–1930).

Савинков Борис Викторович (1879–1925) - прозаик, поэт (псевдоним В. Ропшин); один из лидеров эсеров, организатор многих террористических актов. В 1917 г – военный министр Временного правительства. Покончил с собой в тюрьме.

Сад Донасьен Альфонс Франсуа, маркиз де (1740–1814) – французский прозаик, философ, драматург, автор эротических романов «Жюстина, или Несчастья добродетели» (1791), «Алина и Валькур, или Философский роман» (1795) , сб. новел «Преступления любви, или Бред страстей» (1800) и др.

Садовская Ольга Осиповна (1849–1919) – актриса Малого театра, выступавшая вместе с М. Н. Ермоловой.

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826–1889) – прозаик, публицист, критик.

Самсонов Александр Васильевич (1859–1914) – генерал от кавалерии (1910). В 1914 г. в ходе Восточно-Прусской операции из-за предательства командующего 1-й армией П. К Ренненкампфа и бездействия командующего фронтом Я. Г. Жилинского 2-я армия Самсонова потерпела поражение. Самсонов, выходя из окружения, погиб (по одной из версий застрелился).

Сартр Жан Поль (1905–1980) – французский прозаик, философ, публицист, глава экзистенциализма. Лауреат Нобелевской премии, от которой отказался

Сапфо (Сафо; 7–6 вв. до н э) древнегреческая поэтесса с острова Лесбос, где организовала кружок знатных девушек и обучала их музыке, пению, стихосложению.

Сенека Луций Анней Младший (ок 4 до н э. – 65 н. э) – философ и писатель; воспитатель Нерона, который, став в 54 г императором, поручил консулу Сенеке руководство всей внутренней и внешней политикой. Он же, заподозрив предательство, послал учителю приказ покончить жизнь самоубийством Сенека – автор десяти трагедий и многих прославивших его имя философско-этических трактатов.

Серафим Саровский (в миру Прохор Исидорович Мошнин; 1759–1833) – иеромонах, один из самых почитаемых русских святых В сказаниях о нем говорится о том, что он совершил духовные подвиги отшельничества (16 лет), одинокого молчания (3 года), столпничества (тысячу дней стоял на камне, молясь) В 1810 г. вернулся в Саровский монастырь, где в веригах и власянице провел 10 лет затворником. Только после этого стал принимать жаждущих утешения и духовного исцеления В иные дни к нему приходило по нескольку тысяч верующих. Его память церковь отмечает 19 июля (1 августа н ст)

Сервантес Сааведра Мигель де (1547–1616) – испанский прозаик, автор шедевра мировой литературы – романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

Сергеев-Ценский (наст. фам. Сергеев) *Сергей Николаевич* (1875–1958) – прозаик, драматург, публицист.

Сергий Радонежский (в миру Владимир Кириллович; ок 1321–1391) – самый почитаемый русский святой, основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря. В историю России вошел как выдающийся церковный и государственный деятель, который поддерживал объединительную политику Дмитрия Донского, благословил князя на подвиг в Куликовской битве (1380), положившей начало освобождения Руси от монголо-татарского ига.

Серов Валентин Александрович (1865–1911) – живописец, автор серии портретных образов

Синьорелли Ольга Ивановна, урожд Ресневич (1883–1973) – хозяйка литературно-художественного и артистического салона в Риме, в котором бывали Зайцев, Вяч И. Иванов, П. П Муратов, М. Горький, К С Станиславский, С. П Дягилев, В. Э Мейерхольд, Н. С Гончарова, М Ф Ларионов и др ; переводчица на итальянский Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова, Блока, Белого и др Близкий друг великой итальянской актрисы Элеоноры Дузе, о которой написала книгу, переведенную на многие языки, в том числе на русский (М , 1975).

Сирин – см. Набоков В. В.

Скабичевский Александр Михайлович (1838–1911) – критик, историк литературы.

Скиталец (псевдоним Степана Гавриловича Петрова, 1869–1941) – поэт, прозаик.

Скрябин Александр Николаевич (1872–1915) – композитор, которому друживший с ним Вяч И. Иванов посвятил несколько статей и стихотворений.

Слоним Марк Львович (1894–1976) – критик, литературовед, публицист, переводчик, журналист В эмиграции с 1918 г В 1922–1932 гг соредактор эсеровского журнала «Воля России», в котором выступал с просоветских позиций

Соболь Андрей (наст имя Юлий Михайлович, 1888–1926) – прозаик Покончил с собой.

Соколов Сергей Алексеевич (псевдоним Сергей Кречетов, 1873–1936) – поэт, прозаик, критик, публицист, издатель, владелец издательства «Гриф» (1903–1915), редактор журнала «Перевал» В эмиграции с 1929 г В Берлине возглавлял издательство «Медный всадник» и одноименный альманах.

Соколов-Микитов Иван Сергеевич (1892–1975) – прозаик

Сократ (ок. 470–399 до н. э) – древнегреческий философ

Солдатенков Козьма Терентьевич (1818–1901) – книгоиздатель и владелец художественной галереи

Соллогуб Андрей Владимирович (1906–1996) – муж дочери Зайцева Натальи Борисовны Их свадьба состоялась 6 марта 1932 г

Соллогуб Михаил Андреевич (р 1945) – внук Зайцева, сын Н Б Зайцевой-Соллогуб, экономист, профессор Сорбонны

Сологуб (наст фам Тетерников) *Федор Кузьмич* (1863–1927) – поэт, прозаик, драматург, переводчик

Сорин Глеб - см. Британ И А

Стендаль (наст имя Анри Мари Бейль; 1783–1842) – французский прозаик, историк, мыслитель, публицист

Станиславский (наст фам Алексеев) *Константин Сергеевич* (1863–1938) – режиссер, актер, педагог, теоретик и реформатор театра, в 1898 г основал (вместе с Вл И Немировичем-Данченко) Московский Художественный театр (МХТ)

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911) – историк, владелец типографии и издатель журнала «Вестник Европы» (1866–1918).

Степун Федор Августович (1884–1965) – философ, прозаик, критик, теоретик театра и кино Автор двухтомных мемуаров «Бывшее и несбывшееся» (1956) и очерка о Зайцеве (см т. 5).

Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) – государственный деятель, с 1906 г. министр внутренних дел и председатель Совета министров, руководил аграрной (столыпинской) реформой Погиб от руки эсера-террориста Д Г Богрова

Суинберн Алджернон Чарлз (1837–1909) – английский поэт, историк литературы (труды о Шекспире, Гюго)

Таганцев В Н (1890–1921) – профессор, руководитель «Союза возрождения России», все члены которого в августе 1921 г были арестованы и расстреляны (в их числе – поэт Н. С. Гумилев).

Тассо Торквато (1544–1595) – итальянский поэт Возрождения и барокко; автор героической поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1580), подвергшейся суду инквизиции.

Телешов Николай Дмитриевич (1867–1957) – прозаик, мемуарист; основатель литературного кружка «Среда».

Тереза Авильская (1515–1582) – испанская писательница и монахиня, преследовавшаяся инквизицией, считается покровительницей Испании (вместе со св. Иаковом) Автор проповеднических писем и книг «Путь к совершенству», «Внутренняя крепость» В 1622 г в день канонизации Терезы, был устроен поэтический турнир в ее честь.

Тик Людвиг (1773–1853) – немецкий поэт, драматург, прозаик.

Тимковский Николай Иванович (1863–1922) – прозаик, драматург.

Тинторетто (наст. фам. Робусти) *Якопо* (1518–1594) – итальянский живописец эпохи Позднего Возрождения; представитель венецианской школы.

Тит Ливий (59 до н. э – 17 н э) – римский историк и философ; автор книги «Римская история от основания города».

Тихон Задонский (1724–1783) – святой, выдающийся деятель церкви, писатель-богослов

Тихонравов Николай Саввич (1832–1893) – историк литературы, академик, в 1877–1883 гг. ректор Московского университета.

Толстой Александр Петрович (1801–1873) – дипломат; в 1834–1837 гг. губернатор в Твери, в 1837–1840 гг. генерал-губернатор в Одессе, после 1855 г обер-прокурор Св. Синода, член Государственного совета Дружил и переписывался с Гоголем, умершим в его доме

Толстой Алексей Николаевич (1882/63–1945) – прозаик, драматург, поэт, публицист; в 1919–1923 гг жил в Париже и Берлине.

Толстой Лев Николаевич (1828–1910)

Троцкий (наст. фам. Бронштейн) *Лев Давидович* (1879–1940) – политический деятель, один из вождей октябрьского переворота. В 1929 г выслан за границу и там убит террористом по заданию НКВД

Туманский Василий Иванович (1800–1860) – поэт

Тургенева Пелагея (Полина) Ивановна (1842 – 1919) – дочь И. С. Тургенева.

Тургенев Александр Иванович (1784–1845) – историк и археолог; с 1810 г занимал высокий пост директора Главного управления духовных дел иностранных вероисповеданий. Дружил с Карамзиным,Жуковским, Пушкиным (устроил будущего поэта в Царскосельский лицей, а после дуэли сопровождал гроб с его телом в Святогорский монастырь)

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) – см. о нем роман-биографию Зайцева «Жизнь Тургенева» в т 5.

Тхоржевский Иван Иванович (1878–1951) – переводчик, литературовед, поэт; автор двухтомника «Русская литература» (Париж, 1946)

Тьеполо Джованни Баттиста (1696–1770) – итальянский живописец, рисовальщик, гравер; представитель венецианской школы.

Тыркова (во втором браке Вильямс) *Ариадна Владимировна* (1869–1962) – публицист, прозаик, литературовед В марте 1918 г уехала с мужем, английским журналистом Гарольдом Вильямсом, в Англию, затем жила во Франции и США. Автор двухтомной биографии «Жизнь Пушкина».

Тэффи (псевдоним Надежды Александровны Лохвицкой, в замужестве Бучинской; 1872–1952) – прозаик, поэт, критик, драматург. С конца 1919 г в эмиграции в Париже. Близкий друг семьи Зайцевых

Тютчев Федор Иванович (1803–1873) – поэт, дипломат

Тютчева Элеонора Федоровна, урожд графиня Ботмер, в первом браке Петерсон (1799–1838) – первая жена Ф. И. Тютчева

Тютчева Эрнестина Федоровна, урожд Пфеффель, в первом браке баронесса Дёрнберг (1810–?) –вторая жена Ф. И. Тютчева.

Урусов Александр Иванович, князь (1843–1900) – известный в Москве адвокат, переводчик, литературный и художественный критик

Устинов Владимир Михайлович – юрист, профессор Московского университета.

Фадеев Александр Александрович (1901–1956) – прозаик В 1946–1954 гг генеральный секретарь Союза писателей СССР Покончил жизнь самоубийством, оставив покаянное письмо

Фейгин Яков Александрович (1859–1915) – переводчик, театральный критик, издатель газеты «Курьер» (с 1897 по 13 июля 1902 г), в которой состоялся писательский дебют Зайцева

Фет (наст. фам. Шеншин) *Афанасий Афанасьевич* (1820–1892) – поэт

Филарет (в миру Дроздов Василий Михайлович, 1782–1867) – митрополит Московский (с 1826 г)

Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814) – классик немецкой классической философии идеализма.

Флобер Густав (1821–1880) – французский прозаик, драматург

Фондаминский (Фундаминский, псевд Бунаков) *Илья Исидорович* (1880–1942) – публицист, историк, эсер В 1917 г – комиссар Временного правительства С 1919 г в эмиграции Один из учредителей и соредактор журналов «Современные записки» (1920–1940) и «Новый град» (1931–1939), объединения «Православное дело» (вместе с Н А. Бердяевым и матерью Марией). Деятель Русского студенческого христианского движения (РСХД) Погиб в фашистском концлагере Освенцим

Франк Семен Людвигович (1877–1950) – религиозный философ, последователь А. С. Хомякова. В 1922 г выслан в эмиграцию.

Франциск Ассизский (наст имя Джованни Бернардоне, 1181 или 1182–1226) – итальянский проповедник, основатель ордена нищенствующих монахов, автор религиозных поэтических произведений Особенно популярна и в Европе, и в России книга рассказов о «народном святом» Fioretti (в рус пер «Цветочки Франциска Ассизского», 1913, репринт 1990)

Хвостов Вениамин Михайлович (1868–1920) – юрист, профессор римского права в Московском университете

Хемингуэй Эрнест Миллер (1899–1961) – американский прозаик Лауреат Нобелевской премии (1954).

Хлебников Велимир (наст имя Виктор Владимирович; 1885–1922) – поэт, один из зачинателей футуризма

Хлопов Николай Афанасьевич (1770–1826) – воспитатель Тютчева, с которым поэт не расставался с четырех до двадцати лет

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939) – поэт, прозаик, критик, мемуарист С 1922 г в эмиграции

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) – поэт, прозаик, религиозный философ, публицист, один из вождей славянофильства

Цветаева Марина Ивановна (1892–1941) – поэт, драматург, прозаик (см о ней очерк Зайцева «Другие и Марина Цветаева» в кн «Далекое». Т. 6 нашего собрания)

Цетлин (Цетлина) *Мария Самойловна*, урожд Тумаркина (1882–1976) – издатель, общественный деятель В эмиграции с апреля 1919 г; щедро помогала бедствующим во Франции русским писателям и ученым.

Цетлин Михаил Осипович (псевд Амари; 1882–1945) – поэт, критик, прозаик, переводчик, издатель, мемуарист Муж М. С. Цетлин. В 1920–1940 гг – редактор отдела поэзии в журнале «Современные записки»; в 1942–1945 гг. – один из редакторов-основателей (вместе с женой и М. А. Алдановым) «Нового журнала» в Нью-Йорке В этом журнале (1946, кн 14) Зайцев опубликовал мемуарный очерк «М О. Цетлин». Цетлин – рецензент книг Зайцева.

Цецилия – римлянка, жившая в III в ; за то, что тайно приняла христианство, подверглась мученической смерти· палач трижды пытался ее обезглавить, но она лишь на третий день скончалась от ран. Ей посвятили живописные полотна великие мастера Рафаэль, Доменикино, Карло Дольчи и др Святая Цецилия считается покровительницей духовной музыки.

Цицерон Марк Туллий (106–43 до н. э) – римский политический деятель, оратор, писатель. Сохранились его 19 трактатов, 58 речей и более 800 писем.

Чайковский Петр Ильич (1840–1893) – композитор.

Чехов Антон Павлович (1860–1904)

Чехова (урожд. Книппер) *Ольга Константиновна* (1896–1980) – актриса театра и кино; первая жена актера, режиссера и педагога Михаила Александровича Чехова (1891–1955)

Чириков Евгений Николаевич (1864–1932) – прозаик, драматург, публицист, поэт С 1920 г. в эмиграции (в Праге)

Чуковский Корней Иванович (наст имя и фам Николай Васильевич Корнейчуков; 1882–1969) – критик, литературовед, историк литературы, детский писатель, переводчик Автор статей о Б. К. Зайцеве.

Чулков Георгий Иванович (1879–1939) – прозаик, поэт, критик, философ, мемуарист; автор полемического труда «О мистическом анархизме» (1906) и воспоминаний «Книга странствий» (1930).

Чупров Александр Иванович (1842–1908) – экономист, статистик, публицист, общественный деятель

Шаляпин Федор Иванович (1873–1938) – певец, солист Московской частной русской оперы, Большого и Мариинского театров. С 1922 г в эмиграции В 1984 г. прах Шаляпина перенесен из Парижа в Москву

Шатобриан Франсуа Рене де, виконт (1768–1848) – французский прозаик, публицист, поэт, автор манифеста консервативного романтизма «Гений христианства» (1802)

Шекспир Уильям (1564–1616) – английский драматург, поэт, актер.

Шелгунов Николай Васильевич (1824–1891) – публицист, критик, отстаивавший принципы тенденциозного реалистического искусства и литературы; автор революционных прокламаций, а также ошибочных суждений о Л. Н. Толстом, И. С. Тургеневе, М. Е. Салтыкове-Щедрине.

Шенрок Владимир Иванович (1853–1910) – историк литературы, автор трудов о Н В. Гоголе (т. 1–4; 1892 –1898), книг «Н. М. Языков» (1897), «С. Т. Аксаков и его семья» (1904) и др.

Шик Александр Адольфович (?–1968) – журналист, критик; автор книг о Пушкине, Гоголе, Денисе Давыдове. Умер в Париже.

Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950) – прозаик; с 1922 г. в эмиграции. Один из близких друзей Зайцева (их переписка в мае 2000 г. передана в Российской Фонд

культуры). 30 мая 2000 г прах Шмелева и его жены Ольги Александровны (1875–1936) перенесен из Парижа в Москву и захоронен иа кладбище Донского монастыря.

Шольц Вильгельм Богданович (1798–1860) – доктор медицины, первым осматривавший Пушкина, смертельно раненного на дуэли

Шопенгауэр Артур (1788–1860) – немецкий философ

Шпет Густав Густавович (1879–1937) – философ, историк, психолог, искусствовед, переводчик философской и художественной литературы (знал 17 языков) В 1923–1929 гг. вице-президент Российской Академии художеств Автор многих трудов. Безвинно расстрелян

Штук Франц фон (1863–1928) – немецкий живописец, скульптор и график

Шулятиков Владимир Михайлович (1872–1912) – член РСДРП, в «Курьере» вел раздел «Критические этюды»

Щедрин – см Салтыков-Щедрин М. Е.

Эйнштейн Альберт (1879–1955) – физик-теоретик, один из основателей современной физики, создатель теории относительности. Лауреат Нобелевской премии (1921)

Элиасберг Карл Иванович (1907–1978) – в 1937–1950 гг главный дирижер Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета. Под его управлением в осажденном Ленинграде была исполнена 7-я симфония Д. Д. Шостаковича.

Эллис (наст имя и фам. Кобылинский Лев Львович; 1879–1947) – поэт-символист, критик, литературовед, переводчик.

Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) – прозаик, поэт, публицист

Эрн Владимир Францевич (1882–1917) – религиозный философ, последователь Вл С Соловьева.

Эфрос Николай Ефимович (1867–1923) – журналист, театральный критик и историк театра; редактор газеты «Новости дня» (1896–1906); автор труда «Московский Художественный театр. 1898–1923» (1924) и книг о К С. Станиславском, В. И Качалове и др.

Юшкевич Семен Соломонович (1869–1927) – прозаик, драматург, публицист С 1920 г в эмиграции.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ, ЗАМЕТКИ. 1906 – 1924

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ. 1925 – 1939

ДНИ. 1939 – 1972

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ

Собрание сочинений

Том 9 (дополнительный)

ДНИ

Мемуарные очерки. Статьи. Заметки. Рецензии

Редактор **В. П. Шагалова**
Художественный редактор **И. А. Шиляев**
Технический редактор **И. И. Павлова**
Корректор **Р. А. Трушкина**
Компьютерный набор **Г. Н. Злотникова**
Компьютерная верстка **Е. Г. Метченко**

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 010058 от 23.10.96.
Подписано в печать с оригинала-макета 30 10 2000. Формат 84×108[1]/32.
Бумага писчая На вкл — мелов. Гарнитура Таймс.
Печать высокая. Усл. п. л. 29,54 (в т. ч. вкл. 0,11).
Уч.-изд л. 34,04 (в т. ч. вкл. 0,04)
Тираж 5000 экз. С — 29. Зак. № 2356. Изд инд. ЛХ-194

Издательство «Русская книга» Министерства Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных
оригиналов-макетов на издательско-полиграфическом
предприятии «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32